



ГОСУДАРИ
РУСИ ВЕЛИКОЯ

А.ШАРДИН

КНЯЖНА
ВЛАДИМИРСКАЯ
< ТАРАКАНОВА >
ИЛИ ЗАЦЕПИНСКИЕ
КАПИТАЛЫ

Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы
//Современник, Москва, 1995
ISBN: 5-270-01863-2
FB2: , 18.09.2018, version 1.0
UUID: 663880F1-6345-40F7-BF9E-A2E799BC0EC9
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Сухонин Петр Петрович

Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы (Государь Руси Великой)

А. Шардин (Сухонин Пётр Петрович) — автор широко известных в прошлом веке исторических романов «Род князей Зацепиных», «На рубеже веков» и других. Настоящее издание романа «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы» является первым после 1885 года.

Действие произведения охватывает период царствования Екатерины II. В книге показаны реально действующие лица и их взаимоотношения — императрица Екатерина II, графы братья Орловы, князь Трубецкой, граф Головкин, князь Голицын, графы братья Шуваловы и другие — и широко освещены важные исторические события — бунт Пугачёва, Чесменский бой во время русско-турецкой войны.

Главная героиня романа — княжна Владимирская (Тараканова), мнимая дочь Елизаветы Петровны, объявившая себя претенденткой на русский престол, —

училась во Франции, жила в Италии, откуда обманом
была увезена Алексеем Орловым-Чесменским и поса-
жена в Петропавловскую крепость, где и умерла.
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Содержание

#1	0008
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0008
I ПРИСКАЗКИ	0008
II ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО	0068
III КНЯЗЬ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ	0104
IV ДРУГОЙ МИР	0150
V ВЕРХОВНИКИ	0190
VI ОТКУДА ЧТО БЕРЁТСЯ	0207
VII МЁРТВОЕ ЧЕСТОЛЮБИЕ	0243
VIII ОТ НЕЁ ВСЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ	0291
IX КОНЕЦ НАЧАЛА	0311
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0351
I ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ	0351
II НЕ ВСЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ	0403
III СРЕДИ СТЕПЕЙ И ДЕВСТВЕННЫХ ЛЕСОВ	0446
IV AD MAJOREM DEI GLORIAM	0490
V НЕ ВСЯКАЯ ОШИБКА ДЕЛАЕТСЯ НЕЧАЯННО	0502
VI ПРУЖИНЫ И ПРУЖИНА ПРУЖИН	0527
VII ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ	0572
VIII ГРАФИНЯ ГОЛОВКИНА	0599
IX ОНА УГАДАЛА	0630
X КНЯЗЬ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ	

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	0703
I ОН, ВСЁ ОН	0703
II ПОСЕЯННОЕ ВСХОДИТ, ЗАЖЖЁННОЕ РАЗГОРАЕТСЯ	0760
III ПОЛИТИКА БЬЁТ ТРЕВОГУ	0808
IV ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОХОЖДЕНИЯ АЛИ-ЭМЕТЭ	0861
V РУССКОЕ УДАЛЬСТВО	0914
VI НЕТ ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ	0955
VII ОТЧЕГО ЗАГОРЕЛСЯ СЫР-БОР	1002
VIII ЖИЗНЬ ПЛАТИТ СВОЙ ДОЛГ	1020
IX ПУТЕШЕСТВУЮТ НЕ ВСЕГДА ПО СВОЕЙ ВОЛЕ	1051
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ	1083
I ВОПРОСЫ ЖИЗНИ	1083
II ДОПРОС	1108
III ЧТО ВЗЯТО, ТО СВЯТО	1151
IV ЛЮДСКИЕ СТРАСТИ	1199
V НРАВСТВЕННЫЕ ИСТЯЗАНИЯ	1230
VI МСТИТЕЛЬ	1254
VII ЕКАТЕРИНА II	1278
ЭПИЛОГ	1305

Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы

ГОСУДАРИ
РУСИ БЕЛЫЙ



А.ШАРДИН



КНЯЖНА
ВЛАДИМИРСКАЯ
(ТАРАКАНОВА),
ИЛИ ЗАЦЕПИНСКИЕ
КАПИТАЛЫ

Исторический роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ПРИСКАЗКИ

*Не шуми ты, мати зелёная дубра-
вушка,
Не мешай мне, добру молодцу, ду-
му думати! —*

Пел молодой, здоровенный детина, кровь с молоком, с тёмными волосами и серыми, сверкающими глазами.

Он был одет в смурый чепан со стоячим воротником, латаный-перелатаный донельзя, синюю крашеную рубашку и такие же портки. Он был босиком и без шапки. Чепан был подпоясан широким, потёртым ремнём, за который был заткнут широкий, обоюдоострый гайдамачный нож.

Детина сидел на полусгнившем стволе вывороченного бурей с корнем дуба, болтал босыми, свесившимися ногами в воздухе и распевал во всю мощь своей широкой груди.

Никакой дубравушки перед ним не было; никто не шумел и не мешал детине ни думать, ни распевать вволю. Перед ним расстилась только степь беспредельная, со своими перекасти-поле и ковыль-травой, и то почти выжженной летними лучами солнца.

Ни деревце, ни кустарник, ни прогалинка зелени не баловали глаз. Была видна только ширь неоглядная да даль неведомая, перерезанная стальной полосой тихого Дона. Виднелся ещё там, вдали за рекой, на перекрёстке дорог, уже начавший чернеть от времени деревянный крест, поставленный какой-то набожной рукой на том самом месте, где, по рассказам, был перерезан целый поезд с молодым боярином и зарыто, без обрядов и священника, ровно десять христианских душ. Кто был этот боярин, куда ехал он, окружённый своими челядинцами и приспешниками, вражда или жадность устроила ему засаду, — никто не знал. Сказывали только, что он был молод, что он, как и все с ним зарезанные, были ограблены до нитки, только на его пальце остался сиять дорогой бриллиант, который грабители или не заметили, или не успели, а

может быть, и не захотели снять.

Не мешай мне думу думать!

орал во всё горло детина.

О чём поёшь ты, добрый молодец, что запало в твою головушку? О чём ты думаешь? Или скорбит и твоё сердце людской скорбью? Видишь ты на родной Руси неурядицу? Видишь, как люди от господ бегут, а вдвое от попов прячутся; видишь, как богатый бедного давит, а сам перед сильным в кольцо изгибается; видишь, как палка гуляет по правому и виноватому, а судья с той и другой стороны приношение берёт? «Будьте благонадёжны, — говорит судья, — я своё дело знаю!» А в чём благонадёжными быть, в чём его знанию верить, судья не поясняет; но видно прямо, что он думает: «Будьте благонадёжны: и того, и другого в трубу выпущу!»

Или думаешь ты, молодец: какое это зло рекрутчина? Страдает же от этого зла русский люд, и как страдает! Сына ли, брата ли, мужа ли отдашь, всё равно словно живого схоро-

нишь, и духу не услышишь, и самого не увидишь. А после, где и похоронят, не узнаешь.

А пожалуй, может, кабак и зелено вино клянёшь? И от них много зла на Руси. Вот хоть и ты: недаром же общипан и обгрызай, недаром с твоими здоровыми руками тебе подняться не на что.

Нет, не думал наш детина ни о скорби гражданской, ни о беглых, ни о задавленных; не думал ни о правых, ни о виноватых, ни о судах лицеприятных; ни о кабаке, ни о рекрутчине; думал он сам о себе да о своей судьбине горькой: руки есть, да дела нет; а дело есть, так голова невпору! Как же быть-то? По-неволе распевашь, что батюшка царь, а пожалуй, и матушка царица пожалуют хоромами высокими, двумя столбами с перекладиной!

Но не допел он песни, соскочил со ствола, на котором сидел, и затопал босыми ногами по высохшей земле.

— Эва дьявола, живот как подводит! Жрать мочи нет как хочется! Шутка ли, третьи сутки маковой росинки во рту не было. Изопьёшь водицы из родного братца Дона Ивановича,

да и всё тут! Самого так и сосёт. Ограбил бы кого, да будто назло и ворона не пролетит! эх ты доля моя, бесталанная! А уж ограблю, непременно ограблю; покажись только кто, будь хоть семи пядей во лбу! Говорят: за то добру молодцу хоромы высокие будут! Когда-то ещё будут? Летели кулики, да не долетели! А тут и без хором поневоле чёрту душу отдашь. Сам бы себя съел, так есть хочется. Вот так бы, кажется, и убил.

И детина выхватил из-за пояса свой широкий нож, и ткнул им во всю свою силу в полугнилое дерево, так что нож вошёл в него по самую рукоять, а как вынул — гниль посыпалась. Детина набрал горсть этой гнили, сунул в рот и начал жевать, только, должно быть, не понравилось.

— Фу, гадость какая! — сказал он и выплюнул изо рта. — Эка жисть-то, жисть моя несчастная! — проговорил он. — Чего больше, кажется? На большую дорогу вышел, думал: была не была! Так не едет никто!

Но в это время на том берегу Дона, с полунощной стороны, что-то зачернело вдали. Детина поднял ладонь над глазами и стал

всматриваться. И точно, там что-то двигалось, будто плыло, не то зверь, не то человек, что-то бесформенное, сливающееся в своих очертаниях с синевой воздуха.

Но вот это что-то приближалось, становилось яснее и яснее; стало видно, что это телега с чем-то, на чём лежит человек.

Увидев человека, детина припал к земле и на брюхе пополз к Дону; там, в камышах, он нашёл челночок и поплыл по тихой струе.

«Ну, брат, не убежишь, хоть ты тут что!» — думал он, вылезая на другом берегу реки и опять ползя на брюхе к заросшей уже бурьяном вымоине, где и спрятался.

В телеге ехал мертвецки пьяный казак. Он вёз куль овса, да куль гречихи, и ещё с полкуля льняного семени на продажу в Дубовку, чтобы на вырученные деньги купить горилки. Дома вся вышла, а он дочку замуж сговорил, так наутро сватов угостить нужно.

Но угощать ему сватов и праздновать свадьбу не пришлось. Вечеру, раздетый догола, лежал он под крестом с перерезанным горлом. Орёл клевал ему глаза, а воронье сидело в отдалении кругом, перелетая с места на ме-

сто и каркая в ожидании, что великий чином пернатый, насытившись, отлетит и даст им тоже насладиться остатками своего пиршества. А в телеге казака, в его свитке, шапке и шароварах вёз на базар продавать овёс и гречу молодой детина, ехал он и посмеивался, уписывая за обе щеки, так что за ушами трещало, полкаравая хлеба, который нашёл в телеге. Ел он хлеб казака, а сам бранил покойника за то, что снятые с него и напяленные на себя сапоги жали ему ноги.

Но ехать ему в таком самоуслаждении досталось недолго. В то время как он особо расчувствовался, расхваливая мысленно себя за то, что так ловко и проворно обработал это дельце, не окровенив даже рук, из другой такой же промоины, в какой прятался и он, когда завидел телегу старого казака, выскочил здоровенный ражий мужчина.

— Стой! Сарынь на кичку! — крикнул он и схватил лошадь под уздцы.

Но сегодня, видно, был день детины. Лошадь убитого казака не давала себя брать под уздцы. Она взмахнула головой, хотела было схватить зубами, но это ей не удалось, и, под-

нявшись на дыбы, дала такого толчка передними коленками в грудь схватившего её мужика, что тот отлетел шагов на десять и рухнул на землю.

Между тем и детина не зевал; выскочив из телеги со своим широким ножом, он живо наскочил на мужика, который только приподнялся, едва опомнясь и оглядываясь.

Перед ним был детина, который, схватив его сильной рукой за плечо, не давая ему встать, занёс уж над ним нож.

Мужик почувствовал, что борьба не равна, что нож через мгновение будет у него между рёбрами.

— Не трожь! — спокойно сказал он, стараясь схватить ту руку детины, в которой был нож, чего детина не допускал. — Не трожь, говорят! Ворон ворону очей не выклюет! Пойдём лучше вместе и ограбим попа! Я один не смогу. Фомка, работник, у него живёт, силач страшный — а вместе как-нибудь осилим! Ты Фомку успокоишь, а остальных я на себя беру... Денжищ-то, денжищ... и все в серебряных рублёвиках... Да ну же, брось!

— Врёшь, ты обмишулить хочешь! — го-

ворил детина, не давая ему схватить своей руки и направляя нож прямо против сердца.

— Эвона! Да что ты, невидаль, что ли, какая, аль золото везёшь?

— Золото не золото, а всё же...

— А я те покажу, где точно золото.

— Побожись!

— Вот те крест! Не лгу же, право!

Детина опустил нож, но стоял в оборонительной позе.

Мужик встал.

— Да полно петушиться-то! — сказал он. — Говорят, вместе попа ограбим!

Через минуту детина и мужик сидели на телеге рядом и говорили ладом. Детина правил, а мужик дорогу показывал. Дело шло к вечеру, и лошадёнка приставать начала; пора ей и отдых дать.

В ту же ночь в небогатом приходе Николы Сухого был зарезан священник со всем семейством, состоящим вместе с детьми из восьми душ и с работником Фомкой. Дом был ограблен дочиста, даже рубашки с убитых были сняты. Лошади, коровы уведены, козы и овцы тут же прирезаны и увезены. Видно было, что

распоряжались не торопясь, на свободе; платье, рясы, шубы, бельё — всё было увезено с сундуками и ящиками. У священника всего много было: приход хоть и бедный, но жене после отца много досталось. Ни сторож, никто из причетников ничего не слышали. Сторож с похмелья проснулся на церковной паперти в такое время, когда обедня уже отошла бы, если бы священник с перерезанным горлом мог её служить, и то проснулся потому, что собравшийся к дому священника народ его растолкал. Оказалось, что два какие-то проходимца ещё с вечера угощали сторожа вместе с Фомой в кабаке и что вышли они из кабака зело выпивши. Сторожу ничего. Фомка же за угощение головой заплатил. А проходимцы? Их и след простыл, хотя куда бы, кажется, им деваться тут, в степи, когда с колокольни вёрст, почитай, за сто кругом видно. А они с обозом, да ещё с каким обозом-то! Воза три, а не го и четыре всякого добра поповского навалили и увезли. Двух лошадей поповских увели, да, должно быть, и свои были.

И точно, мужик забирал и наваливал всякий хлам из поповского дома не только на по-

повских лошадей, но и на лошадь, взятую де-тиной у убитого казака. Валил он и сундуки, и перины, и самовар, и приколотых куриц, и всё, что на глаза попадалось.

— Что тут разбирать, дома разберёмся; а что ни есть, всё лучше пустова места! Торопиться же нечего. Тут, на селе, хоть домов-то и много кажется, а двух добрых мужиков не наберётся, чтобы нас остановить; а из деревень-то пока ещё узнают, пока соберутся, мы уж далеко будем.

Когда всё это снаряжал ражий мужик, дедина стоял выпуча глаза, как угорелый. Не первый уже раз ему было видеть кровь. Старый казак, которого он вчера убил, была третья христианская душа на его совести. Но всё же он не видал ни крови столько, ни криков, ни страха. А теперь он сам за всех намаялся. Пьяного Фомку резнуть по горлу ему нипочём было; не пожалел он и попа, когда товарищ тоже его ножом в бок хватил и оставил на полу истекать кровью, и попадью, которую тот по голове кистенём дёрнул, когда она выть начала; но как-то тоскливо стало у него на сердце, когда мужик молодую девку — попов-

ну — за косу с постели стащил и не сразу пришиб, а приволок к отцу, взял нож и как овцу зарезал; а дети в то время кричали, вопили, плакали; потом, когда он стал и с ними распоряжаться: грудного ребёнка головой о печку ударил, а подросткам пригрозил, чтобы молчали, и те по его слову разом смолкли, будто немые.

— Страшно! страшно! — сказал было детина, когда один из них при дошедшей до него очереди проговорил:

— Я, дяденька, ничего... я так... я не плачу...

— Оставь! — сказал было детина, сжалившись.

— Что ты? Он всю деревню подымет! — спокойно отвечал мужик и, схватив за волосы ребёнка, наклонил к себе и всадил ему нож между плеч до самой грудной кости.

А тут с печи слезла седая старуха в одной рубашке; волосы космами сбились, костлявые руки дрожат, губы у неё как-то накось переверло, а глаза так и бегают. Не кричит старуха, не плачет, а будто ухмыляется, будто на драку лезть хочет и сморщенные кулаки показыва-

ет.

— Всех убил, проклятый, — прошамкала она, — всех? Ну и меня убей, убей! Проклятый!

— Не бойсь, не заставим просить! Вестимо, такую красавицу не упустим, черти давно на калачи ждут! — с усмешкой отвечал мужик. — Только о тебя, каргу старую, ножа пачкать жалко. Тебе на роду написано от верёвки умереть.

И он толкнул в грудь старуху; та полетела, а он взял вожжу, перехватил ею ноги старухи, перекинул вожжу через привальный брус палатей, проходящий поперёк избы, и, не говоря ни слова, вздёрнул её к потолку. Старуха захрипела, задргала ногами, замахала руками... но через десять минут всё было кончено, и старуха висела, словно замерзшая, вытянув руки вниз и высунув язык.

Детину всё это отуманило, и он смотрел кругом мутными глазами, пока не увидел, что мужик достал из голбца штоф водки и пирог. Он подошёл, выпил водки, закусил и оправился.

Мужик в это время сдвигал сундуки и звал

его закладывать поповских лошадей, затем вывел коров и стал прирезывать овец, коз, куриц и гусей, пришибив, кстати, тут же и собаку.

— Куда ж мы со всем этим? — невольно спросил детина. — Мы и пяти вёрст не успеем уйти, как нас словят.

— Не бойсь, не словят! А Арефьевна-то на что? Ты не знаешь Арефьевны? Барыня важная Анфиса Арефьевна, золото-старушка! Она нас приголубит: напоит, накормит и в бане выпарит, да и помирит, пожалуй! У неё девка такая, чернавка, есть: сколько ни есть молодых, всех угомонит, всех удовольствует! А трудовое что барыня всё как есть на чистые денежки купит.

— Ас обыском не придут к ней?

— К ней-то? Не бойсь, не придут. Она самому воеводе сродни приходится, да и дела свои ладно ведёт. Коли бы и пришли, то рази сегодня что, а назавтра ничего не найдут. За ночь-то всё спущено будет. В самый даже Бахмут свезут. Лови по задворкам! Что и говорить, барыня ловкая!

И точно. Вёрстах в десяти от села Николы

Сухого хуторок такой был, обнесён высоким тыном, как крепость. На хуторке жила старушка барынька, Анфиса Арефьевна Плюшаква. Барыня, как говорил ражий мужик, важная, самому воеводе сродни и с чином немалым, чуть ли не капитаншей себя величала. Да такая была чистенькая, такая богомольная, что и сказать нельзя. Всегда, бывало, в чистом чепчике с длинными лопастями, подвязанными под самый подбородок большим бантом, в коричневом полушёлковом капоте и белом переднике, чтобы капот как не перепачкать, и всё, бывало, с чётками возится да «Боже, очисти меня, грешную!» твердит.

А какая она страннолюбивая была: кто хочет приезжай, всякому привет по душе, всякому угощение по силам. И какая была сердобольная: казак ли, мужик ли в деньгах нуждаются, и есть продать что, а до ближнего базара далеко везти, вёрст без малого сотня, так и везти незачем, старушка всё купит; что хочешь — вези к ней, место у неё всему найдётся.

Хуторок у неё стоял в балке, и не видно со-

всем, разве к самому подъедешь; балка эта дубовым и еловым лесом поросла. Кажись, тут только и был лес на всю ширину степи. Жила она крепко, всё на запоре. На хуторе жило у неё четверо работников, из крепостных, да силачи такие, что, кажись, и поповскому Фомке бы не уступили. А все соседи дивились, как это она живёт в таком глухом месте и не ограбят никогда. Да вот не грабили.

К этому-то хуторку и добрались молодой детина со своим новым товарищем ещё до света. Их приняли, за стол посадили, завтраком накормили, зелена вина поставили и баню затопить велели, куда девка-чернавка их свести должна была.

— Да что, матушка, Анфиса Арефьевна, — говорил мужик, низко кланяясь, как барыня к ним вышла, — больно уж дёшево давать изволите. Коровы этакие здоровенные, на поповское брюхо кормленные, а вы только по два рублёвика посулили. Слышал ли кто: за корову 2 рубля, за овцу полтина, за гуся 10 копеек. Нонче, матушка и воробья за 10 копеек не купишь, вот что! А корова — два рубля? На рынке ведь такой коровы и за десять рублей не

купишь! Сами посудите, совсем обидно!

— Не говори, не говори, Перфильч, — отвечала барыня-старушка, — больше не дам! Вези в другое место, коли где дают выгоднее. А мне куда теперь под осень; кормы же нынче дорогие, жизнь тяжёлая... Ох, грехи! Боже, очисти меня, грешную! Да ведь и вам, чай, недорого досталось?

— Оно точно, что недорого, матушка; а всё бы, кажись, прибавить нужно.

— Ни-ни, как хочешь. Боже, очисти меня, грешную! Знаешь, я спорить не люблю и даю как есть, что можно. Хочешь — бери деньги, нет — не поминай лихом; вези куда знаешь.

— Да куда я повезу, матушка, сами изволите знать?

— А это уже не моё дело. Наконец, сам же ты подумай: я каждого из вас пригреваю, охраняю; может, и сама за ваше-то дело в ответ попаду. Нужно же, чтобы и мне польза какая была.

— Так-то оно так, а всё бы, кажется...

— Ничего не кажется. Берёшь, что ли?

— Да что с тобою станешь делать, барыня; бери, наживай деньги на здоровье; да нас

поминай добром!

И вот стали перебирать и оценивать все вещи. Барыня принесла деньги и выдавала их по рублёвику, вздыхая, перебирая чётки и твердя молитву.

Детина с мужиком разделили деньги поровну. Детина хотел было заспорить, требуя, чтобы за его телегу, лошадь, овёс и гречиху ему особо отсчитать; но, вняв резону, ввиду большого прибытка, согласился на равный раздел. Как старая барыня ни оттягивала, но всё же с теми деньгами, которые они нашли в поповском сундуке, у них оказалось у каждого по восьмидесяти рублёвиков серебром да по два арабских червонца — лобанчики, как они их звали. Такие деньги обоим им казались целым богатством; кроме того, оба были в новой одежде, взятой у барыни в счёт, чтобы нельзя было их заприметить по той, в которой они с Фомкой и церковным сторожем в кабаке были.

— Ну вот, детинушка-молодчинушка, — начал говорить Перфилыч, — дельце мы с тобой обделали знатно, поделились братски, теперь с тобой нужно речь вести. Вот видишь,

ми отдохнули, наелись, в бане выпарились и около чернавки погрелись. Теперь нужно добрым молодцам и по домам разойтись; барыня же не любит, когда у неё долго без дела пробаваются. Так нужно тебе в один конец света идти, а мне в другой, чтобы нам друг с другом не встречаться, друг на друга не жаловаться. А коли вместе идти, так вместе и работать. Коли выкупались мы с тобой в одной крови, так нужно братьями быть, крестами обменяться, друг за друга стоять, друг другу помогать. Тогда нужно между нами решить, кому из нас старшим, кому младшим братом быть. А для того, по стародавнему обычаю, по завету молодцов-разбойников, нужно испытание сделать, кто кому поклониться должен, кто кого должен слушаться.

— Какое ж такое испытание? — спросил детина.

— А вот перво-наперво кто вот хоть эту ендову зелена вина хватит духом и не поперхнётся?

— А ну-ка, давай!

Детина приложил ендову к губам и начал пить. В ендове был без мала целый штоф.

Перфилыч смотрел внимательно. Что он думал, Бог его ведает. Может, рассчитывал: обопьётся малый, деньги мои будут.

Но детина уж опрокинул ендову, обтёр рукавом губы и только крякнул. Видно было, что вино ему нипочём.

— Теперь ты? — сказал он.

— Здоров ты, паря, пить, — отвечал Перфилыч, наливая в ендову вино. Он попробовал выпить, но не допил и до половины. — Твоя взяла, в этом и спорить нечего! — сказал он. — Идём теперь на Дон, кто кого переплывёт?

И пловцом детина оказался искуснее, хотя и Перфилыч хороший пловец был.

— Ну, теперь кто поборет кого в честной борьбе, рука в руку, крест в крест; кто кого свалит, тот и будет старший брат.

— Ну, брат, тут боюсь с тобой проруху дать! — сказал детина. — Однако была не была, пойдём бороться. Кто же только судьёй будет?

— Да кому быть-то, как не старой барыне. Она любит смотреть, как борются, и всегда справедливо решит, а за решение пять рублёв

взыщет.

И точно, Анфиса Арефьевна любила смотреть мужскую борьбу. Смолоду ли избаловала она своё воображение представлением мужских атлетических форм, напряжённых мускулов, пылающих взглядов и порывистого мужского сильного дыхания или под старость полюбила, чувствуя, что всё это уже не для неё, что из-за неё никто не станет бороться, так она хоть взглянет на борьбу! — только, твердя молитву и перебирая чётки, она никогда не отказывалась быть свидетельницей и судьёй борьбы. С удовольствием садилась она всегда на крылечко своего хуторка, в то время как борцы, без рубашек и босые, в одних портках, становились друг против друга и готовились начинать взаимную ломку.

Она всегда наблюдала, чтобы они встали друг против друга правильно, чтобы каждый свою правую руку положил на левое плечо противника, а левою — взял под его правую мышку, выставляя каждый правую ногу вперёд; потом чтобы, по русскому обычаю, поцеловались, в залог, что боронье, именно боронье, а не борьба, не драка будет, без злобы и

сердца. Установив так борцов, она проговаривала свою обыкновенную молитву, давала знак троекратным хлопаньем в ладоши и затем уже страстно следила за всеми движениями борцов. После борьбы она собственноручно подносила чарку домашней вишнёвки победителю.

В таком виде расположились и наши борцы. Анфиса Арефьевна сидела уже на крылечке, заставила их поцеловаться и ударила в ладоши. Борцы понатужились. По второму удару борцы тесно прижались один к другому, а по третьему началась борьба.

Перфильч думал было разом сломать детину, наваливаясь всею тяжестью и надламывая ему спину, но детина выдержал; однако сломить противника и ему не удалось. Перфильч попробовал было приподнять его и бросить, но чуть сам не полетел. Однако ж он скоро оправился и хотел повернуть детину, но детина сам повернул его и опять налёг. Ни тот, ни другой не поддавались.

Анфиса Арефьевна невольно обратила внимание на красоту форм молодого детины. С каким-то лихорадочным чувством она смотрела

рела на эту упругость мускулов, свежесть бледно-розовой кожи и резко очерченные линии мышц. Невольно стала она желать ему победы над этими сильными, покрытыми чёрными волосами руками, широкой и также мохнатой грудью Перфилыча. В это время детина, выдвинув вперёд ногу, упёрся в колено Перфилыча своим коленом, стараясь нагнуть его в другую сторону. Перфилыч тоже упёрся, стараясь его пересилить. Тогда детина неожиданно ударил коленом в поджилку той ноги, на которую Перфилыч упирался, и толкнул его в другую сторону, через свою ногу. Перфилыч полетел кубарем.

— Нечисто! нечисто! — заревел Перфилыч. — Через ногу не след.

Анфиса Арефьевна хотя и видела, что Перфилыч прав, но молчала. Впрочем, детина не спорил, а, разгорячившись, сам потребовал возобновления борьбы.

Когда они вновь начали, то детина, оживлённый впечатлением победы, так крепко стиснул Перфилыча в своих руках, так сдавил на своей груди, что тот, сломленный вконец, должен был признать себя побеждённым, ис-

пытав таким образом поражение и в силе, и в ловкости.

Анфиса Арефьевна поднесла победителю до краёв налитый стакан вишнёвки.

Детина выпил залпом.

— Ну, твоя взяла, так твоя! — сказал хмуро Перфилыч. — Кланяюсь старшему брату. Дозволь узнать, как величать?

— Топкой! — отвечал детина, охорашиваясь и, видимо, довольный.

— Топкой! Да что это за имя — Топка?

— Не имя, а прозвище; поп на крестинах Сидором прозвал!

— А по батюшке?

— А по батюшке, Бог его знает, кто у меня батюшка-то был. Надо думать — Иван.

— Ну, кланяюсь тебе, батюшка, старший брат, Сидор Иванович, по прозвищу Топка. Просим учить уму-разуму, а я твой вечный послушный младший брат. Не соизволишь ли крестами обменяться и расцеловаться побратски, дескать, в любовь и милость принимаешь!

И обнялись, и поцеловались двое новых братцев, и крестами обменялись, чтобы идти

по Божьему свету рука в руку, душа в душу, только не на добро заручились они, не на помощь и любовь, а на разбой и душегубство...

Помещик Пензенской провинции Култуханов обладал чрезвычайно воинственными стремлениями. Правда, в деле с неприятелями он не был. В то время как Миних вёл русскую армию к Хотину и под Ставучаны, он управлял интендантским обозом, который, под главным наблюдением Никиты Юрьевича Трубецкого, снаряжался, не жалея ни своих, ни чужих. Но это не мешало ему говорить о подвигах русской армии в Турции и приписывать, между прочим, и себе славу победы.

Но если не удалось отличиться Култуханову на поприще военной славы, то, получив отставку и поселившись в своём благоприобретенном продолжительной службой по комиссариатскому ведомству имении, он вполне отличился военными действиями на своей конюшне. Уж это точно, что были военные действия. Каждый день, не позже восьми часов утра, зимою и летом, Култуханов отправлялся на конюшню. Там уже ждало его чело-

век от 15 до 20 крестьян и дворовых, разного пола и возраста, предназначенных для сегодняшней экзекуции; а также человек шесть-семь псарей и конюхов, долженствовавших такую экзекуцию производить, вместе с тем нередко подпадавших сами под оную за недостаток усердия и мирвольство, так что отец дьякон, поступивший в село Колтухановку из семинарского класса риторики, любил подсмеиваться, заверяя их, что они нередко из глаголов действительных обращаются в страдательные.

И так хорошо приспособлена была конюшня Семёна Темрюковича Култуханова ко всевозможным операциям экзекуции, что ваш ушаковский застенок. Правда, тут не было дыбы, красовалась только кобыла, зато орудий истязания на этой кобыле было вдоволь: и ремни, и плети, и жилы воловьи, а розог — сколько душе угодно. Стоял тут и чан с солёной водицей, чтобы розгам эрфиксу придавать. Завёл было Семён Темрюкович для той же цели и шайку с водкой; да учреждение это не пошло, так как три раза уже случилось, что чьим-то прошением и щучьим велением

на другой день после того, как водка была налита, она обращалась в простую воду, несмотря на то что всякий раз, после такого чуда, Семён Темрюкович считал долгом отпороть всех своих конюхов и кучеров как должноствававших быть такого чуда непосредственными свидетелями и могущих потому его остановить.

Едва рассветать стало, а коротенький, на толстых, коренастых ножках Семён Темрюкович идёт на конюшню в сопровождении своего приказчика Дементьича и взяв с собой не очень толстую, но плотно сплетённую и с вплетённой пулькой в конце казанскую нагайку. Идёт он и весело с Дементьичем разговаривает, даже барски подшучивает. Смуглое широкое лицо его с выдающимися скулами полно добродушия; узенькие, чёрные, прорезанные будто наискось глазёнки так и бегают, так и смеются. Он думает: «Как же я отжарю Фильку, будет помнить! Отпотчую потом Екима, да и Степаниде спуску не дам. Увидим, увидим, как опаздывать будут! Канальи! Мерзавцы! Всех бы их каждый день пороть нужно!» Придёт, поздоровается приветливо, коли

зима, скинет шубу не торопясь и тогда начинает свои военные действия. Семён Темрюкович был богат, недаром по интендантской части долго служил — воевать потому ему было с кем.

Ну а как начнутся действия, то и точно, отдерёт он и Фильку, отпотчует и Екима, и Степаниду, да к ним прихватит и Семёна, и Андрея, и Филимона, и Анисью, и ещё Бог знает кого. Кричит, горячится, бьёт из своих рук нагайкой и тех, кого секут, и тех, кто сечёт; наконец, кончит и уйдёт к себе, успокоенный и довольный, особенно если видит, что двоих-троих водой отливают. С удовольствием пьёт он тогда водку и ест пряженцы, а иногда чайком побаловать себя велит, а за чаем рассказывает своей Матрёне Даниловне анекдоты, случившиеся при экзекуции.

И странное дело, характер ли уж такой у него был, или уж вообще человек так создан хищным зверем, что чем больше видит крови, тем больше озлобляется, только Семён Темрюкович чем больше сёк человека, чем больше видел в нём страдания и слабости, тем становился жёстче. Голос его делался

визгливее, резче; нагайка из его рук свистала в воздухе чаще: он начинал беситься, кричать, подпрыгивать, иногда даже злобно гоготать и подсмеиваться, особенно когда видел, что человек уже замирает под наказанием. Вот и теперь он кричит и ревёт что есть мочи, отдуваясь и пыхтя, на одного парня, привязанного к кобыле, которого сечёт уже другая пара псарей.

— Ты у меня скажешь, всё скажешь! Я развяжу язык-от! Я выбью! — кричал он, подпрыгивая на своих толстоватых ногах и прибавляя к ударам секущих собственноручные удары своей нагайки. — Отвечай, — говорю! А, ты не хочешь! Вот тебе! Вот тебе!

И удары сыпались на бедного парня, у которого язык уже начинал заминаться и который от слабости уже переставал кричать.

— Помочите-ка розги в солёной водице! Наказываемый испустил вновь протяжный, отчаянный стон.

— Ну говори, говори, кого ты видел, скажи! Дай ему отдохнуть, пусть говорит! А! Ты молчишь. Ну-ка подсыпь, горячей подсыпь!

И несчастного били насмерть.

Видя наконец, что уже ни розги, ни плети, ни его нагайка не действуют, что наказываемый лежит уже на кобыле как бесчувственный пласт, а спина от шеи до колен представляет одну сине-багровую рану, Семён Темрюкович велел снять его с кобылы.

— Пусть отдохнёт! — сказал он. — Да ты не думай, что этим отделаешься; нет, брат, погоди! Нет, у меня не прикинешься! Я добьюсь своего! У меня... Давай сюда Луку Васильева!

К барину подвели мужика с умным взглядом, длинной, с проседью бородой и пронизательными глазами.

— Ну, говори ты, кто и куда ездил у тебя ночью на буланом?

— Да помилуйте, сударь, почему же я могу знать? Вечор я сам приходил задавать ему овса; при мне его Парфён вычистил, при мне напоил, поставил в стойло. Я сам конюшню запер, ключ на место повесил и пошёл к вашей милости. Кто же мог ездить?

— А ключ куда повесил? Говори, где был ключ?

— Ключ, сударь, у меня всегда в светёлке на закладинке. Там все ключи по порядку,

как вы приказываете, развешаны. Светёлка всегда заперта бывает.

Тот, кого теперь допрашивал Култуханов, был главный конюх его конезавода.

— И ты сам был в светёлке? Сам повесил ключ и сам запер светёлку?

— Нет, не сам, сударь! Пришёл я из конюшни очень уставши и проголодавшись — всё с лошадьми возился, а ваша милость меня требовали, так ключ на место велел Параньке, дочке, повесить, светёлку запереть и ключ мне принести. Она так и сделала.

— А! Где Паранька? Давай сюда Параньку! — кричал Култуханов. Но Параньки не было. Два псаря бросились за ней.

— Она, сударь, знает порядок, — начал было говорить конюх, видимо желая выручить оговорённую дочь, — и исполнила всё, как оно следует, и ключ мне принесла.

— Молчи, пока жив, когда не спрашивают! — окрикнул его Култуханов и ударил конюха нагайкой по лицу. У того изо рта и из носа показалась кровь; но он стоял, не смея даже дать заметить барину, что это его беспокоит.

В это время привели Параньку, девчонку лет шестнадцати, чистенькую и довольно смазливенькую, одетую в синий сарафан и с пунцовой лентой, вплетённой в длинную русую косу.

— Говори, кому ты вчера отдала ключ от буланого? спросил расвирепевший барин, — Говори — кому?

Девка не успела собраться с духом, не вдруг поняла, о чём её спрашивают, и молчала.

— А, и ты молчишь! Одно воровское отродье? Ладно! Я заставлю говорить! Растягивай её!

В ту же минуту девушку растянули на кобыле, просунули руки в дырья верхнего бруса и прихватили их ремнём: сарафан и рубашку подняли на шею, хотя в конюшне было, верно, человек двадцать мужиков; босые ноги привязали внизу.

Девка завывала благим матом, хотя наказание ещё не начиналось.

— Чего ревьёшь, когда не бьют? — закричал Култуханов. — Молчи!

Девка выла без памяти.

— Замолчи, Паранька, — начал было говорить отец, — вишь, барин...

— Молчи сам, когда не спрашивают! — крикнул Култуханов и ударил опять конюха нагайкой по голове. Удар пришёлся несчастливо, пулькой в самый висок. Конюх упал без памяти, обливаясь кровью. Но это не остановило Култуханова. — Кому, говори, отдала ключ? — спрашивал он у растянутой Параньки, в то время как псари готовили розги.

— Ой, батюшки! Ой, смерть! — кричала Паранька. — Парфёну отдала, кормилицы мои, Парфёну.

— А, Парфёну? А не запирала в светёлку? Вот оно! Брось её, подними! Давай сюда опять Парфёна!

Параньку сняли с кобылы, не наказывая.

Дело в том, что Култуханову не спалось ночью, и ему, часу в пятом утра, пришло в голову посмотреть на любимого своего буланого жеребца. Он пошёл в конюшню, которая на ночь запиралась. Култуханов отпер её своим ключом и нашёл буланого вещего взмыленного и стоявшего на привязи. Видно было, что на нём ночью ездили и сейчас только вороти-

лись.

Сейчас за бока Парфёна, конюха собственно при его буланом коне.

— Говори, кто ездил?

Тот божится-клянётся, что никто, что конюшня была заперта, а ключ у главного конюха Луки. Как его ни пороли, он больше не сказал ничего.

Потребовали Луку. Тот признался, что повесил ключ на место не сам, а отдал дочери; а та призналась, что она ключа от конюшни не запирала в светёлку, как велел ей отец, а отдала Парфёну.

Парфёна перед тем только что бросили за-мертво. Но для Култуханова и это было не препятствие.

— А, Парфёну! Давай сюда Парфёна! Давай! — можно сказать, визжал Семён Темрюкович.

Но такова живучесть человека, такова сила чувств его самосохранения. Когда обратились к месту, куда бросили Парфёна, его уже там не было. Он исчез.

Семён Темрюкович взбесился страшно.

— Беги, лови! лови! — кричал он. — Ско-

рей, живо! Отыскать, поймать! Живо! Засеку, всех засеку, коли упустите! — вопил он, раздавая направо и налево удары нагайкой.

Люди бросились со всех ног.

Но что же? Выйдя из конюшни, они увидели, что Парфён в конце поля за речкой удирает во все лопатки на буланом жеребце.

Бешенству Степана Темрюковича, когда ему это сказали, не было предела.

— Лови! тащи! Дуй в мою голову! — кричал Култуханов, выходя из конюшни. — Бери лошадей! Скачи, бей смертным боем! Живого или мёртвого подавай! — вопил он без памяти. — Не то всех засеку, на поселение пошлю, на каторгу!

Он задыхался.

Все побежали, рассыпались, захватили лошадей и полетели во весь дух.

— А ты что стоишь? Лови, беги! Иначе, смотри, живой из-под плетей не встанешь! — закричал Семён Темрюкович, поднимая нагайку на приказчика Дементьича, вышедшего за ним из конюшни.

Бросился бежать и тот. Он тоже вывел лошадь и поскакал.

В конюшне остались только притаившаяся Паранька да истекающий кровью её отец.

Семён Темрюкович ходил перед конюшней и ждал. Он обдумывал: какую бы пыткой помучительнее уморить Парфёна. «Вот только, пусть только...»

Но он ждал напрасно до ночи; этого «только» не было. Ни Парфён, ни псари и никто из бывших на конюшне, даже Дементьич, не воротились. Все до одного бежали. Лука Васильев тут же при нём Богу душу отдал, а Параньку Култуханов засек до смерти уже на третий день.

Как беглецам было не пропеть:

Не мешай мне думу думати.

— Сказать нечего, хорошо, очень хорошо! Что вблизи подойдёшь, что издали смотришь! Ишь палата какая, смотреть любо! И глянь-ка, глянь: звона на крышу-то болваны какие понаставлены! Думаешь, маленькие, ан вдвое больше тебя будут! В избу и не вошли бы!

— Эка, паря, как всё это у них согласно вышло. Дом, кажись бы, с виду-то и не очень большой, в один обхват всё видишь, а глядишь, кажинное окошко больше твоих ворот выходит.

— На то архиатура; всё в расчёт да в меру делается; всё по чертежу! А вон видишь там, под позолоту готовят! Там будет церковь; сверху-то крест поставят. Как есть царское жилище!

— В окошки-то глядеть, да как оно свечи-то там зажжены — больно красиво выходит! Видишь, золото-то и из-под свечей, и по сторонам везде так и сияет! И какие размалёванные убрusy со всех сторон в глаза кидаются! Видишь, всё как жар горит.

— Что и говорить: мрамор, одно слово — мрамор.

Хоть сутки, кажись, пожил бы там!

— Да, хорошо бы там пожить!

Таким образом рассуждали между собой двое рабочих, один ярославец, живший в Петербурге уже года три, а другой пошехонец, недавно прибывший, любясь на новый Зимний дворец, блистательно освещённый по

случаю празднования заключения мира с Пруссией в 1762 году.

Во дворце происходил парадный обед на тысячу кувертов. За царским столом на одном конце сидел император государь Пётр Фёдорович, а подле него с обеих сторон двое посланников прусского короля Фридриха II, генерал Шверин и адъютант короля, его любимец, полковник и камергер барон Гольц. Подле Гольца сидела графиня Елизавета Романовна Воронцова, «Романовна», как большей частью называл её император, беспрерывно обращаясь к ней в разговоре. Подле Шверина сидели принцы голштинские, дядя государя и его двоюродный брат; тут же фельдмаршалы: Миних, Трубецкой и Шувалов Александр Иванович. Пётр Иванович после смерти государыни скончался, а новому фельдцейхмейстеру генералу Вильбоа было предложено обедать за своим артиллерийским столом. Возле графини Елизаветы Романовны сидел гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, его жена Катерина Ивановна, урождённая Нарышкина, и канцлер граф Михаил Ларионович Воронцов; затем его брат се-

натор, генерал-аншеф, отец Елизаветы Романовны, граф Роман Ларионович, далее княгиня Волконская и сенатор Иван Иванович Неплюев, а за ними другие гости высших чинов. Императрица сидела на другом конце стола; около неё сидела её гофмейстерша графиня Елизавета Осиповна Чернышёва, урождённая графиня Ефимовская, двоюродная племянница покойной императрицы Елизаветы, следовательно приходившаяся императору троюродной сестрой; а подле графини Чернышёвой княгиня Екатерина Романовна Дашкова. С другой стороны государыни сидел великий князь Павел Петрович со своим воспитателем Никитой Ивановичем Паниным; далее генерал-прокурор сената генерал-кригскомиссар Александр Иванович Глебов.

За стульями высочайших особ служили обер-камергер и камергеры, распорядился обер-гофмейстер и гофмейстеры. За стульями фельдмаршалов стояли их так называемые тогда генералс-адъютанты, то есть адъютанты генерал-аншефов и фельдмаршалов, числившиеся в чинах капитан-поручиков и капитанов; в комнате, кроме того, кругом стоя-

ло множество придворных, офицеров, частью находившихся тут по службе, частью же пришедших от других столов из любопытства взглянуть на обедающую царскую фамилию.

Музыка гремела во всех залах, звон стаканов оживлял разговор. Произносимые императором тосты: «За вечный мир и дружбу, за здоровье прусского короля, за здоровье и победы русской и прусской армий!» — сопровождались салютом всех орудий Петропавловской крепости.

Стол был убран цветами и эмблемами мира. На концах стола были поставлены громадные из конфитюра, как говорили тогда, пирамиды, с огромными амурами из леденца, которые держали в руках венки, свитые из живых лавров и миртов, как бы подавая их государю и государыне. Вечеру во дворце назначен был бал и на Неве фейерверк; в городе зажигали иллюминацию.

Государь был весел. Он шутил с Гольцем и Швериным, нередко задевая гетмана Разумовского, над которым любил подшучивать; часто обращался он к своему дяде, герцогу голштинскому, и к канцлеру Воронцову, бес-

прерывно вмешивая в разговор и свою Романовну. Он особенно смеялся, рассказывая, как вытянулась физиономия графа Кауница в Вене, когда Лапчинский объявил ему, что русской армии велено отделиться от австрийской. Нередко обращался он к стоявшим сзади него любимцам Унгер-Штернбергу и Гудовичу, а иногда и к стоявшим позади них голштинским офицерам. Вдруг он встал, приподнял свой бокал и объявил:

— Здоровье русской императорской фамилии.

Дружное «ура», залп из орудий, музыкальный туш во всех залах покрыли голос императора. Все встали и выпили свои бокалы при общих восклицаниях, поздравлениях и громе. Салют продолжался.

Императрица молча тоже осушила свой бокал, но не вставала.

Пётр взглянул на неё гневно и обратился к Гудовичу:

— Пойди, Гудович, спроси у неё, по какому поводу она не хотела встать, когда пили здоровье русской императорской фамилии?

Гудовичу, как ни неприятно было это по-

ручение, пришлось его исполнить.

Екатерине показался оскорбителен вопрос, но она сдержанно и с своей обыкновенной приветливой улыбкой отвечала:

— Русская императорская фамилия состоит из трёх особ: моего мужа и друга — императора, меня и моего сына. Доложите это его величеству, граф, и спросите, в честь кого ему угодно, чтобы я вставала, когда будут пить наше здоровье?

Гудович подошёл к государю и передал ответ.

Пётр вспыхнул.

— Пойди, скажи ей, что она... — тут Пётр сказал слово, принадлежащее теперь истории, но которого нельзя напечатать. Напрасно некоторые из современников, записавших это происшествие, старались смягчить выражение государя. Оно было действительно глубоко оскорбительно и принадлежало к числу тех чисто русских бранных слов, которыми народ одинаково честит и животное, и женщину.

— Скажи ей, — продолжал порывисто Пётр III, — что она должна знать, что двое мо-

их дядей, герцоги голштинские, тоже принадлежат к русской императорской фамилии! Слышишь! Скажи ей это! Да, так и скажи!.. — Но, понимая, что Гудович ни в каком случае не может передать государыне его уже слишком резкие слова, Пётр нарочно повторил их, так что они раздались на весь стол.

Всё разом, будто по волшебству, смолкло.

У императрицы сперва удивлённо раскрылись глаза, когда в словах мужа она услышала площадную брань. Она не вдруг осознала, что это такое. Но через мгновение, когда сознание успело охватить весь смысл унижения и позора, брошенных в неё в виду, можно сказать, целой Европы, слёзы невольно покатились у неё из глаз. Она была вне себя... Но она была Екатерина II.

Прежде ещё чем она успела отереть текущие против её воли слёзы, она обернулась назад к стоявшему за ней камергеру, графу Римской империи, Бохалу Александру Сергеевичу Строгонову, мужу Анны Михайловны Воронцовой, дочери канцлера, но не жившей с ним, а находившейся в разводе. Государыня сказала ему:

— Граф, покажите вашу придворную находчивость, начните рассказывать что-нибудь забавное, чтобы я могла менее заметно перенести оскорбление, которое, вы слышали, мне нанесено!

— Забавное, государыня? — отвечал ловкий придворный. — Сегодня, по случаю торжественного празднования мира с Пруссией, самый забавный и самый современный анекдот, можно сказать, анекдот дня, — это путешествие полномочного посланника и адъютанта прусского короля, полковника и камергера барона фон Гольца с мирным трактатом по петербургским улицам для отыскания нашего секретаря и члена высшей конференции, или совета, как его в настоящее время называют, Дмитрия Васильевича Волкова. Можете себе представить, государыня! Его величество изволил просмотреть проект мирного трактата и сказал барону Гольцу, чтобы он отдал его Волкову. Тот что же? Вместо того чтобы пройти несколько комнат во дворце, вздумал отыскать всех Волковых в Петербурге. Приедет, посмотрит и говорит: «Не тот; у того нос горбом и сбоку звезда, а у этого нос

будто с крыш дым нюхать собирается». Едет к другому Волкову — тоже не тот; у него нос хоть и горбатый и звезда есть, да над правой бровью горошинка; едет к третьему...

— Ну и что же, нашёл он наконец настоящего Волкова?

— Нет, государыня, говорят, так и не нашёл! Доложил государю, что, сколько ни пересмотрел, сколько ни изъездил, — все Волковы, да ненастоящие, а настоящий исчез. А как с Дмитрием Васильевичем был тот грех, что он раз, как-то проигравшись, ещё при покойной государыне действительно исчезал, то государь поверил и велел проект трактата отправить к своему другу Фридриху II, как он был написан Гольцем, без проверки своей конференцией. А какие комические сцены во время путешествия Гольца, говорят, происходили! Рассказывают даже, будто вместо Волкова Гольц попал к какой-то Волковой.

— Как, и отправили проект нашего мирного трактата под редакцией Гольца? Это умышленно, это просто подлог! — начала было горячо говорить Екатерина; но через секунду она приняла сдержанную улыбку и за-

молчала; потом, улыбнувшись, прибавила:—
Какие же это сцены, рассказывайте, рассказывайте!..

Но обед уже окончился. Государь встал и, покачиваясь, пошёл в комнаты голштинского караула. Он хотел курить.

Екатерина воспользовалась этой минутой, чтобы скрыться к себе.

Когда государыня вошла в свои покои, на ней лица не было. В ней кипели бешенство, злоба, презрение. На лице её отражались, казалось, все страсти, но над всем преобладало сознание нестерпимого оскорбления; преобладало чувство горькой нравственной обиды, которая её туманила, ослабляла. Она вспомнить не могла, что с ней было, и дрожала от волнения, вне себя, вне сознания.

За ней шёл граф Строгонов. Но шёл он не с улыбкой придворного, рассказывающего смешной анекдот, городскую болтовню, и не с любезным видом петиметра, желающего увлечь свою даму, а с выражением истинного участия, с выражением действительного сожаления и преданности.

— Успокойтесь, ваше величество, ради

Бога, успокойтесь! — говорил Строгонов. — Государь был вне себя. Он сам не помнит, что он сказал! Множество тостов, весь этот шум, усталость ещё от вечера его отуманили. Можно сказать, у него сорвалось... он сказал нечаянно... Можно ли принимать к сердцу слова человека, который сказал их не помня себя?

— Он мог не помнить себя — как ему угодно; но должен был помнить, кто я! — нервно отвечала Екатерина. — Разве он мог забыть, откуда и какую он меня взял? Разве мог забыть всё моё снисхождение, терпение, сдержанность? Сколько несправедливых упрёков, сколько ядовитых насмешек вынесла я ещё при жизни покойной государыни за его полную ни к чему негодность? Сколько было науськиваний, подстреканий, злобных рассказов и клеветы, на которые сдавалась даже покойная тётушка, — и всё из-за того, в чём был виноват только он! И это было не год, не два, а почти семь лет! Семь лет я не виновата была против него даже и мыслию, тогда как он виноват был предо мною с первой минуты. И он смеет говорить, смеет бросать мне в глаза слово, которое мог слышать толь-

ко в своих казармах, куда собралась сволочь со всего света и где он слушает немецких негодяев, заслуживших у себя клеймо и виселицу. И он смеет говорить, смеет равнять меня с этой уличной швалью? И когда же? Где? В царском дворце, в присутствии, можно сказать, всей Европы. Наконец, в присутствии этой... с которою, напоказ всем... И это я должна видеть, должна переносить... нет, я, кажется, с ума сойду.

И столько мести, столько непримиримой ненависти было в её лице, столько сознания кровного оскорбления, что Строгонов, взглянув на неё, даже испугался. Он понял, что тут слова напрасны, что она не простит и что всякое слово за него будет ей обида. Он замолчал.

Екатерина в это время сорвала с себя бриллианты, обрывая с ними и кружева, и бросила всё это с горячностью на стол.

— И он думает, что он...

Вероятно, в мыслях Екатерины за этим должен был следовать поток упреков ещё более резких; но она опомнилась, пересилила себя и не сказала ни слова.

Прошло несколько секунд обоюдного молчания; наконец Строгонов сказал:

— Государыня! Позвольте мне, во всяком случае, выразить то глубокое чувство сожаления о случившемся, которое вызывает незаслуженное оскорбление. Видит Бог, что, если бы я мог его предупредить, я не пожалел бы жизни...

— Верю вам, граф, и благодарю! Вы и так много сделали для меня участием вашим и вашим разговором. Вы помогли мне проглотить это неслыханное оскорбление — в приличной форме. Теперь прошу вас, ступайте, узнайте: не придумано ли ещё чего-нибудь с их стороны, чтобы меня унижить; и если что-нибудь есть, то хоть предупредите меня!

С этими словами она протянула ему руку, которую граф почтительно поцеловал.

Выйдя из её гостиной, он сейчас же увидел, что Екатерина хорошо знала своего мужа и действительно могла ожидать всего, когда говорила: «...не придумали ли они ещё чего-нибудь, чтобы меня унижить».

При самом выходе из гостиной императрицы он встретил личного адъютанта государя,

полковника князя Ивана Сергеевича Барятинского.

— Ах, Строгонов, как я рад тебя встретить! — сказал князь. — Научи, что делать? Я голову потерял! Я просто без ума! Нашу милостивую государыню, нашу радость-императрицу он велел арестовать.

— Что? Как арестовать?

— Так, арестовать! Говорит: захвати десяток голштинцев, иди к ней, возьми и отвези на первое время в Петропавловскую крепость.

— А великий князь?

— Я тоже спросил; а он: возьми, говорит, её и с сыном, ну их к Богу! Я только тогда буду спокоен, когда они мне глаза мозолить не будут.

— Что же тут делать? — растерянно спросил Строгонов.

— Просто ума не приложу!

— Скажи, как это случилось?

— Да как тебе сказать! Пошёл он в комнату голштинцев и стал курить. Ему подали английского пива. Он стал пить кружку за кружкой. Ну, а ты видел, каков и без того он

вышел из-за стола. Пиво его срезало окончательно. Только он увидел меня и закричал: «Барятинский, ты меня любишь?» Я ответил, что русскому нельзя не любить своего государя. «А любишь, — продолжал он, — так вот возьми команды сколько хочешь и арестуй императрицу!» — «Государь, — сказал я. — Она пошла к великому князю!» — «Возьми, кстати, и его, ордер сейчас получишь!» Я хотел было возражать, но он не стал слушать. «Арестовать! Я приказываю! Смеешь ли ты разговаривать? Смеешь ли ослушаться моих повелений? Сию минуту! Понимаешь!» Что было делать? Я ушёл. И вот теперь брожу по дворцу и просто не знаю, как тут быть?

— Нужно уговорить его; во что бы то ни стало нужно уговорить!

— Как его уговорить, когда, понимаешь, он слушать ничего не хочет!

— Постой! Пойдём к его гольштейнской светлости, представим, что этим можно вызвать неудовольствие в народе, и то, и се... уговорим принца Жоржа!

Они пошли отыскивать герцога гольштейн-бекского и точно уговорили его идти к

государю и убедить его отменить приказание. Приказание было отменено; но надолго ли?

Между тем Екатерина пришла в уборную.

Это была уже не та кругленькая, живая, молоденькая дамочка, почти девушка, которую мы видели в её отношениях к императрице Елизавете и в беседе с Черкасовым и Гедвигой. Теперь она была уже женщина лет тридцати двух; несколько полная и с довольно определённым, несколько жёстким выражением лица. Но и теперь ещё сохраняла она свой чарующий взгляд, свою приветливую улыбку, улыбку обаятельную, особенно когда в ней не просвечивалось то ожесточение, которое её пред тем одолевало.

В настоящую минуту ей было не до приветливости. Только что она осталась одна, как схватила себя за волосы и опустилась в кресло в отчаянии полном, безысходном. «За что? За что?» — твердила она.

Но в это время из-за алькова вышел стройный, красивый артиллерийский офицер и опустился перед ней на колени.

— Государыня, добрая, милостивая, что с вами? Скажите, дорогая, бесценная, обожае-

мая повелительница! Велите, мы все до одного положим за вас свои головы! Я — пусть изрежут меня в куски, пусть снимут с меня мою, ни к чему не годную голову, пусть сдерут кожу, сожгут или что там они ещё выдумают, — я за счастье поставлю всё перенести, всё вытерпеть за один взгляд ваш, за вашу улыбку радости и счастья!

— Это ты, Грегуар? Как ты испугал меня! — сказала государыня, вздрогнув. — Каким образом ты здесь? Ты слышал? Какое оскорбление, какое оскорбление!..

— Наши сели обедать за артиллерийский стол, с своим новым фельдцейхмейстером. Когда поднялась эта суета с тостами, пальбой и музыкой, я и подумал: «Зачем я тут даром время теряю? Попроюсь, думаю, лучше в комнаты нашего ангела, нашей общей надежды, а моей радости, авось успею взглянуть на ваше светлое лицо. Вздумал и тихонько пробрался».

— Ах, Григорий, а если кто-нибудь тебя видел?

— Это было невозможно, я принял все меры! Но если бы... Я думаю, государыня, что то-

гда или меня, или того, кто меня бы увидел, на свете бы не было. А вот и награда. Я вижу вас, я счастлив, безумно счастлив.

Артиллерист поцеловал руку государыни и сел против неё.

— Скажите, всемилостивейшая повелительница сердец наших, что могло вас так расстроить?

— Разве ты не знаешь об оскорблении?

— Оскорбление? Кому? Вам, государыня? От кого?

— Кто мог меня оскорбить, кроме него? Только он один оскорбляет меня, оскорбляет каждым словом своим, каждым взглядом, — оскорбляет самым собою! Я мысли не могу перенести, что такое ничтожество... Сегодня он решил нанести мне оскорбление публичное, нанести оскорбление в виду целой Европы! Из своего казарменного словаря он вырвал слово...

— О, государыня, что ж вы молчите, что ж вы не позовёте нас? Он оскорбляет всех, государыня, оскорбляет войско! Чего — войско! Он оскорбляет весь русский народ. Неужели, государыня, вы думаете, что кто-нибудь в кор-

пуге Чернышёва не оскорблён до глубины сердца тем, что они должны идти за прусского короля против королевы венгерской, за которую стояли столько лет, пролили столько крови, потеряли столько товарищей? Неужели вы думаете, что у каждого не скребут на сердце кошки при мысли о том, что же он такое? Что мы? Шашки, кегельные шары, наёмная машина драться насмерть? Вчера нам говорили: «Для охраны интересов своего отечества, ради чести России вы должны, не жалея себя, идти на врага родины»; а сегодня говорят: «Иди и спасай врага, того, кого вчера бил и кто тебя бил, а бей того, кого вчера спасал». Не оскорбление ли это, не насмешка ли? При этом, подумайте, государыня, корпус Чернышёва последнее время действовал с корпусом Лаудона вместе. Не только у офицеров, но и у солдат явилось друг к другу уважение, завязалась у одного с другим дружба. Общая опасность на поле битвы скоро сближает людей. А тут говорят: «Иди и бей друзей, бей насмерть!» И это говорят не машинам каким-нибудь, не пушкам, которых просто обращивают против всех, а говорят людям, у ко-

торых шевелится же в груди какое-нибудь чувство. Поверьте, государыня, что такой револьт, если он и начинается, так как, говорят, союзный трактат уж подписан, так только потому, что наши и к тому, и к другому, то есть и к пруссакам, и к австрийцам, относятся довольно безучастно; для них и те и другие — одинаково немцы, народ слишком антипатичный для русского сердца. Будь же это с другим народом, хоть с теми же французами, с которыми наши молодцы любят сходиться, хотя друг друга и не понимают, не обошлось бы без крайностей. Пожалуй, побросали бы ружья!

Орлов говорил горячо, с увлечением и вызвал внимание Екатерины.

— Да, я это понимаю, — отвечала государыня. — Это оскорбительно, это... как бы сказать не так резко, это гнусно, тем более что не связывается ни с какими русскими интересами и исходит прямо из чужеземной инициативы. Прусский король, я думаю, себе не верит...

— И это восстанавливает против вашего мужа всех, государыня. К тому же хотя бы эти

голландцы? Неужели, государыня, вы полагаете, что все мы, вся гвардия, артиллерия, всё войско, не возмущены той исключительностью, в которую он их ставит? Неужели думаете, что мы не оскорблены все, в своём чувстве народной гордости, теми преимуществами, которые им предоставлены? И кому же? Кого он предпочитает нам, которые учились и выучились под руководством Петра Великого? Он предпочитает, отдаёт преимущество тем, которых мы всегда били, били постоянно, даже до последнего времени. Наконец, весь народ возмущён, что он, император русский, думает о каком-то Шлезвиг-Гольштейнском герцогстве; что ему не довольно быть только русским государем, нужен ему ещё какой-то Шлезвиг! А теперь ещё оскорбление вам, истинной матери отечества...

— Ведь и я немка.

— Нет, государыня, нет! Никто не помнит и не знает вашего чужестранного происхождения; никто не знает даже вашего немецкого имени. Народ, войско, мы все привыкли видеть в вас сперва свою родную великую княгиню, а теперь нашу матушку царицу Екате-

рину Алексеевну, нашу родную, русскую, нам Богом данную государыню. К тому же вы не немка и по происхождению. Вы славянка. Князя Сербские были славяне, пока не онемечились, благодаря папству, напустившему на них Генриха Льва. У брата Алексея есть тому исторические доказательства... Поверьте, ваше величество, наша всемилостивейшая, прекраснейшая повелительница, повелите только...

И он снова припал к её руке.

— Тс! Кто-то идёт.

Орлов быстро скрылся за альковым.

Вошла графиня Матюшкина.

— Я пришла, государыня, выразить вам...

— Ах, Боже мой, оставьте меня! Я хочу быть одна.

— Простите, ваше императорское величество... но я должна сказать, что начинается фейерверк.

Матюшкина поклонилась и вышла.

Екатерина подошла к алькову.

— Я подумаю, Грегуар, обо всём. Но ещё рано. Поговори с товарищами, поосмотришь, и мы подумаем вместе. Жить так невозможно.

Прощай же! Мне нужно идти любоваться фейерверком в честь прусского короля.

Орлов исчез, а Екатерина закрыла лицо руками и опустилась в кресло, на котором она до того сидела, и вдруг, нежданно для себя самой, залилась истерическими слезами.

А в это время ярославец пояснял пошехонцу, как хорошо царём быть. Все ему кланяются, все за него, за царицу, даже за детей маленьких Бога молят; ни повинностей, ни помещика, ни старосты, никого над ним нет; исправников он и знать себе не хочет. Ест и пьёт что ни на есть лучшее на свете, чего только душа просит.

— Одно слово, живи и веселись! — проговорил ярославец, облизываясь от одной мысли, как это хорошо.

— А что, у царя-то, почитай, и вина все золотые бывают? — спросил пошехонец.

— Нет, я работал у покойника, как его? ну, не выговорить: фэйх-цейх, одним словом, у покойного графа Шувалова, так его камардин мне сказывал, будто янтарные бывают.

— Вот оно! Что ж, из янтаря, что ль, они делаются? Хоть бы раз попробовать.

И начали наши мужички перебирать о том, как хорошо на свете царю жить, рассуждая об этом совершенно так, как хохлы, которые рассказывают о царском житье как о царствии небесном, где можно всё сахар, а не то сало есть. Между тем в это самое время Екатерина говорила Орлову:

— Жить так невозможно.

Но и Екатерине было не до думы. Вбежала Матюшкина и заявила, что его величество сердится, что государыня не изволит идти фейерверк смотреть. Поневоле пришлось пересилить себя, проглотить слёзы. Екатерина опять надела на себя бриллианты, оправила кружева и, светлая, блестящая, без малейшего признака огорчения на приветливом, немножко подрумяненном лице, вышла на балкон.

— Вот царица, гляди! — указывал ярославец пошехонцу. — Какая она, матушка, у нас весёлая да радостная!..

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

Недалеко от Вильны, бывшей некогда стольным градом великого княжества Литовского, в небольшом, наполненном жидами местечке Бендзишках, стоял довольно красивый панский дом с флигелями, амбарами, дозорной башней и другими затеями тогдашнего шляхетства.

Дом был одноэтажный, с мезонином, из красного кирпича с белыми отводами по карнизам. Посередине фасада было приделано широкое крыльцо, над которым была устроена терраса, прикрытая раскинутой над ней зелёной с красными прошивками палаткой.

К дому прилегал широкий двор, на котором были расположены служебные помещения, построенные из дикого камня. Башня прилежала к самому дому; окна в ней были полукруглые, и в одном из них были вставлены нюрнбергские цветные стёкла. Задний фасад дома выходил в сад. На дворе у ворот сто-

али две пушки, около которых суетилась домашняя челядь.

На крыльце расхаживало несколько панов, разряженных, раздутых, в богатых кунтушах, некоторые с откинутыми назад ментиками, и все до одного вооружённые с головы до пят, даже с заткнутыми за пояс пистолями. Между панами ходил и пан Бендзинский, владелец местечка Бендзишки и пан староста Антокольского предместья.

Паны ждали здесь на крыльце более получаса, хотя вышли на крыльцо после того, как прискакал нарочный из Вильны и донёс, что его светлость виленский воевода, ясновельможный и светлейший пан гетман литовский, князь Радзивилл, пане коханко, со своей свитой, состоявшей из трёх карет, изволил выехать из своего княжеского двора в Вильне и, по расчёту времени, должен быть почти немедленно здесь.

«Нет, нет и нет! — думал про себя Бендзинский. — Что ты тут будешь делать? Ну а если он обманет, если не приедет совсем?»

Эта мысль коробила пана Бендзинского. Надутость и гонор, с которыми он вышел на

крыльцо и оглядывал вышедших с ним панов, начинали с него мало-помалу спадать, как осенние листья с пожелтелых тополей.

«Кто ему помешает потом сказать мне, как он сказал пану Пшемоцкому: «Я не думал, пане, что ты такой дурак, что меня ждать станешь! Неужели ты в самом деле думал, что я стану ездить ко всякой дряни? Чего я у тебя не видал?» Смех и стыд будет на всю Литву. Вот, дескать, пане коханко как старика Бендзинского отделал, а тот топорщился, думал угостить. Срам, просто срам!.. А нет, видимо, нет!.. Разве уйти, велеть давать обедать, дескать, приезжай вовремя? — продолжал про себя Бендзинский, замечая, что голодные паньы нет-нет да и посмотрят на него, не то чтобы насмешливо, а как-то сожалительно. — А если тут, как на грех, прикатит? Пожалуй, тогда не выйдет; зачем, дескать, не ждали; зачем не встретили? После просто хоть не показывайся!»

Думая это, пан Бендзинский ходил по своему крыльцу и чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Ему уже представлялись последствия неудовольствия, тем более — бере-

ги Бог! — ссоры с таким могучим и влиятельным вельможей, каков был пане коханко.

«И нелёгкая заставила меня его звать! — продолжал рассуждать Бендзинский. — Истратился, исхарчился и не только больше силы не будет на сейме, — дескать, сам Виленский воевода к нему в гости ездит, — а ещё обида, срам...»

Но вот под горою показались вершники и жолнеры, а за ними и уланы ясновельможного пана Радзивилла. За жолнерами, позади ехавшей курьерской тележки, показалась окружённая ездовыми и гайдуками, в сопровождении скороходов, раззолоченная и разрисованная карета с двумя гайдуками в высоких шапках позади. За каретой ехало ещё несколько экипажей.

Пан Бендзинский оправился. С гордостью окинул он общим взглядом панов, начинавших поглядывать на него с насмешкой.

— Просим, Панове! — сказал он им, сходя на последнюю ступеньку крыльца.

В это время вся вереница верховых, скороходов и экипажей подъехала к воротам, и раззолоченная карета, сквозь зеркальные стёкла

которой виднелась полная, тем не менее довольно ещё красивая и разряженная фигура князя Радзивилла, влетела на двор и подкатила к крыльцу. Экипажи следовали за ней.

Гайдуки быстро соскочили с запяток, откинули подножку высокого экипажа, и князь Радзивилл показался в дверцах кареты.

Пан Бендзинский подхватил его под руку.

— Дорогой, ясновельможный пан, наш многомилостивый воевода и покровитель, пане коханко, светлейший, ясновельможнейший! Как мы счастливы видеть!.. — начал говорить хозяин.

С другой стороны подхватил Радзивилла пан Лепецинский, старый высокий поляк с седыми, уже пожелтевшими от старости усами. Окружили Радзивилла с приветствиями и все другие паны.

Пан Радзивилл хотя был в то время человеком далеко ещё не пожилым и мог многих из предстоящих перед ним панов по летам признать своими отцами, тем не менее насупился и принимал все эти приветствия и поклонения родовитого польского шляхетства с приличной важностью. Опираясь на хозяина

и пана Лепещинского, он сошёл с четырёх ступеней подножки, кивнул как-то лениво панам головой и тихо начал входить на лестницу, будто прихрамывая, в то время как Бендзинский, Лепещинский и другие паны старались ему помочь.

На верху лестницы ждала князя Радзивилла панна Бендзинская с паннами и паненками. Позади них одна из приживалок хозяйки держала блюдо с цветами.

Когда Радзивилл поднялся уже на половину лестницы, панна Бендзинская взяла с блюда цветы и, только он ступил на последнюю ступеньку, бросила их ему под ноги.

— Да будет украшен цветами путь твой, ясновельможный пан! — сказала она.

Бросили цветы к ногам Радзивилла и некоторые из панн и паненок.

Радзивилл отвечал на это приветствие с изысканной вежливостью.

— Счастлив, что удостоился взглянуть на ясные очи прекрасной пани, — сказал он панне Бендзинской, приветствуя всех словом и взглядом.

Вошли в гостиную. Пан Бендзинский уса-

дил гостя на почётное место, сам сел против него, усадив подле себя справа Лепещинского, а слева Нарбута, тоже старого, рослого поляка, весьма богатого и пользовавшегося влиянием.

Несколько секунд прошло в молчании, пока пан Радзивилл не заговорил.

— А что, пан, — спросил он у Бендзинского, — ехал я полем и видел, будто у тебя ярица на скатах-то посеяна?

Радзивиллу хотелось показать, что он интересуется местным хозяйством и знает толк в нём.

— Нет, жито, ясновельможный пан; жито теперь спорее и выгоднее будет. Брагу ли, пиво ли изготовить; да и солод теперь в большой цене.

Опять секундное молчание. Подошла панна хозяйка.

— А что, ясновельможный пан, — сказала она, не прикажешь ли с дороги червячка заморить, хозяйской вудки попробовать?

— Добже, добже! — отвечал Радзивилл. — У такой ласковой пани и вудка слаще мёда.

— Паны, просим покорно!

Все встали и пошли в малую столовую, где перед большой столовой был накрыт стол и уставлен различными закусками, всем, что можно только было достать, начиная от привезённых из Гамбурга в уксусе омаров до литовских колдунов; всего было блюд тридцать, посредине которых стоял большой стеклянный полубочонок с налитой в него водкой; на краях полубочонка висело несколько зацепленных на них ручками серебряных, позолоченных внутри чарок различных фигур и размеров.

— Просим, ясновельможный пан! — сказал Бендзинский, зачерпывая водку из бочонка самой большой чаркой и подавая Радзивиллу.

— Хозяину первая чарка! — отвечал Радзивилл, кланяясь.

— Твоё здоровье, светлейший, ясновельможнейший пан, здоровье дорогих гостей! Да множится сила их, да растут богатства их из рода в род! — сказал Бендзинский, опрокинул в рот чарку и, зачерпывая ею водку вновь, подал Радзивиллу.

— Будь здоров, пан! — отвечал Радзивилл

и выпил водку.

Все начали прикладываться по очереди к чаркам и закусывать.

Когда проголодавшиеся долгим ожиданием паны истребили добрую половину закуски, то хозяйка подошла к ясновельможному пану и просила его удостоить их столованье своим присутствием и почтить их хлеб-соль.

Радзивилл предложил хозяйке руку и пошёл с ней к столу. Все пошли за ним парами, среди которых в конце виднелся и молодой пан Чарномский с хорошенькой пан ночью Бендзинской, молоденькой племянницей хозяина.

Пируют паны; ходят между ними кубки и чарки со ста рым венгерским; пьют они здоровье и свободу старой Пол ши; пьют за вольности шляхетские, за богатства панские. В зале шум, грохот и хохот; на дворе в трубы и зурны играют, в барабаны бьют, из ружей и пушек палят. Пьют и врут паны. Хвастают так, что меры нет и уши вянут. У одного такой конь, что он на нём зайца на всём бегу догнал и на всём скаку схватил за уши; у другого — собака диво! Такая собака, что ни в сказ-

как сказать, ни пером описать. Перепела и рябчики сами к ней в рот летят, только что она его раскроет. Тогда она сжимает их осторожно, чтобы дичи не испортить, и коли тут охотник — подаёт ему, а нет — так подле себя складывает и снова рот открывает, чтобы дичь летела. У третьего хлопец такой есть, который шагов на сто, а не то и на двести из пищали орех — простой, калёный орех — без промаха пулей раскалывает, да так, что ядра не коснётся и не испортит.

— Как же ты, пан, орех на верёвочку вешаешь, что ли, чтобы в него стрелять можно было? — спросил пан Лепещинский у рассказывавшего.

— Нет, не на верёвочку, зачем на верёвочку? — отвечал рассказывавший пан. — Просто кладу на стол, а хлопец бьёт. Как выстрелит, шелуха отлетит, а ядро на столе останется.

— А если орех пустой был?

— Ну а пустой, так пустой и останется, только шелуха улетит.

— Ладно, пан! Верно, твой хлопец и пустого ядра не тронет!

Кто-то сказал, что хороши кони и собаки у пана Тышкевича; что во дворе у него также стрелки хорошие есть и охота поэтому хорошая бывает.

Тут поднял свой голос Радзивилл, заявляя, что Тышкевич — ничего! Важное дело Тышкевич! Да у него, Карла Радзивилла, по фольваркам таких Тышкевичей десятки; да любая его собака всей стаи Тышкевичевой стоит! А лошади! Да у любого его шляхтича конь лучше выписанного Тышкевича коня, которого он везде напоказ выставляет. Да и небогат же он! Дело невеликое, что он этого русского дурака, князя Зацепина, обморочил, у себя летом в лесу зиму сделал! Это ещё не Бог знает что! дело не Бог знает какое узенькую дорожку солью засыпать. Вот если он, князь Радзивилл, задумает зиму сделать, то кругом себя на пять вёрст солью засыплет и озеро посреди лета заморозит, так что мальчишки на коньках кататься станут!

И пошёл, пошёл наш пане коханко рассказывать, что коли есть, дескать, богатство и слава, коли есть что хорошее, так только у него, у одного него.

Расходился князь так, что и удержу нет. Между тем подали столетние меды заветные — как говорил хозяин; ради дорогого гостя из-под зешш вынесли. Музыка загрела краковяк и мазурку, забили вновь барабаны, а пальба началась залпами.

Через четверть часа все сидели как прикованные к своим стульям и молчали, «зане языки прильпе к гортани!». Столетний мёд своё взял.

Но прошло с полчаса, гости снова оживились; зашумели пуще прежнего. Ни голова не болела ни у кого, ни тяжести никто не чувствовал. Панны и паненки давно исчезли из-за стола. Им к вечернему балу готовиться нужно было. Паны остались пировать одни, и разговоры пошли не только о рысаках и борзых — нет! Пошли разговоры о паннах и паненках; а главное, заняла их речь о Москве, что такую силу забрала, что из Петербурга всей Польшей помыкать стала и их вольности шляхетские иногда в грош не ставит!

— Не сила московская, а наша рознь да безурядица нас губит! — сказал пан Пршембельский. — Никакого ладу и порядку у нас

нет, стало быть, и силы быть не может. Говорить мы говорим, а как дойдёт до дела, то самих себя едим!.. Начинаем мы сейчас той же царице кланяться, гроши себе да цацы разные выпрашивать. Вот это-то самое и поедает нас, и губит, и силу нашу крушит. А Москва своё дело знает. На злот подарит, на копу силы отнимет!

Ему стали возражать, но он отражал возражения.

— Я правду говорю! — отвечал Пршембыльский. — Мы все, сами не зная того, покорные слуги русской царицы; все ждём её милости, смотрим из её рук. Поневоле сами отстаиваем её интересы. Да чего тут говорить... хоть бы я сам. Года три-четыре назад мне пришёл просто мат. Хоть всю маетность в экс-дивизию жидам на съеденье отдай и всю семью по миру пускай. И нужно-то было всего тысячу червонных, да где их взять? Свой брат поляк — и не проси! Свои дыры не заткнуты. А жид, когда увидит, что так дела плохи, скорей удавится! А тут посыльный от царицы, как дьявол какой, прости Господи! Что вы, дескать, пане Пршембыльский, у на-

шей государыни не попросите? Да наша царица-милостивица, общая всем мать, она не может быть, чтобы не помогла. Поезжайте вы до Голенбовского, а он вас к Кайзерлингу или Волконскому свезёт, и вы увидите. Ну что было делать, поехал.

Эта исповедь всех смутила. Рыльце-то у всех было в пушку: все пользовались русскими денежками, начиная с Радзивилла; все хлопотали о русских наградах, любили русские меха, сервизы, вещи, только никто и никогда в том не признавался.

— А от чего нужда наша? От той же неурядицы да от мотовства, — продолжал Пршембыльский. — Бывало, какой бы пан там ни был, какие богатства ни были бы у него припрятаны, а ходит в кожаном жупане и ни за какие деньги в колымагу не сядет. А ныне вот хоть бы всеми нами чествуемый, всеми прославляемый, ясновельможный воевода наш, пане коханко, и не взглянет ни на что, кроме шитого золотом французского бархата!

— Что же, по-твоему, пан Пршембыльский, — спросил Радзивилл, недовольный указанием Пршембыльского, — може, ты ду-

маешь — и я скоро до экс-дивизии дойду?

— Оборони Бог, оборони Бог! Я не к тому говорю! Кто не знает, что у тебя в закромах целые сундуки с серебром и золотом нераспечатанными стоят. Да и кто смел бы коснуться столь великого и сильного пана? Твоей милости шапка сама валится поклониться, коли завидит; и что ты на себя ни наденешь, всё будет впору, всё по тебе. А вот беда, что наши, на тебя-то глядя, тоже топорщатся и себя прямо с головой в руки жидам отдают. А попадут в жидовские руки — и говорить нечего, сами не свои будут!

— Уж это оно точно, что у каждого из нас в кармане жид сидит; какому же тут богатству устоять можно? Прежде ещё на том на сём можно было поправляться: то немцами тряхнуть, то с пруссаков взять откуп; да и шляхта если попромотается, то пойдёт в гайдаматчину, посмотришь — и поправится! А теперь что? Народ измельчал, что ли, норовят как бы больше на печи сидеть? — сказал пан Лепещинский.

— Да прежде и поразгуляться-то было где. А теперь куда пойдёшь? Того и гляди, что

в московскую Сибирь попадёшь! — заметил Нарбут.

— А давно ли сама Москва у нас под пятой была; давно ли мы хозяйничали в ней, как хотели? — горячо возразил Лепещинский, — Мне нет ещё и восьмидесяти, а дед мне самому рассказывал, как прапрадед из Москвы целую фуру серебра прислал.

— Да-с, хорошее времечко было, — проговорил с заметным одушевлением Бендзинский, подливая мёду в кубок Радзивилла. — Пан Лесовский да пан Сапега повывезли-таки кое-что из Москвы, и не то что рухлядь какую да серебро, а, говорят, жемчуг и кораллы ковшами мерили. Жолкевич — так, говорят, и богатства-то их с того начались. А пан Гонсевский...

— Прадед покойный, пухом бы над ним земля лежала, в его отряде был и рассказывал деду, как они там с Лангевичем хлопские монастыри обирали. Святейший отец тогда из Рима особое благословение прислал: дескать, хлопская вера не есть истинная вера, поэтому дело богоугодное — у них что можно взять да матку-бозку настоящую украсить. Поживи-

лись-таки, сказать нечего, и прадед, и Лангевич. Вот Новишки, что дед брату оставил, все на московские деньги были выстроены; да и сестёр отец всё из тех же денег наделил; ну да нельзя сказать, чтобы и мне из них ничего не досталось!

— А сколько добра-то ещё погибло, как назад нас погнали, — заметил пан Кучинский, который до того молчал, хотя, видимо, следил за разговором с живейшим любопытством.

— Оттого и погнали, что ладу не было да была безурядица! — повторил опять пан Пршембельский. — Какое тут было владение, когда сами на себя во всякую минуту идти готовы были; когда Жолкевич Лисовского, Лисовский Жолкевича и оба Гонсевского разбойниками считали? Не было ладу, не было и силы. Так и теперь...

— Хоть ладу и точно не было, а всё-таки повладели Москвой, — заметил пан Кучинский. — И теперь хорошо бы, хоть на полгода.

— Попариться в московских банях, поест московских блинов и калачей, поласкать

московских красавиц! — прибавил кто-то из молодых панов.

— Да, господа, оно так! Только тогда у нас хотя и была неурядица, но зато была и особая сила — их названный царь! Перед этой силой они невольно склонились.

— А кто мешает нам и теперь придумать для них какого-нибудь названного царя?

— Теперь Москва царя не любит; нужно царицу.

— Ну, и царицу. Вон в прошлом году в Витебске...

— Ведь то глупость. Какой-то солдат...

— Може, тогда была ещё более глупость: какой-то монах!

— А хорошо бы, чёрт возьми! стариной тряхнуть? свою царицу на Москву поставить! — сказал пан Радзивилл и засмеялся.

— Так что же, ясновельможный пан? Кому другому, а тебе всё можно испробовать! — заметил с другого конца стола Чарномский. — Как тогда воевода сендомирский, пан Мнишек, на Москву царя повёл, так и теперь, ваша мосць ясновельможная, свою бы царицу...

Чарномский замолчал, чувствуя, что и без того много дозволил себе сказать. Но его подхватил Кучинский:

— Тогда воевода сендомирский дочку свою за царя московского выдал, а ясновельможный пан может сам на царице жениться. А хорошо было бы светлейшему воеводе виленскому стать, кстати, и крулем московским. Вот медов-то попили бы на Москве. Как ни хорош мёд пана Бендзинского, как ни отуманил он нас сразу, а всё-таки... Паны, предлагаю тост: за здоровье будущего круля московского!

Некоторые из панов приложили губы к кубкам.

— Оно точно недурно бы, — проговорил Радзивилл, крутя усы и охорашиваясь. — Мы тогда у всех маетности поокруглили бы... А ведь пристала бы ко мне шапка Мономаха, а? Не правда ли? Ведь хорошо было бы! А?..

Не ожидая ответа на этот вызов, Радзивилл прибавил со вздохом:

— Хорошо-то бы оно было очень хорошо, только откуда теперь возьмёшь царицу, и как убедишь...

— Э, ясновельможный пан, как откуда? — отвечал Кучинский. — Не говорю о том, что у них и теперь есть свой названный и объявленный царь Иванушка, который сидит где-то под замком, и, разумеется, если заплатить, то можно узнать, увезти и его именем поднять пол-Московии, как тогда именем царевича Дмитрия подняли; но если бы даже и царица была нужна, то разве у прежних цариц не могло быть детей? А если не у них, то у их сестёр. У Анны Иоанновны было две сестры, и обе были замужем; будто так непременно уж и была от них одна племянница Анна Леопольдовна. Да и сама императрица Елизавета Петровна была в замужестве, хоть и в необъявленном, но всё же в законном, и куда девались её дети — неизвестно; а ведь у них не меньше прав, чем у этого голштинца...

Эти слова, сказанные Кучинским, остановили общее внимание и заставили многих переглянуться.

Внимание это значительно усилилось от следующих слов Чарномского.

— Прошу дозволения доложить ясновельможному пану, — сказал Чарномский, — что

когда я был в Париже, то слышал, будто там точно воспитывается истинная наследница русского престола, и по роду, и по родству, какая-то княжна Владимирская.

В эту минуту Чарномский почувствовал, что плечо его нагнетает чья-то рука. Он оглянулся.

За спиной у него стоял ксёндз Бонифаций. Бледный, худой, с зловещими, чёрными глазами, он показался в эту минуту Чарномскому выходцем с того света, особенно по сравнению со всеми этими раскрасневшимися, разгорячёнными и оживлёнными лицами гостей, из которых у многих опять уже начинали заплетаться языки.

— Во многоглаголании несть спасения! — проговорил ксёндз на ухо Чарномскому.

Тот поневоле остановился, но чтобы ловко заключить прерванный рассказ, предложил тост за славу Польши и тех поляков, которые дадут Москве свою царицу.

Всё заревело, застучало. Радзивилл выстрелил из пистолета в окно.

Все захлопали.

— Виват, пане коханко, виват!

Паны начали подниматься из-за стола, благодаря пана Бендзинского. Ксёндз Бонифаций исчез.

Гости перешли в гостиную; зал должен был готовиться для бала.

Остановивший Чарномского ксёндз Бонифаций был иезуит. Он жил у Радзивилла и был с ним почти неразлучен. Само собой разумеется, что ни малейшего действия князя Радзивилла не происходило без того, чтобы ксёндз Бонифаций о нём не знал и даже им не руководил. Даже причуды, шалости, дешёвый разврат князя обсуждались всесторонне хитрым иезуитом и не только им допускались, но, можно сказать, даже направлялись.

Поэтому и так как, вероятно, иезуит заметил влияние, которое произвела на Радзивилла болтовня за столом, он счёл нужным перед балом собрать в кабинете хозяина несколько лиц, перед которыми заставил Чарномского рассказать, что он знает о воспитывавшейся в Париже русской княжне.

Чарномский рассказывал, что он слышал, как ещё императрицей Анною Иоанновною была отправлена на воспитание во Францию

сирота, состояние которой было обеспечено взносом значительного капитала в амстердамский банк.

Кроме того, после смерти императрицы на имя этой сироты был доставлен каким-то князем ещё не менее значительный капитал, лежащий в гамбургском банке, вместе с объяснением её происхождения и доказательствами её прав на русский престол. Императрица Елизавета знала об этих правах, поэтому вошла с нею в соглашение и предоставила ей в России обширные имения, с тем чтобы она скрыла свои титулы и права, так как Елизавета хотела, чтобы после неё престол достался её племяннику и удержался в потомстве Петра Великого. Сирота, не имея под руками никаких способов сопротивляться желанию императрицы и будучи, в удалении от страны, в которой ей предстояло бы царствовать, согласилась на это и уступила свои права племяннику Елизаветы, вступившему на престол под именем Петра III. Это было для неё тем необходимее, что она не знала никого из русских, не знала даже русского языка, так как императрица Анна, желавшая сделать наследни-

цей Анну Леопольдовну, которую думала выдать за сына Бирона, поставила непременным условием воспитания отдаваемой сироты совершенное её незнание России. Притом когда состоялось это соглашение, она была ещё так молода, что ей не приходило и в голову желать царствовать. Теперь же, входя в лета, она поняла, что уступила своё первородство за блюдо чечевицы. А как за известными событиями, кончившимися низложением Петра III, престол занят не его сыном, а совершенно посторонней принцессой, не имеющей на него никаких прав, то она нисколько не считает себя связанной данным ею Елизавете обязательством и, как говорили, намеревается искать при всех дворах Европы поддержки своим несомненным правам.

В дополнение ко всему рассказанному Черномский прибавил, что, по его мнению, теперь ей должно быть уже за тридцать, хотя, по дамскому обыкновению, она уменьшает свои года. Красавица такая, каких не много на свете; любезна и ловка чрезвычайно; живёт роскошно и принимает у себя лиц самого высшего общества.

— Воспитана она прекрасно, — говорил Чарномский, — французским, английским, немецким и итальянским языками владеет в совершенстве. Сообщают ещё, — продолжал Чарномский, — будто она говорит по-персидски и будто который-то из её дядей, спасаясь от преследований Анны Иоанновны и Бирона, бежал в Персию. Но в какой степени это справедливо — он не знает, так как лично от неё ничего подобного не слышал, хотя и был ей представлен бывшим тогда в Париже его дальним родственником Мирским.

— Не есть ли это перст провидения, указующий нам путь к сокрушению врагов наших? — проговорил вдохновенно, подняв чёрные глаза свои в потолок, отец Бонифаций. — Не есть ли это указание свыше на то, что некогда нам отворило врата Москвы? — прибавил он, как бы получая внушение свыше.

Радзивилл слушал рассказ Чарномского весьма внимательно; потом обратился к нему и спросил:

— Ты говоришь, пане добродзею, что она красавица?

Чарномский рассыпался в восторженных

похвалах, описывая её наружность. Иезуит переглянулся с Кучинским.

— А не слыхал, пан, — спросил у Чарномского Бендзинский, — большие капиталы в Амстердаме и Гамбурге были на неё положены?

Говорили, будто до шестнадцати миллионов ливров, а иные утверждают, будто более миллиона луидоров! Да, говорят, русские имения её стоят, по крайней мере, вчетверо против этой суммы! — отвечал Чарномский, до которого слухи о капиталах княжны Владимирской, видимо, дошли в преувеличенном виде.

— О-о! — шутливо воскликнул пан Кучинский и обратился к Радзивиллу:— Вот, ясновельможный пан, обожаемый пане коханко, вот бы вам невеста! Войти бы вам с ней в Москву и венчаться вместе на царство в древней столице великой Московии! И богата, и красива, и умна, и с такими правами.

Радзивилл вдруг ударил себя по лбу.

— А что же? — сказал он. — Разве не можно?

— Отчего не можно; если пану Мниш-

ку... — начал было Бендзинский; но отец Бонифаций перебил его, сказав:

— Если ты, пан, согласен, то я испрошу благословение святейшего отца, а с его благословением всё можно! — Потом он прибавил: — И, может быть, Бог судил тебе, светлейший князь, и твоему пресветлому роду быть восстановителем истинной веры в этой несчастной стране схизматиков, не признающих высшего догмата христианства — боговдохновенности и святости нашего святейшего владыки. Так ты согласен, князь? С его благословением горы сдвигаются с мест!

— Разумеется, согласен; ещё бы не согласиться! А право, мне бы пристало быть крулем московским!

— И царём казанским, астраханским, сибирским и всех других царств и земель самодержавным повелителем, — прибавил Кучинский.

— Идёт, идёт! Души не пожалею! — восторженно воскликнул Радзивилл. — Души не пожалею, вот вам моя рука и честное слово Радзивилла!..

С этими словами паны пошли в зал, а там

уже гремела музыка, и несколько паненок подбежали к Радзивиллу, выбирая его танцевать мазурку.

* * *

— Стой! Куда лезешь, образина? Сюда нельзя! Ворочай, пока цел!

Это заявление сделал мужик в сером зипуне, стоявший в Жигулёвских горах на берегу Волги, перед одной из самых непроходимых трущоб, загороженной ещё рогаткой, в то время когда рогатку эту хотел сдвинуть пробиравшийся по тропинке мужик с лошадьёу в поводу.

— А рази нельзя? Голубчик, пропусти, дюже нужно! — отвечал мужик, молодой парень, в отличной суконной безрукавке, красной рубашке и поярковой шляпе с павлиньим пером. Он вёл за собой под уздцы дорогого заводского коня в тонком суконном чепраке, но без седла!

— Пошёл! Говорят, нельзя, и уходи, пока жив! Что мне, из-за тебя свою шкуру подставлять, что ли?

— Что ты, Бог с тобой? Мне крайне нужно! Я поднесу, коли пропустишь, право! Вот в воскресенье на базаре, как придёшь, так и иди прямо к Заворухе, я угощу!

— Убирайся ты к дьяволу с твоим угощением! Что у нас, вина мало, что ли? — замахиваясь толстой суковатой палкой, говорил сторож. — Да и какой леший носит тут вас, чертей? Чем бы дома сидеть да около баб своих греться, а они куда тоись ни на есть в самую преисподнюю лезут! Ну куда ты? Зачем лезешь? Тут и пути никуда нет!

— Мне можно самого-то вашего набольшего повидать?

— Набольшего, ишь ты! Так он тебя к себе и пустит! А пустит, так рази тебе охоче на первой осине висеть да ногами болтать!

— За что же? Ведь я ему не супротивство какое оказываю, а вот коня ему веду.

— Да ты из каких?

— Из беглых.

— А, это другое дело! Коли из беглых, да ещё с конём, то погоду маненько, я те проведу!

И он как-то особо свистнул.

Через секунду свист отозвался, и к разговаривавшим подошёл другой мужик, зевая и почёсывая затылок, тоже с дубиной и широким ножом за поясом.

— Чаво тебе?

— А вот поглядь здесь, я парня к Перфи́лычу сведу. Из беглых, атамана видеть хочет, коня в дар ведёт.

— Ладно! Только повороти скорей, а то мочи нет как спать хочется!

Новые знакомцы направились в густоту леса. Но через несколько минут они снова были остановлены, снова нельзя!

— Что так?

— Атаманы совет держат! Да ты к кому?

— К Перфи́лычу. Вот новенького веду, из беглых! Набольшому-то коня привёл!

— Постой, велю сказать.

— И опять свист, опять нужно ждать, и опять явился подсменный, которого посылают сказать Перфи́лычу, что вот, дескать, так и так, новенький пришёл, с конём атаману в подарок.

— Ты отчего бежал-то? — спросил стоящий на стороже мужик, вырезая себе дубину

из толстого сука дикой яблони, который перед тем срезал.

— Умирать не захотелось: драли до полусмерти и хотели снова начать.

— А драли-то за что?

— Случай такой пришёл. Я был конюхом, вон за энтим самым жеребцом смотрел, а тут...

Но Парфёну — читатели, разумеется, угадали, что это был он, — не удалось рассказать историю своего побега. Его потребовали к атаманам.

Атаманы в это время сидели на прогалинке, подле потухавшего костра. Перед ними на траве стоял небольшой, с дном выбитым бо-чонок мадеры, из которого каждый зачерпывал, когда хотел, небольшой, должно быть унесённой с чьей-нибудь барской кухни, железной чумичкой, или половником.

Атаманов было четверо. Двое из них нам знакомы. Один — известный нам детина, поджидавший на Дону ограбить кого-нибудь, чтобы поесть. Другой его крестовый младший брат Перфилыч, с кем они по па грабили. Остальные двое нам незнакомы, но мы ещё

будем иметь случай с ними познакомиться. Оба человека молодые, крепкие, и видно было, что не над многим задумаются. Одного звали Толкачевым, другого Твороговым. Оба казаки из Яицкой слободы.

— Ну, какое это вино? Только слава, что заморское! — сказал Перфильч, допив половник и опуская его в бочонок. — И не забирает вовсе, хоть весь бочонок выпей. То ли дело наше-то, расейское, от того хоть кто оживёт.

— Какое тут, к чёрту, оживление! Вот купца бы ограбить, так это оживление. А то ножи заржавели! — сказал Толкачев.

— Да и это вино, худо ли оно, хорошо ли, скоро всё выйdet, а другого нет, — заметил Творогов.

— Ну, за вином дело не станет, — отвечал Толкачев. — Пойдём любой кабак разграбим — и дело в шляпе, и водка в запасе!

— Да, чтобы в лесу напиться, а в тюрьме выспаться. Нет, это не дело, господа атаманы, — сказал наш детина. — Мы силы не набрали ещё столько, чтобы прямой рукой что нам нужно брать. Вот когда силу заберём, другое дело!

— Так что ж, без вина так и быть? — спросил Перфилыч.

— И без вина посидишь, когда в лесу те-терева обойти не умел. Эдакая благодать: помещица в два возка ехала; то-то добра, думаю, было! — заметил Толкачев задумчиво.

Детина молчал.

— Да когда никто и не подумал на помочь прийти! Ну, ты, Сидор Иванович, пущай, за делом ходил; а они что? Нажрались себе водки, да им и трава не расти! А всё как-никак, а с барыней-то четверо людей да две бабы было; одному-то и не было сподручно.

— Да, братцы, это точно. Так нельзя! Нужно единство, нужно послушание наблюдать! А то один днём хочет в село идти кабак грабить, другой упускает старуху оттого, что ему помощи нет. Это неладно. Надо как-нибудь уладить сообща.

— Само собою неладно. Да что, Сидор Иванович, ты ведь наш брат старшой, ты и распоряжайся, атаманствуй. Вели, прикажи — а мы слушать будем. Я твой первый послушник; провинюсь — вели высечь; коли никого не будет, я сам себя высеку, — сказал

Перфилыч, опять зачерпывая половником.

— Что ж, и вправду, Сидор Иванович, ты у нас голова; и Перфилыч, и мальцы тебя больше всех слушают, так будь наш главный атаман, а мы твои есаулы будем.

— Стало быть, я царь, а вы мои графы! — оскалив зубы, проговорил детина. — Коли ве-лю кому голову отрубить, так ослушанья не будет? — И он звонко засмеялся, оглаживая свою едва начинавшую показываться бородку.

— Хоть и графы, а коли хоть и между нами найдётся такой ослушник, то разом усмирим! Озорника и бунтовщика, по-моему, в куль — да в Волгу! Дело и будет в порядке.

— Так хотите, братцы?

— Ну да, хотим, хотим, Сидор Иванович! Ты же человек, почитай, непьющий; по крайности вино тебя николи не пробирает, а силища-то, силища, страсть! Атаманствуй, Сидор Иванович, или Хоть царствуй, как там ни зови, только хлебом корми.

— А вот в позапрошлом году, говорят, явился какой-то на Яике, который заявил, что он-де сам царь-государь...

— Да недолго поцарствовал. Через неделю его, раба Божия, схватили; как наказывали-то его, я смотрел.

— Чего смотреть-то было? Я с ним был, с ним и попался, да, видишь, меня не наказывали. А тут уж больно неразумно было.

В это время к ним подошёл молодец.

— Господа атаманы, — сказал он, — чей-то человек пришёл; говорит, из беглых, к нам служить просится. Атаману в дар коня привёл.

— Нынче атаманов нет. А вот царь!

— Царь?

— Да, царь; что рот-то разинул?

— Так что же сказать-то человеку?

— Зови к царю!

— Да смотри же, вели кланяться пониже, чувствовать поусерднее, а то тут же повесим; дескать, царь не любит непокорных! — прибавил Творогов.

Малец ушёл и стал звать Парфёна к царю.

— К какому царю, к настоящему?

— А бис его знает какой! Коли говорит, — царь, так, должно быть, настоящий. Да, смотри, коли не хочешь на суку висеть, кланяйся

ниже.

Парфён струсил и, подойдя, бухнул в землю.

— Чего тебе?

— Твоей милости послужить и конём барским поклониться.

— Ладно! Перфилыч, возьми его в свою сотню и коня огляди! Коли хорош, ему же под присмотр отдай!

— Я не один, батюшка царь. Со мною односелян человек с двадцать, тебе послужить желают.

— Чьей вотчины?

— Култуханова. Лют больно, бежали!

— Ладно, ладно! Осмотри, Перфилыч, и прими, коли годятся; а негодных по местам разослать, чтобы, куда ни придём, языков побольше было. Да, слышь, скажи своим: не своевольничать, слушать начальство. Это первое дело! А то ту же минуту на первую осину! Вон у меня и графы и те послушание оказывают.

— Ну, для начала прибавка силы хорошая, — сказал детина, когда принятого новобранца увели. — Да Бог даст, и много ещё при-

бавится; Култухановы разные позаботятся. И мы тогда, подожди, стариной не хуже Стеньки Разина тряхнём!

III

КНЯЗЬ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

Как ни богата русская история восемнадцатого века самыми разнообразными характерами придворных царедворцев, но едва ли она может указать характер, подобный тому, каким обладал знаменитый некогда генерал-прокурор сената, впоследствии генерал-фельдмаршал и член конференции Петра III, Никита Юрьевич Трубецкой.

Это личность недюжинная. Его не обрисуеть крупными штрихами. Способный стусёвываться до унижения, молчать и выдерживать себя до конца, Никита Юрьевич умел пользоваться малейшим случаем для своего возвышения. И тогда горе было его врагам! Князь Никита Юрьевич никогда ничего не забывал и ничего не прощал.

Он был не Миних по отважности, не Остерман по хитрости, не Бирон по наглости и мстительности, не князь Яков Феодорович Долгоруков по искренности и прямоте и не Иван Иванович Шувалов по сдержанности и скромности. Но в нём было соединено всё, что было в них и чем они, каковы бы они ни были, умели выплыть на верх тогдашнего мутного, хотя и блестящего общества.

Но всё это было в нём только тогда, когда ему было нужно; когда, при помощи того или другого, он мог достигнуть своей цели. Тогда он становился отважен не менее Миниха, хитёр и нагл, как Остерман и Бирон. Он не уступил бы Долгорукову в искренности и Шувалову в сдержанности, если бы это могло его к чему-нибудь вести. А самую жизнь он понимал только тогда, когда она ведёт к власти, к богатству, удовлетворению своих честолюбивых замыслов. А без них он не понимал, зачем и жить.

Действительно, вся его жизнь была стремление достигнуть возвышения, достигнуть власти. Для этого он готов был быть всем. Когда же поставленная им цель достигалась, он

становился совсем другим человеком, иногда совершенно противоположным тому, чем он был, пока не достигалась другая цель, ведущая к желанию третьей.

Но в чём Никита Юрьевич была неизменен, это в мести. Для мести Трубецкой не останавливался ни перед чем, хотя даже и в мести он умел сдерживаться и ждать.

Миних дорого заплатил за свою отвагу; Остерман запутался в своей хитрости; наглость Бирона покарала его самого; сдержанность Шувалова доставила ему только один шанс: возможность уехать, чтобы не испытать участи, может быть более горькой, чем та, которой подверглись они. Один только Никита Юрьевич Трубецкой удержался до конца, поднимаясь всё выше и выше, в продолжение восьми царствований, по своему направлению одно другому совершенно противоположных. И ни разу не сдался он, ни разу не поскользнулся, находя способ даже случайные невзгоды обращать в свою пользу и идти всё выше и выше до тех пор, пока не столкнулся с такой личностью, которая сумела его разоблачить. Но и тут он не погиб, а

удалился с таким почётом, который многие бы сочли целью своей жизни.

Для достижения цели из беззаветно откровенного он превращался в глубоко сдержанного, из легкомысленно болтливого в непроницаемо немого, из скромного в наглого, из благочестивого и нравственного в развратного и атеиста и наоборот. Тем не менее он всегда и во всяком принимаемом им образе был в высшей степени приличен; всегда был верен самому себе. Он изменялся, как хамелеон, тем не менее казалось, что самое изменение его было только одним отливом, который был ничего более, как обман глаз. И никто не мог уличить его ни во лжи, ни в двоедушии, хотя бы даже и то и другое испытал на себе. Само собою разумеется, что Никита Юрьевич часто лгал, но лгал так, что его лжи верили более, чем правде других, и так, что не было возможности доказать, что его ложь была умышленна.

Таков был князь Никита Юрьевич всегда и во всем. Ему с небольшим было за тридцать, когда он был уже генерал-кригскомиссаром, снабжал продовольствием всю армию, не за-

бывая, разумеется, и себя. А прошёл ещё год, другой, и вся внутренняя жизнь России была в его руках, и он умел держать её, пожалуй, твёрже, чем она была в руках царствовавших особ, так что смело можно было говорить: они царствовали, а Трубецкой управлял!

Род князей Трубецких один из знаменитейших в русской истории. Представляя одну из отраслей родовых потомков Гедимины, великого князя Литовской Руси, занимающих по справедливости за фамилиями, ведущими свою родословную от Рюрика и равноапостольного князя Владимира, второе место среди русских родовых имён, князья Трубецкие выдвинулись высоко перед всеми как тем, что долее всех удерживали право удельного державства в своём родовом княжении Трубчевске, так и своей службой, поставившей их высоко даже и после потери удельных прав. Особую знаменитость имя Трубецких получило в смутное время Самозванцев и междуцарствия. Двум двоюродным братьям, детям московских бояр, членов государственной думы, князьям Трубецким, князю Юрию Никитичу и князю Дмитрию Тимофеевичу, так же как и

дяде их Андрею Васильевичу, досталось принимать самое горячее участие в политических смутах того времени. Будучи совершенно противоположных мнений относительно средств восстановить спокойствие государства, Юрий Никитич все силы свои употреблял на то, чтобы укрепить и поддержать избрание на русский престол польского королевича Владислава, и, вероятно, достиг бы этого, если бы не встретил противодействия со стороны отца королевича, короля Сигизмунда III, начавшего домогаться русской короны собственно для себя и тем раздвоившего партию сына. Другому, князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, принадлежит честь первой инициативы восстать против чужеземного владычества. Когда народное движение, возбуждённое необузданными действиями поляков, занявших Москву, достигло своего апогея и нижегородское ополчение, предводимое князем Пожарским, соединило на себе общие стремления России, князь Трубецкой, со своими нестройными, тем не менее многочисленными толпами, много содействовал его успеху. Отвлекая силы поляков, он дал возмож-

ность устроить ополчение и потом, удерживая наступление шведов, он, можно сказать.

подготовил победу и изгнание врагов из родной земли. После, по избрании на царство Михаила Феодоровича Романова-Юрьева-Захарьина, он, служа молодому царю верой и правдой, посвятил себя водворению порядка и умер царским наместником в Сибири. Торжество народной партии заставило приверженцев поляков, в том числе и князя Юрия Никитича Трубецкого с обоими сыновьями, бежать из России в Польшу. В России представителями рода остались только упомянутый Дмитрий Тимофеевич, умерший бездетным, и малолетний брат бежавшего, Алексей Никитич. Любопытно, что по уничтожении уделов в России в пользу обоих этих князей было сделано изъятие, предоставлением им прав державства, уже московскими царями дома Романовых. Первому были предоставлены права удельного князя над Шенкурском «за труды, правду и кровь». Второму, наследовавшему имение брата, права державства были предоставлены уже царём Алексеем Михайловичем за его особо полезную службу при за-

ключении мира с Польшей. Ему было отдано их родовое, фамильное княжество — Трубчевск. Он умер тоже бездетным, приняв иночество и возвратив царю данное ему княжество, так как в России князей Трубецких не было. Тогда внук бежавшего в Польшу Юрия Никитича, князь Юрий Петрович, по смерти отца и деда испросил себе дозволение возвратиться в отечество. Он был принят милостиво, возведён в сан боярина и стал, таким образом, как бы новым родоначальником князей Трубецких. Юрий Петрович женился на сестре знаменитого князя Василья Васильевича Голицына, правнук которого впоследствии, к унижению рода Голицыных, был придворным шутом Анны Иоанновны. У Юрья Петровича было два сына: Иван Юрьевич, фельдмаршал и последний боярин русский, отец двух дочерей и знаменитого впоследствии Ивана Ивановича Бецкого, его незаконного сына, и Юрий Юрьевич, у которого от первого брака было четыре сына и четыре дочери. Старшим из них был Никита Юрьевич. Хотя вышедшему из Польши князю Юрию Петровичу, по ходатайству всесильного тогда князя

Василья Васильевича Голицына, была отдана большая часть имений его двоюродного деда Алексея Никитича, так что он, по справедливости, мог признавать себя весьма богатым человеком, не получив только Трубчевска и державных над ним прав, но, по случаю применения тогда с особой строгостью законов о майорате, он почти всё своё состояние должен был предоставить своему старшему сыну, именно Ивану Юрьевичу; Юрию же Юрьевичу он оставил весьма немного. Немного же Юрий Юрьевич получил и за своей первой женой Алёной Григорьевной Черкасской, именно потому, что выделы из недвижимого имущества дочерям тогда весьма ограничивались. Ясно затем, что Юрий Юрьевич, определяя из шести человек детей своего старшего сына на службу и в то же время предполагая за смертью своей первой жены жениться на второй, молоденькой Ольге Ивановне Головкиной, не мог оказать Никите Юрьевичу сколько-нибудь значительную поддержку в его средствах. Никита Юрьевич должен был заботиться о себе сам, и не только не мог ждать чего-нибудь от отца, но должен был ис-

кать ещё случая помочь ему устроить положение своих братьев и сестёр, из которых одна была, впрочем, замужем за первым тогда богачом в России князем Алексеем Михайловичем Черкасским.

Вот он совсем молодым человеком приехал в Петербург на службу в царствование ещё Петра Великого и, надев мундир Преображенского прапорщика, в старой наёмной колымаге подъехал к вновь отстроенному тогда на реке Мье дому государственного канцлера графа Гаврилы Ивановича Головкина.

Взойдя на площадку лестницы, он, не говоря своей фамилии, приказал доложить старику канцлеру, что приехал офицер из Москвы с письмом от фельдмаршала князя Ивана Юрьевича.

Старик Таврило Иванович в это время сидел у себя в кабинете, одетый в пунцовый бархатный халат на сером беличьем меху, с андреевской звездой на груди и в бархатных сапогах, необходимых ему по случаю подагры, происшедшей, естественно, от тех кутежей и излишеств, которым смолodu Таврило Иванович вместе с царём Петром I отдавался

до пресыщения.

Теперь, увы! ему было уже не до излишеств, хотя по летам он не мог назваться вполне стариком, ему было 58 лет. Но, по мере того как он вынужден был отказываться от всего, что некогда его так занимало, в нём развивалось и укреплялось другое стремление, являлась другая страсть — мелкое самолюбие. Малейшее щекотание этого самолюбия выводило графа Гаврилу Ивановича из себя. Не говорим о наградах: Гаврило Иванович, кажется, с ума бы сошёл, если бы кто-нибудь получил награду выше его. Но просто привет государя или даже временное внимание к кому-нибудь, когда на него непосредственно такого внимания не обращалось, доводили графа Гаврилу Ивановича до болезненности. И теперь он сидел и думал, что вот как ни милостив к нему государь, но обращается непрерывно к вице-канцлеру Остерману, а не к нему, канцлеру графу Головкину. Отчего бы это? Не интрига ли тут какая? Не действительно ли тут потеря расположения?

Рассуждая об этом и скучая, граф Гаврило Иванович был очень рад, что явился кто-то

посторонний. Он велел позвать.

Проходя длинный ряд приёмных зал, неизвестный молодой человек сумел показать, что он не робкого десятка и привык быть в палатах вельмож. Его не поразило ни богатое убранство комнат, ни изящество обстановки, ни множество роскошно одетой прислуги. Он шёл свободно, как у себя дома, бросая подчас рассеянный взгляд на любопытные предметы. Вместе с тем он успел сказать какую-то любезную шутку встреченному им секретарю графа, не оставил приветливым словом и его камердинера. Каждый отворяющий перед ним двери комнатный был приветствован его благосклонной улыбкой. Он был невысокого роста, но сложен чрезвычайно стройно и пропорционально. Маленькая, изящно очерченная голова, покрытая густыми темно-каштановыми волосами, ловко и свободно обращалась на его изящной, будто выточенной шее; молодое, овальное, вместе с тем выразительное лицо давало ему особый оттенок приветливости, как бы немножко насмешливой, но положительно располагающей, вызывающей к себе сочувствие. Взгляд его тёмно-ка-

рих глаз своей чистотой, своей искренностью как бы удостоверял в сдержанности, разумности, с тем вместе и в силе и энергии. Всмотриваясь в эти глаза, нельзя было не сознавать, что во взгляде их если и видится иногда гордая самонадеянность, то самонадеянность не оскорбляющая, не вызывающая на борьбу, а скорее удостоверяющая в способности исполнить ваши желания.

Войдя в кабинет канцлера, молодой Трубецкой разом как бы стушевался, принизился. Куда девались и снисходительная приветливость, и гордый взгляд. Он остановился, как говорят, у самых дверей и не скромным и почтительным, но именно приниженным голосом проговорил:

— По приезде моём в Петербург счёл первым долгом засвидетельствовать своё рабское высокопочитание вашему графскому сиятельству и просить не оставить вашей высокой милостью и покровительством. С письмом от дяди, фельдмаршала князя Ивана Юрьевича, его родной племянник, князь Никита Трубецкой.

С этими словами и несколько раз повторив

свой почтительнейший поклон с надлежащими расшаркиваниями, молодой человек подал письмо и встал в выжидательную позу самого покорного, благоговеющего просителя.

Граф-канцлер внимательно оглядел молодого человека с головы до ног и, видимо, остался доволен его почтительностью и скромностью, поэтому проговорил весьма ласково.

— Очень рад познакомиться с вами, милостивый государь. С вашим дядюшкой, дай ему Бог до ста лет дожить, мы были большие приятели. Будьте гостем, садитесь!

Но Никита Юрьевич не изменил своей позы.

Всенижайше благодарю за милость вашего сиятельства, но и по летам моим, и по чину могу постоять.

И он опять низко поклонился; потом, будто невольно в порыве искренности и увлечения, он прибавил:

— Заслуги вашего сиятельства великому государю нашему и отечеству заставляют нас питать столь глубокое уважение к вашей высокой особе, что не допускают даже мысли си-

деть в вашем присутствии, испрашивая себе вашего всесильного покровительства.

Самолюбивый старик с чувством удовлетворённого тщеславия улыбнулся от этой грубой, даже для того времени, лести. Он любил, когда ему говорили о его заслугах, может быть, именно потому, что действительных заслуг-то у него положительно не было. Кроме постоянной пассивности и исполнительности, оценённых Петром по достоинству, граф Гаврило Иванович не отличается ничем. Вследствие личных отношений и особого расположения Пётр возвёл его на первую ступень государства, но никак не из-за особых заслуг, а просто как человека, в преданности которого он был уверен. Но кто же из вельмож признается в этом даже перед самим собою? И вот он видит, что его заслуги ценятся и прославляются чуть ли не с благоговением. Как же не взглянуть на этого ценителя ласково.

Под влиянием чувства удовлетворённого тщеславия граф Головкин проговорил уже с особой приветливостью, протягивая молодому человеку руку:

— Садитесь, садитесь, молодой человек! Ваша почтительность к старшим делает вам честь. К сожалению, между нынешней молодёжью редко можно встретить уважение к летам и заслуге; тем приятнее, что я встречаю исключение в племяннике моего давнего друга.

Молодой человек как бы от полноты чувства и в восторге видеть такую приветливость от заслуженного вельможи, первого после государя человека в империи, поцеловал протянутую ему руку графа и всё ещё не сел, повторяя свои бесконечные уверения в глубоком уважении и оставаясь в прежней почтительной позе, так что Гавриле Ивановичу пришлось употребить некоторое усилие, чтобы его усадить. Тогда он сел против графа; но сел на кончик стула, вытянув корпус, как бы готовясь по первому слову вскочить.

— Вы, стало быть, почтенного князя Юрья Юрьевича сынок? Ведь других братьев у князя Ивана Юрьевича не было? — спросил граф Головкин.

— Точно так, ваше сиятельство! Юрия Юрьевича старший сын.

— Так, так! И батюшку вашего я знаю хорошо. Мы вместе с ним к королю Августу ездили о шведском Карле договариваться. Только переговоры наши ни к чему не привели. Государь зело было на нас прогневался, да что нам делать-то было, когда и слушать не хотят? Ну что, старик здоров?

— Слава Богу, ваше сиятельство! Приказал мне напомнить о нём вашей милости!

— Как же, помним, помним! Ну что, жениться, говорят, задумал на молодой?

— Женился, ваше сиятельство. Как быть! Одинокая жизнь наскучила!

— Старый греховодник! Седина в бороду, а бес в ребро! Ну и живёт по-прежнему барином в Москве, сенаторствует?

— Точно так, ваше сиятельство! По-прежнему живёт, хоть и трудновато приходится. Сами изволите знать: после деда-то, Юрия Петровича, всё дяде князю Ивану Юрьевичу досталось, отцу же небольшое село; а у отца нас четверо, да и сестёр выделять нужно. По-неволе приходится туго. Едва-едва концы с концами сводили. А теперь как у батюшки жена молодая, может, и ещё дети будут, при-

ходится и совсем плохо.

— Да! Всем нонче плохо жить. А сестрица ваша, Марья Юрьевна, постарше вас будет?

— Четырьмя годами, ваше сиятельство! Но ни батюшка, никто из нас, с самого её замужества, с ней не видимся. Князь Алексей Михайлович сердит на батюшку, что мало наградил. А из чего награждать-то было, когда у самого ничего нет?

— Ну, кому другому, а князю Алексею Михайловичу сердиться грех. Ему, слава Богу, и без приданого жены есть чем жить. А княгиня Марья Юрьевна хозяйка хорошая; дом ведёт в порядке и мужа бережёт.

— Что лее делать, ваше сиятельство? У кого много есть, ещё больше хочет. Вот мне приходится служить и от отца ничего не ждать. Дядя Иван Юрьевич не отказывается помогать, да у самого две дочери. Вот в такой-то своей худобе и крайности, не имея, можно сказать, на плечах чем мундир поновить, я решился прибегнуть к вашему покровительству. Не оставьте вашей высокой милостью. Нельзя ли, кроме офицерства, куда-нибудь ещё к месту приткнуться? Слёзно

молю ваше сиятельство, не дайте погибнуть! Ваше всеильное слово меня счастливым делает. Будьте отцом-благодетелем! — С этими словами молодой человек с своего стула вдруг бухнулся в ноги канцлеру. — Будьте благодетелем, не оставьте! — повторил он, обнимая его колени. — А я век рабом, век послушником буду!

— Полно, полно, — что ты? Не кланяйся. Ладно! Что-нибудь придумаем, сделаем! Полно же, перестань! — говорил граф Головкин Трубецкому, стараясь его поднять. — Ну, сказал, что сделаю, отвяжись!

Когда наконец все сердечные излияния молодого Трубецкого кончились и он опять сидел на своём стуле против канцлера, то граф Головкин сказал ему:

— Напиши ты своему дяде, князю Ивану Юрьевичу, что, помня его старую дружбу, а также и потому, что ты почтительный и скромный молодой человек, я тебя назначу временно исправлять должность секретаря при военной коллегии. Тут ты можешь и мундир свой сохранить, а жалованье и оттуда, и отсюда получать будешь! Между тем прошу

дом мой родным считать, жаловать без церемонии во всякое время, и сегодня прошу ко мне русских щей похлебать! Я со своими тебя познакомлю, и, Бог даст, с голоду не уморим! А к сестрице Марье Юрьевне заезжай непременно! Князь Алексей Михайлович хоть и скуповат, хоть, может, и в самом деле на твоего батьку претензию имеет, но всё рад будет тебя видеть, и человек хороший, а по богатству своему решительно первым человеком считается. Недаром поговорка сложилась: у кого и деньгам быть, если у князя Черкасского их не будет?

Этими словами граф Головкин отпустил Никиту Юрьевича, дав ему поцеловать свою руку и поцеловав его в голову.

Когда Никита Юрьевич вышел из кабинета Гаврилы Ивановича, то ни в выражении его лица, ни в его походке и взгляде не только не было следов никакой приниженности, никакого ласкательства, но было заметно, что он сияет самодовольством. Он добился своего. Канцлер обещался принять в нём участие и дать ему назначение, независимое от военной службы. И он этого добился своей ловко-

стью, своим искусством. Зная мелочное тщеславие старика, он умел к нему подладиться, и слава Богу!

Проходя вторую комнату после кабинета, он встретил третьего сына старика, графа Михаила Гавриловича, который шёл к отцу с Иваном Матвеевичем Олсуфьевым, старинным москвичом, знакомым и школьным товарищем Никиты Юрьевича по Брюсовой школе.

— Егор, ты? Какими судьбами? — вскрикнул Олсуфьев. — Батюшки, и уже в офицерском мундире! Мы тут из кожи лезем, как бы в капралы попасть, а он уже офицер! Вы не знакомы? — спросил он у графа Михаила Гавриловича и татем взаимно их представил.

— Рекомендую: князь Трубецкой Никита Юрьевич, сенатора московского Юрья Юрьевича сынок; племянник, знаешь, того фельдмаршала старика Трубецкого — заики-го! Помнишь: хотел тебя позвать, да, кроме «ми-ми-ми», ничего не вышло. Его родной племянничек, Никита Юрьевич, а по-нашему, по-школьному, Егорка, потому что объегорит кого хочешь, стоит на том! А это, брат, — шут-

ливо продолжал Олсуфьев, обращаясь к Никите Юрьевичу, — третий сын здешнего хозяина, молодой граф Михаил Гаврилович Головкин. Если ты отца, старика Гаврилу Ивановича, успел уже обработать, займись сыном. Только вперёд, братец, скажу, работа будет трудная: хоть молод, а умён. Сам Брюс говорил: «Ума палата!»

Граф Михаил Гаврилович, с детства болезненный и хмурый, сухо принял шутку Олсуфьева, но вежливо раскланялся с Трубецким.

— Не имея чести знать вас, граф, лично, — сказал Никита Юрьевич не то заискивающим, не то одобряющим тоном, — я ещё в Москве много слышал о ваших занятиях. Вы изволили перекладывать на наш русский язык Тита Ливия. И хотя я не имел случая прочесть ваше переложение, но, будучи знаком с подлинником, не могу не отдавать справедливости вашему труду и терпению, особенно в объяснениях и комментариях, которые, как мне в Москве говорили, переданы превосходно, в такой даже степени, что такой знаток римского языка, как отец архимандрит Гедеон, признает это переложение образ-

цовым. Не будете ли столь добры, граф, не доставите ли мне случай ближе узнать ваш прекрасный и почтенный труд.

Михаил Гаврилович машинально, но с чувством удовольствия улыбнулся.

— Поставлю за долг, поставлю за долг, — проговорил он, пожимая Трубецкому руку. Его перебил Олсуфьев.

— Ну, начал!.. — смеясь, сказал он. — Ты, граф, его не слушай. Объегорит ни за грош! Недаром мы его Егоркой прозвали! Так напевать начнёт, что на-поди! И не придумаешь, что он выдумает! Ну да ведь мы, верно, не последний раз видимся? А теперь нам некогда! Поспешим, Михаил Гаврилович, ведь его не переслушаешь!

Таким образом приступил к своей служебной и общественной деятельности князь Никита Юрьевич. У графа Гаврилы Ивановича он стал чуть не ежедневным, любимым посетителем; сошёлся с его сыновьями, зятьями и дочерьми. Старику умел угождать, как никто. Павел Иванович Ягужинский говорил, что из молодых людей только и есть порядочный, что он, Трубецкой. Сблизился он и с своим зя-

тем, Алексеем Михайловичем Черкасским, да так сблизился, что неуклюжий, толстоватый гурман Алексей Михайлович без него скучал и, несмотря на всю свою скупость, ему помогал, и много помогал.

Граф Таврило Иванович скоро в нём стал души не чаять, больше сыновей своих любил и хлопотал за него везде, где только мог.

В 1724 году Пётр Великий вздумал короновать свою вторую супругу в Успенском соборе в Москве. Мотивом этого решения выставлялись её заслуги во время Прутского похода, её постоянное самоотвержение во время нередких и весьма тяжких болезней, которым подвергается Пётр, наконец, надежда, за смертью царевича Алексея Петровича, иметь прямого наследника от любимой жены.

Сущность же дела заключалась в том, что Пётр привязался к Екатерине всею душой, любил её искренне, хотя, разумеется, видел, что она ни в чём ему не соответственна.

Но Екатерина далеко не понимала того величия, которое предоставляется ей этим предложением. Она даже не желала этого торжества и готовилась к нему только в исполне-

ние его воли, не смея ему противоречить. Не один раз под рукой она выдвигала перед ним различные препятствия, которые Пётр должен был отстранять. Однажды, впрочем, предположенное чувство чуть не расстроилось или, по крайней мере, чуть не отдалилось на весьма неопределённое время из-за такой ничтожной причины, как кучер. Екатерина вообще боялась ездить и ездила только со своим кучером, к которому уже привыкла и на которого надеялась. Пётр между тем, желая возвеличия любимой им особы, старался достигнуть, чтобы предположенное выполнение священного обряда происходило с возможно большей торжественностью. Неизвестно, откуда достал он описание церемониала, которым сопровождалось коронование какой-то германской (римской) императрицы. Этим церемониалом он захотел руководствоваться при короновании своей второй супруги. В этом церемониале было назначено, что кучер коронуемой государыни должен быть в чине полковника. А как кучер Екатерины не имел этого ранга, то следовало назначить полковника, который должен был

везти коронуемую государыню. Полковник был назначен. Но вследствие этого назначения Екатерина на коленях умоляла отложить торжество, так как она боялась ехать с неизвестным ей кучером. Пётр готов был рассердиться, но, взглянув на её бледность, видимый страх и страдание, он признал за лучшее отстранить встреченное препятствие тем, что произвёл всегдашнего кучера государыни в полковники.

Встретилось новое препятствие. В церемониале было сказано, что у входа во внутренние покои караул занимали кавалергарды; кавалергарды же замыкали шествие и охраняли приготовленные для коронавания регалии. В России кавалергардов не было вовсе. Гвардию составляли только Преображенский и Семёновский полки. Нужно было создать кавалергардов. Пётр решил учредить эскадрон их при Преображенском полку, формируя их из преображенцев, способных к верховой езде.

Никита Юрьевич Трубецкой узнал о таком решении Петра относительно формирования кавалергардов ко дню коронации от принца

гессен-гамбургского, ухаживавшего в это время за его двоюродной сестрой, дочерью фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого, на которой он потом женился. Весьма вероятно, что ему сказал об этом его будущий тесть, так как предположение это рассматривалось в военной коллегии. Иван Юрьевич надеялся доставить принцу-зятю шефство этой роты, капитан которой ещё не был назначен. А Никита Юрьевич в это время в Преображенском полку был уже капитан-поручиком и ждал роты.

«Вот бы хорошо, — подумал он, — если бы вместо назначения командиром простой роты получить в команду кавалергардов». Тогда он, не говоря о других преимуществах, получил бы тройное жалованье: как преображенец, как секретарь военной коллегии и как кавалергард. Притом положение начальника конных телохранителей особы государыни, долженствовавших составлять три эскадрона: кирасир, гусар и конных егерей — не могло не быть почётным и выгодным. Каким только образом достигнуть этого назначения? Просить дядю — напрасный труд! Он хлопот-

чет о своём будущем зяте, стало быть, ему не до хлопот о других. Другие фельдмаршалы — Голицын, Долгоруков — тоже не будут на стороне Никиты Юрьевича; у всякого есть свои! Разве граф Таврило Иванович?

В один день после обеда и отдыха, когда граф Таврило Иванович потребовал уже себе малинового квасу, чтобы промочить горло, Никита Юрьевич вошёл к нему в кабинет и после продолжительного разговора уехал к себе, ни с кем не простившись и ни с кем не говоря ни слова. А Таврило Иванович потребовал к себе свою последнюю, оставшуюся в девицах младшую дочь, графиню Настасью Гавриловну, хорошенькую и веселенькую девушку, очень милую и чрезвычайно бойкую, хотя, разумеется, по тогдашнему обычаю, не смевшую много разговаривать с отцом.

— Что прикажешь, батюшка? — спросила Девушка весело, заметив, что отец в духе.

— Я позвал тебя, Настя, — проговорил старик, видимо довольный, — чтобы поздравить тебя с женихом! Ты у меня в сорочке родилась, счастливица! Какой жених тебе достался: красивый, умный, почтительный... Ну

и фамилия, и родство... Не знаю, как ты, а я от него просто без ума!

Девушка разом побледнела.

— Чего ты испугалась? Ведь я не за старика какого, не за уroda тебя выдавать хочу, хоть у меня на примете и такой есть. Эх вы, девицы, девицы и есть! Самой давно, почи-тай, только и мерещится — как бы замуж; а сказали, так вот, поди, и боязно, и колется, и Бог ведаёт что!.. Я тебе говорю, жених хороший! Павлуша Ягужинский у меня хорош и у царя в милости; ну а этот будет почище, по роду Бярятинскому не уступит, а что будет в милости, это верно! Я тебе сказал, что молодой, красивый, князь...

При последних словах Гаврилы Ивановича на губах его дочери вдруг появилась улыбка, лицо покрылось розовым румянцем, а в глазах сверкнула не то радость, не то надежда.

— Кто же, батюшка, дозвошь спросить?

— А ты не угадала, плутовка? Поди, и не заметила? Ну, я тебя мучить не стану, скажу прямо: твой наречённый — я ему за тебя слово дал — князь Никита Юрьевич Трубецкой!

— Трубецкой! — вскрикнула было как-то

нервно девушка и осеклась. — Батюшка, о батюшка, не выдав... — начала было говорить она, но слова у ней замерли на губах, бледность вновь разлилась по лицу. Она задрожала и заплакала.

— Не хорош, что ли? — сказал, улыбаясь, отец. — Вздор, Сударыня! Во всех отношениях отличный молодой человек. Ломаться нечего, Бога нужно благодарить! Правда, небогат, но с его умом, характером, почтительностью и уменьем он не оставит детей нищими — наживёт, и много наживёт! Он и теперь из трёх мест будет жалованье получать. Ну и за тобой я кое-что дам, жить будет чем! Все мы богаты царской милостью, а в милости царской к нему нельзя сомневаться. Что ему теперь, двадцать четыре — двадцать пять лет, а он уже Преображенский капитан; ведь в полевой полк по крайности полковником, а не то и генералом назначат. А если вот этих, новых-то, как их, ему дадут, прямо, значит, генеральское место будет.

Но Настасья Гавриловна его не слушала. Бледная, расстроенная, со слезами на глазах, она стояла перед отцом будто приговорённая

к смерти.

— Ну что же, не хорошо, что ли?

— Нет, батюшка, не то; я хотела только...

Я думала, что я...

— Вздор, вздор! Тут говорить нечего! Ваши девичьи пересуды не переслушаешь! Трубецкой всем взял; жених хороший, как есть всем хороший! Завтра же стовор! Самого государя просить буду удостоить пожаловать, так смотри же, будь у меня готова!

На другой день к стовору приехал государь, выпил анисовой голландской водки, поздравил жениха и невесту. Пили венгерское. Играла музыка. Танцевали менуэт и алегер.

Между танцами, в то время как жених говорил с Петром, удостоившим его своего особого внимания, к невесте подошёл, почти ещё мальчик, шестнадцатилетний офицер развитый, впрочем, не по летам: высокого роста, стройный, с едва пробившимися усиками и волосами, вьющимися в кудри на висках.

Он чуть не со слезами проговорил ей своё поздравление и прибавил как-то смутно, с невыразимой грустью: «Дай Бог вам счастья!»

Это был Преображенский прапорщик

князь Иван Алексеевич Долгоруков.

Невеста улыбнулась, поотошла несколько от жениха и, поднося к носу букет, который был у неё в руках, как бы нюхая его и любуясь цветами, проговорила ему едва слышно: «Не грусти!»

Спустя час или полтора государь, пожелав ещё раз счастья жениху и невесте, распрощался. Граф Таврило Иванович, жених князь Никита Юрьевич и большая часть гостей вышли на лестницу его провожать. В это время в амбразуре одного из окон можно было опять заметить невесту, разговаривавшую с молодым князем Долгоруковым. Она что-то очень горячо и жестами ему объясняла, а он грустно и с заметным сомнением покачивал головою. Наконец она его чем-то успокоила и отошла.

Проводив государя, гости воротились. Никита Юрьевич подошёл к невесте. Затем жениха и невесту снова поздравляли. Снова пили за их здоровье, за счастливую жизнь; пели русскую славу, пили опять и пошли ужинать; потом разъехались по домам. А бедная невеста едва дошла до своей комнаты, бросилась

на постель и зарыдала истерически.

По прошествии нескольких дней между женихом и невестой происходил следующий разговор.

— Князь, ведь вы меня не любите, зачем вы женитесь? — спросила Настасья Гавриловна.

— Помилуйте, графиня, из чего вы могли это заключить? Моя аттенция к вам...

— Аттенция, так, но ведь это не любовь...

— Как жених ваш, графиня, я не имел случая доказать вам; но...

— Кто любит, тот, и не быв женихом, найдёт случай доказать! Но дело не в том! Вам не за что меня любить. Признаюсь откровенно, и я не чувствую к вам особой симпатии. Я вас очень уважаю как весьма умного и делового человека; но это не резон, чтобы вам на мне жениться.

— Надеюсь, и не препятствие?

— Вы видите, что не препятствие; я ваша невеста. Но послушайте, я не могу настаивать перед отцом, да это было бы и бесполезно... Я обращаюсь к вам как к благородному человеку: откажитесь от меня! Я не надеюсь соста-

вить ваше счастье и знаю, что сама быть счастливой с вами не могу... Откажитесь...

— Что вы, графиня? Да после того ваш батюшка, братья и все меня со света Божьего сгонят, и по справедливости.

— Полноте, князь; никто не скажет ни слова! Вы скажете, что я злая, капризная, негодная... Я сделаю всё, что вы скажете, чтобы дать вам право это говорить... А вы меня счастливой сделаете, и я вам буду благодарна, целую жизнь свою благодарна!

— Зато как же я-то буду страдать, отказавшись от своего счастья... Нет, вы слишком хороши для того, чтобы кто-нибудь мог от вас отказаться!

— А если я вас не люблю?

— Я постараюсь заслужить вашу любовь!

— Если это невозможно... невозможно...

— Почему?

— Потому, что я люблю другого!

— Вы сами не знаете, что говорите, графиня. Если это испытание твёрдости моих чувств, то напрасно! Я вам скажу, что я постараюсь заставить вас забыть всякого другого!

— Невозможно, невозможно, я не в си-

лах! — отвечала с отчаянием невеста. — Послушайте же, я вас прошу, умоляю! Не пеняйте потом на меня... Я вам говорю откровенно, откажитесь!

Но Трубецкой твёрдо стоял на своём. Партия была слишком выгодна, чтобы он мог от неё отказаться.

И свадьба состоялась, как ни упиралась невеста, сколько ни умоляла она отца, братьев и сестёр.

Новые обычаи туго входят в жизнь. Граф Таврило Иванович был один из самых близких лиц к Петру. Он сам участвовал в редакции указа, чтобы венчать не иначе как с согласия жениха и невесты; но у себя в семье он оставался тем же деспотом допетровских времён, которому, отдавая дочь замуж, и в голову не приходило спрашивать у невесты, согласна ли она. Впрочем, нужно говорить правду, и Пётр не церемонился с невестами в тех случаях, когда заключение брака обуславливалось политическими соображениями.

Сестру отстаивали перед отцом только брат Михаил Гаврилович и сестра Анна Гавриловна Ягужинская; последняя, вопреки сво-

ему мужу, который вместе с тестем находил, что Настеньку лучше устроить нельзя, что лучше Трубецкого и жениха нет. Она ни один раз твёрдо говорила отцу, что Никите Юрьевичу следует отказать, так как сестра его не любит. Один раз от имени своей сестры она решилась говорить и с самим Трубецким. Михаил Гаврилович, вспомнив своё первое знакомство с Трубецким и слова о нём Олсуфьева, что он любит объегоривать, почему в пансионе и гимназии его прозвали Егором, тоже счёл нужным пересказать это отцу и отстаивал сестру, сколько мог; но всё было напрасно. Старик и слушать не хотел.

«Объегорил старика, совсем объегорил, — говорил себе Михаил Гаврилович, — что ты тут станешь делать?»

Неделю спустя после свадьбы Трубецкой должен был ехать в Москву на коронацию Екатерины, сделан был там вторым капитаном роты кавалергардов при Преображенском полку, участвовал в этом новом своём звании в церемонии торжества и получил следующую ему награду.

Не прошло девяти месяцев со дня коронации Екатерины, как знаменитый учёный и пастырь, красноречивый проповедник Феофан Прокопович в Петропавловском соборе, с кафедры, спросил у собравшейся толпы: «Зачем мы собрались, что мы делаем?» И сам же отвечал на вопрос свой: «Петра Великого погребаем!»

Итак, Пётр умер. Выбрали на царство Екатерину; выбрали, по настоянию Меншикова, которому захотелось поцарствовать самому и который был убеждён, что будет царствовать от её имени. Но недолго пришлось поцарствовать временщику. Не стало Екатерины, Долгоруковы одолели его и отправили в Березов. Многих постигла опала с падением Меншикова, а Никита Юрьевич устоял. Он уже интендантством заведовал, хотя ему всего тридцать лет минуло; вперёд, значит, лезет!

Да как ему и не лезть вперёд. Отец — сенатор, дядя — фельдмаршал, батюшка-тесть — канцлер и верховного совета председатель; одна сестра за вице-канцлером и

верховного совета членом, другая за сыном обер-гофмейстера, и уже теперь, хоть и молодой ещё, а уже генерал-поручик и александровский кавалер; двоюродная сестра за принцем гамбургским! Какой-никакой, а всё же принц! К тому же и фаворит, и какой ещё фаворит-то, князь Иван Алексеевич Долгоруков у него живмя живёт! Как же ему и не лезть вверх?

Последнее замечание Никиту Юрьевича очень смущало. Оно было для него не только неприятно, но было оскорбительно. Но что же делать? Нужно было проглотить оскорбление, скрыть неудовольствие. Сила князя Долгорукова, любимца молодого государя, была так велика, что ссориться с ним значило рисковать всем, а Трубецкому рисковать ничем не хотелось.

«Однако начинается уж говор, — думает князь Никита Юрьевич. — Ведь нельзя же: есть обязанности к своему имени, к своему положению. Некоторые из дам уже перестают ездить. Ведь смешно же!.. Наконец, обязанности к семейству. У меня уже два сына. Неужели вместе с ними я должен буду воспитывать

чужого, ненавистного для меня ребёнка? Да, нужно поговорить с женой; это нужно кончить во что бы то ни стало!»

— Княгиня, — сказал он раз жене, — мы станем сказкой города. На нас указывают пальцами. Говорят: только я со двора, князь Иван Алексеевич на двор. Позволю я посоветовать тебе без меня его не принимать!

— Вот хорошо! — отвечала ему нервно жена. — Вас почти целый день дома нет, мне ни с кем не видется! Да что я, в тюрьме, что ли?

— Совсем не ни с кем, а только с князем Иваном Алексеевичем! Поймите, это касается вашей чести! Вон супруга вашего братца Ивана Гавриловича приехала в Петербург и не удостоила нас своим посещением. Олсуфьевы к нам давно не ездят. Что-то давно не жалуется и графиня Остерман. Говорит, в такие дома не ездят. Чего же вы ещё хотите, чтобы в самом деле на вас пальцами указывали?

— Графиня Марфа Ивановна может ко мне ездить и не ездить, это её воля. Я у ней её дорогого Андрея Ивановича не отбиваю. Сестре заехать было некогда, я и не претендую; а

Олсуфьева и вчера у меня была, да если бы и не была, так что ж? Кого я хочу принимать...

— Никто не мешает, только не Долгорукова!

— Отчего не Долгорукова, если мне с ним приятно, если, наконец... если я его люблю! Я сказала вам ещё до свадьбы, что я вас не люблю и любить не буду, что люблю другого, просила отказаться, вы не хотели. Чего ж вы теперь от меня требуете?

— Я требую, чтобы вы держали себя прилично, как Бог и добрые люди требуют от замужней женщины; чтобы с князем Иваном Алексеевичем вы виделись только при всех. Я прошу это настойчиво, княгиня. Если вам не угодно будет меня послушать, делать нечего, я должен буду принять свои меры, поговорить с вашим батюшкой, и...

— А! — протянула только княгиня и ушла к себе, не сказав ни слова и запирая за собой двери.

Но, возвратясь из сената, Никита Юрьевич опять нашёл у себя князя Ивана Алексеевича Долгорукова.

Он лежал преспокойно на диване, перед

ним на столике стояла пустая бутылка и недопитый стакан красного вина.

— А, приятель, — закричал князь Иван Алексеевич, приподнимаясь на диване, когда увидал входящего Трубецкого, — я тебя-то и жду! Что ты там болтал сегодня жене, чем стращал её там? Знай, что если ты хоть словом её огорчишь, тем более если хоть слово скажешь этому старому хрычу, её отцу, то тебе — Якутск, соболей ловить, после приятного разговора с Андреем Ивановичем в застенке! В этом тебе честное слово Долгорукова. Слышал?

Трубецкой совершенно оторопел от такого приветствия. Через минуту, однако ж, он сказал как-то механически:

— Помилуйте, князь, какое вам дело до моей жены?

— Как какое дело? Дурак, братец! Она моя любовница, стало быть, дело есть! А чтобы ты знал, что это правда и мне мешать не смел, я докажу. Эй, Настя! — закричал Долгоруков во всё горло. — Настя, иди сюда!

— Что прикажешь, друг мой? — ласково спросила княгиня Настасья Гавриловна, пока-

зываясь в дверях гостиной.

— Вот надо уверить твоего олуха-мужа, что ты меня любишь, что ты и я — один человек. Поцелуй меня при нём! Ведь ты меня любишь?

— Люблю, мой друг, а его терпеть не могу! Это я сказала ему ещё до свадьбы, хоть тебя не назвала; просила его отказаться, он не захотел. И ты знаешь, что своё слово тебе, что на стоворе ещё дала, я сдержала.

И она подошла к Долгорукову и с видимым наслаждением его поцеловала.

Трубецкой сделал движение, чтобы броситься на Долгорукова, но тот посмотрел на него и, прикрывая собой Настасью Гавриловну, только засмеялся.

— Что, брат, не на драку ли лезть хочешь! Смешишь, братец! Знаешь, что я тебя двумя пальцами раздавлю! Со мною, на что уж у молодого государя сила, да и тот не думает равняться. Если понадобится, я всю твою челядь один разгоню! А у меня тут четверо гайдуков, один к одному подобраны. Свистну, как лист перед травой явятся, да такими шелепами угостят, что небо с овчинку покажет-

ся! Стой же смирно и слушай! К ней тебе подступу нет! Словечка промолвить не моги! А мне постарайся на глаза не попадаться! Когда я приезжаю, ты куда-нибудь проваливай или на другой половине прячься! Это твоё дело, только бы я тебя не видел! За то я тебя потешу, кавалерию красную и аренду выпрошу!

Трубецкому пришлось покориться. Другого исхода не было. Князь Иван Алексеевич Долгоруков был тогда всё! Сестра его была наречённой невестой государя, а сам он любимец, обер-камергер. Его отец и двое дядей были члены верховного совета. Один из них фельд-маршал. Что было делать? Долгоруков был всемогущ! Трубецкому было обидно до невыносимости, было горько, тяжело. Жена пренебрегала им явно. У себя в доме он был не хозяин. В обществе на него буквально указывали пальцами. Но делать было нечего, и Трубецкой молчал.

Никите Юрьевичу хотелось, по крайней мере перед посторонними, показать, что он ничего не знает о неверности жены, что он просто обманут, как бывают обмануты тысячи мужей, поэтому в обществе он окружал её

сбоим вниманием. Он выдерживал себя, стараясь действительно не быть дома, когда приезжал Долгоруков, или незаметно, под благовидным предлогом занятий, уходить в свой кабинет, состоявший из двух комнат, одна над другою, в двух этажах, соединённых внутренней лестницей. Одним словом, Трубецкой был сдержан, сколько было возможно; осторожен до последних пределов осторожности. Но против прямого, явного нахальства, и нахальства уверенного в своей силе и безнаказанности, никакая сдержанность, никакая осторожность не помогут...

Раз как-то поздно вечером подгулявшему Долгорукову с подгулявшими же товарищами вздумалось заехать к княгине Настасье Гавриловне ужинать.

Довольно долго прозанимавшись бумагами, Никита Юрьевич случайно приказал в этот день тоже подать себе ужин.

Сел он ужинать один у себя в столовой. Перед ним стояло плато с графином водки и несколькими бутылками вина, превосходные голландские сельди, холодный цыплёнок с гарниром, кусок сочной говядины, сыр и ви-

ноград.

Едва Трубецкой успел взять крылышко цыплёнка, как к нему ввалилась полупьяная ватага молодых людей под предводительством князя Ивана Алексеевича.

Трубецкой, не выходя из своей роли сдержанности, встретил их приветом. Но Долгоруков, не обращая внимания на этот привет, отвечал дерзко:

— Ну, приятель, не до тебя! Убирайся к чёрту и вели Насте скорей ужинать давать! Да чтобы сама пришла!

Как ни оскорбительна была такая выходка, особенно при посторонних, Трубецкой хотел обратить её в шутку. Поэтому, опускаясь в кресло, он с весёлой улыбкой проговорил:

— Ужин светлomu князю сам на стол пришёл, прошу начать чем Бог послал! Дополнение явится; а за ужином, по русскому обычаю, хозяйка с кубком поздравить выйдет!

Долгорукову почему-то эта шутка не понравилась.

— Что? — воскликнул он. — Я сказал тебе, со мной не встречаться, а ты мне смеешь свои объедки предлагать! Сейчас вон, или в

окно вылетишь, как я обещал! Зови жену и бегом, слышишь!

Но как по этому слову Трубецкой не вскочил и не побежал, то Долгоруков схватил его под мышки, как котёнка, размахнулся, и Трубецкой непременно бы вылетел из окна второго этажа, если бы Голицын и Салтыков, свояк Трубецкому, родной брат мужа его родной сестры, бывший тут вместе с другими, не удержали Долгорукова, заверяя его, что Трубецкой сейчас уйдёт и им мешать не будет, и если бы не успела прийти в ту минуту Настасья Гавриловна и тоже не вступилась бы за мужа.

— Ну, пусть его и убирается к чёрту! — проговорил Долгоруков, отпуская Трубецкого. — Смотри же, чтобы последний раз тебя видел! Убирайся! Вели убрать эти объедки, Настенька, и прикажи собрать ужин, как следует, а пока дай нам вина, мы пить хотим!

Трубецкой поневоле исчез.

IV ДРУГОЙ МИР

Перед читателем Париж. Не нынешний Париж с его преобладанием буржуазии, с лихорадочной деятельностью биржевых игроков, со знаменитостями полусвета и камелиями, не только поражающими своей роскошью и не стыдящимися своего ремесла, но даже, для большей известности, рассылающими свои портреты с адресами по всем столицам Европы на конфетах, разных парфюмерных изделиях и модных товарах. Перед читателями Париж времён Людовика XV и Сен-Жерменского предместья, с мадам Помпадур, принцами и пэрами и королевской войной против парламентов, последнего остатка феодализма. Париж аристократический и клерикальный. Париж времён открытых салонов, остроумия, любезности и элегантной роскоши. Париж скромный, важный, легкомысленный и шутливый, чопорный и обходительный, развратный и богомольный. Париж с

невысокими, изящными домами, с прекрасными памятниками и с полнейшим разделением сословий. Париж, в котором стремление воспитать действительнейшую наивность соединялось с всеобщим почти развратом, правда развратом тоже тонким, умным, деликатным, развратом, делающим вид, что любит и уважает добродетель, тем не менее остающимся тем, что он есть.

Это было самое трудное, самое переходное время Парижа, когда философский анализ естественных прав человека должен был уживаться с полным абсолютизмом королевской власти и выдаваемыми ею бланками повелений на пожизненное заключение в Бастилии, когда схоластика законодательной власти должна была мириться с полнейшим произволом; когда поклонение разумности готовилось перейти в полнейшее безумие и самые священные отношения служили предметом насмешки; когда остроумной шутке не было предела, когда фраза принималась за глубину мысли, а двусмысленный каламбур прославлялся как подвиг. Перед читателем Париж того времени, с духовными конгрега-

циями, пышными процессиями, самобичеванием и полным безверием; Париж с его аббатисами из герцогинь и герцогами из аббатов, с его торжественностью и насмешкой, слепым повиновением и полной разнузданностью, общим сознанием необходимости перемены и общим нежеланием что-нибудь изменить.

Самый внешний вид Парижа был в то время далеко не тот, что теперь. Не было в нём линии этих великолепных бульваров со сплошным рядом шести и семиэтажных домов, отличающихся главнейше тем, что в них всё устроено, всё приспособлено для временного пребывания и ничего для постоянной жизни; не было этих блестящих магазинов с зеркальными стенами, окнами и подоконниками, тянущимися по обе стороны на несколько вёрст; не было зато и этого сумасшедшего движения, способного ошеломить всякого непривычного человека. Бульвары в то время обходили кольцом Париж и только что вошли в черту города, представляя собой, скорее, ряд красивых и изящных дач или загородных домиков времён регентства, разно-

го рода chalet, представителем рьяных поклонников которых при русском дворе так долго был известный нам князь Андрей Дмитриевич Зацепин, изящный реализатор древнего пантеизма в полуварварской России. Да, бульвары были ряд таких шале, а никак не масса сплошных торговых помещений, в которых более всего думается об удобствах и удовольствиях, но в которых всё, самая даже элегантность и изящество, ничего более, как только вывеска, имеющая в основании своём рекламу.

Правда, что и тогда между изящными и разнообразными дачами бульваров, так же как и на улицах Ришелье и Мира, попадались иногда тёмные, тяжёлые, похожие на крепости, скорее тюрьмы, чем аристократические помещения, — отели французских герцогов, графов и маркизов, сохранивших, по крайней мере на бумаге, ещё своё родовое, феодальное право являться к королю в сопровождении вооружённой свиты и не снимать перед ним шляпы даже во дворце. Но по условиям развивавшейся жизни это право, как и самые отели, составляли только анахронизм дей-

ствительности, только один археологический документ, который менее всего мог служить знаменем настоящему. В самых же отелях большей частью даже не жили те, чьё имя они носили, так были они мрачны и неудобны. Впрочем, честь фамилии удерживала от того, чтобы их продавать, и потому без крайней необходимости они не меняли своего имени.

Преимущественно такого рода отели группировались в Сен-Жерменском предместье. Тёмные, мрачные, переходившие из рода в род и весьма редко подновляемые, они среди нового города, обстраиваемого богатеющей буржуазией, составляли как бы особый город и были как бы вековым памятником того минувшего времени, когда господствующему дворянству, состоявшему из одной сплошной массы победителей, приходилось вооружённой рукой удерживать в своей зависимости покорённых и обращённых им в рабство жителей иного поколения, иной расы и иной цивилизации.

В то время, о котором мы говорим, то есть в конце царствования Людовика XV, в Пари-

же, пройдя старинную готическую церковь Сен-Жермен-Оксеруа, на улице, составлявшей некогда авеню предместья, стоял некрасивый, весьма тяжёлой архитектуры дом, сложенный из дикого камня, ничем не облицованный, с тёмными гранитными карнизами египетского стиля. Дом этот, стоя между отелями для ночлега различных феодалов того времени, вероятно, составлял когда-то тоже чей-нибудь отель, но был пожертвован для общественных целей. Он был так же, как и все дома кругом, с толстыми стенами, высокими окнами и с высокой, разделённой брандмауэрами, крышей. Он стоял на дворе, был обнесён высокой каменной стеной, со вставленными вверху шпильками и с башнями по углам.

На дворе росло несколько тощих кустов сирени, смородины, крыжовника и жимолости да качались две-три как-то занесённые сюда чахлые акации; зато, как бы в вознаграждение за эту бедность растительности, позади дома раскидывался густой и ветвистый сад.

Этот дом носил весьма характерное наименование. Он назывался «Преддверием» и был

монастырь не монастырь, но, без всякого сомнения, и не светское учреждение, ибо не только внешний вид, но и внутренний характер его жизни имел полное подобие монастыря. Длинные коридоры с кельями направо и налево; крытые переходы, ведущие в церковь; распределение времени, совершенно совпадающее с порядками монастырской жизни, — уподобляли пребывание в нём полному отшельничеству. В нём жила также игуменья, аббатисы и канонисы; ежедневно отправлялась и служба Божия по монастырскому уставу. Дом этот был именно преддверие монастыря. Он был институтом благородных девиц самого высокого происхождения, предназначенных их родителями к посвящению на служение Господу, за признанием невозможности из своего, хотя бы и значительного состояния сделать выдел соответственного приданого. Здесь будущие бедные затворницы воспитывались, чтобы, по достижении шестнадцатилетнего возраста, поступить навеки в одну из оград, которые должны были их, не выдавших ещё света, отделить от него на целую жизнь. Здесь они готовились к про-

изнесению тех страшных обетов, которыми связывалась окончательно их будущность. Жертвы безумной гордости рода, ради поклонения которому их родители создали целый культ и жертвовали ему будущностью детей своих, они с детства приучали себя к мысли, что предназначение их рождения есть самоотрицание; что для них, по воле Божией, стены их института распадутся только для того, чтобы охватить их более крепкой стеной католического монастыря, которая в свою очередь распадётся, но только для глубины могилы. Они привыкли думать, что такая жизнь — цель их рождения; что она есть неисповедимая воля Промысла; что для неё они явились на свет, поэтому должны подавить в себе все другие помыслы, схоронить глубоко в груди все иные желания. У них не может быть желаний, не может и не должно быть мечты, как нет и не должно быть ни чувств, ни надежды. Чувства их должны перейти в одно благоговение молитвы. Надежда их может быть тоже только одна, что милость Божия не допустит их почувствовать всю тяжесть обетов, которые они неминуемо

произнесут, и возьмёт их из сего тленного мира прежде, чем они испытают на себе всю силу их тяжести.

Описываемый дом хотя и был устроен на средства частной инициативы, но находился в непосредственном нравственном и хозяйственном ведении ордена отцов иезуитов, которые всегда и везде стремились держать в своих руках воспитание юношества. Они руководили направлением учреждения, стараясь внушить своим питомицам, что самое избрание их на тот путь, к которому они предназначены, доказывает особую милость и любовь к ним Провидения, так как именно их оно избрало для содействия своим высшим целям, требуя себе от них только одного — безграничного повиновения.

Как ни безотраднo было, однако, положение всех, живущих в этом доме, но и оно иногда случайно разнообразилось неожиданными происшествiями. Случалось, что какой-нибудь принц крови или герцог-миллионер вдруг успевал влюбиться в одну из тамошних отшельниц и предлагал её родителям соединить с ней свою судьбу, не ослабляя выделом

состояния, предназначенного представителю рода. При такой случайности и в этом преддверии монастыря наступал общий праздник. Невеста освобождалась от уроков и монастырских бдений, получала право принимать своего жениха и ежедневно получать от него конфеты, цветы и другие мелочи, которыми могла угощать и одаривать своих подруг. Бессознательно, инстинктивно, в противоречие своим собственным воззрениям и всем внушениям отцов иезуитов, все называли её счастливицей, начинали ей завидовать. Она действительно смотрела всегда королевой, хотя иногда приходилось с грустью видеть, что её наивные мечты, её девственная красота отдаются руине, которая не возбуждает в ней отвращения только потому, что она не видела ничего лучшего, потому что, как бы там ни было, а всё же эта руина избавляет её от вечного затворничества, а главное, ещё потому, что она не сознавала, что будет с нею за монастырём и что будет там её с этой руиной связывать.

Впрочем, в этом доме, среди заранее обречённых самоотвержению, среди этих, можно

сказать, заранее отпетых для радостей жизни, находились ещё питомицы, помещаемые туда временно, можно сказать, случайно, по особым обстоятельствам и условиям их жизни. Эти счастливицы, представлявшие предмет постоянной зависти всего пансиона, к которым сама начальница должна была относиться с особым снисхождением, составляли обыкновенно центр, вокруг которого обращались постоянно все институтские стремления, все их надежды. К ним обыкновенно относились все подавляемые фантазии отшельниц. Девуцы, не смея мечтать о себе, обыкновенно переносили все мечты свои на них и в своих мыслях жили их будущностью. «Они могут носить серьги!» — думает одна. «Такой-то подарили браслет!» — думает другая. «Счастливицы! — думают обе. — Им всё можно. Они будут наряжаться, будут выезжать. За ними будут ухаживать. Они выйдут замуж, будут танцевать на балах. У них будет своя прислуга, карета, лошади. Счастливицы! счастливицы, что и говорить!»

Между этими счастливицами, вызывавшими общую зависть, находились две питоми-

цы, которые сосредоточивали на себе преимущественное внимание.

Одна из них была девица старшего возраста, на выходе. Она была русская. Это было прелестнейшее существо, какое только можно себе вообразить, но существо сдержанное, холодное, напоминающее собой морозы севера. Довольно высокого роста, стройная, как пальма, с тонкой, гнущейся талией и маленькой головкой, украшенной длинной и густой косой тёмно-русых волос, она казалась олицетворением всех тех надежд, которыми монастырки, Лишённые права надеяться для себя, осыпали её, называя то созвездием королевы, то феей цветов, то представительницей поэзии, то, наконец, нимфой северных льдов. Она смеялась над этими их восторженными выражениями, но вместе с тем сознавала, что если из всех их кто-нибудь действительно может им соответствовать, то это она, и только она. Всегда спокойная и сдержанная, взвешивающая каждое своё слово, с изящно-грациозными движениями и глубоким, упорным взглядом больших ясно-голубых глаз, она настолько отделялась от всех этих, маленького

роста, черноватеньких, живых и болтливых француженок, что, казалось, по самой природе своей она не может быть тем, что они, хотя бы и потому, что она не они, а они ничем не могут собою даже напомнить то, чем может быть она.

Её звали по-русски Настасьей Андреевной; каким-то образом она это знала. Но в монастыре и ещё прежде монастыря, в Италии, потом в Германии, почему-то её прозвали Елизаветой. Потому ли, что имя русской императрицы Елизаветы в то время гремело славой, что самым восшествием своим на престол она заслужила в Европе и преимущественно во Франции имя героя? Может быть, в Европе думали, — какого вздора ведь о нас не думают, — что всякая русская знаменитость непременно должна зваться Елизаветою, как нарицательным именем. Как бы там ни было, только имя Елизаветы как бы прилипло к нашей княжне, стало как бы её собственным именем. Впрочем, общий обычай в католических и протестантских землях давать при крещении по нескольку имён способствовал этому. «Она могла быть названа при креще-

нии Анастасия, Елизавета и ещё как-нибудь, — думали монастырки, — а так как нам нравится более Елизавета, то мы её так и назовём». Но иной вопрос о нарицательном имени её происхождения. Кто она? Откуда? Почему поступила в этот предварительный монастырь? Этого никто не знал. Знали, что в её судьбе принимала участие сама русская государыня, тогда ещё императрица Анна; что её воспитание и будущность обеспечены пятью миллионами франков, положенных в амстердамский банк; что из трёх процентов, даваемых банком на этот капитал, один процент предоставлен в полное и безотчётное распоряжение воспитателей, с тем, однако ж, чтобы она обучалась греческой вере, пользовалась исключительным вниманием и ни в каком случае не чувствовала лишений, чтобы даже детские прихоти её были удовлетворены и, как особое условие, чтобы ни в каком случае не училась русскому языку.

К этим данным знали и то, что когда она была помещена в монастырь, то бывший русский посол в Париже князь Кантемир особо переговаривался о ней с прибывшим тогда в

Париж генералом общества иезуитов, и она была рекомендована особому и предпочтительному вниманию начальницы и священной коллегии самим генералом общества, указавшим, что она может быть полезна для высших целей ордена.

Всё это в совокупности придавало её положению вид таинственности, вид чего-то особого, чего-то исключительного, что не могло не влиять и на внешнее к ней внимание, и на образование её характера и образа мыслей.

Привезла её в монастырь немка, лучше сказать, жена одного из немецких нюрнбергских купцов, бывшего прежде богатым, но разорившимся от неудачных оборотов. Она привезла её потому, что особа, до того её воспитывавшая, скончалась, оставив малютку на её руках. Она слышала, что отец её был один из самых знатных и богатых князей, более она ничего не знала и имени его никогда не слыхала.

Потому в монастыре и прозвали её просто русской княжной, и это имя, как ни было оно для неё несоответственно, сохранилось за нею до того самого времени, когда ей была до-

ставлена её подлинная фамильная бумага и она вышла из монастыря. Русская княжна — вот всё, что знал о ней монастырь. Так что французскому воображению оставался полный простор окружать происхождение её такой таинственностью, какой кто желал, и на основании этой таинственности строить самые невероятные предположения. Разумеется, французы в этом отношении не заставили себя просить.

Сама о себе она тоже ничего не знала. Она только слышала, что её отец знатностью своего рода превосходит самые знаменитые родовые фамилии Европы; знала, что по неизвестным ей политическим или семейным обстоятельствам она была увезена от него ещё грудным ребёнком, воспитывалась сперва в Италии, потом в Германии, пока не была привезена сюда. Она помнит, что от самых юных дней своих она пользуется везде особым вниманием; малейшие прихоти её исполняются; ей позволяют то, чего далеко не позволяют другим, и даже здесь, в католическом полумонастыре, приглашают для неё грека-священника, который учит её по-гречески и право-

славной религии на греческом языке, так как русскому языку её не обучали, и это был единственный случай, когда на свою просьбу о том она получила категорический, но решительный отказ.

К ней никто не приходил и не приезжал, никто о ней не спрашивал, и она жила, росла, развивалась и расцветала совершенной отшельницей, окружённой полной заботливостью, но в удалении от целого мира.

Однако ж она помнила не одну только монастырскую обстановку; она помнила свою первую нянюшку, изящную и благородную итальянку, дочь какого-то художника, которая, едва ли ещё не на руках, каждый вечер носила её в апельсиновую рощу дышать ароматом цветов и любоваться дивным, голубым морем, на котором блестели последние лучи заходящего солнца. Она помнит нежно-лазуревый цвет, окрашивающий всю картину, помнит эти плоды, к которым тянулись невольно её маленькие ручки, и эти лозы винограда, перекидывающиеся от одного здания к другому и качающиеся в воздухе от лёгкого дуновения вечернего морского ветерка,

заставляющего понимать аттическое предание о зефирах. Потом помнит она долгую дорогу, немецкий город, множество игрушек и сестру этой няни, также красивую и молодую, но которую жизнь настолько успела сломить, что она с первого взгляда казалась чуть ли не старухой. Она была замужем за немцем и испытала много такого, что слишком тяжело должно было отозваться на её впечатлительной итальянской натуре. С нею вместе её няня повезла её куда-то, и она опять увидела море, но море суровое, с тёмно-серым колоритом севера и песчаными низменностями, кажущимися вдали морскими чудовищами, выплывшими на поверхность, чтобы успеть уловить хотя бы несколько холодных лучей северного, красноватого и туманного солнца. Но вот всё исчезло, нянюшка её умерла, а её сестра, свято выполняя приказание, должна была представить её в это преддверие монастыря.

В то время, когда привезли в институт княжну, ей было лет одиннадцать, и на русском престоле царствовала уже Елизавета Петровна, но она ничем не изменила положе-

ния нашей княжны. По всей вероятности, она о ней не думала, а может быть, и вовсе не знала. Её отец, Андрей Дмитриевич, может быть, сто раз проезжал мимо окна, из которого смотрела на него его единственная дочь, не думая о том, что она так близко от него. Может быть, и она сто раз любовалась богатым выездом, кровными конями, великолепно снаряженными жокеями блестящего русского князя-богача, не подозревая, что она смотрит на своего отца, о котором она иногда мечтала, но, разумеется, никогда не думала. Ни её няня-итальянка, помнившая хорошо ушаковские наставления и вознаграждаемая с достаточною щедростью за попечения о ребёнке, ни сестра этой няни, выполнявшая указания покойной сестры, — не говорили ей об отце её ни слова. Ясно, что у неё об отце не сохранилось никаких впечатлений, кроме того, что он князь, богат, очень богат и знатен, потому что иначе она не была бы княжною и не воспитывали её бы с такою щедростью и с роскошью.

В пансионе для воспитания будущих монахинь ей дали особую комнату, обставили эту

комнату совершенно не соответственными монастырке вещами, предоставили свободу гулять по залам, коридорам и дортуарам, а в хорошую погоду и по саду сколько угодно; наконец, кроме общего обеда и завтрака, утром подавали ещё шоколад, а вечером десерт и фрукты.

Вместе с фруктами в её комнату всегда входил аббат Флавио д'Аржанто, полуфранцуз, полуитальянец, с мягким взглядом, чёрными глазами и сладкой речью. Начиналась беседа скромная, умная, сдержанная, вместе с тем занимательная, весёлая. Отец д'Аржанто старался внушить своей слушательнице, что она прелестнейшее существо, чему княжна охотно верила, и что она назначена самим Провидением для высших целей, ведущих к истинному благу, добру, долженствующим содействовать счастью человечества.

Княжна если не всему этому верила, то слушала весьма охотно. Ей нравилось быть избранницей Провидения, быть залогом благоденствия. Молоденькой головке хотелось быть утешением горю, облегчением страданию. И она любила эти беседы с отцом

д'Аржанто от всей души, хотя инстинктивно чувствовала, что в них есть что-то не то, к чему влекло её сердце.

А влекло её сердце к восьмилетнему ребёнку другой особенности монастыря, воспитываемой тоже исключительно и с чрезвычайным вниманием. Это была маленькая персиянка. Она прибыла в монастырь несколько месяцев прежде княжны Елизаветы и хотя была моложе её почти четырьмя годами, но развитие её южной крови настолько шло быстрее, что хотя их и нельзя было назвать ровесницами, но казалось, что одна другой старше не более как на полтора-два года. Будучи меньше княжны ростом, но с более округлыми формами, с невыразимой мягкостью и лёгкостью движений, напоминающих собою мягкость и лёгкость котёнка, Али-Эметэ, как называли персиянку, была просто очаровательна. Сразу притягивала она к себе самое равнодушное внимание, захватывала его, а захватив, уже не отпускала, хотя бы тот, кто таким образом становился в круг её чар, был возмущён, огорчён и все силы свои напруг к тому, чтобы сбросить с себя всю силу

её влияния. Чарующее влияние Али-Эметэ преследовало, жгло, не выходило из головы и с каждым взглядом на неё росло, усиливалось до самоотречения. И она понимала свою чарующую силу и умела владеть ею чуть ли не с четырнадцати лет.

По мере того как она выростала и формировалась, ею нельзя было любоваться и восторгаться, как любовались и восторгались русскою княжною; нельзя было увлекаться её красотой, её грацией. Она и не была ни прекрасна, ни грациозна. Но ею нельзя было не упиваться, не засматриваться, а вместе с тем нельзя было не подпасть под то очарование страстности и неги, из которого не было выхода, как из круговорота морских волн.

У неё были тёмно-синие с поволокой глаза, под длинными чёрными ресницами и чёрными же тонкими, будто подведёнными бровями; недлинные, но чрезвычайно густые чёрные волосы, отливающие в синий цвет воронова крыла; овальное личико, необыкновенно правильный профиль и тонкие розовые губки, складывающиеся в улыбку великой страстности и силы, от которых даже самая

улыбка казалась дрожащей.

Вид Али-Эметэ изобличал в ней её восточное происхождение. Он вызывал мечту, негу, охватывал собою воображение. Её глаза смотрели на каждого вызывающе, особенно страстно, будто хотели все обещать, и обещать то, что не могут дать другие смертные, что таится только в ней, в ней одной, и что заставляет каждого замирать от счастья, от бесконечных надежд. Она была сказочная мечта тысячи одной ночи, напоминающая собой ту трёхтысячелетнюю цивилизацию, которая преемственно переходила от поколения к поколению и передавала всё, что даёт способность очаровывать, обвораживать, покорять... Такова была Али-Эметэ. Но кто была она, тоже никто не знал!

Её привёз какой-то англичанин, заплатил деньги за её воспитание до шестнадцати лет, положил капитал, впрочем небольшой, на её выход и первое образование.

Говорили, будто перед избиением Шах-Надиром всего рода последнего из персидских царей один из его верных вельмож успел спасти его дочь-ребёнка и передал её на воспи-

тание англичанину, который привёз её во Францию и отдал в монастырь. Другие отвергли это объяснение, находя его неестественным уже по самой ничтожности суммы, которой обеспечивалась её будущность. Они говорили, что её прибытие во Францию не имеет ничего тайного, ничего загадочного; что оно опирается на чисто реальные расчёты и исходит прямо из стремлений к личной выгоде, овладевшей, как известно, всеми помыслами высших слоёв общества на Востоке.

В то время, — говорили они, — как Надир-шах, отуманенный невероятным счастьем, отдавшим его произволу всю Персию с среднеазиатскими ханствами, вздумал напасть на передовые русские укрепления Закавказья и когда, отброшенный от них неоднократно твёрдой рукой с большой потерей своих полчищ, он бесновался и пьянствовал от отчаяния и для развлечения и успокоения себя рубил головы окружающим его царедворцам, в то время, когда самые заслуженные и любимые им сподвижники трепетали от страха за свою жизнь, — одному из них, Сипех-Селар-хану, одумалось представить ему в

подарок захваченную при нападении на русские укрепления немку.

Шах занялся этой немкой. Он бросил все военные предприятия и велел вести переговоры с русскими о мире, а сам, со своей новой Фатимой, обещавшей ему Магометов рай на той земле, скрылся в роскошных садах тегеранского дворца и хотел разрешить неразрешимый шиитский вопрос о девяности девяти наименованиях имени Аллаха, оставив на попечении Сипех-хана и государство, и его доходы.

Этот случай заставил Сипех-хана подумать, что для получения над своим повелителем наибольшего влияния, которое, разумеется, предоставит ему и власть, и деньги, самое лучшее, пока немка ему не успела ещё наскучить, подготовить для его гарема европейски воспитанную девушку, выбрав из типов красоты Востока то, что представится особо замечательным.

Это решение заставило Сипех-хана задуматься, где он возьмёт такую девушку, чтобы её воспитывать с уверенностью, что она заставит собою забыть всё и всех. В это время,

как нарочно, умер его брат. Наследуя его гарем, он заметил дочь брата, семилетнего ребёнка необыкновенной красоты: с глазами, кидающими стрелы, так говорил он. Эта девица и должна быть первой жемчужиной шахского гарема и первой покровительницей ему самому. Она заставит забыть всех немок и курдинок, заставит забыть грузинских гурий. «Лунолицая красавица через какие-нибудь семь-восемь лет будет такова, — говорил опытный в этом отношении Сипех-Селар, — что перед нею будет меркнуть солнце».

Рассуждая таким образом, он решил воспользоваться племянницей.

В то время в Тегеран для переговоров с персидским правительством в звании посла и полномочного министра прибыл член английского парламента лорд Кейт, бывший потом послом в Вене и Петербурге. К нему решил Сипех-Селар-хан обратиться со своим проектом, прося совета и помощи.

Рыжеватый шотландец, несмотря на неподвижность своего туманного альбионского воззрения, понял, что этот проект Сипеха если и не будет полезен ему самому, то тем не

менее может принести большие выгоды Англии. Воспитанная для гарема восточного деспота девушка может влиять на него не только в пользу личных интересов своего дяди, но и в пользу английского преобладания, в особенности в коммерческом отношении. Недолго раздумывая, лорд Кейт взялся содействовать Сипех-хану в его предположении Родной брат лорда, генерал Кейт, служа ранее в русской службе, только что перешёл в прусскую. Лорд отправил переданную девушку к нему, с тем чтобы тот нашёл случай отослать её в Англию. Таким образом, наша Али-Эметэ через Россию была отправлена сперва в Прагу.

Там она была оставлена в гостинице, с уплатой, разумеется, за содержание её денег, пока происходила в английском министерстве переписка, может ли и какую извлечь пользу Англия из её воспитания. После долгих препирательств, в которых лорд Норт очень хотел все расходы по дороге и содержанию Али-Эметэ возложить на лорда Кейта, признав действия его в этом отношении самопроизвольными, английское казначейство поставило наконец подлежащими возврату

деньги, им на это отпущенные, но назначило столь умеренную сумму на её дальнейшее воспитание и содержание, что проект, казалось, должен был рушиться в самом начале. Правда, английское министерство оговорило, что если окажется впоследствии, что Али-Эметэ действительно принесёт английскому правительству существенную пользу, то она будет вполне вознаграждена по мере пользы, действительно ею принесённой.

Такое решение заставляло лорда Кейта отказаться вовсе от участия в воспитании персиянки, тем более что он не желал и не мог желать, чтобы вывезенная им из Персии девушка могла иметь какие-либо претензии к наследству, оставляемому им его детям, особенно ввиду того что за предоставлением майората старшему сыну и многочисленностью его семейства и без того наследство это было весьма ограничено. Но, разумеется, отказываясь от взятой им девушки, он хотел сохранить своё реноме, не желал стать вразрез чувству своей человечности. Он не мог допустить мысли, что вот он привёз персидскую княжну, с тем чтобы потом пустить её по па-

рижским или гамбургским улицам для снискания себе куска хлеба. Притом он не мог также не принимать в соображение, что ненавидимое всеми торийское министерство лорда Норта, несмотря на милость к нему короля, удержаться долго не может; что весьма вероятно, виги будут более склонны к поддержке коммерческих интересов и внешних сношений. Поэтому, написав обо всём Сипех-Селар-хану и прибавив к означенной английским министерством сумме кое-что из своего и добровольного пожертвования его знакомых, он отправил её на первое время в Киль тоже к нюрнбергской вдове разорившегося купца, которая после доставила в преддверие монастыря и русскую княжну.

Кажется, что нюрнбергская дама, родная сестра бывшей няни русской княжны, по смерти разорившегося мужа начала заниматься подготовкой девочек к поступлению в высшие учебные заведения того времени, к числу которых относился и иезуитский коллегийум. Пансион этой дамы был устроен в Киле, чтобы было удобнее иметь сношение с Германией, Англией, Швецией и Данией. Тем

не менее она часто должна была уезжать, хотя не надолго, из Киля в Нюрнберг, где заканчивались дела её умершего мужа.

У этой дамы начали её учить. Арифметике учил её круглый сердитый немец Шмит. Он часто плевался и любил браниться. Фамилию учителя истории она забыла. Языкам — немецкому, французскому, английскому и итальянскому — её учили сама нюрнбергская дама и её помощница-англичанка, смотревшая вечно, будто проглотила аршин. Ходила за ней старая-престарая старуха, которую звали Катериной. По инициативе ли лорда Кейта или сами по себе, но многие её нередко навещали. Она помнит барона и баронессу Штерн, нередко привозивших ей конфеты, и данцигского купца Шумана, платившего от имени её дяди Сипех-хана за её содержание.

Но по мере того как дела нюрнбергской дамы распутывались и устраивались, она, скукая от своих занятий, решила отправить Али-Эметэ в иезуитское преддверие монастыря. Она была хотя и замужем за протестантом, но католичка до кончика ногтей и находила, что лучше, возвышеннее и целесообразнее воспи-

тания, какое дают отцы иезуиты, не может и быть. Лорд Кейт, который думал главнейше о персиянке, как бы от неё отделаться поприличнее, согласился на это.

— Пусть идёт в монастырь, если захочет. Я же не могу принять на себя ответственность за её целую жизнь!

Решившись на это, он уплатил за её воспитание до шестнадцати лет и положил тысячу пятьсот фунтов на её выход, обзаведение и устройство первых шагов жизни.

Затем её отвезли в монастырский пансион, где она подружилась с русской княжной и душевно к ней привязалась, как в свою очередь полюбила и её русская княжна; полюбила, как взрослая девушка любит ребёнка, тем более что между ними существовала связь в исключительности положения их обеих.

Таким образом, Али-Эметэ, мимо глаз которой, как тени, мелькнули и степное море приволжских лугов, и золотые маковки московских соборов, и невылазная грязь тогдашних петербургских мостовых, сама не зная как, очутилась в объятиях русской княжны, тем скорей, что нюрнбергка, привезя княжну Эли-

зу, сочла себя обязанной познакомить их взаимно, как двух представительниц Востока в столице Франции.

Обласканная холодной и чопорной русской, Али-Эметэ привязалась к ней как кошечка, как зверёк, которого ласкают и любят. Она прибежит, свернётся у неё на коленях, прижмётся к груди, кушает фрукты и слушает отца д'Аржанто об избранниках Божиих и высшем предназначении их деятельности.

Но такая жизнь продолжалась недолго. Дядя Али-Эметэ, узнав, что его племянница попала в иезуитский монастырь, испугался. Он думал готовить её вовсе не для монастырской жизни. Поэтому через французское посольство в Персии он вытребовал её и поместил сперва в Гамбург, под именем девицы Франк, потом перевёл в более обширное учреждение в Лондоне, под именем девицы Шель.

С этой минуты Али-Эметэ о дяде своём ничего более не слыхала. Трудно было и слышать, так как Надир-шах, не стесняясь в своём произволе ничем, приказал двум евнухам своего сераля снять с своего любимого визиря Сипех-Селар-хана голову и принести ему; по-

том, когда ему принесли эту голову в шёлковом мешке, то он два дня над ней плакал, но, разумеется, этим её не воротил, а в утешение себе велел конфисковать все накопленные его визирем богатства, пустив по миру одинаково и его детей, и его племянников.

По поводу долгого неполучения от дяди известия она помнит — тогда не было ей ещё шестнадцати лет, — что её возили к какому-то английскому лорду, который дал ей небольшую сумму денег и поручил по его бланку вытребовать несравненно большую сумму, положенную на её имя в иезуитском коллегииуме, заявляя, что в этом всё её состояние. Она явилась за получением этой суммы и тут необыкновенной красотой своей обратила на себя особое внимание отцов иезуитов, которые с этой минуты не упускали уже её из виду. Кстати сказать, что лорд дал ей паспорт как английской подданной девице Шель де Тремуиль, и она опять начала получать, будто бы от дяди, небольшие суммы, дававшие ей способ поддерживать своё существование.

Но, рассказывая положение Али-Эметэ, мы

совершенно забыли о нашей княжне.

С ней тоже случилось превращение. К ней приехал блестящий и красивый кузен, известный нам князь Андрей Васильевич Зацепин, давший дяде слово во что бы то ни стало отыскать его дочь.

Приезд его смутил весь монастырь. Сама аббатиса находила, что редко случается встретить такого истинного джентльмена, каким был её кузен. Смущение это усилилось, когда узнали, что он привёз княжне известие о смерти её отца и бланк на новые пять миллионов франков в гамбургском банке. При этом он передал ей последний совет её умирающего отца не вдаваться в политику.

«Боже мой, с чего отец мой мог думать, что я занимаюсь или хочу заниматься политикой», — рассуждала она, смотря на своего красавца кузена.

— Я полагаю, что я выше политики, и стою только на том, что мне само по себе должно принадлежать, — отвечала она с такой гордостью, что заставила его подумать: «Боже мой, ну чем не наследница русского престола?»

Князь Андрей Васильевич, снабжая её от-

цовскими миллионами, доставил и все бумаги, определявшие её происхождение. Из этих бумаг княжна Настасья Андреевна, или принцесса Елизавета, увидела, что она действительно после своих трёх кузенов старшая представительница великих князей владимирских, суздальских и московских, а главное, родная и законная племянница умершей императрицы Анны, от её родной сестры Парасковьи Ивановны. Опираясь на эти бумаги, она решила назваться княжной Владимирской-Зацепиной.

Пришло время княжне Владимирской оставить монастырь. Она не знала, что делать и где преклонить голову, несмотря на лежащие в банках миллионы. Но, разумеется, отцы иезуиты умели не заставлять наследниц с миллионами затрудняться этим. Настасья Андреевна, не разделяя религиозных взглядов отцов иезуитов, не могла не быть благодарной им за её воспитание. Потому ли, что точно имели в виду её капиталы, а может быть, и потому, что они тогда уже составляли планы, которым суждено было развиваться впоследствии, но они принимали в ней, можно ска-

зять, отцовское участие. Они положительно её берегли и лелеяли. По наступлении времени её выхода они устроили её со всей роскошью и изяществом, но с полной скромностью и достоинством знатной сироты девицы. Небольшой, но вполне аристократический отель, изящная обстановка, приличный её положению выезд в церковь (католическую) на праздники и в классические пьесы театра; дунья, вполне соответствующая, из вдов заслуженных генералов, принадлежавших к высшему обществу, и не согласившаяся получать жалованья, а согласившаяся только жить с ней, потому что одной скучно; скромный приём коротко знакомых — всё это было так хорошо, так прилично, что против этого нечего было сказать. Княжна выезжала весьма мало; но когда выезжала, то поражала всех своей сдержанной, строгой, холодной, тем не менее пленительной красотой. Много крови испортила она красотой своей мадам Помпадур, которая страшно боялась, чтобы король Людовик XV где-нибудь её случайно не заметил. Правда, вдавшись в полный чувственный разврат, король не ценил уже ничего идеаль-

ного. Помпадур это знала лучше, чем кто-нибудь; но она знала и то, что прихоти этих развратных стариков непредсказуемы и нужно беречься их, очень беречься...

Между тем Али-Эметэ крайне нуждалась. Она понять не могла, что это значит, что её дядя, который прежде был столь щедр на её воспитание, вдруг стал так скуп, когда она должна была жить и поддерживать себя в свете.

Сумм, полученных от английского лорда и из монастырского коллегіума, ей едва хватило на год. Потом она получила, будто бы от дяди, ничтожную сумму; но ей приходилось выплатить своему довольно обширному штату прислуги жалованья больше, чем была вся посылка. Думая о неисчерпаемых богатствах своего дяди, она положительно недоумевала, что случилось с ним? Не знала она того, что богатство этого дяди давно уже лежит в сундуках преемника Надир-шаха, а что теми небольшими посылками, какие она получала, она обязана отцам иезуитам, которые всматривались в её жизнь и, оценивая её действительно редкую красоту, думали, не при-

годится ли она к чему-нибудь?

Уже одно то, что она может подойти под вкус сластолюбивого владыки Франции, стало быть, наденет узду на маркизу Помпадур, стоит того, чтобы о ней подумать и при случае небольшой суммою её поддерживать.

Но им хорошо было рассчитывать, а балованной, несдержанной Али-Эметэ какво было ждать! Она бросилась в Берлин, надеясь, не узнает ли там что-нибудь о дяде, не отыщет ли выхода.

В Берлине она нашла себе исход в поклоннике, карман которого казался неистоцимым. Но это только казалось, и им скоро пришлось из Берлина скрыться в Гент.

Поклонник Али-Эметэ был сын гентского банкира Ван Тоуэрса. В самый день его приезда отец его умер, оставив сыну миллионное состояние. Нечего и говорить, что состояние это он положил к ногам Али-Эметэ.

Ван Тоуэрс был женат. У него были малютки, сын и дочь; но это не остановило Али-Эметэ войти с ним в близкие отношения. Направляемая самыми правилами ислама к свободному взгляду на супружеские отношения,

она без всяких колебаний отнеслась к тому, что мадам Ван Тоуэрс считала своим бедствием. Отцовские миллионы скоро были прожиты, и Ван Тоуэрс со своей возлюбленной Али-Эметэ бежали из Гента в Лондон; там на некоторое время открылся им кредит, благодаря отцовскому имени, но там же Али-Эметэ решила взять ему в помощь другого и, разорив обоих, бежала с ними в Париж, то есть нужно сказать, что Ван Тоуэрс, как разорившийся прежде, должен был и уехать прежде. Она приехала в Париж с бароном Шенком, который последние месяцы в Лондоне принял на себя звание её официального покровителя.

В это время в монастырь, куда должны были по назначению княжны Настасьи Андреевны поступать все письма, адресуемые на её имя, пришло известие о смерти её кузена Андрея Васильевича, об отстранении им своих братьев от наследства и предоставлении всего ей, если она выполнит условия, изложенные в завещании и утверждённые высочайшей волей императрицы Елизаветы.

При этом извещении пришло и подлинное духовное завещание, которое отцы иезуиты

озаботились перевести.

Из него княжна Настасья Андреевна узнала, что она может иметь ещё более 10 миллионов франков капитала, дворцы в Петербурге и Москве, великолепные пригородные имения под Петербургом и Москвой и более 22 тысяч рабов, как тогда говорили, при множестве золота, серебра, драгоценных камней и других редких дорогих вещей стоимостью всего до ста миллионов франков, если согласится на нижеследующее;

1) Сохранить неприкосновенно православную веру.

2) Признавать имение это в целости и нераздельности принадлежностью рода князей Зацепиных и назначить наследником только одного потомка мужского пола, выбирая из своих детей или племянников достойнейшего.

3) Выйти замуж не иначе, как за князя Рюриковича, одного из потомков московского дома, представляемого в то время князьями Шемякиными, Ростовскими, Белозерскими и их отраслями в князьях Вадбольских, Кубенских, Кемских, Шелешпанских и Ухтом-

ских.

Настасья Андреевна, прочитав эти условия, улыбнулась и не сказала ничего, оставив как подлинное завещание, так и все приложенные к нему бумаги и документы в руках отцов иезуитов.

V

ВЕРХОВНИКИ

Но вернёмся к Никите Юрьевичу Трубецкому, которого мы оставили в самую критическую минуту его жизни, когда шайка молодых шалопаев, под предводительством блестящего фаворита князя Ивана Алексеевича Долгорукова, ворвалась в его дом ужинать у его жены и он волей-неволей должен был исчезнуть и ступешаться под опасением вылететь из окна своего дома.

Разумеется, ужин был роскошный, с полным разгулом. Но потому ли, что наконец такого рода разгул дошёл до своего апогея или просто по общей изменчивости человеческой природы, только действительно Трубецкому

более встречаться с Долгоруковым в своём доме не пришлось.

Надоела ли ему княгиня Настасья Гавриловна и потому он начал ездить к ней реже и реже, а потом и вовсе перестал, отвлечённый другими похождениями в самых разнообразных видах, даже до насилия молодых дам, приезжавших к его матери с визитами, или его убедили оставить Трубецкого в покое, так как разве нельзя видеться с его женой везде, кроме дома её мужа, — только к нему он во все перестал ездить. Скоро в обществе начали поговаривать, что Иван Алексеевич хочет жениться; наконец, что он сделал предложение и точно женится на дочери покойного фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, графине Наталье Борисовне. Но скоро наступил конец торжеству Долгорукова. Император Пётр II, простудившись на охоте, захворал оспой и умер. Пришёл праздник на улицу Трубецкого; а Трубецкой оскорблений не забывал.

Долгоруковы все были в силе. Они соединились с Голицыными и составили большинство в верховном совете, где, кроме них, засе-

дали ещё только граф Таврило Иванович, подагристый, ленивый и неспособный старик, да Андрей Иванович Остерман, иностранец. Что же могли они говорить и делать против трёх Долгоруковых и двух Голицыных. Эти трое Долгоруковых и двое Голицыных и решили: за прекращением мужского потомства в колене Петра Великого избрать царствующей государыней вдовствующую герцогиню курляндскую Анну Ивановну и составить ограничивающие её самодержавную власть пункты. Составили пункты, но не на пользу народа, как обеспечение его прав, не на возвышение родины поднятием нравственного значения её сынов, даже не в пользу высших сословий, начинающих уже чувствовать тяжесть произвола, а исключительно в пользу двух фамилий, которые должны были вместе с избранной царицей распределять между собой самодержавную власть.

Ясно, что все обиделись: уж именно кого захочет Бог наказать, затмение на разум пошлёт. Все заговорили:

— Что ж это? Был у нас один царь или царица, худы ли, хороши ли — Божья воля! Всё

же один государь был и по своей воле царством правил; а тут будет восемь, и только из двух фамилий, верховников, потому что кого захотят Голицыны и Долгоруковы, допустят в свой совет, а не захотят — не допустят; ясно, мы все и сама государыня будем у Голицыных и у Долгоруковых в руках. Ну, а если они между собой грызться начнут, ведь от нас будут ключья лететь! Так нельзя, — начали говорить все. — Нельзя! Мы ничем не хуже по роду ни Голицыных, ни Долгоруковых, — говорили древние русские князья Рюриковичи: Ростовские, Белозерские, Оболенские, Зацепины, Ромодановские, Лыковы, Гагарины, Волконские, Звенигородские и другие; им вторили и Гедиминовичи, и другие пришлые князья: Куракины, Трубецкие, Хованские, Черкасские, Урусовы и другие.

— Так нельзя, — говорили старые московские роды: Матвеевы, Морозовы, Головкины, Нарышкины, Лопухины и Салтыковы. — Мы на службе старому московскому дому стояли всегда выше всех князей.

— Нельзя! — говорили и новые люди, выдающиеся своими заслугами: Ягужинские, Го-

ловины, Румянцевы, Неплюевы.

— Нельзя, — говорили иностранцы: Минихи, Менгдены, Остерманы.

— Нельзя, — говорил народ: купцы, мещане, чёрная сотня, представители крупных и мелких капиталов. — Мы уважаем и род, и заслуги князей Долгоруковых и Голицыных, но не желаем видеть их самовластными царями, делящими между собою самодержавную власть.

— Нельзя! — говорило и войско.

Такое всеобщее «нельзя», ясно, не давало надежды верховникам на удержание в своих руках власти. И точно, недовольные, в числе которых стоял и Никита Юрьевич, скоро нашли лазейку к государыне. Парасковья Юрьевна Салтыкова, родная сестра Никиты Юрьевича, взяла на себя труд быть посредницей между недовольными и императрицей, и пункты, ограничивающие самодержавную власть русского императора, были уничтожены.

— Ты меня обманул, князь Василий Лукич, — сказала государыня, уходя по изорванной пунктов. — Ты сказал, что этого желает

вся Россия.

Ясно, что после этих слов самодержавной государыни песенка Долгоруковых была спета; их скоро разослали по деревням, и все о них забыли, кроме Трубецкого, который не забывал ничего и никогда. Тут же, говорят, он ещё до приезда Бирона в случай попал.

* * *

— Терпелив же и ловок наш генерал-прокурор, — рассказывал один из сенатских другому. — Какие уж, говорят, невзгоды терпел, а всё выше лез. Да всё со случайными людьми норовит знаться, и мастер на это, сказать нечего. Вот Бирон приехал, в случай попал, гляди как он с ним сошёлся! Спят и во сне друг друга видят!

— Ну, генерал-прокурор теперь не то, что прежде, при Петре Великом; не то, что был Павел Иванович Ягужинский. Тому всюду дорога была, везде свой нос совать мог! Теперь не то. Кабинет выдумали, кабинет настоящей-то царством правит! — заметил другой сенатский.

— Так-то оно так! — отвечал первый. — Оно точно, что кабинетом наш сенат как шапкой накрыли; а всё генерал-прокурор остался генерал-прокурором, и наш Никита Юрьевич нигде себе охулки на руки не положит. А уж ласков-то, поди как вежлив, обходителен, и говорить нечего; к Ягужинскому, бывало, идёшь, три молебна прежде отслужишь, а к этому хоть бы каждый день ходил. Не облает человека напрасно, и кажется, коли его что не коснётся, человек добрый.

— Добрый-то он и точно добрый, к празднику вот мне 50 рублей награды выдать велел, — прибавил третий, — да уж зато и мучит! Подавай всё сейчас, особенно по этим долгоруковским делам: а они, как на грех, в моём повытье. Который раз их поднимает. Думаешь: ну, конец! Можно и в архив сдать! Ан, глядишь, опять заставляют наверх всплывать, опять сызнова. Должно быть, Никита Юрьевич помнит их великую себе благостыню!

— Ещё бы не помнить. Ты не слыхал разве, что Долгоруков-то его раз чуть за окно не выкинул; говорят, уж за шиворот взял. Не

скоро такую штуку забудешь! Вот он и злобится на Долгоруковых, почитай, не меньше Бирона.

— Да на чём же он дела-то о них поднимает, когда уже решение вышло и в исполнение приведено, — спросил второй сенатский, видимо желая поболтать, вместо того чтобы за делом сидеть.

— Ну, повод-то всегда, всегда найдётся. На что другое, а чтобы повод найти, Никита Юрьевич на это такой мастер, что другого, пожалуй, и нет. То в ведомостях откроет, что вот такие-то и такие вещи были взяты из царской сокровищницы Долгоруковыми, когда они в силе были, и не возвращены; то кто-нибудь из своих же — ведь и свои иногда хуже чужих бывают, а тут львы-то бессильны, почему и ослу не лягнуть, — так вот найдёт кого-нибудь из своих же, что на них жалуется, что ему тот или другой Долгоруков то или другое отнял, то или другое не возвратил или недодал, недоплатил. А как только придёт такая жалоба, Никите Юрьевичу и подавай на справку всё, от самого начала. Пиши и то, как они государя от дела отводили, как обручение

с ним своей сестрицы устроили и потом небрежностью своей уморили. А потом и о подготовке пунктов, и о том, как они стерегли и стесняли государыню и как Ягужинского арестовали. Всё это в точности ему пропиши, обо всём он вновь напомнит. Ну а этого мало, так, смотришь, донос придёт, что вот они о государыне такие-то и такие речи говорят, фаворита так или так поносят. Никита Юрьевич опять в сближении со всем прочим докладывает. Этим он уже добился-таки, что своих приятелей из их деревень в Берёзов упрятал; но, кажется, и там он норовит на них руку наложить. По крайности, опять велел мне дело подобрать.

И точно, Никита Юрьевич не давал Долгоруковым покоя. Помнил он их дружбу, особенно князя Ивана Алексеевича. Уж и Бирон на что больше на них злобился, раза два говорил: «Ну их zum Teufel! Они теперь не опасны, оставь!» А Никита Юрьевич всё своё. «Как не опасны, — думал он, — я докажу, что очень опасны!» И вновь подкапывался, вновь подыскивал.

Сперва он и жену хотел было в лапы взять,

особенно когда тесть-то, граф Таврило Иванович, умер. Но не удалось. Назначили Ягужинского кабинет-министром, и жена его, Анна Гавриловна, вместе с братом, Михаилом Гавриловичем, твёрдо за свою сестру, его жену, вступились. Делать было нечего. Нужно было довольствоваться мелкими уколами и ждать. Не помог бы тут и зять, кабинет-министр, князь Алексей Михайлович, потому что с Ягужинским тяжело было возиться, государыня к нему всегда милостива; а во-вторых, Михайло Гаврилович женился на Ромодановской и по жене государыне родным стал приходиться, а Алексей Михайлович не такой человек был, чтобы решился напролом идти.

Но вот прошло без мала восемь лет, ни тестя, ни жены, ни даже свояка, Ягужинского, давно нет; на суд Божий ушли. Никита Юрьевич на другой уже женился, а все оскорбления, нанесённого первой женой, не может простить. Его враг ещё жив, и Никита Юрьевич помнит своё и не пропустит случая.

А тут и подвернулось дельце, доносик маленький; само собою разумеется, Никита Юрьевич сумел ему дать ход. Речь шла о ка-

ком-то духовном завещании, будто бы составленном Долгоруковыми и подписанном князем Иваном Алексеевичем под руку покойного императора Петра II, и ещё о каком-то подложном его письме. Этими бумагами Долгоруковы будто бы и в ссылке хвастаются, будто ими и издалека грозят.

Доносилось, что в них покойный император будто бы признается, что, увлечённый красотой своей невесты-обрученницы, он не выждал назначенного для свадьбы срока, а, воспользовавшись её неопытностью, вступил с ней в любовную связь и, умирая, оставляет беременной, почему, и как обручение по православному закону есть уже половина брака, то он, признавая свой проступок, завещает русский престол ребёнку, имеющему явиться на свет от княжны Екатерины Алексеевны Долгоруковой, безразлично, будет ли мальчик или девочка, с назначением регентшей его мать княжну Екатерину Алексеевну, при содействии её брата князя Ивана Алексеевича.

Трубецкой сумел раздуть важность дела, исходящего из представленного доноса. Ука-

зывая на пример Самозванцев, он навёл подозрение на то, что княжна Екатерина действительно может явиться с ребёнком, и в глубине Сибири заявить, что это сын Петра II, что может вызвать весьма важные смуты, прекращение которых потребует значительных средств; да ещё удастся ли эти смуты прекратить? Сыну Бориса Годунова не удалось! Ему Самозванец стоил и царства, и жизни; и не только этого, но даже и чести его сестры.

Объяснение это с точки зрения юридической было, видимо, несостоятельно хотя бы и потому, что нельзя было не сообразить, что если у княжны Екатерины Алексеевны не было ребёнка восемь лет, то откуда же он может явиться на девятый; но со стороны практической Трубецкой доказывал, что в тундрах Сибири, между кочевниками, татарвой и беглецами в киргиз-кайсацкой степи, никто не будет проверять, когда умер Пётр II и много ли лет представляемому ребёнку. Притом всё это может быть подготовлено и подделано, а тогда государство ввергнется в самые ужасные столкновения, и ввергнется только тем, что не были приняты меры заблаговременно.

Представление в этом смысле, составленное с искусством Никиты Юрьевича для Бирона, ненавидевшего Долгоруковых и боявшегося их значения даже в ссылке, повело к тому, что Бирон решил покончить с ними разом. И вот последовало распоряжение из всех мест ссылки свести Долгоруковых в Новгород и там расследовать дело накрепко, с пристрастием. Тогда понимали, что это значит. Трубецкой только этого и желал. Он позаботился, чтобы расследование приняло желаемое ему направление; только бы следствие-то удалось начать как следует и пристрастие бы настоящее к делу применить. По важности дела Никита Юрьевич решил для розысков вместе со страшным Ушаковым ехать самому. Он по крайности послушает, какие его враги будут песенки распевать и какие сказочки рассказывать под пыткой; полюбуется он, как они будут морщиться и корчиться и как умолять о пощаде станут. Наконец, если он сам пойдёт, то уж не даст помирволить ни за что на свете, хотя бы Ушаков и захотел.

Сидит он в своём возке, едет в Новгород и думает: «Увидим теперь этого великолепного

князя, этого блестящего обер-камергера и андреевского кавалера с небольшим в 20 лет; увидим этого соблазнителя, силача, красавца и, разумеется, похлопочем, чтобы Андрей Иванович не обидел нашего приятеля, не забыл бы какую-нибудь кость переломить или раздавить; воловьи жилы тоже не пропустил бы к делу приложить, угостил бы нестояще, по-княжески, да и огоньком в конец дал бы полакомиться... Всё это теперь в нашей генерал-прокурорской воле; потешимся же по старой памяти, непременно потешимся!..»

«Вот, дескать, скажу ему, — продолжает про себя Трубецкой, — попробуй, князь, на себе не то шелепы, которыми ты меня пугал, а воловьи жилки; эти почище будут! К тому же ты меня хотел из моего дома выбросить, а я тебя в чужом доме на дыбу подниму и, пожалуй, на рели (виселица) вздёрну. Нет, релей для тебя мало! Мы что-нибудь посущественнее придумаем. Придумаем что-нибудь такое, чтобы полюбоваться было можно... Постараемся, например, в винт ручки и ножки положить и повинтить эдак немножко; пожалуй, так, что и косточки хрустнут, должно быть, от

полноты удовольствия».

И великолепен же был князь Никита Юрьевич во время пытки. С каким достоинством он держал себя. Как это он тихо, сдержанно и снисходительно обращался. Говорил не торопясь, ласково, с приятной улыбкою и лёгонькой ирониею.

— Сила-то, сила у вас, князь, большая; помните, вы мне хвастали своей силой. Вас, князь, пожалуй, простым отвесом на дыбы не вытянешь! Нужно усилить. Что делать-то? — И он просил пудика полтора прибавить к привесу для встряски. — Вас, князь, пожалуй, воловья жила не возьмёт, и колесо о вашу ручку переломится, или винт хрустнет! — говорил он, прося оборотик-другой прибавить, когда в тисках жали Долгорукову руки и ноги, или просил лишней разочек по спине раскалённым докрасна железным прутом провести, когда его уже огоньком в заключение угощали. И таково всё это ласково у него выходило, таково приятно; и смотрел он на всё это таково жалостливо, что со стороны и посмотреть, и послушать было чего. К тому же в промежутках, пока новые муки готовили, Ни-

кита Юрьевич, для развлечения, посторонний разговор заводил.

Спросит, например:

— А что, ваше сиятельство, я полагаю, ваши гайдуки были поздоровее и половчее этих ребят, что теперь с вами возятся? Видите, как всё медленно и вяло они делают? Те бы, думаю, половчее распорядились, если бы тогда вы отечески приказали со мной распорядиться? Ну, да что ж делать? Всему своё время!

Но, долго ли, коротко ли, всё должно было кончиться. Потешился Никита Юрьевич, заставил человека на себя лгать, чтобы только хоть смертью от мук избавиться. Но лги или не лги, а всё при Никите Юрьевиче муки терпи. Сказал, это хорошо; но постой, на розыске утверди да на очной ставке докажи. Нужно, чтобы в показаниях согласие было! Наконец Трубецкому самому надоело в Новгороде сидеть; поехал он в Петербург и повёз на утверждение приговор о предании виновных смертной казни в разных видах, доказывавших изобретательное воображение Никиты Юрьевича. Но в Петербурге неожиданно встретил он в утверждении приговора затрудне-

ние. Добрая ли минута такая напала на Бирона, или он в самом деле рассудил: «К чему тут напрасно народ злобить лютыми казнями его родовых князей, когда и без того эти князья только одно уже подобие, одну тень людей представляют и, само собой разумеется, опасными быть не могут». Он решил оказать им милость, отрубить им всем только головы. Против такой милости другим князьям Долгоруковым, Василью Лукичу, Сергею Григорьевичу, Трубецкой ничего не говорил; но князя Ивана Алексеевича он взял на своё особое попечение и выпросил-таки, чтобы его не зауряд с другими казнили, а особой лаской почтили: выпросил своему приятелю четвертование. Дескать, пусть ручки и ножки прежде поломают, а потом уж и голову... Голову всегда будет время снять... И действительно, времени хватило...

VI

ОТКУДА ЧТО БЕРЁТСЯ

После того как князя Иван Григорьевич и Сергей Григорьевич сложили свои головы на плахе, а приговорённый с ними к казни брат их Алексей Григорьевич не был казнён только потому, что, сосланный в Березов, успел умереть там прежде; после того как сложил с ними вместе, тоже на плахе, свою голову знаменитый дипломат Петра Великого князь Василий Лукич, а сын Алексея Григорьевича, блестящий князь Иван Алексеевич, после четвертования, с головою своею также Богу душу отдал, младший же брат его Николай Алексеевич остался с вырезанным языком и, вместе с фельдмаршалом князем Василием Владимировичем, был заключён в тесную келью Соловецкого монастыря; после того как царская невеста, гордая красавица княжна Екатерина Алексеевна под розгами должна была дать показание, что она находилась в любовной связи с каким-то Овцыным,

так как такое показание Бирону казалось нужным на тот конец, что если бы и в самом деле у неё оказался ребёнок, то у него было бы собственноручное удостоверение, что ребёнок тот не царственной крови; после того как она, сосланная в глубину Сибири, в убогом монастыре должна была сама с песком и дресвою полы мыть, дрова и воду таскать, — после всего этого иссякла сила и величие князей Долгоруковых. Кровью искупили они свою заносчивость, самолюбивые стремления, пожалуй, дерзость и наглость; очистили себя от всего, что было в них недостойного. А заслуги их перед землёю родною, перед государями русскими и народом православным остались за ними. С этими заслугами представили они перед престолом Божиим с жалобой на своих мучителей. И слава рода их не померкла от таких казней. Происходя в прямой линии от удельного князя черниговского Михаила Всеволодовича, известного тем, что до получения по роду черниговского княжения он был избранным князем Великого Новгорода и заслужил там общую любовь; потом примирил двух враждующих родных братьев, ве-

ликих князей владимирских, родоначальников великого московского дома, Константина и Юрия, от гнева которого, при нашествии Батты, был замучен за Русь святую, за веру православную и причислен нашею церковью к лику святых мучеников, — князя Долгоруковы, последовательным рядом своих нисходящих представителей, заслужили славное имя на Руси, и несправедливая казнь едва не целого рода не могла коснуться их имени. Она, скорее, легла пятном на русскую историю как след ничем не заслуженного и ничем не оправдываемого чужеземного владычества, которым, по его беспримерной пустоте и наглости эгоизму, могли руководить такие лица, разумеется, высокого ума, но далеко не честного направления, каким рисует нам история князя Никиту Юрьевича Трубецкого.

После гибели Долгоруковых и за смертью жены своей, казалось бы, Никита Юрьевич должен был успокоиться и признать счёты по нанесённому ему оскорблению окончанными. Казалось бы, но не так думал Никита Юрьевич. Он помнил, что когда он хотел жениться, то против его свадьбы восставали, а

после, когда умер его тесть, граф Таврило Иванович, и его неверная супруга должна была подпасть под всю мощь его супружеской власти, то против такой власти его её прикрыли её сестра Анна Гавриловна Ягужинская и её брат Граф Михаил Гаврилович Головкин.

— Стой, не торопись! — сказали они. — Не одного тебя жены обманывали, не всех же душишь! Твоя жена ещё невестой сказала, что ты не мил ей, — чего же ты хотел? Весь грех на тебе да на покойном нашем родителе графе Гавриле Ивановиче, которого ты объегорить успел; нас-то не объегоришь!

А Анна Гавриловна была барыня с весом, с влиянием. Мужа её, Павла Ивановича Ягужинского, сама государыня уважала и любила. Он первым глазом ей относительно пунктов открыл, первым её самодержавную волю начал отстаивать. С нею нужно было быть осторожнее. Наконец она овдовела. Что ж? Михаил Петрович Бестужев-Рюмин в неё влюбился. А Бестужевым Бирон хоть и старался не дать хода — боялся воспоминаний прошлого; говорят же, что отец их, Пётр Михайлович, на деревенских-то хлебах да на

вольном воздухе весьма посвежел, — но государыня их жаловала, да и люди деловые. Брата Михаила Петровича, Алексея Петровича, Бирон волей-неволей кабинет министром сделал. Хотя братья и не очень дружны были, но всё же обширные связи и близкие отношения и свойство с Лопухиными, Волконскими и другими, окружавшими императрицу лицами делали Анну Гавриловну для Трубецкого недостижимой. Граф Михаил Гаврилович, — правда, он в явной вражде с Бироном был, чему Никита Юрьевич много помогал, — тем не менее по своему положению, признанным заслугам отца и своим собственным, наконец, по службе старших братьев, дипломатов, тоже не совсем удобен был к тому, чтобы подвергнуть себя его мести. А главное, он был женат на Ромодановской, двоюродной сестре государыни Анны Ивановны. Парасковья Фёдоровна, знаменитая Салтычиха времён Петра I, мать государыни, была урождённая Ромодановская. А государыня ценит родство и всегда поддерживает своих. Итак, жены и Долгорукова нет, а эти ещё остались. Но когда государыня не выдаёт графа Головкина даже Биро-

ну, что ж может тут сделать Трубецкой?

— Ждать, ждать и ждать! — отвечал Никита Юрьевич себе. — Ждать, сохраняя с ними самые любезные отношения и в то же время поддерживая, сколько возможно, неудовольствие против них Бирона.

Делать было нечего; он ждал и опять дождался своего.

Государыня захворала смертельно. Бирон хлопочет о регентстве. Государыня поддаётся его увещаниям.

— Пусть их делают, мы всё переделаем! — говорит Трубецкой князю Андрею Дмитриевичу Зацепину, зная, как мало сочувствия вызывает себе Бирон. А сам думал: «Пусть только он поможет мне Головкина в бараний рог согнуть, а там...»

Государыня померла, и регентом стал Бирон.

И точно, случай подошёл хороший выместить графу Михаилу Гавриловичу всё, что накопилось против него у Трубецкого. Михаил Гаврилович чувствовал, что теперь он не может ждать себе ничего хорошего, и собрался за границу.

«Можно не отпускать, задержать можно», — думает Трубецкой.

Но ни задерживать, ни вымещать, ни переделывать сделанного Никите Юрьевичу не удалось. Его предупредили. Миних арестовал Бирона, и правление приняла Анна Леопольдовна. Понятно, что её двоюродный дядюшка граф Михаил Гаврилович чуть ли не первым человеком стал; даже Остер май в нём заискривать начал. Поневоле пристанешь к Шетарди.

«Разумеется, пристать нужно, — думает Никита Юрьевич. — Уже одно то, что с переворотом в пользу Елизаветы уничтожается иноземщина, становится на своё место народность, не может не вызывать общего сочувствия. К тому же и Головкин пропадёт! Только вот что: Лесток, который тут маклерит, негодяй ужасный. Поневоле задумаешься».

Но долго думать не пришлось. Елизавета вступила на престол. Она имела полное основание признавать Никиту Юрьевича за человека ей истинно преданного. Граф Михаил Гаврилович Головкин сейчас же и попал под караул.

— Опасный человек, государыня, самый опасный человек. Он душою и телом за Браншвейгцев стоит. С ним беда! — говорил Трубецкой, и государыня ему верила.

Таким-то порядком наступил для Трубецкого второй случай концы с концами сводить, старые счёты кончать.

«Одна беда, государыня терпеть не может пыток; о смертной казни и слышать не хочет, говорит: «Перед Богом слово дала». Ну, что ж делать? Постараемся и без пытки сок повыжать, жилы повытянуть и без смертной казни уморить», — думает Трубецкой.

Вот Никита Юрьевич и начал действовать. Граф Михаил Гаврилович приговорён к ссылке самой дальней, самой жестокой. Напрасно родные ходатайствовали; сама государыня готова была сжалиться, но Никита Юрьевич находил резоны четырнадцать лет его в ссылке держать, пока тот не умер. А графиня Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина? С той удалось ему получше распорядиться. На неё государыня была сердита. Она приезжала к ней, когда государыня ещё царевной была, объявлять волю правительницы, чтобы шла непре-

менно замуж за брата принца Антона, принца Людовика Брауншвейгского, красавца, говорят, такого, что мухи к нему на лицо не садились. Ей, стало быть, нужно было беречься и беречься. А она пристала к лопухинцам да с ними разный вздор болтала об императоре Иоанне Антоновиче да о жизни цесаревны и проч., и проч. Из этого Трубецкому можно было кое-что повытянуть, припомнив, как она против него Настю, жену его, отстаивала.

«Не хотела ты понять, — думал Трубецкой, мысленно обращаясь к Анне Гавриловне, — каково мне было, когда меня срамили и обижали в том, что у каждого считается самым священным в его домашнем очаге; да ещё за нанесённую мне обиду гайдуками грозили, в шелепа поставить хотели, из собственного дома вышвырнуть думали; не хотела понять... А! Так испытай-ка теперь на себе, каковы плети-то, каковы укоры переносить, людей бояться. Теперь я люблююсь, как твоё белое тело кнут резать будет, как твоё красивое личико палач изорвёт и клейма наложит, как язык твой клещами вытянет. Послушаю, какие ты речи с отрезанным языком говорить ста-

нешь».

И подвёл дело Никита Юрьевич, добился своего. Слышал её крики под ударами палача; видел, как ей ноздри рвали и язык вырезали. Ну, теперь, кажется, со всеми кончил, объегорил всех, отблагодарил покойного графа Гаврилу Ивановича за его хлеб-соль и покровительство? Но нет, не совсем! Когда Анна Гавриловна против него жену поддерживала, то опиралась на Бестужевых. Надо дать и им себя почувствовать. А тут, как нарочно, Алексей Петрович теперь первым человеком стал... а всё Лесток проклятый...

«Да и хитро, очень хитро себя держат Бестужевы, — думал про себя Никита Юрьевич. — Хоть бы Михайло! Жена попалась, а он и тут вывернулся. Но похлопочем, похлопочем. Терпение и усердие всё дать могут! Теперь же наше положение не прежнее, за себя постоим!»

И точно, положение Никиты Юрьевича было далеко не прежнее. Не говоря о громадном богатстве, которым Трубецкой уже располагал и которое, кто бы что ни говорил, а всё же сила, — самое значение его как гене-

рал-прокурора стало совсем иное. Императрица Елизавета, желая восстановить все учреждения в том виде, в каком они оставлены были Петром Великим, уничтожила кабинет, предоставив сенату быть высшим учреждением. Оттого в руках генерал-прокурора, который являлся как бы руководителем занятий и решений сената, утверждая их своею подписью или представляя на высочайшее воззрение, сосредоточивались все отрасли управления по судебной, административной, хозяйственной и законодательной частям. Вне его ведения находились только иностранные сношения, зависевшие от канцлера, и военное управление, но и то подлежало его ведению по контролю расходов. Когда такая же власть при Петре Великом была предоставлена Павлу Ивановичу Ягужинскому, то она умерялась, во-первых, тем, что государь сам входил во все подробности управления, сам контролировал всякое распоряжение сената; а во-вторых, тем, что сенаторы, назначенные большею частию из близких Петру и пользующихся его доверием лиц, могли легко всякое уклонение от законности и правильности

остановить, обратив на него внимание самого государя. При императрице же Елизавете, которая и не любила, и не могла входить во все подробности дел, как входил её отец, и к которой сенаторы не имели прямого доступа, стало быть, и не могли разъяснить лично все обстоятельства рассматриваемых ими дел, власть генерал-прокурора была буквально бесконтрольна и положительно неограниченна.

Никита Юрьевич в царствование Елизаветы стал в России именно тем, чем были некогда палатные мэры во Франции и тайкуны в Японии.

Но если и до сих пор у нас случается слышать, что и усваивается необходимость распределения различных функций государственной власти между разными её органами, то могла ли усвоить необходимость такого разделения императрица Елизавета Петровна? Могла ли она вообразить, в какой степени вредно, даже опасно, во всяком случае, несоответственно сосредоточивать различные отрасли управления на одном лице и тем делать это лицо фактическим представите-

лем власти, обращая своё самодержавное могущество в фикцию? Разумеется, Елизавете этого и в голову не приходило. Она говорила: так было при моём великом отце, а я хочу, чтобы у меня всё было так, как было при нём...

Пользуясь таким взглядом государыни и подчиняя своему контролю всё, что было можно по условиям тогдашней жизни, князь Трубецкой становился полным властелином внутренней жизни и законодательства. Но чем независимее он становился, тем сильнее разгоралась в нём жажда власти.

Он жаждал этой власти — власти действительной, без ограничения каким бы то ни было влиянием — с жадностью и нетерпением маньяка. И он достигал этой власти; только вот Бестужев, один Бестужев, со своей коллегией иностранных дел, не даёт ему стать в положение именно палатного мэра. Ясно, что он не мог не ненавидеть Бестужева, не мог не стараться стереть его с лица земли.

Разумеется, Бестужев, со своей стороны, платил той же монетой Трубецкому и тоже не жалел трудов, чтобы подорвать его влияние.

А тут вдруг явился ещё князь Зацепин с полными полномочиями поверять действия обоих. Зацепин — с его понятиями о родовом значении и с его честолюбивыми стремлениями. «Этого допустить нельзя, ни в каком случае нельзя!» — думал Трубецкой. И опасность соединила врагов; они с Бестужевым действовали согласно, и Трубецкому удалось найти средство стусевать князя Зацепина.

Но, стусевав Зацепина, и Трубецкой, и Бестужев поняли, что нужно же его кем-нибудь заменить. Трубецкой, по своим отношениям к Шуваловым, желал, чтобы заменой этой был Иван Иванович Шувалов; Бестужев же открыл Бекетова. Партия Шувалова с Трубецким во главе одержала верх. Теперь вопрос: будет ли тихонький, скромненьким Иван Иванович послушной шашкой в руках своего двоюродного брата Петра Ивановича, стало быть, и Трубецкого, который, по своему влиянию в сенате и при множестве дел и проектов Петра Ивановича, представляемых в сенат, мог иметь на него неотразимое влияние, или, наоборот, он займёт положение самостоятельное и, пожалуй, ещё сблизится с Бестуже-

ВЫМ?

Вышло ни то ни другое. Шувалов просто стушевал всех троих. Скромно, незаметно, с французской любезной фразой он предоставил Трубецкому и кузену высшие места, но без того влияния, какое они имели. Бестужева же, при помощи того же Трубецкого, Бутурлина и Воронцова, он стушевал без всяких поощрений, отправив его просто в ссылку, в его имение Горетово, в ранге опального.

Это совершенно выводило Трубецкого из себя. Его не утешал ни почёт быть первенствующим сенатором, ни чин фельдмаршала и подполковника Преображенского полка, нисколько не тешили и отличия, в виде бриллиантовых знаков милости государыни. Ему нужна была власть; он всё бы отдал за действительную власть; а этой власти-то, самобытной, влиятельной, он и лишился, и ещё в то время, когда, по смене Бестужева, он так мог распорядиться, что и иностранные дела подчинились бы его влиянию. Наконец, он имел бы это влияние уже и потому, что назначенный на место Бестужева Воронцов принадлежал к его партии и так или иначе

мог бы быть привлечён к его планам.

«И хоть бы для человека это сделали, — думал Трубецкой, — а то помилуйте, для Якова Петровича Шаховского, того Шаховского, который, будучи начальником полиции Петербурга при Анне Леопольдовне, вследствие покровительства ему графа Михаила Гавриловича Головкина, проспал и императора, и правительство, и своего покровителя, узнав чуть ли не последним, что уже царствует Елизавета, император с семейством увезён куда-то, правительство изменено, а его благодетель арестован. И этого-то человека, этого-то начальника полиции, предпочли... О! Я этого не забуду, никогда не забуду! — говорил Трубецкой. — Но что же делать? Елизавета царствует твёрдо, любима народом; войска одерживают победы. Что тут делать?.. Опять один ответ; ждать! Да, ждать!» — сказал себе Трубецкой и поехал к наследнику престола, великому князю Петру Фёдоровичу.

Он вошёл на половину великого князя, расположенную в нижнем этаже, в то время как великий князь только что окончил обед, который разделял с несколькими из своих

приближённых. Тут были Мельгунов, Унгерн-штенберг, Голицын, Гудович и три-четыре голштинских офицера. Обед происходил по поводу прибавки новой ленты к значку одной из рот его голштинского войска. Государь-наследник был в мундире этого полка, прусского покроя, с напудренной головой, с косой и буклями, в Андреевской ленте и со звездой. Сотрапезники его были тоже в мундирах и своих знаках отличия. Тем не менее скатерть, которая не была ещё снята со стола, во многих местах была залита вином; на столе стояло ещё несколько недопитых стаканов и несколько тарелок с фруктами и конфетами. Великий князь, отодвинувшись от стола, сидел к нему боком; из остальных — некоторые тоже сидели ещё за столом, а иные ходили по комнате, большей частью с глиняными трубками в руках. Комната была полна дыма от немецкого кнастера.

— Ба, князь! князь! — вскрикнул великий князь. — Вот нам и судья, настоящий судья, первенствующий сенатор и бывший генерал-прокурор. Надеюсь, что все согласны на выбор князя в судьи?

Войдя в этот хаос и разгром петиметром последней французской моды, в батистовых брыжах, кружевных манжетах, с отложным кружевным воротником, в кафтане светло-голубого бархата с аметистовыми пуговицами и шитыми золотом петлицами и в нежном бланжевом и тоже шитом золотом жилете, в чулках и башмаках, князь Никита Юрьевич не вдруг мог опомниться. Его, надушенного самым тонким ароматом французских духов, обдало этой атмосферой караульной комнаты прусских драбантов в такой степени, что вначале голова пошла кругом и он не в силах был отвечать.

— Судьёй! судьёй! — вдруг закричали кругом все, и великий князь с кем-то схватили его под руки и потащили в смежную комнату, из которой была вынесена мебель. Кто-то принёс кресло. Это кресло поставили среди комнаты, подле поставили маленький столик. Никиту Юрьевича посадили в кресло.

— Ты, Трубецкой, судьёй будешь, уж это решено! — сказал великий князь и захлопал в ладоши.

— О чём же я судить должен, ваше высо-

чество! — спросил Трубецкой, едва осиливая своё изумление.

— Увидишь, увидишь! — весело отвечал великий князь, продолжая хлопать.

Вошёл комнатный.

— Что не дозовёшься вас! Любского пива!

Через минуту люди внесли по числу присутствовавших большие кружки пива и поставили на стол перед креслами.

— Сказать, когда приедет государыня тётушка, — приказал великий князь людям; потом, обратившись к Трубецкому, стал ему объяснять:— Перво-наперво я даю знак, а потом это уже твоё Дело, вот и колокольчик; когда найдёшь нужным, останови! — И он позвонил два раза.

По второму звонку все встали на одной ноге.

— Дело в том, — сказал великий князь, — чтобы коленом поднятой ноги дать пинка другому, догоняя друг друга и уклоняясь, скакавши на одной ноге. Кто успеет дать такого пинка, имеет право выпить кружку пива. Кто же опустит свою ногу и станет на неё, тот платит талер штрафа — у нас для того и прус-

ские талеры есть — в пользу того, кто всех перескачет; игра кончается, когда всё пиво будет выпито. Когда ты позвонишь, все заскачут; а позвонишь другой раз, все должны остановиться; кто не остановится, платит полталера.

И перед Трубецким началась бешеная скачка на одной ноге людей, правда ещё не старых, но уже далеко не детей. Мундиры, знаки отличия, частью даже ленты усиливали впечатление, которое производила эта игра уличных берлинских мальчишек.

Трубецкой едва верил своим глазам, тем не менее, улыбаясь сдержанно, он с изяществом выполнил должность судьи, собирающего талеры и поящего пивом. Он старался при этом выказать великому князю своё полнейшее удовольствие от прекрасного препровождения времени. Зато Трубецкой скоро стал одним из любимейших посетителей при молодом дворе, разумеется, преимущественно на половине великого князя.

* * *

— Болезнь так опасна? — спрашивал больной граф Пётр Иванович Шувалов у захавшего к нему Никиты Юрьевича Трубецкого.

— Более чем опасна!

— Боже мой! А я тут лежу, лежу и не могу встать, не могу ничего сделать! Да, может быть, Монсей ошибается.

— Нет, граф, не ошибается! Выходила Толстая и говорила, что когда ей пускали кровь, то Монсей и Шиллинг оба тут были и оба ахнули разом, увидев, что кровь почти чёрная пошла. Они отошли к окну для совещания, и она сама слышала, как Шиллинг сказал: смертельное воспаление! Сомнения быть не может, нужно объявить! А когда вошёл круз и они стали ему описывать припадки болезни, то он им отвечал: «Нам тут делать нечего, воля Божия». Из дворца Монсей прямо приехал ко мне и от имени всех трёх заявил об этом; но я потребовал формального сообщения за подписью их всех и удостоверения, подписанного, если возможно, несколькими посторонними консультантами. Он сейчас же поехал во дворец и обещал просимое

мною удостоверение доставить через час.

— А я тут лежу! И ведь не умираю; не правда ли, князь, не умираю? Только делать ничего не могу... О, кузен! тихонький, скромный кузен! Сколько ты мне крови испортил? Истинно отблагодарил!

— Да, отблагодарил нас всех! Может быть, лучше было, если бы мы оставили Бекетова. Но вспоминать старое теперь не время, нужно думать о новом. Новое-то в таком виде, что может разом всё повернуть.

— Правда, правда! И в эту минуту быть не в силах, в эту минуту лежать... это просто невыносимо! Князь, послушай, мы всегда шли рука об руку. Если ты имеешь право быть недовольным моим двоюродным братом, выведенным мною при твоём посредстве, то ты знаешь, что я тут не виноват. Я и сам обойдён им, даже более, чем ты! Послушай, князь, поддержи меня искренне!

— Если ты от Ивана Ивановича отступишься, то почему ж и не так! Я не приехал бы к тебе с моим известием, если бы не полагал, что мы можем идти рука об руку.

— А я заслужу, видит Бог, заслужу! Вот те-

бе моя рука! Само собой, я не захочу поддерживать кузена. Он мне так услужил, что я имею полное право считать его своим врагом. Он променял меня на этого Шаховского. Хотя, скажу откровенно, что по родству я не желаю его губить. Но меня мучит неизвестность; от такой неизвестности я, кажется, с ума сойду. А вот что, я велю перевести себя к Александру Ивановичу Глебову, чтобы быть поближе. Присылай ко мне каждый час известие, что там делается; уведомляй, князь, ты спасёшь меня!

— Итак?..

— Да!

— Союзники?

— Друзья!

И они пожали друг другу руки.

В это время князю Никите Юрьевичу принесли пакет. Он распечатал. Это было докторское сообщение о крайней опасности припадков болезни императрицы Елизаветы Петровны.

Дня через два после описанного здесь разговора в Зимнем дворце происходила следующая сцена.

В собственном рабочем кабинете её величества, расположенном непосредственно подле её уборной, к которой прилегалась её спальня, в кабинете, в который обыкновенно никто не допускался, кроме приезжавших с докладом статс-секретарей и президентов коллегий, и то не иначе как по особому соизволению императрицы, объявленному через её обер-камергера, — за сдвинутым на середину комнаты столом расположился генерал-фельдмаршал, первенствующий сенатор, князь Никита Юрьевич Трубецкой.

Подле него стояла чернильница и лежала бумага, на которой он что-то отмечал.

Напротив него, по другую сторону стола, сидел бывший обер-прокурор сената, креатура Шувалова и Трубецкого, теперь генерал-кригскомиссар генерал-поручик Александр Иванович Глебов. Перед ним лежала довольно порядочная кипа дел и бумаг, привезённых из сената и вынутых из портфеля, который, опорожнённый, лежал тут же под столом, в ногах у Глебова.

Глебов, приподнимая то ту, то другую бумагу, докладывал что-то Трубецкому, кото-

рый иногда обращался к нему с вопросами. Подле Трубецкого стоял Дмитрий Васильевич Волков, которому князь Трубецкой по написании нескольких слов что-то вполголоса объяснял.

У обеих дверей стояли комнатные, а за дверями, в малой приёмной, стоял часовой лейб-кампании, с ружьём у ноги.

Во дворце все ходили на цыпочках. В зале собрался уже весь генералитет, государственные чины и множество офицеров; в тафельдекерской, официантской и камер-юнкерской толпилось множество дворцовой прислуги; тем не менее тишина была совершенная.

В малом белом зале[1] собралось духовенство в облачении. Оно ждало выхода докторов от императрицы, чтобы идти к ней для святого елеосвящения.

Государыня лежала на смертном одре.

К Трубецкому подошёл Алексей Петрович Мельгунов.

— Великий князь просит ваше сиятельство не оставить вашим вниманием озаботиться составлением манифеста от его имени на случай несчастья.

— Не упустим, не упустим! Доложите его высочеству, что если уж ему угодно было мне поручить, то ничего с моей стороны упущено не будет.

В это время вышли доктора Круз и Шиллинг, за ними шёл великий князь.

— Ну как? — спросил Трубецкой.

— Едва ли доживёт до утра, — отвечал Круз.

— Да будет Его святая воля! — сказал Трубецкой с печальным выражением взгляда, хотя было видно, что печальное настроение его не что иное, как только выполнение вежливой формальности. — Мы, по крайней мере, верные рабы его высочества, можем только просить Бога, чтобы Он укрепил и поддержал в нём бодрость духа для начинания своего славного царствования! — продолжал Трубецкой.

Великий князь в это время рассеянно глядел в сторону, поэтому не слышал, что сказал Трубецкой.

«Да, я сейчас же велю Чернышёву... Мне какое дело... — проговорил он про себя под влиянием каких-то своих внутренних сообра-

жений.

— Распорядиться о назначении почётно-го караула при особе его высочества из двух полувзводов: один от собственного его высочества конвоя, другой от лейб-кампании...

— Нет, нет, не хочу янычар! Другой, просто от четвёртой роты Преображенского полка, с Барятинским. Покурить чертовски хочется!

В это время вошли старый, сморщенный сенатор Иван Иванович Неплюев и генерал-прокурор сената, заступивший на этом месте Трубецкого, князь Яков Петрович Шаховской.

— Что этим нужно? — сказал с презрением Трубецкой, показывая глазами на вошедших.

— Что, можно узнать, какова наша матушка государыня! — спросил Неплюев.

— Мы надеемся... доктора говорят, будто поотошло. А впрочем, что Бог даст! Ко всему быть готовым нужно, — как бы нехотя отвечал Трубецкой.

— Дай Бог, дай Бог! Мы все молимся... — начал было говорить Неплюев, но Трубецкой

его не слушал.

— А вы посылали к канцлеру? — спросил он у Волкова.

— Никак нет, ваше сиятельство; вероятно, он и сам придёт, — отвечал Волков.

— Пошлите всё равно от имени его высочества. А вы, — продолжал он, обращаясь к Глебову, — пошлите цидулку к графу Петру Ивановичу. Ведь он ждёт не дожждётся!

В это время Шаховской тихонько, чуть слышными шагами ходил по комнате, подходя то к той, то к другой картине или к той или к другой статуе.

— Что им нужно? — ещё раз сказал Трубецкой, взглядывая на великого князя.

В дверях уборной показалась камер-юнгфера.

— Ваше высочество! — проговорила она.

Великий князь как бы вздрогнул от её голоса и торопливо пошёл вместе с нею в уборную.

— Распорядись-ка, Алексей Петрович! — сказал Трубецкой, подмигивая в сторону Шаховского и Неплюева.

Мельгунов ушёл за великим князем.

Через минуту из уборной вышел Гудович и от имени великого князя сказал Неплюеву и Шаховскому, что им в собственном кабинете государыни быть нельзя, а не угодно ли подождать в общем приёмном зале. Тем поневоле пришлось убраться, хотя, видимо, обиженными.

Через минуту вошёл дежурный камер-юнкер и доложил, что фельдмаршал граф Алексей Григорьевич Разумовский просит позволения проститься с государынею.

— Вот не было печали... Впрочем, может быть, к лучшему. Любимчику-то поневоле уйти нужно будет. Подождите, я сам доложу, — Трубецкой встал и пошёл в уборную.

Через минуту оттуда вылетел, как бомба, покрасневший и, видимо, тоже обиженный граф Иван Иванович Шувалов. Он торопливо прошёл кабинет на своих пухловатых ножках, будто не замечая, что все бывшие в комнате, вместо того чтобы вскочить и приветствовать его низкими поклонами, что они непременно сделали бы за день перед тем, тут его совершенно не заметили. Одни для этого повернулись к нему спиной, другие на-

гнулись над бумагами.

С Трубецким из уборной вышел доктор Монсей.

— Не то что верно, а можно сказать — уже кончено, — сказал Монсей.

— Так я пошлю в типографию. Зовите Разумовского да скажите, чтобы не растревожил. А как он войдёт, эдак минут через десять зовите попов. Долго им друг с другом говорить не о чем.

— А великая княгиня там? — спросил Глебов.

— То-то и есть, что там! Не выдумали бы какой-нибудь подкоп подвести.

— Нужно уговорить великого князя, чтобы и он не отходил.

— Уговори ты его! Он вот хотел идти в офицерскую; говорит, курить хочет. Насилу убедил остаться и то пообещал, что я в бильярдной прикажу затопить камин, так он перед камином может покурить, если хочет. Распорядись-ка, голубчик! — прибавил он Волкову.

В комнату вошёл Разумовский. Ему на встречу вышел Трубецкой.

После обоюдных приветствий Трубецкой привёл его в уборную и там подвёл к великому князю.

— Идите, идите! Она желала вас видеть. Вы можете быть уверены, — сказал ему великий князь, — что бы ни случилось, в нашем расположении и уважении.

Разумовский вошёл в спальню.

— Ваше высочество, идите за ним! — посоветовал Трубецкой. — При вас всё будет ладнее и спокойнее. Ведь у него Бог знает какие документы есть. Ты, Гудович, на всякий случай распорядись послать к нему в Аничков дом кого-нибудь из своих наблюдать. Хоть он не такой человек, знаю я, что не такой человек, а всё же: бережёного и Бог бережёт! — сказал Трубецкой.

Разумовский, войдя в спальню, перекрестился, потом подошёл к постели больной и опустился перед кроватью на колени.

Он не видел никого и ничего; не видел, что в ногах кровати сидела великая княгиня в креслах и горько плакала; не видел и обергофмейстерины, которая стояла в головах, ни какого-то не то монаха, не то юродивого, ко-

торый стоял тут же в комнате и что-то бормотал про себя. Он принёс миро, взятое от миро-точивых мощей, и крестик с Гроба Господня. Разумовский не видал и двух камер-юнгфер, из коих одна готовила на спиртовой конфорке припарку; не видел и доктора Круза; ни даже маленького великого князя Павла Петровича, который стоял тут же со своим воспитателем Никитою Ивановичем Паниным; не видел и того, что вслед за ним вошёл великий князь, настойчиво введённый Трубецким, который сам, однако, в ту же минуту скрылся за дверью.

Разумовский видел только одну больную. Елизавета лежала не шевелясь, как бы в забытьи.

— Родная моя, матушка моя, благодетельница, прости, прости меня, окаянного! Много я грубил тебе! Прости окаянного, прости недостойного!

Елизавета, услышав его, опомнилась.

— Алексей, это ты? Я рада тебя видеть!

— Прости меня недостойного, покровительница великая! Я червь был, ты меня человеком сделала; я в пыли пресмыкался, ты

из пыли подняла, родная матушка, надежда, звезда наша ясная! А я грубостью да озорством. Прости, прости! Нет, казнить вели! На что мне на свете жить? Вели казнить и в ножках положить; без тебя свет мне не мил, благодетельница моя! — Разумовский плакал, стоя на коленях у постели.

Великая княгиня улыбнулась как-то туманно, вслушиваясь в слова Разумовского, и как бы не то с презрением, не то с насмешкой отвернулась от него.

— Алексей, ты прости меня! Не такая я к тебе должна была быть; прости меня, прости! Все грехи мои, все грехи... я виновата пред тобою, много виновата!

— Что ты, матушка! Ты святая, ты радостная! Всему виной была моя грубость хохлацкая, озорничество глупое. Тебе ли, светлой ясочке, было выносить такую грубость мою неотёсанную! Я, злодей, я, изверг, тебя огорчал, мою благодетельницу!

Елизавета протянула ему руку и закрыла глаза. Разумовский со слезами прильнул к её руке.

— Вы беспокоите государыню, граф, —

сказала великая княгиня сухо. — Притом осмотритесь: мой сын, великий князь, ждёт!

— Благослови меня, матушка! Перекрести, чтобы недолго без тебя маяться!

Елизавета, казалось, лежала без сознания, однако ж приподняла руку и сделала ею подобие крестного знамения.

Разумовский вынужден был отойти, но не вышел из комнаты. Видя это, а также что в спальню вошёл её муж, великая княгиня топнула с досады ножкой. К государыне подвели её внука.

Между тем, когда Трубецкой вводил в спальню государыни великого князя и мельком оглядел комнату, ему бросилась в глаза высокая и плотная фигура Панина.

«Эге! — подумал он. — Тут уж и в самом деле не затея ли какая поднимается. Внук с Паниным; великая княгиня не выходит из комнаты; неизвестный монах или паломник и Разумовский сошлись разом. Хорошо, что я великого князя убедил войти. При нём не решатся. А всё лучше с позиции сбить».

— Идите, Александр Иванович, зовите священников да скажите, чтобы не торопи-

лись службой, не на почтовых бы гнали! Нужно, чтобы как можно меньше свободного времени у них было!

И точно, государыня едва успела благословить внука, как вошли её духовник и протоиерей дворцового собора с причтом; началось соборование маслом.

— Что? — спросил Трубецкой у выходявшего из спальни доктора Круза.

— До утра не дотянут, — отвечал Круз.

— Хорошо! У нас почти всё готово.

Однако ж докторские предсказания оказались ошибочными. Государыня не только дотянула до утра, но была ещё жива в третьем часу дня. Только в четыре часа двери в парадную залу отворились, и генерал-фельдмаршал, первенствующий сенатор князь Трубецкой вышел и сказал:

— Господа! Богу угодно было посетить Россию несчастьем: государыня императрица Елизавета Петровна скончалась; но, Милосердный, Он и помиловал нас: на престол своих предков вступил государь император Пётр III Фёдорович! Да пошлёт ему Господь долгие годы и бессмертную славу. Ура!

Но глухо и мертво отозвалось это «ура» среди присутствующих. Всякий невольно задумывался, спрашивая себя: «Что-то теперь будет, что будет?»

Этого вопроса не задавал себе только Трубецкой.

«Что будет? Известно, я буду царствовать!» — думал Трубецкой и рассчитывал, что вот он уступит немножко влияния Петру Ивановичу Шувалову по военной да канцлеру Михаилу Ларионовичу по дипломатической частям, в остальном же во всём будет он, только один он.

И по его приглашению все отправились присягать.

МЁРТВОЕ ЧЕСТОЛЮБИЕ

Рассчитывая на малодушие и полную неспособность к сколько-нибудь серьёзным занятиям вновь вступившего на престол императора, Трубецкой решил, что управление государством должно быть у него в руках, и начал обдумывать шансы приведения своего предположения к осуществлению.

«Прежде всего государь, — думал Трубецкой, — разумеется, захочет прекратить войну против прусского короля; пожалуй, отдаст ему и все наши завоевания. В этом я должен буду ему уступить, хотя, разумеется, тем вызовется общее неудовольствие. Нужно будет прикрыть это хоть какой-нибудь видимостью пользы. Например, заставить пруссаков завоевать для нас или хоть с нами Шлезвиг или что-нибудь в этом роде. Но всё же довольными не будут, и я в этом отношении прикроюсь Воронцовым. У него иностранные дела, он и отвечай. Потом датская война. В ней я

тоже должен буду умыть руки; страшно непопулярное и обидное для русского самолюбия дело! Но и против него спорить нельзя. Он чуть не с детства об этом думает. Хорошо, что у нас теперь обозначился действительно боевой и способный генерал — Петруша Румянцев. Кутила он смолоду был, правда, такой кутила, что только держись: картёжник, развратник, мот. Но остепенился, видимо, остепенился и точно себя способным и боевым оказывает. А я и с отцом его был хорош, и с ним приятель. Приятный, очень приятный молодой человек. Военные дела ему на руку. Во всём, кроме войны, он на моих помочах будет. А на войне пусть неприятелей бьёт по-своему, мне же больше силы и славы. Теперь внутренние дела. Вот мы составили конференцию, или совет. Все важные дела должны туда поступать. В конференцию я подобрал людей согласных. Одного Петра Ивановича Шувалова обойти нельзя было, хоть и любит спорить. Ну да с одним-то сладим. В генерал-прокуратуру — Глебова. Он сенат моей рукой держать будет. А чтобы у меня ещё более силы в сенате было, выведу в сенаторы моего

сына Петра. Тогда они хоть что — всё по моей воле пойдёт! Членами конференции мы назначили, во-первых, герцогов голштинских. Он их любит, а они ни страны, ни языка не знают, поэтому поневоле на меня полагаться должны. Потом понадобилось кого-нибудь из любимцев: Унгерна нельзя было, вечно за немецкие интересы стоит; я выбрал Мельгунова, человек подходящий. Он поймёт, где сила, и пристанет. Ну, Михайло Никитич Волконский свой человек и не спорит никогда. Правителем дел Волков, человек способный, и перо хорошее, к тому же вечно в деньгах нуждается, стало быть, поневоле будет в руках. Так, остаётся один только граф Пётр Иванович, который теперь хоть и обещает во всём согласным быть, но не такой он человек».

Но граф Пётр Иванович Шувалов недолго заботил собой князя Никиту Юрьевича. Не прошло десяти дней после смерти императрицы, как умер и он.

«Ну, а Ивана Ивановича теперь мы возьмём в руки, если и посадим в конференцию, — думал Трубецкой. — Он у нас ходи по

ниточке, если не хочешь до Берёзова прогуляться.

Недаром государь на него хмурится».

Скоро, однако ж, озаботила Трубецкого другая личность, которая едва было не разрушила все его мечты об единоличном управлении.

Желая в возможной степени сделать популярным новое царствование, Никита Юрьевич поднёс государю указ о помиловании всех ссыльных и опальных царствования Елизаветы, кроме, разумеется, своего заклятого врага Бестужева. Он исключил бы из этого прощения и Головкина, но в таком исключении уже не было нужды. Головкин умер в ссылке. На основании этого милостивого указа возвратились в Петербург политические соперники, так усердно рывшие некогда друг другу яму: Бирон, Лесток и Миних.

Бирон и Лесток явились совершенно другими людьми против того, как они были до ссылки. Кровожадный, жестокий и заносчивый Бирон прибыл хныкающим и почти выжившим из ума стариком, жаловавшимся на целый мир и решительно не способным ни к

чему. Лесток, живой, весёлый, любивший поразвратничать и поинтриговать, возвратился каким-то патримониальным полусвятошей, совершенно подчинившимся своей супруге. Графиня Аврора, его жена, урождённая фон Менгден, пересоздав супруга на свой образец, относилась с полным презрением ко всему, что выходило из круга её семейного быта. Как истая немка, она не хотела ничего знать о России и просила только, чтобы ей было дано вознаграждение за претерпенные ею страдания в лифляндских землях.

Совсем в другом виде представлялся Миних. Он сумел так близко сойтись с императором, что тот в нём души стал не чаять, посылал за ним беспрестанно и сейчас же назначил его членом тайной конференции, проектированной Трубецким.

Трубецкой испугался. Он знал Миниха, помнил его необыкновенную энергию, его неутомимую деятельность. С ним, он знал, было нелегко считаться. А он, казалось, был тот же. Таким же орлом смотрел он, как и тогда, когда шёл впереди батальона апшеронцев под Ставучанами или когда за Остерма-

ном готовился идти на эшафот; та же лёгкая, добродушная улыбка оживляла его лицо. Волосы его совершенно поседели, но он держал себя так же прямо, ходил так же свободно и был такой же, как и прежде, бодрый, весёлый и красивый старик, готовый во всякую минуту говорить любезности барыням и выпрашивать у них беспрерывно дозволения поцеловать ручку.

Но это только казалось. Сойдясь с Минихом ближе, Трубецкой убедился, что двадцать лет ссыльной жизни — жизни внеумственной деятельности отразились и на Минихе. Он как-то расплылся в своей мысли, как-то размяк; он стал болтлив, самонадеян, отвык углубляться и стал до некоторой степени ленив. Он хотел уже, чтобы ему подавали облупленное яичко, чтобы от него не требовали соображений, умственного труда. Одним словом, восемьдесят лет сказались в нём, взяли своё. Трубецкой сейчас же заметил эти изменения, оценил их и видел, что Миних уже не в силах для власти посвятить себя труду; что он будет довольствоваться внешностью. Трубецкой увидел это и успокоился. «Ну, внеш-

ность-то мы ему предоставим!» — сказал он себе. Трубецкой более чем кто-нибудь понимал, что корень действительной власти есть труд — упорный, глубокий труд.

«Я оставлю его с императором сочинять проекты мостов и крепостей, составлять план атаки Шлезвига, а управлять всем буду сам, — говорил себе Трубецкой. — Я не боюсь труда, поэтому буду царствовать!»

Вместо Шувалова он поднёс на утверждение государя назначение фельдцейхмейстером и членом конференции генерал-поручика Вильбоа. «И любимец, и ничтожество, — думал Трубецкой, — два угодья».

«Но чтобы управлять чем-нибудь, нужно знать это что-нибудь. Государя я знаю, — говорил себе Трубецкой. — Ему, в виде уступки, прусский союз, голштинская гвардия, форма и выправка войск; наконец, самая дорогая игрушка — крестовый поход на Шлезвиг... Теперь государыня?»

О ней нужно подумать, очень подумать. Эта барыня с умом, с характером... Я полагаю даже, что в ней ума и характера больше, чем мы можем себе предположить. Она не побоя-

лась бы труда, если бы ей пришлось царствовать. Недаром Бестужев начинал перед ней заискивать и вместе с ней планы сочинять. Но при жизни императора она не может иметь влияния. У них явилась уже взаимная ненависть до отвращения. Я отношу это к причинам физическим, стало быть, неодолимым. И куда ему было брать такую жену. Но всё равно; пока он жив, её в расчёт принимать нельзя. За государыней непосредственно следует Романовна...»

Трубецкой несколько раз прошёлся по комнате.

«Ну что? — продолжал он себе. — Она станет выпрашивать то, другое себе, своим братьям, дядюшкам, кузенам, захочет баловать себя разным вздором и больше ничего! Стало быть, и говорить о ней нечего. И что за вкус? Удивительное дело! Вот именно, понравится сатана лучше ясного сокола. Такую жену — и променять на такую ворону!»

Трубецкой опять начал ходить.

«Разумеется, нужно взяться, и взяться твёрдо, с искусством. Общее расстройство, исходящее отчасти от продолжительной и тяж-

кой войны, и недовольство, которое неминуемо вызовет её неожиданное и, нужно сказать правду, сумасбродное окончание, должны вызвать непременно особые усилия администрации. И разве можно оставить без внимания такое положение, когда крепостной люд бежит тысячами; когда, например, чтобы от Яицкого городка ехать в Самару за хлебом нужен вооружённый конвой чуть не в полк и, пожалуй, с артиллерией; когда границы доступны набегам крымцев, нагайцев, киргизов и ещё Бог знает кого; когда люди грозят сжечь себя целыми волостями, дескать, каково там будет, не знаем, а хуже здешнего быть нельзя; когда являются такого рода разбойники, как Топка, и, что ещё по хуже, когда таких разбойников, поймав, отпускают, — дескать, гуляй, добрый молодец, грабь честной народ, а много награбишь — и с нами поделись!.. При таком положении дел администрации есть о чём подумать, есть над чем потрудиться.. Я надеюсь выдержать себя, надеюсь справиться. Но пусть же зато на меня и положатся, пусть мне поручат и не мешают, а то, при общей неурядице, мало ли что может возник-

нуть. Тогда пусть на меня не жалуются...

И точно, возникнуть может многое: прежде всего у нас есть спрятанный император Иван Антонович. Правда, бедняга вырос в таких условиях, что теперь совсем без ума. Ему теперь уже более двадцати лет, но он как есть пятилетний ребёнок: мечтающий, раздражающийся, капризничающий ребёнок... Я говорил с Чурмантеевым и с государем нарочно ездил смотреть. Он просто не пошёл далее пятилетнего развития. Жаль и страшно становится, как подумаешь, что это взрослое, не слышавшее человеческого голоса, поэтому по разуму только пятилетнее дитя было призвано царствовать, было предназначено управлять. И вдруг вместо царства — чурмантеевская плеть. Грешно Шувалову, но я сам читал, что он предписал в случае упрямства с его стороны — бить палкой и плетью. Но теперь дело не в нём. Он не способен играть роль, даже роль куклы... Впрочем, куклу-то и без него можно найти. Хоть бы эта Зацепина, княжна Владимирская: ведь, что ни говори, она законная племянница императрицы Анны Ивановны от её младшей сестры и, за слабоуми-

ем Ивана Антоновича, её прямая наследница. Нужно будет, однако ж, узнать о ней на всякий случай. Тут же есть капиталы, и большие капиталы. Вообще, нужно обратить внимание на это дело. Ведь у Андрея Васильевича братья были, князья Зацепины. Они, разумеется, обижены тем, что громадное состояние их брата передано не им. Поэтому нужно выписать их на случай... Зацепинский капитал возрос теперь до громадной цифры. Вообще, на это дело следует обратить внимание, заняться им под рукой. Разумеется, заняться так, чтобы комар носу подточить не мог. Потом следует обратить особое внимание на Восток. Там столько накопилось горючих материалов, что, того и гляди, пожар вспыхнет, и сближение Востока, например, с этой племянницей может быть не только опасно, но губельно. Пока дело у меня в руках, я, разумеется, такого сближения не допущу. Ну, а если власть будет не у меня, то... Впрочем, до этого ещё далеко. Пока я — один я! Недаром же я тешу государя всеми мерами; даже на старости маршировать выучился и по званию фельд-маршала и подполковника впереди своего

Преображенского полка по прусскому образцу, для удовольствия его величества, не хуже любого прапорщика парадирую. А я и смолоду, когда в Преображенском полку строевым офицером был, не очень эти штуки любил и шёл всё больше по письменной части».

Рассуждая обо всём этом, Трубецкой поехал во дворец и там увидел любопытную сцену. Несмотря на то что только два или три дня назад император Пётр III подписал указ о дворянской вольности, предоставляя дворянам служить или не служить, оставаться в России или ехать за границу, предоставляя дворянам и другие весьма важные права, он приказал двоих своих любимцев, генерала Мельгунова и действительного статского советника Волкова, выпороть розгами.

Когда Трубецкой вошёл, Волков, уже высеченный, в мундире правителя дел высшей конференции и в орденах, стоял понуря голову в числе других, окружавших государя придворных, а Мельгунов, при помощи двух капралов голштинской гвардии, готовился к экзекуции. Два другие капрала с пучками розог стояли и ждали, пока Мельгунов, лениво раз-

девавшийся, примет надлежащее положение.

Государь находился при экзекуции сам, окружённый своими любимцами и голштинскими офицерами.

— Ну-ну! — говорил Пётр, замечая видимую медленность в исполнении его приказа.

Наконец Мельгунова разложили, раздевавшие его капралы стали держать его ноги и плечи, и экзекуция началась.

Трубецкой остановился как вкопанный, в полном изумлении.

Правда, Трубецкой не мог быть особенно поражён тем, что увидел царских любимцев, высших сановников государства, под телесным наказанием. Он видел, как наказывали Девьера, помнил пытки Волынского, Хрущёва и Еропкина, сам расправлялся с Долгоруковыми, потом тоже сам подводил под кнут Лопухину и сестру жены своей Бестужеву, бывшую Ягужинскую; наконец, присутствовал при пытках Лестока, — но всё это было в определённой форме, по предварительному аресту, в застенке, по правилам розыска, и производилось над лицами, уже предназна-

ченными к исключению из общества. А тут вдруг, в дворцовой зале, в присутствии самого государя и его двора, будто дать стакан воды выпить. И сохранить при них и их мундир, и их положение. Этого не мог переварить даже Трубецкой. Время, когда Пётр I сёк губернаторов на площади перед окнами сената, ушло уже слишком далеко.

Правда, что после наказания Пётр выполнял над каждым рыцарский обряд восстановления чести. Но как ни порядок наказания, ни самый обряд этот не исходили из русской жизни, то и казалось, что самым исполнением обряда Пётр только увеличивал наказание.

Притом же Трубецкой заметил, что чем более заметна была невыносимость мучения на лице Мельгунова, тем Пётр III становился оживлённее, веселее. Ему будто доставляло удовольствие видеть мучения. Когда же Мельгунов, удерживаясь долгое время от крика, не выдержал и застонал, Пётр будто обрадовался. Выражение самой кровожадной жестокости отразилось на его лице, и он положительно наслаждался этими стопами, пере-

ходившими в стариковский вой. Трубецкой вспомнил рассказ Брюмера, находившегося при его воспитании, что в детстве он любил мучить до смерти маленьких птичек, втыкая в них булавки.

Чем же они провинились? Один не обошёл караулов, когда, будучи дежурным по дворцу, должен был сам лично обойти рундом по постам; а другой стал возражать против написания какого-то невероятного указа.

Пока Трубецкой обдумывал всё это и составлял предположение, каким бы образом предотвратить возможность подобного рода сюрпризов, как бы устроить, чтобы бесхарактерность Петра III могла иметь наименьшее влияние и управление империей было действительно в его, Трубецкого, руках, — пока он всё это обсуждал, на другой половине дворца государыня приводила в порядок и укладывала свои вещи, предполагая ускорить свой переезд в Петергоф.

С виду казалось, что она более ни о чём не думала как о своём переезде и о том, как бы приятнее провести время летнего уединения. Она укладывала книги, рисунки, узоры, раз-

ного рода работу, вообще всё то, что желала иметь при себе. Монтескье, Бель, Дидро, Вольтер были те авторы, которых она называла своими и с которыми не расставалась. К ним она присоединила Буало, Фенелона и Расина.

— Для ума нужна также разнообразная пища, как и для тела, — говорила она и прикладывала к избранным ею авторам ещё письма Скюдери и некоторые из сочинений Кребильона-младшего. — Нельзя питаться одними тяжёлыми мясными блюдами, нельзя жить и на одной зелени. Необходимо мясные блюда разнообразить шпинатом, яйцами или вообще чем-нибудь более лёгким.

Заставив стол набираемыми ею книгами, она приложила к ним оды Гюнтера и «Мессиаду» Клопштока. «Чтобы не забыть немецкий язык», — поясняла она. Наконец, пересматривая вновь всё приготовленное, она спросила:

— А где же Корнель? Нельзя не взять с собой Корнеля. Я люблю его сильный, будто стальной стих. Он укрепляет душу, даёт силы терпеливее переносить невзгоды жизни.

Государыне в выборе вещей и укладке их помогала весьма ещё молоденькая, смуглень-

кая, чрезвычайно живая и нельзя сказать, чтобы уж вовсе некрасивая дамочка. Она суетливо перебирала книги, хватаясь то за ту, то за другую и начиная опять искать ту, которую перед тем держала. При вопросе государыни о Корнеле она особенно засуетилась. Ей казалось, что она сейчас только держала его в руках. Это была княгиня Дашкова, Екатерина Романовна, племянница канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, воспитанная у него в доме, и родная сестра графини Елизаветы Романовны Воронцовой, любимицы императора. Она только недавно вышла замуж за князя Дашкова, секунд-майора Семёновского полка, весьма популярного среди офицеров гвардии.

— Поверьте, государыня, и я, и мой муж готовы жизнью за вас пожертвовать. Вы прикажите только, ваше величество, и мы в огонь бросимся. Никита Иванович Панин, с которым, опираясь на родство своё, я могу говорить откровенно, тоже вполне сочувствует вашему величеству. Он находит настоящее положение наше невозможным, невероятным... Вы слышали, что и вчера происходила

экзакуция. Попались Мельгунов и Волков. Их не жаль; но сообразно ли, соответственно ли? Относительно гетмана Разумовского, я знаю одного офицера, мне его недавно представили... он, говорят, имеет на Кириллу Григорьевича неотразимое влияние. Это Ласунский. Говорят, будто он пользуется особой милостью гетманши. До этого, впрочем, дела нет; но говорят, что через неё он имеет влияние и на Нарышкиных. Вы скажите только ваши намерения, ваши предположения...

— Любите ли вы удить, княгиня? — спросила вдруг государыня, не отвечая на её вопрос. — В Петергофе для уженья есть превосходные места. Я хочу взять с собой удочки. Там, в пруду, против Марли, разведены чудесные карпы. Они так приучены к хлебу и с такой охотой бросаются на приманку, что ловить их почти не составляет труда. Только поймав, я обыкновенно снимаю их с крючка и отпускаю опять в пруд. Мне становится жаль бедную рыбу, обманутую мною приманкой...

— Однако, государыня, сколько я заметила, вы любите рыбные кушанья, — замети-

ла Дашкова. — Никита Иванович, разговаривая со мною, очень тонко, однако ж, дал понять, что прежде чем можно приступить к чему-нибудь, нужно знать ваши намерения.

— Но пока у меня нет никаких намерений! Я смотрю, что делают и будут делать они... Что же касается рыбных кушаньев, то я с удовольствием ем их под влиянием впечатлений детства... У нас в Германии осётр или стерлядь такая редкость... Я думаю взять с собой эти рисунки, мы там можем заниматься рисованьем. В Петергофе есть великолепные виды. Из моего домика чудный вид. Во-первых, море... Я люблю море! Домик, который я там занимаю, недаром зовут Монплезиром, уж точно удовольствие; стоит он на самом берегу моря и весь в зелени... Вот, княгиня, у меня к вам убедительная просьба: съездите в нюрнбергские лавки и выберите мне хорошей бристольской бумаги, итальянских карандашей и других принадлежностей рисования. У меня во всём этом большой недостаток. И ещё, нельзя ли попросить, чтобы госпожа Неплюева доставила мне европейский географический атлас. В Петергофе он будет мне

крайне нужен. Ещё возьмите сепии; у меня её нет, а я хочу попробовать рисовать сепией...

Княгине пришлось поневоле ехать исполнять поручение государыни, не добившись того, что она хотела знать.

«Какая, однако ж, она легкомысленная и поверхностная! — думала княгиня Дашкова, садясь в карету. — Можно же в такое время, когда, можно сказать, жизнь поставлена на карту, когда каждую минуту надо ждать, что вот возьмут и отвезут в Петропавловскую крепость, в эту минуту думать о рисунках, об ужении рыбы... Хорошо, что за неё есть кому подумать... Я не зеваю, стараюсь всеми мерами...»

Но пока она так рассуждала, перед Екатериной как лист перед травой вытянулась стройная и изящная фигура Григория Орлова.

Красивый, молодой, в шитом золотом артиллерийском мундире, Орлов напоминал тех мифических паладинов средних веков, которые принимали девиз: «Любовь и смерть» — и в самом деле любили и умирали.

— Это ты, Грегуар, здоров ли, мой друг? Что ты так вопросительно на меня смот-

ришь? — сказала государыня, милостиво протягивая ему руку, которую тот почтительно и страстно поцеловал.

— Благодарю за милость, государыня. Я по приказу: с братом давно ждём!

— Насилу выпроводила эту болтушку. Чрезвычайное самолюбие! Мне кажется, она думает, что свет перевернётся, если она о нём не будет заботиться. Где же, однако, твой брат? Зови! Времени немного. Она вернётся, а пока её необъятное самолюбие необходимо щадить!

Через несколько секунд вместе с Григорьем Григорьевичем Орловым вошёл его брат, Алексей Григорьевич.

Огромного роста, значительно выше Григорья Григорьевича, который и сам был большого роста, в плечах, как говорится, косая сажень, с широкой грудью, с кулаком, как молот, видимо, необыкновенной силы и с несколько плоским лицом, на котором виднелся небольшой знак, вероятно остаток прежних походов, — Алексей Григорьевич был тип тогдашнего русского молодечества, с его ухарством, беззаботностью и бес-

шабашной, но разумной отвагой. Это был тип молодца, который любит и песню спеть, и на кулачках подраться, да так, что на стену один лезет или один против стены стоит, а при случае и смекалкой развести. Не белоручка, не неженка, готовый во всякую минуту вскочить без седла на бешеную лошадь, сцепиться один на один с медведем, он был именно то, что называют русский удалец, представитель той мужественности и силы, которому древние римляне созидали жертвенники и прославляли как олицетворение силы природы, побеждающей красоту.

— Вот, матушка государыня, мой брат Алексей, — сказал Григорий Григорьевич, казавшийся против брата пигмеем.

Екатерина оглянула Алексея с головы до ног и улыбнулась.

— Мне много говорили о вас, — сказала она. — Много говорили о вашей силе и удали, — прибавила она, стараясь подделаться под русский лад речи, которому всегда подражала и который изучала с необыкновенным терпением. — Очень рада, что имею случай познакомиться с вами лично. — И она протя-

нула ему руку.

— Матушка царица, ваше императорское величество! — отвечал Алексей Орлов, взяв ручку государыни двумя пальцами и с медвежьей ловкостью, может быть, умышленно пожал её так, что государыня чуть не вскрикнула, пока он подносил её руку к своим губам. — Мы, матушка, родная наша, за тебя все готовы живыми в могилу лечь! Ты прикажи только, и мы всё разметим, всё твоё будет...

— Я надеюсь на вас, я верю вам! — отвечала Екатерина благосклонно. — Братья Орловы для меня всегда будут как эмблема верности. Грегуар, верно, говорил вам, в каком я нахожусь положении. Вы слышали об оскорблении, которое было мне нанесено публично, перед лицом целого света. Они забыли, что, оскорбляя меня, они оскорбляют русскую императрицу, оскорбляют нацию... Так жить невозможно! Вы согласны? Нужен исход, какой-нибудь исход...

Орлов стоял перед императрицей, смотря вниз своими серыми из-под густо нависших бровей глазами прямо ей в глаза и не выпуская из своей широкой ладони её ручки.

— Мне грозят тюрьмой, ссылкой, — продолжала императрица, — но никакая тюрьма, никакая ссылка, ни даже лютая казнь мне не страшны после тех обид, того унижения, которые я вытерпела и терплю каждый день. Лучше смерть, чем унижение, и унижение не меня только, но и моего достоинства!

— Эх, матушка, царица наша благоверная! — начал Алексей Орлов. — Мы давно смотрим на тебя, скорбим за тебя! Не раз промеж себя говорили: за что нашей всемилостивейшей государыне такую студу напрасно терпеть? Нет человека в гвардии, всемилостивейшая государыня, который бы твоего горя не считал своим горем, который бы обиду тебе не считал себе обидой... Мы все обижены, все оскорблены; но обиду нашей государыни мы признаем себе тягчайшей из всего, что мы переносим! Но ведь мы сами, без твоего слова...

— Потому-то я и решилась. Надеюсь, что верная гвардия поддержит мои права и права моего сына. Надеюсь, что она не даст в обиду того, кто Божиим соизволением должен над нею царствовать. Грегуар мне говорил, что у

вас всё уже готово, что вы ждёте только одного моего слова; скажите же, в какой степени я могу на эту вашу готовность рассчитывать?

— Готово, матушка, всё готово! Скажи одно слово — и вся гвардия поднимется разом, как один человек, и вся за тобой хоть в огонь пойдёт.

— Но что же вы сделаете, как вы распорядились?..

— Мы, государыня, набрали своих для каждого полка. Эти уже главные, их мы знаем, и они нам за своих отвечают. Таким образом, Преображенский полк отдан Пассеку, Измайловский — Рославлевым и Ласунскому, Семёновский — Ушакову, Вадковскому и Бибикову, артиллерия и нефронтовые разные — вот ему, — он указал на брата, — и брату Фёдору. На них же возложены сношения и оповещения по всем нашим. Конногвардия и гусары — уж это моё дело! Лошадей никому не уступлю. Страсть такая, государыня, сызмала. Вот у Пассека уж и приговорены: Барятинский Фёдор — с той самой минуты, как государь велел брату его вас, государыня, арестовать, он весь ваш душой и телом, — Бреди-

хин, Баскаков, Меншиков; все ребята тёплые, за себя постоят; в Измайловском, у Рославлевых, — Повалишин, Хохолков и немчик Кюмель; у семёновцев — Ушакову и Вадковскому помогают Тимковский, Дашков, Лукашов и другие; у меня — Хитрово. Всего у нас считается слаженными на жизнь и смерть офицеров 40 человек, а они уже подговорили рядовых общим счётом более 10 тысяч человек.

— Вы думаете, я так сильна?

— Сильны, матушка царица! За ними все пойдут! Скажите слово, мы сейчас всё перевернём.

— Видите, государыня, — сказал Григорий Орлов. — Вот вам подтверждение! А вы спросите о брате, кого хотите; он царства не возьмёт, чтобы солгать! Стало быть, теперь всё зависит от вас...

И он, стоя подле неё, самовольно взял руку государыни и поднёс к губам.

Екатерина оставила свою руку в его распоряжении и на минуту задумалась.

— Послушайте, Орлов, — сказала она, обращаясь к Алексею Орлову. — В случае удачи я обещаю вам всё, чем только может награ-

дить своего подданного государыня. Я готова разделять с вами опасность. Но ведь вы понимаете...

— Эх, матушка государыня, такие ли горшки о нашу голову разбивались. О наградах мы не думаем, только бы ты была покойна да счастлива. Мы награждены уже светлым взглядом твоим. Себя-то только береги да вели только... сегодня, что ли? Я сегодня же всех на ноги подниму. Наши ребята подобраны, скажу без хвастовства, один к одному, будто все братья родные; умрут — не выдадут. Послужить послужим, а там будь что будет; двух смертей не будет, а одной не миновать!.. Так сегодня, что ли? Прикажи!

— Нет, когда он захочет гвардию из Петербурга в Данию вести. Предлог будет хороший! За день дам знать!

— Слушаем, матушка царица! А не прикажешь ли кого представить из наших?

— Нет! Напрасных подозрений наводить не нужно. А вот Грегуар принесёт мне от тебя список. Я при первом случае каждому дам почувствовать, что я знаю, что на него могу полагаться; стало быть, он может не сомневаться-

ся, что, в случае удачи, я его не забуду!

Алексей Орлов хотел было гаркнуть «ура», но Григорий остановил его.

— Что ты, сумасшедший!..

— Виноват, матушка царица! Да обрадовался так и за тебя, и за себя, и за матушку-Россию; а то ведь сердце изныло, себя не помнишь от горя, что с нами делают...

Она отпустила их, подав снова Алексею Орлову свою руку и удержав на секунду Григорья, чтобы осчастливить его более нежным знаком внимания. Но, проводив их, она ту же минуту велела позвать своего секретаря Одаря.

«Добрые, хорошие люди эти Орловы! — сказала Екатерина, провожая их глазами. — И какие молодцы! Алексей кажется ещё удалее; зато Грегуар красавец и как сложен! Видно прямо, что они себя готовы не жалеть; но им кажется, что всё это так легко! Они говорят: нас сорок офицеров, у нас десять тысяч гвардии. И они думают, что с сорока офицерами и десятью тысячами гвардии можно перевернуть сорокамиллионное государство, победить двухсоттысячную армию. Нет, друзья,

ценю вас, благодарю, но вы слишком молоды, чтобы на вас, и только на одних вас, опереться! Верно, что вы голов своих не пожалеете: но будет ли польза в том, что я подведу под плаху ваши головы? Положим, что с десятью тысячами мы захватим, арестуем императора, а там что? Что о таком захвате скажет народ? Что скажет духовенство, дворянство, сословия, войско? Что, если в ответ на манифестацию с десятью тысячами сенат объявит всех нас лишёнными покровительства законов, а синод предаст анафеме, как Стеньку Разина? Если Румянцев, Чернышёв, Пётр Панин поведут против нас свои корпуса, атакуют со всех сторон? Что ж нам, драться со всеми? Брать штурмом один по одному пятьсот городов русской империи?.. Говорят, у Елизаветы и тысячи человек не было! Да! Но у Елизаветы были права! Она была дочь славного государя, любимая и войском, и народом, шла против иноземного владычества, можно сказать выдуманного, сочинённого и уж, разумеется, народом нисколько не любимого. А я?.. Император — законный государь. Россия в течение восемнадцати лет признавала его сво-

им великим князем, наследником престола. Она знает, что он Петру I родной внук. Правда, он делает всё возможное, чтобы она его возненавидела; но мне нужно много, очень много, чтобы она меня полюбила, а пока... Нет, не довольно одной силы, хотя, разумеется, и без силы нельзя, но нужно ещё кое-что, и я озабочусь, чтобы это кое-что было».

Вошёл Одар.

— Поезжайте к преосвященному Дмитрию и скажите, что я еду в Петергоф, приготовилась во всём, как он говорил, и прошу его заехать отслужить молебен в комнатах великого князя. Он же вчера чувствовал себя не совсем здоровым!

Одар скрылся, а Екатерина приказала ещё позвать воспитателя своего сына, бывшего перед тем нашим послом в Швеции, Никиту Ивановича Паника.

— Ну, Никита Иванович, — сказала она, когда тот вошёл, — садитесь рядком да поговорим ладком, по русской пословице!

И Екатерина показала ему место против себя, через столик.

Панин сел.

— Вы говорили мне, — начала Екатерина, — помните, о том, что будет ещё хуже! Согласитесь, что хуже того, что делается теперь, уже не может быть! Что это такое? Прусский союз против своих союзников? За что такой милый подарок всей Восточной Пруссии и Бранденбургии с Берлином прусскому королю, без всякого возмездия? Провинции эти были куплены русской кровью! И что такое за поклонение пруссакам и благоговение перед Фридрихом, к унижению России? Не далее как только при его деде, Петре Великом, прусский король считал себя счастливым, что может быть в числе подручных русского императора, а при прадеде его никто и не говорил о Пруссии и прусском короле иначе как о вассале Польши и одном из князей германских, могущих считаться разве с герцогом курляндским или графом лимбургским. Наконец, внутренние дела: Трубецкой из кожи лезет, чтобы придать им хоть какой-нибудь смысл, не тут-то было! Первому встречному голштинцу вздумается что-нибудь выпросить прямо в противоречие только вчера утверждённому, и вся работа, все соображения уходят в

воду. Наконец, эта война за Шлезвиг, война, которая может поднять на нас всю Европу? Скажите, может ли быть что-нибудь ещё хуже? Я уже не говорю ни о приличии, ни об уважении к себе; не говорю о том, что не только я, но и великий князь подвергаются ежеминутно опасности быть заключёнными и сосланными по прихоти той же Романовны; не говорю, что вся гвардия обижена предпочтением голштинцев и назначением во главу её человека, не служившего России никогда, — прусского генерала, стало быть недавнего врага и который не умеет даже говорить по-русски. Ну, Никита Иванович, скажите, может ли быть что-нибудь ещё хуже?

— Нет, ваше величество, должен отдать справедливость вашей проницательности. Император превзошёл всё, что можно было ожидать.

— Ну, так научите, что делать?

— Делать можно одно — изменить порядок правления, отменить абсолютизм и применить во внутреннем устройстве к положению шведских штатов.

— Прекрасно! Но как это сделать?

— При всеобщем неудовольствии, думаю, это не так трудно. Заменить отца сыном и предоставить регентство в руки вашего величества, как это и предполагал, изволите помнить, Алексей Петрович Бестужев?

— И вы готовы мне в этом содействовать?

— Если ваше величество изволите принять мою программу, я сочту себя обязанным всего себя посвятить делу.

— Для спасения себя, для ограждения не только прав, но и личности моего сына я должна принять всякую программу, должна согласиться на все условия. Вот Орлов мне предлагает, чтобы ни голштинцев, ни лейб-кампании, этой гвардии в гвардии, не было; вы — отречение от абсолютизма; вероятно, преосвященный потребует возврата церковных имений и ещё чего-нибудь. Гетман тоже, верно, найдёт, что просить: наследственное гетманство, самобытность Малороссии. Но что бы кто ни требовал, я уверена, что требования эти будут направлены к общей пользе, и считаю себя обязанной исполнить их. Нужно только, чтобы все были готовы.

— Несомненно, ваше величество, мы подготовимся. Я уже говорил с Иваном Ивановичем Неплюевым, говорил с Волконским и, наконец, с его любимцами Вильбоа и Корфом. Все согласны со мной. Только и вам нужно решиться выбрать день.

— Я уже решилась, поэтому и пригласила вас. О выборе дня мне говорила княгиня, ваша племянница. Но, признаюсь, я не знала, могу ли я сказать ей. Она, разумеется, очень милая, меня любит, хлопочет и много помогает. Но она, как бы сказать, слишком ещё молодая, слишком увлекается, так что, право, не знаю, можно ли на неё вполне полагаться. Притом положение при императоре её сестры... Знаете, Никита Иванович, в иных случаях я не то что недоверчива, но осторожна и не всё говорю, что знаю... Гвардия уже выбрала свой день, тот день, в который император решит её вести из Петербурга для войны с Данией... Если вы не находите ничего против...

— Если не раскроется как-нибудь вся наша махинация прежде, — улыбаясь, сказал Панин.

— Разумеется! Итак, решено! Я прини-

маю вашу программу. Вы мой?

— Душою и сердцем!

— И возьмётесь переговорить с сенатом и другими ближайшими лицами?

— Всенепременно, ваше величество! Я уже докладывал вам, что с большей частью лиц я уже говорил.

— Тогда благодарность моя и моего сына будет к вам беспредельна, и сын мой, насколько он будет в состоянии, как конституционный государь, доказать, что такого рода услуги никогда не забываются, не только за себя, но и за меня он постарается.

— Государыня, вопрос о пользе отечества и государя для меня всегда был выше личных стремлений. А в ваших милостивых словах заключается обеспечение того, что отечество наше не будет игрушкой той — приходится признаваться — чисто детской фантазии, с которою государь Пётр Фёдорович полагает управлять обширной империей; той детской фантазии, которая в нём, уже женатом, совершеннолетнем, вызывала желание показывать язык духовенству, когда оно перед ним кадит. Теперь он мучит гвардию в то время,

как готовится к войне... тоже, впрочем, как дитя, которое не может отстать от занимающей его воображение игрушки.

— С преосвященным Дмитрием я говорила много раз. Сегодня на половине великого князя он будет служить напутственный молебен по случаю моего отъезда в Петергоф; дайте ему почувствовать, что он имеет право причислять вас к числу своих.

Панин откланялся.

«Он смеётся, — сказала про себя Екатерина, когда он ушёл, — говорит об ограничении, о конституции, и где же, у нас, в России, где большая часть народа ещё рабы. Кто же будет представителем этих рабов? Их господа! Но тогда, понятно, придётся писать законы, как писал их Дракон для илотов, кровью. Уж один пример верховников при Анне должен был бы, кажется, вразумить его. Нет! Людской фантазии, видно, нет пределов. Земский собор, выборная комиссия — другое дело. У нас же общее представительство? Нет, не доросли ещё мы и не умеем ради общей пользы жертвовать своими личными интересами. Никита Иванович мог бы знать это по Швеции! Но де-

лать нечего, я должна со всеми соглашаться, чтобы после разобрать...»

К государыне вошёл новгородский архиепископ, знаменитый вития того времени, Дмитрий Сеченов.

Государыня встала, приняла благословение и поцеловала руку архиепископа.

— Новое горе, государыня; новый ропот возбудит! Господи, к чему это поведёт, чем это кончится? — сказал архиепископ, поднимая свои карие, умные глаза на образ Божией Матери, сиявший в дорогой ризе в кабинете государыни.

— Что ещё? Что он сделал?

— Приказал вынести из церквей все образа, кроме Спасителя и Божией Матери. Из домовых церквей таковой унос был выполнен ту же минуту, и самые церкви закрыты. Как выполнить его в приходских церквях — ума не приложим!

— Как? Что такое? Расскажите, святой отец; садитесь, расскажите!

Преосвященный сел. Расстроенным, как бы надтреснутым голосом он стал рассказывать, что вот призывает его к себе государь

Пётр Фёдорович. Он пришёл, вступая в чертоги его с подобающим благоговением к наречённому в будущем помазаннику Божию, главе православия.

— Но при самом моём входе, — рассказывал преосвященный, — трое из окружающей его немецкой челяди начинают глумиться надо мной, над саном моим, над брадою и власами моими, обзывая меня между собою, на диалекте своём, и козлом, и псом, и жрецом вааловым; обнося кругом табачищем своим с поклонами, якобы подражая святому каждению. Бог благословил нас примером терпения. Мы, служители Божии, должны подражать Ему в том, прощая обиды и молясь за ненавидящих ны. Поэтому я сделал вид, что не понимаю их говора. А в это время вышел государь.

«Я вот что, отец архиепископ, хотел с тобою говорить, — начал он. — Пора нам бросить азиатскую неподвижность и идти вслед за Европой. Во всех истинно образованных странах, отринувших богомерзкую власть папы, приписывающего себе божеские свойства, принято, что духовный чин в обыкно-

венном, светском быту своём ничем не отличается от всех других граждан. Я хотел бы, чтобы и у нас священники и епископы также носили обыкновенное платье, стригли волосы, брили бороду, тем паче я слышал, что это вовсе не воспрещено канонами вашими, а составляет один только обычай».

«Обычай, государь, освящённый преданиями православия, основанный на преемственности символов...» — начал было я, но государь не стал слушать.

«Что бы там ни было, какая бы там ни была преемственность, — сказал он, — а я не хочу, чтобы мы напоминали Азию. Я хочу... вот хотя бы и по устройству церквей: ну что это за идолопоклонство? От зубной боли молись перед угодником Божиим Антиной, от падежа скота — Власию... и там кому ещё от чего? Церковь есть церковь — прославление дел Спасителя, поэтому в ней не может и не должно быть иных изображений, как Спасителя и Божией Матери».

«Не идолопоклонство, государь, а воспоминание о сподвижниках Божиих. Мы не поклоняемся иконам, а только воспоминаем слав-

ные...»

Государь опять не стал слушать.

«Нет, уж об этом оставь, отец архиерей, — сказал он. — Об этом я уж отдал приказание моему генерал-полицеймейстеру. Я думаю, он уже сделал распоряжение, чтобы домовые церкви были закрыты, а из приходских чтобы все эти несоответственные иконы были вынесены. Не сегодня-завтра синод получит о том указ. Я позвал вас потому, чтобы моя о том неременная воля была вам известна и вы, по вашей всегдашней преданности престолу и отечеству, озаботились привести мою волю в исполнение с возможно меньшими затруднениями.

Выслушав эти слова государя, я так и опешил, а он больше ни слушать, ни говорить не стал.

«Идём на вахтпарад измайловцев, — сказал он своим. — Посмотрим там, как пан гетман ножки свои на учебном шагу вытягивает и какие при этом рожи строит! У! Правая нога кверху, рот на сторону, правое плечо к уху, а левое будто в землю уйти хочет, и левый глаз прищуривается. Команда «три!» — и всё на-

выворот: левое плечо на ухо и левая нога вперёд, а рот на другую сторону».

Засмеялся и убежал, оставив меня одного раздумывать.

«Господи, — подумал я, — неужели Ты наконец прогневался на нас; неужто с корнем должно иссякнуть древо православия в России, такими трудами святых отцов насаждённое и с такой заботой православными самодержавцами взлелеянное и ограждённое?»

— Нет, святой отец, этого не допустит Бог. Всему этому напускному, всему чуждому скоро будет конец. Это я вам говорю... и конец должен быть...

— Дай Бог, дай Бог, матушка наша, боголюбивая царица! Да облегчит Господь труды твоя, да ниспошлёт своё благословение на начинания твои!

— Да, будем молиться по старому благоверному обычаю. Только вот что, святой отец... я хотела говорить с вами. Удастся мне дело в руки свои взять, я, как обещала, вопрос о церковных имуществях кончу немедленно, к общему удовольствию духовенства. Но ведь для этого нужно иметь возможность... а та-

кой возможности меня и моего сына хотят лишить.

— Как это, матушка, благоверная царица? Я что-то в толк не возьму, как это лишить?

— Мне предлагают защиту и помощь, ввиду предположения государя запереть меня в Шлиссельбургскую крепость; предлагают перемену главы правления, но с тем чтобы ни сын мой, ни я, представляющая и охраняющая его права, не были бы самодержавными государями, а приняли бы правление по образцу Швеции.

— Кто ж это смеет предлагать вам, матушка государыня?

— Как кто? Сенат, генералитет, коллегии, высшие чины двора и управления.

— А! Барству хочется царствовать! Хочется захватить в свои руки. Нет, этого не будет! Избави Бог, государыня, на это согласиться. Россия не в таком пока положении, чтобы могла сама собой управляться. Припомни, матушка государыня, верховный тайный совет; что вышло? Дело неподходящее, совсем неподходящее. Не привыкли у нас, не умеют;

не развиты мы настолько, чтобы общее дело ставилось выше всех частных желаний и личных видов. Да и в Швеции-то, — спросите у Никиты Ивановича, — много ли и там бескорыстных и честных деятелей? А у нас... Нет, нет, государыня! Царствуй ты или сын твой самовластно, самодержавно, как царствовала благочестивая бабка его и самодержавствовал её отец, Великий Пётр, и уважай народную веру нашу. Не подражай своему супругу, который хочет архиереев стричь и брить; но самодержавствуй, а не отдавай царство боярству и проходимству. Другое дело земский собор для решения дел важных. Но по-шведски или по-польски, всякий от себя и во всякое время спор поднимал, — и думать не могли! Ни за что не уступай, матушка государыня; и себя, и Россию погубишь!

— Я думаю о твоих словах, святой отец. Для блага России я на всё готова; но чтобы в удовлетворение частных честолюбий... Я подумаю, святой отец, хорошенько подумаю... А пока прошу, по случаю моего переезда в Петергоф, отслужить напутственный молебен. Великий князь же не совсем здоров и остаёт-

ся в Петербурге.

— Где же служить молебен велишь?

— На половине великого князя. Я не хочу его тревожить, а хочу помолиться вместе.

— Я прикажу туда собираться. А ты, государыня, не уступай!

— Да. Но ведь мне нужно будет, чтобы всё готово было. Приеду я в собор, нужно, чтобы было кому и молебен отслужить, и к присяге приводить.

— С нашей стороны всё будет, матушка. Только ты барским-то затеям не мирволь!

Преосвященный ушёл. Но ей уже докладывали о приезде малороссийского гетмана и президента академии наук графа Кирилла Григорьевича Разумовского.

— Ну, и вы хотите поставить мне условия, так ли, граф? И вы, разумеется, желаете ограничений; уж не отделения ли Малороссии?

— О, ваше величество, как же мало вы верите моей преданности! Я желаю только одного: служить вашему величеству и иметь право хоть изредка взглянуть в ваши царственные очи. За то для деятельности актив-

ной, к которой, я признаюсь, считаю себя малоспособным, я доставляю вам моего фактотума — мою голову, перо, руку, всё, что хотите, — моего учителя, управляющего, секретаря, учёного, администратора, писателя — одним словом, человека на все руки. Он может быть всем, чем вы пожелаете; на всё пойдёт! За гривну родного брата зарежет! Это мой Теплов, не сравненный ни с чем, бесценный Теплов. На себя же беру обязанность самую приятную, но и самую трудную: заботиться лично о вас. Вас может постигнуть или удача, или неудача. В случае неудачи, чтобы спастись, вам, главное, нужны будут деньги. В случае удачи вам нужно будет ещё более денег. Нельзя же, вступив на престол, сейчас же посылать за какими-нибудь несколькими десятками тысяч в штатс-контору; да, сколько мне известно, и там денег нет ни гроша. Наш достопочтенный голштинский повелитель, перед отъездом в Ораниенбаум, говорят, вымел всё дочиста, так что даже и пыли-то в сундуках не осталось, не то что денег. Вот при помощи брата, графа Алексея, я собрал миллион, чтобы этим миллионом, в том или дру-

гом случае, был вам полезным, внёс этот миллион в контору барона Раля и квитанцию в том передаю в распоряжение вашего величества. — И он подал ей квитанцию.

Екатерина, слушая это, заметно повеселела. Составляя предположение о смещении супруга, она страшно затруднялась недостатком в деньгах, а предложением графа Кирилла Григорьевича эта главнейшая забота на некоторое, по крайней мере, время совершенно отстранялась.

— Чем достойно отблагодарить вас, граф, за такую жертву и в такое время? Я буду думать, всё время думать; может быть, Бог даст, и придумаю. Теперь же примите хотя словесное выражение благодарных чувств, — сказала Екатерина, подавая графу обе руки свои.

Когда Разумовский ушёл, Екатерина задумчиво и в то же время с какой-то жестокой иронией сказала про себя: «Бедный! Он думает, что каким-нибудь миллионом можно купить русскую императрицу, купить ту, перед которой должен склониться целый мир. Но он прав! В настоящем своём положении я должна всем пользоваться, всё принимать.

Впрочем, дело, кажется, стоит теперь на иной почве. Я имею за себя дворянство и представителей администрации, духовенство, по крайней мере, часть войска с Петром Ивановичем Паниным во главе; наконец, и просвещение со своей академией. Малороссия с гетманом тоже за меня. К ним пристанут все недовольные. Это уже не десять тысяч. Теперь, пожалуй, и решиться можно. Правда, за то я наобещала всем Бог знает что; ну да после разберёмся!»

В этих мыслях государыня пошла на половину великого князя слушать молебен и, приказав пригласить к себе адмиралов Талызина и Нечаева, велела готовить экипажи для переезда в Петергоф.

Адмиралы, разумеется, были согласны на всё. Императрица отлично умела убеждать. А государь Пётр Фёдорович успел и флот огорчить и обидеть, прозвав его фуфлыгами за то, что его строй и форма далеко не подходили к прусскому образцу.

Когда императрица вышла, чтобы садиться в экипаж, то в народе она заметила Григория Орлова.

Знаком она подозвала его и позволила ему помочь себе сесть в карету.

Подсаживая её, Орлов сказал:

— Брат просил передать, что он распорядился, как вы изволили указать: движение откроется в день выхода гвардии из Петербурга. Вместе с тем поручил мне спросить: «Что делать, если до того откроется что-нибудь, что наведёт подозрение?»

— В ту же минуту дать знать мне! — отвечала Екатерина решительно. — Я приму свои меры. Прощай, будь здоров, не забывай, — прибавила она тихо, протягивая ему свою ручку, которую он почтительно поцеловал.

Она невольно улыбнулась, оглядывая молодого, стройного красавца, который смотрел на неё не только с восторгом, но с каким-то обожанием, до самозабвения.

«Этот не выдаст, не продаст. Он любит, поэтому не может выдать. А как он хорош, как хорош!»

Экипажи понеслись по морской слободе, начинавшей уже образовывать улицу, по направлению к Петергофу.

VIII

ОТ НЕЁ ВСЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ

К о дню тезоименитства государя в Ораниенбауме, кроме обыкновенной свиты и собственно тех, которые составляли постоянно его военно-походный двор, собралось довольно многочисленное общество представителей высшего управления и вообще лиц, близких к особе государя по своему высокому положению. Там были: первенствующий сенатор и старший член высшего совета фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой со своей второй супругой княгиней Анною Даниловной, урождённой княжной Друцкой; был великий канцлер граф Михаил Ларионович Воронцов с супругой обер-гофмейстериней Анной Карловной, урождённой графиней Скавронской, и с дочерью Анной Михайловной Строгоновой, не жившей, впрочем, со своим мужем; был старший брат канцлера сенатор Роман Ларионович Воронцов с дочерью девицей Елизаветой Романовной, любимицей

Петра III; был фельдмаршал Миних, только что возвратившийся из ссылки, но уже сблизившийся с молодым императором в такой степени, что тот с ним почти не расставался.

Было трое Нарышкиных с жёнами; были прусские послы Шверин и Гольц, князь Иван Фёдорович Голицын, Олсуфьев, Волков, графиня Брюс, княгиня Волконская и многие другие.

Князь Никита Юрьевич стоял подле стола с приготовленными закусками и всё думал свою вечную думу, как бы устроить, чтобы правление было в его руках без совместничества и помехи.

«От него я не жду себе противоречия, да противоречия и не бывает; зато бесхарактерность полная! Завтра он раз решает то, что сегодня строго воспретил. Изволь тут соблюдать баланс. Восстанешь против приказа — заденешь личность, а исполнишь — уничтожишь идею, отвергнешь самого себя... Вот и изволь тут... А что, если бы эта власть была ограничена? — спросил он себя. — Но с ограничением его власти прежде всего досталось бы считаться мне. Теперь, положим, ес-

ли в разрез моим желанием его кто-нибудь на что-нибудь уговорит, от меня зависит уговорить его опять на перемену. Тогда же, правда, он будет не в состоянии так вертеться; зато мне будет более трудная работа: во-первых, возиться с этими ограничениями; во-вторых, возиться с ним, чтобы искусно эти ограничения от его имени побеждать. И как бы я их ни побеждал, всё же буду ограничен, стеснён... Нет, нет! Для нас, министров, главноуправляющих, статс-секретарей, вообще тех, которые управляют, как бы их ни называли, всегда лучше абсолютно самодержавный государь. При таком только государе мы можем держать всю власть в своих руках, положим, обманывая его, особенно если он добрый, мягкий, простой и делами не любит заниматься; но Боже мой, кто же на свете одной правдой живёт? Дело только в том, чтобы ни обман, ни хитрость не выходили наружу; чтобы комар носу подточить не мог и чтобы всякий про меня думал: «Разумеется, не дурак, но никакой хитрости эдакой нет; прямой, простой и приятный человек», как, надеюсь, большинство и думает обо мне... Поэтому для меня

всего лучше абсолютный, самодержавный, но не вникающий в дела государь, каким Бог благословит нас теперь в Петре Феодоровиче. Да пошлёт же ему Бог долг век и здравие...»

В это время вошёл государь.

— Что же вы не закусываете, господа, — сказал он. — Положим, что императрица, верно, встретит нас хлебом-солью, хотя, может быть, и желала бы нам всем, начиная с меня и Романовны, этим хлебом подавиться или провалиться в тартарары! Но всё же, по-моему, подкрепить себя перед поездкой не мешает.

Нужно сказать, что только накануне двор воротился от Алексея Разумовского, из Гостилиц, где была и государыня и где государь очень рассердился, что не привезли великого князя, несмотря на то что государыня заявляла, что великий князь нездоров и что поэтому она оставила его в Петербурге.

Тем не менее государь сказал, что он будет непременно у государыни в Петергофе, и велел себя ждать.

Он выпил стакан красного вина и начал закусывать немецкими тартинками из кровя-

ной с горохом колбасы и селёдкой с черносливом. «По-голландски!» — как он говорил.

Двор отправлялся в Петергоф, чтобы обежать у государыни, а на другой день, в день тезоименитства государя, был назначен обед и бал у государя в Ораниенбауме.

Гудович, по приказанию Петра III, поскакал вперёд предупредить государыню.

Наконец собрались, уселись в экипажи и поехали.

Смотрят, Гудович летит во весь дух назад.

— Что такое?

— Государыни в Петергофе нет. Она неизвестно куда исчезла.

— Как нет?

— Нет!

— Где ж она?

— Неизвестно!

— Как неизвестно? Да ведь она приехала вчера, ночевала в Петергофе?

— Вчера вечером возвратилась, была в Петергофе, отпустила двор, легла в постель, а сегодня утром её в постели не нашли!

— Не может быть! Вероятно, она гуляет? Пошёл! — закричал Пётр III и в то же время,

обращаясь к Миниху, прибавил:— Видите, я говорил, что от неё всего можно ожидать!

Напрасно, приехав в Монплеизр, государь обошёл все комнаты; напрасно как он, так и приехавшие с ним обегали кругом сад не только Монплеизра, но и Марли и голландский, Петровский, или фруктовый, и Нижний парки; напрасно заходили в увеселительные домики, беседки, обегали темнее аллеи — государыни не было нигде. Они нашли только в голландской галерее Монплеизра вынесенное из уборной и убранные цветами и лентами её бальное платье. Оно было вынесено из тесненькой уборной Монплеизра, чтобы не беспокоить утром государыни, так как должно было украшаться и убираться, а уборная была слишком близко к спальне, и, убирая его утром, можно было беспокоить государыню. К тому же уборная была слишком тесна, чтобы украшать платье, долженствовавшее надеваться на тогдашние фижмы, с длинным шлейфом и пышным убранством бальных платьев того времени. Это платье остановило на себе внимание Петра III. Он трогал его буффы, тюники, ленты, повторяя то же, что

сказал перед тем Миниху:

— От неё всего можно было ожидать; я говорил, что от неё всего можно ожидать.

Между тем Трубецкой, опытным приёмом столь долгое время бывшего генерал-прокурора, начал расследование.

Оказалось, что экипажи все дома; что часовой около решётки видел, как на рассвете к воротам сада подъезжала карета и из неё вышел офицер в гусарском мундире; когда и куда отъехала эта карета, часовой не заметил. Часовые у Монплезира тоже не заметили, чтобы кто-нибудь входил в сад Монплезира или во дворец. Ясно, что вошли с террасы, а может быть, незаметно, в открытое окно, которое в галерее приходилось почти наравне с землёй; наконец, ни камер-юнгферы, ни комнатные, никто не видал, когда вышла государыня.

Вероятно, Трубецкой не остановился бы на этих расследованиях, но в эту минуту вошёл гоф-фурьер с письмом на подносе и проговорил гофмаршалу Измайлову, стоявшему подле Трубецкого и хлопавшему глазами:

— Пришёл малый с фабрики от Брисона,

бывшего камердинера его величества, и принёс письмо, просит государю в собственные руки отдать.

Измайлов взял письмо и пошёл к государю. Но государя в Монплеzure не было. Он обходил сад. Началась суэта, поиски государя. Его нашли близ канала Петра I.

В письме описывался отъезд государыни из Петергофа и прибытие её в Петербург на плац Измайловского полка к казармам. Затем описывалось, как майор полка Рославлев выстроил свой батальон и батальон этот со знаменем приветствовал Екатерину как царствующую государыню; а другой брат Рославлев с товарищами подводили свои роты к присяге и устраивали их во фронт. Затем они пошли к Семёновским казармам.

Все знали, что в Семёновском полку всего более было недовольных тогдашним положением дел.

Но между офицерами Преображенского полка явилось противодействие. Майор Воейков, капитан Нилов и поручик Воронцов рвались стать за верность присяге, за нерушимость преданий царствующего дома. Солдаты

строились. Гренадерская рота в ответ на заявление командира: «Помните ли присягу государю императору», ответила: «Умрём за него!» Воронцов, видя офицеров своего полка в сборе, подбежал к ним и требовал ответа: между преображенцами могут ли быть изменники?..

Офицеры были именно те, которые составляли душу заговора: Баскаков, Бредихин, князь Барятинский, — они молчали. Они чувствовали себя на колеблющейся почве. Воронцов думал, что они просто трусят, и побежал за Воейковым по рядам. Солдаты колебались, но не отказывались от присяги. Все пошли на Невский к собору. А там измайловцы и семёновцы уже стояли фронтом, и перед ними, в мундире Преображенского полка прежней петровской формы, любимой полком, с распущенными волосами и в Андреевской ленте, носилась Екатерина со светлым взором, с отрадной, милостивой улыбкой и приветливой речью на устах... Полк очарован, он весь зрение и слух.

— Умрём за императора! — кричит Воронцов.

Но во фланге полка стоял Преображенский поручик, пошатываясь и покачиваясь. Он потерял своё место на марше; не мог устоять от соблазна завернуть к французу на дороге, «чтобы освежиться живительным», как говорил он, поэтому он и стоял позади. Ему современная Диана казалась метеором, казалась неземным видением. Пары живительного туманили его голову. Он забыл, что человек, против кого идёт Диана, родной племянник той, которая спасла его более чем от смерти, и внук того, кто дал его имени знаменитость. Он всё забыл и видел только Диану.

И вот, натужась, громовым, хотя и надтреснувшим голосом он вскрикнул:

— Да здравствует наша матушка царствующая государыня, Екатерина Алексеевна, ура!

Гаркнул это князь Пётр Александрович Меншиков, сын возвращённого из ссылки Александра Александровича Меншикова и внук знаменитого генералиссимуса, князя Ижорского, Александра Даниловича.

Этот возглас решил всё. Преображенцы вместе со всеми подхватили возглас.

— Да здравствует царствующая государыня наша, императрица Екатерина Алексеевна, ура! — закричали они. —

Не хотим голштинцев! К чёрту голштинцев! Ура! Наша царствующая государыня Екатерина Алексеевна!..

Воронцов с своим криком за императора упал без чувств, ошеломлённый ударом эфеса по голове. Воейков должен был ускакать в канаву, а Екатерина царственно вошла в собор. Её сопровождала Дашкова, у которой давно был подготовлен свой мундир, взятый у графа Мусина-Пушкина, потому что, рассуждая с государыней, вернее сказать, мечтая о заговоре, она часто говорила о том, как она с Екатериной будет командовать восставшей гвардией.

В соборе всё было готово торжественно встретить новую царицу. Свечи горели, голова певчих заливались; служил преосвященный, и диакон торжественно гудел своим густым басом:

— Благочестивейшей, самодержавнейшей, великой, царствующей государыне нашей Екатерине Алексеевне и её наследнику, цесаревичу и великому князю Павлу Петро-

вичу, многие лета!

От молебна и присяги государыня, в сопровождении войска, поехала во дворец, а там её уже встретили сенат и синод почти в полном составе. Правда, не было ещё первенствующего сенатора князя Никиты Юрьевича Трубецкого, он был с государем в Ораниенбауме; но был зато старейший по летам и службе сенатор, племянник Петра Великого, организатор Оренбургского края, Иван Иванович Неплюев.

С Неплюевым во главе явились во дворец все недовольные антинациональным направлением существовавшего правительства; явились все, которые желали отстаивать русские интересы, представителем которых, со своеобразным, впрочем, взглядом, был Никита Иванович Панин. Тут были и граф Скавронский, двоюродный племянник императрицы Елизаветы, внук Мартына Самойловича, родного брата Екатерины I, и граф Шереметев, внук знаменитого Бориса Петровича, и подполковник гвардии Иван Андреевич Ушаков, сын страшного графа Андрея Ивановича. Вслед за другими немедленно прибыли и

некоторые из любимцев императора, пользовавшиеся его доверием: вновь пожалованный генерал-фельдцейхмейстером артиллерии Вильбоа и, к общему удивлению, генерал-полицеймейстер Корф. Представителем Разумовских при вступающей на престол государыне был Тёплое. Он принял на себя бюрократическое ведение дела, составлял манифесты, писал циркуляры, сообщал сведения. Явились к государыне и малолетний великий князь с Паниным.

Панин, слыша и читая манифесты о самодержавном воцарении, о провозглашении государыней Екатерины II, неоднократно желал подойти к ней и спросить: «Как же это? Ведь разговор был не тот; ведь он и все его, с Иваном Ивановичем Неплюевым во главе, со всеми членами так называемой русской партии, не того ждали...» Но государыня, окружённая представителями войска, среди которых фигурировали три брата Орловых, от неё не отходивших; светилами духовенства, между которыми виднелась и звезда тогдашней учёности, архиепископ и член синода, преосвященный Дмитрий Сеченов; членами сена-

та, председателями коллегий и представителями первейших русских фамилий, — умела не замечать желания Панина говорить с ней. Она подписывала манифесты, делала распоряжения и назначения, будто условливалась со всеми поступать именно так, как она поступала; будто ни в распоряжениях, ни в правах её не могло возникнуть никакого недоразумения... Панин, не имея возможности даже подойти к ней, поневоле должен был молчать и подчиняться.

Назначив под главным начальством Неплюева комитет для управления столицей во время её отсутствия, она объявила поход на голштинцев, подразумевая под этим отряд, окружающий императора, её мужа, и распорядившись послать адмирала Талызина принять в своё ведение от её имени Кронштадт, а адмиралу Нечаеву поручить защиту устьев реки Невы.

Войско встретило это объявление о движении на ненавистных им голштинцев общим и единодушным «ура»!

Екатерине подали вновь её коня. Она села и повела войско по дороге на Петергоф; сопро-

вожжать её села на коня и Дашкова, чтобы, как муха, садящаяся на рога запряжённого в ярмо вола, иметь право говорить: и мы пахали!..

* * *

В Петергофе письмо Брисона произвело потрясающее впечатление. Пётр III, читая его, совершенно потерялся. Он сперва начал было ходить скорыми шагами по галерее Монплезира и террасе, обрывая попавшееся ему бальное платье; но потом, увидя входившего старика Миниха с его вечно добродушной и всегда спокойной улыбкой и после его нескольких одобрительных слов, он вдруг расхрабрился.

— О! Я встречу! Я покажу! — кричал он. — Она увидит, что такое настоящее войско; увидит, что значит действительная прусская дисциплина! Она увидит, что я сделаю с моим маленьким отрядом, — она увидит... — И он, не слушая ни Миниха, ни Измайлова, велел немедленно вести к себе свой отряд голштинцев... — Она увидит, увидит! — кричал Пётр,

обрывая кружево с платья и сминая и разрывая его на кусочки в своих дрожавших руках.

— Государь, — наконец сказал Миних твёрдо. — Это невозможно, это нельзя! Петергоф не представляет никаких шансов для защиты. В нём нельзя найти первых условий обороны. Все высоты командуют над Петергофом, который уступами спускается к морю и положительно не даёт способов ни для защиты, ни для отступления. В Петергофе государыня прихлопнет нас, как в западне. Она даже не станет тратить усилий сломить нас; она разгромит нас артиллерией с занятых высот. По силе своего отряда мы можем занять только часть Нижнего сада. А она от Знаменской мызы до Дворцовой горы займёт все высоты, прижмёт нас к морю, и нам исхода не будет! Если бы отряд наш был вдесятеро сильнее и мы могли бы сами занять Дворцовую гору, то и тут нас бы стали громить от Троицко-го, с Бабьих Гон. Во всяком случае, так или иначе, мы были бы разбиты и загнаны в залив. Нет, государь, поверьте опытности старика. Петергоф не место для защиты; уж если обороняться, так лучше в Ораниенбауме. Там,

по крайней мере, есть холм, который можно принять за опорный пункт; к тому же можно и отступить на Красную горку...

— Что же делать, что же делать? — рассеянно повторял Пётр и послал приказание остановить выступление голштинского отряда.

— Что делать? — продолжал Миних. — Всего лучше ехать в Кронштадт под защиту орудий кронштадтских фортов. Оттуда можно будет, смотря по обстоятельствам, ехать в Ревель и к заграничной армии. Смее уверить, ваше величество, что в челе вашей боевой, опытной армии вы возвратитесь торжествующим. Не то ехать в Москву, в сердце верного и любящего вас народа...

Миних продолжал ещё говорить, но Пётр его не слушал; он решил возвратиться в Ораниенбаум.

Между тем его спутники, услышав о том, что произошло петербургское восстание, не могли не смутиться. Толстый Измайлов бегал, суется об экипажах и лошадях, в ожидании приказанья; дамы плакали, иные истерически. Воронцов Михаил Ларионович (канцлер)

подбирал бумаги; Иван Иванович Шувалов, который был взят государем в Ораниенбаум, потому что прусский король советовал не оставлять его без себя в Петербурге, ходил скорыми шагами по дворцу, понутив голову. Трубецкой собирал известия о том, что делается в Петербурге.

Пришли известия, что государыня во главе четырнадцати тысяч войск всех родов выступила из Петербурга и идёт в Петергоф. Подали экипажи, чтобы ехать в Ораниенбаум.

— Ваше величество, не изволите ли мне приказать ехать в Петербург, чтобы собрать настоящие сведения о том, что там делается, а потом привести свой полк и остатки других полков, не принявших участие в движении? Может быть, Бог даст, я приведу столько войска, что отряд в 14 тысяч не будет иметь никакого значения.

— Ах, поезжай, поезжай, Трубецкой! Я век не забуду твоей услуги! — отвечал император.

Трубецкой вовсе не думал ни о своём полку, ни об остатках. Видя колебания, нерешительность и беспорядок здесь и твёрдость, ре-

шительность и спокойствие там, он угадал, на чьей стороне должна быть победа.

«Царство там, — подумал он. — И мне, стало быть, нужно туда...»

Вслед за ним стали проситься в Петербург для того же, что и Трубецкой, Воронцов и Шувалов. Они подумали: «Если Трубецкой туда едет, стало быть, это нужно...»

Император отпустил и их, не замечая, что и без того свита его редееет.

Он, впрочем, не замечал ничего. Он сновался из стороны в сторону, совершенно потерявшись. Наконец, он решил ехать в Кронштадт; но уже было поздно. Его не приняли, заявляя, что у них нет государя Петра Феодоровича, а есть только царствующая государыня Екатерина Алексеевна, и что они, в случае дальнейшего движения яхт, на которых прибыла свита императора, будут стрелять.

Сколько Миних ни уговаривал его выйти смело на берег, несмотря на угрозу открыть огонь, Пётр не решился и воротился в Ораниенбаум. Здесь он, правда, выслушал совет Миниха или прорваться через Кроншлот и идти в Ревель, или, наконец, принять меры к

защите, — но только выслушал и, не отвечая ничего, ушёл к себе в кабинет.

Усталый и проголодавшийся, он велел дать себе стакан вина и выпил. Потом сел, поставил перед собой бутылку и задумался.

— Потребовать ко мне Разумовских! — вдруг с каким-то азартом закричал он. — Гудович! Разумовских, сейчас, сию минуту! — Рука его машинально налила ещё стакан вина, и он выпил. И так до конца бутылки. Потом он сидел ещё, барабаня пальцами по столу и напевая прусский марш, и наконец, как бы под влиянием наития мысли, вышел из кабинета к свите и сказал твёрдо, тоном, не допускавшим возражения: — Вступить в переговоры! Измайлов, уполномочиваю тебя!

Миних безмолвно пожал плечами и отошёл к окну. Измайлов поехал навстречу Екатерине с письмом.

IX КОНЕЦ НАЧАЛА

Возвратясь поспешно в Петербург в минуту самого переворота, Никита Юрьевич Трубецкой окинул опытным и холодным взглядом положение дел. Он увидел, что гвардия если не вся шла против императора, оставаясь верной присяге и знамени, то потому, что не знала о существовавшем заговоре. Совершившийся переворот был для многих неожиданностью. Во-вторых, многие не шли из страха, а иные из презрения к измене. Зато теперь он видел, что и ста человек, которые пошли бы за императором, нельзя было набрать. До такой степени в течение шестимесячного царствования гвардия Петра была им обижена, возмущена и оскорблена. Духовенство со своим первенствующим архипастырем полностью сочувствовало перевороту, предпринятому Екатериной. Уже одно распоряжение о рекрутчине с сыновей священников и дьяконов заставляло его смотреть на

Петра чуть ли не как на врага христианства, особенно после облегчений, сделанных им в пользу раскольников, и после того как им была подтверждена секвестрация монастырских недвижимых имений. Сенат, дворянство, сословия тоже были на стороне императрицы. Неуважение к личности и заслуге, выходки, можно сказать, детские против мнений, обычаев, уважаемого всеми порядка в такой степени оттолкнули от императора Петра III всех, что говорили: «Что бы ни сделалось, всё будет лучше». Даже народ, простой народ, крепостная чернь, совершенно безразлично относившаяся тогда ко всякой власти, так как ближайшая власть над нею были помещик и исправник, а эта власть при всех переменах оставалась неизменной, даже эта чернь была против Петра. Кошунство над религиозными святынями и неприличие внешней обстановки вооружили против него даже чёрный крепостной народ. Некоторое сочувствие Петру Трубецкой мог заметить только среди раскольников; но опора на раскольников могла стать серьёзной — Трубецкой это хорошо знал — ни в каком случае не в Петербурге.

Затем Трубецкой видел, что управление взято твёрдой, неколеблющейся рукой и что опрокинуть эту руку у Петра не станет ни твёрдости, ни уменья.

Стало быть, Петра не будет, и мечта управлять его именем царством исчезла из головы Трубецкого. Нужно теперь подумать о том, как бы удержаться. При этой мысли он сейчас же поехал было догонять Екатерину. Но едва он поравнялся с Преображенским полком, как все кругом завопили:

— Прочь, изменник! Он шпионом приехал! Он выдать хочет, хочет объегорить! Он не наш!

Екатерина узнала, в чём дело, и прислала сказать, что она благодарит Трубецкого за усердие, но просит возвратиться в Петербург, так как войско волнуется из-за его присутствия. Трубецкой возвратился.

«Однако что же это такое? — рассуждал он. — Нельзя же, чтобы так? Пусть бы ещё регентство — а то самодержавное главенство. Это не может не вызвать оппозиции, и мы первые о том позаботимся».

Ему доложили о прибывшем вслед за ним

в Петербург графе Иване Ивановиче Шувалове.

Трубецкой приказал просить.

— Знаю, что вы вправе сердиться, вправе претендовать, — начал Иван Иванович, входя в гостиную, где Трубецкой его принял, — хотя, видит Бог, я не хотел вас огорчить; я хлопотал для вас о назначении высшем...

— Таком высшем, что, пожалуй, и курица будет считать себя выше, назначьте только ей жалованье... — отвечал с юмором Никита Юрьевич.

— Нет! Я считал, что, сохраняя жалованье и предоставляя председательство в высшем государственном учреждении, я давал вам случай успокоиться, отдохнуть. После только я заметил, что вы признали это для себя обидным. И это мне тем более было огорчительно, что я считал себя обязанным вам своим положением. Но виноват, виноват, приехал просить прощения и в минуту общей опасности соединить свои силы для отпора.

— А отпор есть?

— Он должен быть! Мы должны его открыть, разумеется, осторожно, — отвечал Шу-

валов. — Если против вас, князь, она и не имеет ничего, то зато на вас накинется Бестужев; а меня она всегда считала своим личным врагом, стало быть, наше положение одинаково. Я не колеблюсь отдать в ваше распоряжение всего себя!

— Благодарю, граф, и ценю вашу доверенность. Разумеется, вы меня обидели. Я был генерал-прокурор, у меня была власть на всю Россию! А тут вдруг — в почётные куклы... Вы говорите — отдохнуть; да кто же вам сказал, что я устал? Кто сказал, что мне нужен был тот отдых, которым вы по своей доброте меня наделили? Желание отдыха обуславливается болезнью, старостью и вообще какой бы то ни было немощью? Мне и теперь 62 года, и надеюсь, никто не скажет, что я слишком слаб и тяжёл, когда в мои годы маршировать выучился и прусский строй понял. Кирилл Разумовский моложе меня, думаю, лет на пятнадцать, если не больше, но как ни учился, — говорят, из Пруссии нарочного капрала выписывал, — а всё марширует курам на смех! Стало быть, я далеко не стар, особенно для того, чтобы думать и обсуждать... Но всё это в сто-

рону! Если работать вместе, то старое вспоминать не к чему. А разумеется, вдвоём всякое дело идёт скорей и надёжней, поэтому в свою очередь и я вам скажу: отпор есть! Нужно только суметь за него взяться!

— Намекните, князь; я в вашем распоряжении. Вы знаете, как после милостей покойной государыни мне было тяжело. Но теперь я попадаю просто под гнёт... Я должен бояться стен собственного дома, которые могут возбудить зависть новых любимцев; должен бояться надеть или не надеть какую-нибудь пуговицу. Правда, Пётр оставил Разумовского в покое; но, во-первых, по легкомыслию; во-вторых, надолго ли; а в-третьих, всё же тот подарок ему поднёс — миллион... А Кириллу, Бог знает, долго ли бы он его в покое оставил? Меня, вы знаете, он хотел взять с собою в поход в Гольштейн. Зачем? Ну какой я военный? Ясно, чтобы иметь под руками, а там, пожалуй, недалеко было бы до пыток и ссылки. Но с ним уладиться я всё же как-нибудь ещё надеялся бы. Он незлой человек. «Ну, думаю, поднесу ему в свою очередь миллион или что-нибудь в этом роде! А эта барыня...

Нельзя даже вообразить, до какой степени в ней развиты скрытность, хитрость и злоба! «О, она железо скушает! — говорил Алексей Петрович Бестужев. — Враг вам, враг мне, но человек, нельзя не сказать, умный». Нет сомнения, надолго ли, накоротко ли, но теперь он опять в ход пойдёт; чего же можем ожидать мы?

Граф Шувалов несколько раз прошёлся по комнате и опёрся на решётку экрана, стоявшего перед камином. Он смотрел на Трубецкого с ожиданием изречений оракула, понимая, что не ему, сластолюбивому, евнухообразному и уже довольно ожиревшему, составлять проекты, которые могут дать отпор женщине, подобной Екатерине. Он вздохнул, вспомнив дорогого братца Петра Ивановича. Вот тот бы выдумал, он бы составил... Иван Иванович Шувалов забыл, что и братца Петра Ивановича он же в благодарность за доставленный ему случай сумел стусевать, тоже с почётом, с соблюдением всех условий благодарности, но так же, как и Трубецкого, сумел заставить и его отдыхать!..

Трубецкой смотрел на Ивана Ивановича

внимательно; он как бы хотел пронизать насквозь эту ещё молодую сравнительно, но уже отяжелевшую фигуру в обер-камергерском мундире. Он вспомнил, как он с его дворяродными братьями тянули его изо всех сил за уши, как хлопотали, разумеется назло Бестужеву, разумеется для себя, но всё же выводили его выше и выше. Ну, вот вытащили, и что же? Всё побоку! Что, если и теперь? Нужно всмотреться, нужно угадать...

Но сколько ни смотрел Никита Юрьевич на Шувалова, сколько ни желал войти в сущность его помышлений, он видел только одно, видел, что тот трусит, страшно трусит. Не за жизнь, — зная Екатерину, он мог рассчитывать, что жизнь его в безопасности, — но трусил он из-за потери жирного куска, который достался ему на пиру жизни: за француза-повара, за право кататься цугом, за возможность слушания разного рода прославления его ума, могущества, великой мудрости и лицеприятства; наконец, за право поразвлечься иногда от воспоминаний о ласке отцветшей красавицы с юными зефирчиками кордебалета...

«Он мой, — подумал Трубецкой. — Теперь он не посмеет ни восстать, ни отстать от меня. Да и я не таковский, чтобы его выпустить. Купаться, так будем купаться вместе. Тогда всё же в нём была кое-какая энергия, а теперь... За внешние условия он отдаст не только первенство, но... всего себя».

И, думая это, он начал говорить свободно.

— Отпор найден, и этот отпор главнейше в ней самой, в её безмерном славолюбии и стремлении быть всем. Видите, она не довольствуется регентством. Ей мало сущности власти, нужен ещё и корень. Она объявляет себя самодержицей, забывая, что и дерево не держится на чужом корне.

А корень, который она избирает, чужой. Против него будут все, начиная с её родного сына. Теперь оглядимся, к каким обстоятельствам поведут нынешние происшествия? Прежде всего, что они делают с Петром?

— Они увезли его в Ропшу!

— И там с ним покончат! Это, разумеется, с политической точки зрения самый дерзкий, но в настоящем положении и наиболее рациональный исход. В политике не жалеют чело-

веческой жизни! Но ещё вопрос, покончат ли? Всё же отречения, обещания, все полумеры будут писаны на воде! Ведь Пётр не малолетний! Положим, что порох выдумал не он; но не разучился же он читать, и если не он, так другие найдут случай выкопать его, хотя бы из-под земли. А там у него явятся и деньги, и войско, и народ. Родовое начало, как его не жми, выплывает наверх само. Деньгами, на первый случай!, его снабдит хотя прусский король, а там... Но, положим, они покончат рационально, всё-таки нужно будет объяснять, лгать. Вот уж и слабая сторона.

— Скажут, удар.

— Но в такого рода случайные удары, кстати, обыкновенно никто не верит! А не поверят случаю, не поверят и смерти. И вот где-нибудь... у нас же в таком ходу, начиная с Дмитрия Расстриги, самозванство... Не забудьте, граф, что у нас в России есть две силы, силы ещё не тронутые, но которые могут разрастись до ужасающих размеров. Первая сила — это крепостное право, вторая — раскол. А раскольники очень ценили Петра III. Он первый снял с них путы, отделяющие их от

человечества.

— Вы думаете, князь, что может явиться самозванец?

— Не думаю, что может, но скажу — явится непременно, и не один; но только вопрос, как он пойдёт, как его поведут... Если поведут хорошо, то вот и отпор.

— Гм! Нужно повести умно!

— Разумеется, граф, — улыбнувшись, отвечал Трубецкой, — чтобы комар носу не подточил! А тогда, вы понимаете — отпор...

— Да, и верный, и страшный.

— Но, разумеется, эта мера слишком крутая, слишком решительная. Она может отразиться гибелью на сотнях тысяч; на первое время нужно будет поухаживать около Иванушки!

— Да ведь он, говорят, совершенный идиот?

— А нам какое дело? Ну, составим совет, будем его тешить мистицизмом. Нам и духовенство поможет. Мы же уступим ему и по крутству, и по имениям. Впрочем, и это не всё, есть кое-что другое!

Шувалов даже вытянулся от любопытства.

— Кто сказал, что у прежних государынь не было прямых наследников? Вот княжна Зацепина, в пользу которой я недавно завещание утверждал; она приходится Анне Ивановне родной и законной племянницей. Тут и деньги не нужны, на первое время есть. Елизавета Петровна тоже была замужем. Разумовский был человек молодой, разве от него не могло быть детей?

— Говорят, и были!

— Признаюсь, я не верю. Незачем было бы их прятать. Когда всех, даже племянниц его, казачек и крестьянок, Елизавета берегла, воспитывала и устраивала, может ли быть, чтобы ни с того ни с сего она бросила своих родных детей? Да и Разумовский. Он был слишком награждён, слишком богат, чтобы не взять детей к себе. Ну, нашли бы им названую матушку. Но дело не в том, были ли; а найдутся люди, которые, в случае нужды, могут поверить и сказать, что были.

— Да! А тогда?

— Тогда, само собой разумеется, заговорят и об ударе, и о немецком царстве, и о фаворитах. Вы знаете, граф, что в мутной воде

раки ловятся и грибы растут.

Шувалов растаял, когда Трубецкой стал раскрывать свои дальнейшие планы, сущность которых опиралась всё-таки на то, чтобы комар не мог носу подточить и чтобы, выведя на свет Божий интригу, они оба, пружина дела, были, во всяком случае, в стороне.

— Князь, я уже принёс вам моё извинение и искреннее раскаяние. Клянусь вам, что если я был и виноват, то не от неблагодарности! Я старался доказать, что я благодарен глубоко. Но самомнение, мысль, что я принесу несомненную пользу, если возьму всё в свои руки, меня увлекли. Но я виноват, глубоко виноват! Теперь я ваш и телом, и душой! Распоряжайтесь, требуйте, и машина в ваших руках.

Прятели-враги обнялись и расцеловались.

— Хорошо! — сказал Трубецкой после нескольких минут лобызания. — Но первый спор лучше последнего. Следует уговориться вперёд. Если наша возьмёт, то что может вас удовлетворить?

— От вас зависит, от вас зависит, князь!

Теперь я уже не имею честолюбивых замыслов. Я хлопочу о спокойствии. Разумеется, я ещё не стар, люблю почёт, наконец, и привык заниматься. Но я вполне полагаюсь на вас.

— Просвещение и внутренние дела! Согласны?

— Разумеется!

— А я возьму на себя политику и войско, меня это займёт!

— А финансы?

— Отдадим Глебову. Он будет у нас под рукой и обогатит обоих, да и ответственности меньше!

— Отлично!

— Флот отдадим Головину.

— Коммерцию можно поручить Кастюри-ну, из нашей воли не выйдет!

— Из нынешних возьмём только Волкова. Правда, теперь он и нашим и вашим, зато голова, золотое перо. Теперь, по совести, в конференции и работал только один он.

— Итак, князь, дело надо считать решённым. Буду проситься за границу и повидаюсь с этой княжной самой. Обо всём вы получите сообщение, как мы условились. Хорошо бы

только Разумовских притянуть!

— Нет! Они, по крайности Кирилл, всецело передались туда, — заметил Трубецкой. — Он, кажется, и жену и детей готов забыть. Смотрит и слушает как оракула, дурак дураком! Ну, Алексей — тот в святость бросился. Притом, кто бы что ни говорил, а любить ему нас, особенно вас, граф, не за что! Да и к чему? Люди слишком тяжелы на подъём и привыкли брать всё только деньгами, благо они у них есть! Алексей поднёс государю миллион, чтобы тот только его не трогал. Не меньше, думаю, поднесли они и Екатерине. Нет, будет успех, они и без того будут наши; а чтобы помочь нам, они палец о палец не ударят.

— А Воронцовы?

— О Романе и говорить нечего. Михайло же, тот и без того под рукой, нам помогать станет; по крайней мере, не помешает ни в каком случае. Меня, признаюсь, заботят больше попы. Ну, да нужно посмотреть сперва, как дело поведут, а там можно будет видеть, за что взяться. Если обопрутся как есть на Григорья Орлова, то и говорить нечего, такая опора недолго продержится!

Шувалов уехал от князя обнадеженный и успокоенный.

«В самом деле, — думал он, — как они ещё дело-то поведут; а то после переворота с Бироном последовал новый переворот, в пользу Елизаветы. Как знать, не последует ли что-нибудь и теперь? Если правление будет опираться на гвардию, то, естественно, что гвардия обратится в преторианскую стражу или, как говорил император, именно в янычар. А тогда твёрдость всякого правительства будет сомнительна. Но Трубецкой прав: что было — видели, а что будет — увидим!»

Рассуждая в этом смысле, Шувалов поехал в Зимний дворец, где, не говоря дурного слова, его повели присягать.

Трубецкой между тем с особым интересом разговорился с каким-то расстригой-попом и тонко вразумлял его, какие последствия могут произойти от переворота и каким образом может сам собой возникнуть контрпереворот.

Расстрига много не понимал, но мотал себе на ус.

Разговор коснулся князя Зацепина. Расстрига описывал, как Дмитрий Васильевич

продал своё имение, как прокутился совсем и впал в такую крайность, что из последней деревеньки, которая у него осталась и к которой он причислил всю свою дворню, стал по одиночке псарей продавать.

В свою очередь Никита Юрьевич стал мотать себе рассказы расстриги на ус.

Расстрига говорил о грабежах, о том, как появился в их местах разбойник Топка и никому прохода не даёт. Как шайка его растёт с каждым днём из беглых и он два раза уж с войсками сцеплялся, — такой отчаянный и головорез, что и сказать нельзя. Раз ведь попался было, так откупился, воевода отпустил.

Никита Юрьевич знал это хорошо, но спросил:

— Как отпустил?

— Да так! Воевода ему позволил по базару ходить, милостыню собирать. Тот при всём народе из глаз конвойных словно сквозь землю провалился, исчез как дым, а на другой же день прокурорскую деревню выжег.

Далее расстрига поведал о старцах на Узеньях, о разных согласиях, о том, как местные воеводы народ жмут, сколько денег берут.

Никита Юрьевич молчал и тоже всё мотал себе на ус, давая себе слово выписать к себе князя Дмитрия Васильевича Зацепина во что бы то ни стало.

«От крайности он на всё пойдёт! — думал про себя Никита Юрьевич. — Кого бы только говорить с ним заставить, чтобы не самому».

В то время как Трубецкой в Петербурге обсуждал могущие быть последствия совершившегося переворота, Екатерина сидела в Монплезире, в комнате, которую называют малой голландской кухней и которую занимала до того одна из её любимых камер-фрау Катерина Ивановна Шаргородская. В комнате был маленький очаг из расписных голландских изразцов и, говорят, она действительно служила кухнею, в которой Екатерина I, бывшая тогда ещё просто Мартой, готовила своему царственному супругу Петру Великому любимый им форшмак. В ней стояла ещё та резная мебель из чёрного дуба, которая тогда была общей принадлежностью голландских домов. Екатерина сидела на одном из таких стульев, перед небольшим столиком, на который были поставлены в деревянных точёных под-

свечниках две сальные свечи, а между ними лежали вновь изобретённые тогда щипцы. Сбоку за этим же столом и на таком же стуле сидел Григорий Орлов и по своей всегдашней привычке не то рисовал, не то чертил что-то на лежавшем перед ним чистом листе бумаги. Прямо против государыни стояла атлетическая фигура Алексея Орлова.

Вечер 29 июня 1762 года в Петергофе был превосходный. Солнце садилось на гладкую, как зеркало, поверхность моря, отбрасывая последние лучи свои на террасу Монплезира и освещая неясные очертания вдали, слева Кронштадта, а справа Петербурга. Оно как бы взывало взглянуть, полюбоваться на его ясный закат. Воздух был полон ароматов цветущих лип и каштанов. Тишина была мёртвая, только изредка прерывал эту тишину трелями запоздавший со своей песней соловей.

Казалось, и воздух, и закат солнца, и чудный вечер вызовут на террасу даже мёртвого; казалось, нельзя было не пожелать взглянуть на эту картину покойного моря; нельзя было не пожелать вздохнуть полной грудью этим чистым, свежим воздухом, этим бальзамиче-

ским ароматом зелени и цветов и не замечаться под звук этой переливчатой, то нежной, то будто торжественной и радостно-игривой соловьиной песни...

Да! Но только не тогда, когда кипят людские страсти.

Комната, в которой сидела Екатерина, была мала и тесна. Кроме троих, в ней находившихся, казалось, не было места никому более. Единственное окно её, доходящее до самого пола, как и все окна этой части Монплезира, выходило прямо на террасу. Но ни Екатерина, ни её собеседники не только не подумали открыть окно и взглянуть на ясный закат, не только не решились вдохнуть ароматного воздуха, но укрылись ещё, опустив двойную штору из голландского баркана, подбитую зелёным полинялым коленкором, висевшую тут, вероятно, со времён Петра Великого, чтобы с террасы невозможно было видеть ни кто там, ни что делает и даже есть ли там кто-нибудь. Между тем Большой Петергофский дворец был ярко освещён, и там ждало государыню самое разнообразное общество, состоявшее из начальников частей предводимых

Екатериной войск, сопровождавших её вельмож и являвшихся со всех сторон различных начальников учреждений, которые прибывали выразить Екатерине своё почтение и преданность и к которым на походе ещё присоединился Разумовский, чтобы руководить своим, командуемым им Измайловским полком.

Екатерина сидела заметно измученная, что было и неудивительно после того, как целый день она должна была выполнять роль спокойной торжественности и уверенного в себя величия и притом сдерживать себя, принимая послов мужа и давая объяснения всем, кто только имел случай эти объяснения её выслушивать.

— Я не хочу ему вреда, Алексей, — усталым голосом говорила Екатерина. Она чувствовала, что в эту минуту она решает не только свою судьбу, но судьбу всего государства. Но, будучи почти не в силах преодолеть свою усталость, она только прибавила: — Пусть живёт и, если может, наслаждается жизнью. — Но, переведя дух и как бы оживившись, она продолжала: — Я готова предоста-

вить ему для того все средства, даже если он хочет — его Романовну. Я хочу только быть спокойной от его по-детски диких, ни с чем не сообразных выходок. Я хочу, наконец, спасти Россию от этого невозможного, невероятного человека! Поэтому что бы там ни было, а его собственноручное отречение от престола необходимо. Он не может царствовать. Самая мысль о предоставлении ему власти должна пугать всякого, кто его знает. Вот его любимцы, Вильбоа, Корф, те то же говорят... Они явились ко мне прежде даже, чем сенат успел объявить присягу. Поэтому от моего имени обещайте ему хороший пенсион, право жить где угодно, пожалуй, даже забавляться со своей охранной стражей, делать парады, разводы, обмундировывать её по новым образцам... Одним словом, делать всё, что он делал и теперь. С бесценной Романовной он тоже может не разлучаться. Обещайте всё, только чтобы отречение было написано его собственной рукой... В случае же его крайней настойчивости, обещайте ему даже его любимый Гольштейн. Скажите ему, что он может удалиться туда с пенсионом, титулом, свободой,

своей Романовной и всеми своими любимцами. Одним словом, обещайте, что хотите, только пусть он всех нас освободит, пусть напишет формальное отречение.

Алексей Орлов стоял и слушал эти слова молча, переминаясь с ноги на ногу. Он временами многозначительно взглядывал то на брата, то на государыню. Григорий Орлов тоже молчал, продолжая не то рисовать, не то высчитывать с карандашом в руке.

— Что он теперь делает? — вдруг спросила Екатерина, откидываясь на спинку стула и поправляя отворот обшлага Преображенского мундира, в котором она была.

— Кто он? Государь? — спросил необдуманно Алексей Орлов.

— Мой муж, Пётр Фёдорович. За его письмом ко мне и объявлением сената он уже не государь! — заметила Екатерина тихо, но знаменательно.

— Виноват, ваше величество! — отвечал Орлов, поправляясь. — Я назвал его так машинально, по старой привычке!.. Супруг вашего величества, как привёз его брат Григорий, сидит в Марли и пьёт с Иваном и Фёдо-

ром Барятинскими красное вино. Ведь мы именинники сегодня, государыня, — продолжал Алексей Орлов шутливо, — так, ради именин, нам немножко и покутить не грешно...

— Пусть кутит, сколько хочет, только бы не скрылся.

— Будьте покойны, государыня. Марли стерегут Баскаков и Бредихин с выборным десятком преображенцев; да и мои гусары наготове...

— Так идите же, Алексей, и приводите эти переговоры к концу!

Алексей Орлов всё переминался, молчал и не уходил.

— А я всё это время рассчитывал, всемиловейшая повелительница, во сколько дней и сколько войска наш бывший император Пётр Фёдорович может привести из Гольштейна, при помощи своего друга, прусского короля, если в самом деле вы его туда отпустите. По этому расчёту выходит, — вот взгляните, государыня, — что через двадцать дней он может быть у Риги со ста двадцатью пятью тысячами человек отборного русского и прус-

ского войска. Сила порядочная, особенно под начальством таких генералов, как из русских: Румянцев, Чернышёв, Панин, Волконский, а из пруссаков — Кейт, Шверин, да и сам прусский король Фридрих II. Посмотрите, государыня, проверьте, верен ли расчёт?

— Я не говорю, что я так сейчас его и отпущу в Гольштейн, — отвечала Екатерина, оживляясь от противоречия. — Я говорю только, что этим можно увлечь, можно уговорить... Если императрица Елизавета не признала возможным отпустить за границу принца Иоанна — ребёнка, и его родителей, не имевших почти никаких отношений к иностранным государям, то тем паче нельзя допустить его, царствовавшего шесть месяцев и вошедшего с прусским королём в такое согласие, что их, кажется, водой не разольёшь! Я указываю только путь, чтобы получить отречение, против которого нельзя было бы возражать. А там Гольштейн можно заменить Вологдой, отряд войск для упражнения и забавы — наблюдающими жандармами под начальством верного человека, а предоставляемый в полное распоряжение пенсион —

содержанием в строго очерченном порядке... Только послушайте, Алексей, я не хочу, чтобы эти переговоры велись здесь. Его нужно увезти куда-нибудь подальше и так, чтобы было известно немногим, где он находится...

— А из Вологды, государыня, вы полагаете, далеко до Берлина, особенно через Архангельск, где легко может быть приготовлен корабль...

— Э, Боже мой, Грегуар, ты вечно споришь. Я ведь так сказала — Вологду. Ну, придумаем другое место, Верхотурье, Томск... Мне теперь нужно только отречение...

Григорий Орлов хотел ещё что-то возразить, но Алексей перебил его:

— Ну что, брат, тут сказки рассказывать! Увидим вперёд, что будет, тогда и станем думать. Будьте покойны, матушка государыня. Постараемся всё сладить, как вам желательно. И точно, надо, главное, его отсюда увезти, чтобы толков меньше было.

— Возьмите с собой Теплова! — прибавила Екатерина. — Он знает, как этот акт должен быть написан, и продиктует. Кроме того, он поможет вам его уговаривать. Обещайте

ему, что Романовна и все его любимцы могут быть с ним; что он не будет стеснён в средствах. Куда же вы думаете его отвезти?

— Да куда бы? Всего лучше в Ропшу. Это и близко, и в стороне...

— Прекрасно! Поезжайте, Алексей, возьмите Теплова.

Я надеюсь, что вы приведёте всё к благополучному окончанию, а моя благодарность...

— Полноте, государыня, мы будем счастливы жизнь положить за вас.

И Алексей Орлов ушёл. Григорий хотел было продолжать ещё свои замечания, но государыня прикрыла его рот своей рукой.

— Полно, спорщик, — сказала она, — что вперёд раздумывать? Разумеется, мы теперь в таком положении, что одна минута может всё погубить. Но уж если начали, и начали, по милости Божией, успешно, то к чему вперёд несчастья и неудачи накликасть? Распорядись-ка лучше приготовлением к обратному походу. Когда брат твой его увезёт, то всем нам здесь делать будет нечего. Да узнай: освобождён ли Пассек, первая причина, заставившая нас решиться...

Григорию Орлову делать было нечего. Пришлось поцеловать закрывающую его рот милостивую ручку и замолчать. Картина, которая рисуется перед глазами читателя из разговора между государыней и двумя Орловыми, представляет положение императора Петра III в Петергофе, как бы он был в плену. Впрочем, и в действительности он был в плену, только о плене его никто ему не говорил. Напротив, его все уверяли, что вот сейчас государыня будет его просить к себе, что вот они уговорятся и ему будет сделано всякое удовлетворение.

После того как Измайлов привёз от него письмо, в котором он изъявлял готовность отказаться от престола, Екатерина написала ему собственноручно карандашом приглашение приехать для переговоров. С этою запискою, вместе с Измайловым, она послала Григория Орлова.

Орлов, приехав в Ораниенбаум, проведён был Измайловым прямо к Петру в кабинет.

Проходя по дворцу, он видел в одной из комнат старика фельдмаршала Миниха, который сидел между графиней Анной Карловной

Воронцовой, её дочьерью, Анной Михайлов-ной Строгоновой, графиней Брюс, князем Го-лицыным и ещё кем-то. Шутя, Миних весело говорил им любезности.

Невдалеке от них стоял сумрачный Гудович, с обнажённой шпагой в руках, будто собирался кого заколоть или сам заколоться. Стояли камердинер императора Пейкер и Алексей Петрович Мельгунов. Затем весь дворец будто вымер. Не встречалось никого, и тишина была как на кладбище.

Григорий Орлов, войдя с Измайловым в кабинет, увидел государя за столом, вполне одетого, в форме и даже при шпаге. Подле него сидел старик граф Алексей Григорьевич Разумовский; перед ними стояла пустая бутылка из-под английского пива, а в ногах валялся разбитый стакан.

— Как же это возможно, государь, — говорил Разумовский, — брат-гетман, с женой и всем семейством, вчера только уехал от меня в своё Знаменское и даже доехать до Петербурга не мог. Утром, когда, вы изволите говорить, поднялись измайловцы, он был ещё в Гостилицах. Я послал, впрочем, за ним нароч-

ного, чтобы сейчас ехал сюда. Только позволю себе уверить, ваше величество, что он и не думает ни о каких предводительствах, ни о каких заговорах.

Государь слушал его как-то рассеянно.

— Мне говорили, мне говорили... — проговорил он.

Орлов почтительно поклонился государю и, подавая ему записку Екатерины, самым скромным и сдержанным голосом проговорил:

— Ваше величество, государыня поручила мне доложить, что она будет счастлива видеть вас в Петергофе и переговорить лично обо всём, что может быть приятно и доставит удовольствие вашему величеству.

Измайлов подтвердил слова Орлова.

— А! Она соглашается на переговоры! — вскрикнул император, как-то по-детски обрадовавшись. — Ну, вот видите ли, граф, моя высокоумная жена соглашается! Она знает, что меня скорее можно на всё уговорить, чем заставить... Наш старый фельдмаршал с носом! Он говорил, что никакие переговоры тут ни к чему не приведут. А вот она и согласна! Вели,

Измайлов, подавать карету. Я еду, сейчас еду!

Разумовский ничего не ответил на это восклицание императора, остановив на Орлове свой пристальный взгляд.

Орлову было неловко от этого взгляда. Он старался его избежать и, обращаясь к государю, прибавил:

— Всемиловнейшая государыня изволила выразиться, что со своей стороны она готова предоставить вашему величеству всё, выполнить всякое ваше желание; только она не может находиться в таком положении, что каждую минуту должна опасаться вашей к ней немилости и даже, как ваше величество изволите знать, в Петергофе быть окружённой пикетами. Она просит только снисхождения вашего величества и готова обо всём лично уговориться.

— И прекрасно! Условимся лично! Я ей полцарства отдам! Я всё отдам, пусть она только мне поможет в войне с Данией. Затем пусть царствует... Едем, Измайлов! Садись с нами, Орлов. Молодчина какой! Переходи ко мне в голштинцы, я тебя в капитаны произведу!

С этими словами он вышел. Измайлов и Орлов следовали за ним.

Когда они вошли в комнату, где сидели Миних и дамы, все встали; Гудович опустил свою шпагу. К присутствовавшим присоединилась и Елизавета Романовна Воронцова.

— Ну что, старик, вот и ошибся. Переговоры удались. Сейчас еду к жене. Может быть, приеду сюда вместе с ней обедать.

Елизавета Романовна пристально посмотрела ему в глаза.

— Ты что на меня так смотришь, Романовна? Ведь мы обедать с ней будем только... О женщины, женщины! У неё уж ревность... Ну, полно!..

— Государь, не ездите! — сказал Миних твёрдо. — Или, лучше сказать, поезжайте, сейчас поезжайте, только в Ревель и к своей армии, так как Кронштадт мы уже прозевали! Да, поезжайте в Ревель!

— Голодный-то! Благодарю покорно! — Пётр громко и неестественно засмеялся. — Да ведь тогда я и вас всех здесь голодным оставлю. Нет, это уж дело неподходящее... Да и зачем?.. Вот она сама пишет, сама просит. Смот-

ри, Фома неверный!

И Пётр махнул перед глазами фельдмаршала полученной им от Екатерины запиской.

— Нет! Уж будь что будет, а я еду! — продолжал Пётр. — Гудович! Измайлова я беру с собой, а ты распорядись, чтобы нам пообедать что было, на случай если я с государыней приеду!

— Ваше величество, позвольте мне с вами ехать! Моя обязанность быть при вас, чтобы ни случилось...

— Позвольте и мне с вами, государь, я буду счастлив хоть умереть за вас! — сказал Голицын.

— Ну, ну, пожалуй, — отвечал Пётр. — Так хоть ты, Алексей, распорядись! — прибавил он, обращаясь к Мельгунову, и пошёл. За ним пошли Орлов и Измайлов, а за ними Гудович и Голицын.

У подъезда стояли карета и коляска.

Пётр велел подать карету. За ним вслед в двухместную карету без приглашения вошёл Орлов.

— Ну, а вы поезжайте в коляске, — сказал Пётр, обращаясь к Измайлову, Гудовичу и Го-

лицыну.

— Пошёл в Петергоф! — закричал Орлов кучеру, не ожидая приказа государя.

Карета тронулась.

— Стой! Стой! — закричали сзади тронувшейся также коляске. Коляска остановилась.

— Ваше превосходительство, уж как угодно, возьмите меня с собою! Может, государю что понадобится, может, послать куда... Возьмите. — И камердинер, не ожидая ответа, влез на козлы.

— Ну, пошёл за каретой! — крикнул Гудович.

Поехали. Ехали скоро. Не прошло и получаса, как экипажи были под Петергофом; их встретил отряд гусар Алексея Орлова и конвоировал карету до Марли.

— Не угодно ли будет вашему величеству выйти, пока доложим государыне о вашем прибытии! — сказал Фёдор Сергеевич Бярятинский, отворяя дверцы кареты, в которой сидел Пётр. Подле Бярятинского стоял Алексей Орлов.

— А, Бярятинский, ты тут! Ну, я очень рад! — сказал Пётр, выходя из кареты и под-

нимаясь по ступеням лестницы на небольшую террасу перед входом в павильон Марли [2]. Барятинский и Орлов следовали за ним. Коляску с Измайловым и Гудовичем остановил, не доезжая до Марли, Баскаков с преображенцами.

— Государыня просит вас пожаловать к ней в Большой дворец, вместе с Григорием Григорьевичем Орловым, — сказал Баскаков.

Делать было нечего. Измайлов, Гудович и Голицын поехали, но камердинер успел соскочить с козел и броситься к остановившейся у Марли карете. Он хотел войти за государем, Барятинским и Орловым в павильон. Но его остановил Бредихин.

— Куда? Сюда не дозволено входить!

Камердинер хотел было возражать, но его быстро схватили два гусара и оттащили от дверей. После нескольких слов, сказанных Григорием Орловым, его посадили к нему в карету, на козлы которой сел гусар, и карета с конвоем тоже поехала к Большому дворцу, где камердинер был задержан.

Таким образом, от Петра был удалён последний человек, имевший к нему какое-ли-

бо отношение, принадлежавший к его свите. Но Пётр не обратил на это внимания и разговаривал с Барятинским. К ним скоро вошёл и другой Барятинский, Иван Сергеевич, его адъютант.

— Что же, жена приедет сюда, что ли? — спрашивал Пётр.

— На это ничего не имею отвечать! Как её величеству будет угодно! — отвечал Фёдор Барятинский, следуя за Петром по лестнице на второй этаж. — Она изволила только приказать доложить ей ту же минуту, как ваше императорское величество изволите прибыть. Вероятно, что она или сама прибудет, или будет просить ваше величество пожаловать к ней!

Они вместе с Алексеем Орловым вошли на второй этаж. Там был накрыт стол.

— На случай, если ваше величество не изволили завтракать! — сказал Алексей Орлов.

— Что же, признаюсь, я голоден! С графом Разумовским я выпил только две бутылки портеру и съел два бутерброда из телятины со смородиновым желе.

— Так позвольте просить ваше величество сделать честь нашему хозяйству, попробовать... — сказал Бярятинский. — Признаюсь, что я в Москве такого телёнка не видал; а вот и смородиновое желе.

Незаметно, вследствие этого предложения, начался завтрак и в ожидании приглашения государыни продолжался до вечера.

Завтрак был превосходный и приготовлен из любимых блюд Петра.

Во время завтрака Орлов сказал, что нужно узнать, отчего так долго нет ответа, и ушёл.

Бярятинские остались с Петром, который начал уже хмелеть, мечтая о мире с женой и предстоящей кампании в Данию.

Завтрак кончился; но красного вина, английского и любского пива, любимых Петром III, наконец, венгерского было, что называется, разлитое море.

Пётр забыл о своём положении; он начал даже находить своё общество весьма приятным.

Но вот приехал Орлов и сказал, что государыня до конца переговоров со своим мужем

видеться не желает и до окончательного соглашения назначает ему местопребыванием Ропшу!..

Это известие сперва смутило Петра, но его смущение было скоро рассеяно Орловым. Орлов сказал, что государыня дозволяет ему перевести туда из Ораниенбаума свою голштинскую стражу; а прибывший в то время Тёплое прибавил, что государыня сказала, что она не встречает препятствия, чтобы к нему в Ропшу приехали Гудович и Романовна.

Последнее известие его настолько обрадовало, что, выпив девятый стакан красного вина, после приличного количества английского пива, он затянул какую-то голштинскую песню, потом налил венгерского и неожиданно провозгласил тост: здоровье императрицы!

Присутствующие, разумеется, поддержали возглас.

Затем Пётр вдруг встал, пошатываясь, пошёл к двери и сказал:

— Ну, едем!

Вышли все вместе, и Пётр без всякого принуждения сел в карету с Барятинским и Тепловым, не замечая или не обращая внимания

на то, что он едет со своими заклятыми врагами, которых накануне только давал себе слово непременно повесить.

Алексей Орлов сел на козлы, и карета понеслась под конвоем гусар, в сопровождении Баскакова.

Миних в Ораниенбауме напрасно весь день ждал известий от императора. Известий не приходило. Напрасно он держал пикеты маленького ораниенбаумского отряда на боевой ноге, стараясь, по крайней мере, свой маленький гарнизон держать в таком виде, чтобы не быть смятым нечаянно и иметь возможность отступления. На другой день он узнал, что император уехал в Ропшу. Тогда он решился ехать в Петербург.

А в это время в Петербурге раздавался звон колоколов всех церквей. По улицам происходила суета, полупьяные войска становились шпалерами. Императрица Екатерина II совершала торжественный въезд в Петербург, по возвращении из своего похода к Петергофу.

Народ валил ей навстречу.

Екатерина остановилась перед часовней Михаила Архангела и пала ниц с молитвой

перед образом.

Народ завопил: «Ура, наша матушка! Ура, царица православная, ура!»

Загремели барабаны. Поезд двинулся далее к Зимнему дворцу.

Там государыня увидела Ивана Ивановича Шувалова.

— А, граф, вы здесь? И прекрасно! Если вы уже приняли присягу, то, по званию обер-камергера, сегодня ваш день дежурить при мне!..

Шувалову оставалось только молча поклониться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

Уже несколько дней прошло после переворота, сделавшего Екатерину II царствующей государыней России, но она с величайшим нетерпением ожидала вестей из Ропши, куда скрыли увезённого императора Орлов, Теплов и их сотоварищи.

Государыня сидела в комнате за кабинетом, которую называла своей рабочей, потому что в ней стояли пьльцы, за которыми иногда удавалось ей сделать несколько стежков. Подле неё сидела Дашкова, старавшаяся под разными предлогами быть с нею почти неразлучно и надоедавшая ей страшно непрерывными напоминаниями о своих заслугах в день переворота, прежде и после. Послушать её, так выходило, что она не только возвела Екатерину на престол, но что и живёт, и дышит-то Екатерина на белом свете только

благодаря милости княгини Дашковой. Между тем на деле было совсем не так. Молоденькая, кипящая женщина не могла занимать видной роли среди желавших низложения Петра III; ей не доверяли, как по её молодости, так и по родству с ближайшей любимицей государя, её родной сестрой. Недоверие это было настолько сильно, что руководители заговора, когда узнали об аресте Пассека, одного из главных участников, и решили послать Алексея Орлова в Петергоф уговорить государыню приехать в Петербург и объявить низложение императора, то, услышав, что о решении этом известили и Дашкову, так как Панину было оно сообщено при ней, поручили третьему брату, Фёдору Орлову, ехать к ней, взглянуть, что делает сестра фаворитки, и, если возможно, уверить её, что Алексей Орлов не послан, а главное, удостовериться, нет ли с её стороны какой измены.

Измены никакой не было. Но какое влияние могла иметь на ход дел такая особа, при которой боялись говорить и которая главных деятелей переворота, кроме Григория Орлова и Ласунского, почти никого не знала в лицо, а

если кого и знала, как Барятинских, то даже и не подозревала, что они принадлежат к той же партии, что и она.

Правда, в день переворота она была подле Екатерины на виду у всех, в Преображенском мундире старой формы, который взяла у Пушкина. Она хлопотала, приискивая единомышленников среди сослуживцев своего мужа, семёновского офицера, уклонившегося, однако ж, от принятия в перевороте деятельного участия.

«Но против этого никто ничего и не говорит, — думала Екатерина, слушая её болтовню, — никто не отвергает, что она желала мне помочь. — Но не всё же сделала она, нужно же отдавать сколько-нибудь справедливости и другим!»

А Дашкова продолжала рассказывать, как она хлопотала о мундире.

Екатерина слушала, казалось, внимательно, хотя мысли её были далеко. Они были заняты одним: что это значит, нет вестей, нет вестей?

В эту минуту вошла Шкурина.

— Ваше величество, — сказала она, — в

комнату перед уборной, с внутреннего подъезда, пришёл брат Григория Григорьевича, поручик Алексей Григорьевич, и просил без разглашения доложить вам. Ему крайне нужно вас видеть.

— Ну, слава Богу! — сказала Екатерина. — Что такое?.. Зови, зови! Мне нужно поговорить с ним, — прибавила она, обращаясь к Дашковой.

И как ни хладнокровна была Екатерина, в какой степени ни владела она собой, но в эту минуту она побледнела, так побледнела, что, взглянув случайно в простеночное зеркало, сочла нужным подойти к рабочему столику, достать спрятанную там коробочку и положить себе на щёки румян.

Дашкова будто не слыхала или не поняла слов государыни. Она села к пальцам и начала вдевать в иглу шёлк.

— Мне нужно поговорить с Орловым, княгиня, — сказала Екатерина с некоторым нетерпением.

Несмотря на такое повторительное и достаточно ясное указание, Дашкова и не думала уходить.

— Что ж, ваше величество, — отвечала Дашкова, — я надеюсь, от меня это не секрет и я не буду помехою?..

Екатерина взглянула на неё за этот ответ даже с ненавистью, но Дашкова не смущалась и спокойно перебирала канву.

Неизвестно, чем бы кончилась эта сцена, если бы Екатерине пришлось говорить в третий раз. Вошёл Орлов.

Государыня впиалась в него глазами, но молчала.

Орлов тоже молчал, посматривая то на государыню, то на Дашкову и глазами как бы испрашивая разрешения говорить в присутствии Дашковой.

— Говорите, Орлов, говорите! Я измучилась, ожидая вас! Привезли вы отречение? Он согласился? Говорите же скорее! — сказала Екатерина нетерпеливо. И она начала машинально мять манжеты своего шёлкового платья. У неё была привычка в минуты душевной тревоги даже засучивать рукава своего платья по локоть.

— Согласился, государыня, на всё согласился. Но что? Несчастье, такое несчастье,

что и сказать нельзя!

— Что такое, что случилось? — спросила она с невольной дрожью в голосе.

— Государь захворал, очень захворал! — проговорил Орлов, мрачно опустив глаза в пол.

Екатерина вскочила с кресел, хотела что-то сказать, но при взгляде на Орлова как бы замерла в оцепенении.

— Что с ним, что с ним? — Потом вдруг вскрикнула она с нервной ажитацией:— Уж это именно несчастье!..

* * *

Болезнь государя кончилась печально, и Екатерина должна была объявить в манифесте своим верноподданным, что «в седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известие, что бывший император Пётр III, обыкновенным и прежде часто случавшимся с ним припадком геморроическим, впал в пружестокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которою мы одолжены

к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему всё, что потребно к предупреждению средств из того приключения опасных в здравии его и к скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчера вечером получили мы другое, что он, волей Всевышнего Бога, скончался.

Объявляя о таковом несчастий и приглашая подданных учинить с покойным государем последнее прощание, манифест предлагал: сие нечаянное в смерти его Божие определение принять за промысл Его Божественный, который Он судьбами неисповедимыми нам, престолу нашему и всему отечеству строит путём, Его только святой воле известным...»

За этим манифестом последовали похороны Петра III, которые по неожиданности скоропостижной кончины государя были необдуманно совершены в Невской лавре вместо Петропавловской крепости, где со времён Петра Великого погребаются все русские государи. Такая необдуманность дала возможность разным злоумышленникам и самозван-

цам, и особенно как самому Пугачёву, так и его приверженцам, утверждать, что государь жив, и указывать, что гроба нет среди порфиросных могил его предков. Напрасно хотели прикрыть такое обстоятельство тем, что он не был ещё коронован. Злоумышленники опровергали это объяснение, указывая на другие гробы, стоящие в Петропавловском соборе, лиц некоронованных и этим смущали легковерных, вызывая в них сомнение, которое тяжело отозвалось потом на русской жизни и на характере самой государыни.

Через несколько дней после похорон императрица Екатерина II назначила официальный приём, и в Зимний дворец съехались всевозможные представители тогдашнего общества. Императрица сидела в своём кабинете, который уже успела устроить с таким изяществом, комфортом и разумностью, о каких едва ли могла иметь понятие интеллигентность тогдашнего петербургского общества. Войдя в него, чувствовалось присутствие изящной женской руки, которая в своей любимой комнате умеет расположиться так, что, во-первых, всё под руками, а во-вторых,

всё кругом представляется в столь изящном виде, что ласкает глаз, создаёт наслаждение самым своим расположением. Притом нельзя было не заметить, что это не место отдохновения, не место приятной беседы и развлечения; напротив, было видно, что это комната труда, мысли — комната, в которой должен работать ум и в которой поэтому нет места ничему лишнему, ничему пустому.

Три шкафа книг в великолепных переплётах красного сафьяна, украшенных императорским гербом, составляли кабинетную библиотеку государыни. Она состояла из нескольких сочинений её любимых авторов, большей частью философского и социального содержания, между которыми одно из почётнейших мест занимали труды Монтескье и Бекариа, критико-исторический словарь Беля, полное собрание сочинений Вольтера и энциклопедистов, сочинения Гельвеция и Скюдери. Далее шли большей частью справочные книги по всем отраслям знания. Кроме этих книг, подле письменного стола стояла ещё этажерка, уставленная настольными книгами и приготовленными для занятий

дня. Возле этажерки стоял особый столик, приспособленный для хранения и рассматривания на нём альбомов, таблиц, рисунков, карт и разных выписок, среди которых красовались хронологические таблицы российской истории и геральдические заметки о происхождении многих русских и иностранных домов.

Государыня сидела в кресле за письменным столом. Перед ней лежал лист чистой бумаги, слева несколько приготовленных к прочтению и утверждению бумаг; справа бумаги, уже прочитанные и или утверждённые, или возвращаемые с замечаниями.

В ногах у государыни, по разостланному ковру, которым был покрыт весь пол комнаты, лежал ещё мех из ангорской козы, а подле бархатная подушка, на которой покоилась маленькая английская собачка государыни, по кличке Том.

Напротив государыни через стол, в мундире, башмаках и чулках и в Андреевской звезде и ленте, также в кресле, неуклюже подгибая свои длинные ноги, сидел Никита Иванович и как-то тупо смотрел на государыню, ко-

торая перестала работать.

— Я понимаю ваше нетерпение и ваше страстное желание поговорить со мной вполне откровенно, мой милый тайный советник, — говорила ему Екатерина ласково, — Я вполне сознаю, что всё совершившееся здесь вам может казаться какою-то мистификацией, шуткой. Очень верю, что вы, может быть, думаете, что я вас обманула и никогда даже не думала о том, что вам обещала.

Государыня проговорила эти слова симпатичным, но твёрдым голосом, смотря на Панина ласкающими, мягкими глазами и встречая его мутный взгляд тою нежной и весёлой улыбкой, которой так умела к себе располагать.

— Признаюсь, государыня, я нахожусь в действительном недоумении, — отвечал Панин, стараясь, по возможности, смягчить свой грубоватый, хриплый голос и не вызывать того тона недовольствия, который сам собою обозначался в его словах. Ему хотелось сказать, всё сказать, что он думал, но так сказать, как говорят дипломаты, насколько можно позолочивая подносимые пилюли. — Вы

изволили согласиться, что всё, что теперь делается, говорится и пишется, — продолжал он, — в такой степени далеко от того, что ваше величество изволили предлагать и что я от вашего имени должен был передавать всем, приглашая их к содействию, что теперь, право, я не знаю, что и думать, что и говорить. Все считают и имеют полное право считать меня если не обманщиком, то, по крайней мере, таким болтуном, который даже и не думал, о чём говорил; между тем, ваше величество, сами изволите знать...

— Что я не то обещала, что теперь выходит; но я разве виновата в этом? Когда отдаёшься на произвол волне, то поневоле поддаёшься их силе. А народ, войско — это то же, что морская волна; куда и как она вынесет, никто не угадает, и всякий, кто отдаётся на её произвол, поневоле должен ей подчиниться. Я теперь нахожусь под влиянием стихийной силы и сама не знаю, куда плыву и чего достигну. Я знаю, что стремлюсь к тому, чтобы всем было хорошо, чтобы я могла разлить возможно больше счастья; но каким образом это должно произойти, я не знаю! Вот когда

стихийная сила исчезнет и течение дел войдёт в своё русло, когда станет преобладать разумность, логика, тогда... тогда мы увидимся, обсудим, поговорим! Я надеюсь, тогда никто не скажет, чтобы я отказалась в чём-либо содействовать тому, что может клониться к благу моих подданных. И я надеюсь, что тогда вы, мой милый тайный советник, будете мне в этом, по силам вашим, помогать?

Панина перекосило от такой дипломатической тирады. Он невольно мигнул несколько раз своими длинными, редкими ресницами и вытянул одну ногу из-под кресла, где ей было так неудобно.

Екатерина, проговорив свою фразу, улыбнулась ласково, но самодовольно. Она подумала: «Он понимает, что я его провела, ну что ж: на то и щука в море, чтобы карась не дремал! Но он мне нужен, в Воронцова я не верю!»

— Но, государыня, — возразил Панин, чувствуя, что почва ускользает из-под его ног. — Есть вещи, которые не переделываются, по крайней мере, трудно переделываются. Как мне объяснить это самодержавное вступ-

ление на престол, когда речь была только о регентстве? Какой ответ могу я держать перед своим питомцем, истинным наследником? Что скажу я, когда он спросит: «Зачем же ты не заявлял моих прав?» Ведь на воспитателе, государыня, как я понимаю, лежит обязанность заботиться о малолетнем питомце во всех разветвлениях его будущего положения.

Екатерина выслушала это возражение с некоторым оттенком досады. Тем не менее она отвечала ласково и весело:

— Э! Что касается моего сына, то напрасное беспокойство! Пока он ещё так молод, что не может предлагать подобных вопросов. К тому же времени, когда наступит пора ему думать о себе, я надеюсь оставить ему наследство далеко в более устроенном виде, чем в каком принимаю сама. Ему останется только благодарить. Да и кто предпримет на себя смелость быть судьёю между сыном и матерью и где прецедент такого суда? За поступки против сына я отвечаю только перед ним! Всякое постороннее вмешательство тут неуместно!

Проговорив это частью шутливо, частью

строго и холодно, Екатерина прибавила, останавливая на Панине опять свой ласковый взгляд:

— К тому времени, как сыну моему будет возможно принять на себя, как говорят, бразды правления, я нацарствуюсь, мне надоест, и я сложу с себя тяжесть, которую теперь принимаю только для него...

Прервав затем опять свой шутливый и ласковый тон, она продолжала тоном завзятой доктринерки:

— Опять нельзя не заметить вам, мой тайный советник, что, относя название наследника к великому князю, моему сыну, вы выразились совершенно неверно. Пётр Великий отменил закон о наследовании по праву первородства и установил наследование по избранию царствующего государя: а великого князя никто ещё на право наследования не избирал. Отец — вы знаете, какую он ему, вместе со мною, готовил участь; мне же не было ещё времени, да и нужно прежде осмотреться. А вы не забыли, что по распоряжению покойной тётушки императрицы Елизаветы, в случае смерти моего мужа бездетным, я

должна была вступить на престол не как регентша, а как царствующая государыня. Тётушка не любила регентства; она насмотрелась на него, будучи цесаревной. Притом наследование после мужа женой вовсе не противоречит характеру русских обычаев. Оно совпадает с русским духом и понятиями, особенно во время малолетства детей. Не говорю о простом люде: там всегда по смерти мужа в главу дома становится жена; но вы лучше моего знаете, в какой степени обычай этот удерживается даже в знатных, родовых семействах. Не раз мне случалось слышать и читать, что мать распределяла по своей воле между детьми отцовское имение; даже выделяла из него часть своим детям от другого мужа. Этот порядок вполне соответствует православному понятиям о нерасторжимости брака и совершенном слитии в браке мужа и жены в одно лицо. Да и в царских семействах... не вдаваясь в отдалённое прошлое, когда, например, при Тёмном, действительно княжила его мать; не говоря о Елене Глинской, правившей всем государством, можно указать на значение матери Михаила Феодоровича, обширное

влияние на дела Натальи Кирилловны, матери Петра. А потом, пример прямой: после Петра Великого, за малолетством наследника-внука, вступила на престол не регентшей, а прямо царствующей государыней его жена, несмотря на то, чем она была прежде. А тут подумайте: я не Марта. Мне не придётся отыскивать своих Самойловичей по разным захоlustьям и награждать их графскими титулами. Стало быть, вопрос не в моём сыне и не во мне! С сыном оставьте нас считаться самим, как мы умеем, и я надеюсь, что под вашим руководством он будет воспитываться так, что станет истинным и сыном отечества, и моим сыном.

Екатерина замолчала, смотря Панину прямо в глаза и как бы вызывая на вопросы, которых она от него ожидала.

Панин чувствовал себя весьма неловко. Он понимал, что ему нужно спрашивать, нужно требовать объяснения, но как? Правда, он привык довольно свободно и откровенно говорить с Екатериной, сперва великой княгиней, а потом и императрицей; но он слишком хорошо понимал, что между великой княгиней

ней, а потом императрицей, без веса, влияния, опоры, поставленной в ложные и даже враждебные отношения к своему мужу, царствующему императору, и самодержавной абсолютной монархиней — разность бесконечная. И то, что легко сходило с языка тогда, невольно проглатывалось теперь.

Однако спросить было нужно, и он нерешительно и как-то особо мигая глазами и отдуваясь проговорил:

— Но с регентством, государыня, предполагались другие вопросы; предполагалось даже изменить образ правления, отменить абсолютизм, противный вашему милостивому взгляду, вашим правилам, наконец, вашему обещанию...

— Да, я обещала подвести своё правление под шведский образец, чтобы таким образом гарантировать личность и собственность против произвола и насилия. Но, видите ли, первое противоречие регентству заключалось в том, что, приняв регентство, я уже не имела бы права отказываться от того, что мне не принадлежит. Я могу сложить свои самодержавные права, уменьшить их различными

ми условиями и ограничениями, предоставить частью их пользоваться сословиям, но в таком только случае, если я сама самодержавная государыня, абсолютная монархиня, которая имеет право, для блага государства, ту или другую из своих прерогатив власти передать народу. Как регентша, я не имела бы право этого сделать. Но прежде всего я обещала всю себя посвятить развитию народного благосостояния, стремиться к возможно полному народному счастью. И видит Бог, ни одной минуты не колеблюсь я в этом отношении...

Панин молчал; молчала несколько секунд и Екатерина. Но потом она продолжала опять, тоном доктринерки:

— Вопрос народного благоденствия — прямой вопрос моего личного благополучия. Я не только готова дать народу шведскую конституцию, но даже, если это нужно, далеко расширить её, довести её, по возможности, до народного главенства. Дело только в том: поведёт ли шведская или какая другая конституция у нас к народному благополучию? Разольёт ли она в народе довольство, обеспеченность, счастье? Рассмотрим это вместе, мой

тайный советник. Я приму и сделаю всё, что мы с вами признаем действительно полезным для народа. Прежде всего в Швеции есть сенат — у нас тоже сенат; но у нас члены сената назначаются абсолютной властью, а там по избрании кандидатов сословиями самим сенатом. У нас законы утверждаются высочайшей властью, а там четырьмя камерами, лучше сказать, одной камерой в четырёх отделениях народных представителей. Представители делятся по сословиям: дворянство, среднее сословие или городские общества, духовенство и крестьяне. Существуют ли такого рода сословия и могут ли выслать своих независимых представителей у нас? Начинаю с духовенства. У нас, правда, есть святой жизни, высокого образования, несколько иерархов церкви; зато сельское духовенство стоит на столь низкой степени развития, что можно сказать, оно то же крестьянство. Вы знаете лучше меня, что есть священники, которые служат обедню наизусть, за неумением пройти её по книгам. Спрашиваю: что же это будут за представители, разрешающие государственные вопросы и составляющие государ-

ственную законодательную власть?

Вы скажете: выбор падёт на тех иерархов, которые сделали бы честь всякой церкви. Во-первых, их очень мало; а во-вторых, мы сейчас же ударились бы в феократию; а не мне рассказывать вам вред, который происходит от вмешательства феократического элемента в гражданские дела!

Теперь среднее сословие. Но где оно у нас? Не эти ли несколько учителей и чиновников из духовного звания или протоколистов судов, в жизни своей не выдавших ничего, кроме примеров решений, которые они списывают дословно при других решениях? Торговли у нас нет, мануфактур тоже, стало быть, и нет того высокообразованного класса, который в других странах является представителем труда и капитала. А лавочники всегда останутся лавочниками. Не им управлять государством.

Теперь крестьяне! Да ведь большая часть их крепостные. Какое же свободное слово хотите вы слышать от крепостного человека? Остаётся полуобразованное, полуграмотное дворянство, до сих пор бегающее от службы, проводящее время среди мелкого разврата

своей домашней челяди. В них ли хотите вы видеть спасителей от произвола и насилия.

В Швеции другое дело. Там образованное протестантское духовенство; там крестьяне, тоже благодаря протестанству, почти все грамотные и свободные от всякой зависимости; наконец, там среднее сословие, самостоятельное и укрепившееся внешними сношениями и всесветным мореходством. Да и там, вы знаете, какое влияние имеют иностранцы, благодаря тому что дворянство и другие сословия из личных интересов часто жертвуют пользами отечества. Спрашиваю: что же будет у нас?

Представителями явятся, нет сомнения, дворяне и ими же назначенные крестьяне, попы и лавочники, которые будут продавать свои голоса чуть ли не на рынке. Затем сила управления ясно перейдёт к пяти-шести богатым фамилиям, вроде польских магнатов, которые позаботятся не об улучшении быта народа, а о его возможно большем закреплении. Того ли вы хотите, Никита Иванович? Подумайте! Вспомните хоть верховников царствования Анны!

Панин выслушал весь этот монолог молча. Он был слишком потрясён, узнав, что то, что он считал несомненным, подлежит ещё обсуждению, а при обсуждении оказывается, что существуют шансы далеко не в пользу того, что он так горячо отстаивал.

— Если бы ещё можно было быть уверенным, — продолжала Екатерина, будто не замечая затруднительного положения Панина, — что мелкие землевладельцы, привезя своих попов, лавочников и крестьян, не войдут в соглашение с крупными землевладельцами, то можно было бы надеяться на более или менее беспристрастное разрешение хотя бы некоторых вопросов, не касающихся собственно дворянства. Они составили бы оппозицию крупному землевладению. Правда, вопросы разрешались бы только в смысле закрепощения, в смысле усиления помещичьей власти; но, по крайней мере, общий строй государства не рушился бы от противоположности личных интересов. Естественное право человека было бы нарушено, но не нарушалось бы право государственное. Но, скажите, можно ли в России думать, можно ли ожи-

дать, чтобы мелкое дворянство, не всегда грамотное, могло устоять против соблазна, который с такой охотой предложится ему богатыми фамилиями? А тогда Россия обратится в Польшу по своему олигархическому устройству и полному государственному ничтожеству; будет то, что я называю боярское правление. Этого ли вы хотите? Не забудьте, абсолютизм, в самых даже злоупотреблениях своих, всегда единичен. Он может быть жесток, может бессердечно относиться к личностям, может быть развратен, — но абсолютизм всегда справедлив к массам, всегда стоит за народ против олигархии. Он не может не желать государству преуспевания как его глава. Русские крепостные крестьяне, как ни тяжело, ни бесправно они поставлены, благоденствуют сравнительно с польскими крестьянами. Отчего? Только потому, что в России, хорошо ли, худо ли, а в России есть власть; а власть в Польше — воля магнатов! Хотите ли вы, мой тайный советник, чтобы я те бедствия, ту слабость, то бесправие, которыми отличается теперь Польша, перенесла в любимую нами Россию? Хотите ли, чтобы я объявила консти-

туцию, до которой мы не дозрели, которая будет отравой для нашего государственного организма? Нет, вы не хотите этого! Я понимаю в важных вопросах земский собор, понимаю выборные советы; во всём этом незрелость выказывается не столь ярко, не столь рельефно; но конституция, чистая, общая, постоянная, при нынешнем положении России? Если бы она и была, то нужно было скорее её уничтожить, выбрав диктатора.

Панин, разумеется, мог только молчать при этом потоке слов государыни. Он чувствовал, что во многом и многом она права, хотя ему и не хотелось в этом сознаться. При послед них словах императрицы он слегка и чуть заметно улыбнулся.

Ему пришло в голову: выбрать диктатора, с тем чтобы выбор пал непременно на неё, иначе она перевернула бы все выборы. Отличное признание прав гражданской свободы!..

Как ни тонка была улыбка Панина, государыня, однако ж, её заметила и несколько разгорячилась.

— Вы смеётесь; вы думаете, не нужно было

обещать. Но я и теперь обещаю, обещаю всё, что будет нужно для счастья моих народов! И вас приглашаю быть моим сотрудником, быть судьёй... Нужна конституция — я дам и конституцию... Поверьте, мой друг Никита Иванович, что у меня самая республиканская душа; что я не стою ни за какие прерогативы власти и менее всего считаю себя способной к абсолютизму. Но нужно же узнать, что необходимо, надо осмотреться... Вот мы в том или другом виде соберём земский собор, комиссию, посмотрим, послушаем народных желаний. Мы оценим способности представителей, их требования и силу, посудим и тогда, тогда... Я желаю только, чтобы вы мне помогали... Вы обещаете?

— Государыня, долг подданного всегда возлагает обязанность... Но...

— Что же вы хотите, когда я вам обещаю, согласно вашим же замечаниям, исправить всё, что в настоящее время несоответственно, когда я предоставляю это дело вашему суду? Вы хотели, чтобы я дала конституцию; я говорю: я дам её, если обстоятельства укажут, что она будет клониться к пользе усыновившего

меня отечества, поведёт к благоденствию введенных мне народов... И вы сами будете судья...

Панин упорно молчал.

Императрица, которая перед тем разгорячилась и говорила с некоторой страстностью, вдруг звонко засмеялась.

— Вы сегодня не в духе, мой тайный советник. Вы сегодня не хотите ни советовать, ни рассуждать, хотя сегодня-то особенно и нужны были политические наставления опыта вашей бестолковой ученице. Я говорю откровенно. Воронцовы... положим, они отличные люди, но мне не ко двору. Вон один из них, юноша, хотел против меня драться и был арестован с оружием в руках. Я, разумеется, велела его освободить. На Михайлу Ларионовича я тоже смотрю другими глазами, чем покойная тётушка... Я хотела бы призвать вас... Но вы сегодня не в духе; вам кажется, что я вас обманула. Мы поговорим об этом другой раз! Идите и подумайте! Вы увидите, что ваша ученица не кривит душой, что она маленькая республиканка даже в то время, когда объявляет себя самодержавной монархи-

ней, и такая республиканка, которая души бы своей не пожалела, чтобы сделать всех счастливыми...

С этими словами она встала. Панину пришлось откланяться.

«Что делать, — сказала себе Екатерина, провожая глазами уходящего Панина, — нужно выдерживать себя. Мне жаль его потерять, нужно убедить... Ведь я никогда не думала, что царствовать — значит только ломить... Нужно поучиться и у Макиавелли... Кстати, мне принесли новый перевод».

Она замолчала, потому что по её приглашению явился новгородский архипастырь, старший член синода и проповедническая знаменитость того времени, преосвященный Дмитрий Сеченов.

Государыня пошла к нему навстречу, приняла благословение и поцеловала руку, предоставив и ему поцеловать свою.

— Надеюсь, вы довольны, отец преосвященный. Домовые церкви открыты. Образа разнесены по церквам, требование духовных в военную службу отменено. Везде отслужены молебны о ниспослании благодати и

оставлении на нас милости Божией. Надеюсь, что вы удостоверились и в том, что никаким боярским затеям я ходу не дам; что эти затеи их останутся только затеями; что никаких верховных советов, никаких боярских дум с ограничением власти государя, никакого боярского царствования не будет и не может быть! Я буду милостива ко всем, одинаково отдам каждому должное...

— Да благословит Бог начало и да утешит Россию вашим продолжительным и славным царствованием, ваше императорское величество, государыня императрица. Да продлит Он дни ваши на многие лета. Теперь, государыня, православное духовенство, молясь ежедневно о вашем здравии и преуспейнии, надеется на отмену тех огорчительных мероприятий, которыми последнее царствование так стеснило церковные имущества, предоставив их светской власти!

— Непременно, непременно, святой отец! Я уже повелела рассмотреть те затруднения, которые вызывались положением церковных имений и которые заставили обратиться к мерам, столь неприятным духовенству. Как

те, так и другие основания будут мне представлены, и я сейчас же передам дело в комиссию...

Архиепископа передёрнуло от этих слов. Менее всего он ожидал и более всего боялся услышать о комиссии, а тут-то её и подносят.

Государыня заметила, как он перекопился, и улыбнулась.

— Под вашим председательством, святой отец! — прибавила она, стараясь в свою очередь позолотить пилюлю. — Вы сами наметите те пункты, о которых особо захотите со мной говорить, и мы обсудим, обдумаем вместе...

Золочёная пилюля показалась немножко вкуснее знаменитому проповеднику, не настолько, однако ж, чтобы разгладить морщины, набежавшие на его чело.

— Ведь не могу я иначе разрешить законодательный и столь важный вопрос, как рассмотрев его в законодательном порядке, — продолжала Екатерина сдержанно, но дидактически. — Вы, святой отец, сами, вероятно, пожелаете внимательно обсудить основания, требовавшие преобразования этой части, что-

бы избежать этих требований в будущем? Вы, вероятно, захотите обсудить возможность соглашения настоящей необходимости с желаниями духовенства? Тут не будет ни моего произвола, ни несправедливых и несоответственных притязаний. Духовенство сохранит весь престиж любомудрия, нестяжания, правды, а государство примет на себя обязанность заботливости о правосудном отстранении всякой нужды, всякой студы и правосудном восстановлении всякой справедливости. Надеюсь, тогда будут довольны и духовенство, и пожертвованные для его обеспечения труженики, притом сохранятся и государственные интересы. Надеюсь, что вы и не предполагаете, чтобы я иначе могла поступить в столь важном деле; думаю, что вы вполне разделяете...

Архипастырь вышел из кабинета как ошпаренный. Правда, он был успокоен относительно притязаний и обрядности, которых касался Пётр III, успокоен за порядок в церквях, неприкосновенность внешности; но с лишком полтора миллиона душ крестьян, монастырских имений так же исчезали у него

из рук, как начали исчезать ещё в предпрошлое, богомольное, благочестивое царствование и совершенно пропали в прошлое. Он надеялся воротить их, ему обещали. А тут вдруг — комиссия; знает он, что такое комиссия!..

В это время вошла к государыне одна из её старших камер-фрау, Шкурина.

— Ваше величество, княгиня Дашкова хочет войти через уборную. Я не решилась её остановить и обошла, чтобы вы изволили знать...

Екатерина нахмурилась, но в ту же минуту с сияющей и ласковой улыбкой пошла на встречу княгине.

— Моя юная подруга и воин, — весело проговорила государыня, встречая княгиню Дашкову, выходявшую из внутренних комнат в кабинет, — с какими вестями являетесь вы ко мне?

— Я хотела спросить вас, государыня, не могу ли я чем-нибудь помочь вам, быть вам полезной? Там так много народа...

— Разве так много?

— Полны залы, государыня: и Разумов-

ский-гетман, и Миних, и Трубецкой, Шереметев, Скавронский, Неплюев, Волконский, Нарышкины, Строгоновы — все, все... Я хохотала до упаду, взглянув, как Трубецкой столкнулся с Неплюевым, посмотрели друг на друга, как два петуха, и раскланялись низко, окидывая в то же время один другого каким-то особым масляным взглядом. Двор, право, та же комедия! Можно видеть и учиться исполнению всевозможных ролей.

— Ты пришла весьма кстати, моя милая. У меня до тебя просьба! Уговори нашего медведя, — как он тебе приходится, право, не знаю... Ну да ведь у русских все родня! Ну, дядя, что ли, названный, горячий поклонник своей милой племянницы, Никита Иванович. Уломай его, чтобы он не упрямылся. Не могу же я всё разом... а ему вынь да положь! Убеди, чтобы он меня не оставлял. Скажи, что потом, сам увидит, всё сделается! Уговори, милая, и привези от него прошение, что он желает быть употребляем по конференции иностранных дел. Мне это нужно! Ты для меня это сделаешь?

— Государыня, я буду счастлива! Вы знае-

те, я жизни готова не жалеть для вас...

— Я уверена, уверена, мой молодой друг! Вот, говорят, женская дружба не крепка: мы им докажем, как крепка она. Не правда ли? Ведь ты не разлюбишь меня оттого, что я царствующая императрица?

Княгиня Дашкова поцеловала руки государыни. Императрица поцеловала её в голову.

— Как молода ещё, как свежа и как мила, — сказала государыня, лаская её. — Кстати, ты говорила о денежных затруднениях твоего мужа. Я сейчас подписала о выдаче тебе 24 тысяч в уважение твоих особых заслуг; о пенсии в 12 тысяч ты, надеюсь, уже знаешь. Я вчера ещё велела отвезти. Скажи, ты довольна?.. Не благодари, не благодари! Это только начало... Теперь, пока моё казначейство так бедно, я не могу раскидываться. Но надеюсь, Бог даст, мы всё исправим! Поезжай же, милая, к Никите Ивановичу, переломи этого упрянца и привези его прошение. Я буду тебя ждать!

Дашкова исчезла, сопровождаемая государыней уже не во внутренние комнаты, а в выходные залы.

«Добрая и неглупая! — подумала государыня. — Но самолюбию и тщеславию нет пределов. Она в самом деле думает, что если что сделалось, так это только благодаря её милости. И как наивны эти люди, прости их Господи!.. Но чего терпеть не могу в Дашковой — это дерзость до нахальства. Как это вздумать и решиться пройти без доклада. Ещё хотела ли я её видеть?..»

Государыня приказала Шкуриной провести к ней сперва через уборную Григория Орлова, а потом сказать Строгонову, что она просит к себе гетмана Разумовского.

— Садись, Грегуар, и будь как дома! — сказала государыня, когда Орлов вошёл. — Постарайся не обращать ни на что внимания и рассматривай вот хоть эти чертежи и рисунки. Я хочу ограничить некоторые претензии, и для того мне нужно, чтобы твоё значение при мне определилось рельефнее.

Орлов не заставил себя просить другой раз. Он снял шпагу, бросил её на диван, шляпу и перчатки положил на бумаги, а сам, развалясь в креслах, стал рассматривать поданные ему чертежи, делая изредка замечания и пе-

ресыпая их шутками.

Вошёл гетман.

Разумовскому в это время было тридцать семь лет, стало быть, он был старше государыни пятью, шестью годами. И он был ещё красивый мужчина, хотя в этом отношении далеко не мог сравниться с братом Алексеем, когда тот был в этих же годах. Пожалуй, многие и теперь пятидесятидвухлетнего Алексея предпочли бы тридцатисемилетнему Кириллу. Но это уже вопрос личного вкуса. Во всяком случае, он был элегантнее, развитее и легче, чем его брат Алексей, так что сказать нечего: гетман Кирилл Григорьевич мог ещё очень и очень нравиться женщинам.

Притом нельзя не сказать, что много украшала молодцеватую фигуру Разумовского исключительная характеристика его гетманского мундира. Красиво вышитый золотом и украшенный бриллиантами, этот мундир самым покровом составлял совершенную противоположность общему французскому костюму того времени, который своею формой как бы указывал на изнеженность, роскошь и барство. Мундир Разумовского придавал ему вид

мужественности, зрелости, самостоятельности и резко отличал от всего, что стужёвывалось до ничтожества самым костюмом. Чёрные глаза и чёрные волосы, которые он как-то искусно подстригал под хохлацкий тип, в отличие от всех белых пудренных голов — парика без особой нужды он не носил, — придавали его фигуре такую оригинальность и выразительность, что многие и многие на него засматривались. Между женщинами он вообще ещё имел успех, хотя был без мала уже пятнадцать лет женат на Екатерине Ивановне Нарышкиной и имел в это время от неё одиннадцать человек детей.

Женитьба его состоялась по инициативе и настоянию государыни Елизаветы Петровны вскоре по возвращении его из Парижа с Тепловым, под руководством которого он слушал там курс военных и политических наук, учился светскому обращению и вообще перерабатывался из хохлацкого дьячка во французского петиметра. Екатерина Ивановна Нарышкина была скромная, тихая, но невзрачная особа, зато богатейшая наследница. Государыня, желая сблизить Разумовских с родо-

выми фамилиями и по возможности увеличить их богатство, устроила этот брак, когда Кириллу Григорьевичу не было ещё 22 лет; брак без любви, по расчёту, но брак вполне счастливый по совершенной безответности жены и полной сдержанности и уважения к ней мужа, хотя и любящего иногда пошалить, но никогда не нарушавшего границ приличия.

Впрочем, нарушать эти границы ему не было повода... Екатерина Ивановна если не была красавицей, то была моложе его пятью годами; по образованию своему она вполне соответствовала нахватавшему вершков в Париже хохлацкому петиметру; по своему нравственному свойству была преданной, верной женой, истинной подругой жизни, которая, относясь к мужу снисходительно, не может не удерживать при себе постоянно его душевного чувства. Она дарила ему по ребёнку чуть ли не каждый год, и Кирилл Григорьевич ни в каком случае не мог жаловаться на то, что по неплодородию супруги может исчезнуть с лица земли его вновь испечённый графский род.

Он, впрочем, и не жаловался. Допуская с своей стороны весьма нередко посторонние развлечения, то дешёвого домашнего разврата, то дорогого, утончённого французского сладострастия с наезжавшими из Парижа прелестницами, он душою и сердцем принадлежал семье. Любить женщину как женщину, но не исключительно материально, не только плотски, со стороны одной чувственности, но любить душой, сердцем, воображением — ему не случалось никогда, даже тогда, когда его друзья сожалели о разрыве каких-то его близких отношений, которые, они полагали по внешности, должны его весьма огорчать. С хохлацким хладнокровием он выслушивал известия об измене своей любовницы, хотя до того казалось, что он такой измены не перенесёт. Дело в том, что ни тогда, когда он, ещё юный, венчался со своей невестой по воле государыни, едва сознавая, что делает, ни после, когда шалость и легкомыслие бросали его из стороны в сторону, он не знал и едва ли даже понимал, что такое любить. Пожалуй, слово «любовь» он определил бы понятием о приятном развлечении от супружеских обя-

занностей. А может быть, он бы сказал: любить женщину — значит иметь от неё дюжину детей... В том и другом ответе светилась бы его мысль о женщине как о самке, с которой действительно и время приятно провести можно, и детей иметь... Мягкость ли его характера, быстрая ли перемена в его судьбе, захватившая всё его внимание внешностью положения, только никакое глубокое чувство не волновало никогда его малороссийского юмора, и он не волновался ничем и ни от чего. Но вдруг он почувствовал, что всё это не то, что он может истинно и глубоко любить...

Императрица Елизавета, после одного из тяжких припадков, случившихся с ней в Москве, по своей религиозности дала себе обет сходить из Москвы пешком в Троице-Сергиеву лавру. Она совершала этот подвиг исподволь. Пройдёт вёрст пять и возвращается назад в карете; на другой день доезжает до того места, где вчера остановилась, и опять идёт, сколько достанет сил. Когда путь её был близок к половине, то двор расположился в Тайницком и Раеве, где был старый загородный дворец.

Разумовский с женой жили в Петровском, превосходном подмосковном нарышкинском имении, полученном Разумовским за жену. По обязанности камергера, разумеется, он должен был нередко бывать в Раеве.

Ещё тогда молоденькая великая княгиня, с светлым взглядом, необыкновенно приятной улыбкой и обдуманно любезной речью, произвела на него впечатление. Его тянуло невольно в Раево, и он бывал там чуть ли не каждый день. Но всё это было ещё не то. Ему было отрадно слушать её, было приятно смотреть. Ему казалось, что и солнце яснее при ней, что и цветы душистее, — но всё не то... Но вот несколько лет назад его пригласил к себе на сепаратный вечер английский посланник баронет Вильямс. Это было во время самой отчаянной дипломатической борьбы англичан и австрийцев за влияние при петербургском дворе. Австрийцы стремились всеми мерами сблизить Россию с Францией, с которой уже заключили союз, для совместного действия против прусского короля Фридриха II. Англичане хотели во что бы то ни стало такого сближения не допустить и для того

старались убедить русский двор не принимать французского посланника, пугая, что со стороны этого посланника явятся интриги, клонящиеся к отстранению от наследства великого князя Петра Фёдоровича, по известному его расположению к прусскому королю. Англичане только что заключили союзный договор с Пруссией, а как у них был субсидный договор и с Россией, то они желали соединить общие интересы и сделать Россию для Пруссии, по крайней мере, безопасной.

Естественно, что, указывая главнейшим основанием недопущения французского посланника в Петербург вероятность его интриг против молодого двора, сэр Вильямс должен был стремиться всеми мерами к сближению с великим князем и великой княгиней. В видах этого сближения, зная, что великая княгиня весьма любит умственные занятия, сэр Вильямс давал литературно-музыкальный вечер для самого интимного кружка, среди которого красовалось и имя великой княгини.

Разумовский, проводя время своё большею частью при дворе в Петербурге и Москве и считая одной из самых неприятнейших и

сквернейших обязанностей своих по гетманству необходимость ездить в Малороссию, вероятно, видел до того великую княгиню и проводил с нею время у государыни, у неё самой, у разных высших лиц, по меньше мере, сто раз. Не раз он имел счастье даже принимать её у себя и мало-помалу весь отдавался тому влиянию, которое, как умная женщина, она умела распространять на всех в чём-либо нужных ей людей.

Но ни с его стороны, ни с её не было сделано ни одного шага для более короткого сближения. Она, как женщина, разумеется, понимала впечатление, ею производимое, но молчала, может быть, потому, что со своей стороны вовсе не увлекалась Разумовским. Он молчал уже и потому, что слишком идеализировал чувство, к которому признавал себя до того неспособным, поэтому сомневался, робел, терялся в её присутствии. Понятовского давно не было. Сплетня, которая любила касаться всех, особенно в период тогдашнего общественного легкомыслия, успела смолкнуть. Впрочем, она, эта сплетня, впоследствии не производила на Разумовского никакого впе-

чатления. Он знал, что кто чем выше, тем сплетня касается того чаще. Великая княгиня с вечера Вильямса, на котором она сумела высказать и своё знание, и свою начитанность, и свой ум, казалась ему идеалом, перед которым всё должно было склоняться; он и склонился перед ней, и боготворил в ней свой идеал.

Но вот в один из припадков болезни государыни, когда весьма боялись, что он окончится катастрофой, Екатерина подошла к нему и сказала:

— Граф Кирилл Григорьевич, государыня тётушка опасно больна. Я опасаюсь, в случае несчастья, за мою жизнь, за жизнь моего сына! Могу ли я на вас рассчитывать?

— Государыня, — отвечал Разумовский, полный восторга от оказываемой ему, видимо, предпочтительно перед всеми доверенности. — Моя жизнь — это самая ничтожная и едва ли к чему-нибудь пригодная жертва, которую я могу принести на защиту вашу; но моё состояние и мой Измайловский полк... — Разумовский числился подполковником Измайловского полка и распоряжался его хозяй-

ством, так как полковником всех трёх полков гвардии считалась сама государыня. — Мой полк и моё состояние будут во всякую минуту готовы, чтобы защищать вас до последней капли крови.

Екатерина бросила благодарный взгляд и подала ему руку.

— Я не забуду этого, граф, поверьте, рассчитывайте и на меня!

Когда императрица Елизавета выздоровела, и не потребовалось ничего. Но вот прошло несколько лет, и государыня умерла. Её наследник, великий князь, теперь император, не только не отстранил опасность от своей жены и сына, но явно угрожал им. Екатерине понадобилась та преданность, о которой заявлял когда-то Разумовский. И в этой преданности она не обманулась. Разумовский привёз ей миллион, дал ей Теплова и отвечал за Измайловский полк. Она приехала в этот полк и встретила первую опору, которая дала основание всему дальнейшему.

— Я ваша! — говорила она Разумовскому перед тем, как она колебалась в своём решении. Она решилась — и успех был полный.

Теперь, нужно было благодарить и наградить.

Разумовский вошёл с хохлацкой неуклюжестью в походке, от которой никак не мог освободиться, несмотря на всё старание в изучении танцевальных позиций, поклонов, преподаваемых французскими балетмейстерами и балеринами, и изучение всевозможных менуэтов, матрадуров, алегеров и кадрилией, долженствовавших служить грациозному развитию движений. Эта неуклюжесть походки, которой, как мы сказали, младший Разумовский победить никак не мог, в последнее кратковременное царствование доставила ему множество огорчений. Она служила постоянным предметом шутки бывшего императора, который умышленно заставлял несколько раз проходить мимо себя Измайловский полк, чтобы посмеяться над гетманом-фельдмаршалом, долженствовавшим идти впереди как его подполковник. При этом государь и кричал на него, и передразнивал, и всячески унижал.

— Убрать брюхо, вытянуть носки, грудь вперёд! — кричал государь. — Стой! Что это? Первым учебным шагом! Ра-а-а-з!

И начиналась тирания, которой должен был подчиняться весь полк. Но это уже всё ушло. Теперь, несмотря на свою неуклюжесть, Разумовский вошёл особенно свободно, вошёл с некоторым даже апломбом. В самом деле, данный им Теплов был чуть ли не главным действующим лицом в течение всего переворота, во всех его перипетиях. Он и писал, и говорил, и сражался. Наконец, он помогал Орлову, Барятинскому и Баскакову в Ропше. Измайловский полк доказал на деле, что Разумовский своё дело более чем сделал; да и миллион, разумеется, не помешал. Наконец, разве можно не оценить его самопожертвования, что он, можно сказать, слил свою участь с её предприятием, явившись у самой заставы к её отряду, если не в действительности им предводительствовать, то дать предводительству своё имя русского фельдмаршала и малороссийского гетмана, и таким образом стал во главе возмущения. Когда же? Когда семейство своё, по требованию императора, он отправил к нему в Ораниенбаум прямо с дороги из Гостилиц, где настигло его это требование.

«Благодарность будет, должна быть! — думал Разумовский, входя. — Какую только форму дадут этой благодарности?»

Он шёл с некоторым, как мы сказали, апломбом и весьма изумился, найдя государыню не одну.

Екатерина решила в своём уме придать форму благодарности своей Разумовскому самую искреннюю, самую задушевную, но такую, в которой он видел бы, что именно он может ожидать от неё.

Она пошла к нему навстречу, подала ему обе руки, высказывая в самых симпатичных словах своё сознание, как она много ему обязана и как благодарна; вместе с тем она обратилась к Орлову, как человеку домашнему, человеку её интимной жизни, и проговорила:

— Грегуар, уступи своё кресло графу, мы с ним хотим поговорить по сердцу, по душе; перейди вон на диван, если хочешь; я буду исповедовать графа, чтобы он мне высказал свои мысли, свои желания и я бы знала, чем я могу быть ему полезной, чем могу выразить ему свою глубокую благодарность.

Орлов после вежливого и почтительного

поклона гетману перешёл на диван, но не думал уходить. Он, видимо, был свой; от него не было секретов, и он знал, что и о чём государыня хочет с Разумовским говорить.

Сознание этого убило всё самодовольство Разумовского, с которым он входил, думая, что он будет один на один и, может быть, выскажет... Присутствие Орлова меняло смысл самых нежных, самых задушевных фраз.

— Я не в силах доказать вам мою преданность и благодарность материально, как бы я хотела. Моё казначейство, благодаря затеям моего супруга, так бедно, что я в настоящую минуту даже не в силах немедленно возвратить то, что подлежит вам возврату; тем не менее я сделаю всё... Вместе с другими вам назначена пенсия, хотя, разумеется, вы не подумайте, чтобы этой пенсией я желала сколько-нибудь выразить вам своё сознание, сколько я вам обязана. Нет, нет! Я хотела только, чтобы вы видели, что о вас думают! И я надеюсь, вы убедитесь, что имя Разумовских, как по их отношению к покойной тётушке, так и ко мне, будет всегда одним из самых близких моему сердцу.

Когда она это говорила, Орлов обратился к ней бесцеремонно с вопросом по поводу какого-то чертежа и назвал её не государыня, не ваше величество и даже не именем и отчеством, а именем, полным нежности и любви.

У Разумовского кровь бросилась в голову. Он видел, что между ними всё кончено, и раскланялся.

«Что он? Она выйдет за него замуж? — подумал он, уходя. — Ничего нет удивительного, — прибавил он, вспоминая изящный профиль Григория Орлова, его стройность, ловкость и выразительные глаза. — Что ж тут удивительного? Ведь брату удалось же, а Григорий Орлов не уступит по грации и красоте».

Он уехал огорчённый, но чувствовал, что мысли и сердце его лежат у ног государыни, что отделить себя от неё, забыть её он не в состоянии.

Пока он садился в экипаж, чтобы ехать в Аничков дворец к брату, — к государыне, уже с общей половины, вошла Дашкова. Она нашла уборную запертой, поэтому не могла пройти так, как прошла утром, и должна была обойти кругом.

Она вошла бледная, с помутившимся взглядом и дрожащими губами.

Не обращая внимания на Орлова — ей отношения были известны, — она подошла к императрице и сказала:

— Вот, государыня, прошение, которое вы желали получить от Никиты Ивановича.

Государыня обрадовалась.

— Новая услуга, милая, добрая! Переломила-таки упрянца. Я была уверена...

— О, государыня, не говорите! Моё самоотвержение и преданность вашему величеству заставили меня зайти так далеко, как...

И она как-то несмело подняла глаза: но, увидев, что Орлов в это время взглянул на неё, сейчас же потупилась.

— Он подписал, подписал! Как мне благодарить тебя? — продолжала императрица, не придавая словам княгини Дашковой особого значения, будто не понимая их. — Кстати, ты говорила, что у тебя нет дома в Петербурге. Знаешь дом, что Пётр хотел подарить Мельгнунову после розог, которыми он его потчевал, переезжай в него, он твой!

— Государыня, милости ваши выше всех

ожиданий! — И Дашкова горячо начала целовать ей руку, потом через минуту полусхотливо прибавила вполголоса, смотря Екатерине прямо в глаза: — Если бы вы знали, государыня, какой он неловкий, гадкий!

— Ну, ну, — смеясь, отвечала государыня, затушёвывая её слова. — А на новоселье я пришлю тот серебряный сервиз, который мне, помнишь, подарила императрица Елизавета и которым ты так восхищалась.

Дашковой вновь пришлось благодарить.

— Ну, что говорят в городе? — спросила государыня.

Начался перечень новостей. Дашкова болтала без умолку. Всем было весело, и казалось, больше всех Екатерине, тогда как в действительности мысли её были слишком далеко от весёлых рассказов и городских анекдотов. Потом на мысль ей пришёл Панин. «Его нужно привлечь к себе непременно, — думала Екатерина. — Он мне действительно будет полезен... — прибавила про себя Екатерина, думая о Дашковой, — она была хороша для первого шага, далее она не годится. Панин слишком умён, чтобы её не раскусить. Луч-

шее средство сойтись с ним в самом деле собрать депутатов, для комиссии какой, что ли?» В эту минуту к ней впервые пришла эта мысль: она начала обдумывать её, и плодом такой думы оказался впоследствии её знаменитый наказ.

II

НЕ ВСЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ

В Париже, за Сен-Жерменским предместьем, в направлении к Лувру и Тюльери, почти против самого Лувра, стало быть пройдя уже Пале-Ройяль, сдавался внаём небольшой отель вдовствующей герцогини Прален.

Почему и зачем старой герцогине ни с того ни с сего вздумалось вдруг сдавать свой отель внаём хоть за какую-нибудь цену, а если найдётся покупатель, то и продать, — так и было написано к общему управляющему имениями Праленов, герцога и графов, — к общему удивлению всей дворни, не только в продаваемом отеле, но и в большом, стоявшем в Сен-

Жерменском предместье, так называемом праленовском дворце, никто не знал. Все толковали, рассуждали, но никто ничего не мог сказать определённого, ибо не было ничего, чтобы указывало на какое-либо изменение дел в семействе Праленов или какое-нибудь обстоятельство, которое могло бы оправдать столь чрезвычайную меру.

Старая герцогиня была очень богата, очень стара и в течение всей жизни своей очень любила свой маленький отель, в котором, кроме парадных комнат и комнат, занимаемых ею при приезде в Париж и совершенно недоступных в её отсутствие, жили ещё старая кормилица её старшего сына, убитого под Прагой в первой силезской войне, пикардийская крестьянка, летами немного моложе самой герцогини, с дочерью и внуком, здоровенным малым, нанимавшимся теперь для разноски воды; затем привратник с семейством, из разорившихся фермеров герцогини, сын которого занимал теперь важное место камердинера при втором сыне герцогини, графе Пралене, статс-секретаре иностранных дел христианнейшего короля.

Глава дома, Жозеф Баптист герцог де Пра-лен, сын убитого, был ещё, как говорила герцогиня, совершенный мальчик, но с задатками быть столь же храбрым, как его отец, столь же красивым, как его дед, и столь же знаменитым, как его прадед, — по крайней мере, его бабушка от души тому верила и с совершенно покойной совестью уверяла в том других. «Теперь он ребёнок, — повторяла герцогиня, рассказывая о нём, — совсем ещё дитя, не знающий даже того, что его положение позволяет ему смотреть на свет не совсем монастырскими глазами; но дитя, что же вы хотите, совершенное дитя!» И герцогиня плакала от умиления, рассуждая о молодости и будто бы полной наивности своего внука, в то время как Забавы молодого герцога, как будет видно ниже, ни в каком уже случае не могли относиться к разряду детских.

Третий сын герцогини был аббат; но аббат, надеявшийся быть кардиналом, большой приятель с маркизой Помпадур и всеми бывшими и, вероятно, могущими быть в будущем королевскими любимцами. Он делал вид, будто руководит воспитанием молодого герцога

Пралена, долженствовавшего быть главой дома, хотя, в сущности, ничем до него не касался. По его протекции в отеле матери, кроме семейства привратника и старой пикардийки, жила ещё особа, вероятно довольно скромного происхождения, так как она подписывалась просто Эмилия Трей, не присваивая себе столь существенной в то время и столь завидной частицы *де*. У ней было четверо детей, как две капли воды похожих на милого аббата, который, вероятно, принимал в ней горячее участие, так как из большого отеля заезжал к ней непременно каждый день.

Теперь, рассуждали привратник с женой и старой пикардийкой, если отдавать отель внаём, как он есть весь, куда же денутся прежде всего они: Жан Фу и его супруга, которые по месту, занимаемому их сыном при графе-министре, имеют право на внимание; потом старая пикардийка, которой герцогиня обещала угол до самого конца жизни; наконец, мадам Эмилия со своими детьми, так напоминающими аббата и которых старая герцогиня, при приезде в Париж, всегда призывает к себе, никогда не допуская до себя их

маменьку, — всегда ласкает и одаривает.

— Наниматель, тем более покупатель, какой бы он ни был, — пояснил Жан Фу, — не захочет держать в своём доме всю эту ораву и непременно выгонит всех нас на улицу. Если же нанимать для нас особое помещение, то придётся, пожалуй, заплатить дороже, чем можно получить за отель.

Все эти рассуждения, однако ж, оказались праздными. Отель был снят, и никого не выгнали. Герцогиня по хозяйственным соображениям решила продать или отдавать внаём свой совершенно излишний парижский дом, так как, по своим летам, приезжает в Париж весьма редко и может останавливаться в большом праленовском дворце, который за несовершеннолетием внука и помещением второго сына в отеле министерства стоял совершенно пустой, так как аббат и молодой герцог жили во флигеле.

Итак, предписание было дано с целью удостоверить каждого, чему все верить и должны были, что герцогиня изволила приказать отдавать внаём свой отель без всякой задней мысли и что она не знает ни кто наймёт его,

ни зачем наймёт, ни какие последствия могут быть из такого найма; тогда как в сущности сдача отеля внаём обуславливалась совершенно иными соображениями.

В конце 1748 отношения Франции с Россией были весьма натянуты. После того как раскрылись все нити интриг французского министра иностранных дел д'Амелота, через бывшего посла в России маркиза Шетарди, и положительном неуспехе его преемника, графа Дальона, и после того как смерть князя Кантемира оставила французский двор при одном русском поверенном, что заставило и Францию отозвать своего посла, а французская политика, сблизясь с прусскою, становилась к нам в явно враждебные отношения, — императрица Елизавета, подчиняясь влиянию своего канцлера, начала склоняться к стороне Марии Терезии. Правда, в России была довольно значительная партия, готовая отдать преимущество союзу с Францией против союза с Австрией. К этой партии принадлежал и Воронцов. Но эта партия была, во-первых, видимо слаба; а во-вторых, удерживалась в своём принципе скорее из-за вражды к

канцлеру Бестужеву, чем из действительного сочувствия Франции. В это время в голове одного из хитрейших представителей знаменитого Лойолы, аббата Флавио д'Аржанто, созрел и окреп довольно хитро задуманный план.

Он нашёл молодого герцога де Пралена, которому тогда минуло 22 года и который признавался представителем одного из знаменитейших имён Франции, женить на долженствовавшей выйти из коллегиума семнадцатилетней княжне Владимирской-Зацепиной, как на девушке, происхождение которой весьма легко могло предоставить ей политическое значение.

Он рассуждал так. «Родовое имя княжны принадлежит династии, 750 лет управлявшей Россией. Теперь, по родству, она родная племянница покойной императрицы Анны. Правда, в настоящее время царствует дочь Петра Великого, стало быть, престолонаследие укрепляется за другой, младшей линией дома Романовых, составляющей потомство Петра. Но, во-первых, потомство это раз уже было отстранено от престолонаследия сове-

том вельмож; а во-вторых, всё оно заключается только в двух дочерях, из коих одна уже умерла, оставив после себя только одного сына, а другая, по крайней мере в виду света, остаётся девицей. Стало быть, весь вопрос заключается в молодом принце, о котором говорят мало хорошего. Говорят, что он не любим народом и что, впрочем, и сам он, этот принц, не любит и презирает русский народ, гордясь своим немецким происхождением. Как истинный кнехт, — рассказывают про него, — он не может представить себе ничего выше немецкого капрала, который рассчитывает, что если ему за неисправность часового дали 12 фухтелей, то по смене этого часового он должен отпустить ему по крайности восемнадцать, на том основании, что, во-первых, полученные им, капралом, фухтеля дороже солдатских, а у него кожа капральская, а не солдатская; во-вторых, потому что он не передаточная машина какая-нибудь, а настоящий немецкий капрал и если он из-за неисправности этой шельмы часового терпел, то должен заставить терпеть его с процентами.

«Такой принц, — рассуждал про себя Фла-

вио д'Аржанто, — с такими понятиями, правилами, идеалами не может приобрести народную любовь, не может вызвать симпатию. А при таком положении весьма легко престолонаследие опять перейдёт к старшей линии дома Романовых, потомству старшего брата Петра, Ивана Алексеевича. Правда, представителем этой линии должен быть признан император, уже объявленный: принц Иванушка, как его называют русские, сын принца Антона Брауншвейгского. Но, во-первых, где он и жив ли ещё? А если и жив, то, воспитанный в каменном мешке, как называют русские свои страшные тюрьмы, может ли он быть способен к царствованию? А если нет, то единственная и последняя отрасль династии Романовых будет она, княжна Владимирская, родная племянница царицы Анны и внука царя Ивана Алексеевича».

«Положим, — рассуждал отец Флавио, — что нынешний наследник, великий князь, сойдётся с народом; положим, что у него могут быть дети; положим, наконец, что и Иванушка выйдет из мешка вполне способным и любимым; но какова гроза-то на всех у нас бу-

дет в руках? Прямая наследница! Недовольные всегда есть и будут! У нас всегда в руках есть средство разжечь их недовольство, а опора ему будет. Прямая и законная наследница. Это будет далеко потвёрже, чем спасшийся будто чудом от убийства царевич; а и с царевичем мы таки наделали дел; теперь, пожалуй, поведём эти дела удачнее... Опять и то, — рассуждал про себя иезуит, — малолетний император Иоанн V, разумеется, возбуждает к себе жалость; но его никто не видел, никто не знает, затем никто о нём и не думает. Другое дело — редкая красавица, умная, сдержанная, воспитанная... Одно жаль — не знает по-русски; но что делать? В условии воспитания получение денег особо ставилось незнание русского языка. Теперь воспитание кончено, и она может заняться им; это прежде всего. Да теперь, впрочем, в России уже многие говорят по-немецки и по-французски, так что незнание ею русского языка едва ли будет препятствием к получению ею партии преобладающего значения. А тогда, тогда?»

Флавио д'Аржанто думал обо всём этом не один месяц; наконец, решился написать свое-

му бывшему питомцу князю Петру Никитичу Трубецкому, сыну Никиты Юрьевича, шифрованное письмо тем ключом, который ему когда-то показывал. Пётр Никитич был ещё молод, но по лестнице чинов шёл быстро. Уже капитан гвардии, камергер и член юстиц-коллегии. Скоро, надобно полагать, при покровительстве батюшки, сделают его и сенатором. Отец Флавио жил в доме Трубецких около трёх лет для обучения целого пансиона из детей Трубецкого от его двух жён, пасынков и взятых им племянников и мог рассчитывать на некоторое к себе внимание не только детей, но и отца, самого Никиты Юрьевича.

Пётр Никитич показал, разумеется, письмо иезуита отцу и по его совету отвечал не шифром, а просто по-французски, но отвечал так, что, как говорил отец, «комару негде было подточить носа».

Иезуит понял интригана, и между ними началась переписка самая простая, самая невинная, как между учителем и учеником, его уважающим. В ответах Петра Никитича, разумеется, была заметна рука Никиты Юрьевича; но иезуит и вида не подавал, что он по-

дозревает, что письма его читаются не одним только его учеником.

Вот на основании этой-то переписки Флавио и составил свой план. По этому плану, сама не зная того, наша княжна Анастасия-Елизавета попала в отель герцогини Прален. По этому плану к ней в покровительницы, или дуэньи, назначена вдова генерала из старинной хорошей фамилии Мария де Куртней; по этому плану обстановка, жизнь и отношения русской княжны Владимирской начались так прилично, так роскошно и так нравственно, по крайней мере с внешней стороны, что благодаря усердному распространению слухов отцами иезуитами тогдашний Париж мог только разевать рот. Притом же нельзя было не заметить, что всё это обходилось княжне относительно столь дёшево, что нельзя было и думать, что княжна может захотеть что-нибудь переменить...

— Разумеется, ваша светлость, — десять миллионов франков не Бог знает какое состояние, — говорил абат Флавио д'Аржанто герцогине де Прален. — Но я вам докладываю, что состояние это более чем удесятирится при

выполнении некоторых условий, в завещании прописанных. Условия эти легко могут быть изменены. В России, при надлежащих хлопотах, всё может быть изменено. А тогда состояние это будет именно состояние царское. Более ста пятнадцати миллионов франков, дающих при высоком проценте на капитал в России более десяти миллионов франков дохода. Покажите мне на немецкого государя, который имел бы такой доход без обязанности нести соответственный расход. Это положительно царское состояние, герцогиня!

— Это так! — отвечала лениво старая герцогиня. — Но я как-то не верю в эти отдалённые богатства на концах света; не люблю я ни американских, ни индейских, ни русских приданых. Очень верю, что они существуют; но как-то, знаете, для глаза невидимы, так поневоле сомнительны. А герцог де Прален такое имя... К тому же вы говорите, что ещё нужно устранить условия...

— Наш орден, ваша светлость, распространяет своё влияние в целом мире, поэтому он ближе всего может ознакомиться, чему можно верить и что представляется одним

миражем. Ваш внук, герцог, многолюбивый и верный сын церкви, поэтому не может не быть предметом заботы её преданнейших служителей, и они не могут допустить, чтобы он мог подвергнуться обману. Здесь в рассуждении состояния обмана нет. Но я веду свою речь, ваша светлость, не собственно о состоянии. Высшие интересы слишком важны, чтобы им можно было предпочитать даже сотню миллионов. Княжна, не считая убогих, больных и неразвитых принцев, из коих один заперт где-то, как говорят, в каменном мешке, а другой хотя и объявлен наследником, но, видимо, не способен не только царствовать, но и свободно располагать своей волей, причём его поступки до того дики, что могут признаны невменяемыми, — за этими принцами она остаётся единственной представительницей царствующего дома Романовых, прямой наследницей русского престола.

— Что такое? — переспросила старая честолюбивая герцогиня. — Как наследницей?

— Так, престол может достаться ей по наследству. В России женщины не отстраняются от престолонаследия, а она единственная

представительница...

— И вы думаете, что она может быть русской императрицей?

При этих словах герцогиня даже вздрогнула. Честолюбивые стремления рисовали уже перед ней её внука в короне и порфире, рисовали владетелем четырёх царств.

— Да! Она приходится родной племянницей царствовавшей перед тем государыни Анны Иоанновны. Притом родовое имя князей Владимирских-Зацепиных составляет одну из старших линий прежней династии царей московского дома. А вы знаете, герцогиня, Божья воля высказывается в происхождении. К тому же русские весьма привязаны к своей старине. Одно имя Владимира Равноапостольного Мономаха приводит их в восторг, хотя по бывшим тогда беспорядкам они должны были поручить себя татарскому царевичу и родоначальнику нынешней династии...

Невежественный француз думал, что Владимир Равноапостольный и Владимир Мономах были одно лицо, что они оба были цари московского дома, что династия эта прекратилась избранием татарского царевича Бориса

Годунова, потомство которого и царствует до сих пор, несмотря на своё будто бы китайское происхождение.

Видно, что француз врал без милосердия; но, разумеется, не герцогине де Прален было указывать ему на исторические несообразности. Она, напротив, с удивлением думала: «Как эти люди всё знают!» — и слушала его чуть не с благоговением.

— Теперь, — продолжал хитрый иезуит, — пути Божии неисповедимы. Если волей Промысла, при содействии всех сил нашего ордена, светлейшая княжна Владимирская, как представительница обеих династий, займёт место на прародительском престоле своих предков, то, может быть, на неё и её благочестивого супруга будет возложен тот великий подвиг воссоединения церквей, который привлечёт к стопам святейшего отца миллионы верующих, погибающих теперь в схиме, и спасёт таким образом целые страны от гибели. Какое величие, какая заслуга перед Господом! Герцог Прален, руководя царствующей государыней как супруг и истинно верующий, приведёт к умилению сердца её поддан-

ных и будет родоначальником новой династии великих христианнейших королей Востока, столь же великих, столь же славных, как и наш христианнейший король Запада. Не завиднейшая ли доля как для этой жизни, так и для будущей?..

— Да она, кажется, даже не католичка?..

— Это не имеет значения! Господь Бог избирает различные орудия для достижения своих божественных целей, иногда даже непостижимые нашим слабым человеческим разумом. Княжна если и не просветилась ещё светом истины, то не менее, видимо, способна воспринять благодать, ей ниспосланную. Внимательность её к нашим учениям, её скромность и сдержанность выше всякой похвалы. Весьма может быть, что Господу угодно, чтобы высшая благодать осенила её в то время, когда она своё славное схизматическое имя сольёт с не менее славным, но и любезным для всего католического православия именем герцогов де Прален и когда станет думать о том, чтобы великому роду своему предоставить знаменитость не только царственную, но и духовную... Поверьте, герцогиня, и в сов-

падении условий, и в той случайности, что её воспитание направилось к нашему коллегуму, виден перст Божий, которым указывается великое будущее, великая слава вашему потомству... великая слава имени герцогов Праленов, будущих императоров и царей, будущих просветителей Востока во славу истины...

— Я покоряюсь, святой отец, вашим словам. Верю в премудрость Божию. И если Богу угодно, чтобы мой внук...

— Был велик и славен! — прервал её иезуит. — Был той звездой Востока, которою Бог благословил быть Людовику Святому на Западе, то вручите же судьбу его в руки нашего ордена. Мы озаботимся им, как возлюбленнейшим и дражайшим сыном церкви, соединяя его с неверной пока, но обращаемой уже на истинную стезю нашей приёмной дочерью, близкое, хотя и тайное обращение которой будет приятнейшим приношением небу...

Но, останавливаясь на объяснениях и предположениях ловкого иезуита, закружившего славлюбивую голову старой герцогини де Прален, мы должны от себя сказать, что

предположения его были крайне ошибочны. Княжна Владимирская, по своей молодости, сдержанности и осторожности, действительно всегда внимательно слушала наставления отцов иезуитов, к которым чувствовала глубокую благодарность за воспитание, тем более что в продолжение этого воспитания они обходились с ней очень мягко и сдержанно, но вместе с тем она стояла твёрдо на своей религиозной почве полного и истинного православия. Правда, она не спорила и редко вставляла даже своё замечание; но, во-первых, спор был не в её натуре. Воспитанная вне семьи, она любила обдумывать свои слова и прежде всегда спрашивала, к чему поведёт, если я стану доказывать им то. или то? Во-вторых, замечания её, если когда она и решалась их вставить, всегда произносились весьма мягко, будто вскользь, и хотя заключали в себе иногда столько меткости, а подчас даже и насмешки, что должны бы наводить на мысль, что обращение её не так легко, как могла думать иезуитская самонадеянность, — тем не менее эти замечания казались такими случайными, что отцы иезуиты могли легко

относить их к молодости и необдуманности. Афонский монах, грек, преподававший ей закон Божий, был человек умный и, зная, какому влиянию подвергнется его ученица, сумел против этого влияния снабдить её достаточно сильным оружием. Так, однажды, когда отец Флавио объяснил ей о передаваемой волей Божией святейшему отцу безгрешности, она вдруг спросила: а что, если несмотря на святость свою, он вдруг согрешит, например, увлечётся мезтью, злобой или другим чувством, останется ли он и после того безгрешным?

Но что было правда, то правда. Она увлекалась весьма часто внушениями иезуитов, но в каком смысле? В том, когда иезуиты старались ей представить, что она имеет высшее предназначение, что её судьба — свершение великих подвигов, направленных ко благу человечества. Этих внушений она заслушивалась. И это естественно. Она ещё была молода, а кто же, будучи молод, не полагал себя в числе избранников, предназначенных к чему-то высшему, к чему-то особому, в чём скрывается благо человечества?.. А княжне

было 18 лет. Она была красавица и совершенно независима. Обеспеченное состояние, общий за нею уход и встречаемая всюду предупредительность невольным образом поддерживали и укрепляли в ней мысль, что она не то, что другие; что у неё другое предназначение, другая цель; что она должна быть выше того, чем могут быть заняты и отягчены другие. Удивительно ли, что при таком настроении княжна внимательно слушала иезуитские объяснения о своём высшем предназначении. Только слушая отца Флавио и других его сподручников, она думала совершенно иное, что предполагали они. Они думали, что наведут её на мысль стремления к соединению церквей на лоне католического признания непогрешимости святейшего отца; а она думала о том, что проникнет и раскроет те тайны разумности, тот источник правды, которые помогут ей открыть в человеческой жизни истинный путь к достижению общего счастья и благоденствия.

Самым частым гостем в её гостиной был, разумеется по тому же влиянию иезуитов и под покровительством разыгрывающей роль

старшей хозяйки мадам Куртней, двадцатидвухлетний пэр Франции, герцог де Прален.

Молодой герцог был совершеннейший тип знатной французской молодёжи того времени. Нахватавшийся вершков в образовании, умеющий остро и красно говорить обо всём, но не знакомый ровно ни с чем основательно; прочитавший новую Элоизу и начавший Эмиля, но бросивший его потому, что он показался ему весьма скучным; запомнивший несколько скандальных стихов из Орлеанской девственницы, но не осиливший прочтением даже её до конца, — он был именно петиметр и ничего более как петиметр, завитый, напомаженный, раздушенный, готовый во всякую минуту драться насмерть и распевать памфлеты на дуэлистов, толковать о естественных правах человека и в то же время давить своих вассалов правами охоты; он был блестящий болтун, остряк, не верующий, казалось, ни во что святое, а боящийся остаться в тёмной комнате или ступить с постели левой ногой и каждую неделю по часу проводящий в исповедальне у своего духовника. Хотя герцогиня, его бабка, называла его ещё

совсем ребёнком, чуть не дитятей, но он уже был известен двумя скандальными похождениями, в которых его роль, даже в тогдашнее время общего разврата, нельзя было признать блестящей. В одном он увёз жену у какого-то чиновника и, прожив с ней неделю, привёз к мужу обратно, предложив ему на выбор или драться с ним на шпагах, или получить семь тысяч франков, с тем чтобы не укорять уже жену её поступком, а забыть о нём. Муж, какой-то клерк, думавший с ужасом о тех господах, которые вдруг ни с того ни с сего ныряют друг в друга шпагами, разумеется, выбрал последнее. Тогда он, подавая билет в десять тысяч, заявил, что он сдачи не берёт, а продержит зато у себя его жену ещё три дня.

Другое похождение было ещё скандальнее. Узнав, что одного мужа часто по ночам не бывало дома и он возвращался иногда домой часу в пятом утра, он подкупил людей и пришёл к жене, под видом мужа, в его халате и туфлях. Обманутая женщина, не подозревая обмана, рассыпалась в упрёках и жалобах на позднее возвращение домой, тем не менее от-

далась вполне его мужниным правам. Вдруг в минуту его самых нежных ласк раздался сильный хозяйский звонок. И знатный проходимец должен был уносить ноги и прятаться в каком-то чулане, оставив обманутую им жертву в полном недоумении...

Зато с внешней стороны, нечего говорить, он был безукоризнен. Он был ловок, красив, вечно в д'алансонских кружевах и бриллиантах, в богатом мундире герцога и пэра Франции. Любезный, весёлый, он производил впечатление и, по расчёту иезуитов, весьма легко мог увлечь такую ещё неопытную монастырку, каковой была княжна Владимирская.

Кроме герцога, бывали ещё у мадам Куртней две-три дамы, принадлежавшие к клерикально-аристократическому свету, с дочерьми и племянницами, да два-три товарища молодого Пралена, не пользовавшиеся, впрочем, столь блестящим положением, как он, поэтому безмолвно уступавшие ему дорогу; бывали ещё два-три сановника, один писатель, из самых, впрочем, благонамеренных; тем не менее вечера и приёмы, организованные мадам де Куртней, были весьма приятны. Блестя-

ций, полный любезности, а иногда и мысли разговор, лёгкое занятие музыкой, иногда пропетый художественно романс, затем лёгкий, но хороший ужин с бокалом шампанского делали вообще салон княжны весьма привлекательным, хотя он и не принадлежал к числу тех блестящих салонов, о которых тогда много говорилось и писалось.

Во всяком случае, княжна Владимирская не скучала. Правда, серьёзное настроение её ума скорее скользило по всей этой лёгкой болтовне, которую её кругом осыпали, чем принимало в ней участие; но самое это серьёзное настроение давало пищу для движения её мысли. Она любила чтение и начала учиться русскому языку. Чтение, которое в то время почти исключительно обращалось в сфере понятий энциклопедистов, разумеется, было бы проклято отцами иезуитами, если бы они могли о нём знать. Но им и в голову не приходило, что их питомица живёт давно уже своей жизнью, думает по-своему, совершенно вне того круга, который подчинялся влиянию мадам де Куртней. Английский язык и английская литература давали ей ис-

ход из того круговорота, в котором обращалась тогдашняя жизнь французского высшего общества.

Это происходило именно тогда, когда английские колонии в Америке, оскорблённые парламентом своей метрополиии за произвольное наложение на них гербовой пошлины, прислали своё посольство ходатайствовать об отмене этой меры как несправедливой. Посольство это, представив своё прошение, в ожидании разрешения, из любопытства ли, а может быть, и с расчётом, в видах подготовки себе почвы на случай могущего быть столкновения, вздумало посетить Париж.

Посольство находилось под главенством известного уже повсеместно Вениамина Франклина, учёной знаменитости, естествоиспытателя, философа, которым, по справедливости, новый свет мог гордиться.

Прибытие этого посольства перевернуло вверх дном все понятия парижского общества. Перед ним вдруг явились не завитые и напудренные петиметры, не раззолоченные и разукрашенные куклы, с вечной болтовнёй и

любезностями, — перед ним явились просто люди, люди как их создал Господь Бог, с разумом, душой и чувством.

В чёрном простом платье, без всяких прикрас, с речью, полной искренности и убеждения, разумности и сознания человеческого достоинства, но далеко не щеголяющей ни остроумием, ни каламбурами, они показались Парижу столь новыми и оригинальными, что вся знать Парижа захотела их видеть, с ними говорить.

Во главе всех, разумеется, представлялся Франклин, семидесятилетний старик с умным лицом, светлым взглядом, густыми седыми волосами, знаменитый своими учёными открытиями, объясняющий всё так просто, так ровно и снисходительно слушающий всякого. Перед тем прогремело имя Франклина как человека, открывшего новую, совершенно непонятную тогда силу природы — электричество. Он, как говорили тогда, благодаря своему открытию подковал гром и молнию. В обществе нередко обращались к Франклину с вопросами по его открытиям, просили разъяснений. Он не отказывался, объяснял, пока-

зывал, делал иногда опыты, обращая изящные салоны болтовни в учёную аудиторию.

Все заслушивались умного старика, который умел соединять философию слова с философией жизни. Впечатление, им производимое, было неизобразимо; оно, можно сказать, осветило собою и его спутников, которые, впрочем, каждый со своей стороны были замечательны.

За Франклином следовал Дин, сухой мужчина средних лет, но замечательного ума и энергии. Он был тем, кого в настоящее время назвали бы представителем отрицания. Он отрицал всё, что во французском обществе того времени считалось несомненным кодексом жизни, как бы данным самим Провидением. Начиная с католической святости папы и кончая выражением воли Провидения в происхождении, всё подвергалось едким нападкам Дина, силе его сарказма. Но его нападки были так метки, так умны, что герцоги сами смеялись над тем, что, как они ни богаты, всё же не могут достать себе яйца лучше того, какое ест простая коровница, получив его прямо от курицы. Впрочем, французское об-

щество, и особенно аристократическое, в то время, можно сказать, питалось отрицаниями. Вольтер был его идол, которому поклонялись короли. Оно как бы предрекало себе будущие свои отрицания в зале *потерянных шагов*. Правда, оно скорей болтало, чем думало. Но, может быть, поэтому-то резкие выходки Дина и останавливали на себе его особое внимание.

За Дином следовал молодой Ли, личность в свою очередь замечательная. Он был очень хорош собой. Среднего роста, но редкой стройности и ловкости, смугловатый, с чёрными как смоль волосами и глубокими, блестящими чёрными глазами, молодой Ли останавливал на себе внимание уже самым своим видом. Прибавьте к этому необыкновенную сдержанность, необыкновенное уважение к своему слову и чувству, и притом речь — живую, простую, энергическую, и перед вами явится молодой Ли — американский красавец, в каждом слове которого было видно желание добра, свободы, разумности всему существующему — желание, высказываемое со всей энергией, но и с американской скромно-

стью и простотой. Вообще, Ли был молчалив, но когда он говорил, то заставлял себя заслушиваться, сколько теплоты было в его слове, столько было в нём задушевности и силы.

Княжна увлеклась рассказами о посольстве, нашла случай пригласить их к себе и сразу оценила Ли. Его искренность и добросердечность, столь противоположные пети-метрству, её очаровали. Его мнения показали ей столь оригинальными, что возбудили любопытство. Она невольно захотела познакомиться ближе, захотела узнать. А это, естественно, вело к сближению, разъяснению, рассказу... Ли, разумеется, охотно разъяснял, описывая и источник своих взглядов и мнений — американскую жизнь, столь не похожую на жизнь тогдашней Франции.

Он описывал борьбу с природой, с краснокожими, объяснял труд, равенство перед законом, силу самоуправления; он говорил о взаимных отношениях, простоте жизни; пионерстве цивилизации. Все заслушивались его с удовольствием. Французскому обществу казалось, что оно вновь открыло Америку.

Герцог де Прален, который до того, несмот-

ря на все внушения иезуитов, относился к княжне довольно легкомысленно, хотя нельзя было сказать, чтобы она ему не нравилась, в это время вдруг совершенно влюбился в неё.

Ему начало казаться, что краше её и в мире нет, что она единственная девица, которую достойно почтить титулом герцогини де Пра-лен. Но самая страсть и страстность молодого герцога при тогдашней сентиментальности и фразёрстве, которой он подражал, ставили его перед княжной в весьма невыгодное положение. Во-первых, он напоминал ей её кузена Андрея Васильевича, с той только разницей, что в том она видела самобытность, видела нечто своё, характерное и самостоятельное, а в герцоге не видела ровно ничего, что сколько-нибудь отличало бы его от других. Она видела в нём только куклу, только манекен, копию с сотни других петиметров, с тем же поворотом головы, той же манерой говорить, даже теми словами и движениями, которые она видит у всех. Подражание его в costume, в манере говорить, даже во многих приёмах герцогу д'Эгриньону, добившемуся впослед-

ствии своей светскостью и ловкостью звания первого министра и первого любимца короля и ставшему действительно вельможей, заставили её прозвать Пралена обезьяной. Когда же она привыкла называть его про себя этим именем, то, несмотря на то что герцог Прален был вообще красивый молодой человек, он начал представляться ей чуть ли не действительно похожим на обезьяну.

«Какая разница этот американец, этот Ли, без блесков, без расшитых кафтанов и кружев, но с разумным словом. Он человек, и прямо видно, что человек. Слушать его и приятно, и полезно. Он не каламбурит, не заставляет задумываться над игрой слов, а говорит серьёзно, умно; всё сказанное им заключает мысль, заслуживает изучения. Но прав ли он, отвергая род? Едва ли! Что такое род? Уважение, заслуженное предками и передаваемое ими преемственно потомству... А если потомство не заслуживает уважения? Правда, это может быть! Но всё же кажется, я не могу сделаться тем, чем какая-нибудь торговка, которая, вот описывают, спрятала своего ребёнка в какое-то тряпье, и он оттого задохнулся. Ну

разве это можно? Разве это простительно? Разве нельзя было положить его в люльку, а чтобы он не озяб, завернуть в одеяло. Теперь же превосходные люльки с постелькой и одеяльцем продаются так дёшево, всего за триста франков».

Так рассуждала княжна, рассуждала ещё почти по-детски и слушала Ли.

— Если вы говорите, что у вас ничего не значит, кто был отец человека и что все люди равны, то кто же у вас управляет провинциями, охраняет порядок, производит расчисление податей и делает всё то, что делают у нас губернатор? префекты и вообще начальство под разными наименованиями?

— То же начальство, но по выбору народа, который признается единственно самодержавным и великим повелителем всего. Державство народа исходит из мысли, что и государство, как и всякое общество, есть народ. Для чего образуется государство? Для общей самозащиты, для общей устроенности. Ясно, что и самозащита и устройство должна быть предоставлены народу.

Сближение её с Ли кончилось тем, что в

один день княжна вдруг заявила отцу Флавио, что она едет в Америку.

У того, разумеется, вытянулась физиономия.

Но она не обратила на это ни малейшего внимания, высказав, что её покойный отец, присылая свои 5 миллионов франков, заявил, что он не желает, чтобы она вмешивалась в политику, и что она хочет в точности выполнить эту волю отца, почему и сходит с политической арены света, отказываясь и от рода и от имени.

— Правда, — прибавила она, — мой двоюродный брат, умирая, в противоположность своему собственному заявлению, хотел заставить меня вступить в права рода словами и условиями своего завещания, но я этого завещания не приняла, условия его игнорирую, признавая совершенно для себя достаточными те 10 миллионов франков, которые мне оставлены, и не желая ничего большего.

Для бедной страны, какова была в то время Северная Америка, действительно сумма в 10 миллионов франков была громадная, и княжна имела полное право думать, что она мо-

жет, не стесняя себя ничем, воспользоваться своей свободой.

Это было ещё за несколько лет до того, как в помощь вооружившейся Америке маркиз де Лафайет вооружил на свой счёт корабли и снарядил значительный отряд войска; но так как первое фактическое заявление сочувствия возникающей Америке было со стороны княжны, то оно вызвало чрезвычайно тёплый ответ со стороны всех американцев. Сам Франклин благословил нашу княжну, а Ли отправился её сопровождать.

Отцу Флавио пришлось только преклониться перед совершившимся фактом и признать расчёты свои ошибочными, говоря, что перст Божий нашёл её не заслуживающей этой великой роли, для которой она была предназначена, и придумывая способы, которые могли бы его расчёты восстановить.

В это самое время Али-Эметэ, сопровождаемая своим вторым любовником бароном Шенк, под именем госпожи Тремуль приехала в Париж. Там к ней явился её прежний зорившийся любовник Ван Тоуэрс, под именем барона Эбса.

Али-Эметэ сидела, поджав под себя ножки, на мягком, проком диване, покрытом турецкой шалью, и пересыпала бурмицкие зёрна, бирюзу, яхонты и рубины, выломанные из оправы, рассчитывая, что она может за них выручить. Дело в том, что в четыре месяца состояние и нового любовника г-жи Тремуль настолько укоротилось, что, довезя свою подругу до Парижа, он должен был признаться, что у него остаётся одна надежда — продать свой родовой замок в Богемских горах.

— Всё это прекрасно, мой милый, — отвечала ему Эметэ, — но жизнь в Париже требует денег немедленно, денег сейчас. Вот сегодня я думаю ехать в оперу, нужно взять ложу, а денег у меня нет. Да и кучер, ты думаешь, долго станет ездить, не прося денег? Шалишь, мой милый! А не могу же я в своих фижмах, как какая-нибудь торговка, обметать своим шлейфом улицы.

Барон Шенк признался, что у него тоже нет ни одной копейки.

— Впрочем, посмотрим, — сказал он и выворотил свой кошелёк, откуда выпал один проверченный луидор, который никто не

брал за то, что он просверлён, и несколько полуфранковиков и медных су. — Вот моё богатство, — проговорил он, — кроме замка. В четыре месяца в Лондоне мы прожили не более не менее как четыре тысячи фунтов, то есть, по-здешнему, около ста десяти тысяч.

— И прекрасно, что прожили, мой друг, зато было весело! Надеюсь, что ты не раскаиваешься, что эти деньги ты прожил со мной. Ну, к тому же мы и здесь обставили себя несколько, хотя много ещё, очень много нужно. Но что же делать? Теперь думать нечего, поезжай к здешним бриллианщикам — приходится продать свои камни, хоть и жаль. Ну да мы купим их опять, когда будут деньги... вот когда ты продашь свой замок, а пока, пока...

Он ушёл, а она сидела и ждала приезда бриллианщиков, когда ей доложили: барон Эмбс!

— Кто?

— Барон Эмбс!

— Никогда не слыхала такого барона. Кто он такой?

— Он говорит, что ваш старый знакомый.

— Никогда у меня такого знакомого не было. Ну, зови!

Вошёл Ван Тоуэрс.

— А, это ты, мой мордашка, — вскрикнула Али-Эметэ, обрадовавшись, — а тут докладывают о каком-то глупом бароне Жемс или Джемс.

— Я называюсь барон Эмбс. Ты не забыла меня, Али?

— Глупый, да разве я могу тебя забыть? Ты у меня первый, самый дорогой...

— А я слышал, что ты выбрала себе другого.

— Какой ты, да разве меня от того убыло? Подойди ко мне поближе, дай себя поцеловать! — И она приподнялась на коленях, охватила его шею и горячо начала целовать. Ван Тоуэрс позабыл все свои ревнивые мысли, забыл все упрёки, которыми полагал осыпать свою Али-Эметэ.

Через четверть часа он сидел с ней нежно рядом, на диване, и обсуждал настоящее положение дел.

— У него нет ничего более, как богемский замок! говорила она.

— Скверно! — ответил Ван Тоуэрс, или барон Эмбс, целуя её щёку. — Я думал, что если ты выберешь себе кого-нибудь, то выберешь побогаче!

— В четыре месяца в Лондоне мы прожили более четырёх тысяч фунтов!

— То есть по тысяче с лишком фунтов на месяц, недурно! Это хоть бы и со мною. Но что же делать теперь? На бриллианты долго не проживёшь. Разумеется, за них было заплачено дорого, но теперь не выручишь и трети цены.

— Но всё же, я думаю, тысяч двадцать пять франков я получу! Ведь это только цветные камни, бриллиантов я ещё не трогала, а у меня есть довольно крупные, — припомни, ты мне их дарил.

— Ну что такое 25 тысяч франков — месяц жизни! Когда ты в Лондоне проживала тысячу фунтов, то здесь Париж представляет побольше развлечений и побольше способов промотаться. Да бриллианты тебе и самой будут нужны. Обидно будет, если этим чудным глазкам с косинкой и с поволокой, от которой я с ума сходил и схожу, не будет на головке

соперницы, моей фероньерки, которую, по справедливости, называют шахскою! За одну эту фероньерку я заплатил тогда 10 тысяч талеров, а 10 тысяч теперь едва ли выручишь за все бриллианты. Это не моё дело. Вот что лучше, по-моему. У твоего друга в Богемии есть замок. Чего он стоит? Тысяч триста — четыреста австрийских гульденов. Мы обратим этот замок в векселя. Там пускай замок продают, а пока мы под векселя достанем деньги. Выгода будет та, что денег будет не какие-то несчастные 25 или 30 тысяч франков, так как за векселя, обеспеченные замком, мы выручим на франки тысяч триста. Как ни мотай, тебе всё месяцев на десять хватит, и ты останешься с бриллиантами. А в десять месяцев мало ли что может случиться? Пожалуй, и опять дядюшка покажется, а то он совсем забыл.

— Да, странно, после щедрого воспитания и назначения круглой суммы на выход, вдруг приходят раза два ничтожные деньги — и конец. Нужно бы узнать, допытаться. Всего бы лучше съездить в Персию.

— Чтобы попасть там в гарем; хорошо как к паше, а пожалуй, к какому-нибудь мел-

кому торговцу, и сидеть целую жизнь взаперти. Ну, по-моему, глупее ничего нельзя выдумать!

— Признаюсь, и я боюсь, но...

— Ничего не «но»; вот сперва поживём за счёт замка...

В это время торопливо вбежала горничная.

Ловкая французская субретка того времени, заметив, что её барыня хотя и заявила, что вовсе не знает барона Эмбса, однако приняла его весьма нежно, вбежала, чтобы предупредить, что барон Шенк воротился и уже поднимается по лестнице. Она полагала, разумеется, что её барыня или удалит прибывшего пришельца, или, по крайней мере, заставит его принять более приличное положение.

Но Али-Эметэ не подумала пошевелинуться; напротив, она даже ближе подвинулась на диване и крепче обхватила голову Ван Тоуэрсса.

— Пусть войдёт! — сказала она.

— Ну, друг, что нового? — спросила она, обнимая Ван Тоуэрсса, когда барон Шенк, совершенно поражённый представившейся ему картиной, будто окаменелый стоял в дверях.

— Бриллианщик будет завтра, — отвечал Шенк, — впрочем, сегодня я достал 5 тысяч франков под залог моей цепи.

— Милый, милый, иди и поцелуй меня! Вот рекомендую, тоже друг мой, Ван Тоуэрс, теперь барон Эмбс, о котором я столько раз тебе говорила. Если вы меня любите, то должны быть дружны!

Бароны Эмбс и Шенк оба смотрели друг на друга, выпучив глаза, как два петуха, которых, кормя в темноте крапивным семенем недели полторы, вдруг выпустили перед молодой курицей.

— Куда ж ты? Садись ближе! — сказала она Ван Тоуэрсу. — Кажется, мы слишком знакомы друг с другом, чтобы ещё церемониться. А ты, — продолжала она, обращаясь к Шенку, — что же меня не поцелуешь и не садишься подле?

И она протянула к нему свою милую головку, которую Шенк, как ни крепился, не мог не поцеловать.

Она обняла его другой рукой и посадила подле себя.

— Ну вот, друзья мои, — начала она, — я

это говорю, потому что вы действительно мои единственные и истинные друзья, вы оба знаете моё положение, поэтому я и прошу совета и помощи. Что делать?

Ван Тоуэрс начал излагать свой вексельный план. Шенк безмолвно соглашался, охватываемый лаской и приветом Али-Эметэ, которая в заключение поцеловала и Ван Тоуэрса.

— Ты у меня гений, я всегда это говорила. Гений решительно! Нам бы и в голову не пришло. Где же ты живёшь в Париже?

Ван Тоуэрс сказал ей адрес.

— Я бы просила тебя переехать ко мне, да в Париже говорят — это неловко, особенно при небольшом помещении, которое я должна была занять. Он тоже не живёт у меня. Расположился здесь, поблизости. Но я надеюсь, что вы у меня ежедневные гости, только с тем чтобы не ссориться. Как хотите, друзья, а я терпеть не могу ссор!

III

СРЕДИ СТЕПЕЙ И ДЕВСТВЕННЫХ ЛЕСОВ

В это время княжна Владимирская на прекрасном морском купеческом судне плыла по волнам океана.

Путешествие шло благополучно, хотя, разумеется, имели место разные случаи из морской жизни, которые, нисколько не смущая моряков, беспокоили тех, которые видели море в первый раз.

Шквалы, ветры, мёртвый штиль, ураганы, смерчи, столь привычные в жизни моряка, для княжны казались не только ужасными, но даже роковыми, особенно при сильной качке, от которой у неё кружилась голова и она чувствовала симптомы начинавшейся морской болезни.

Но в эти трудные для неё минуты подле неё был друг, опора, надежда. Он успокаивал её, занимал, развлекал. Молодой Ли был хороший моряк; качка не оказывала на него ни

малейшего влияния. А так как в качестве пассажира он не был занят ничем, то и мог всё своё время посвящать сопровождаемой им спутнице.

Княжне, незнакомой вовсе с морской жизнью и обычаями, приходилось обращаться к нему непрерывно. Она поневоле должна была просить то его разъяснений, то помощи.

Они были почти неразлучны. Беспрерывное обращение одной к другому, естественно, вызвало между ними взаимную короткость, тем более близкую, что Ли, помогая и содействуя княжне во всём, нередко должен был принимать на себя некоторые обязанности её горничной, так как поехавшая с ней француженка, при даже небольшой качке, лежала, как говорят, ничком.

Но княжна была настолько неопытна и настолько доверчива, что даже не замечала неловкости своего положения. Ей и в голову не приходило, что из этого может что-нибудь произойти. Она думала: «Что ж? Ведь я люблю его, я его невеста, стало быть, ни в моём обращении к нему, ни в его услугах мне не может быть ничего странного, ничего нелов-

кого. Я сама готова была бы ему всячески услужить, если бы морская болезнь не лишила меня последних сил». Скажут — монастырская неопытность, непонимание действительной жизни! Да! Но никакая монастырская неопытность, никакое непонимание не спасли бы её от обольщения, а может быть, и разврата, если бы с ней ехал, например, герцог Прален...

Но молодой Ли, американец-стойк, с твёрдыми убеждениями и правилами, был слишком далёк от того, чтобы воспользоваться неопытностью и наивностью девушки, отдавшей под его покровительство. Он считал обязанностью своей чести доставить невесту в дом своей матери в том самом виде, в каком она ему вверилась, не разбивая её иллюзий девственности и чистоты. Ни одним намёком, ни одним взглядом он не дал повода думать, что она может сколько-нибудь опасаться его, хотя этот подвиг, эта победа над самим собой в иные часы стоили ему дорого.

Случалось, что взгляд на неё доводил его до апогея страсти, доводил до исступления. Ему иногда казалось, что он стораёт от силы

представлений своего воображения. Он доходил в них до галлюцинаций, до самозабвения, особенно когда она, неопытная и любящая, в порыве благодарности и чувства, видя в нём друга и опору, инстинктивно обращалась к нему с нежностью и когда, под влиянием непонимаемых ею желаний, её ясные, холодные глазки бессознательно для неё самой сверкали особенным блеском, а розовые горячие губки млели в томлении...

И всё это было в тесной каюте купеческого корабля, в удалении от целого мира, под покровом взаимной и страстной любви...

Но Ли пересилил себя. Несмотря на свои 25 лет, крепкое телосложение, воздержную жизнь и страстную, охватывавшую всё его существо любовь, он себя выдержал, и они прибыли в Бостон, как два воркующие голубка, между которыми не было и намёка на что-нибудь, что низводило взаимную любовь их на степень материализма. Но любовь их не была и сентиментальностью, не вдавалась в отвлечённость платонизма. Нет, она была сознательна и глубока, она только прикрывалась взаимным уважением к обоюдному чувству.

Оба они стремились друг к другу и душой, и телом, любили друг друга всем существом; оба видели в себе дополнение одного другим; видели друг в друге небо, рай, радость; но оба, смутно чувствуя, что им чего-то недостаёт, говорили себе: «Будет всё, но — в своё время. Ждать этого времени мы должны; это обязанность нашего взаимного друг к другу уважения».

В Бостоне первый раз поразило княжну то равенство отношений, которое обуславливается республиканскими понятиями, столь резко противоположными понятиям тогдашнего французского аристократического общества, среди которых росла и воспитывалась княжна. Она долго, например, не могла смириться с тем, что прислужник или горничная, подав требуемые ею кушанья или напиток, вообще исполнив её желание, вдруг садились подле неё и начинали разговор о новостях, всего чаще о политике, которая в ту минуту в английских колониях в Америке по преимуществу занимала .всех.

Гербовые пошлины, вывозной тариф, обложение акцизом чая составляли тогда интерес

дня даже для трактирного слуги; но они очень смущали княжну, когда обсуждались перед ней именно этим слугой, садившимся рядом с ней, будто в салоне после танцев, когда провожающий свою даму кавалер считает себя обязанным или желает продолжать разговор, начатый им во время танца.

Она сказала об этом жениху.

— Послушай! Ведь ты сама признаешь всех людей равными тебе по человечеству, — отвечал Ли. — Отчего же ты не хочешь допустить в них желания обмена мыслей с тобой?

— Но лакей, горничная...

— Да, но они исполнили перед тобой свою обязанность как лакей или горничная, и исполнили не хуже, чем исполняют их европейские собратья. Вот другое дело, если бы они не сделали своего дела. Ты могла бы жаловаться, была бы вправе сетовать, так как ты платишь за то, чтобы тебе было то или иное подано, то или другое сделано. Но когда этого нет, когда обязанность их к тебе ими выполнена, они равноправные с тобой люди и могут пользоваться всем наравне с тобой. Если этого нет в Европе и если это тебя теперь

даже шокирует, то это потому, что рабство въелось в Европе в плоть и кровь и что, несмотря на напускной либерализм и нынешнее модное фразёрство, там каждый считает себя не тем, что он в действительности есть... Подумай и согласись...

— Думаю и соглашаюсь, хотя признаюсь, что мне нелегко к этому привыкнуть. Со стороны логики ты, несомненно, прав, хотя, хотя... Впрочем, я и сама не знаю, что следует за этим «хотя». Вопрос мне кажется разрешён неверно, потому что разрешение это приводит к одному — к деньгам...

Не могла наша княжна долго привыкнуть ни к позе сидеть с поднятыми ногами, ни ко всеобщему строганию обрубка дерева между делом, ни к отрывочной речи, ни к той общей лихорадочной деятельности, которая, казалось, никому из американцев ни минуты не даёт покоя. Она была совершенно поражена, когда нечаянно увидела, что её идол, друг, надежда, идеал тоже сидит с приятелями и курит, положив ноги на стол. Это было тем естественнее, что Ли во всё время своего путешествия, уважая европейские привычки своей

невесты, никогда не позволял себе никакого нарушения приличий по её европейским понятиям.

Но когда княжна уже достаточно поостригла свой язычок над милыми привычками янки и над представившейся ей изящной картиной, то Ли объяснил ей основания этой общей привычки и доказал, что такая привычка разумна и хороша, потому что, по меньшей мере, способствует скорейшему отдыху ног. Он в тот день обегал более двадцати вёрст по разным делам, вечером ему нужно было сходить ещё довольно далеко — поэтому, естественно, было желать дать ногам своим возможно больший отдых...

Княжна опять должна была согласиться, но опять не могла примириться с обычаем, нарушающим всякое понятие о приличии и изяществе.

— Душа моя, — говорил ей Ли, — ты мечтаешь об изящном этикете европейского общества. Но ведь это общество тунеядцев, другой мой, — общество людей, которые не делают ничего и за стыд почитают себе что-нибудь делать. У нас тунеядцев нет. Всякий работает

изо всех сил, смотря по тому, кто к чему способен; а главное не в том, что работает, но в том, что считает себя обязанным думать, чтобы работа была в прямой разрез общественному устройству Европы, где даже работники о работе не думают. О предоставлении работы даже работникам в Европе заботятся другие и, разумеется, пользуются этим. Отсюда ясно, что параллель между обычаями в Европе и Америке, которую ты проводишь, неверна. Обычай действительных работников, истинных тружеников, в Европе несравненно грубее наших и несравненно более антиизящны, но ты их не видала... Ты хочешь сравнивать снующих от нечего делать и болтающих расфранчённых и раззолоченных петиметров с людьми дела. Согласись, что это не придаёт твоим замечаниям особой точности...

Мать Ли принадлежала к числу переселившихся в Америку по разным обстоятельствам аристократических семейств, и поэтому жизнь у неё в доме не представляла столь резкого отличия против обычной жизни княжны Владимирской в монастыре и в отеле старой герцогини. Жили они в прелестной до-

лине, на берегу чудной реки, в превосходном и здоровом климате.

Аромат девственных лесов, шум падающего невдалеке водопада, свежая, душистая зелень, необыкновенное богатство цветов не могли не занимать и не увлекать княжну, привыкшую к чахлым акациям парижских садов и бледным подражаниям природе в окрестных Парижу дачах. Отца у Ли не было; он умер, когда тот был ещё ребёнком. Устройство дома, порядок жизни и внутренние обычаи были заведены и установлены его матерью и были почти те же, что и обычаи в не особенно богатых семействах Средней Европы. Впрочем, зная Ли в Европе как одного из важных членов посольства, княжна весьма удивилась, когда раз поутру увидела, что он надел на себя кожаный фартук, сам расковал лошадь, запряг её в косулю, или орало, и сам распахал небольшую поляну в саду перед её окном.

Она не могла не высказать ему своего удивления.

— Мы уважаем труд, в чём бы он ни состоял, — отвечал ей Ли. — Хотя моё положение

ние не столько стеснено, чтобы мне было необходимо самому поднимать землю, но я бы стыдился, если бы не умел сделать это. Из полянки, которую я сегодня поднял, хочу устроить для тебя цветник на европейский лад и не считал нужным отвлекать кого-нибудь от другой работы, чтобы сделать то, что мне приятно сделать самому.

Ответ этот затронул её чувство.

— Благодарю, милый, очень благодарю, — отвечала она. — Ты предупреждаешь всякий вопрос мой своей нежностью. Но что же я сделаю для тебя? Поверь, друг мой, что и я, несмотря на все мои, как говорит твоя мать, княжеские привычки, с удовольствием готова бы научиться хоть стирать твоё бельё...

— Ты ничем не обидишь меня больше! — отвечал Ли. — Наша гордость в том, чтобы покоить, беречь, лелеять и уважать любимых нами женщин. Поэтому мы хотим делать для них всё, отстраняя от них даже всякий повод к беспокойству, с тем чтобы у них было собственно одно дело — заботиться о своей красоте для нашего счастья.

— Если я не спорю, то это не значит, что

соглашаюсь! Мне кажется, что совершенное равенство во взаимных отношениях мужчины и женщины и взаимное желание один другому угодить и услужить есть самый верный путь к взаимному счастью. Разумеется, я так ещё слаба и, сознаюсь, так изнежена и избалована, что поневоле должна чаще опираться на тебя, чем служить тебе опорой; но, надеюсь, от тебя зависит заставить меня сбросить все эти навеянные на меня воспитанием недостатки...

— А если я люблю эти недостатки! Люблю тебя такой, какая ты есть, то захочу ли я... Нет, я буду тебя умолять: не исправляйся ради Бога ни от чего... Послушай! Ведь ты не хотела бы, чтобы я был похож на этих изнеженных, расфранчённых господчиков? Если бы ты хотела, то не выбрала бы меня, а предпочла бы хоть этого красавчика воздыхателя Пралена. Но ты хотела видеть в твоём друге мужчину, который... ну, который был бы способен и землю поднять, и в море сходить, и на конгрессе покричать, и с пером повозиться, а придёт нужда, хоть на кулачках подраться. Ну, а если мужчина может и делает всё это, то

удивительно ли, что у него и мозоли на руках будут, и лицо загорит, и голос охрипнет. Неужели ты бы хотела, чтобы я в подруге моей жизни, в дополнении души моей, любил также и мозоли на руках, и грубую, загорелую от работ на солнце кожу, и голос, охрипший от крика и брани. Согласись, что это было бы дико: для меня непременно должно представляться отрадным, когда, возвратясь домой, я буду отдыхать от трудов, держа в своей грубой мозолистой руке твою нежную, мягкую ручку, которая самой своею нежностью даст отраду чувству моего осязания; когда к моей грубой, обросшей бородой щеке прикоснётся твоя очаровательная головка, твоё милое личико и вместо моего сиплого голоса я услышу спетый твоим задушевым голоском романс, который успокоит мои нервы, заставит забыть внешние столкновения, введёт в свои границы разлившуюся желчь и даст отраду — самое высокое счастье домашнего очага. Неужели ты захочешь отказаться дать мне это счастье, хотя бы при помощи тех недостатков, которые, ты говоришь, хочешь бросить?..

Такого рода разговоры не мешали, однако, делу. Ли вместе с матерью и своей невестой поехали в Бостон искать православного священника для выполнения священного обряда.

Тогда Бостон и даже Нью-Йорк, как и другие города Северной Америки, были далеко не столь великолепными городами, каковы они стали теперь. Эти города были городами, скорее, по названию или по тому, что в них помещались или склады провианта, или таможня, или английская крепость, или, наконец, существовали два-три каменных здания, в которых производились суд, соляная продажа, помещалась общественная школа или что-нибудь в этом роде. В сущности же, это было скопление нескольких десятков плантаций, огородов и садов, которые, пользуясь центром местности, расположились здесь по удобству сбыта своих товаров. Для объяснения того, как слаба была тогда Северная Америка, довольно сказать, что восстание тринадцати провинций Англия полагала потушить, кроме ничтожного числа войском своего гарнизона, не превышающего пятнадцати тысяч

человек, наймом 20 тысяч гессенцев, и действительно, она подавила бы его, если бы не встретила железной воли и бесконечного самопожертвования в Вашингтоне, принявшем на себя руководство восстанием, и если бы отвоёвываемая американцами идея свободы не встретила участия и помощи со стороны.

Первое слово деятельного сочувствия восстанию Рыло высказано княжной Владимирской. Она представила своему жениху, с согласия его матери, распорядиться её капиталом, и тот, по настоянию княжны, от своего, а не от её имени, внёс в комитет восстания несколько миллионов франков, с тем чтобы на деньги эти платились только проценты, а капитал же выплатился бы только по устройстве самостоятельного правления. Она настаивала даже, чтобы он отдал все 10 миллионов как жертву её искреннего сочувствия; но практик жизни, американец Ли не допустил этого. Он сказал: «Я верю в будущее Америки, поэтому могу позволить тебе её кредитовать. В подарке же она не нуждается! При том шансы достоверности не дозволяют рисковать всем...»

Княжна, полагаясь вполне на своего жениха, не позволила себе возражать ему.

— Как тебе угодно, мой друг, — сказала она. — Я хотела только выразить, что твоя родина — моё отечество.

Помощь, оказанная княжной, была существенна в высшей степени; она положила начало, на котором основалась потом действительная сила, предоставившая свободу миллионному населению. Но ни жених её, ни она сама о том не думали. Они искренне верили в будущность Америки и готовы были ради этой будущности отдать ей всё. Они больше были заняты поисками православного священника, которого в Америке в то время нелегко было отыскать.

— Странное дело, — говорил Ли, — мы с тобой почти одной веры, ибо одинаково верим в премудрость Божию, спасение человечества силой любви и страданий Его Единородного Сына и одинаково отвергаем возможность святости и непогрешимости живущего человека, в чём хотят уверить католики. Несмотря на то, вот уже более двух месяцев мы не можем найти человека, который благо-

словил бы нас на брачную жизнь.

Наконец священник нашёлся, и ещё какой священник, не грек, а русский, и такой, который собрался ехать в Россию. Правда, священник не говорил ни слова ни по-гречески, ни по-английски, ни по-французски, а княжна, как читатели знают, не говорила по-русски. Но, по счастью, они могли сойтись на почве немецкого языка, и священник мог ей рассказывать о России, её силе, необъятности, богатстве и — увы — вечной неурядице. Княжна дала себе слово учиться русскому языку; а тут будто нарочно прибыл в Америку учитель русского языка, вывезенный из России графом Головкиным, старшим братом графа Михаила Гавриловича, Александром Гавриловичем, бывшим русским резидентом в Голландии и не возвратившимся в Россию при вступлении на престол Елизаветы и начале гонений на Головкиных. Учитель этот, окончив занятия с молодыми Головкиными, не смея также явиться в Россию, решился искать счастья в Америке. Княжна наняла себе старика учителя и продолжала то, что начала ещё под руководством иезуитов, но что пре-

кратилось тогда само собой из-за отъезда её в Америку.

Священник обвенчал их, и началась для них жизнь, полная любви, неги и взаимного счастья. Он любил и дорожил только тем, что любила она; она любила только то, чем дорожил он. Согласие в мыслях, в ощущениях, в образе жизни создавали им обоюдную полноту, обоюдную радость, и они оба именно сами в себе видели рай. Мать Ли, умная, осторожная англичанка, родом из французских протестантов, бежавших от ужасов варфоломеевской ночи и Нантского эдикта, сумела осознать и оценить счастье своих детей, поэтому только любовалась ими, а никак не становилась поперёк их молодых, пылких стремлений. Она посвятила всю себя, чтобы оградить их счастье от всякого внешнего влияния. И они были действительно счастливы, так счастливы, как редко кому удаётся на земле.

У княжны Владимирской, в настоящем мистрис Ли, были дети, сын и дочь. Дети эти были их общим утешением и радостью. Бывшая княжна выучилась уже недурно говорить по-русски; начал говорить по-русски и её муж.

— Меня смущает мысль, кем должны быть мои дети, — говорила она. — Отрицание родовых начал не слишком располагает меня к американскому гражданству; но, вспоминая рассказы венчавшего нас священника, я не очень стою и за русское гражданство. Знаешь, друг, я бы хотела съездить в Россию, чтобы посмотреть...

— Я нисколько не прочь сопровождать тебя, милая, — отвечал муж, — но, разумеется, тогда, когда дела нашего отечества примут сколько-нибудь определённый вид. Но неужели ты и теперь, уже сроднившись с идеями американской жизни, можешь ещё стоять за родовые начала?

— Как же мне не стоять за них, мой милый? — отвечала она. — Все явления жизни даже здесь, в Америке, указывают на них, подтверждают их. Ну подумай, вот теперь вы прославляете Вашингтона, его разумность, сдержанность, самопожертвование. Но чем вы можете наградить его, чем можете, по вашим правилам, выказать ему свою общую, народную благодарность?

— Как чем? Поднесём ему от всего северо-

американского народа почётную шпагу; выберем в президенты; поставим его портрет в зале собраний, статую в народном капитолии, который учредим в память его как спасителя отечества. Улицу, на которой она живёт, самый даже город назовём его именем; определим, чтобы в праздновании дня освобождения постоянно из века в век прославлялось его имя; наконец, соорудим памятник...

— Всё для честолюбия и ничего для чувства! Между тем Вашингтон, может быть, человек вовсе даже и нечестолюбивый. Может быть, самая деятельность его на пользу родного края, его самопожертвование исходит прямо из чувства? А тогда если он в самом деле человек чувства, то, отдавая себя отечеству, он всего более думает о семье. Подумай, милый друг, если бы на твою долю выпало жертвовать собой в этой войне за свободу, то будешь ли ты доволен перспективой статуй, памятников, празднований, когда после тебя остались бы, не говоря обо мне, а вот они, два милых ангела, не обеспеченных в своём положении. По вашим законам, сын Вашингтона, да и сам он говорят, богат, это другое дело; ну

а если бы он не был богат, тогда что же? Подобно Цинциннату — от президентства за плуг и за пашню?

— Ну, уж это слишком; нация обеспечит его пенсией, отводом земли или предоставлением определённой синекуры.

— То есть заслугу оплатит деньгами. Но тогда естественно возникает вопрос: что выгоднее — заслуга ли перед отечеством или забота о своей наживе? И этот вопрос явится насущным для каждого, кто только думает о своей семье.

— Но, друг мой, опять согласись же, что заслуга отца не может и не должна представлять каких-либо особых прав сыну. Само собой разумеется, что если сын будет хорош, то общество скорее возьмётся за него, чем за другого; имя отца будет гарантией его популярности. Но права по происхождению... Эти маркизы, графы, шевалье, которым стоило только родиться, чтобы повелевать... Послушай, это такая аномалия человечества, что, по-моему, о ней грешно даже говорить.

— Сознаюсь только в том, что практическое применение права наследственности со-

здавало столько злоупотреблений, что возбудило общую ненависть против самого права. Но злоупотребления могут быть везде и во всём. Отрицать же право передачи детям части уважения, которое заслужил отец, — значит вызывать поклонение капиталу. А поклонение капиталу, возведение капитала на пьедестал идола, поклонение золотому тельцу, пожалуй, поведёт к таким злоупотреблениям, которые заставят пожалеть о тиранстве рода. Знаешь, нет ничего бессердечнее, ничего злее капитала, когда он в силе и знает, что благодаря этой силе он вне преследования. Я не один раз имела случай в этом убедиться, даже находясь в монастыре, особенно слушая сестру моей первой воспитательницы о делах её умершего мужа. Да и справедливо ли? Вот, положим, Вашингтон трудится, бьётся, ни себя, ни сил своих не жалеет. В то же время, положим, работает кто-нибудь другой, хоть по поставке чего-нибудь армии. Положим, работает честно, но не забывает и себя. А может быть, и нечестно работает, даже снабжает ту и другую армию смотря по тому, которая в данный момент больше платит. Ясно, что Ва-

Шингтон не наживёт и не может нажить ничего. Если он был бедняком, он и умрёт бедняком. А тот, другой, явится богачом, и, может быть, каким ещё богачом, именно представителем капитала. Справедливо ли, если сын Вашингтона должен будет по бедности улицы мостить, а сын нового богача, которого, может быть, и не повесили только потому, что он не попался, будет благодушествовать и наслаждаться, — пожалуй, ещё будет давить бедняка, добывающего себе пропитание трудом?

— Что делать! В делах человеческих...

— Должно быть стремление к справедливости. Если я имею право нажитые моим трудом капиталы передать своим детям, то нужно, чтобы я могла передать им и часть заслуженного моими трудами уважения. В противном случае капитал получит преобладание и, уничтожив род, станет подавлять собой труд. Всё будет принесено в жертву золотому тельцу, всё подавлено бездушным эгоизмом капитала. А такой гнёт, в свою очередь, не может не вызвать ропота, не возбудит протеста со стороны труда. Не забудь, друг мой, что если

род и обижает труд презрением, невниманием, рассеянностью и пустотой, то никогда не давит его сознательно, никогда не допускает умирать с голоду. Абсолютные монархи, не забудь, всегда стоят за народ. Капитал — другое дело, он не презирает, он давит. С поклоном и лаской он готов уморить за грош целую провинцию. Отец Флавио много раз объяснял мне эту сторону вопроса. Он говорил, что с правами рода естественно сближаются и права капитала, и один уравнивает другой. Но когда права рода уничтожаются, а передаётся от отца к сыну только капитал, то в конце концов все начинают стремиться только к наживе, не думая ни о Боге, ни о людях. Я не люблю иезуитских выводов. Они всегда будто недосказывают, будто что-то подразумевают. Но в этом отношении, мне кажется, отец Флавио был прав. Он говорил: пройдёт много ли, мало ли лет, но за уничтожением вопроса о роде возникнет вопрос труда; возникнет, может быть, нелепо, дико, так как никто не изучает и не рассматривает этих отношений с научной точки зрения, никто не посвящает себя их изучению со стороны математически

точного, логического анализа. Все фразёрствуют, а фраза не есть изучение! И вот, — говорил отец Флавио, — рабочий вопрос возникнет непременно и выразится ужасными последствиями, потому что в основе его будет озлобление. В этом, по-моему, иезуит прав. И когда я раздумываю об этом, то очень колеблюсь относительно своих детей.

Должны ли они быть непременно американцами, идеалом которых должен быть только капитал, или отправить их в Россию, где, при небольшом ходатайстве, они получат большие или меньшие родовые права? Хотела бы я, признаюсь, знать, что теперь делается в России.

Но ни рассуждать об этом, ни узнавать нашей бывшей княжне, теперь миссис Ли, не удалось. Практическая жизнь охватила всё семейство и привлекла к себе всё их внимание. Начало войны, несмотря на все усилия Вашингтона, оказалось весьма неудачным. Англичане заняли уже Бостон и двигались вглубь страны. Наш молодой супруг Ли был призван на защиту отечества. За ним последовала и преданная ему супруга, оставив де-

тей на руках бабушки. Положение Вашингтона было ужасное. На него с фронта напирала английская армия, незначительная по силам, но стоявшая высоко по военному искусству, стойкости и хладнокровию. Она была окрылена победой и не сомневалась в том, что раздавит сопротивлявшиеся остатки разбитой и необученной армии восставших. С фланга продвигались гессенцы. Они шли с гордым презрением к восставшим, которых были призваны разбить. Они не знали, да и знать не хотели, за что дерутся, за кого дерутся. И, откормленные, как быки, они шли на верную победу, особенно когда узнали, что начало победы положено и что восставшие уже бегут. А в тылу Вашингтона формировался англичанами вспомогательный Канадский корпус, который должен был отрезать Вашингтону всякое отступление.

Итак, с трёх сторон Вашингтон должен был быть смят, разбит, раздавлен. Ему не было спасения. А в это время собранная милиция, по случаю истечения двенадцатимесячного срока, на который была сформирована, несмотря ни на какие убеждения, разошлась

по домам, оставив своего главнокомандующего с его штабом на произвол судьбы.

Несмотря на полное хладнокровие, совершенное самоотречение и готовность идти на всё, Вашингтон не находил выхода. У него не осталось и 3 тысяч штыков волонтёров, деморализованных поражением, а на него шло пятнадцать тысяч опытного войска англичан, 20 тысяч гессенцев, да 8 тысяч готовилось в тылу. Что тут было делать?

Но благотворность цели, образуемой идеей борьбы за свободу, вызывала общее сочувствие. Сочувствие это обозначалось материальными и нравственными знаками выражения. Волонтёры, желавшие сражаться под поднятым знаменем свободы, являлись беспрерывно; со всех сторон Старого и Нового Света присылались пожертвования, со всех сторон готовилась помощь.

Как в первые минуты, когда, можно сказать, идея вооружённого сопротивления была только в предположении, когда не имелось в виду ещё почти никаких средств, кредит, открытый Ли из капиталов своей невесты, дал первые силы мысли о вооружённом восста-

нии, так и тут вдруг в самую отчаянную минуту явилась неожиданная помощь.

Мысль о борьбе за свободу, вызывавшая к себе полное сочувствие во Франции, особенно смутила молодую, мечтательную голову маркиза де Лафайета, только что получившего громадное наследство после смерти своего отца, одного из первых банкиров Франции. Общая народная ненависть французов к англичанам, унижение Франции, вынужденной заключить перед тем парижский мир, и собственное французам стремление к лихорадочной политической деятельности увлекли молодого человека, и он на свой собственный счёт снарядил восемь небольших кораблей и сформировал отряд в семь тысяч отборного войска. С этим-то отрядом он нежданно-негаданно явился на помощь Вашингтону.

Разумеется, он был принят как спаситель жизни и чести. Да он и действительно спас и жизнь, и честь, даже более, он спас свободу и будущее Северной Америки.

Его отряд от шести до семи тысяч храбрых-французов, превосходно обученных и снаряженных, в соединении с тремя тысяча-

ми волонтеров, которых Вашингтону удалось набрать, помог остановить напор англичан. Фланговое движение спасло Вашингтона от нападения гессенцев, и он мог занять крепкую позицию в ожидании, пока идущие со всех сторон на помощь своему главнокомандующему отряды, между прочим и под начальством Ли, усилят его настолько, что он будет в состоянии начать наступательное движение против соединившихся неприятелей.

Во всё это время миссис Ли следовала за своим мужем, окружая его неусыпными попечениями, образуя около него и среди военных тревог ореол безмятежного и тихого счастья. Её самоотречение, готовность к самопожертвованию, забота о всём и о всех, кто имел к её мужу хоть какое-нибудь отношение, были беспримерны. Всегда весёлая, с живым участием ко всякому страданию, неутомимая в трудах и заботах о муже, она была общей отрадой, общей радостью даже и в то время, когда все находились в сомнении. Муж её чувствовал, что она не только не мешает, но положительно оживляет, восстанавливает его

силы, образует в его груди ту энергию, которая создаёт победу.

Тут только он понял, как глубоки, как сильны эти, казалось, холодные, спокойные глаза, сколько в них могущества, жизни. Он начинал боготворить жену свою, как боготворил её весь его отряд.

Однажды, после сильного аванпостного дела, в котором особенно отличился Ли, напад с фланга на продвигавшегося вперёд неприятеля, привели весьма много пленных. В числе этих пленных наша бывшая княжна, к великому своему изумлению, прочитала имя священника, который её венчал. Что это значит? Каким образом русский священник попал к англичанам? Ведь он уехал тогда в Россию? Она сама его провожала, сама видела его на купеческом корабле, конечная цель плавания которого была Венеция, откуда он рассчитывал через Вену и Варшаву прибыть в Петербург, и вдруг он здесь, в числе пленных англичан. Как это случилось, и был ли он в России?

Священник, разумеется, был обласкан, снабжён всем нужным и приглашён в поме-

щение, занимаемое начальником отряда. Там встретили его мистер и миссис Ли.

Он вспомнил молодую чету, которую благословлял и которая потом так радушно его принимала и ухаживала, помогая во всём, в чём он встречал нужду, возвращаясь в отечество. Он видел, что благословение его привело их к беспредельному счастью, и изумился, что они оба довольно свободно говорили по-русски.

— Каким образом, отец Василий? — вскрикнула миссис Ли, обрадовавшись встрече со священником, когда тот вошёл. — Я верить не хотела, прочитав ваше имя в числе взятых англичан. Ведь вы ехали отсюда с непременным намерением быть в Петербурге и просить всесильного временщика Ивана Ивановича Шувалова перевести вас из вашей епархии. Вы видите, несмотря на столько лет, я ничего не позабыла о России.

— Привёл Бог опять свидеться. Был и в Петербурге, и из епархии перевели, а всё опять сюда попал, матушка княжна или княгиня, теперь не знаю, как и назвать...

— Никак, никак, отец Василий! Я просто

гражданка Великого Северного союза Америки и не хочу быть ничем другим. Какое чудо опять принесло вас к нам?

— Воля Божия, матушка, судьба такая выпала! Сына отыскиваю, вот и попал сюда.

— Как сына? Что такое? Расскажите, отец Василий!

Постойте, я прикажу дать нам чего-нибудь освежающего; не прикажете ли хоть этой травы, из-за которой началась наша война, не прикажете ли чая?

Отец Василий поблагодарил и начал рассказывать.

— Вы помните, матушка, что я хотел просить, чтобы перевели меня из епархии. Ну, меня и перевели, только не в Петербург, куда мне хотелось, а в Малороссию, в Чернигов, а со мной перевели и сына в тамошнюю семинарию. Сынишка у меня был один, да такой шустрый, разумный, латынь всю изучил. Экзамен в семинарии сдал на «отлично», похвальный лист получил и утешением мне под старость обещал быть. На беду, голос его понравился архиерею. Он и взял его к себе в иподиаконы. А архиерей у нас был у какой

правный! Чуть что, бывало, не по нём, хоть в алтарь, перед престолом Божиим, хоть где, не говоря дурного слова, так в зубы и норовит. А сын мой тоже был нетерпелив, молод! Только вот как-то во время служения сын позабыл орла ему под ноги подать, как надлежало по чину. А у архиерея свеча в руках горящая была. Он свечой-то да прямо сыну в бороду! Борода вспыхнула. А сын, сам не помня себя от страха и боли, возьми да и задуши его... Во время служения-то и в полном облачении!.. Ну за это смертная казнь, и говорить нечего... Только сын-от долго не думал. Стихарь положил под жертвенник в приделе, а сам, пока владыка-то, ошеломлённый, ещё не сообразил, что делать, и все предстоящие стояли как очумлённые, взял да в боковые двери и убежал, а там и след простыл.

— Почему же вы думаете, что он в Америке? — спросила миссис Ли.

— Я не думаю, а знаю. Прошлый-то раз, как я здесь был... с англичанином Гордоном приезжал. Ему наша статс-контора поручение дала, узнать, не выгоднее ли будет здесь, чем в Лондоне, для двора бразильские самоцветы

покупать. Ему нужен был русский, чтобы переписываться с конторой. Гордон по-немецки хорошо говорил, ну и я по-немецки-то морочую, он меня и взял; а чтобы поваднее мне ехать было, обещал, коли дело устроится, кое-какую выгодишку предоставить. А я сызмала любил в чужие земли ездить и на чужой порядок смотреть. Так вот, как был-то я здесь, сдружился очень в Бостоне с немцем Шмидтом и о нём много говорил, расхваливая перед домашними и здешнюю жизнь, и здешние порядки и обычаи. Мой сын, как убёг-то, так добрался до Америки и прямо к нему. Шмидт ко мне сам писал; пишет: очень, мол, убивается, что родную сторону навек оставить должен, да и трудно ему здесь работу достать. Выучил он хорошо латынь, ну а куда ему здесь с латынью? Ну да что делать-то было? Пока синодским обер-прокурором, а потом и генерал-прокурором был князь Яков Петрович Шаховской, выпросить прощения и думать было нечего. Ну а как его сменили и князь Никита Юрьевич Трубецкой опять взял силу, мы и выпросили, чтобы сыну-то только год под началом быть, благо архиерей-то наш

помер и жаловаться было некому. Вот как выпросили прощение, я и поехал; думаю, сам посмотрю, урезоню и уговорю. Ведь один, веком нажит... Приехал в Бостон, а он уже занят англичанами, жители разбежались кто куда, со Шмидтом и сын уехал. Хотелось за ним, англичане не пускают. Что было делать? Нанялся при отряде переводчиком с немецкого и попал в плен; надеюсь, отпустят теперь сына искать.

— В этом нет сомнения, отец Василий; но вы сутки, другие у нас погостите, отдохните. Мы постараемся и о сыне вашем сведения собрать.

Отец Василий благодарил.

Задумалась княжна после рассказа отца Василия. Не понравился ей порядок, в котором зажжённой свечой в бороду тычут; не понравилось и то, что при одном генерал-прокуроре — смертная казнь, а при другом за одно и то же — лёгкое наказание.

«Оно так, — думала миссис Ли, — нельзя поклоняться исключительно преобладанию капитала, но похвалить и самодурный произвол тоже как-то сердце не соглашается.

«Что же такое? Где же справедливость, где же истина?»»

И она начала спрашивать отца Василия о России, о том, что было там в течение всего времени, как она, уехав из Парижа, не имела о своём отечестве никаких сведений.

Священник начал ей рассказывать. Он говорил ей о Семилетней войне, о том, как русские войска, несмотря на то что заведование, управление и командование ими было из рук вон дурно, довели прусского короля до того, что он хотел покончить с собой самоубийством; как вся Пруссия уже была завоёвана, Берлин взят и там чеканилась русская монета. И как в ту самую минуту, как он думал уже наложить на себя руки, он вдруг узнал, что императрица Елизавета скончалась.

— Известие о последней победе нашей, взятии Румянцевым крепости Кольберг пришло в самый день смерти государыни, — рассказывал священник. — Она едва успела обрадоваться, наша матушка; велела в Петропавловской крепости из пушек палить, благодарственный молебен служить, народу объявить. Ведь она была наша, русская, кровная. Вели-

кого Петра дочь, так радость-то народная была и её радостью. Только последние-то выстрелы радостные не успели ещё смолкнуть, как загудел похоронный колокол в церкви святого Спиридония в Адмиралтействе, куда на время перестройки перенесли престол придворного Исаакиевского собора. Матушка-то наша скончалась и теперь на том свете Богу молится за землю нашу православную.

Священник говорил это, а у самого слёзы сверкали на глазах.

— Ну и что ж? Ведь у неё наследником был её родной племянник.

— Да. Только племянник этот был какой-то межеумок, прости Господи! Будто и не русский. Перво-наперво над обрядом христианским смеяться начал; православную церковь невлюбил. Не говоря о том, что священнических и дьяконских детей в рекрутчину записать велел, что все имения монастырские, богобоязненными людьми и благочестивыми древними царями пожертвованные на помощь души их и прославление имени Божия, у монастырей отнял, но начал и церкви закрывать. Домовые церкви, почитай, все за-

крыл. Из приходских церквей образа велел выносить и, говорят, преосвященнейшего архиепископа новгородского и петербургского хотел сам своими руками остричь и обрить, да уж государыня императрица, вот, пожалуй, и немка по роду-то, а на деле-то настоящая наша, православная, так она как-то отмолила.

— Да и государыню-то саму и с сыном своим великим князем он погубить задумал, — продолжал священник, возмущаясь рассказываемым. — Видите, сошёлся он тут с фрейлиной какой-то и выбрал-то, говорят, что ни на есть хуже, да с ней вот самой и стоворился, чтобы жену-то с сыном в крепость; а там в монастырь захотят, так в монастырь, а нет — так, говорят, решил в куль да в воду. Это он решил о государыне-то и о своём собственном родном детище, последней, можно сказать, отрасли Великого Петра, а всё для того, чтобы на фрейлине-то этой самой обвенчаться... Волосы дыбом становятся, как слушаешь, что он там натворить хотел, да Бог не попустил...

— А что?

— С королём прусским сейчас же мир заключил и все земли, что у него завоевали, даром отдал. А потом велел, говорят, на своих же союзников идти. Гвардию избидел в прах, а всё через своих голштинцев. С Данией войну сочинил. Видите, какой-то принц, деду или прадеду, был Данией обижен, так он за него отомстить хотел. Наконец, и в жизни-то так чудить начал, что только ахать да дивиться приходилось. Вот матушка государыня видит, что такое чудовство до добра не доведёт, а как он велел уже её арестовать, то она взяла да и пошла на него войной сама...

— И что ж?

— А уж тут не знаю, что и сказать. В самом ли деле на душе чьей грех, или уж точно Божеское пощущение, — он же всё кощунствовал над милостию Божию, — только вдруг ни с того ни с сего приключился с ним удар, и он Богу душу отдал...

— Как? Умер?

— Да. На престол вступила, по малолетству сына, матушка государыня Екатерина Алексеевна. Ну, про эту сказать нечего: царица добрая, умная и сдержанная. Только как

Бог её поддержит и укрепит!

— Как! Так теперь в России царствует...

— Государыня Екатерина Алексеевна, Екатерина II, как её называют. И как она, матушка, всё в руках держит, издали посмотреть любо. Только трудно же ей, матушке, zelo трудно!

— Отчего же ей труднее, чем кому-нибудь другому?

— Да оттого, что всё же она не своя; а бояре наши напуганы уж немецким-то царством. И что греха таить, любят-таки покрамольничать. Вот теперь они и подпускают разные каверзы. Сперва было Иванушку поднять хотели, ну — не удалось, так в другую игру бросились; сочинили новую смуту. Вдруг на Дону явился разбойник и объявил, что Пётр не умер, что он явится народу и пойдёт на бояр, всех, дескать, перевешает, а народу окажет милость, пожалует его бородой и волей... И что ж вы думаете, ведь нашёлся такой, явился...

— И народ поверил?

— Поверил ли, не поверил, а пошёл за ним. Ведь воля-то больно соблазнительна. По-

шёл, да ещё как, чуть не к самой Москве подступил. Казань, почитай, всю выжег, только крепость одна отсиделась... Кажется, чего бы ещё? Так и тут нет. Бояре придумали какую-то княжну Владимирскую...

— Владимирскую! — вскрикнули разом и муж, и жена. — Это что такое?

— Да, Владимирскую! Сочинили, что она близкая родня покойной государыне — кто говорил, племянника, а кто и дочь, — и что вот ей-то и следует царством править, коли уж ни Иванушки, ни Петра нет! Говорят, что и к разбойнику-то тому, что себя Петром называл, писали, — послали ему голштинское знамя и старались, чтобы обоих их вместе сладить. Один, дескать, племянник, а другая дочь, двоюродные брат и сестра, за одно дело стоят против узурпаторства... то есть против государыни-то. Вот тут и понимай как знаешь... Одним словом, такую путаницу ведут, что ни дай, ни вынеси...

— Позвольте, батюшка, однако ж, — спросила миссис Ли. — Что вы говорите? Княжна Владимирская — это я, одна в целом мире. Другой княжны Владимирской нет и быть не

может, так как старшей представительницей рода князей владимирских и суздальских избрана я и по роду, и по завещанию, утверждённому покойной государыней. Если же явилась какая другая, то это подлог, обман...

— Как вы? — спросил священник с изумлением. Сколько помнится... священник венчал её под именем княжны Анастасии Андреевны Зацепиной, дочери князя Андрея Дмитриевича, поэтому невольно остановился в сомнении.

— Да, я — Владимирская-Зацепина, родная племянница покойной императрицы Анны Ивановны, от её сестры Парасковьи Ивановны. Князья Зацепины — наше родовое прозвище — теперь старшие представители московского дома, бывшего князьями владимирскими, а потом и царями Москвы. Мой кузен, за отстранением в наследовании прав его братьев, был последним мужским представителем этого рода, за ним осталась я. Но он передавал мне свои права и своё наследство с тем, чтобы я вышла замуж непременно за одного из боковых потомков этого рода. А я вот царству над целым миром предпочитаю

его... — и она поцеловала своего мужа тем же чистым и страстным поцелуем любви, который когда-то, в присутствии того же священника, дала ему перед престолом Божиим.

Ласка жены вызвала в ответ нежность мужа.

— Кто же, однако ж, смеет злоупотреблять твоим именем, мой друг? — спросил Ли, лаская жену. — Такого злоупотребления достигнуть нельзя! Оно может нанести глубокий вред. Нужно раскрыть, непременно нужно раскрыть.

— Да, мой милый, нужно раскрыть! И я тебя прошу, как только кончатся твои здешние обязанности, съездить со мной в Россию. Этого требует не только моя любовь к родной стране, которую я хоть и не видала, но всё же люблю, всё же ей обязана... Притом выяснить обман, разоблачить злоупотребление — это моя обязанность, этого требует честь моего имени, требует честь рода... Ведь ты прине-сёшь мне эту жертву? — И она прильнула к мужу, склонив свою голову на его плечо.

Картина была так нежна и так искренна, что священник невольно ею залюбовался.

Ему невольно пришло в голову: «Им и в самом деле не нужно царского венца. Они не позавидуют трону Екатерины. Счастливицы! Вот оно единственное, истинно завидное счастье на земле»...

Но на земле, видно, счастьем не суждено быть продолжительным. В тот же день супруги получили письмо от матери, коим извещались, что оба малютки их, играя ранним утром в саду, должно быть, простудились и захворали оспой.

Муж её был связан обязанностью, он стоял лицом к лицу против неприятеля; а миссис Ли, наша бывшая милая княжна, не медля ни минуты, была вынуждена оставить лагерь мужа и ехать, чтобы ходить за больными детьми.

Весь лагерь провожал её с глубоким сочувствием...

— Она была нашим ангелом, нашей радостью, — говорили солдаты, — да хранит её Господь!

IV

AD MAJOREM DEI GLORIAM

Мы говорили, что красота Али-Эметэ оставила на себе внимание отцов иезуитов.

Первая мысль, которая им представилась, была, разумеется, что христианнейший король Франции, шестидесятипятилетний Людовик XV, смолоду записной любитель женской красоты, может увлечься ею.

Однако при всестороннем обсуждении столь важного предмета, как перемена королевской любовницы, отцы иезуиты пришли к убеждению, что дело это требует иного направления.

В то время над Францией царила маркиза Помпадур. Она была далеко уже не первой молодости и не блестящей красоты; но король к ней привык, и она умела заставлять его выполнять все её желания.

Министры, в том числе и герцог Шуазель, самый самостоятельный из министров Фран-

ции, в этот период должны были соображать-ся с тем, чего хотела маркиза, и ни в каком случае не смели идти ей наперекор.

Сумеет ли новая любовница, хотя бы и молодая и более прекрасная, поставить себя в такое же, можно сказать, царственное положение к королю — это ещё вопрос, да и какой вопрос!

Потом, маркиза Помпадур была такая верная, такая преданная и настолько суеверная католичка, что для них лучшей и желать было невозможно. Она была самая послушная духовная дочь, самая усердная исполнительница священных советов и наставлений их ордена, наконец, самая усердная ревнительница возвышения духовного влияния. Можно ли желать переменить её на какую-то персиянку, о которой они знают только одно, что она чудно хороша собой.

Но, не отстраняя Помпадур, не предоставить ли королю временное развлечение с редкой красавицей? Маркиза Помпадур давно уже не только потеряла право исключительности для развратного старика, но, можно сказать, держалась только тем, что сама

старалась разнообразить его удовольствия, то рекомендуя ему какую-нибудь мещанскую невинность, то представляя его вниманию полную развратницу, готовую на всё.

Но и в этом отношении сближение Али-Эметэ с королём оказывалось для отцов иезуитов невыгодным.

Во-первых, кто поручится, что эта страстная сирена не прельстит и не увлечёт короля настолько, что он забудет и думать о маркизе Помпадур? «Она на это очень способна, — думали они. — А тогда, тогда...» Они уже решили, что такая перемена была бы для них слишком невыгодна. Во-вторых, что могут они выиграть от кратковременного сближения короля с Али-Эметэ? Ничего! Так из чего же хлопотать и навязывать себе опасность, в данное время особенно существенную, так как все парламенты стали решительно против иезуитов и их поддерживала исключительно королевская милость, направляемая к тому маркизой Помпадур.

Таким образом, рассматривая вопрос все-сторонне, отцы иезуиты в вопросе сближения короля с Али-Эметэ пришли к отрицательно-

му выводу.

Отец Флавио говорил:

— Нет, ни в каком случае мы не должны допускать, чтобы Людовик XV даже видел её. Но дело не в короле. Красота, сама по себе, есть тоже милость Божия. Мало ли в будущем может возникнуть вопросов, которые могут быть разрешены силой необыкновенной красоты? Первое, и король не вечен. Дофин, кажется, не в дедушку в этом отношении, а впрочем, кто знает, какое направление примет будущее дофина? Наконец, умереть может и Помпадур. Но что за бедность вымысла, что за ограниченность действий — кружиться около одного человека и думать, что всё наше, если этот человек у нас в руках. Разве нет других стран, других королей, кроме французского? Ареною наших действий должен быть целый мир. Разве, например, не было бы одним из самых блестящих действий нашего ордена, если бы, опираясь на всепобеждающую красоту, мы отъявленного вольнодумца, антихриста — ему же изготовлено место в самых глубинах преисподней, — прусского короля, тысячу раз проклятого Фридри-

ха, обратили в верующего сына католической церкви и способствовали бы тем целые страны отторгнутых паств вновь обратить в лоно истины?

И, убеждаемые отцом Флавио, отцы иезуиты следили за Али-Эметэ до такой даже степени, что раза два-три от себя доставляли ей умеренную помощь в особо тяжкие минуты, под видом посылок от дядюшки.

— Теперь, — говорил отец Флавио, — наши ожидания были обмануты княжной Владимирской Она отказалась даже от миллионов, когда условия получения этих миллионов связывали её волю. Но, спрашивается, кто знает княжну Владимирскую? Кузен, который приезжал? Но он умер. Братья этого кузена никогда её не видали. Русские послы — Куракин, Кантемир? Обоих нет на свете. Настоятельница монастыря? Но она наша. Да она и не будет знать, в самом ли деле действует княжна. Она её не увидит, как не увидит её, разумеется, ни герцог де Прален, ни мадам де Куртней. Мадам де Куртней мы отправим в Рим, к кардиналу Альбани объяснить то величие, которое может осенить святейшего от-

ца, если предположения наши осуществятся. А герцога?.. его назначим генерал-губернатором Мартиники. В его лета для него это будет очень лестно, полезно и нам. Если же они что-нибудь услышат, то в их мыслях весьма легко может составиться предположение, что скрывшаяся в Америку княжна появилась опять в Европе и действует своим именем. Между тем... — отец Флавио остановился, окидывая взглядом всю конференцию, которая слушала его в молчании. — Между тем, — продолжал он, — какая гроза в её образе может быть России, этому схизматическому царству варваров! Екатерина, выдерживающая хладнокровно вторую войну, невольно выйдет из своего самодержавного спокойствия, когда с одной стороны мёртвые встанут из гробов, а с другой — само небо, в образе дивной красоты, представит ей соперницу, которая, поддерживаемая нами, может потрясти самые основы, на которые только осмеливается Екатерина опираться. Вот задача, истинне достойная нашего святого братства. Откажемся ли мы приступить к этой задаче только потому, что она трудна?

— Что же тут делать? — спросил дородный иезуит, хотя и старейший по возрасту, но тем не менее подчинявшийся вполне взглядам и проектам отца Флавио.

— Оно хорошо бы, очень хорошо! — начал третий иезуит слащавым голосом. — Только дело-то очень трудное. Прежде всего спросим: действительно ли настоящей княжны Владимирской нет, или, что всё равно, она совершенно и навсегда отказалась от своих прав? Потом, положим, мы найдём желающую рисковать, мы и удостоверение ей доставим; но осуществление, практическая постановка вопроса, не представят ли неодолимые затруднения?

— Зато как бы хорошо было снова в Москве повернуть всё вверх дном; может быть, на этот раз удалось бы и проклятую схизму уничтожить, — сказал четвёртый иезуит, видимо сочувствующий интриге уже потому, что она интрига, но только не усваивающий, как за неё взяться. — Первый вопрос: что делать, как тут поступить?

— Очень просто, — отвечал отец Флавио, — заставим назваться княжною Влади-

мирскою Али-Эметэ.

— Хорошо сказано! — заметил слащавый иезуит. — Только как заставить? Не предложить же ей прямо: княжна Али, назовитесь княжной Елизаветой! Чтобы решиться на самозванство, и притом с целями весьма определёнными, нужны доводы весьма существенные и убедительные, особенно когда такое самозванство может быть ежеминутно изобличено. По моему мнению, не лучше ли сообщить этой персиянке, что она-то и есть настоящая княжна Владимирская и что перемена имён была сделана нами с целью предохранить её от козней императрицы Елизаветы и её преемников. Она поверит, потому что вообще всегда легко верится тому, во что хочется верить. Эта уверенность в ней поставит дело гораздо прочнее, чем предложение участвовать в заведомом подлоге. Прецедент есть. Вспомните о Дмитриии Самозванце.

— Нет, с этой взбалмошной женщиной этот приём не годится, — возразил отец Флавио. — Дмитрия нужно было убедить в его царском происхождении, чтобы вселить в нём уверенность и отвагу; а у княжны Эметэ

есть иное могучее орудие привлечь сердца — это её обаятельная красота, её чарующее кокетство. К тому же тогда нам нечем будет держать её в наших руках. А что она согласится на всё, порукою в том наш лучший союзник — нужда. Она мотовка в такой степени, что не может не нуждаться постоянно, не может не нуждаться крайне. По моему мнению, следует воспользоваться минутой такой крайности. Весь вопрос тут, я думаю, состоит в том, чтобы уверить её, что настоящая княжна Владимирская умерла, что её давно нет на свете, стало быть, и опасаться некого. Корабль разбился, или погибла от лихорадки, или краснокожие напали. Когда же Али-Эметэ уверится несомненно в действительности смерти княжны и будет знать, что уличить её в самозванстве некому, а что принятие на себя имени княжны доставит ей немедленные выгоды и даст большие надежды, то я не думаю, чтобы она стала долго задумываться.

— Кто же ей может сказать об этом?

— Сказать прямо — разумеется, никто!
Но навести на мысль, направить мы все по-

стараясь. Первое же слово, по моему мнению, должно принадлежать польскому послу.

— Графу Огинскому?

— Да, графу Огинскому. Естественно, что он должен изыскивать меры воспрепятствовать насильственному разделу своего отечества. Формалистика протестов им выполнена; но что такое пустая формалистика? Екатерина и Фридрих представляют собой силу, перед которой склоняется всё. Против силы тоже нужна сила; а имя княжны Владимирской, родной племянницы императрицы Анны, могущей явиться мстительницей за своего кузена принца Иоанна, будет, по-моему, такая сила, которая не может не озаботить Екатерину и не заставить её забыть всевозможные проекты о каких бы то ни было разделах. Не забудьте, что она царствует без прав, без всякого родства. В этом весь и вопрос, в этом вся и задача, из которой наше дело, смотря по обстоятельствам, извлечь надлежащую пользу.

— И вы полагаете достигнуть успеха?

— Не полагаю, а уверен! Деньги, которые она получила за вексель барона Шенка, проживутся весьма скоро, и она будет сейчас же

у нас в руках. Граф ей скажет, что он получил из Персии деньги на имя княжны Владимирской. Мы доставим ей бумаги, из которых она увидит, то можно безопасно назваться этим именем; кроме того, увидит, что княжне Владимирской предстоит получить более ста миллионов франков, и поверьте — не задумается. А тут ещё в перспективе русский престол. Да это такая приманка, перед которой не устояла бы голова и с более твёрдыми убеждениями, чем хорошенькая, но пустая головка Али-Эметэ.

— Точно, приманка завидная! — сказал слащавый иезуит.

— К тому же и дядюшка на помощь явится, — продолжал отец Флавио. — Он присылает пенсию на имя княжны Владимирской. Принимаешь имя — получай деньги, нет — голодай, как знаешь! А мы всеми способами постараемся её убедить. Княжна Владимирская умерла, стало быть, кто бы ни назвался её именем, для неё вреда нет и нет никакой опасности. И чтобы при таких условиях она отказалась — не может быть, отцы и братия; поверьте, не может быть!

— Откуда же дядюшкину помощь взять? — спросил иезуит, особенно сочувствующий интриге. — Король Станислав Понятовский теперь в таком положении, что совсем без денег. Да и во всей Польше, если выделить магнатов, проживающих русские деньги, да жидов, которые разнесли польские богатства по своим карманам, и всю остальную старую Польшу выворотить карманами вверх, то, пожалуй, ста тысяч не наберёшь!

— В этом отношении мы должны озаботиться приисканием нужного человека. Найдём кого-нибудь из поляков же, ведь в их пользу хлопочем! Вот мне пишет брат Бонифаций из Вильны и указывает на князя Карла Радзивилла. По-моему, чего же лучше: и глуп, и богат, два достоинства. Собственно для нас ведь риска нет, особенно если Радзивилл возьмёт на себя издержки, а выигрыш может быть громадный, неисчислимый.

— Помогите нам Боже и святой основатель нашего ордена потрудиться на пользу нашей святой церкви! — набожно сказал слащавый иезуит, складывая руки и приподнимаясь. — Дай Бог хотя на этот раз просветить схизмати-

ков и приобщить их к великой пастве нашего святого отца.

Иезуиты составили протокол своей конференции с единогласной резолюцией: донести обо всём генералу ордена, секретно сообщить в Рим и начать действовать под руководством отца Флавио.

Затем все встали, прочитали молитву и, получив благословение отца провинциала, разошлись.

V

НЕ ВСЯКАЯ ОШИБКА ДЕЛАЕТСЯ НЕЧАЯННО

— Признаюсь, граф, я не охотник до
Праздных иезуитских измышле-
ний. В таких случаях, по-моему, всего лучше
ваше польское «не позволяем!», но подите
сговоритесь с нашими политиканами!

— Однако ж подумайте, ваша светлость,
ведь это, можно сказать, политический раз-
бой! Австрия берёт целое королевство, прус-
ский король два княжества, о русской импе-

ратрице и говорить нечего. Она прирезывает себе провинции, которые пространством не менее половины Франции. Этим Россия становится на севере решительно преобладающим государством. И Франция может смотреть на это хладнокровно? Может допустить это? Да ведь каждое такое присоединение есть прямое усиление её врагов. И она будет молчать без всякой пользы для себя? Ведь это даже не самоуничтожение, это Бог знает что такое!

— Я то же говорю! Не говорю, кричу, пропагандирую! Но что прикажете делать? Маркиза Помпадур от австрийцев себя не помнит; а Шуазель хоть и кричит о своей независимости, но, давно все знают, просто пришит к маркизиной юбке. Против них я положительно ничего не могу, потому что наш всемилостивейший король только и говорит теперь, что о своём спокойствии. Я как-то сказал, что если они берут, то и нам бы не худо, в виде возмездия, потребовать хоть Кёльн с Майнцем, что ли. Он мне отвечал на это: «На мой век хватит и того, что есть, а там... — и он махнул рукой. — Подумай-ка лучше о том, —

продолжал он, — как бы нам повеселее сегодня вечер провести!»

Этот разговор происходил между ближайшим любимцем французского короля Людовика XV герцогом д'Егриньоном и польским посланником при французском дворе графом Огинским.

Герцог д'Егриньон был кутила, развратник, мот, человек без всяких нравственных правил, но человек светский и в большой силе, потому что был не только свидетель и участник, но большей частью составитель тех скандальных сеансов, которыми разнообразил свою старость царственный сластолюбец король Франции и о которых последние годы жизни своей он, можно сказать, только и думал.

Сеансы эти, устраиваемые д'Егриньоном вместе с маркизой Помпадур, были до того развратны и циничны, что едва ли не заставляли думать, что возвращаются вновь времена Нерона. Французский устаревший король, воспрещая своим подданным даже упоминать имя маркиза де Сада и его хроник, хотел в своих оргиях, кажется, превзойти их.

Страстные представления и возбудительные эксперименты этих сеансов были иногда бесстыдны до отвращения.

Деятельный участник и составитель программ такого рода увеселений, герцог д'Егриньон был необходим королю как воздух или как сама маркиза Помпадур. Поэтому его сила и его влияние были понятны; понятно было и то покровительство, которое король ему оказывал в его борьбе с парламентами.

— Дерзость этих чёрных колпаков непростительна! — рассказывал д'Егриньон. — Как вам покажется? Меня, герцога, решили судить. Слышите, кто же? Эти клерки, эти прокуроры, эти советники! Когда мне принесли о том повестку, я приказал запереть ворота своего отеля и принёсшего принять псарям в плети. Надобно было видеть, как он с повесткой в руках метался из стороны в сторону. А он у них числится значительным чиновником, как это называется: «исполнитель судебных решений». Запрыгал тут мой исполнитель, а псари за ним. Он ищет лазейки, как бы выпрыгнуть, не тут-то было, стена высокая и некуда; а псари так и жарят. Он изгибается,

вьётся... Наконец, что, вы думаете, он выдумал? Полез на решётку ворот, да там и повис на своём платье. Тут-то уже потешились над ним в пять арапников, просто смех, пока не оборвался. Я приказал сказать, что всех их клерков, советников и прокуроров так же точно прикажу отодрать, если они осмелятся имя моё употреблять всеу...

— И что ж они? — спросил Огинский, заинтересованный рассказом и думая: «У нас так же бы распорядились, если бы какой-нибудь поветовый суд вздумал прислать к Радзивиллу, Чарторыйскому, Сапеге, ко мне или к кому бы там ни было из наших... Впрочем, у нас и не вздумают...»

— Они, что вы думаете? — продолжал д'Егриньон. — Не испугались! Составили решение, к участию в котором пригласили, к их стыду, несколько пэров. Этим решением я лишился титула герцога, звания пэра Франции и их парламентского членства, покровительства законов и чести. Слышите, они смеют рассуждать о чести! Будто они могут понять, что такое честь французского дворянина и герцога! Я приказал сказать президенту, что

он будет высечен непременно, и не будь я герцог д'Егриньон, если я его не высеку!

— А решение?

— Король назначил «королевское заседание» и отменил весь этот вздор, приказав лично занять мне своё место, между пэрами и герцогами. При этом он оказал мне особую милость, надев на меня при них же орден Святого Духа; а уезжая, он подарил мне один бланк, который я могу употребить по желанию против любого члена парламента. Я ещё колеблюсь посадить председателя, потому что мне хочется, чтобы он прежде побывал в руках у моих псарей... Нет! Я могу говорить твёрдо, что король ко мне милостив, очень милостив. Но противу совокупного влияния маркизы и Шуазеля, которым помогают все их прихвостники и прихлебатели, я ничего сделать не могу!

Граф Михаил Огинский, тонкий, умный поляк и весьма сдержанный вельможа, хотя изнеженный и сентиментальный, как всё, что окружало тогда посаженного Екатериной польского короля Станислава Августа Понятовского, вполне сочувствовал герцогу в его

стремлении уничтожить силу этих гражданских трибуналов. Он невольно улыбнулся при рассказе герцога, на который навёл нарочно, чтобы видеть, насколько действительно велико влияние д'Егриньона при короле. Из этого рассказа он убедился, что оно огромно, но что тем не менее влияние Помпадур и Шуазеля сохраняет своё значение.

— Стало быть, — продолжал он, — единственная возможность сделать что-нибудь в пользу нашей несчастной Польши — это принять проект святых отцов, последователей Игнатия Лойолы, поддержав возникающие на юго-востоке России волнения с помощью самозванства, и таким образом главному нашему врагу дать занятие внутри самого себя?

— При настоящих условиях это самое лучшее, хотя я и говорю, что не люблю иезуитских измышлений и не верю им. Но что прикажете делать, если эти люди ничего не хотят знать — было бы им спокойно. Маркиза как женщина — женщина и есть. Она всегда предпочтёт интригу прямому действию. А за маркизой наш высокоумный герцог готов тянуть всякую канитель, только бы не обра-

щаться к парламенту за новыми налогами.

— А тогда, если мы всё возмутим, взволнуем, Франция не откажет нам в своём содействии?

— Всенепременно! Тем более что тогда выяснится размер силы, которой русские действительно располагают.

— А король?

— Король будет рад всякому унижению России, только ничего не предпримет до тех пор, пока не увидит, что осуществляемое предположение имеет шансы на успех. В последнем случае, разумеется, и он не задумается воспользоваться...

— И вы его предупредите?

— Да! Но он мне на первый раз поднесёт свой обыкновенный ответ, что даже большой дым не всегда обозначает пожар!..

На этом они расстались. Герцогу нужно было ехать в Малый Трианон, где готовились живые картины, а граф Огинский поехал отыскивать Али-Эметэ.

Али-Эметэ проживала в это время последние пятьдесят тысяч, которые выручила от продажи векселей барона Шенка, обеспечен-

ных его богемским замком.

Обстановка её была прекрасна. Прислуга, ливреи, отделка комнат — всё было на большую ногу, на барскую статью, хотя далеко не такие, какие она желала бы и какие были у неё впоследствии. Взглянув, однако ж, на всё, становилось понятно, почему из двухсот пятидесяти тысяч франков, которые она получила за векселя, через четыре месяца у неё оставалось не более пятидесяти, особенно приняв во внимание, что на эти же деньги жили оба барона Шенк и Эмбс.

Подъехав к её отелю, посол велел о себе доложить: посол его величества польского короля при здешнем христианнейшем короле.

«Неужели мне нужно будет её убеждать? — думал Огинский, входя к ней. — Не полагаю! По крайней мере, из рассказа отца Флавио я могу думать, что она настолько умна, что сама поймёт и мне не придётся себя компрометировать предложениями...»

В это время камердинер княжны — она не переставала называть себя княжной, хотя в паспорте её было прописано только девица де Тремуль, — вежливый и образованный фран-

цуз, проводил посла в гостиную.

«Эге! — подумал граф Огинский, оглядывая небольшую, но вполне изящную обстановку комнат. — Ясно, что она умеет жить! Тем лучше, тем лучше!»

Али-Эметэ вошла весело, любезно приветствовала посла, просила занять место на диване и сама села подле него, проговорив, что она давно слышала имя графа Огинского и очень рада лично познакомиться с послом такой великой и свободной нации, как поляки.

Огинский с первого взгляда был поражён её необыкновенной красотой и той чрезвычайной прелестью и грациозностью, которыми сопровождалось каждое её слово, каждое её движение. Тем не менее, по предварительной предначертанной себе программе, он начал говорить вежливо, любезно, но всеми мерами стараясь не дать случая себя перебить.

— Имею счастье представиться светлейшей княжне Владимирской. Я имею передать вам некоторые ваши фамильные бумаги, присланные мне из иезуитского коллегиума, где вы воспитывались, и притом заявить, что ваш персидский дядюшка, о котором вы, как

добрая и почитительная племянница, так скупчили, слава Богу, здоров! Он был в отлучке, послан персидским шахом усмирить Курдистан, — такое там небольшое, но довольно отдалённое графство есть, которое, пользуясь своей отдалённостью, нередко поднимает против шаха бунт. Теперь всё усмирено; ваш дядюшка, возвратясь с честью, надеется быть в отношении вас аккуратнее. Он возобновляет присылку вам пенсии на ваше, княжны Владимирской, имя, возвысив её, согласно теперешнему вашему положению. Вы счастливица, княжна: при таком вашем высоком происхождении, вашей красоте — и такое богатство!

Али-Эметэ при первых словах посла хотела было его остановить, сказав, что он ошибся, что она не княжна Владимирская, а только её сотоварка по коллегии; но это ей не удалось. Посол продолжал говорить и, видимо, желал, чтобы его выслушали. Она вспоминала при этом свою бывшую подругу, блестящую, спокойную, с ясными глазами, сверкающими каким-то холодным светом; вспоминала общее к ней внимание, рассказы о её бо-

гатстве. Под влиянием этого воспоминания она замечталась немного о своём детстве. А посол всё ещё продолжал говорить. Ей поневоле пришлось выслушать всё, что он хотел сказать. В словах посла её поразили два обстоятельства: первое — доставка ей бумаг, по которым княжна Владимирская, как говорил посол, должна получить большое богатство, если согласится принять некоторые условия; потом его объяснение о её пенсии от дяди, которая будет высылаться на имя княжны Владимирской. Она до того набедствовала, не получая этой пенсии, особенно после того, как Ван Гоуэре бежал из Лондона, а Шенка ещё не было, что решила слушать до конца, чтобы как-нибудь это получение не расстроить.

Посол не переставал говорить. Он описывал ей высоту положения князей Владимирских-Зацепиных, громадность их богатства, их родовитость и права на русский престол, по представительству старой русской династии и особо — по близкому родству с императрицей Анной. Он описывал всё это в таких ярких красках, что смутил бы, вероятно, дале-

ко не столь пламенное воображение, каким обладала наша прелестная Али-Эметэ, которая заслушалась его до самозабвения. В её глазах рисовались уже великолепные раззолоченные дворцы, наполненные послушными рабами, исполняющими её приказание по мановению её руки; в её ушах раздавалась сладостная музыка славы и величия, которой встречает её войско; ей даже слышался восторг народа, поклонение которого своей царице доходит до боготворения. Она не помнила себя.

Наконец посол раскланялся и уехал, оставив бумаги в руках Али-Эметэ.

— Да он с ума сошёл! — вскрикнула Али-Эметэ и расхохоталась. — Вот если бы мне и наследство также по ошибке отдали, то-то бы хорошо было! — И она весело засмеялась.

Вскоре пришёл барон Эмбс. Она, смеясь, стала ему говорить о посещении посла, о бумагах, правах на престол и, наконец, о возобновлении пенсии. Разумеется, тот пришёл в телячий восторг. Но когда она заметила, что ведь это только ошибка, то он стал возражать.

— Отчего же ошибка? — сказал он. — Оттого, что была другая княжна Владимирская? Но это нисколько не нарушает возможности и тебе принадлежать к той же фамилии. Вон какая-то княжна Владимирская умерла. В газетах напечатано. Не твоя ли воспитанница? Может быть, ты двоюродная сестра ей, хотя и необъявленная, и к тебе теперь перешёл её титул. Нет, по-моему, тут ошибки нет и не может быть! Разумеется, нужно прочитать бумаги; к сожалению, они написаны по-русски. Ничего, мы переводчика наймём.

И они вместе решили, что если уж суждена ей столь высокая доля, то отказываться нечего, а нужно Бога благодарить. А если она получит всё, что ей следует, то и его не забудет и сделает хоть своим министром финансов.

Пока они мечтали таким образом об управлении империей, прибыл и барон Шенк. Рассказали о бывшем посещении посла и ему. Тот ещё более разинул рот от удивления. Чувствуя угрызения совести за промотанное имение и получив уже извещение о наложении секвестра на его замок, он

невольню скулал, счлтая себя как бы преступником перед своими родными. И вдруг он слышит, что лёгкая, хоть и милая барыня, с которой он познакомился в Лондоне и к которой так страстно привязался, может быть ни более ни менее как царица всего Северо-Востока, о неисчерпаемых богатствах которого он слышал и читал чуть ли не в арабских сказках. Ему даже страшно стало от одной мысли об этом.

Он упал на колени перед своим идеалом, своей красотой, стал целовать её руки, ноги, поздравлять... и тут же, на случай успеха, получил назначение будущего министра внутренних дел.

После того как первые минуты восторга утихли, разговор перешёл к предметам более существенным. Затребованы были от барона Эмбса сведения о наличных средствах. Оказалось, что наличных средств было всего только 43 тысячи франков. Следовательно, назначение ежемесячной пенсии в 10 тысяч франков было как нельзя более кстати. Она поедет к послу и будет ездить каждый месяц и получать. На первое время им этого будет доста-

точно, так как главная обстановка уже сделана. А потом она получит имение. Но чтобы узнать об имении, нужно прочитать бумаги. И вот опять общая мысль всех трёх, естественно, обратилась к оставленным бумагам. Нужно перевести их во что бы то ни стало! Тогда узнается, какое отношение имеет её дядюшка в Персии к княжеству Владимирскому и какое право княжна действительно имеет на принадлежащее их роду богатство в России; наконец, узнается, какое она может иметь право на русский престол.

Оба министра новой царицы бросились искать переводчиков. Но где тогда было найти переводчиков и ещё с таких языков, как русский и персидский, в Париже, в котором и теперь даже многие плохо знают, Россия ли находится на месте Персии, или Персия на месте России, а тогда положительно думали, что Россия именно и есть государство, в котором когда-то царствовал Гарун аль-Рашид. Тогда переводчиков, знающих язык, можно было найти только у отцов иезуитов. К ним с разных сторон оба будущих министра и обратились.

Но с какой бы стороны ни пришло ходатайство по делу, порученному отцу Флавио, непременно всякая даже мелочь должна была представляться на его усмотрение. Уж такой иезуитский порядок. «Он знай всё и отвечай за всё». Отец Флавио должен был назначить и назначил переводчиков, вооружённых надлежащими внушениями, и указал, какими примечаниями и объяснениями переводы их должны быть снабжены. Он даже и этим не довольствовался и приказал прежде сдачи переводов княжне, для окончательной редакции, представить их ему.

В приложенной к переводам родословной род князей Владимирских был выведен прямо от Шемяки. Таким образом, близость его к московскому дому была очевидна.

Ещё рельефнее выяснилось право княжны по родству с царствующей императрицей старшей линии дома Романовых — Анной Ивановной. По представленному объяснению Иван Антонович значился погибшим во время переворота; линия Петра Великого отстранённою от наследства выборными всего народа; выход в замужество царевны Парасковьи

Ивановны, родной сестры государыни, за владимирского князя Зацепина, бывшего будто бы старшим представителем линии владимирских князей и владевшего Владимиром на правах державства, по особой будто бы грамоте царя Алексея Михайловича (видимое смешение с грамотой на державство князей Трубецких), данной будто бы ради прекращения домогательств на престол прежней династии, — был будто бы не морганатический брак, а политическое слияние двух старших линий обеих династий, для единства престолонаследия и прекращения всякого рода династических недоразумений и препирательств.

Само собой разумеется, что в этом объяснении, что ни слово, то была ложь, но ложь, составленная столь искусно, что могла ввести в заблуждение даже и знакомого с династической историей русских государей, не только Али-Эметэ; что же касается до последней, то ей права княжны Владимирской на русский престол представились совершенно несомненными.

Теперь другой вопрос — об имени. Но не

говоря уже о правах родной и единственной дочери на имение после отца и матери, не говоря о том, что и по законам майората, за прекращением мужского колена, наследство переходит в женскую линию, а братья Андрея Васильевича были показаны умершими, — права эти подтверждались ещё духовным завещанием последнего мужского представителя князей Зацепиных, утверждённых царствовавшей государыней, с тем только, чтобы княжна приняла условия, тем завещанием установленные. Условия эти: православная вера, нераздробимость имения и выход замуж за одного из князей Рюриковичей.

Для Али-Эметэ возросший почти вне всякой религии вопрос о православии не заключал в себе ничего существенного. Ей было всё равно, быть православной, лютеранкой, магометанкой или католичкой. Она готова была утверждать, что всегда была православной, о другой религии никогда не помышляла. Точно так же она готова была заявить, с надлежащей осторожностью, разумеется, что обязуется проводить идеи католицизма всюду, куда достигнет её влияние и где пожелают её руко-

водители; стало быть, о затруднениях по вопросу о религии не могло быть и речи. Ещё менее moi затруднять её вопрос о нераздельности имени.

— С кем мне делить? — говорила она. — Пусть только доход они дадут, а мы раздроблять ничего не будем! Ведь говорят — от 8 до 10 миллионов франков; будет чем распорядиться моему министру финансов, хотя бы даже никаких царств и княжеств мне не досталось... Условия, стало быть, подходящие.

— А замужество?

— Что ж замужество? — отвечала Али-Эметэ, сидя на диване между своими министрами и обнимая головы обоих. — Я выберу старого, самого старого из моих бояр, назначенных в завещании княжеских родов, и выйду за него замуж. Он, как старик, будет доволен, во-первых, почётом быть мужем своей государыни; а во-вторых, моим вниманием и лаской... А я? Ведь у меня есть две мордашки, с которыми я могу подчас позабавиться. Только я вас графами тогда сделаю. Ну что такое барон, фи. — И новая княжна Владимирская заставила обоих баронов стукнуться лбами.

— Всё это хорошо, — сказал барон Эмбс, — только как бы всё это привести в ясность? Во-первых, и царство, и княжество, и состояние, всё это, положим, несомненно, следует княжне Владимирской. Тут есть этому доказательства; и родословная, и завещание, и свидетельство о законном браке князя Зацепина-Владимирского, как значится в родословной... Но из чего же видно, что княжна Владимирская наша Али-Эметэ?

— А вот её аттестат об окончании курса наук в содержимом иезуитами институте благородных девиц. Ведь это паспорт, настоящий паспорт, визирован в русском посольстве и подписан князем Кантемиром. Когда она окончила курс, посланником был, кажется, князь Кантемир! — отвечал барон Шенк, рассматривавший бумаги.

— Гм! Да это точно некоторое удостоверение, — ответил барон Эмбс. — Но теперь, во-вторых, нужно объяснение о дядюшке. Каким образом он персиянин, а князя владимирские русские и Владимир стоит близ Москвы! Ведь что-нибудь одно из двух: она или русская, наследница знаменитого княжеского до-

ма, теперь по справедливости претендентка на русский престол; или персиянка, племянница персидского вельможи, воспитывавшего её и теперь производящего пенсию, от которой отказаться в настоящую минуту не только невыгодно, но и невозможно, так как денежки, полученные под баронский замок, уже на исходе?

— Пойдите, я узнаю о положении дел в России, — сказал барон Шенк. — Моя двоюродная сестра, девица Шенк, поехала в Россию с княжной ангальт-цербстской, которая теперь правит русской империей после смерти своего мужа. Она была тогда её камер-медхен, а теперь, говорят, государыня выдала её замуж и она стала одной из её любимых камер-фрау. Я напишу ей, и она мне расскажет всё, что там делается.

— У меня также есть к кому написать, — прибавил, со своей стороны, барон Эмбс. Когда приезжал из России граф Шувалов, его звали Иоганн-Иоганн, то, соскучившись там от бесконечной верности царствовавшей тогда своей покровительнице, он в Гамбурге захотел поразвлечься. А как всё это необходимо

было сохранять в тайне, то он и доверился только своему камердинеру, французу Дюпре. Камердинер этот был мой приятель, через моего отца деньги в гамбургский банк переводил. Он ко мне. Мы и устроили графу два-три свидания с одной из первейших гамбургских красавиц. Тогда и сам граф ко мне очень и очень благоволил, обещал отплатить, если я приеду в Россию. Камердинер этот до сих пор у него, и думаю, что он меня не забыл.

— Прекрасно! — заметила Али-Эметэ. — Но мы этим всё же не разрешаем вопроса о моём персидском дядюшке и моей пенсии. А по-моему, господа, вопрос слишком важный, чтобы можно было оставить его без внимания.

— Ещё бы! Особенно теперь, когда деньги за векселя, по нашим расходам, почти на исходе! — сказал барон Эмбс.

— Только вопрос: как же это разъяснить?

— По-моему, очень просто: я поеду к польскому Послу и попрошу у него объяснения. Он не может не сказать мне того, что непосредственно ко мне относится. Кстати, спрошу, когда я могу прислать к нему своего

министра финансов за пенсией.

— Действительно, это самое лучшее, — заметил Шенк. — Посол не может не знать, откуда и почему он получает пенсию.

— Хорошо — ехать, только как же ехать, — спросила Али-Эметэ, — как княжна Владимирская?

— Разумеется, — отвечал барон Эмбс. — Ведь посол сам бумаги привёз и приезжал рекомендоваться княжне Владимирской. Ехать иначе было бы даже невежливо. Выйдет, будто ему не верят, когда в руках княжны даже есть паспорт. Чего же ещё? Он же говорил, что и пенсия-то высылается на имя княжны Владимирской. С какой же стати мы сами будем выказывать тут сомнение? Весьма может быть... — продолжал Эмбс, расхаживая по комнате и стараясь развивать этот вопрос казуистически. — Ведь мы не знаем действительного происхождения нашей прелестной персидской княжны; не знаем, кто такой и откуда родом её дядюшка, Сипех-Селар или как его? Поэтому не может быть и сомнения, что он-то и был князь Владимирский, скрывшийся из России в Персию от преследований, как

опасный претендент на русский престол. И опять, мало ли было случаев, что один брат, например, служит во Франции, а другой в Испании или в Германии. Вот хоть бы и у нашего маршала графа де Сакс родной брат, говорят, находится на австрийской службе. Так и князя Владимирские могли служить один в России, другой в Персии. По смерти княжны Владимирской, единственной дочери первого, служившего в России старшего брата, воспитывавшейся вместе с Али-Эметэ и бывшей ей двоюродной сестрой, хотя ни та, ни другая этого не знали, титул и права её могли перейти к ней, дочери второго брата, хотя она воспитывалась в Персии, у третьего брата, который почему-либо не может или не желает принять эти права на себя; может быть, потому, что, будучи уже человеком пожилым и бездетным, не желает покинуть Персии. Смерть же княжны Владимирской подтверждается несколькими, вполне достоверными свидетельствами. В чём же тут может быть сомнение?

Это длинное рассуждение барона Эмбса было прервано докладом человека.

— Его священство, приор ордена отцов иезуитов, аббат Флавио д'Аржанто!

— Проси! — отвечала Али-Эметэ, оправляясь на диване.

Барон Шенк и Ван Тоуэрс, или барон Эмбс, отошли в сторону.

Обе половины дверей отворились, и тихим, вкрадчивым шагом вошёл известный уже читателю отец Флавио д'Аржанто.

VI

ПРУЖИНЫ И ПРУЖИНА ПРУЖИН

БЫЛО два часа дня, когда к отелю, занимаемому польским послом графом Огинским, подкатило великолепнейшее, раззолоченное, обитое голубым левантином, с золотыми шнурами и кистями, ландо, на шестёрке цугом. Сквозь зеркальные стёкла, вставленные в боковые стенки блестящего экипажа, виделось, что на задней скамье ландо сидела молодая и прелестная дама, а напротив, двое великолепно одетых по тогдашней французской моде, в бархатных шитых золотом каф-

танах, мужчин. Карету сопровождали стоявшие позади двое арапов, в белых чалмах и красных куртках, обшитых золотым позументом, и четверо жокеев верхом.

Пока один из арапов объяснялся со швейцаром, жокеи соскочили с коней и двое из них стали около дверец ландо. Они помогли выйти из кареты даме, когда швейцар с почтительным поклоном передал ей, что его сиятельство посол дома и принимает. За ней вышли и мужчины. Один из них пошёл вперёд, чтобы передать для доклада титул и имя прибывшей, а другой шёл за дамой, приняв от неё горностаевую мантилию, которая была на неё накинута и в которой она вошла на подъезд, и поддерживая её шлейф.

— Её светлость владетельная принцесса Владимирская-Суздальская-Зацепина Елизавета II, при ней гофмейстер и шталмейстер её светлости, бароны Эмбс и Шенк! — передавал вошедший секретарю посла, который бросился опророметью докладывать, пока княжна тихо проходила площадку перед лестницей, управляя свои великолепные гипюры.

Метрдотель, камердинер и секретарь по-

что одновременно подбежали к гофмейстеру княжны, передавая ему приглашение посла. Тот поспешил передать его княжне, заняв место позади неё, рядом с товарищем. После них вошли на подъезд двое жокеев и арап. Другие жокеи и арап остались подле кареты.

Княжна с царственным величием поднималась по лестнице, встречаемая и сопровождаемая поклонами прислуги графа Огинского.

Но она не успела ещё ступить на последнюю ступень лестницы, как граф спешил уже ей навстречу.

— Вы осчастливили меня, ваша светлость, княжна, сделав мне честь... — И он сделал ей почтительнейший реверанс, как бы самому христианнейшему королю Франции. Княжна протянула ему обе маленькие ручки, которые тот, видимо, с удовольствием поцеловал.

Они вместе вошли в аванзалу.

— Позвольте представить вам, граф: мой гофмейстер — барон Эмбс, мой шталмейстер — барон Шенк!

— Я завидую вашему счастью, господа, служить при княжне, которую все мы готовы

признать королевой красоты: это такое счастье, — проговорил любезно посол, пожимая обоим баронам руки. — Ваша светлость, позвольте просить вас в гостиную...

Княжна пошла за послом. Бароны остались в аванзале, как между ними было условлено.

Настоящее положение их устроилось следующим образом.

После того, как Али-Эметэ шутя сказала, что если бы ей досталось управление обширной империей, то она назначила бы заведующего её денежными делами в настоящем Ван Тоуэrsa своим министром финансов, а наблюдавшего за порядком в доме фон Шенка — министром внутренних дел, они нередко в шутку называли друг друга этими титулами. Княжна тоже часто поддерживала их шутку.

Когда отец Флавио приехал к княжне, заявляя, что, случайно узнав о её приезде в Париж, захотел навестить бывшую питомицу их учреждения, причём с иезуитской ловкостью рассказал о смерти бывшей тоже воспитанницы их коллегиума княжны Владимирской и тонко намекнул при этом, что, сколько ему

известно, теперь и титул этот и капитал должны перейти к ней как её ближайшей кузине, то княжна шутливо заметила:

— Я и в самом деле начинаю верить, что мне достанется когда-нибудь обширная империя, и я совершенно готова ею управлять. Вот и министры мои налицо...

— Вашей светлости, я думаю, прежде чем придётся назначить министров для управления, необходимо установить свой штат для представительства вашего двора: гофмейстер, шталмейстер, камергер, мне кажется, для вас необходимы. Знаете, княжна, значение самой красоты возвышается высотой положения; а ничто настолько не поднимает положения из окружающей обстановки, как соответственный этому положению штат служащих. Если ваше высочество, — продолжал хитрый иезуит, — изволите войти в благотворные цели нашего ордена, то мы употребим все средства, чтобы это положение не было только фиктивным.

Сказав это, иезуит неоднократно обращался к барону Эмбсу, титулуя его превосходительством или называя гофмейстером.

— После, когда восшествие ваше на престол будет уже совершившимся фактом, можно будет ваших придворных, шталмейстера, гофмейстера, сделать и министрами! — прибавил он, напирая опять на то, что смерть княжны Владимирской передаёт ей именно права, воспользоваться которыми зависит от неё.

На основании этих, осторожно высказанных замечаний и подчиняясь влиянию того искусства, с которым отец Флавио умел подстрекнуть самолюбие каждого, Эмбс и Шенк приняли придворные звания при княжне Владимирской, которую наделили титулом светлости и владетельной принцессы. Само собою разумеется, что, принимая придворные звания, они уговорились держать себя относительно её, особенно при посторонних, так, как бы они были действительно её подданные и принадлежали к её двору.

Визит графу Огинскому был первым опытом их в новом положении, и они старались всеми мерами выказать свои почтительные отношения к принцессе, признанной ими своей государыней. Впрочем, она и в действи-

тельности была государыня сердца каждого из них.

Понятно, что подданные без особого приглашения не могут идти туда, куда идёт их государыня, поэтому они и не пошли за послом, а остались в аванзале.

Хотя всё это было предусмотрено и рассчитано, но всё же они чувствовали себя в неловком положении и невольно рассуждали между собою о том, что они разыгрывают теперь роль старших лакеев, и у кого же? У своей любовницы!

— Да. А если?

— Хорошо, если бы, если... только что-то невероятно, и я, признаюсь, боюсь, — возразил Эмбс.

— Ну, теперь бояться уже поздно; будь что будет! — отвечал Шенк.

Княжна между тем сидела в гостиной с Огинским.

Она говорила ему, что из доставленных им бумаг она убедилась, что за смертью старшей княжны Владимирской ей принадлежат . и титул, и права её, стало быть, ей должны фактически принадлежать Владимир, Суздаль и

Зацепинск и другие города, хотя бы на правах вассальных, или удельных, как это говорят по-русски, — прибавила она, кокетливо улыбаясь и играя глазами, — хотя..

И это «хотя» при её улыбке было многозначительно.

— Затем, видите, граф, — говорила она как-то сдержанно, — по близости своего родства с императрицей Анной Ивановной, я вправе рассчитывать и на дальнейшее своё возвышение. Но ведь нужно смотреть на жизнь практически. Для осуществления всего этого нужны прежде всего деньги. Поэтому, признаюсь, я была весьма обрадована сделанным вами сообщением, что мой дядюшка, богатства которого известны в Персии, обещает мне помогать. — Сказав это, она выждала, не скажет ли что посол, но как тот молчал, то она продолжала:— Вы меня извините, граф, но я не совсем понимаю и потому позволила себе просить вас разъяснить: какое отношение князей владимирских к Персии и каким образом один из моих родных дядей может быть персидским вельможей, тогда как другой был владетельным герцогом, вассалом

русской императрицы?

Граф Огинский, не зная подробностей иезуитской махинации и откуда они взяли эту княжну Владимирскую, знал очень хорошо, что о Персии тут нет и речи. Он знал, что пенсия даётся от имени будто бы персидского дядюшки князем Карлом Радзивиллом, паном коханко, втянутым в интригу против России иезуитами, которые, приняв инициативу кого-то из русских вельмож, решились выставить против Екатерины новую претендентку на её права; знал, что этим можно помочь Польше, отвлекая мысли Екатерины к внутренним делам, при удаче же поколебав её могущество и, во всяком случае, заставив забыть проект прусского короля о разделе Польши. Но как говорить этого было нельзя, то он и не знал, что отвечать. По счастью, ему пришёл в голову рассказ, слышанный им когда-то от князя Андрея Васильевича Зацепина о том, как его дед, при Петре Великом, был в нетчиках, чтобы не стать с кем-нибудь в версту. Придерживаясь этого рассказа, он импровизировал целую историю о жестокостях Петра, о том, как он приказывал обливать холод-

ной водой на морозе занебритье бороды и рубил головы за лишнее слово.

— Ваш дедушка, — говорил он, — желая спасти свою голову и свою бороду, бежал от этих ужасов в Персию и был с почётом принят персидским шахом. Пётр лишил его за то Владимирского княжества, которое отдал, впрочем, его старшему сыну, служившему в его потешных, стало быть, бывшему одним из его любимцев. В Персии ваш дедушка своими заслугами приобрёл общее уважение. Он защищал Азов, когда Пётр сделал на этот город первый раз нападение, отстоял его и за это персидским шахом был сделан правителем Азова, или, как там его называли, султаном азовским.

Почему графу Огинскому пришёл в голову Азов и с какой стати он отнёс его к Персии, на это, разумеется, он не дал бы ответа. По всей вероятности, потому, что он весьма был не силён в географии Востока и не знал ни одного города в Персии, кроме, может быть, Тегерана; а Азов просто подвернулся под язык.

— Младший сын вашего дедушки, родившийся в Персии, нынешний владетель Азова

и первый сардар при дворе персидского шаха, и есть ваш персидский дядюшка, дающий вам пенсию, — продолжал он. — Он вновь стал русским подданным, когда Азов был взят русскими, и императрица Анна Ивановна, ваша тётушка, оставила за ним его державные права как подвластного себе вассала, может быть, по просьбе вашего батюшки, князя Владимирского, женатого на её родной сестре, Парасковье Ивановне, хотя ваш дядюшка службу свою при персидском шахе оставить не пожелал.

Объяснение графа Огинского, при полном незнакомстве ни с историей, ни с географией, ни с этнографией России и Персии и при желании ему вполне верить, могло показаться вероятным, поэтому и не было отвергаемо княжной. Впрочем, она понимала прекрасно и то, что отвергать его весьма для неё невыгодно. Принимая это объяснение на веру, она получает пенсию; отрицая же, остаётся при сомнительных надеждах, которые могут представляться только в виде летящего в небе журавля.

Поэтому, после нескольких секунд молча-

ния, она сказала твёрдо, остановив на лице посла свой ласкающий, бархатный взгляд:

— Я принимаю условия, поставленные завещанием последнего из князей Владимирских-Зацепиных, выйду замуж не иначе как за одного из прямых потомков русского князя Рюрика, не раздроблю имения и во всём буду поступать согласно желанию завещателя. Я обязуюсь также принять в основание своих действий указания, которые были намечены мне аббатом д'Аржанто. Вместе с тем я желаю знать: встречу ли я от кого-нибудь поддержку, если начну действовать как княжна Владимирская, желающая вступить в свои права?

Ока кокетливо перегнулась на диване, на котором сидела, смотря вопросительно на Огинского своими глубокими и как бы влажными глазами.

Граф даже вздрогнул от этого взгляда. Видимо, он был сам не свой от влияния этой чарующей, кокетливой красоты.

— Начинайте, начинайте, княжна, — сказал наконец Огинский восторженно. — Разве может найтись человек, который отказал бы

вам в поддержке и помощи? Что касается меня, то моя жизнь, моё состояние я бы с радостью...

Но среди этой восторженности своей Огинский вдруг вспомнил, что ведь он не только Огинский, но посол, и посол великой державы, находящейся, по несчастью, под ударами и рассчитывающей для спасения своего на его дипломатические способности. Он невольно остановился, подумав: «С ней, право, забудешь даже свою дорогую отчизну». Потом он продолжал уже сдержанно, в другом тоне:

— Признаюсь, княжна, я не знаю таких, которые могли бы отказать вам в помощи. Если вы не найдёте себе поддержки здесь, во Франции, поезжайте в Польшу. У нас, на Литве, есть много вельмож, которые за честь поставят себе пожертвовать всем состоянием своим вам, вашим правам, вашей красоте. Вот хотя бы князь Радзивилл. Он, наверно, не пожалеет ничего. Притом же он, кажется, Рюрикович по роду, по крайней мере по женской линии, — прибавил он, улыбаясь, — так что, выйдя за него замуж, вы не нарушили бы

условия завещания. Я говорю это, однако ж, против себя. Нет человека, который, видя вас, пожелал бы, чтобы вы вышли замуж за другого.

— Вы шутите, граф, а мне нужно серьёзное и точное объяснение. Вопросы о соединении во мне персидского и русского происхождения и о поддержке, на которую я могу рассчитывать, составляют для меня в данную минуту положительно вопросы моего будущего.

— По первому из этих вопросов я объяснил вам всё, что допускает моя память, и обещаю вам приказать составить меморандум, насколько буду в силах собрать сведения. Говорят, ваш дядюшка виделся сам с Радзивиллом, и они уговорились...

Разговор продолжался долго, долго, а два любовника, обращённые в придворных, расхаживали взад и вперёд перед запертой дверью, зная, что их царица сидит за этою дверью чуть ли не с первым ловеласом Польши. Как быть? Взятся за гуж, не говори, что не дюж! Зато княжна Владимирская всё устроила, всё обговорила с любезным послом, и за

пенсией мог хоть завтра являться её гофмейстер...

Трубецкому, после того как он неудачно хотел присоединиться к отряду Екатерины ещё на походе, волей-неволей пришлось явиться к Екатерине. Он, не задумываясь, принял присягу. Государыня приняла его очень милостиво.

— Вы настаивали, князь, чтобы покойный император скорее короновался. Совершенно согласна с вами. Это должно быть первым действием вступающего на престол монарха, поэтому возлагаю на вас обязанности приготовить всё для моей коронации.

Трубецкой понял государыню: эти слова, милостивые, ласковые, возлагающие на него почётную и важную обязанность, указали ему, что, во время её царствования, он может рассчитывать на всё, даже на её милости, только не на власть. Царствовать ему при ней уж ни в каком случае не удастся. А Трубецкому не хотелось ничего, кроме власти. Он понял, что даваемое ему поручение, обозначая особое к нему доверие государыни и выказывающее её уважение к его знаниям, уму и рас-

порядительности, есть вместе с тем и почётная ссылка. Он должен был ехать сейчас же в Москву, оставя открытое поле для честолюбивых замыслов другим.

Трубецкой повиновался. Но в душе его кипела буря, и, вызванный, под предлогом прискания богатой невесты, в Москву каким-то купцом Белобородовым, князь Дмитрий Васильевич Зацепин, снабжённый всем, что нужно, и наэлектризованный внушениями и обещаниями, отправился из Москвы в заволжские степи. Куда? Зачем? — никто не знал, кроме, говорят, князя Никиты Юрьевича Трубецкого, хотя в Москве Дмитрий Васильевич с ним и не виделся. Но ведь Никита Юрьевич любил делать всё так, чтобы комар носу подточить не мог; удивительно ли, что он не захотел, чтобы кто-нибудь знал, что он даёт средства на какую-то секретную экспедицию.

Недаром, однако ж, говорят, что судьба — индейка. Как смолоду князю Никите Юрьевичу удавалось всё и он объегоривал каждого, так теперь всё пошло навыворот. Князь Дмитрий Васильевич никуда не доехал, никаких целей не достиг, никакой экспедиции не со-

вершил. По дороге на него напали черемисы ли, нагайцы ли, или свои русские разбойники, и напали не по одиночке, не крадучись, а посреди белого дня и целой шайкой человек в пятьдесят, и князь вместе со всеми его сопровождавшими был зарезан. Разбойники не задумались перерезать всех с ним бывших, чтобы разговору меньше было. И сгиб таким образом наш родовитый кутила-мученик, сгиб ни за денежку. Не придётся ему больше ни псарей продавать, ни с молодым Бироном в карты играть и кучеров проигрывать; не придётся ни с дворовыми девками развратничать, одевая их Терпсихорами и помонами, ни богатой невесты отыскивать. Ну сгиб, так сгиб, от того хуже ли?

Хуже или не хуже, а над тем местом, где схоронили его со всеми его гайдуками и приспешниками, схоронили без всякого христианского напутствия, и теперь ещё, говорят, стоит чёрный, подгнивший, совсем наклонившийся, но не свалившийся ещё деревянный крест: дескать, помолись, христианин, за души убиенных! Да ещё, говорят, что воеводи-ха от пальца мёртвого князя Дмитрия Васи-

льевича с ума сошла и сожитель её, воевода, целую свою жизнь о том вспоминал и плакал. Да, видите, убили их разбойники, да и ограбили дочиста, даже рубашки со всех снимали; не сняли только с руки у князя Дмитрия Васильевича бриллиантовый перстень.

Понравился перстень воеводе, когда он на следствие с конвоем приезжал, велел снять; думал: «Жене подарю, у ней же руки жирные, полагаю, как тут впору будет».

А воевода с воеводихой были недавно обвенчаны и жили душа в душу.

Но перстень с мёртвого пальца не снимался. Делать нечего, велел воевода у покойника палец отрубить, да в шутку и привези к жене в подарок перстень вместе с пальцем.

Ругнула своего сожителя воеводиха за глупую шутку, но от перстня не отказалась, велела очистить его от пальца и принести к себе, а когда принесли — надела перстень на руку и забыла совсем о пальце. Князя Дмитрия Васильевича так без пальца и похоронили.

Только вот с той самой поры воеводихе стал всё покойник мерещиться; и во сне, и наяву покоя не даёт. Придёт покойник, погля-

дит таково ласково и скажет тихо:

— Агафья Трифионовна, а где же мой палец?

У Агафьи Трифионовны волосы дыбом, а он всё своё, да таково жалостливо:

— Ты перстень возьми, Агафья Трифионовна, а палец отдай! Ну зачем тебе мой палец?

Агафья Трифионовна закричит благим матом, а покойник говорит ещё тише, ещё жалобнее:

— Не кричи, Агафья Трифионовна, а лучше скажи: где же мой палец?

«Что делать! — сказал себе Трубецкой, когда узнал о смерти Дмитрия Васильевича. — Неудача, полная неудача! Нужно другого поискать, да где такого другого сыщешь? Кутила был, но храбр и умён! Делать нечего, пока кто-нибудь попадётся подходящий, нельзя ли что-нибудь поделатъ с Иванушкой?»

Думал об этом Никита Юрьевич, очень думал, и не только думал, но и подвохи разные подпускал, но Только так подпускал, чтобы именно комар носу подточить не мог.

Ещё о чём думал Никита Юрьевич, очень думал, это — зацепинские капиталы.

«Ведь это состояние громадное, — рассуждал про себя Никита Юрьевич. — Это уже не состояние, а богатство, царское богатство! Меня называют богатым, но я, со своими десятью детьми, просто нищий против такого богатства. Теперь оно дошло, надобно полагать, миллионов до сорока, не считая художественных вещей. А дома, а дачи, особенно Парашино... Пстой, посчитаем: 22 тысячи душ, кому не надо, тот пять миллионов даст, особенно если продавать по частям; имения все богатые, в плодородных губерниях; завод на Каме — ну, миллион; кажется, земли одной прирезано что-то около 300 тысяч десятин. Теперь по билетам несомненной твёрдости в иностранных банках: амстердамском, гамбургском, английском и венецианском — лежало тогда, вот из завещания нарочно выписал, 8700000. Прошло с того времени двенадцать лет, нужно считать их, по крайней мере, в 14 миллионов, а может быть, и больше. Теперь доход с имений: каждый год вносится в те же банки по 375 тысяч, что в продолжение 12 лет составило, ну, бедно, миллионов пять; да завод вносит, не знаю сколько, но,

верно, тысяч 60— 70, и также двенадцать лет. Да вот ещё есть особые счёты с прусским королём, с герцогом вольфенбютельским да с владетельным князем лимбургским; наверное, всего миллионов на сорок будет. Да дома в Петербурге и Москве, дачи... Что и говорить, страшное богатство! Что перед ним богатство Шереметевых, Строгановых, Черкасских. И, главное, что всё больше в денежных капиталах, которым не грозят ни побегии крестьян, ни мор, ни голод... Да! С таким состоянием нам не страшна была бы и Екатерина! Ведь капитал — это сила, и ещё какая сила-то! Мы тогда и с нею, пожалуй, посчитались бы, и ещё как бы посчитались!

Хорошо, если бы было можно эти капиталы заполучить или хотя приблизить, не мне, так моим... Только как? Любопытно знать, приняла ли воспитывавшаяся в Париже княжна поставленные завещанием условия; можно бы Петра в Париж послать, не понравится ли? Он же у меня молодец! Правда, там в условии поставлен Рюрикович, да мы это переделаем! Ну а если княжна условий не приняла, тогда Юрий Васильевич Зацепин

прямой наследник, и говорить нечего! Его разве с Катей сблизить? Молода, правда; но год, другой пройдёт — и, не увидишь, будет невеста настоящая, а князь Юрий Васильевич не женат и, говорят, очень жаден. За дело о наследстве он взяться не сумеет и не выиграет его никогда. Можно с ним поговорить и условиться. Мало ли, и в четырнадцать лет замуж выдают. Нужно об этом подумать. Ку-сочек-то лакомый!»

И думал Никита Юрьевич, устраивая всё для коронации Екатерины и стараясь в то же время подыскать случай ей ножку подставить, действуя не от себя, а так, через своих многочисленных агентов в Петербурге и Москве и во всех концах России, и в таком виде, что агенты эти сами не думали, что они действуют под руководством князя Никиты Юрьевича и в его пользу.

* * *

Въезд в Москву Екатерины для коронации поражал своей торжественностью.

Сотни тысяч народа ждали государыню.

Триумфальные арки, депутации, приветственные речи встретили её поезд. Вдоль всего предназначенного пути была устроена шпалера из цветов и зелени. За шпалерой стояли разукрашенные, устроенные каждым домохозяином, галереи для зрителей. С одной стороны улицы на другую были перекинуты и висели фестонами гирлянды из цветов и зелени; везде виднелись, украшенные лаврами и цветами, вензеля Екатерины.

Все дома по Тверской улице, по которой проезжала Екатерина из Петровского-Разумовского, где она перед въездом в Москву останавливалась, были драпированы материями, коврами, флагами, пуками лент, украшены аллегорическими фигурами. Окна, балконы, даже крыши были полны народом, приветствовавшим криками радости проезжавшую в золотой, украшенной драгоценными камнями карете государыню.

Молодые девушки различных сословий, разряженные, разукрашенные, подносили ей венки и осыпали цветами её путь. На площадях встречали её депутации разных учреждений с поздравлениями, приветствиями, хле-

бом-солью, цветами и образцами товаров и продуктов местного производства. На папертях церквей её ожидало духовенство с крестами, хоругвями и иконами. Между тем звон сорока сороков московских церквей гудел в воздухе; сотни оркестров московских богачей и вельмож и хоры тысячи певцов сливались в торжественном гимне вступающей и заглушали собой гром салютующих орудий. Но всё это покрылось единодушным возгласом радостного народа, когда государыня вышла из раззолоченной кареты и распростёрлась ниц перед иконой Иверской Божией Матери.

— Да здравствует наша матушка, православная государыня, царица Екатерина Алексеевна! — вопил народ, заглушая и звуки музыки, и звон колоколов, и гром орудий...

Да, въезд был торжествен. Никита Юрьевич умел распорядиться. Но видно было, что и народ сочувствовал перевороту и не думал о том, кто, царствуя над ним, мечтал о своём дорогом Гольштейне.

Трубецкой действительно подумал и позаботился обо всём, чтобы государыне было хорошо и удобно. Её кабинеты, спальни, убор-

ные были устроены так, что она могла не заметить, что она не в Петербурге, не у себя в Зимнем дворце; помещение для прислуги, для экипажей — всё это было устроено удобно и прекрасно. Не было возможности устроить в Лефортовском дворце, где государыня останавливалась, церкви. Трубецкой, имея в виду, что императрица, кроме чувств своей религиозности, захочет непременно, в виду коренного русского населения, выставить себя истинно православной царицей, для которой близость церкви необходима, придумал соединить дворец с прилегающей приходской церковью, посредством вновь построенной галереи. А как церковь та была холодная, то из части трапезы и пространств, образуемых пролётами сводов, он придумал сделать тёплые комнаты, выходящие окнами в церковь. Словом, им было сделано всё, чтобы императрица была совершенно довольна. И действительно, Екатерина рассыпалась перед ним в благодарностях.

Между тем в военных кружках, как Петербурга, так и Москвы, начинался разговор о принце Иоанне; говорили, что ведь он хотя и

не короновался по малолетству, тем не менее он император законный, и по роду, как старший представитель дома Романовых, и по завещанию царствовавшей государыни. Правда, говорят, гвардия от престола его тогда отменила, так как его родители-опекуны в немцев очень верили и дали Бирону власть русский народ давить и мучить; но отменила она его для дочери Петра Великого. А нынешняя государыня что? Разве она Петра Великого дочь? Какое, она даже не русская!

Эти толки сперва шли глухо, в виде болтовни, неведомо откуда исходившей и передаваемой с уха на ухо; потом они начали усиливаться час от часу. И вот начались покушения в пользу Иванушки.

Начались эти покушения с людей тёмных, неизвестных, обиженных тем, что они были оставлены в Петербурге, как бы в кадрах гвардии, тогда как более счастливые их товарищи были взяты в Москву, должны были участвовать во всех торжествах коронации и попасть под тот дождь милостей, который во время коронации должен был на них пролиться.

Михайло Шинов, поручик, жаловался Се-

мёну Гурьеву, прапорщику, что его обошли: другие произведены, а он нет.

— Подожди, — отвечал Семён Гурьев, — может, и на нашей улице будет праздник! Собирается партия, — говорят, будто Иван Иванович Шувалов во главе, — хотят принца Ивана опять в императоры поднять. Тут, говорят, и Голицын Иван Фёдорович, тот, которого покойный государь очень любил, и троюродный дядя мой, бригадир Александр Григорьевич Гурьев; говорят, наших там много.

— А Никита Иванович Панин там? — спросил Шипов.

— Про того не слыхал. Верно, там! Говорили про какого-то знатного Никиту, да, говорят, ещё не высказывается. А ещё, говорят, Корф свою партию тоже собирает. Вот и случай.

Скоро и другой случай вышел.

Сердился очень, что остался в Петербурге, измайловский поручик Пётр Хрущёв и говорил о государыне неприлично. Он говорил, что на государстве ей не быть, так как великого князя, хотя он и малолетний, и миром помазать, и короновать следовало, ибо он от

государева корня отросток, а она что?

Подошёл к нему другой поручик, Степан Бибииков, и говорит:

— Что кипяتيشься, или в разыскных дел канцелярию попасть хочешь?

— Попаду, так и выпустят, — отвечал Хрущёв. — Ведь вон Пассека летось арестовали, да выпустили же, как сила взяла. Иди и ты к нам, не бойся; нас одних офицеров тысяча человек будет; во всех полках есть, и сами фельдмаршалы с нами.

Бибииков сказал это родственнику своему, измайловского полка капитан-поручику Домогацкому, а Домогацкий — Григорию Григорьевичу Орлову.

К Орлову дошло обо всём этом и с другой стороны.

Московского драгунского полка поручик Победимский заявил, что его приглашали в партию принца Ивана, за которым будто бы послан уже капитан Лихарёв. Говорил ему это поручик Чихачёв от имени измайловского капитан-поручика Ивана Гурьева, который будто пригласил к содействию Семёна Гурьева и Льва Толстого, заявляя, что делом руко-

водит Иван Иванович Шувалов; да и Измайловы, говорят, тут.

Начался розыск, без пыток, впрочем. Но никто из поименованных не мог указать, что он имел личное свидание с Иваном Ивановичем Шуваловым; о Никите же Юрьевиче Трубецком никто даже и не поминал, напротив, Иван Гурьев показал, что он говорил о них, собственно, для того, чтобы придать своей партии больше значения. Семён Гурьев показал, что слышал больше всё от Хрущёва, а Хрущёв, что он был только эхом общего говора, слышал как-то, идя с батальоном, сам же об участии каких-либо знатных лиц в их партии ничего не знает. На основании этих показаний и как в этой же болтовне упоминалось имя Никиты Ивановича Панина, который не мог, разумеется, ни мыслью, ни делом в их предположениях участвовать, ни Шувалов, ни Трубецкой к делу привлечены не были.

Разослали виновных в Якутск и Камчатку, но искра осталась под пеплом.

Немедленно по восшествии Екатерины на престол она выписала одного из опальных последнего времени елизаветинского цар-

ствования, бывшего канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, первого человека, который, видя полную неспособность к правлению великого князя Петра Феодоровича, ещё тогда проектировал, чтобы царственную власть передать Екатерине.

Бестужев приехал из своего Горетова, казалось, тем же разумным, деятельным и упрямым стариком и тем же пронырливым царедворцем, каким он был и до ссылки.

Весьма вероятно, что, выписывая его, Екатерина полагала возложить на него вновь обязанность великого канцлера, так как в Воронцова Михаила Ларионовича она не верила.

Поэтому она встретила Бестужева не так, как императрица, но, можно сказать, как близкая, душевно преданная родная.

— Батюшка. Алексей Петрович, научи и вразуми, помоги делом и советом моей неопытности! — были первые слова Екатерины при возвращении Бестужева.

Он был восстановлен немедленно в своём ранге; все ордена его, включая в то число и портреты императрицы, были ему возвраще-

ны. Даже выпущен был оправдательный манифест, коим объяснялось, что ссылка Бестужева состоялась по ложным наветам и была неправильна. Бестужев получил всевозможные атенции, всевозможное удовлетворение и стал пользоваться при дворе обширным влиянием, так как Екатерина почти по всякому важному делу обращалась к нему за советом. Тем не менее канцлерства он ждал напрасно. Канцлером она его не делала.

Оно и понятно. Дело в том, что Бестужев, оставаясь тем же, чем он и был, в своём Горетове усвоил не совсем удобную для канцлера слабость: любил выпить старик. Ну а выпивка — дело не совсем удобное для политической деятельности. К тому же отчасти по летам, отчасти, может быть, и по природе был он в выпивке очень слаб. Два-три бокала шампанского уже заставляли заминаться его язык. На беду, он этого не замечал и в это время особенно любил говорить и высказывать свои предположения; так что однажды, после парадного обеда, когда Бестужев особенно преследовал государыню этими предположениями, она, чтобы избавиться этих преследо-

ваний, должна была подойти к английскому послу лорду Букингему.

— Видели ли вы, милорд, когда-нибудь охоту за зайцами? — спросила Екатерина.

— Как же, государыня, несколько раз случилось охотиться! — отвечал тот.

— Не правда ли, моё положение очень походит на положение бедного зайца? Меня преследуют со всех сторон, просто атакуют предложениями, проектами и объяснениями, иногда, право, не совсем согласными с законами здравого смысла, и я поневоле должна укрываться где и как удобнее. Но что же делать? Выслушиваю и делаю, что могу, чтобы всех удовлетворить.

Ясно, что, заметив в Бестужеве указанную слабость, императрица не могла и думать о представлении ему канцлерства, хотя Воронцов отпросился для излечения болезни за границу и место оставалось свободным. Она назначила Панина исправлять эту должность, сознавая, что назначить на это место Бестужева невозможно, хотя, признавая его ум, она часто обращалась к нему за советом.

Но Бестужев этого не хотел признать. Он

приписывал, что его не хотят назначить по интриге, искал случая эту интригу разрушить и для того старался усилить своё придворное значение всякого рода искательствами и пронырством.

Вспомнив, как он возвысил своё положение при Елизавете, сблизившись с Разумовским, он подумал, нельзя ли и теперь повторить то же самое, сблизившись с Григорием Орловым. Для этого нужно сделать для него что-нибудь такое, чтобы заставило его вечно помнить; вообще что-нибудь такое, что поставило бы его до некоторой степени в обязательные к нему, Бестужеву, отношения.

«Но что же сделать? — спрашивал себя Бестужев. — Как что? А свадьбу!.. Да, свадьбу! — продолжал он, рассуждая сам с собой. — Если Елизавета могла выйти за Разумовского, то почему Екатерине не выйти за Орлова, который, не говоря о многих других причинах, уже и потому выше Разумовского, что не шокирует своим образованием, манерами, разговором. Что он ей нравится — в этом нет сомнения; но пойдёт ли она за него — это ещё вопрос. Как же сделать, чтобы пошла? А как

сделал Бирон, чтобы его, по завещанию, регентом назначили? Он заставил подать себе прошение, ради пользы отечества».

И, бюрократ от кончика волос на голове до ножных ногтей, Бестужев, по примерному делу, решил, что и они подадут прошение, в котором пропишут, что, озабочиваясь будущим любезного для всех нас отечества и по вниманию к тому, что великий князь один и слабость его здоровья повергает всю Россию непрерывным опасениям относительно её государственной будущности, они, по своей бесконечной рабской преданности, решились пасть к стопам её величества и умолять избрать себе супруга по своему желанию, не стесняясь ничем, с тем чтобы в случае — чего Боже сохрани! — несчастья с великим князем другие дети её величества могли быть наследниками её славного царствования.

Сказано — сделано; составлено было в этом смысле прошение и предлагалось к подписи.

Но тут будто чья невидимая рука толкнула пружину; всё заговорило. И заговорили не обойдённые поручики, не тёмные, неизвест-

ные никому личности запасных кадров, а ближайшие сподвижники Екатерины, способствовавшие ей в получении престола. Заговорили: Разумовский, Панин, Воронцов, Теплов — с одной стороны. Они, впрочем, только отказались подписать прошение. Больше заговорили с другой: братья Рославлевы, Ласунский; Хитрово — все те, которые головой рисковали, стоя за матушку царицу Екатерину Алексеевну, и считались приятелями Орловых.

— Орловы дают нас своею гордостью! — говорил Хитрово. — Мы одинаково трудились помочь нашей государыне, одинаково готовы были не жалеть жизни своей; а они и графы, и премьер-майоры гвардии, и камергеры, а мы? Что мы?

— Да. Хотя нам одинаково назначили по восемьсот душ, но к этим восьмистам душам они едва ли не каждый день получают прибавку; а я вот для устройства тех же данных мне восьмисот душ просил помощь — отказ, и ещё какой отказ! Небось Орловым отказу нет, всё само и без просьбы приходит! — прибавлял Ласунский.

— Да, но всё бы это ничего, если бы не нахальство их, особенно Алексея. Он теперь и говорит-то, будто милость какую оказывает! — прибавил младший Рославлев.

— О, это главный плут! Его искоренить нужно во что бы то ни стало! Григорий глуп, он бы не выдумал эдакой штуки — чуть не в цари лезть, не подговорил бы Бестужева. Это всё дело Алексея, — заметил старший Рославлев.

— Говорят, Панин спрашивал у государыни, с её ли согласия это делается. Она не отвечала, но сделала вид, будто это ей вовсе не неприятно, — заметил Ласунский.

— Если так, то нужно извести весь род Орловых. Просто убить их! — сказал Хитрово. — Представим государыне: пусть выходит замуж за иностранного принца или вон за Иванушку, а то за его брата — за кого хочет, только ни за которого из братьев Орловых.

— А если не послушает, то пусть на нас не пеняет, а мы Орловым служить не хотим! — сказал Рославлев-младший.

При этом разговоре были князь Несвицкий и Ржевский. Они сейчас же поспешили к Гри-

горию Григорьевичу Орлову и передали ему всё от слова до слова.

Екатерины в это время не было. Она, выполняя обычаи древних цариц, ездила по монастырям; была в Ростове, Ярославле, ездила к Кириллу Белозерскому, потом проехала в Воскресенский монастырь.

Григорий Орлов не задумался, покатил к ней. «Дескать, убить хотят, весь род извести, за то, государыня, что тебя больше души своей любим!» И поднялась история.

Пока эта история шла и разбиралась, обрушились невзгоды на Ивана Ивановича Шувалова. По университету были неправильно розданы суммы. Счёт пустой, Иван Иванович заплатил бы. Он пожертвовал на университет, верно, «трое против розданной суммы. Но Ададуров, который в царствование Елизаветы был сослан по инициативе Ивана Ивановича, теперь, будучи назначен временно заведующим хозяйством университета, в свою очередь, хотел удружить другу, выставя его чуть не казнокрадом. Государыня решила милостиво этот вопрос. Она, принимая во внимание сделанные Шуваловым на универси-

тет пожертвования, не велела взыскивать причитающейся с него суммы. Но он узнал, что она смотрит на него с презрением; говорит о нём как о презренной постельной принадлежности, часто необходимой, но... Он даже самому себе никогда не повторял того, как государыня его назвала.

«Тут ждатель нечего, нужно исчезнуть, чтобы не было хуже, — сказал себе Шувалов. — Поищем эту княжну Владимирскую. Может быть, с нею что-нибудь и сделаем», — продолжал он, обсуждая своё положение, и стал проситься за границу для поправки здоровья.

Императрица улыбнулась, когда читала его прошение.

— Встретилось что-нибудь забавное, ваше императорское величество? — спросил сидевший против неё с бумагами Панин.

— Да как же не забавное? — отвечала Екатерина. — Вот прошение, описывающее весьма красноречиво страдания от понесённых трудов, старости и болезней и доказывающее необходимость отдохнуть в тёплом климате, как вы думаете кого?

— Не знаю, государыня.

— Ивана Ивановича Шувалова!

— Шувалова? Да помилуйте, государыня, какой же он старик? Право, не знаю, но думаю, есть ли ему ещё тридцать лет? А если и есть, то разве с небольшим. В службе он, думаю лет двенадцать, четырнадцать, никак не более. Сами изволите знать, в чём состояла его служба. Впрочем, точно, может быть, он болен, хотя, право, желал бы я такой болезни. Видите, кожа от жира лопнуть хочет!

Государыня улыбнулась.

— То-то шутник Нарышкин меня всё уверяет, что Шувалов непременно каждый день два раза перчатки должен покупать. Купит утром — по руке; а вечером лопнут, рука расплзлась.

— Да-с, упитанный телец, ваше величество.

— Но всё равно. Я его отпущу; пусть едет, куда хочет. Чем меньше трутней, тем богаче улей. Кстати, скажите, что я увольняю от всех должностей и его милого кузена графа Александра Ивановича. Мне не нужно фельдмаршалов, которые не могут командовать даже ротой, и таких государственных людей, кото-

рые не понимают ничего, кроме плети и палки. А дорогой Шувалов даже с ребёнком не умел распорядиться иначе, как предписывая, в случае непослушания, бить его «палкою и плетью», и такое милое распоряжение он применил к этому несчастно рождённому принцу Ивану, которому перед тем присягал служить верой и правдой.

Между тем история с Хитрово разыгрывалась. Открылись новые обстоятельства. Узнали, что убийство Орловых, всех четырёх братьев, было подготовлено; что им помогала какая-то невидимая рука, которая сближала, слаживала, готовила везде помощников.

— Кто же это? Неужели Бестужев? — спросил императрицу Панин, успевший стать из покровительствуемого им — его врагом. — Я рассчитался с Бестужевым, — говорил он, — содействуя его возвращению, потом возврату почестей и имения, наконец, к полному его оправданию, и в ответ на это встречаю только каверзы да интриги против себя.

Дело в том, что на Панина государыня возложила управление делами иностранной коллегии вместо уехавшего канцлера Ворон-

цова, тогда как на это место метил Бестужев. Вот он и каверзничал против Панина, с целью его столкнуть.

Государыня задумалась.

— Не думаю, — отвечала она. — Хотя он старый, опытный интриган и неисправим в своём стремлении интриговать, но тут он ни при чём. С Орловым он, видимо, сошёлся.

— И это прошение он заготовил с соизволения вашего величества?

— А что вы думаете об осуществлении этого прошения? Говорите откровенно, граф, — продолжала Екатерина, заметив, что Панин затруднялся отвечать, — виновата, вы ещё не граф, но я вас жалую моим графом. Я потому вас так назвала, что манифест о пожаловании вас уже заготовлен. Говорите откровенно. Вы знаете, что я умею иногда глотать и горькие пилюли.

— Милость вашего величества превышает настолько мои слабые заслуги, что язык не находит слов для благодарности, — отвечал Панин, — поэтому я считаю себя обязанным говорить то, что думаю, хотя собственно о частной жизни вашего величества я никогда

не думал. Это вне сферы моих обязанностей, и я считаю своим долгом верноподданнейше сочувствовать исполнению всякого вашего желания. Но если уже воля вашего величества вызывает меня на откровенное объяснение, то скажу, что я бы никогда не позволил себе это вам посоветовать...

— Почему? — спросила Екатерина. — Разве вы тоже думаете, что государыня должна быть выше чувств, выше страстей, выше, наконец, физических требований... Разве тоже думаете...

— Я ничего не думаю, государыня; я говорю, что считаю себя обязанным сочувствовать исполнению всякого вашего желания. Я убеждён, что всё, что вы изволите предпринимать, исходит, как вы сами изволили сказать, из вашего стремления разлить возможно большее количество счастья и благоденствия между вверенными вам народами. Я только рассматриваю, сужу и, согласно вашему высочайшему соизволению, высказываю откровенно то, что ложится на душу при рассмотрении тех или других обстоятельств. Глядя на предложенный мне вопрос, я думаю: за-

чем государыне стеснять себя, зачем себя связывать? Разве лучше, если потом, как пришлось покойной государыне, расходиться. Притом, не могу умолчать, граф Алексей Разумовский, человек бесхитростный, был предан ей всей душой. Он скорее жилы позволил бы из себя вытянуть, чем пошёл бы против неё. Против графа Григорья Григорьевича я ничего не говорю; но его характер... Знаете, государыня, о его характере говорят, что бывают минуты, когда он не помнит себя, когда его бешенство доходит до исступления, представляет род болезни. А сближаться с таким характером бесповоротно — я бы не посоветовал никому, тем более своей всемилостивейшей покровительнице. Брат его Алексей скромнее, умнее, зато интриган, каких мало. Он верный исполнитель, хороший слуга, но ничьим другом он не будет никогда! К тому же — простите за откровенное слово, высказываемое с вашего же соизволения, — тогда роппинская история обратится в историю Макбета и всецело падёт на вас...

Екатерина вскочила.

— Разве я виновата в этой истории? Разве

я не хотела...

— Никто и не винит вас в ней, государыня! Всякий говорит про ваших слишком усердных, чересчур предупредительных слуг... Но когда случится то, чего в своих видах домогается Бестужев, то аналогия будет слишком близка. Я это высказываю, впрочем, государыня, как своё личное мнение...

Екатерина села и старалась успокоиться.

— Да! — сказала она наконец сдержанно. — Во многом и очень многом вы правы. Этого не должно быть и не будет никогда! Я вас уполномочиваю говорить это всем и каждому. Что же касается старого интригана Бестужева, то я ему слишком много воли дала. Я не знала, что его страсть к интригам не разбирает ничего. Постараюсь ввести его в свои границы. Но всё же остаётся вопрос: где же эта пружина, кто это невидимая рука, которая на каждом шагу старается вызвать мне противодействие; которая хочет, кажется, в стакане воды поднять против меня бурю, до такой даже степени, что успела возбудить против меня тех, на безусловную преданность которых я имела право вполне пола-

гаться? Я не говорю о Хитрово — он ещё мальчик, может быть, сам не понимает, что делает и что говорит. Но Рославлевы, Ласунский?.. Я не хочу их преследовать, я только удаляю их от себя.. Но желала бы я знать, чья рука их натравила? Кто это направляет всё так, что я должна лишаться людей, даже самых мне близких?

Она замолчала, замолчал и Панин. Ему нечего было отвечать: нигде ни одним словом, ни одним намёком эта рука не обнаружилась.

Двор переехал в Петербург. Екатерина, можно сказать, всю себя посвятила государству, желая водворить справедливость, порядок, благоустройство; тем не менее в обществе начали ходить какие-то тёмные слухи, какие-то странные пререкания. То из того, то из другого места стали приходить известия о самозванцах и производимых ими волнениях. Рассказы самые невероятные будто чудом проникали в общество и распространялись повсюду.

Екатерина рассердилась и издала манифест о врялях.

— Врут без меры, — говорила Екатерина своему статс-секретарю Ивану Перфильевичу Елагину. — Но есть какая-то невидимая рука, которая искусно направляет это враньё мне во вред. Хотела бы я поймать эту руку!

Несмотря, однако ж, на это желание Екатерины, она этой таинственной руки не поймала; но своей прозорливостью, своим великим умом она угадала её и приказала просить к себе Никиту Юрьевича Трубецкого.

VII

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.

Али-Эметэ устроилась в Париже под именем княжны Владимирской.

— Ну, мой милый мордашка, дорогой мой гофмейстер, будущий министр финансов, я посылаю тебя делать визиты за меня. Развози мои карточки всем этим господам, которые сделали мне честь своим посещением... я не то хотела сказать, — кому я сделала честь, дозволив себя посетить. Нужно быть вежливой и сейчас же отдавать визиты, тем не ме-

нее не должно забывать своего высокого положения и не бросаться из стороны в сторону самой. Ты — мой гофмейстер, поэтому в этом отношении можешь вполне заменять меня!

Али-Эметэ говорила это, сидя в своей заново раззолоченной гостиной и перебирая карточки, лежавшие в великолепной севрской вазе с рисунком, изображающим охоту французского короля Франциска I, устроенную им в честь знаменитой тогда красавицы Агнессы Сорель.

— К кому же ехать? — спросил её барон Эмбс, поправляя манжеты у рукавов своего гофмейстерского мундира.

— Прежде всего к княжне Сангушко. Она была так мила, что прежде всех приехала поздравить меня с прибытием и специально дала у себя бал, чтобы познакомить меня со здешним обществом. Нужно быть благодарной и не забывать одолжения, поэтому княгиня Сангушко у меня всегда первая. Она была у меня вчера, поэтому непременно нужно сегодня же завести ей мою карточку.

— А далее?

— Далее заезжай к Потоцкой, Бенигне,

она тоже такая милая! Сейчас же взялась мне услужить, достала ложу в Comedie Franfaise посмотреть этого приезжего англичанина, как только я сказала, что ещё не видала его и не могла ложи достать...

— А потом?

— Потом заезжай и оставь карточку у герцогини Лонгвиль, у мадам де Шеврез, у маркизы Сорей и у мадам де Дисмонд. У последней карточки моей не оставляй, а оставь, если хочешь, свою и скажи, что ты приезжал поблагодарить её от моего имени за посещение. Ну да мне тебя не учить; ты знаешь, как это сказать, — продолжала Али-Эметэ, оканчивая разбор карточек. — Да, ещё не забудь графини де Жернак. Она не только была у меня, но привезла драгоценный подарок: перстень, которым будто бы обручалась дочь какого-то моего предка с французским королём Филиппом которым-то. Какого предка и кто он был, я, право, не помню, хотя она и рассказывала подробно. Впрочем, всего лучше, вот возьми с собой таблетку. Здесь все записаны, у кого нужно быть. У герцогини Шуазель я сама была... А как хорош рисунок на этой вазе,

посмотри — королевская охота в честь Агнессы Сорель. Будут ли когда давать королевские охоты в честь Али-Эметэ?

— Уж хоть сказала бы — в честь принцессы Владимирской!

— Ну в честь принцессы Владимирской, не всё ли это равно? Да, ещё будешь проезжать по Сен-Жерменскому предместью, заезжай в отель Монтебелло и захвати с собой этого красивого поляка, которого мне представила мадам де Шеврез; привези его ко мне обедать. Как его фамилия?

— Чарномский.

— Да, пан Чарномский. Мне ужасно смешно бывает, какие глаза он мне всегда строит. Он смотрит на меня решительно как кошка на сырое мясо.

— А тебе весело его дразнить?

— Отчего же и не подразнить, если люди так глупы? Поезжай же, мой милый, и скажи Жозефу, чтобы он принёс мне сегодняшнее меню. Я сама взгляну, что там есть. Ведь сегодня обедают у меня маркиза де Ту и граф де Сакс. Нужно, чтобы было что кушать; они в этом знают толк. Поезжай же, милый, ско-

рей... постой, я дам тебе на прощанье свой поцелуй!

Ван Тоуэрс после нежного прощального поцелуя скрылся. Тогда она приказала позвать к себе барона Шенка.

— Ну вот и я! — весело сказал Шенк, входя и снимая с губок Али-Эметэ поцелуй, данный Ван Тоуэрсом при прощанье, хотя ответный поцелуй со стороны Али-Эметэ был весьма холоден. — Дело устроил, как следует, и мы опять с деньгами. Маке выдал 50 тысяч франков на год, с обязанностью дать отсрочку ещё на год, если заплатим проценты, с тем только, что когда ты воссядешь на владимирском престоле своих предков, то дашь ему орден.

— И ты взял деньги?

— Ещё бы, стану я откладывать! Получил, за вычетом процентов, 43 тысячи чистеньких. Из них взял и сейчас же отсчитал 10 тысяч за твою новую карету, о чём так приставали. Ещё, пожалуй, сделал бы скандал!

— Милый, милый! Ну поцелуй же меня за твои хлопоты... Крепче, крепче! Вот так!

И ответный поцелуй был совсем не такой

мёрзлый, какой дан был Шенку при здорованиях.

— Что ж ты сделал с остальными деньгами?

— Две тысячи возьму себе, а 41 тысячу передам барону Эмбсу, так что у тебя с полученной пенсией в кассе будет более 60 тысяч. Надеюсь, месяца на два, на три хватит?

— Разумеется, если пенсию будут выдавать аккуратно. А вот что, друг! У меня обедают маркиза де Ту и знаменитый маршал граф де Сакс. Мне хотелось бы угостить старика как следует — ведь он знаток и гастроном. Ещё, кстати сказать, мой сервиз, нужно говорить правду, порядочная дрянь. Помнишь, ещё тот, что ты купил мне в Лондоне? Ну разве можно в хорошем доме — я надеюсь, что у принцессы Владимирской хороший дом, — подавать на английском фарфоре? Съезди, друг, и выбери мне хорошенький сервиз северского или, ещё лучше, старого саксонского фарфора. Мне кажется даже, что лучше, если ты возьмёшь саксонский. Это до некоторой степени польстит маршалу, который не забывает, что он сын саксонского короля.

— Можно взять и тот и другой, для перемены!

— Это будет ещё лучше. Поезжай же, друг, и торопись! Мне хочется, чтобы нам подавали сегодня обедать на новом сервизе. Возьми же мой поцелуй на прощанье! Я очень, очень тебе благодарна, мой друг!

Барон Шенк ушёл довольный и счастливый. Метрдотель принцессы Жозеф принёс ей меню. Али-Эметэ его забраковала.

Но не успела она заказать новое меню, состоявшее из русской рыбы, индейской черепахи, английских барашков, персидских смокв, французских пулярдов и немецких компотов, как ей доложили: посол его величества польского короля граф Огинский!

Жозеф должен был исчезнуть, получив приказание, чтобы всё было самое дорогое и самое отборное.

— Проси! — сказала Али-Эметэ.

— Просто сгорал от нетерпения, считая минуты, пока вы, прекрасная, обворожительная принцесса, дозволите мне...

— За то вам и награда. Вы видите — я одна, разослала всех. Мой гофмейстер поехал

развозить мои карточки, одну из них бросит и у вас, а шталмейстер производит покупки... — отвечала Али-Эметэ, протягивая графу обе руки, которые тот страстно поцеловал.

— Стало быть, можно не ограничиваться только радостью вас видеть и прижимать украдкой к сердцу ваши милые ручки; можно надеяться получить большее, просить, например, дозволения вас поцеловать?

— Если вам не надоело повторять прошлое... — отвечала Али-Эметэ, опуская кокетливо глаза.

— О, несравненная принцесса моя! Если бы вы знали, в какой степени меня осчастливит ваша благосклонность, вы не говорили бы этого! Если бы мог, я жил бы и умер тут, у ваших маленьких ножек. Поцелуй ваш — мне такое счастье, о котором я не смею даже думать, как о мечте...

Между тем он страстно обнимал и целовал её.

— Довольно, довольно! Вы знаете поговорку: хорошенького понемножку, а то и хорошее надоест!

Говоря это, она обняла, однако ж, краси-

вую голову графа, страстно посмотрела ему в глаза и с увлечением его поцеловала. Потом вдруг живо оттолкнула его от себя.

— Однако мы забываем, что в гостиной не место для свободных излиятий чувства! Идите ко мне! — И она позвонила.

В дверях показался комнатный.

— Скажите швейцару, чтобы никого не принимали. Я занята с послем его величества польского короля. Моих гофмейстера и шталмейстера, если приедут, попросить подождать в столовой, а меня не беспокоить!

Когда комнатный скрылся, она игриво и с особой лаской подала свою ручку графу, и тот, обвив рукой её талию, исчез за ней в гостиной.

Они вошли в кабинет.

— Послушайте, Мишель, — сказала Али-Эметэ, или, как теперь она называла себя, принцесса Владимирская, когда она с графом Огинским сидела уже в гостиной, в самой приличной и сдержанной позе и когда было разрешено принимать всех без исключения. — Кто это маркиз де Марин?

— Маркиз де Марин? А вы его как знаете?

Это один из весьма богатых и имеющих хорошие связи и отличное положение здешних господ, большой поклонник женской красоты и, несмотря на свои уже за сорок, нередко нравящийся женщинам. Он нигде не служит, занят только своими удовольствиями, вообще представляет из себя довольно устаревший уже теперь тип вивёров времён молодости ныне царствующего короля. Но зачем он вам понадобился и как вы его узнали?

— Мне его представила молодая Браницкая на прошлой неделе на балу у английского посла. Потом он был у меня и просится ко мне в камергеры. А как место камергера у меня не занято, то я думала...

— О! значит, крепко же вы задели нашего сорокалетнего донжуана; ведь он отказался от камергерства при своём короле, чтобы не отвлекаться посторонними от удовольствий занятиями. Но кого же и не заденет блестящая и очаровательная красота моей прелестной принцессы Елизаветы, ведь моей, не правда ли? — спросил граф Огинский и, взяв её руку, поцеловал её и устремил на неё пристально свой вопросительный взгляд.

— Я думаю, ты сам это знаешь! — отвечала Али-Эметэ страстным полушёпотом. — Только, пожалуйста, не нежничай здесь. Помни, что здесь ты посол своего короля, а я принцесса Владимирская, надеющаяся со временем быть чем-нибудь больше. Там у меня другого рода дело. Не смотри так сердито, это тебе не идёт! — Она провела своим мизинцем по его лицу от лба до носа и прибавила:— Не хмурься!

— Меня занимает этот де Марин. Ясно, что он влюбился в тебя до безумия, потому что — нельзя не сказать правду — делает ужаснейшую глупость, поступая на службу к тебе, когда ты ещё только претендентка на что-то; тогда как ему всегда открыты двери к поступлению на службу в своём отечестве, у своего короля. Теперь вопрос, как ты...

— Что ж, ты уж не ревновать ли меня хочешь? Вот чего бы не ожидала! Знаешь, граф, это не смешно, а глупо. Ты посмотри на себя и на него, потом и ревнуй. Ведь ты знаешь, что я твоя; чего же ты хочешь ещё?

— Так-то оно так; но когда счастлив, то невольно боишься за своё счастье, а женщи-

ны так непостоянны, так переменчивы.

— О! да ты Отелло, просто Отелло! — смеясь, проговорила княжна, играя своею маленькой ножкой. — И ты заслуживаешь, чтобы я тебя наказала, взяв к себе этого маркиза. Не стыдно ли, а? Не стыдно ли? Терпеть не могу ревнивцев...

— Ну полно, полно, моя очаровательница! Ведь это я только так сказал; ну помиримся, я прошу прощения... дай ручку!

— Да, вот моя рука; только всё же я возьму к себе маркиза. Я хочу, чтобы ты всегда помнил свою выходку ревности и никогда даже в мысли своей не допускал... Ведь мы не связаны между собою никакими обязательствами? Ты женат, и я не спрашиваю тебя о графине Огинской? Чего ж ты хочешь от меня? Я хочу быть свободной, как ветер, и если дала тебе счастье мной пользоваться, то я думаю, что за это ты можешь меня только благодарить и ровно ничего не можешь требовать! Кстати, ты не приедешь ли ко мне обедать сегодня? У меня обедают старый маршал и маркиза де Гу, будет и маркиз де Марин, которого я хочу узнать поближе прежде, чем

дам ему решительный ответ.

— Нет, я должен сегодня обедать у герцога де Шуазель. Я везу к нему князя Карла Радзивилла. Кстати, Радзивилл просил меня и тебе его представить?

— Что ж, я буду очень рада; я пришлю к тебе, когда смогу его принять. Кстати, у меня сегодня обедает кто-то из его свиты, красивый такой, похож на тебя... ты ещё не вздумаешь ли и к нему ревновать?

— Ну полно, злая, ведь ты простила меня! Когда же мы увидимся?

— Когда? Я напишу... Теперь в самом деле пора одеваться к обеду! До свидания...

Граф уехал. Она осталась одна, но не пошла сейчас же одеваться к обеду, а села за письменный стол и задумалась. О чём задумалась она, Бог её знает. Разве можно спрашивать у хорошенькой женщины, о чём она думает? Проносились ли перед ней картины её первой молодости, её детства или её дальнейшие похождения в Берлине, Генте и Лондоне, — похождения, сопряжённые с роскошью жизни, полной мотовства, но и с приключениями проходимства, безымянности,

необеспеченности? Или она думала о будущем? У ней теперь есть имя, именно то, которому она когда-то особенно завидовала; есть обеспечение в пенсии от какого-то неизвестного ей дяди, за верность которой ручается привязанность к ней польского посла, — привязанность твёрдая, она в этом не сомневается. Она убедилась в том, что мужчина, испытавший негу её ласки, не забывает её никогда; что он собой и всем, что есть дорогого для него на свете, что есть святого в душе, будет жертвовать за эту негу, необъяснимую, непонятную, но чувствуемую. И чтобы ни сделала она, как бы ни отталкивала она его, как бы ни профанировала его чувство, он останется при ней всегда, вечно будет служить ей, будет ей жертвовать всем в мире. «Он будет рабом моих прихотей, — говорила она себе, — и должен быть рабом за те редкие минуты наслаждения, которые я даю ему!» И эта мысль её не была только её самолюбивой фразой. Она исходила из всей глубины её убеждения. Она верила, что мужчина, которому она почему-либо вполне отдаётся, не может никак оставить её, как бы она себя ни держала, что-

бы ни делала. Ван Тоуэрс и Шенк — живые тому примеры. Один бросил жену, детей, бросил к её ногам два состояния и теперь проходимцем, беглецом без имени пресмыкается у её ног; другой для неё бросил невесту, родных, прожил состояние и теперь тоже ползает у её ног. Она не сомневается, что если захочет, то сделает то же и с Огинским. И он из литовского напольного гетмана, польского магната, королевского посла обратится в барона Эмбса, который будет бояться дневного света, чтобы выйти на улицу. Но она не сделает с ним этого. Он для неё нужен на том месте, на котором теперь, хоть от неё зависит сделать с ним всё, что она захочет. И вот доказательство: сегодня она уже заставила его сделать злоупотребление. Он вследствие её настояний и просьбы выдал ей по праву литовского напольного гетмана безымянный патент на чин капитана, который она, принимая во внимание несчастное положение Ван Тоуэрса, подарит ему, вписав имя барона Эмбса, который станет таким образом не безымянным беглецом, самозванцем, а капитаном литовских войск, бароном Эмбсом, действи-

тельность чего удостоверится польским посольством. Вспоминая своё сближение с Огинским, она невольно улыбнулась той его уверенности, которую она в нём укрепила, что Ван Тоуэрс и Шенк были не более как преданнейшими дворянами княжеского владимирского дома, оставшимися верными его представительнице, несмотря на все гонения, несмотря на все преследования её коловратной судьбы.

Все эти рассуждения, воспоминания, колебания Али-Эметэ закончила тем, что подписала диплом на звание интенданта своего двора и камергера маркиза де Марина, чтобы отдать ему после обеда. «Он богат, знатен, независим, — думала она, — чего же больше?» Подписав этот диплом, она пошла одеваться к обеду; а через неделю у называемой княжны Владимирской, Али-Эметэ, было уже не три любовника, а четыре, причём, смешная вещь, этот её четвёртый любовник, маркиз де Марин, был вполне убеждён, что он первый счастливец, который, несмотря на свои, восьмой уже год текущие, сорок лет, умом, ловкостью и искусством сумел победить эту неж-

ную, мягкую, но гордую и чарующую красоту.

В то же время и за тем же обедом красавец Чарномский чувствовал, что он весь не свой, что он без ума, без памяти от очаровательной княжны; что он готов умереть за одну улыбку её. И пока старый волокита маршал, маркиз, граф де Сакс, бывший жених сперва герцогини курляндской, ставшей потом русской императрицей, Анны Ивановны, а после Елизаветы Петровны, с ней любезничал, Чарномский бросал на неё самые страстные взгляды, но не обратил ничем на себя ни малейшего внимания. «Этот пригодится для будущего! — думала Али-Эметэ. — Теперь мне нужен знатный и богатый маркиз, мой камергер».

Став на ступень любовника и камергера Али-Эметэ, принятой в парижском обществе под именем княжны Владимирской, маркиз де Марин сам в себе чувствовал, как он незаметно, день ото дня, можно сказать с каждой минутой, становился более и более её рабом. Ни эксцентрические выходки, ни ревность, ни равнодушие, ни явное стремление к мотовству на чужой счёт не отводили его от неё, напротив, всё притягивали более и более. Он

видел, что её отношения с баронами Эмбсом и Шенком странны; что она обходится с ними, по крайней мере в своём кружке, так же, как и с ним; но он подумать даже не смел о том, как они обходятся между собой, когда находятся с глазу на глаз. Да о чём было и думать? Ведь он не в силах был бы от неё отказаться, хотя бы и знал, что, кроме этих двух, у неё есть ещё десять любовников; не смел бы даже упрекнуть её из опасения, что она его прогонит. Так о чём же тут было думать? Думать было тут не о чем, а приходилось проматывать своё состояние, когда ей недостаёт на что-нибудь из самых безумных прихотей мотовства. «Ну, что ж делать? Будем проматывать, благо у нас нет наследников и не для кого беречь! Ну раб, совершенный раб, разве может быть какой-нибудь раб закрепощён более, чем я?» — говорил он. И точно, он был совершенным рабом прихотей Али-Эметэ.

Маркиз де Марин всё это чувствовал, понимал, — понимал, что он летит в пропасть, и не в силах был себя преодолеть.

Он понял вполне слова Али-Эметэ, сказанные ею, когда как-то в обществе осуждали од-

ну девицу, которая, положившись на честность своего жениха, отдалась ему до свадьбы, и тот, позабавившись с ней в течение нескольких недель, потом от неё отказался. А жених был выгодный, партия блестящая.

— Удивительное дело, — сказала старая маркиза де Ту, — девушка, как бы она ни была молода и неопытна, не может не понимать, что мы хороши для мужчин только тогда, когда представляем нечто недоступное, когда стоим в их глазах в виде идеала; а что едва мы сойдём с этого пьедестала, то обращаемся для огромного большинства из них, извините за выражение, просто в постельную принадлежность, которую иногда весьма приятно переменить!

— Не знаю, — отвечала княжна Владимирская. — Я понимаю, что от меня могут отказаться, пока я равнодушна и неприступна; но не думаю, чтобы кто-нибудь мог отказаться, когда я буду к нему добра!

— Да ведь вы ещё не понимаете, княжна, что такое значит, быть доброй как женщина, — заметил маршал де Сакс. — А когда узнаете, так поймёте, что такая доброта до

свадьбы может расстроить свадьбу.

— Может быть! — отвечала Али-Эметэ, потупившись, успев, однако ж, украдкой взглянуть на маркиза де Марина.

«Да, — подумал он, — к кому она была хоть один раз добра, тот не забудет этого никогда!»

Но на четырёх любовниках дело, разумеется, не остановилось и не могло остановиться.

— Ваша светлость, — докладывал принявшей на себя имя княжны Владимирской камергер и интендант её двора маркиз де Марин, — вам просит дозволения представиться обер-гофмаршал владетельного герцога Гольштейн-Лимбург де Линанж, граф Рошфор де Валькур.

— Что ж, я очень рада видеть графа; мне говорила о нём мадам де Креси и очень хвалила его...

— Когда прикажете назначить ему аудиенцию?

— Хоть завтра в два часа, а то послезавтра; я, кажется, никуда не звана, я приглашу его обедать!

На другой день гофмейстер барон Эмбс в присутствии камергера маркиза де Марин

представлял светлейшей княжне графа.

Граф Рошфор де Валькур был потомком одной из знаменитейших фамилий Франции. Рошфоры были известны ещё во времена карловингов; не один из них положил свою голову, сражаясь за отечество, не один был сражён и на турнирах в честь красоты. Когда Ришелье стал проводить идею централизации Франции, Рошфоры, избегая участи Сен-Марса, предпочли переселиться в Германию, в одно из небольших немецких княжеств, где они могли быть уверенными, что права их будут неприкосновенны. Выбор их остановился на княжестве Лимбург-Стирум-Оберштейне. Они там и поселились и с тех пор постоянно занимали место княжеского обер-гофмаршала, вступая в него как бы по наследству, так что после отца вступал сын, после сына внук, что, вероятно, продолжалось бы весьма долго, во всяком случае до рейнского союза и разгрома Германии Наполеоном, если бы одному из Рошфор де Валькуров не встретилась в жизни наша Али-Эметэ, принявшая имя княжны Владимирской.

Граф уже был немолод. При жизни отца

своего, бывшего также обер-гофмаршалом имперского князя, он служил во Франции и оставил свою службу только несколько лет назад, когда его отец умер и он должен был занять его место при своём владетельном князе, графе гольштейнлиббург-стирум-оберштейнском. Валькуры были нельзя сказать, чтобы очень богаты, но и небедны, поэтому могли поддерживать молодого человека, в бытность его во Франции, в самом высшем парижском обществе. Он участвовал почти во всех королевских увеселениях и был принят в первых салонах Парижа. Легкомыслие общественных отношений того времени отразилось и на его понятиях, и на его образе жизни. Ему было тоже около сорока лет, но он был не женат; изношенный, можно сказать, смолоду, он никого не любил и не думал любить. Немножко родовой гордости, полнейший эгоизм и в высшей степени утончённая, светская любезность — весь нравственный склад графа Рошфор де Валькура, изъявившего желание представиться нашей принцессе.

Это мы рассказываем для того, чтобы читатели видели, что представляющийся княжне

обер-гофмаршал немецкого принца был не заезжий провинциал из какого-нибудь глухого немецкого города, а истый парижанин, такой же парижанин, как и другие, принадлежавшие к избранному парижскому обществу того времени.

Представляясь по обычаю и проговорив несколько обыкновенных при таком случае фраз, граф де Валькур вдруг смолк. Он почувствовал, что делается как-то невыразимо счастливым под влиянием этих ласкательно смотревших на него бархатных глаз, под влиянием этой нежной, скромной и невыразимо приятной улыбки, мелодического голоса и немножко медленных, как бы ленивых, вместе чрезвычайно мягких и грациозных движений стоявшей перед ним княжны. Он не помнил ни что он говорил далее, ни как окончилось представление. Он уехал не помня себя; он помнил только, что завтра опять увидит её, опять будет всматриваться в эти всепроницающие глаза, вслушиваться в этот мелодический голос.

Через несколько дней, после обеда, обер-гофмаршал имперского графа фон Гольш-

тейн-Лимбург, граф Рошфор де Валькур предложил свою руку и сердце принявшей на себя имя княжны Владимирской, обещая всего себя посвятить её счастью.

Али-Эметэ не отказала. Она просила позволения списаться с дядей, объясняя своё положение и свою от него зависимость. Она говорила, что теперь живёт только получаемой от него умеренной пенсией в 10 тысяч франков в месяц, несмотря на то что в России ей достаются четыре княжества, громадные капиталы и даже, что, по происхождению своему, она имеет право на русский престол, а её дядя, султан азовский, обладает несметными богатствами в Персии.

Перед таким заявлением своей очаровательной невесты де Валькур должен был склонить выю и с чувством бесконечного восторга заявить, что и он на женитьбу должен просить дозволения своего сюзерена. Но княжна ему сказала, что десять тысяч в месяц для неё недостаточно, так как месяц имеет 30 дней, и что она поэтому имеет долги. Де Валькур предложил ей те наличные средства, которыми располагал. Но, разумеется, его

средств было недостаточно, чтобы покрыть расходы её мотовства; поэтому, надеясь на благоприятный ответ своему предложению, он обещал, что, по возвращении в Лимбург, доставит ей более или менее значительную сумму. Это обещание обратило на себя внимание Али-Эметэ, которая рассудила, что ей необходимо, чтобы обещанная сумма была ей выслана, а для этого нужно, чтобы и он был её рабом, как и другие. «Ну что ж? — думала она. — Одним больше или меньше, не всё ли это равно? Даже можно сказать, чем больше, тем лучше».

Через неделю граф Рошфор повторил своё предложение; Али-Эметэ решила об этом подумать.

Вместо всякого списывания с дядюшкой, к которому она не знала как и писать, она направилась прямо к Флавио д'Аржанто, который уже приучил её обо всём советоваться с ним.

К великому её изумлению, она встретила со стороны иезуита хотя сдержанный, но сильный отпор.

— Если ваша светлость находит возмож-

ным выйти замуж за подданного, то нечего и говорить. Графы Рошфор де Валькуры хорошая, старинная фамилия и ваш жених принадлежит к верным сынам святой католической церкви, поэтому мы не можем встретить препятствия, хотя, по моему взгляду, ваше замужество стеснит ваши действия...

— Нужно писать к дядюшке; иначе может случиться, что моя пенсия...

— Княжна, ваша пенсия обеспечена, пока вы держите ваше слово отдать всю себя, в интересах церкви, в наше распоряжение. Вы, как умная женщина, вероятно, поняли, что пенсия ваша производится никак уж не из персидских богатств.

— Что это значит?

— Значит, княжна, очень просто: пока вы останетесь при своих святых намерениях, мы всегда к вашим услугам и охотно готовы во всём помогать вам. Но будет ли выдаваться вам эта пенсия, без нашего содействия, по вашем замужестве — это другой вопрос. Это будет зависеть от того, в какие отношения вы поставите себя после свадьбы и как будете действовать...

Хитрый иезуит хотел указать ей полную её зависимость от ордена, с тем чтобы располагать ею вполне по своему произволу.

Но это указание повело к результатам совершенно противоположным.

— «А! — подумала княжна. — Так при первом нарушении ваших приказаний вы меня выкинете на улицу. Не хочу же, не отдамся вам как игрушка...»

Поэтому, спустя некоторое время из приличия, она дала слово де Валькуру, прося озаботиться присылкой возможной суммы, для неё совершенно необходимой.

Между тем, замечая, что Валькур тает от каждого её взгляда, она нашла в нём редкое в то время рыцарское достоинство — не лгать, и, будучи уверена, что все, кто с ней сблизается, становятся её рабами, закрепощёнными больше, чем какие бы то ни было крепостные, — она решилась сблизиться и с ним.

«Он будет мне благодарен, — думала она, — будет думать, что я увлеклась так от пылкости любви моей к нему».

Как она рассчитала, так и вышло. Валькур, невообразимо счастливый её лаской и уступ-

чивостью, почти без памяти полетел в Лимбург, давая себе слово не жалеть ничего и доставить необходимую ей сумму.

А долги росли да росли. Кредиторы начали уже угрожать скандалами. Для Али-Эметэ оставалось одно средство избавиться от таких скандалов — средство, используемое ею в Берлине, Генте и Лондоне, — это бежать. Она и убежала со всей своей свитой во Франкфурт.

VIII

ГРАФИНЯ ГОЛОВКИНА

В Москву приехала странная женщина. Она приехала по Ярославской дороге, потому что, надо полагать, заезжала в Сергиеву лавру. Она приехала на тройке в простой рогожной кибитке, подбитой внутри мехом красной лисицы. Кони её, чудо-кони, казалось, из огня вынесут; они были разряжены и расцвечены всем, что могло прийти в голову досужему любителю конских украшений. Серебряный набор, подобранный бляха к бляхе, на шлеях, хомутах и уздах, сверкал зеркалом на

их вороной, гладкой и тоже как чёрное зеркало отливающей шерсти, свешиваясь с поперечин шлеи чуть не до колен и звеня привешенными к нему побрякушками и бубенчиками, вылитыми из чистого золота. В гриву и хвосты коней были вплетены разноцветные цветы и ленты из шёлка и золота; подседельник и дуга обвивались золотым ободком; удила были золотые; пряжки, кольца раззолочены и украшены кистями и выделанными из гаруса и шёлка цветами. На дуге висели два серебряных колокольца, которые во время скорой езды вместе с бубенчиками, лязганием бляшек и привесок издавали такой звон, что можно было оглохнуть.

Она была одета в тулуп из дорогих соболей, покрытый грубой крашениной; на ногах были простые валяные кенги, но они в кибитке были обёрнуты дорогой турецкой шалью и покрыты шёлковым персидским ковром. На голову был надет волчий не то малахай, не то скуфья, из-под которой выбивались привески русской кички из крупных бурмицких зёрен; шея была обёрнута грязнейшим в мире полотенцем, приколотым к её груди

драгоценной бриллиантовой булавкой. В руках у неё были чётки, сделанные из можжевельных ягод.

На облучке кибитки сидел кучер, с чёрной, несколько поседевшей бородой, в армяке из оленьего меха, подбитом белым зайцем и опушённом бобром, в высокой медвежьей шапке, оленьих же рукавицах и серых высоких валенках, обшитых волком. С другой стороны кибитки, тоже на облучке, сидел выездной лакей, в высокой бобровой шапке, в шинели тёмно-зелёного сукна, подбитой волком, и с множеством воротников, один под одним, идущих от самой шеи ниже локтей, и тоже в оленьих рукавицах и таких же, как у кучера, сапогах. Лакей был бритый, хотя, проезжая мимо церквей, крестился, складывая пальцы в двухперстное крестное знамение.

Повозка летела по улицам Москвы; пристяжные вились в кольца, осыпая встречных сухим снегом морозного утра; коренная частой рысью, можно сказать, отбивала терции. Кучер поводил рукой по воздуху, оживляя бег лошадей; колокольцы заливались.

— Стой, стой! — вдруг раздалось из повоз-

ки. — Стой, Ефим, Ефим, стой!

Звон колокольцев и бряцанье бубенчиков и блях были так сильны, что Ефим не скоро услышал; наконец остановился.

Из кибитки живо выскочила ехавшая и бегом бросилась назад.

Кибитка стояла, лошади мялись от нетерпения.

Пробежав несколько шагов, ехавшая в кибитке подняла негодную, полузамерзшую собачку, визжавшую от холода и с переломленной ногой. Схватив собачку, она завернула её в свои соболя, вернулась, села, и кибитка опять понеслась.

Через десять минут опять «стой!».

— Ты озябла, бедная? — спросила ехавшая у старушки, чуть ползшей к церковной паперти, чтобы на обычном месте просить милостыню.

— Озябла, кормилица, по старости очень озябла! — отвечала старуха, одетая в заплата́нный зипун выношенного серого сукна и завёрнутая в какое-то тряпье.

— Так вот завернись! И она отдала ей с ног свою турецкую шаль.

— Спасибо, кормилица, дай тебе Бог здоровья, спасибо! И голодно-то как, со вчерашнего дня... — говорила старуха, не понимая ценности сделанного ей подарка.

Барыня, услышав о голоде, оторвала от своей подвески крупное бурмицкое зерно и подавала ей.

— Продай и купи себе хлеба! — сказала она.

Кибитка понеслась далее.

Впрочем, действительная ценность сделанных старухе подарков ей не досталась. Скокочивший с облучка лакей подбежал к ней и не то с насмешкой, не то с участием сказал:

— Ну на кой чёрт тебе это, старуха, разве на бал в своих чёботах собираешься? Продай!

— На бал, не на бал, а всё, думаю, дадут что-нибудь. Платок хороший, да бусина, видишь, какая!

— Вот я дам пять целковых; отдавай, старуха, в городе едва напрочишься. Ещё, пожалуй, в кутузку попадёшь; скажут — украла!

Старуха, которая пяти целковых у себя разом в целую жизнь не видала, не верила своему счастью и отдала за них тысячную шаль и

крупное бурмицкое зерно.

Лакей улыбнулся и, по своей великой щедрости, накинул ещё целковый без торгу.

Карета въехала на Никитскую и остановилась против узорчатого, расписного дома, принадлежавшего когда-то знаменитому кесарю Фёдору Юрьевичу Ромодановскому.

— Графиня приехала! — раздалось в доме, и всё засуетилось и бросилось ей навстречу.

Графиня вышла из кибитки, как-то рассеянно поглядела на дом, перекрестилась, взглянув на недалеко стоявшую приходскую церковь, надела на стоявшего подле, снявшего шапку и просившего милостыню нищего свой малахай, а на стоявшего подле мальчика грязное, снятое со своей шеи полотенце и хотела было идти в подъезд, как её окружила прислуга, выбежавшая из дома.

— Матушка, графиня, вас ли мы видим? Дождались мы этой радости. Дайте вашу ручку поцеловать! Не простудите головку! Родная, кормилица наша, и ждали-то мы, и молились... Привёл-таки Бог! Позвольте вашу ручку поцеловать! Намаялись, чать, родимая!

Кормилица вы наша!..

И прислуга понесла свою барыню наверх на руках.

Барыня молчала, смотря на всех рассеянно. Её поставили среди её гостиной. Она постояла, посмотрела кругом, потом как бы механически пошла далее, прошла столовую и буфетную палаты и вошла в образную.

Образная была небольшая комната, обставленная кругом образами и увешанная теплившимися перед ними лампадами. В углу, за аналоем, стоял в золотой ризе большой, старинной иконописи образ Спасителя в терновом венке; перед ним теплилась лампада, а на аналое стоял из чёрного дерева с серебряным ободком, крест.

Общая тишина, торжественность обстановки, теплившиеся лампадки, запах ладана произвели некоторое впечатление на вошедшую. Она прослезилась. Потом взглянула на образ, стала на колени, перекрестилась и распростёрлась ниц.

Люди подошли, она была без чувств.

Подняли графиню, положили в постель, послали за докторами.

Приехавшая была графиня Екатерина Ивановна Головкина, урождённая княжна Ромодановская. Единственная дочь единственного сына знаменитого князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского, председателя пятичленного совета, управлявшего царством во время путешествия Петра за границу, потом начальника Москвы, Преображенского приказа и тайной канцелярии, имевшего титул величества и право производить в чины. Крестница самого государя, она росла, лелеемая и отцом, и дедом и оберегаемая целым сонмом приспешниц и рабынь. Казалось, на её долю выпало всё, чтобы её жизнь была завидной для всех. Несокрушимое здоровье, редкая красота, игривый, весёлый и лёгкий характер, неисчерпаемое состояние и положение деда, первого после царя человека в империи, делали её как бы привилегированной счастливицей будущего. Её положение не изменилось и со смертью деда. Отец вступил на ту же стезю, получил то же звание князя-кесаря и титул величества. Двадцати лет она вышла замуж, и по любви. Муж её, граф Михаил Гаврилович Головкин, сын государ-

ственного канцлера и потом председателя верховного совета, графа Гаврилы Ивановича Головкина, был старше её лет на пять. Скромный, серьёзный, любивший умственный труд и занимавшийся переводами классиков, он, несмотря на свою молодость, пользовался тогда ещё общим расположением и уважением. Он был также богат, знатен и мог надеяться на всё, что только может дать жизнь. А тут ещё взаимная любовь.

Весело праздновалась свадьба княжны Катерины Ивановны. Сенные и постельные девушки, одаряемые чуть не ежедневно влюблённым женихом, звонко распевали свадебные и подблюдные песни; смеясь и шутя, готовили приданое. Они вышивали серебром и золотом роброны и душегрейки, обшивали дорогими кружевами занавеси и бельё, суля прекрасной невесте, их дорогой и золотой княжне, радость и такое счастье, какого, кажется, и на свете не бывает, но которое, казалось, должно было осуществиться воочию когда княжна их станет молодой графиней. Прошёл девичник, весело отпраздновали свадьбу. Государь Пётр I посажёным отцом был;

сам устраивал маскарад, чтобы повеселить молодых и старых, сам потешные огни зажигал.

Не забыт был, разумеется, всепьяннейший собор с его князем-папой Бутурлиным, не забыты были и маскарады разные, чтобы позабавить молодых на другой день. Всё было весело, всё было радостно, как радостно, надо было думать, пройдёт и вся жизнь новобрачных.

Казалось, что всё так и шло. Графиню Екатерину Ивановну все любили. Свёкр Гаврило Иванович души в ней не чаял. Не стало государя Петра I, милостива была и государыня, а после неё и молодой государь и к отцу, и к свёкру, и к мужу, и к ней. А государя не стало, так двоюродную тётку государыней сделали, да какую ещё тётку-то, которая любит и помнит родных.

Так-то оно так, да вот у тётки был фаворит, конюх проклятый, из немцев, Бирон. Он Михаила Гавриловича терпеть не мог и не давал ходу. Ну, это бы ещё и ничего, с этим можно смириться; жить есть чем и не занимая важных мест, а государыня хоть и слушала фаво-

рита, но свою родню в обиду не давала. А вот горе: болезнен стал Михаил Гаврилович, хворал всё и грустен стал от того, занятие классиками бросил, а всё больше сидел и охал. Ну какое жене веселье, когда муж, да ещё любимый муж, всё болен.

Пришлось графине Екатерине Ивановне вместо светлой, весёлой жизни в сиделки идти, за больным ходить.

Но умерла государыня, и совершился переворот. Цесаревна Елизавета вступила на престол, и граф Михаил Гаврилович был арестован.

По инициативе князя Никиты Юрьевича Трубецкого, мстившего графу Михаилу Гавриловичу за то, что он сперва противился его браку на его сестре Настасье Гавриловне, а потом, когда свадьба, несмотря на противодействие, состоялась, то отстаивал свою сестру, перед ним виноватую, от его мужнина самовластия, — дело это было представлено в таком виде, что императрица Елизавета должна была признать ссылку графа Михаила Гавриловича необходимой, ради личной безопасности. Она и утвердила эту ссылку без

противоречия, так как и сама имела поводы быть сердитой на графа Головкина; но, утвердив предположение о его ссылке, она пожалела Екатерину Ивановну, которую любила, как любили её все. Она сейчас же послала к ней Лестока уговаривать, чтобы она не ехала с мужем, обещая ей свою милость и покровительство.

— Что Бог соединил, человек не разлучит! — отвечала Екатерина Ивановна.

Напрасно Лесток из кожи лез, стараясь доказать, что для самого мужа её будет выгоднее и покойнее, если она останется здесь; говорил, что императрица не тронет даже его имений, оставит её пользоваться всем, стало быть, она и ему будет в силах помогать; потом, что, пользуясь здесь милостью императрицы, она скорее может выпросить ему помилование. Екатерина Ивановна была непреклонна.

— Какая жена я буду своему мужу, когда, живя с ним в довольстве и счастья, я покину его в бедности и несчастий? — отвечала Екатерина Ивановна.

Лесток прибегнул к угрозам, говоря, что

рассерженная государыня, узнав её упорство, причислит и её к числу преступников, заслуживающих кары, и велит конфисковать не только его, но и её имение, и подвергнет обоих самой строгой ссылке.

— Тем паче, тем паче и старательнее я должна ходить за ним, — говорила графиня. — Он болен, страдает, несчастлив... Он и здесь страдал; но здесь было всё к его услугам, все старались ему угодить. И тут я была необходима. Я успокою, бывало, его утешу, отвлеку мысли от болезни чем-нибудь мелким, услужу — и ему приятно. Да, здесь сто человек к услугам было; дом — дворец; всего полная чаша. А там кто ходить за ним станет, кто позаботится, чтобы хоть водой напоить его от жажды, хоть хлебом накормить от голода? Кто прикроет его, когда он озябнет; освежит, когда он горит? Кто рассеет его в минуту грусти: поплачет, наконец, с ним о нашем общем несчастий? И когда же? Когда он брошен будет всеми? Когда лета подходят к старости, а болезнь требует спокойствия. И я брошу его, оставлю его вместе со всеми, я, его жена, подруга его жизни? Ему и голод, и жажду будет

легче перенести, если он будет видеть, что вместе с ним и я твёрдо переношу их; в холод я согрею его, в жар — освежу его, в трудные минуты болезни, слабости, расстройства — облегчу, утешу, успокою; наконец, если уж судил так Бог, в последние минуты жизни закрою глаза ему и похороню его... Я сильна, здорова и нестара, — продолжала Катерина Ивановна. — И она встала перед Лестоком, вытянулась во весь сбой стройный рост, протянула белые, нежные, но сильные, мускулистые руки. Ей было тогда с небольшим за сорок, но она сохранилась хорошо, ни одной морщинки не было на её белом, нежном лице. Глаза ещё метали огонь; губы ещё розовели от волнения. — Правда, непривычна я к работе, балованна смолоду, но я для своего мужа-друга сумею сбросить с себя баловство, приучить себя трудиться. Он берёт мою молодость в счастья, я буду лелеять и беречь его старость в студе и горе. Я русская, граф, — сказала она, выпрямляясь и сжимая руки, будто Пифия на своём треножнике, — виновата, вы ещё не граф... всё равно будете графом. Я русская, государыня тоже русская, а по нашему

обычаю — «оставь отца и мать и прилепись к мужу своему»; стало быть, оставь богатство, почести, раздели с ним бедность его, раздели нужду его. Скажите это государыне, граф; скажите ей, что пусть она не лишает меня того, что и по русскому закону составляет мою обязанность перед людьми и Богом!

Катерина Ивановна более ничего не хотела говорить, и Лесток этот ответ её должен был передать государыне.

Что в этом разговоре особенно поразило Лестока, так это то, что она угадала его тайную мысль, его задушевное желание, о котором он не говорил никому в жизни; ему очень хотелось получить графское достоинство. И каково было его изумление, когда, возвратясь домой, он нашёл там придворного курьера с высочайшим рескриптом о пожаловании его графом.

«Да это пророчица какая-то!» — подумал Лесток и поехал к государыне благодарить за милость и передать ответ графини Головкиной.

— Пусть делает, как хочет! — сказала Елизавета. — Я для неё же хлопотала.

И граф Михаил Гаврилович Головкин был сослан, имения его конфискованы; но имений Ромодановских не коснулись, обязав только не посылать ни денег, ни писем к барыне без разрешения сибирского губернатора.

* * *

В глубине Якутской области, в тесной, дымной юрте лежал больной граф Михаил Гаврилович. Перед ним, на грубо прибитой к пню от срубленного дерева доске, стоял серебряный стакан с соком из ежевики; ноги его были покрыты оленьими шкурами. В юрту вошла графиня Катерина Ивановна в нагольном тулупе из шкуры дикого барана и в дорогом шёлковом платке на голове. Она несла ведро воды. Видно было, что ей тяжело и она гнулась от тяжести, за которую не умела надлежаще взяться.

Прошло не более трёх месяцев со времени их ссылки, но она и постарела, и похудела.

— Это ты, Катя, друг мой? — спросил Михаил Гаврилович слабым голосом. — Как я

рад, что ты пришла! Меня знобит всё, да и скучно. Хоть бы Бог смерть послал, сил нет всё это переносить... Садись сюда!

— Грех роптать на милость Божию! — отвечала Екатерина Ивановна. — Я сейчас к тебе приду, только принесу вязанку дров, чтобы сколько-нибудь юрту нагреть на ночь, а то на дворе пурга несосветимая.

— Друг мой, ты всё себя мучишь! А я даже... помочь тебе не могу... — И граф Михаил Гаврилович застонал.

— Что ты, Миша, Бог с тобой! Да мне радость, что могу для тебя потрудиться. Бог труды любит. А то мы, живя в довольстве и роскоши, и Бога забываем, и собой не дорожим. Теперь, по крайности, я знаю, зачем живу, я тебе нужна! Она подошла к мужу и весело его поцеловала.

В юрту вошёл не то инородец, не то ряженный, в меховой малице, малахае, оленьих сапогах и весь укутанный козьими, невыделанными шкурами, на которых светилась, однако, медная бляха, доказывающая его официальное положение.

— Капитан-исправник письмо вам при-

слал, из губернаторской канцелярии доставлено. И он подал письмо.

— Письмо? Что такое? — спросил граф с видимым трепетом и надеждой.

— Благодарю, голубчик, — сказала графиня. — Да ты сам-то, почитай, замёрз; постой, я тебя согрею! Поди сюда, садись! — Она пододвинула ему толстый обрубок дерева, скрылась за занавеску и вынесла оттуда серебряную чарку с водкой и кусок пирога с рыбой.

Посыльный выпил и поблагодарил.

Граф с нетерпением разорвал конверт, взглянул на письмо и с тупым горем, опуская руки с письмом, проговорил:

— Это от Онуфрича!

— Так что ж! Спасибо, что пишет, прочитаем.

И она стала читать.

«Матушка графиня, ваше графское сиятельство, — писал Онуфрич, управлявший именьями, бывшими князей Ромодановских, которые составляли теперь собственность Екатерины Ивановны, крепостной её человек, заслуженный дворовый старого времени. — Смею доложить вашей милости, что

как по домам вашим, так и по всем имениям всё благополучно. Оброки и доходы собраны и по приказу господина Лодыженского отправлены к господину Велию для взноса оных в указанный банк, чтобы ваше сиятельство во всякое время получить могли. Для доставки же хоть какой-либо части вам господин Лодыженский научил войти с прошением к сибирскому губернатору. Он сказал, что больше как о тысяче и просить нельзя, и то велел особо к какому-то его знакомому чиновнику писать; что если тысяча будет разрешена, то вышлетя две, с тем чтобы тысячу вам доставили, а другую чиновники между собою поделили.

А у нас, матушка графиня, приключилось несчастье. На другой день, как вас-то с милостивым государем, нашим отцом, графом Михайлом Гавриловичем, увезли, бежали кучер Ефим да двое из выездных: Николай и Сидор. Ефим и Сидорка с жёнами, да и Маланью, горничную вашу, сманили с собой, а с ними, чего никто бы не ждал, и старая Арефьевна, ваша ключница, тоже сбежала, и, греха таить нечего, сделали-таки унос: шубы тёплые, да из се-

ребра кое-что унесли. Подал явку в полицию. Бог весть, найдут ли, а нас всех таскают. Без вас, матушка, мы совсем осиротели. Нами теперь кто хочет, тот и помыкает, и кабы не барин Ладыженский, и совсем бы сгинуть пришлось...»

Но письмо ей дочитать не пришлось. Граф Михаил Гаврилович от волнения обманутой надежды на прощение, которую возбудило в нём привезённое через капитана-исправника письмо, впал в бесчувствие.

Пришлось хлопотать около него; зато посильный, видя тягость положения бедной графини, облегчил несколько её труд тем, что натаскал в юрту на целую неделю дров.

Прошло два месяца. Граф Михаил Гаврилович сидел в той же юрте, пожелтевший, высушенный, больной. Графиня варила для мужа олений язык. В юрте было несколько больше удобств, было кое-что устроено, потому что им разрешено было получить тысячу рублей. Хотя и из этой тысячи к ним дошло только пятьсот рублей, но и пятьюстами можно было кое-что сделать в немногосложной, бедной обстановке якутского ссыльного.

Графиня сняла с тагана кастрюлю, поставила на новый, прочно сколоченный из берёзы, грубый, некрашенный даже стол и предложила мужу почитать что-нибудь, пока сваренная ею похлёбка немного остынет.

Михаил Гаврилович хотел было взять Го-рация. Он любил читать жене и слушать её подчас меткие замечания. Имея латинские подлинники, он обыкновенно читал по-русски, переводя, как говорят, а *livre ouvert*, но Катерина Ивановна остановила его:

— Нет, нет, мой друг, не хочу я этого сладкого поклонника неверия. Прочти мне лучше, что Тацит пишет об Иисусе Христе!

В это время перед юртой раздался шум, и вошло несколько человек.

Первую минуту и граф и графиня несколько потерялись: что это за люди, обындевевшие, занесённые снегом и ввалившиеся как снег на голову. Может, недобрые люди, позавидовавшие их скудному хозяйству, которое, однако ж, могло быть признано богатством против хозяйства какого-нибудь якута. Может быть, беглые с заводов или из ссыльных. Граф взглянул было даже на висевшее близ

его кровати ружьё, но вошедшие бросились к их ногам.

— Что это? Кто? Ефим, ты? Маланья? Ты, Николашка? Сидорка, Афимья... А уж тебя не знаю, как и зовут?

— Устинья, Сидоркина жена!

— Что вы? Как вы?

— Служить пришли вашей милости! Думаем, что там наш граф, наша графиня. Здесь они нам родным отцом и матерью были, а там каково им? Чай, и лошадей заложить некому, а сам-то граф, сердечный, и не умеет. Кто же служить-то им будет? А графиня-то... Вот подумали, стоворились и ушли, — говорил Ефим со слезами, обнимая колени графа.

— С нами и Арефьевна пошла было, да на дороге захворала и побывшилась, померла, значит, — говорила Маланья, плача у ног графини. — Матушка вы наша, кормилица, да как же вы похудели да постарели... Да какие на вас ботиночки-то жёсткие.

— Да как же вы добрались?

— Кое-где ехали, а больше пешком.

— Вот вещи нас много отягощали; мы, что можно, собрали, думаем: графу там, на чу-

жой-то стороне, всё нужно!

— А я и деньги вашей милости привёз, делать нечего — из-под ключа достал. Онуфричу-то сказать побоялся; он нонче все с важными барами знает, а я думаю: граф и графиня там в тесноте и крайности бедствуют, без денег им тоже нельзя. Ну, думаю, пусть воров почитают; вот три тысячи, всё до копейки уберёт! — Ефим опять кланялся.

— А я, матушка, взяла и башмачки-то ваши тёпленькие, любимые, и душегрейку... — говорила Маланья.

Тут ни граф, ни графиня не выдержали, заплакались сами как дети; бросились на шею своим крепостным, обнимали их, целовали, будто увидели родных и самых близких.

* * *

Полегче стало жить графу и графине. Им служили, о них заботились трое мужчин и три женщины, и служили с охотой, со всей преданностью любящих людей. Они жили уже не в юрте, а в избе, выстроенной Ефимом с товарищами, даже и не Ефимом, потому что

дворовые люди плохие плотники; но с деньгами можно было найти плотников даже в Якутской области, и Ефим, прокружив вёрст 80, нашёл двух хороших плотников и печника, которые при помощи своих и даже самого графа Михаила Гавриловича в здоровые минуты выстроили две избы, соединённые крытыми сенями. В одной избе расположились дворовые, а в другой, с чистой горницей и светёлкой, сами граф, графиня и при ней её горничная Маланья.

Итак, жить стало полегче графине. Не приходилось таскать дрова или воду, не приходилось самой варить себе суп. Тем не менее, с нравственной стороны, ей было страшно тяжело. Муж больной, хмурый, видимо, находился во всегдашней тоске, близкой к отчаянию; обстановка жизни была тяжкая; наконец, гнёт скуки, усиливавшийся от самого отсутствия деятельности, — всё это не могло не оказать на графиню Екатерину Ивановну вредного влияния. Екатерина Ивановна, разумеется, первую обязанность своей, первой заботой поставила себе мужа; он был и её душевной болью. Видя его страдания в хрониче-

ской болезни, подтачивавшей его жизнь, облегчить которую было не в её власти, видя его безысходную тоску, она исстрадалась, измучилась сама. Не могла также она не смущаться мыслию, что даже теми немногими удобствами, которыми они пользуются, они обязаны беспредельному великодушию людей, которые рисковали своею жизнью, чтобы доставить им эти удобства и о которых прежде она не думала и даже за людей не почитала. Совокупность всего, давившая постепенно год, два, пять, десять лет, естественно, отразилась на характере Екатерины Ивановны, на её воззрении на жизнь. Как ни жива она была смолоду, какой лёгкостью и веселостью нрава она ни обладала, а всё день ото дня становилась апатичнее; она начинала относиться ко всему безучастнее, так что иногда казалось, будто, слушая, она не слышит, смотря — не видит.

Одно, что не переменялось в Екатерине Ивановне, это её бесконечная доброта ко всему живущему и беспредельная любовь к мужу. Начиная от певчей птички и жившего у них ежа и кончая каждым мимоидущим, вся-

кий не мог не чувствовать её беспредельной доброты, готовой не поделиться с каждым, а каждому отдать всё. Что же касается до мужа, то она смотрела ему в глаза, ловила его желания и всего более мучилась его страданиями.

А страдания эти были чрезвычайны. К общей болезненности, происходившей или, по крайней мере, усилившейся от нервных потрясений, у него открылся ещё рак груди. И с такой-то болезнью приходилось бороться Екатерине Ивановне, против такой болезни приходилось отстаивать дорогую ей жизнь мужа и друга, которому она посвятила всю себя.

Наконец, отстаивать было уже нечего. Не только дни, но даже и часы Михаила Гавриловича были сочтены. Четырнадцать лет она ходила за ним в глубине Сибири, четырнадцать лет берегла его не только от болезни, но и от самого себя, а тут и беречь было нечего. Михаил Гаврилович лежал в смертной агонии. Что было с Екатериной Ивановной в это время, нельзя и сказать. Было глухое отчаяние, было умоисступление, была нестерпимая сердечная боль, выразить которую нет слов. Но она сдержала слово, данное ею при

выезде из Петербурга: она закрыла ему глаза и похоронила его. И потом впала в апатию, до потери сознания.

В таком виде повезли её из Сибири, после почти полугодовой переписки о её выезде. Тут в ней разгорелась страсть к лошадям, как и вообще ко всем животным; она думала: они теперь везут меня, вывозят из этих ужасных мест, я должна быть им особо благодарна. И вот она обвешивала их разными цацами, как бы одевала их в погремучки, бубенчики. Страсть эта, которую, может быть, отчасти развил Ефим, страстный любитель лошадей, заставила её весьма долго ехать из Сибири. Жаль было лошадей. Они ехали на долгих. С дороги одну из повозок с людьми отправили в Москву приказать, чтобы истопили дом и были готовы принять графиню, а сама она с Ефимом и Николашей заехала в Троицко-Сергиеву лавру. Наконец и она приехала в Москву, в свой отцовский дом, и после молитвы перед образом, которым отец благословил её на счастье, выдавая замуж, повторив своё благословение перед смертью, теперь лежала у себя на постели без чувств и без памяти.

Дворня чуть не вся разбежалась за докторами.

Но докторам не удалось повозиться с Екатериной Ивановною; она опомнилась сама, вдруг вскочила, надела на голову не то ток, не то малахай, вообще что-то непонятное, накинула на себя платок, надела торопливо свой соболий тулуп и побежала. Она вошла в церковь, где часто бывала ещё дитятей и молилась, чтобы Бог укротил гнев и сердце её деда, страшного кесаря Фёдора Юрьевича, и послал в его сердце милосердие и прощение; где молилась, чтобы Бог научил его прощать виновных, а не мучить невинных; она пришла туда и теперь стала молиться за упокой души всех: и деда, и отца, и мужа, и свёкра; всех схоронила, одна осталась... Правда, и ей пора было умереть, за шестьдесят стукнуло, да что же делать-то, когда не умирается, когда смерть не приходит? После молитвы ей стало легче. Она пошла тихонько домой, в то время как весь дом чуть с ума не сошёл, куда девалась больная барыня.

Графине попался мужичок худенький, бледненький, больной. «Точь-в-точь мой Ми-

хаил Гаврилович, как я его в Сибирь-то привезла!» — сказала она себе и подошла к нему.

А шубёнка на нём была рваная-перерванная, овчина-то в ней вытерта донельзя и заскорузла так, что не разгибается, а грязная какая, кажется, только грязью и держится.

— Что, озяб, мужичок? — спросила графиня. Это был её любимый вопрос. В Сибири она привыкла спрашивать прежде, не холоден ли, а потом — не голоден ли.

— Озяб, сударыня, больно озяб; да ишь морозы-то стояли какие...

— А далеко идёшь?

— Да за Москву вёрст с двадцать будет, деревня Голяшкина есть, мы оттеле.

— Ты совсем замёрзнешь, мужичок, куда ж тебе? Давай скорей свою шубу, а возьми мою, моя теплее будет!

— Как же это, барыня? — спросил мужичок, недоумевая.

— Снимай, снимай, в этой шубе согреешься!

И она уже стянула с себя свой тулуп.

Мужик тоже не задумался снять свой полубок.

И она обменяла свой соболиный, правда,крытый простой крашениной, тулуп на рваный, грязный полушубок, который надела на себя, не замечая, что сошлась толпа, с любопытством оглядывавшая, как это барыня меняется шубами с мужиком.

Дома так и ахнули, увидев графиню в мужичьем полушубке.

— Матушка, графиня, что с вами? Да где же шубка-то ваша?

— Ничего, ничего! Я с мужичком поменялась. Бедняку далеко идти приходится, а морозно, озяб, сердечный.

Все разинули рты.

— Э-х, как же вы упустили, и никто не пошёл за ней! Тулупчика соболья жаль, там на месте рублей пятьсот стоил... Как же упустить было? Мы с приезда занялись кое-чем, а вас туту мало, что ли, было? — говорил Николай прислуге.

— Да кто же знал, что она на улице шубами меняться станет?

— Видишь, кажется, что она как малый ребёнок. Нет, мы уж всегда за ней. Встретит кого она, с себя что есть отдаст. «Помяните ра-

ба Божьего Михаила», говорит; а то как поменяется; а мы уж тут и выкупаем. Маланья, кстати, возьми у меня графини ну шаль да бурмицкое зерно, давеча шесть целковых выкупу затратил...

— Ей бы лучше деньгами...

— Деньги ей нельзя носить. Первому встречному разом всё отдаст; говорят, что она словно малый ребёнок! Нет уж, братцы, как там знаете, а за ней надо ходить.

И Николашка начал любезничать с выросшими без него красавицами, хотя и ему было уже под сорок лет.

IX

ОНА УГАДАЛА

Князь Никита Юрьевич Трубецкой уже дру-
гой день сидит и занят своими соображе-
ниями.

Он что-то разбирает, пишет, потом похо-
дит у себя в кабинете и опять пишет, иногда
вымарывает написанное и пишет сызнава.

Возьмём на выдержку кое-что из того, что
он написал.

«Если бы государь император Пётр Фёдоро-
вич волею Божию скончаться изволил, то,
как прирождённый русский государь и Петра
Великого внук, был бы торжественно погре-
бён в Петропавловском соборе, где покоятся
и великие его предки, с надписью их имён,
дней рождения и кончины. Пусть кто-нибудь
осмотрит собор, найдёт ли он там между в Бо-
зе опочивающими государями место упокое-
ния государя Петра III Фёдоровича?»

Далее:

«Когда скончалась императрица Анна

Иоанновна, тогда с полной торжественностью была выставлена в своём Летнем дворце, и весь народ допускался к её лицезрению и для прощания с покойной в течение шести недель, да не будет в народе сомнения о действительности её кончины. Подобным же образом стояло тело императрицы Елизаветы Петровны, чтобы всякий видел, что волей Всевышнего государыня призвана на суд Божий и что погребается действительно её брэнное тело. А было ли выставлено таким образом, сколько времени и кто мог видеть действительно скончавшегося Петра III?»

Далее:

«Государь, как известно, в летнее время, местопребывание своё тлел в Ораниенбауме, но известно, что там он не умирал, а в виду всех, здоровый и весёлый, поехал в Петергоф. Не умирал он и в Петергофе, ибо Петергоф был полон войска, предводимого императрицей Екатериной, и, в случае несчастья, о смерти его войску было бы известно. На другой день императрица возвратилась в Петербург, но императора ни в Петергофе не оказалось, ни в Петербурге он не пребывал. Ясно,

что с дороги он куда-нибудь скрылся».

Далее:

«Государь, как известно, пользовался особой популярностью у раскольников. Это следует особенно иметь в виду. Впрочем, раскол и крепостное право — это такие два элемента страдания русского народа, которые могут опрокинуть всё. Всякому поверят, всякого примут, кто будет обещать им волю и бороду...»

«Гольштейнское знамя, которое легко может быть через Глебова получено, может представлять несомненное доказательство существования связи между отцом и сыном, императором и его наследником, который мать свою может признавать узурпаторшей его прав».

Далее:

«Родовая княжна Владимирская, опираясь на своё право, как родная по матери племянница государыни императрицы Анны Иоанновны, следовательно, представительница старшей ветви дома Романовых, в коем женщины не исключаются из престолонаследия, может также указать на происхождение своё,

по отцу, от ближайшей линии московского дома прежних русских царей. Этим она вызовет сочувствие старых родов, особенно если обещается восстановить прежнюю боярскую думу, со всеми её правами».

Один из таких параграфов Трубецкой докончить не успел. От императрицы прибыл камер-фурьер с требованием немедленно явиться к ней.

Трубецкой запер бумаги в потайной ящик, торопливо надел мундир и отправился.

Екатерина скорыми шагами ходила по кабинету, ожидая Трубецкого, и была в волнении.

Когда Трубецкой вошёл, она продолжала ещё ходить и, как ему показалось, что-то говорила про себя.

Трубецкой остановился подле дверей, отдав почтительный поклон государыне. Та не отвечала на поклон и продолжала ходить.

Потом она остановилась почти прямо против него, остановив на нём пристальный взгляд, в котором Трубецкой заметил то неуловимо жёсткое выражение, которое обыкновенно скрадывалось её ловкостью и

любезностью. Он помнил, что таким же взглядом она окинула мужа, после обеда празднования мира с Пруссией, когда ей публично было нанесено им оскорбление.

«О-о! — подумал Трубецкой. — Буря!»

И он постарался довести сдержанность свою до последней степени.

— Князь Никита Юрьевич Трубецкой, — наконец сказала она и повторила:— Князь Никита Юрьевич Трубецкой, скажите, что я вам сделала и долго ли вы ещё думаете быть врагом моим?

— Я, ваше императорское величество? — отвечал Трубецкой, делая вид не только изумлённого, но и поражённого. — Я позволяю себе думать, по крайней мере, по степени своего усердия, что я первый нижайший слуга вашего величества и, по глубокой преданности, вернейший из ваших подданных!

— Вы мой *вернейший* подданный? — насмешливо проговорила Екатерина. — Не потому ли я должна была спасти вас от ярости солдат, когда вы хотели присоединиться к моему отряду. Солдатский инстинкт понимает, видно, вернее, чем мы, хвастающиеся своим

умом. Они вернее знают, где истина и где притворство. Но я не стану притворяться; мне вашей верноподданнической преданности и не нужно. Но я не могу допустить и не допущу ваших интриг, ваших каверз! Чего вы хотите? Неужели вы думаете, что ваши подземные подкопы против моих действий могут быть мной не замечены?

Екатерина говорила скоро, нервно и, видимо, не выбирая слов. Её круглый и несколько раздвоенный подбородок дрожал. Видно было, что она волновалась и волнение её не успокаивалось от высказываемой мысли; напротив, оно усиливалось и росло с каждым её словом.

Сдержанный, владеющий собой вполне князь Трубецкой не только не смутился от этого потока слов государыни, но, напротив, своим взглядом, улыбкой, всем турнюром корпуса он как бы вызывал высказаться откровеннее.

— Не знаю, хотя мне это очень грустно, всемилостивейшая государыня, обожаемая нами императрица, в чём вы изволите усматривать мои интриги и каверзы. Если в моих

действиях есть какие упущения, то винюсь перед вашим величеством, каюсь в них, как в ошибке, а никак не в интригах, которые с моей стороны против особы вашего величества не имели бы смысла. Я преданнейший слуга, и раб ваш, всемилостивейшая государыня, о каких же подкопах тут я смею даже думать?

Сдержанность Трубецкого повлияла на Екатерину, и она продолжала хладнокровнее:

— Вы, князь, напрасно думаете, что можете прикрыть ваши действия непроницаемостью. Мои глаза видят хорошо. При моём муже и тётке вы царствовали; что ж, не думаете ли вы, что можете царствовать и теперь?

Проговорив эти слова твёрдо, сухим, жёстким тоном, как бы бросающим их Трубецкому в упор, Екатерина опустилась в кресло перед столом, выдвинула вперёд одну из своих ножек в ажурном розовом шёлковом чулке и смотрела на Трубецкого строго, как бы ожидая ответа.

— Не смею ничего возражать против слов вашего императорского величества, хотя душевно огорчаюсь, что мой посильный труд принимается вами в таком смысле, — отве-

чал скромно Трубецкой. — Если я смел представлять иногда свои заключения по разным делам на благоусмотрение покойного государя, так же как и императрицы вашей тётушки, то только с их всемилостивейшего соизволения; но при этом основание дела и инициатива его начинания принадлежала всецело их величествам...

— Нет! Я знаю, что говорю. Вы царствовали! Я не виню вас в этом! Я понимаю, что если все боялись труда, то кому-нибудь да нужно же было трудиться! Но теперь — я не боюсь труда! Чего же вы хотите? Наконец, позвольте вас спросить, что вы сделали такого особого, такого выдающегося во время вашего самовластного управления всеми внутренними делами империи, сперва как генерал-прокурор, потом как главный и единственно деятельный член высшей конференции, чтобы иметь право на притязания власти? Разлили ли вы довольство и благоденствие, устроили ли правосудие? Отстранили ли злоупотребления или усилили государственное могущество? Нет, нет и тысячу раз нет! Вы не сделали ничего, вы занимались интригами! Вы до-

бивались власти только для возвышения своих родных и друзей и для преследования ваших врагов. Какое же право вы имеете даже желать того, чего, вы это уже доказали, не в силах приложить к делу так, чтобы оно было полезно для всех?

— Позволю себе доложить вашему величеству, что такого рода желаний у меня нет, не было и не могло быть! Я понимаю, что желание власти для подданного есть преступление. Я всегда выполнял по мере разума и умения мои обязанности в той должности, на которую призывала меня высочайшая воля, служил по совести, но никогда ничего не домогался и даже ничего не просил. Если же кто доносил вашему императорскому величеству о каких-либо моих домогательствах, то он просто клеветал...

Трубецкому пришло в голову, что основание разговора Екатерины лежит в каких-нибудь наговорах и доносах на него Алексея Петровича Бестужева.

— Я не верю клеветам! — резко ответила Екатерина. — Но если у вас нет никаких домогательств, то к чему же все эти каверзы? К че-

му распространение всех этих слухов, все эти заговоры, соглашения, все эти, именно как я выразилась, подкопы под мою власть, под моё управление, которое, не знаю, будет ли хорошо — по краткости времени я не успела ещё этого доказать, — но с Божией помощью думаю, что будет, во всяком случае, не хуже вашего. Спрашиваю: к чему же эти подкопы?

— Ваше величество, смею удостоверить, что ни о каких подкопах я никогда не думал; что, как верный раб и подданный вашего величества, я...

— Как! — перебила его Екатерина. — И вы хотите меня уверить, что во всех этих делах, во всех предначертаниях, предпринимаемых против меня людьми, которые меня или не знают вовсе, или понимают превратно, вы не принимали участия; что не ваша опытная рука руководила их началом; что не вы бросили первую искру между этими несчастными, которые сами не знали, что делали и чего желают? Вы хотите уверить, что ни Гурьев, ни Хрущёв, ни Хитрово, ни Ласунский и Рославлевы не были вами, не непосредственно, конечно, а со стороны, под сурдинкою, на-

правляемы, научаемы, сближаемы? Хотите уверить, что вы не принимали участия в их...

— Не только не принимал участия, все-милостивейшая государыня, но и не знал о них; не знал ни одного из поименованных вашим величеством лиц и, кажется, кроме Хитрово, с дядей которого я знаком, никогда не видел, да едва ли когда-нибудь о них и слышал.

И Трубецкой, говоря это тоном полнейшей искренности, смотрел Екатерине прямо в глаза, как бы убеждая, что его слова не могут возбуждать сомнения, что не верить им нельзя.

Екатерина на секунду потупилась.

— Князь Никита Юрьевич, — строго и холодно отвечала она после секундного молчания, поднимая и останавливая на Трубецком глаза свои и, можно сказать, проницая его своим как бы стальным взглядом. — Что же, вы хотите, чтобы я прибегла к вашему способу открытия истины, прибегла к пытке? Хотите?

И Екатерина откинулась назад на спинку кресла и молчаливо перебирала между пальцами золотой рейсфедер.

— Не забудьте, князь Никита Юрьевич, — продолжала она потом, будто отчеканивая каждое слово, — что если я враг бесполезных жестокостей, то, ради спокойствия государства, я не остановлюсь даже перед мерами, хотя бы и противными моему чувству. Не забудьте также, что ни против кого пытка не может быть так оправдана, как против вас. Вы столько раз обрушали её, всею тяжестью вашей власти, на людей, совершенно невинных. Вы не забыли, надеюсь, пыток, которым подвергли князей Долгоруковых? Не забыли пытки, которой, даже против воли государыни, вы подвергли бедного Лестока, вашего, одно время, союзника?

— Всё дело о графе Лестоке ведено было, ваше величество, графом Александром Ивановичем Шуваловым! — проговорил Трубецкой, которого слово «пытка» хотя и передёрнуло, но который выдержал себя настолько, что Екатерина его внутреннего содрогания не заметила.

— Что вы мне говорите о Шувалове? — возразила Екатерина, снова разгораясь от противоречия. — Вы думаете, я не знаю, что

Шуваловы и вы были одна когорта, я не хочу сказать — одна шайка людей, злодейски обманывавших покойную государыню. Наконец, если вы и не принимали участия в назначении пытки, то всегда имели право остановить её вашей генерал-прокурорской властью. Но вы не только не остановили, вы её усилили! Впрочем, и кроме этих имён, более ста протоколов о назначении пытки подписаны вашей рукой. Это даёт мне полное право, при вашем запирательстве, прибегнуть к тому же, к чему с такой охотой и без разбора вы подвергали других!

— Ваше величество, моя жизнь всецело принадлежит вам, и если я должен подвергнуться пытке, то... ваша царская воля. Но прошу позволения сказать, что, по существующим правилам, пытка назначается тогда, когда существует какой-нибудь оговор или представляется поличное, определяющее в большей или меньшей степени виновность. Если существует против меня такой оговор, то смею с чувством истинного верноподданнического почитания просить, не соблаговолите ли приказать заявить мне этот оговор,

чтобы я мог представить по нему свои личные объяснения, которые потом и утвердил бы на розыске.

— О, известно, что вы слишком хорошо замаскировались, чтобы мог быть на вас оговор. А поличное? Вы и тут закрылись вашим достоинством фельдмаршала, чтобы не подвергаться обыску. Впрочем, разве назначить обыск и найти поличное теперь, пока вы тут стараетесь уверить меня в своей невинности...

При словах государыни об обыске Трубецкой знал, что если нельзя было его оговорить, то ещё менее могли что-нибудь у него найти. Поэтому он принял эти слова спокойно. Но вдруг он вспомнил о листе, который только что писал, не успел окончить и потому не передал туда, где бы он был безопасен от всяких обысков, тем более что он был бы передан переписанным чужой, неизвестной рукой. Он вспомнил об этом листе, спрятанном, правда, в потайной ящик; но никто лучше его не знал, что для Ромодановских, Ушаковых, Елагиных, Шешковских, вообще для такого рода следователей, которые управляли Преобра-

женским приказом, тайными и розыскных дел канцеляриями, потайных ящиков не существует.

«Что, если, — подумал он, — и в самом деле, пока здесь она со мной разговаривает, там Шешковский перебирает бумаги в моём кабинете и находит...»

От этой мысли у Трубецкого на лбу выступил холодный пот, и он невольно смутился. Екатерина это заметила.

— Всё это я могу сделать, могу приказать, но я не зла. Я готова обратиться ко всякому с моим монаршим милосердием, но лишь к тому, кто искренно и от души раскаивается. Говорите, князь, тогда не нужно будет ни пытки, ни обыска. Вы желали, вы искали случая меня низложить?

— Государыня!..

— Говорите просто, откровенно! Я сказала, что тогда и только тогда вы можете надеяться на моё милосердие! Говорите же. Вы были пружиной?.. Говорите! Видите, я спрашиваю вас сама; будет хуже, когда...

Государыня не успела окончить, как Трубецкой упал перед ней на колени.

— Виноват, прости, государыня, пощади и помилуй!

Государыня презрительно улыбнулась и, не предлагая ему встать, спросила:

— Через кого?

— Ни через кого, государыня! Я говорил им или при них, но так, что они и думать не могли, что я их настраиваю и что слова мои есть внушение.

— Когда?

— Всё время, со дня вступления вашего на престол и потери моего значения!

— Где?

— И здесь, и в Москве!

— Встаньте и объясните мне откровенно, что вас к тому вынудило? Вы ведь приняли присягу добровольно. Вы могли отказаться мне служить, как Голицын и Гудович. Я бы не претендовала на вас, предоставила бы полную свободу, но вы...

Трубецкой не вставал.

— Всемиловитейшая государыня, милосердная мать к виновному рабу, прости меня не по делам моим, а по своей благости! — говорил Трубецкой голосом некогда симпатич-

ным и теперь ещё звучащим трогательной мольбой. — Точно, государыня, я не должен был принимать присяги. Я должен был отказаться от службы. Но у меня десять человек детей; у меня на руках два брата, сестра и трое племянников. Все мы живём только моей службой и царским жалованьем. Куда мне с ними было деться? Я подумал: «Что с ними я буду делать, когда и службы, и царской милости лишусь? Ведь все мы с голоду помрём! Ведь всем нам придётся Христовым именем под окнами побираться». Прости, милосердная, бедного отца, который с горя с ума сошёл, задумал идти против воли Божией!..

Екатерина молчала. Потом вдруг, взглянув на него с презрением ещё раз, она проговорила тихо:

— Встаньте, кланяться нечего!

С этими словами она встала и ушла. Трубецкой остался на коленях ни жив ни мёртв.

«Кто сказал ей? — думал он. — Неужели она сама догадалась?»

Х

КНЯЗЬ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Во Франкфурт Али-Эметэ прибыла окружённая всем своим двором и со всей внешней пышностью, но почти без гроша денег. Впрочем, Ван Тоуэрс успел ту же минуту занять на своё имя небольшую сумму у одного афериста, который знал его отца-миллионера и, не зная, что эти миллионы давно уже в воздухе, польстился на большие проценты.

Но эта сумма была каплей в море по жизни Али-Эметэ.

Положение её было весьма тяжкое. Она остановилась в гостинице «Три короля», первой тогда в городе и самой дорогой, и обставила себя, по возможности, прилично принятому положению, между тем средств не было никаких и, как ни бились гоф-интендант её двора де Марин, её шталмейстер барон Шенк и гофмейстер Ван Тоуэрс, или барон Эмбс, чтобы перехватить сколько-нибудь на теку-

щие расходы, всё было напрасно. Кроме незначительной суммы, занятой Ван Тоуэром, все они не могли добыть ни копейки. Немцы народ положительный и ни в дядюшек, ни в ожидаемые наследства верить не хотели.

Али-Эметэ сама знала, что надеяться ей не на что. После разговора с отцом Флавио она поняла, что и дядя, и кредит, и отношения её все в руках отцов иезуитов, а от последователей Игнатия Лойолы нельзя ждать помощи, не приняв их планов, не отдав в их распоряжение всю себя.

Но на такое самоотвержение Али-Эметэ согласиться не хотелось. Она была слишком самолюбива и слишком уверена в себе, чтобы думать, что без иезуитской помощи она ничего не может. Жизнь слишком баловала её, слишком много вывозила в самые тяжкие минуты, чтобы думать, что если с нею что и случится благоприятного, то только при выполнении условий отца Флавио. Ей хотелось быть самостоятельной, хотелось бороться, хотелось заставить их принять, что хочет она, а не подчинять себя их воле; хотелось незави-

симости, свободы. Но чтобы отстаивать свободу, чтобы бороться, нужно жить, чтобы жить, нужны средства к жизни, а средств-то не было никаких.

Вот прислуга просит жалованье; экипаж и лошади требуют содержания; гостиница — платежа по счетам; а у Али-Эметэ не было ничего.

Тут только Али-Эметэ поняла могущество капитала и поняла в такой степени, какой далеко она не могла достигнуть, находясь в крайней нужде в Берлине и Лондоне. Высота положения, какое она заняла, особенно давала чувствовать тяжесть нужды, невыносимость крайности. Она поняла теперь, что капитал может давить, может угнетать, и не только представителей труда, но и представителей рода; она поняла, что этот гнёт особенно тяжко ложится на последних.

В эту тяжёлую минуту, когда Али-Эметэ приходила уже в отчаяние, когда решилась писать отцу д'Аржанто, что, делать нечего, она предоставляет себя их власти, в эту минуту нежданно-негаданно вновь явился к ней со своим предложением и посильной помощью

граф Рошфор де Валькур.

Тут было не до деликатности и не до разборчивости в женихах. Посильная помощь была принята, а вместе было не отринуто и предложение.

«Он небогат, правда, — думала Али-Эметэ, — но имеет кое-что; всё же жить можно; а мне теперь иначе предстоит или к иезуитам, или в воду броситься! Нет, я предпочитаю выйти замуж за Валькура».

— Итак, да? Прелестнейшая из прелестнейших, — спросил сорокалетний де Валькур, стараясь придумать мадригал, чтобы блеснуть своим остроумием. — Позвольте же вашу ручку, чтобы я мог поцеловать её в надежде обладания.

— Я никогда не говорила «нет»! — отвечала Али-Эметэ, подавая ему руки и бросая взгляд, полный вызывающей кокетливости.

Граф, кажется, готов был растаять от счастья.

Получив согласие Али-Эметэ осчастливить его своей рукой, он стал просить дозволения представить ей своего повелителя, владетельного графа, князя Священной Римской импе-

рии Филиппа Фердинанда II Гольштейн фон Лимбург де Линанж.

Али-Эметэ, давно мечтавшая о королях и принцах, внутренне обрадовалась этому заявлению своего жениха. Она с восторгом услышала, что увидит наконец у себя настоящего князя, владетельного, самодержавного графа, а не только графа по титулу. С тем вместе она была настолько осторожна, что не пожелала высказаться перед женихом, не захотела, чтобы он видел, что это предложение её радует; поэтому она немножко поморщилась, делая вид, будто просимое де Валькуром дозволение представить ей его государя весьма ей не нравится.

— Здесь, в обстановке гостиницы? Фи! — сказала она.

Тогда гостиницы не отличались ещё роскошью нашего времени. В них останавливались только те, кому остановиться было решительно негде, и хотя гостиница «Три короля» была самая дорогая и лучшая в городе, но далеко не имела того убранства, чтобы в ней в самом деле можно было принимать владетельных особ.

— Я сторю от стыда, — продолжала Али-Эметэ, — когда мой гофмейстер должен будет ввести принца в залу, в которой у окон нет даже занавесок. Нет, граф, мы лучше примем его высочество в Пари лее!

Де Валькур стал убеждать, уверяя, что его граф и не вздумает обратить внимание на убранство комнаты, особенно если она захочет быть с ним любезной.

— Мой светлейший господин принц — любитель и знаток женской красоты, — объяснял де Валькур, — поэтому не может не заметить жемчужины даже среди и невзрачного убранства франкфуртской гостиницы!

Де Валькур, видимо, вновь желал сказать недвусмысленную любезность своей невесте. Тогда было в обычае говорить любезности не только невесте, но даже жене.

Но Али-Эметэ всё ещё отказывалась. Де Валькуру пришлось долго её просить, прежде чем она решилась согласиться, как бы уступая настояниям его и единственно из любви к нему.

Представление состоялось на другой день. Имперский владетельный граф Гольштейн

фон Лимбург в два часа дня подъехал к гостинице «Три короля» в роскошном английском тюльбери, новость того времени, с двумя адъютантами. Его сопровождали ещё верхом унтер-шталмейстер и два кирасира его миниатюрной гвардии. Его гофмаршал де Валькур встретил на подъезде. Он ввёл его на лестницу гостиницы, на этот раз устланную ковром. Ван Тоуэрс, по своему званию гофмейстера принцессы, встретил его и приветствовал от имени своей княжны. Затем принял его камергер де Марин и ввёл в комнаты Али-Эметэ, украшенные на этот раз всем, чем только можно было украсить их в течение суток. Там, в первой же комнате, его встретила Али-Эметэ. Она сделала перед ним реверанс неопытной невинности, будто робеющей предстать перед столь высокой и знаменитой особой, какую в настоящую минуту она принимала. В то же время в глазах её сверкнул неизобразимо отрадный огонёк, засветилось что-то несказанно обаятельное, выразившееся также в её тихих, грациозных, будто округлённых движениях и в её гармонической речи. Казалось, будто она в одно и то же время

благоговела перед величием удостоившего посетить её гостя и сознавала, что обязанность хозяйки не допускает её только восторгаться его личностью и оставаться созерцательницей его особы; что она должна постараться быть в его глазах тем, чем бы он желал, чтобы она для него была.

Старый сентиментальный холостяк, поразвратничавший-таки на своём веку довольно, что, однако ж, не мешало ему до сорока пяти лет строить идеалы, — граф Гольштейн фон Лимбург был совершенно озадачен этой нежданной, невероятной красотой. Он совершенно растаял от огня этих глаз, этих изящных, но полных страсти движений, этого лёгкого покачивания с ножки на ножку и мелодически музыкального приветствия. Он позабыл и кто он, и зачем приехал, забыл и Рошфора, и своих адъютантов; он только смотрел и смотрел, как бы обливаемый отрадой её взгляда.

Он слышал, что де Валькур что-то говорил, она тоже; на это отвечал он, но что — он не помнил. Помнил, как он почтительно поцеловал руку княжны, как они уселись на диван,

говорили что-то и она была так же прекрасна, так же очаровательна, какой он нашёл её с первого взгляда.

Он уехал от Али-Эметэ совершенно околдованный и не смел говорить о ней ни слова. Рошфор де Валькур напрасно неоднократно заговаривал с ним о своей невесте, он молчал. Даже де Валькур начинал казаться ему его врагом, адъютанты же, которые поздравляли де Валькура, казались ему пустыми болтунами, а унтер-шталмейстер — несчастным, который, дежуря у его экипажа, не видел сияния её глаз. Его охватывало отчаяние при мысли, что до завтрашнего дня он видеть её ни под каким предлогом не может.

Али-Эметэ заметила впечатление, которое она произвела на князя при самом его входе. «Видно было, что он никак не ожидал встретить такую красавицу, как я, — думала Али-Эметэ. — Я его поразила! Вот бы...» И она замолчала перед своей мыслью, самодовольно улыбаясь. Ей, впрочем, нельзя было не быть довольной. С визитом князя все дела её неожиданно перевернулись к лучшему. Ей и кредит открылся, и надежды явились, и по-

мощь. Последнюю предложил князь, узнав о её неприятном положении, будто бы вследствие трудности иметь непосредственные и правильные сношения с Персией. С великодушием принца он предложил ей свой бланк на 20 000 гульденов, для устройства её франкфуртских дел, и пригласил переселиться из Франкфурта в его владения, предоставляя в её распоряжение один из его замков, в котором — заверял он — «не коснётся вас никакая неприятность, никакие притязания!». Притом он обещал в тот же день написать и своему посланнику при версальском дворе, де Буру, чтобы он занялся устройством её парижских дел.

— Он уговорит ваших кредиторов на отсрочку! — говорил принц. — Вы только укажите, с кем и как говорить!

«Я всего лучше отправлю в Париж де Марина, — подумала Али-Эметэ. — Пусть лучше он возится там с де Буром. А то мне страшно надоел этот долговязый, увядший француз с его приторными любезностями и без гроша денег. Пусть едет и хлопчет по моим долгам! Это его дело! А мне здесь довольно Ван Тоуэр-

са и Шенка. Последний будет исправлять должность камергера. К тому же при недостатке средств следует быть умереннее. Я могу ограничиться одним гофмейстером, к чему ещё тут гоф-интендант? Признаться, нужно было бы мне и от этих отделаться. Пустая мебель, и только лишние издержки... Ну, да это там увидим».

Рассуждая о владетельном князе, бывшем сегодня у неё, она улеглась с ножками на диван и размечталась.

«Вот это так! Это бы точно... — говорила она себе. — Это был бы настоящий покровитель, и великодушный покровитель; а то что? Вот тогда бы вы, отцы иезуиты, увидели, как бы вы стали мною распорядиться! Мы бы посмотрели, как бы вы обратились ко мне, будто к своей крепостной, за какие-то десять тысяч франков в месяц пенсии! Плюю я на ваши десять тысяч, вот что! Если хотите, чтобы я содействовала вашим планам, то исполняйте мои желания, принимайте мои условия. А то ещё угрозы: дескать, с голоду умирать заставим, пенсии лишим. Не тут-то было! Я не боюсь вас! Ваши угрозы мне не опасны. У меня

будут средства и без вас. Вот ваша пенсия на четыре месяца у меня в кармане. Что, взяли? А если?.. Но владетельной княжне дома Гольштейн де Линанж нельзя грозить каким-то раскрытием, как этот гнусный аббат себе позволил... Кто бы я ни была, а буду ею... А Рошфор? Что стану я делать с ним? Не пойду же я в самом деле замуж за Рошфора? С ним, я полагаю, лучше всего предоставить распорядиться князю. Если он хочет, если я ему понравилась, — а я ему очень понравилась, — то он найдёт способ сойтись поближе, а когда мы сойдёмся, то и отделаться от соперника. Да, я надеюсь, что когда сойдёмся, то разойтись он не захочет. Не он первый, сойдясь со мною, забывает себя! А о нём я особенно постараюсь: я хочу, чтобы он не только себя, но целый мир бы забыл... Только нужно удалить этих... они же мне надоели, как горькая редька, особенно Шенк... Теперь вопрос: будет ли он у меня завтра? Я надеюсь — будет!»

И точно, граф Лимбург был на другой день, был и на третий, только без свиты. Он начал ездить каждый день, иногда заезжал даже два раза в день, так что бедный Рошфор, видя,

что его повелитель и властелин решительно отбивает у него невесту, просто сходил с ума. Напрасно он старался успокоить себя, стараясь вспомнить, что ведь она была его любовницей и, вероятно, не одного его любовницей. Она держала же себя всегда так таинственно, даже странно... «Она просто развратная женщина! — говорил себе Рошфор. — Да! — продолжал он. — Но... но что же мне делать, когда она для меня дороже и милее всех девственниц в мире?» Он решился на объяснение, но и объяснение ни к чему не повело.

— Разве я могу отвечать за свои чувства? — сказала ему Али-Эметэ. — И за будущие мои желания. Я вас любила, чего ж вам больше? Может быть, и опять полюблю?

— Когда же свадьба?

— Когда мне захочется; разумеется, если захотите и вы! В настоящую минуту мне не до свадьбы. Меня занимает отсутствие писем из Персии. Что мой дядя?

— Но вы не отказываете мне?

— Нет, не отказываю! Я ни в чём никогда и никому не отказываю. Но я не могу теперь. Теперь некогда, а там, после, когда-нибудь...

Рошфор де Валькур рвал на себе волосы от отчаяния, а Али-Эметэ уходила одеваться, чтобы ехать на какую-нибудь увеселительную прогулку с князем.

Раз перед такой прогулкой вбегают к ней Ван Тоуэрс, бледный, дрожащий.

— Что случилось?

— Меня сажают в тюрьму по переданному из Парижа векселю в восемь тысяч франков. Помнишь, когда мы твой парюр из опалов с бриллиантами взяли!

— Ах, Боже мой, что же делать? — сказала Али-Эметэ.

У неё была не разменена ещё квитанция, данная ей графом лимбургским несколько дней назад. Квитанция эта была в 20 000 гульденов, стало быть, более чем на 40 000 франков, но она сочла благоразумнее о ней умолчать.

— Не знаю, я с ума схожу! Неужели мне умереть в тюрьме? Ведь в том месяце срок здешнему займу, а там узнают, успеют явиться новые кредиторы!

— Бог с тобою, кто это допустит тебя умирать в тюрьме? Уезжай куда-нибудь!

— Невозможно! Церберы стерегут все выходы.

— А денег нет?

— Откуда же? Ты знаешь, что я занял 15 000 франков.

Ими только и жили мы во Франкфурте, и от них вчера я последние 500 франков разменял.

— Не тужи; я вот еду на прогулку с князем и уговорю его заплатить. Поцелуй же горячей, горячей, вот так!

Она страстно обвила Ван Тоуэрс своими руками и горячо его целовала.

И Ван Тоуэрс, утешенный, отправился в тюрьму...

Али-Эметэ поехала с князем кататься за город. Во время прогулки ей, разумеется, в голову не пришло говорить о выкупе Ван Тоуэрса, да говорить и нельзя было. Она не успела ещё разменять данной им квитанции, а у неё деньги не любили долго оставаться неразменянными. Как же ещё просить? «Пусть посидит немного, — подумала она. — После я где-нибудь достану денег и заплачу. Мне же теперь нельзя ни его, ни Шенка при себе иметь.

Если уж я хочу сблизиться с князем, то должна стоять на высоте своего положения. Де Марин уехал, и слава Богу! Теперь нужно бы куда-нибудь спустить и Шенка. Пошлю-ка его в Бибрих, а там, уезжая с князем, оставлю его своим поверенным во Франкфурте. И я буду одна, совершенно одна, с моим милым князем, моим владетельным герцогом, и буду свободна, как ветер. Отлично, отлично! Что, взяли, отцы иезуиты? Нужна ли мне теперь ваша пенсия?»

Во время прогулки Али-Эметэ приняла предложение князя ехать с ним в его замок Нейсен.

Тоскующий, грустный Рошфор де Валькур не находил себе места. Он видел, что его повелитель потерял голову от княжны Владимирской, что он просто влюбился в неё, как мальчик. Он видел, что и она принимает его ухаживания и, видимо, предпочитает быть даже любовницей владетельного князя принятию его предложения быть графиней де Рошфор.

«Это бесчестно, это гадко, — говорил себе де Валькур и тосковал страшно. — Что я? — подумал он вдруг. — Да ведь она захочет, так

он на ней женится. Я по себе могу судить. А он и теперь себя не помнит. Он весь ей отдался... Но разве это честно? Разве это соответственно? Разве можно, пользуясь своим положением, отнять у своего верного слуги то, что тот признавал и признает своим единственным счастьем? И с кем это хочет он играть такую шутку, со мною, графом Рошфор де Валькуром, представителем имени, которое гремело ещё тогда, когда никто и не думал о графах лимбургских. Мы известны с крестовых походов. Мы владели вассальными графствами, пространством не менее чем не только Лимбург и Стирум, но и весь Гольштейн со своим пресловутым Шлезвигом, о котором все спорят и никто не хочет понять, что спорто весь не стоит выеденного яйца. Если Людовик XIII, по наущению Ришелье, своею иезуитской политикой сдавил Валькуров, если они были вынуждены отдаться великодушию имперских графов лимбургских и за это посвятили себя им служить, то это не даёт никакого права унижать и обижать их, касаясь нежнейших привязанностей их представителя, разбивая своим волокитством его счастье.

Я не могу этого вынести, не могу оставить! Я потребую объяснения. И тогда пусть бережётся. Перед ним будет не его гофмаршал, а граф Рошфор де Валькур, который никому в мире не даст безнаказанно наступить себе на ногу. Но она, она — вопрос в ней. Бегу сейчас, спрошу, потребую категорического ответа: «да» или «нет»...»

И он отправился в гостиницу «Три короля», чтобы видеть и говорить ещё раз с Али-Эметэ.

— Принцесса Владимирская у себя? Принимает? — торопливо спросил де Валькур у швейцара гостиницы.

— Они изволили выехать и более здесь не стоят! — отвечал лениво швейцар.

Де Валькур остолбенел.

— Как выехали? Когда? Куда?

— Так точно! Вчера утром поручили своему шталмейстеру покончить свои расчёты с гостиницей; а потом, в обед, заехал к её светлости его высочество принц Гольштейн фон Лимбург. Они вместе и уехали. После них уже уехали её камер-юнгфера, девица Мешедэ, камердинер и прочая прислуга. Его превосходи-

тельство, господин шталмейстер, временно управляющий двором принцессы, ещё здесь, для окончания каких-то дел. Впрочем, и они сегодня едут, по поручению княгини, в Бибрих...

— Когда же княжна хотела возвратиться?

— Ничего не могу сказать! Думаю, что скоро воротиться не полагают, так как комнаты сдали и все вещи свои увезли.

— Ты думаешь, что они совсем уехали? Совсем? — вскрикнул Рошфор де Валькур дико и с ожесточением, будто швейцар был сколько-нибудь виноват в том, что они уехали.

Швейцар не отвечал, поглядывая на странного барина, который, видимо, горячился, сам не зная, по его мнению, отчего.

— Говори, они совсем уехали? Отвечай же!

— Думаю, что совсем; а впрочем, всё-таки лучше узнать об этом в отеле его высочества принца лимбургского, так как они хотели захватить туда.

Де Валькур бросился к отелю своего государя, где он, будто нарочно, расстроенный хо-

лодностью Али-Эметэ, дня три не был.

— Принц дома? — спросил он у дежурного камер-фурьера.

— Никак нет, ваше превосходительство. Они вчера изволили, вместе с её светлостью принцессой Владимирской, на прогулку за город поехать!

— Куда?

— Неизвестно; они ничего не изволили сказать!

— Как же мне не сказали, что он едет?

— Его высочество особо приказывали вас не беспокоить. Они сказали: «Что это граф и вчера не был, верно, нездоров. Не беспокойте его! Я скоро буду!»

— Куда же, куда, в который из своих замков? — вскрикнул де Валькур.

Он схватил себя за голову, и перед изумлённым камер-фурьером его гофмаршал залился слезами.

Оставив Трубецкого, Екатерина вошла в кабинет и наскоро стала писать.

«Они увидят, владею ли я собой, умею ли прощать врагов своих, — сказала она. — Но пусть же берегутся; они увидят также, умею

ли я и карать их...»

«Перфильич! — писала она торопливо Ивану Перфиловичу Елагину, своему статс-секретарю. — Приезжай ко мне скорее, да захвати с собой тетрадку моих замечаний о службе гражданской и военной, да ещё выписку о роде и знатности князей Трубецких!»

Написав эту записку, она приказав её отнести, а сама вышла к Трубецкому. Вышла спокойно, твёрдо, без малейшего выражения гнева, но со сдержанной холодностью.

Тот всё ещё стоял на коленях перед её креслами.

— Встаньте, сказала я вам! — проговорила Екатерина сухо. — Не увеличивайте вин ваших ещё непослушанием.

Трубецкой поневоле встал.

— Слушайте! — сказала Екатерина. — Вы, надеюсь, понимаете, что после всего, что случилось между нами, всякая ваша служба при мне невозможна. Сегодня же вы подадите просьбу об отставке. Но чтобы не заставить вас умирать с голоду с десятью детьми и протягивать руку, как вы говорите, хотя я и знаю, что вы лжёте, то, кроме пенсии, которая вам

назначится, вы, за вашу продолжительную службу в важных чинах военных и гражданских, в царствование восьми государей, в том числе и меня, по устройству моей коронации получите ещё в награду пятьдесят тысяч рублей. Видите, я умею прощать врагов и ценю искреннее признание. Но слушайте же! Если я ещё что-нибудь услышу или узнаю о ваших коварных затеях, то вы не убережёте вашу голову! Не благодарите! Прощайте! Чтобы более я вас не видала!

Эти слова были последними, которые Трубецкой слышал от Екатерины. Ему было запрещено к ней являться.

«Ну что ж? — подумал он, садясь в карету, чтобы ехать к себе. — Это верно! Ты не услышишь обо мне, ни слова не услышишь! И теперь бы не услышала, если бы я не боялся этой проклятой записки. Но будем осторожнее! Поведём дело так, чтобы комар носу не подточил, и тогда увидим!. Унизили, осмеяли, выгнали, — хорошо, очень хорошо! Но посмотрим, не будет ли и на моей улице праздник!.. И расщедрилась — пятьдесят тысяч... ещё императрица! Да мне откупщики и рас-

кольники по сто давали!»

Получив отставку, Никита Юрьевич уехал в Москву и поселился там в своём доме, доставшемся ему по наследству, на правах майората, после дяди Ивана Юрьевича, в Кремле, единственном частном доме, который оставался в Кремле. Он жил там с царской роскошью. Фраза его о бедности была, как угадала императрица, только фразой, была ложью, была предложение нескончаемого канючения, которым отличались русские царедворцы XVIII века. Она была сказана в тех видах, что не удастся ли затронуть чувствительность Екатерины. Бедного отца десятерых детей поневоле жалеют. А главное, хотелось показать, что вот, дескать, какова была его бескорыстная служба. Сколько лет служил, генерал-кригскомиссаром был, армию во время войны и мира продовольствовал, потом сколько лет генерал-прокурором всей России заправлял, а выходит в отставку нищим. Ведь Аристид по бескорыстию, не правда ли?..

Переехав в Москву, Трубецкой устроил свою переписку в таком виде, чтобы не бояться какого-нибудь листа бумаги при обыске.

Он никогда ничего не писал дома. Зато в укромных, ему известных местах, он писал много, только так, что нигде даже не поминалось его имени.

«Иванушки уже нет, на него, стало быть, нечего и рассчитывать! Нужно придумать что-нибудь похитрее, — думал Трубецкой. — Посмотрим, не помогут ли тут отцы иезуиты и мои милые раскольники?»

* * *

Али-Эметэ весело щебетала в покойном дормезе, катившемся по превосходной дороге, между виноградниками прирейнских провинций, сидя рядом с владетельным князем гольштейн-лимбургским, графом стирумским и обер-штейнским, в сопровождении конвоя из четырёх человек его конной гвардии, под начальством унтер-шталмейстера.

Правда, граф был уже человек немолодой. Ему третий или четвёртый год всё шёл сорок второй. Нельзя сказать, чтобы он был и очень красив; немножко тяжеловат как-то, ну и обрюзг уже порядочно. «Но что нужды? — ду-

мала Али-Эметэ. — Молодых и красивых я найду сколько угодно; а владетельных князей, родовитых владетельных князей, их не так-то много. Да он и недурен. Деликатность, нежность, доброта в глазах светится. Правда, уж чересчур сентиментален, но это ничего! Зато он Божию милостию владетельный князь Священной империи, герцог своего государства, и если я сойду с ним, то могу быть не какой-то не известной никому княжной Владимирской, которой и имя и бумаги словно чудом с неба упали, а настоящей владетельной графиней, к которой и император, и короли поставят себя за долг относиться с обычным уважением. Как далеко это будет от девицы Шель в Берлине или мадам Треймуль в Лондоне».

Принц сидел подле неё и не столько слушал её речи, в которых, впрочем, не было ничего особенного, сколько прислушивался к её голосу, гармоническому смеху и весёлости, именно щебетанью, которым Али-Эметэ умела так завлекать. Он сидел, слушал и мечтал.

«Правда! Тогда Ван Тоуэрс мне очень нравился, — продолжала рассуждать про себя

Али-Эметэ, болтая что-то князю. — Он, бедняжка, тогда сновался во все стороны, чтобы угодить своей княжне, украсить свою милую Эметэ... Что-то он теперь? Скучает, я думаю, в своей тюрьме, бедный. Но что же делать? Из первых же денег я его непременно выкуплю, с тем, однако ж, чтобы ко мне, по крайней мере первое время, ни ногой. Нельзя! Никак нельзя! Особенно с его манерами. Он и тогда меня шокировал нередко! Нет, нет да и прорвётся в нём что-нибудь биржевое, что-нибудь торговое. Вот в этом отношении мой принц безукоризнен. В нём уж не найдёшь ни тени лавочничества, ни тени мужичества, что я всегда так ненавидела в Ван Тоурсе и Шенке. Особенно Шенке. Он был мне даже противен, когда ни с того ни с сего, бывало, вдруг вздумает рассчитывать, сколько он со мной прожил. Нет также в нём ничего заносчивого, ничего хвастливого, как у Марина. Он, как англичане говорят, истинный джентльмен, действительный, настоящий принц, без того фатовства, в котором эти петиметры утонули. Князь, действительно князь. И если не очень красив, то изящен до-

нельзя, изящен до великолепия! О, я заставлю его полюбить себя, заставлю без ума влюбиться».

Рассуждая про себя таким образом, она в промежутках весело болтала, рассказывая князю свои впечатления и оживляя свои рассказы солью шутки и сдержанной любезности светской женщины.

А он, заслушиваясь её, в то же время думал:

«Как хороша! Боже мой, как хороша! Она очаровательна! С ней я чувствую себя молодым, чувствую счастливым. Подле неё я чувствую, что во мне кровь кипит, разливается отрада. Я счастлив, безумно счастлив!.. Полюбит ли она меня хоть немного? Ах, если бы полюбила!»

Долго ли, коротко ли мечтали и рассуждали они, сидя в дормезе и меняя заблаговременно заготовленных лошадей и конвойных, только наконец на вершине одной крутой и высокой горы показались башни, потом открылась зубчатая стена с полукруглыми отверстиями и красная крыша, за которой высились столетние дубы и каштаны густо раз-

росшегося сада. Это был один из замков графа лимбургского, цель их путешествия.

— Ах, как у вас тут хорошо, принц! — вскрикнула Али-Эметэ, выйдя на одну из террас замка и оглядывая кругом окрестность.

И действительно, перед ними открылась картина. Замок стоял на конусообразном крутом холме, перед которым расстилалась цветущая волнистая долина, покрытая виноградниками и пшеницей. Местами высились купы зелени, обозначающие сады ярко светящихся домиков, с их красными и зелёными крышами и украшенными цветами входами и балконами. Вдали виднелась готическая церковь. Вся долина представляла покатость, идущую всё ниже и ниже до самого Рейна. Её прорезывала неширокой, извилистой полоской река Нейса, омывающая самую подошву холма, на котором стоял замок. Воды её то скрывались за волнами холмов, то сверкали зеркалом, отражая в себе чудный ландшафт. На горизонте виднелись башни других замков, то красовавшихся своим гордо поднятым флагом, то напоминавших прошлое своими развалинами.

— Как хорошо тут у вас, принц! — повторила Али-Эметэ. — А вы ещё говорили, что здесь скучно. Удивительно, как это люди, обладающие столь прелестными предметами, так мало дорожат ими. Признаюсь, я хотела бы жить и умереть здесь.

— Ваше присутствие, княжна, может оживить всякую местность, прогнав всякую скуку, и от вас зависит осчастливить этим мой скромный замок и его, счастливого тогда, обладателя.

— Прелестно, прелестно! — продолжала Али-Эметэ, как бы не вслушавшись в слова князя. — Здесь и дышится как-то легче, и смотрится светлее. О да, пока я буду здесь, я буду часто бывать у вас! Но я боюсь совсем засмотреться, потому и буду просить вас, князь, продолжать обход, чтобы ознакомить вполне с изяществом ваших владений скиталицу, которая о своих владениях может говорить только увы! — по воспоминанию самого раннего детства.

На такое приглашение граф лимбургский с любезностью петиметра предложил ей продолжать прогулку по замку.

Минуя ряд комнат, отделанных заново уже самим принцем, когда он заложил своё графство Стирум с достаточной роскошью во вкусе времён регентства, следовательно, с непрерывным напоминанием пластически-изящных и художественно-сладоэротических преданий Греции, натянутых, впрочем, на французский лад: напудренных, подвитых, подделанных под французскую чопорность и аркадскую сентиментальность, — они наталкивались непрерывно на что-нибудь, что уж ни в каком случае не могло содействовать успокоению волнения, которое чувствовал влюблённый князь, прогуливаясь с молодой женщиной один на один.

То видели они, как лебедь похищает Леду, то как Юпитер ласкает Европу, то как богиня красоты Венера учит ребёнка-Амура любить. А там целый ряд сцен из похождениях девственной Дианы с Вулканом. Али-Эметэ весело отшучивалась от намёков и замечаний, которые, однако ж, не оставались бесследными и отражались ярким румянцем на её оживлённом личике и покрывали поволокой её светившиеся, страстные глаза. Наконец они

вошли в зимний сад.

Граф лимбургский, как и все сентиментальные люди, очень любил садоводство, поэтому зимний сад у него был устроен превосходно.

Глубина сада была занята пальмами, раскидывающими свои ветви у самого потолка; под ними росли разнообразные папоротники, драпированные рододендронами и азалиями в цвету. Вокруг них располагались бордюрные растения и травы по обе стороны узкой дорожки до самого бассейна, посреди которого лёгкой струёй бил фонтан.

Позади фонтана был устроен цветущий грот, перед которым стояла художественной работы мраморная статуя молчания.

Саркастическая улыбка каменной полубогини, прижимающей маленький сквозящий пальчик к смеющимся губкам, была так хороша, так выразительна, что не могла не остановить на себе внимание. Невольно думалось: а что там, что за нею в этом гроте, который будто нечаянно, будто сам собой образовался из диких, ноздреватых камней и закрылся ползучими растениями и цветами.

Там, впрочем, не было ничего особенного. Там был прелестнейший укромный уголок с зеркальными стенами и потолком, драпированными розовым штофом. Цветы, зелень, дорогие безделушки из фарфора и бронзы, расположенные на изящных этажерках и кронштейнах, украшали этот уголок, посреди которого мраморная Психея любовалась спящим Амуром, закрывая собой роскошное ложе, покрытое тоже розовым штофом и приготовленное для современных Клеопатр и Фрин, которые надо полагать, в прежние времена нередко являлись сюда утешать собой скучавшую в одиночестве его графскую светлость.

За ложем, у противоположной входу стене, шумел маленький каскад, дававший воду для освежения и отражавшийся в зеркалах всей прелестью своего движения, маскировавшего и закрывавшего горевшую лампаду, для которой плёнка каскада служила как бы стеклянной ширмой. Свет в грот входил только сверху.

— Здесь восхитительно, — сказала Али-Эметэ, действительно очарованная преле-

стью убежища. — Здесь можно забыть целый мир, можно увлечься до самозабвения. Это рай на земле! — Затем, помолчав немного и чувствуя, что рука князя, в которой он держал её руку, дрожит от волнения, она освободила свою руку и спросила:

— Скажите, князь, много увлечений проходило мимо вас здесь, на этом Калипсином острове неги и любви?

И она села на кушетку, стоявшую в стороне от сладострастного ложа, приготовленного будто для выполнения обязанностей культа, прототипом которых могли служить пиры Валтасара.

Принц Филипп был в эту минуту решительно вне себя. Он готов был, кажется, отдать свою душу за одну минуту уверенности, что бывшие увлечения могут возобновиться, и ещё с таким существом, которое, ему казалось, было прелестнее всех Аспазий и Клеопатр в мире. Он не нашёлся для ответа и нервно дрожал.

— Идите, князь! — продолжала Али-Эметэ, бросая на принца взгляд не то строгий, не то насмешливый. — Оставаться долго

здесь опасно. И в самом деле может прийти в голову, что и я, как новая Калипсо, встретила неожиданно Телемаха.

Она встала и пошла, а он всё ещё стоял, всё ещё искал слов, что ему сказать об увлечениях, будто в самом деле видение Калипсо в его гроте отуманило его мысли и ослепило глаза.

* * *

Несмотря на свою сентиментальную идеализацию обожаемой женщины, идеализацию, невольно впадавшую в платонизм, граф Лимбургский не всегда оставался немым. Сколько ни притупились его чувства пожилыми годами и всем прошлым жизни, ни в коем случае воздержанной; сколько, наконец, ни были они парализованы фиктивным раздражением напускного платонизма, — всё же постоянное влияние чарующей красоты, влияние, побеждающее все колебания, вызвало и в нём горячее слово. Слово это, согласно его характеру, его образу жизни, настроению его мыслей, усвоенных из общественных отношений и понятий того времени, было в высшей

степени туманно. Оно высказалось не как порыв всепобеждающей страсти, а как поклонение, как мольба, в которой самая недоступность возносилась до степени апофеоза. Эта мольба просила себе только право обожать. Но Али-Эметэ была не из тех существ, которые долго бы хотели быть Лаурой для своего Петрарки. Она быстро поставила вопрос на более материальную почву.

— Мой князь, мой милый, добрый князь, — сказала она, обвивая его голову, когда он стоял перед ней на коленях. — Мне не следовало бы вас слушать. Я должна была бежать, скрыться, исчезнуть... Но я не в силах... Зачем я здесь? — спрашиваю себя. Зачем слушаю ваши обольстительные, смущающие мою душу слова? Не знаю; в вас что-то есть, что меня приковывает, увлекает, и я не в силах противиться себе... не скрою этого от вас. У меня много поклонников, много ухаживателей, воздыхателей; многие искали моей руки; последний из них был ваш гофмаршал граф де Валькур. Не скажу, чтобы никто из них мне не нравился; но они нравились мне до первого объяснения, а потом... потом, бывало,

я невольно начинала раздумывать: «Что? К чему? Какие будут последствия?» А начну раздумывать — невольный холод обдаёт всякую мечту. И если даже нравился мне человек, я невольно начинала его избегать. Вы первый, которого почему-то я не могу избегать; первый, который почему-то не возбуждает во мне ни сомнений, ни вопросов... Я не спрашиваю себя: что и зачем? Вас я слушаю, слушаю и хочу ещё слушать! Нет, мало слушать...

И она живо наклонилась к нему и горячо, страстно поцеловала его лоб.

Князь без памяти, без ума, прижал её к своей груди.

Но в ту же минуту она встала и на страстную мольбу князя отвечала:

— Через час, в саду, я твоя!..

* * *

Время шло незаметно. Князь лимбургский блаженствовал с молодой подругой, забыв всё на свете. Он забыл и свою тяжбу с королём прусским, и свою заботу о выкупе оберштейнских прав, и о своих притязаниях на Гольш-

тейн. Он всё забыл: он видел только одну очаровательницу, в которой слился для него целый мир.

— Моя Элиза, моя несравненная Элиза, — говорил он, — моя повелительница, моя султанша, очаровательная Геба, своим нектаром опьяняющая самого громовержца, скажи, отчего, смотря на тебя, я не могу ни о чём думать, кроме тебя?

— Я думаю, потому, — отвечала, смеясь, Али-Эметэ, — что и я не думаю о моём Владимирском княжестве и о Персии, когда бываю с тобою и играю перед тобой роль очарованной Калипсо.

— Ты Гебой лучше. Впрочем, нет!.. Я и сам не знаю, чем и когда ты лучше. Мне всегда кажется, что лучше того, чем ты есть в ту минуту, как я на тебя смотрю, уже ничего не может и быть.

— А я люблю тебя всегда лучше рыцарем. Впрочем, ведь ты и так рыцарь чести и благородства. Недаром, говорят, Линанжи носили девиз: «Бог и моя честь!» Они были истинные рыцари, а ты их прямой потомок!

— Да, но потомок без железа и крови.

— Зато с чувством и душою. Ты мне часто говорил, что ты немолод; зато твоя душа, твоё чувство вечно молоды и вечно хороши, а душой любить можно только душу! Кстати, сегодня я хочу быть Психеей, будящей своего Амура... Согласен?

Ряд такого рода страстных сцен, в которых Али-Эметэ являлась то Гебой, то Психеей, закружили графа лимбургского совершенно. Жизнь, полная неги и наслаждения, совершенно поглотила всё его существо. Он теперь не понимал, как он мог жить иначе, и расчёт Али-Эметэ, думавшей, что тот, кому она отдаётся, никогда её не забывает, в рассуждении графа лимбургского оказался верным до математической точности. Не прошло двух месяцев, как он предложил своей Элизе не только своё сердце, но и руку.

— Зачем? — сказала она. — Разве так мы не довольны счастливы?

— Но счастье наше не гарантировано на целую жизнь. Умоляю, Элиза, успокой меня, обещай!..

— Да, но у меня также есть обязанности; эти обязанности требуют, чтобы прежде, чем

я решу свою участь, я подумала о них.

Уверенная в себе, Али-Эметэ не торопилась принять предложение, которое, она знала вперёд, он рад будет повторять без конца. И точно, граф начал умолять её всеми мерами.

— Но ведь у меня есть жених; ты позабыл — граф Рошфор де Валькур. Мне нужно прежде покончить с ним. Правда, давая ему слово, я не думала, чтобы могла кого-нибудь полюбить, и решилась более потому, что нужно же иметь кого-нибудь, кто бы меня защищал и охранял; но всё же!..

Но ей не удалось договорить; вошёл дежурный камердинер и доложил светлейшему графу: гофмаршал вашего высочества граф Рошфор де Валькур.

Али-Эметэ хотела уйти, но граф лимбургский остановил её.

— Я пойду к нему, — сказал он и вышел.

До ушей Али-Эметэ доходил крупный разговор, потом брань, наконец, сильный звон колокольчика, шум множества голосов и разом наступившее молчание.

Любопытство страшно мучило Али-Эметэ; ей очень хотелось пройти две комнаты, кото-

рые разделяли её от кабинета графа, куда, вероятно, пригласили Рошфора. Однако боязнь вдруг встретиться лицом к лицу со своим прежним женихом удержала её от этого.

Граф вышел бледный, расстроенный.

— Что у вас там было? — спросила она спокойным тоном, подавляя своё любопытство.

— Ничего! — отвечал граф. — Я велел его посадить в крепость!

— В крепость? За что?

— Представь себе, какой негодяй! Вздумал уверять, что ты была его любовницей!

— Вот они всегда так, эти мужчины; скажи им ласковое слово, они готовы уверять, что от них без ума были. Ты лучше чем кто-либо можешь знать, была ли я чьей-нибудь любовницей!

— Ты мой идеал, моя богиня, моя несравненная! — отвечал имперский князь, целуя её руку. — Осчастливь только своей ручкой преданнейшего тебе друга и вернейшего раба твоей красоты. Если мог быть твоим покровителем Рошфор, почему же ты не хочешь выдать своим покровителем меня?

И началась опять для графа лимбургского жизнь неги и наслаждения; опять забывал он целый мир в объятиях обворожившей его Цирцеи, думая только о том, как бы убедить её принять его имя и титул, как бы сделать, чтобы она решилась стать владетельной светлейшей графиней, имперской княгиней гольштейн-лимбургской.

Граф в наслаждении забывал все; но не забывали своих предположений отцы иезуиты; не забывал их и князь Радзивилл. Недаром же платил он в течение двух лет по сто двадцать тысяч франков. Не забывал прекрасной княжны и Огинский, которому воспоминание отрадных минут, проведённых с нею, было той радостью, ради которой — как он говорил — он, родовитый поляк, может забыть даже свою отчизну.

Письма, получаемые из России, заставляли их действовать. Екатерининские генералы разбивали поднятых против неё турок. Из Константинополя писали, что без существенной, серьёзной помощи султан не выдержит и заключит мир. Шведы не смели думать подняться, хотя не могли примириться с мыслью,

что из первенствующей державы Севера они стали почти ничем. Польша была под русским гнетом, и прусский король, видимо, заискивал перед Екатериной, чтобы вместе с ней воспользоваться польскими раздорами.

«Ну, мы и Австрии что-нибудь дадим, — думал Фридрих II, — а если она не захочет, то... вдвоём с русской императрицей мы обойдёмся и без неё».

«Нужно действовать, непременно нужно действовать, — думали и иезуиты, — а русский вельможа, живущий в Спа, говорит, что единственное средство потрясти могущество Екатерины заключается в том, чтобы выставить её соперницу, права которой были бы твёрже, происхождение несомненное, законность яснее, чем те основания, на которые опирается самодержавие Екатерины».

И отцы иезуиты решили отыскать Али-Эметэ и убедить её приступить к их планам во что бы то ни стало.

Поручение отыскать и уговорить выпало на красавца поляка Доманского.

— Убедите её, чем хотите и как хотите, — говорил отец д'Аржанто. — Скажите, что пен-

сия её будет удвоена; что на первое время будет ей выдана более или менее значительная сумма; что свобода её стеснена не будет. Обещайте всё, только бы она начала, вошла бы хоть в переписку с кем нужно. Не забудьте, что вы этим послужите церкви и церковь не забудет вас.

Случай помог Доманскому напасть на след барона Эмбса, или Ван Тоуэrsa. Он нашёл его во франкфуртской долговой тюрьме.

Несмотря на то что забытый Ван Тоуэрс, томясь в заключении, имел все основания быть озлобленным против бывшей своей любовницы, он ни одним звуком не захотел ей чем-либо повредить. Последняя ласка её всё ещё нежила его воспоминание, и он тогда только указал Доманскому адрес Али-Эметэ, когда уверился, что все предложения, которые Доманский хотел ей сделать, клонятся к её пользе.

В один день, когда графу необходимо было по делам съездить в Кобленц, к замку его подъехал красивый кавалерист, спросил светлейшую принцессу Владимирскую и приказал о себе доложить как о приезде из Мосба-

ха с важными бумагами. Она его приняла.

Пока она разглядывала красавца поляка и вспоминала, что она когда-то видела другого такого же поляка-красавца, но которого она, отвлечённая разными обстоятельствами, тогда упустила из виду, — Доманский вынул сумку и подал ей два пакета, объясняя, что один пакет дан ему отцом иезуитом д'Аржанто, а другой вручён для доставки ей важному русскому князю, живущему в Спа. Кроме того, он показал ей вексель на значительную сумму, данный переводом на франкфуртского банкира Аленца, заявляя, что этот вексель будет принадлежать немедленно ей, как только она примет его предложение.

Отец Флавио удостоверил её, что всё, сказанное Доманским, она может принять за истину, так как он есть прямой их уполномоченный и доверенный.

Второй пакет содержал в себе приглашение приехать в Спа для важных объяснений с обер-камергером русской императрицы, бывшим некогда первым вельможей Русской империи; фамилию его слышала Али-Эметэ, но забыла. Приглашение не было никем подпи-

сано.

Совокупность приятных известий с красивой наружностью и приятными манерами привёзшего их заставили Али-Эметэ с ним разговориться. Разговор, направленный Доманским умно и ловко на предметы, которые её интересовали, ещё более расположил её в его пользу. Она пригласила его навещать её чаще. Доманский этим воспользовался и, по приезде князя лимбургского, был ему представлен как посланец от поверенного её персидского дядюшки. Что ж такого? Ведь она знала из последнего своего разговора с отцом Флавио, что её персидский дядюшка, делавший ей пенсию последние два года, был не кто иной, как отцы иезуиты и князь Радзивилл, пане коханко. Ну а Доманский был послан от них, стало быть, никакой лжи в том, что Доманский представляется в виде дядюшкина посланца, нет и не бывало.

Нужно сказать, что, живя с графом лимбургским на правах его будущей супруги, она не только разыгрывала сладострастные сцены в гроте замка, но и с аккуратностью биржевого маклера близко знакомила с поло-

жением его дел. Она убедилась, что его общественное положение, как по происхождению, так и по занимаемому им месту в составе Священной Римской империи, стоит весьма высоко; но что этому положению тоже далеко не соответствуют его денежные средства. Бюджет княжества Лимбург почти полностью поглощался содержанием придворного штата и княжеской миниатюрной армии; графство Стирумское было заложено, и имперский комиссар наложил уже запрещение на его доходы, так как не платились проценты, а на выкуп его у князя Гольштейн-Лимбург средств не было; графство Оберштейн находилось в совокупном владении с графом трирским, и вследствие именно таковой двойственности правления доходы с него были ничтожны.

Сообразив это, Али-Эметэ рассчитала, что если представительство княжеского двора оставить в том виде, как оно есть, то собственно на расходы князя остаётся не более 20 000 франков в месяц; а она, не будучи владетельной княжной, умела проживать более чем по 30 000. Теперь, после того как князь в течение года, живя с ней, не думал ни о дохо-

дах, ни о расходах, они прожили чуть ли не на 150 000 франков более, чем позволял скромный бюджет княжества. Что же они будут делать следующий год? Ведь для приведения дел в равновесие нужно в течение десяти месяцев, как говорят, положить зубы на полку.

Этот расчёт заставил Али-Эметэ прийти к заключению, что пенсия от отцов иезуитов, князя Радзивилла, или дядюшки, для неё необходима как воздух. Без неё она захлебнётся, потонет в долгах и потопит вместе с собой графа лимбургского.

Поэтому, с практичностью именно биржевого маклера, она сообразила, что ей отказать от предложений Доманского невозможно. Она должна принять планы иезуитов и приступить к действиям, согласным их желаниям. Если бы она отказалась и вышла замуж за князя, то, пожалуй, она и с ним вместе очутилась бы в том же пол ожёгши, какое она уже испытала, быв девицей Шель в Берлине и госпожой Треймуль в Лондоне, и которое в особенности выпало на её долю во Франкфурте, когда ей едва не пришлось из-за ничтож-

ной суммы отправиться в тюрьму, где и до сих пор томится пожертвованный ею её бывший любовник. Во всяком случае, выйдя замуж за князя и не принеся ему ничего, она видела, что нужно будет соблюдать самую строгую экономию. А Али-Эметэ всего более на свете ненавидела экономию. Притом же владетельной княжне лимбургской быть в положении девицы Шель невысказанно. Это погубило бы и её, и князя, и даже самое княжество. «Стало быть, решительно мне нужны мои зацепинские капиталы; я должна взять их, а для этого принять предложение иезуитов и начать действовать, тем более что они предлагают мне на то средства, далеко превосходящие те, о которых говорилось прежде... Теперь станем рассуждать, — говорила себе Али-Эметэ. — Если мои действия будут успешны и я не только докажу свои права, но и вступлю на русский престол и стану, таким образом, царицей Севера, тогда, разумеется, ни о каких княжествах, ни о каких имперских графствах мне не будет стоить и думать. Если же мне это не удастся, то я войду с царицей в соглашение об отдаче мне только

моего Владимирского княжества на правах лена, то тогда безразлично: я могу выйти замуж за лимбургского князя или не выходить, смотря по обстоятельствам. Если же, наконец, царица и на то не согласится, то, без всякого сомнения, она рада будет отделаться от всех моих притязаний безусловным предоставлением получения доставшихся мне по завещанию зацепинских капиталов и имений, тем более что большая часть этих капиталов находится вне России и не может быть вытребована её абсолютной властью. А тогда, — думала она, — выйдя замуж за светлейшего, владетельного князя лимбургского, графа стирумского и оберштейнского, я займу положение, достойное моей мечты. Я буду, бесспорно и несомненно, владетельная великая княгиня, которая полученными ею в наследство капиталами поднимет не только своего мужа, князя, но и самые его княжества...

Между тем что же я могу потерять, соглашаясь принять предложение Доманского и приступить к деятельному отысканию своих прав при помощи иезуитов и выдвигаемого ими князя Радзивилла? Ровно ничего! Нужно

будет, согласно объяснению Доманского, ехать в Спа, Париж, потом в Венецию, Рим и, может быть, Константинополь. Тем лучше! Я люблю путешествия, люблю разнообразие; они же предлагают мне к тому средства, даже с избытком. Правда, свадьбу придётся отложить; да и я сама не тороплюсь. Я уверена в себе и знаю, что чем более я буду откладывать, тем сильнее князь будет рваться, домогаться и желать. Я знаю, уверена в этом...»

Она убедилась опытами многих, что ни один мужчина, обладающий ею, не забывал её никогда. Стало быть, ей бояться, что граф лимбургский вздумает отказаться от неё, было нечего; напротив, он твёрже и твёрже будет в своём слове. А если бы и изменил, если бы отказался, то для него же хуже; через неделю он на коленях умолял бы простить его отказ. «Да об этом и говорить нечего, — рассуждала она, — он не откажется ни в каком случае. А вот я займусь пока этим молодым и красивым поляком, кстати, он мне нравится. А там увидим, что нужно будет делать! — Затем она сейчас же перенесла вопрос опять на экономическую почву. — Станем рассуждать

далее, — продолжала Али-Эметэ. — Ни у меня, ни у князя теперь денег нет ни гроша. Доманский предлагает сейчас же получить значительную сумму на издержки. Эти деньги я могу предложить своему князю на выкуп его Оберштейна. Он мне, разумеется, отдаст их, и вознаградит, и отблагодарит. С тем вместе будет поражён моим великодушием и бескорыстием. Может быть, и Оберштейн весь отдаст мне в благодарность; а тогда я, в случае полной неудачи с русской императрицей и неполучения даже зацепинских капиталов и в случае даже, если бы не пошла замуж за моего лимбургского купидона, буду княгиня оберштейнская... Всё же лучше, чем сомнительное имя, перешедшее ко мне случайно, вероятно, по ошибке. Итак, решаюсь!»

Можно себе представить, как изумился граф лимбургский, когда однажды его милая княжна ему, скучавшему от неудач в денежных делах и запутанности своих счетов, сказала, сопровождая слова свои очаровательной улыбкой:

— Ты говорил, друг мой, что очень бы хотел выкупить права на совместное владение

Оберштейном у графа трирского, но стесняешься в средствах для этого выкупа. Вот мне поверенный моего дядюшки прислал некоторую сумму; возьми её и сделай из неё то, что найдёшь полезным.

Граф совершенно растерялся перед этими словами своей очаровательницы. Кроме того, что они выводили его из затруднительного денежного положения и оканчивали дело, переговоры по которому тянулись так долго, а когда пришли к концу, то встретили новые затруднения в его безденежье, — эти слова указывали на бескорыстную преданность ему любимой им особы, её веру в него и самоотрицание ради его спокойствия. Он не находил слов, чем и как доказать свою благодарность и своё поклонение перед её великодушием, и действительно, Али-Эметэ рассчитала верно: выкупив Оберштейн, он записал его на её имя в пожизненное владение.

— Это будет твоё приданое при выходе за меня замуж, — сказал он.

— К чему это, мой друг, — ответила Али-Эметэ. — Я надеюсь, что посылки от дядюшки будут повторяться; да и отдадут же, полагаю,

и моё наследство. Только мне нужно будет на короткое время тебя оставить и съездить по своим делам в Париж и Венецию... Полно, полно, не надолго! — прибавила она, заметив, что граф побледнел. — И я еду ведь не сейчас же; мы обдумаем, как сделать, чтобы как можно менее быть врозь; ведь мы с тобой нераздельные...

Однако же, несмотря на эту нежность, частые приезды из Мосбаха Доманского и уединённые прогулки с ним Али-Эметэ начали в большей или меньшей степени тревожить графа.

Он видел, что Доманский был красавец, был ловок, умён... Правда, общественное положение его было ничтожно; бедный шляхтич, на службе богатого магната, не может сравняться с ним, владетельным принцем... Но эти женщины часто не смотрят на общественное положение, и весьма легко может быть... Это «может быть» мучило его, росло с каждым днём, особенно когда он сравнивал свою отяжелевшую уже фигуру и обрюзглое лицо с стройностью и свежестью Доманского. Он не выдержал и свои сомнения передал

Али-Эметэ.

— Ах, Боже мой, не ревнуешь ли ты меня? — сказала она. — Но какое же право ты имеешь меня ревновать? А ты ещё настаивал, чтобы я за тебя шла замуж. Разве можно идти замуж за ревнивца? Я с ним вижусь часто; хожу или сижу с ним одна потому, что он от доверенного дяди, был в России и нам есть о чём с ним поговорить, что несколько не интересно ни для кого, кроме меня, и я вовсе не желаю, чтобы кто-нибудь об этом знал.

Проговорив это, она вдруг прибавила как бы с грустью:

— Но если ты ревнуешь, Бог с тобой! Я тебе не жена и делаю, что хочу! Признаюсь, терпеть не могу ревности!

Граф на коленях выпросил себе прощение.

— Я слишком люблю тебя, чтобы не простить! — сказала ему Али-Эметэ, обнимая его и целуя в голову, которую он склонил к её коленям...

Сцена была весьма нежная. Граф даже плакал от великодушия и нежности той, которую любил больше жизни, и обещал никогда в жизни не огорчать её подозрениями и ревно-

стью. А между тем в тот же вечер Али-Эметэ говорила Доманскому, любуясь его красивыми чёрными усами, так резко отличавшими его от всех бритых подбородков и пудренных голов тогдашней французской моды.

— Нужно ехать скорей, а то мой старик сегодня уже заявил претензию на ревность. А именно в нём, и только в нём, я ревности-то и не хочу возбуждать!

— Только в нём? — спросил Доманский, страстно глядя на её красивую голову и маленькие очаровательные ручки.

— Это что за вопрос? — спросила она его холодным и строгим голосом.

Доманский сконфузился и покраснел; но Али-Эметэ Уже улыбалась и снова своим обычным чарующим голосом продолжала:

Итак ехать, ехать! И ревность успокоим, и нам будет свободнее... Да ведь и отцы иезуиты будут беспокоиться; пожалуй, подумают, что их деньгами я даром воспользуюсь...

— Куда же вы думаете прежде всего?

— В Спа, к обер-камергеру. Ты знаешь, как его фамилия?

— Граф Иван Иванович Шувалов!

— А?

И поездка была решена. Начались сборы. Доманский уехал и потом, будто случайно, присоединился к княжне уже в пути. Граф лимбургский проводил свою очаровательницу с молитвой и слезами.

Али-Эметэ поехала, убаюкиваемая розовой мечтою.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

ОН, ВСЁ ОН

Хорошо устроился в своём московском доме князь Никита Юрьевич Трубецкой, зажил барином-патриархом. Всю Москву принимал к себе на поклон.

Дом у него был именно, как тогда говорили, палаты; стоял в самом Кремле, прямо против соборов и царских теремов. Один только неказённый дом и был в Кремле дом князей Трубецких, и этот дом, по отменённому вскоре закону майората, после фельдмаршала-закони Ивана Юрьевича Трубецкого достался Никите Юрьевичу, его племяннику, хотя после Ивана Юрьевича и остались две дочери. Но как быть! Закон обратного действия не имеет, а Никита Юрьевич сперва по праву первородства в мужском колене, по смерти дяди, как князь Трубецкой вступил во владение майоратом, а потом уже как генерал-про-

курор самый закон о майоратах отменил.

И устроился же князь Никита Юрьевич: роскошь полная, истинно княжеская. Приём, выезд, прислуга всё это как есть по-княжески, на зависть просто. К тому же всё по-старинному, по-московскому, на прежний лад, только с новыми прикрасами. Что и говорить, зажил по-боярски, в порядке; настоящий московский вельможа. Ему же, как природному москвичу, родовому князю и боярину, ни к боярскому житью-бытью, ни к московским порядкам было не привыкать стать.

Устраивая свой московский дом, князь Никита Юрьевич обратил особое внимание на свой кабинет. Расположен кабинет этот у него был так же, как и в его доме в Петербурге, в двух этажах, с внутренней витой лестницей, но расположен так, что при помощи пристроек, переходов, крылечек и теремов князь мог принимать в нём, одного за другим, пять человек и ни один с другим не могли встретиться. Князя могли ждать и в угловой, и в голубой, и в банкетной, и внизу, и вверху — и ни один не мог видеть князя, если только князь того не хотел. К нему в кабинет можно

было проходить через бильярдную, малую столовую, портретную, библиотеку, обходить по китайской галерее и положительно не встретиться ни с кем, если только князь не желал, чтобы пришедший к нему с кем-нибудь встретился.

Ещё была особенность в московском кабинете Никиты Юрьевича, совершенно отличная от того, что было у него в Петербурге. Петербургский кабинет его был обыкновенно завален бумагами; в Москве же у него в кабинете нельзя было найти даже ни одного написанного листа. Всё, что там читалось, — или отдавалось главному управляющему, стало быть, хранилось в конторе, или сжигалось, для чего в кабинете была устроена особая печь. Не писал князь у себя тоже ничего. Он всё вспоминал ту минуту, как он стоял перед Екатериной и думал: «А что, если в самом деле там, у меня, осмотр делают и найдут этот лист, один только лист? Хотя он потайной доской закрыт... да что им потайная доска! Что, если?.. Ведь тогда пытка, смерть...»

«Поневоле нужно было рассчитывать на великодушие, бить на снисходительность; по-

неволе пришлось бы выдать, — вспоминал про себя Трубецкой. — Я чувствовал, что найдут, и нашли бы, непременно нашли. И как возможна подобная неосторожность? — рассуждал Трубецкой. — Как это в голову не пришло? Ну уж в другой-то раз не попадусь, ни за что не попадусь! Комар носа, это верно, ни за что не подточит. И зачем писать у себя и самому? Будто нет чужих мест и чужих рук? Нет, теперь, кроме поздравительных писем да записок о торжествах и днях рождениях, моей руки никто ни о чём не увидит».

На основании этого ли рассуждения или по взгляду вообще на порядки московской жизни, Никита Юрьевич старался ввести в свой дом возможную патриархальность и при всей роскоши и великолепии обстановки обращался ко всем с дедовской простотой. Семейством Никиту Юрьевича Бог благословил огромным: у него было три сына от первой жены Настасьи Гавриловны, урождённой графини Головкиной; четыре сына и три дочери от второй — Анны Даниловны, урождённой княжны Друцкой, бывшей замужем за Херасковым, и три пасынка, дети его второй жены

от её первого мужа. Из старших сыновей князя Пётр и Сергей Никитичи были уже давно женаты: первый на княжне Хованской, а второй на девице Ладыженской, Ромодановским сродни; богатые невесты взяты были и со связями, настоящими связями. У них у обоих были уже дети, Никите Юрьевичу внуки. Средний брат между Петром и Сергеем, князь Иван Никитич, только теперь жениться надумал и, с благословения родительского, выбрал себе девицу Карпову. Не бедная тоже девица была. Отец её в статс-конторе соляными сборами заведовал лет, почитай, десять, так было чем дочь наградить. Четвёртый сын Никиты Юрьевича, уже от второй жены, князь Юрий Никитич, по летам мог бы тоже женатым быть, но пока всё ещё только осматривался и по своему вкусу невесту прибирал. Старшая дочь Никиты Юрьевича, княжна Анна Никитична, тоже была замужем. Её муж, Александр Иванович Нарышкин, статский действительный советник, как говорили тогда, московскими дворцами управлял и был по дядям и братьям человек в силе. «У него нарышкинские связи! — говорили тогда в

Москве. — Кто ни будет, Нарышкина не обойдёт! От Петра ли, от Екатерины ли, а Нарышкиным всё почёт». Недаром рассказывают, будто государыня спросила у дяди его:

— Что, Нарышкин, кем хочешь, князем или графом тебя сделать?

— Зачем это, государыня? — отвечал тот. — Я Нарышкин!

Всё многочисленное семейство князя Никиты Юрьевича, за исключением князя Петра Никитича, бывшего уже сенатором, поэтому обязанного жить в Петербурге, и дочери Анны Никитичны, жившей, разумеется, с мужем в запасном дворце, располагалось и жило в доме князя Никиты Юрьевича. Кроме его собственного многочисленного семейства, у него же в доме жили: две племянницы, княжны Трубецкие, Катерина и Прасковья Ивановны, дети его брата Ивана Юрьевича, умершего в молодых годах и оставившего детей на попечение брата, тогда ещё генерал-прокурора. Обе тоже очень красивые девицы были; старшей пошёл уже двадцать первый год, а младшей едва восемнадцать лет минуло.

Разумеется, при них, равно как и при

младших дочерях Никиты Юрьевича, княжнах Елене и Екатерине, были гувернантки, компаньонки и всякие другого рода московские приживалки. Брат их, князь Николай Иванович Трубецкой, прежде также жил у дяди Никиты Юрьевича, но теперь уже был женат и жил отдельно. Князь Никита Юрьевич, видимо, был семьянин хороший, сказать нечего. И братьев малолетних, что остались после отца от второй жены, и племянников — всех призревал и всем помогал. Может, не столько для них, сколько для себя, чтобы силы побольше набрать да славой добра пользоваться. Но как бы там ни было и для чего, а им было добро. Всех родных своих он старался выводить и устраивать.

По случаю предстоявшей свадьбы брата, чтобы участвовать в торжестве и познакомиться с его невестой, приехал вчера из Петербурга князь Пётр Никитич, сенатор, как уже сказано, и александровский кавалер, с своей супругой княгиней Настасьей Васильевной, хорошенькой пятнадцатилетней дочерью княжной Китти и восьмилетним сыном князем Васенькой. Приезд старшего сы-

на, вовсе не знакомого с невестой брата, заставил князя Никиту Юрьевича назначить сегодня фамильный чай. Приглашены были только свои, родные, тем не менее чай должен был быть парадный, в большой столовой, так как предполагалось представить невесту князя Ивана Никитича всем другим, находящимся в Москве родным, и как весьма легко могло быть, что с невестою приедет кто-нибудь и из её родных.

Большая столовая была длинная и прекрасная комната, стены которой, вместо гобеленов, были обиты кожей, с выпукло вытиснутыми на ней сценами охоты. Кожу эту окружали вверху, внизу и по углам панели из нелакированного ореха, с положенными по ним, перемешанными между собою, бронзовыми, золочёными и из чёрного дерева резными барельефами. Столовую украшали также великолепные резные шкафы с цельными стёклами, за которыми виднелась богатая серебряная и золочёная посуда — один из любимых предметов роскоши в роде князей Трубецких.

К чаю начали съезжаться, по-тогдашнему,

довольно поздно, к восьми часам вечера. Первыми приехали Анна Никитична с мужем, а за ними младший брат Никиты Юрьевича от разных матерей князь Дмитрий Юрьевич. Он после смерти отца тоже долго жил у брата Никиты Юрьевича, который его, можно сказать, воспитал, записал в службу, а после, когда он надумал жениться, от службы освободил. Поэтому Дмитрий Юрьевич считал себя весьма обязанным брату и хотел быть внимательным к жениху-племяннику, бывшему с ним почти одних лет. Кроме того, он не хотел упустить случая познакомиться жену свою с теми из родных, кому ещё не удалось её представить.

Почти вслед за Дмитрием Юрьевичем вошёл родной их, то есть его и Никиты Юрьевича, племянник, граф Иван Петрович Салтыков, сын фельдмаршала Петра Семёновича Парасковьи Юрьевны, урождённой Трубецкой, той самой, которая помогла Никите Юрьевичу при восшествии на престол Анны Ивановны разрушить совет верховников. Он был ещё довольно молодой человек, но уже генерал-поручик, и по его самоуверенной по-

ступи, гордому, хотя и сдержанному взгляду было видно, что он идёт в гору и надеется в свою очередь быть фельдмаршалом. За ним вошла и двоюродная сестра Никиты Юрьевича, дочь последнего московского боярина, фельдмаршала-заики Ивана Юрьевича Трубецкого, после которого майорат перешёл к Никите Юрьевичу, Раиса Ивановна, единственный пример некрасивой Трубецкой. Старшей сестры её, Прасковьи Ивановны, красавицы в полном смысле слова и бывшей замужем за принцем гамбургским, не было уже в живых. Раиса Ивановна вышла замуж после смерти отца и сестры за Дунина, управляющего перед тем её огромным имением, которое, несмотря на то что майорат перешёл во владение младшей линии, успел оставить ей отец, наградив таким же имением и старшую дочь-принцессу, и своего незаконного сына, впоследствии столь известного Ивана Ивановича Бецкого. Свадьба Раисы Ивановны была как бы под сурдинкой, князьями Трубецкими не признавалась, и Дунин принимался Никитой Юрьевичем только в кабинете; в семейном же кругу он не показывался

никогда, хотя нельзя сказать, чтобы не имел между ними значения. Деньги всегда были деньги, а благодаря Раисе Ивановне у него деньги были, и большие деньги.

С Раисой Ивановной вошла также родная племянница Никиты Юрьевича Квашнина-Самарина, родная сестра графа Ивана Петровича Салтыкова. Она была выдана замуж фельдмаршалом графом Петром Семёновичем, говорят, по старому обряду, не выдав жениха до самой свадьбы, тем не менее они жили с мужем счастливо, как бы в доказательство того, в чём старинные москвичи всегда хотели уверить, то есть что от всех этих новшеств только хуже. За ней шёл и её муж, толстый, жирный, едва поворачивавшийся господин, служивший прежде на разных хлебных местах и теперь блаженствовавший в отставке под судом, барин серьёзный и важный.

За ними приехал единственный посторонний, не родня Трубецким, князь Александр Алексеевич Вяземский, горячий и страстный поклонник второй дочери князя Никиты Юрьевича княжны Елены, хорошенькой де-

вушки общего типа Трубецких, невысокого роста, милой, игривой брюнетки семнадцати лет, с искрящимися глазками, крошечной ручкой и губками, которые так и напрашиваются на поцелуй. Вскорости князю Александру Алексеевичу судьба сулила заменить собой князя Никиту Юрьевича в управлении Россией; он был сделан генерал-прокурором. Но теперь он этого ещё не ожидал. Он был молодым генералом, возвратившимся с ревизии Вятской губернии и усмирявшим там взбунтовавшихся крестьян. Этой ревизией и скорым усмирением бунта он обратил на себя общее внимание, а в настоящем положительно таял от каждого взгляда своей княжны, которую тогда не смел называть своей невестой, хотя и видно было, что дело клеится и что скоро княжне Елене Никитичне Трубецкой придётся сделаться княгиней Вяземской и надеть на свою милую девичью головку тогдашний богатый и безобразный ток.

Окружённый всеми этими чадами и домо-чадцами, будто библейский патриарх, за длинным столом в своей великолепной столовой сидел князь Никита Юрьевич и мешал

длинной золотой ложечкой, сделанной на конце в виде сердечка, свой чай в высоком хозяйском стакане из разноцветного богемского хрустала. Сидел и слушал и отвечал каждому с теми приветом и лаской, которые заставляли про него говорить, когда он был ещё генерал-прокурором: «Э, что князь ни скажет, будто рублём подарит! Он на пытку вести велит, а ты поблагодаришь, так это он умеет скрасить да обласкать». Впрочем, это говорилось о старом, о былом; теперь давно уж он говорил мало, будто какую мысль был занят, будто перед глазами мерещилось что... «Да! Мало говорит, зато говорит сдержанно, серьёзно! Видно прямо, слова свои на вес золота ценит, — шептались москвичи, — не любит на ветер пускать! Зато если что скажет, то будто заметку положит, будто отчеканит. Уж именно и послушать, и подумать не грех».

Подле него сидел приехавший из Петербурга сын, князь Пётр, и рассказывал петербургские новости.

На другом конце стола, за серебряным самоваром ведра в два, сидела сама княгиня Ан-

на Даниловна. Она наливала чай, то есть наливала чай не она, а не то её княжеская барыня, не то какая-то из московских приживалок, которой за то дарилось иногда к празднику платье с княжеского плеча; но для большой торжественности, так как чай был парадный, она присутствовала, наблюдала и даже, при помощи золотых щипчиков, сама собственной рукой удостоила положить сахар в стакан мужа, прежде чем приживалке было приказано его налить.

Подле княгини сидела её близкая приятельница, жена брата её покойного мужа, Варвара Даниловна Хераскова. В Москве их звали неразрывными. И точно, за Трубецкой неминуемо следовала Хераскова, а за Херасковой, наверное, можно было встретить Трубецкую. Но такая приязнь нисколько не нарушала счастья их семейной жизни, и, насколько князь Никита Юрьевич был несчастлив со своей первой женой, настолько судьба вознаградила его в жизни счастливой жизнью со второй.

Княгиня Анна Даниловна была уже немолода, но до сих пор очень хороша. Просесть,

начавшая показываться в её тёмных волосах, закрывалась пудрой, тонкие брови были немножко подсурьмлены, но свежесть её лица и белизна кожи вызывали зависть к ней даже в тех, кто годился ей в дочери. Она изредка перекидывалась словами с Херасковой, смотрела, как наливали и разносили чай, будто наблюдая за этим, но наблюдала с такой неподвижностью, с таким аристократическим спокойствием, что думалось: верно, разливательница умеет выполнять её желания, угадывая мысли.

Большие серебряные подносы, уставленные китайским фарфором и серебром превосходной филигранной работы в изделиях со специальным назначением для сливок, сухарей, разных печений и богемским хрусталём для рома, разных вин, вареньев и морсов, понесли вокруг стола два громадного роста официанта в ливреях князей Трубецких, и в то же время стол заставился всем, что можно было достать в Москве редкого и дорогого для замены русского паужина русским же чаем. Тут было всё, чем бы кто хотел баловать себя, — от парижских конфет до, несмотря на де-

кабрь, свежей малины с густыми, превосходными сливками. Расположившись группами, по сближению взаимных интересов, все были заняты именно тем, что в этих интересах было для них дороже. У всех была цель, и все были заняты ею, так что Никита Юрьевич, несмотря на многочисленное общество, мог говорить с сыном свободно, как бы не было никого.

Но и ему было не до разговора, хотя разговор его очень интересовал. Со времени самого увольнения Никиту Юрьевича занимала одна мысль и эта мысль решительно подавляла в нём все побочные соображения, все посторонние случайности. Эта мысль обозначалась словами: «Опозорили, выгнали! С царства прямо в ссылку! Подумать нужно, нельзя ли отблагодарить, да из ссылки прямо в царство!»

Всё время об этом думал Трубецкой. Эта мысль угнетала его, томила, до того даже, что он от неё иногда вздрагивал, будто дёрнутый за какой-нибудь нерв. Правда, его сдержанность помогала ему в то же время и слушать, и говорить; но это только потому, что он со-

знавал необходимость скрывать то, о чём он думает. Впрочем, рассказы сына теперь отвечали его мысли, и он начал вслушиваться в них с особенным любопытством, не давая, однако ж, почувствовать даже сыну, в какой степени рассказы эти его занимают.

— Кажется, наш Грегуар начинает терять кредит! — рассказывал князь Пётр Никитич отцу. — Мне говорил Елагин, что она уже два раза сказала ему: «Генерал Орлов, вы забываетесь!» А это не без значения, особенно у такой женщины-царицы, какова Екатерина. И всё это от несдержанности, самодурства, всё от бешеных выходов! Поверьте, папа, он, когда рассердится, себя не помнит, даже при ней. И притом что за постоянство в наш век? Помилуйте, в её положении, и столько лет...

— Не говори! Она слишком умна для того, чтобы не понимать простой истины: чтобы владеть людьми, нужно прежде всего владеть собой. Людские сердца всего более верят сердцу. В виду всех у ней теперь хоть не монашеское, но чистое сердце. К тому же в настоящее время она большего и не требует. Орлов молод, и она нестара и слишком занята, что-

бы думать о глупостях. Вот будет постарше да посвободнее — другое дело!

— Кажется, теперь это другое-то дело уже наступило! — отвечал Пётр Никитич. — Ей наскучило видеть его всем недовольным, притом ещё несдержанным до неприличия.

— Оно, может быть, и правда! Но как же согласить это с тем, что вот братцу его ни с того ни с сего флот под команду отдали? Какой он моряк? Разумеется, и благодарность тут ни при чём. Дело в том, что братец захотел — и он командует флотом.

— Нужно сказать, папа, ведь молодец редкий.

— И негодяй редкий. Если рассчитывать молодечество по росту, то... Посмотри, какие молодцы у меня чай подают, но, уверяю тебя, ни один из них не возьмётся управлять кораблём.

— У него моряков там много, хотя бы Поль Джонс.

— Этот разбойник-то?

— Теперь уже не разбойник, а капитан первого ранга! — смеясь, отвечал Пётр Никитич. — Вам, папа, трудно угодить! Вы на всё

умеете будто флёр набросить. Уверяю вас, что мы стараемся выбирать из всего, что есть лучшего, и нельзя сказать, чтобы совсем безуспешно. Но теперь вопрос не о флоте. Все заняты графом Григорьем Григорьевичем. Разойдутся или нет и как разойдутся? — об этом только и речи.

— Панин рад?

— Не один Панин, и Разумовский, и Румянцев, и Чернышёв, все они от радости, кажется, на одной ножке прыгать готовы! Румянцев писал, что от радости он хоть на Константинополь пойдёт, а Разумовский и гетманство своё слагает.

— Разумовскому что ж? Разве он может на что-нибудь надеяться?

— Люди живут надеждой, папа, хоть она и часто обманывает. Вот, говорят, и Понятовский надеется: «Недаром, думает он, она меня королём сделала».

— После того почему же и Ивану Ивановичу Шувалову не надеяться — недаром первый же день при себе дежурить заставила?

— Ну, этому надежда плохая. Сколько я слышал, она его не то что ненавидит, а отзы-

вается о нём с презрением. Даже Вольтер не может помочь... Он теперь в Спа и хотел воротиться, но, говорят, ему посоветовали лечиться подольше. Нет, ему надежда плохая!

— Как знать! Дело будет зависеть от того, кто вместо Орлова в фавор попадёт.

— Панин позаботился об этом и выдвинул Васильчикова.

— Какого?

— Васильчикова, Александра Семёновича, вы разве не знаете его, папа?

— Да ведь он глуп?

— А Орлов Григорий?

— Правда, и тот пороху бы не выдумал, но всё же ведь этот глуп до того, что его даже жалко.

— Зато красив, чудо как красив, просто картина. И Орлов Григорий красив был и теперь недурен, но этот просто загляденье, уж не знаешь, как и назвать! Репнин привозил его представлять. Она пригласила в эрмитажное собрание. Пела там француженка Даллока. После концерта государыня подошла и спросила у Васильчикова: как ему понравилась певица? Тот отвечал, что восхищен и в

восторге от её милости, он её не видал... Как ни труп был ответ, но понравился, и Репнин на другой день красную ленту получил.

— Жаль, что не голубую! По крайней мере, мог бы выбрать девиз: «Не войной, так миром», и было бы воспоминание о великих заслугах отечеству, о подвигах.

— Кстати, папа, о подвигах. Меня атакует своими письмами д'Аржанто. А как отвечать ему, согласно вашему приказу, для меня решительно подвиг, то вот последние два письма его я и привёз вам. Не оставьте вашим родительским наставлением.

— Завтра утром посмотрим!

* * *

Пока таким образом продолжался чай и князь Пётр Никитич передавал отцу придворные слухи и новости, Никиту Юрьевича ждали, давно ждали, — и в угловой, и в голубой, разумеется, так, что не видели друг друга. Вероятно, что если бы оба посетителя увидели друг друга, то отскочили бы как обожжённые, пожалуй, после того оба с Никитой Юрьевичем

чем и говорить бы не захотели. Но в том-то и дело, что Никита Юрьевич знал, кого с кем свести и кого развести; а в доме у него были порядок и строгость; болтовни не было и быть не могло. Камердинер князя Евсеич, как звал его князь, или Евграф Евсеич, как звала его вся дворская челядь, был не слуга, а золото; таких слуг нынче нет. Он с князем вырос, был всегда при нём, видел его в горе и радости и положительно думал больше о князе, чем о себе. За князя он с радостью на плаху бы пошёл, пытку бы за него вытерпел, а чтобы против его воли что или его приказанье не выполнить, об этом и думать не могли. Он, кажется, сына родного за то на костре живого сжёг бы. Вечно угрюмый, молчаливый, занятый всегда мыслью: «Всё ли у него в порядке, да нет ли ещё чего, чем бы я мог князю угодить», — он был из тех слуг, тип которых история сохранила в Шибанове, слуге Курбского. Разумеется, такой человек не станет болтать и у него немного выпытаешь. Ему в помощь, собственно при кабинете князя и для приёма входящих, состояли: второй сын Евсеича, молодой человек, весь в отца, молча-

ливый, скромный и преданный. Он считал себя обязанным князю по гроб, так как князь купил ему в невесты у княгини Троекуровой, за дорогую относительно цену, её горничную, в которую он был врезавшись без памяти. С той поры он полагал, что если на смерть за князя пойдёт, то и тут не расквитается за его милость. Больше отца за князя стоял. «Счастливым, дай Бог ему здоровья, сделал, а то что бы я без Парани-то был? Совсем погиб бы, руки думал на себя наложить!» — говорил он, вспоминая время своей безнадёжной любви.

Потом для службы тоже по кабинету был ещё татарин, едва понимавший по-русски, которому Бирон за что-то, кажется, за то, что тот не посторонился вовремя, когда Бирон объезжал коня и кричал, чтобы сторонились, велел отрезать уши, и он, бедный, изуродованный, в отчаянии от своего уродства и не желая в таком виде возвратиться на родину, вероятно, умер бы с голоду, если бы князь Трубецкой, увидав его случайно, не велел его прибрать и вылечить. Да ещё тоже при кабинете для службы числился мальчик-казачок, немой от рождения. Вот от этих-то людей и

узнавай, что хочешь, и выведывай, особенно когда они находились под руководством и наблюдением неумолимого и молчаливого Евсеича. С женской половины на половину князя не допускался никто; даже княгиня, когда хотела видеть мужа, посылала к Евсеичу спросить: «Можно ли?»

Ясно, что о том, что князь делает, с кем говорит, кого видит, ни толков, ни рассказов и в помине не было. Знали, разумеется, что к князю приходят и приезжают разные люди, — и люди чиновные: генералы, графы, князья, архиереи, и люди простые: монахи, купцы, паломники, немцы, даже татары, мордва, жида и женщины. Князь принимает всех и не любит, когда они друг с другом сталкиваются. О том же, зачем эти люди ходят, о чём князь с ними говорит, никто ничего не знал и не говорил. «Верно, нужно, так и ходят, — рассуждала дворня. — У князя, слава Богу, дома, имения, хозяйство и к царице близкий человек был, да и чин что ни на есть наибольший имеет, не то что простой генерал, так мало ли кому какое дело до него может быть нужно. А коли нужно, так и дело с концом, и рассуж-

дать, стало быть, нечего!» — «Наше дело — делать, что приказывают, — отвечал кто-нибудь на такие рассуждения, — а не молоть языком; наше дело князю угодить по силам; ведь мы у него живём как у Христа за пазушкой, не то что у иных-прочих, стало быть, чего ж ещё?» Когда князь после чая вошёл к себе в кабинет, то Евсеич, докладывая ему об ожидающих, подал на маленьком серебряном подносе письмо.

— Приказано подать по тайности вашему сиятельству! — проговорил Евсеич.

Трубецкой взглянул на письмо и, должно быть, признал его весьма важным, потому что приказал просить ожидавших его подождать ещё, чего, нужно сказать, князь Никита Юрьевич без крайней необходимости не делает никогда, принимая всех, по возможности, в ту же минуту. Но тут, видно, дело было не до приёма; нужно было приняться за письмо.

Письмо это, нельзя не сказать, было весьма странное по своему внешнему виду. Оно было с заграничным штемпелем, но принесено не с почты, и адрес был написан не на имя

князя, а на какое-то духовное лицо. Это духовное лицо опять его кому-то передавало, и только последний, кому письмо было передано, доставил его в руки Евсеича. Князь распечатал конверт. Письмо было написано шифром. Князь зажёл приготовленную ручную печь, написал ключ к шифру и стал переводить письмо, или «перлюстрировать», как он говорил. Когда он перевёл и прочитал, то в ту же минуту и письмо, и свой перевод сжёг в своей особой печке, которая, сжигая бумагу, вместе выдувала и остающийся от неё пепел.

Письмо было от Ивана Ивановича Шувалова из Спа.

Он писал, что, согласно указанию князя Никиты Юрьевича, он употребил все усилия, чтобы повидаться и поговорить с княжной Владимирской-Зацепиной, о которой в Париже весьма много говорили, но указать которую ему никто не мог. После многих усилий ему удалось, однако ж, узнать, что она живёт в замке Оберштейн, во владениях князя лимбургского; наконец, тоже не без труда, ему удалось выписать её в Спа и с ней говорить.

«Но, разговаривая с ней и сближая некото-

рые обстоятельства, я убедился, — писал граф Шувалов, — что разговаривавшая со мною особа вовсе не княжна Настасья Андреевна Зацепина, вашего старого знакомого князя Андрея Дмитриевича дочь, хотя действительно в её руках есть несколько бумаг, принадлежащих Настасье Андреевне, и она действительно хочет, чтобы её за Настасью Андреевну принимали, так что даже удерживает имя принцессы Елизаветы, как звали княжну Настасью Андреевну в иезуитском коллегиуме, где она воспитывалась. Случайно я узнал, что говорившая со мною особа, воспитывавшаяся в том же коллегиуме, прозывалась тогда Алиной; но кто она и откуда, узнать не удалось.

Видя, таким образом, что это совсем не то, что мы думали, я, разумеется, поостерёгся выразить ей какое-либо участие; что же касается вашего сиятельства, то не позволил себе даже упомянуть вашего имени. Вместе с тем, имея в виду, что для наших целей совершенно безразлично, будет ли она настоящая княжна Настасья Андреевна или только называющая себя её именем, я не счёл полезным ни опровергать её, ни особенно высказы-

вать ей свои сомнения. Я решился предоставить ей действовать как умеет, до времени не мешая и не помогая ей. Это решение имело ещё то основание, что я получил довольно верные сведения, что настоящая княжна Настасья Андреевна погибла во время бури, отправившись в Америку.

С тем вместе, принимая в основание, что всё это одна ложь, подлог и что войти в это дело можно только при очевидности успеха, а для самого успеха необходимо, что если уж оно опирается на ложь, то должно выбрать себе ложь более подходящую, — я дал ей понять, что несравненно лучше, чем представлять из себя роль какой-то загадочной племянницы императрицы Анны, о царствовании которой все уже забыли, выставить себя просто родной и законной дочерью императрицы Елизаветы, царствование которой ещё твёрдо в народной памяти и которая была любима народом. «Такое заявление, — сказал я, — тем вероятнее, что императрица Елизавета могла иметь законную дочь и, по своему положению, должна была скрывать это; и что слух о выходе её замуж за Разумовского по-

стоянно распространялся в народе и твёрдо держится до сих пор, с указанием даже на церковь в Москве, как ту, где происходило венчание, так и ту, где после служился благодарственный молебен».

Примет ли она этот совет, я не знаю, и она передо мной ничем не высказалась; но она девица умная, ловкая и решительная. Собою она очень хороша и мастерица кружить головы мужчинам. Говорят, принца лимбургского она закружила так, что он предложил ей выйти за него замуж. Теперь она едет в Венецию и хочет оттуда начать действовать. Ей посоветовали войти в сношение с турецким султаном и удержать его во что бы то ни стало от заключения мира. Французский двор ей явно покровительствует. Мадам Дюбари с обыкновенной своей грубостью выразилась, что они русской императрице налепят такую наклейку на нос, какой она и не ожидает. А д'Егриньон, заменивший теперь Шуазеля, говорит, что он уверен, что французское дворянство сформирует рыцарский легион, который примет на себя обязательство до последней капли крови защищать права обиженной сироты.

ты-княжны, лишённой силой узурпации всего, что следовало ей по роду. Он распорядился даже дать предписание своим посольствам в Венеции и при итальянских дворах отводить ей приличное помещение, уступая свои дома, если она куда прибудет, и оказывать все почести как русской великой княжне.

Одним словом, — заключал своё письмо Шувалов, — каша заваривается; как-то её придётся расхлёбывать — неизвестно, а нам остаётся только пока ждать и ждать, чтобы, по поговорке вашего сиятельства, и комар носу не мог подточить».

Трубецкой, прочитав неоднократно это письмо, сжёг его и стал ходить по комнате.

«Шувалов прав, — думал он, — для нас решительно всё равно, будет ли она настоящая или ненастоящая княжна, произвела бы только смуту. Но тут представляется ещё вопрос: если настоящей княжны Владимирской-Зацепиной нет на свете, то зацепинские капиталы и имения бесспорно и полностью принадлежат князю Юрию Васильевичу Зацепину. На это нужно обратить внимание непременно и не позже как завтра. А смута будет, непременно».

но будет, не будь я князь Трубецкой! И вот тогда увидим, увидим!»

В самый разгар такого рассуждения у князя Никиты Юрьевича вдруг передёрнуло глаз так, что он весь сморщился и замигал этим глазом как-то особо. Но через минуту нервное сотрясение глаза прошло и князь стал ходить и думать; а дума его была всё одна и та же. Пройдясь несколько по комнате и уверившись, что письмо не только сгорело и пепла нет, но что и запах от сожжённой бумаги прошёл и заглушён вылитыми им несколькими каплями одеколona на горячую плитку курильницы, он позвонил и приказал позвать к себе того, кто его ждал в угловой комнате.

Вошёл купец — не купец, духовный — не духовный, а что-то среднее между богатым мещанином и дьячком.

Это был человек лет тридцати пяти, высокого роста и худощавый, с реденькой, клинообразной бородкой, крепкими мускулами, умным лицом и выразительными глазами под густо нависшими бровями. В нём было что-то мрачное, что-то затаённое, и казалось, что в этом затаённом он не давал отчёта даже пе-

ред самим собой.

Это был один из старообрядческих начётчиков, да не тех начётчиков, которые идут по избитой дороге старых книг, опираясь на их букву, не тех, которые слились с укрепившимися уже сектами и осевшими мнениями, но тех, кто умеет в старом находить новое и, являясь отщепенцем между своими, становится предвозвестником новых идей, нового порядка, новой деятельности. Какова будет эта деятельность — это другой вопрос. Условия, обстоятельства, жизнь имеют на всё своё влияние, накладывают на всё свой отпечаток, и, может быть, раскольник, доказывающий характерно важность двуперстного знамения, при других условиях своей жизни был бы великий философ.

Позванный к князю, он вошёл медленно, с достоинством, помолился величаво перед старинным образом Спаса Нерукотворного византийского письма, переходившим в роде князей Трубецких от поколения к поколению не одну сотню лет, и отвернулся с негодованием от нового образа Марии Магдалины живописной работы, хотя образ этот был работы

едва ли не самого Мурильо; потом поклонился князю в пояс.

Было видно, что вошедший, как новатор и проповедник, обладает страшной энергией и что он фанатик от подошвы до кончика своих неподстриженных волос.

— А, отец Пахомий, рад видеть! Ну садись, гость будешь! Какие вести?

— Ничего, постоим, ваше сиятельство, нам не привыкать! — отвечал отец Пахомий и не сел, несмотря на то что Никита Юрьевич сам подвинул ему стул. Но нельзя было угадать, отчего он не сел: из уважения ли к знатному вельможе или потому, что не хотел сидеть с проклятым никонианцем.

— Ну так какие же вести? — повторил свой вопрос Трубецкой.

— И худые, и хорошие, как кому по вкусу! — отвечал отец Пахомий.

— Начинай с худых!

— Худое то, что Топку убили.

— Как убили?

— Так убили! Больно на силу свою надеялся, а сказано в Писании... Ну вот и убили!

— Жаль!

— Да жаль; дело-то пошло было хорошо таково. Беглые со всех мест собираться начали и всё было больше двуперстное знамение принимать стали, в нашу, значит, истинную веру переходить. А как этот Фрейман на Яике христианский народ душисть начал, так надобно было полагать, что чуть не вся казацкая сторона к нам пристанет. И слух об императоре уже пошёл; да вот, поди ты, что тут станешь делать?

— Да, скверно! Всё теперь, пожалуй, навыворот пойдёт.

— Не пойдёт навыворот, — отвечал отец Пахомий, — есть и хорошая новость. Нашли!

— Кого? Что нашли?

— Того, что имя принять готов и дело делать.

— Что ты? Где?

— В казанском остроге.

— Нужно освободить!

— За этим дело не станет. Недели не пройдёт — гулять на воле будет! Мы решили поперву-то к себе на Иргиз везти.

— Дело! Только человек-то подходящий ли?

— Самый настоящий: и в Турции был, и в Польше — всё знает! И наездник лихой! Даже родимое пятнышко на ухе, — помните, ваше сиятельство, как у государя Петра Фёдоровича, — так и то есть. Совсем как есть подходящий человек. В грамоте слабоват только, ну да мы приставим к нему грамотных.

— Разумеется! Впрочем, в русской грамоте и Пётр Фёдорович был не силён, а там, на Дону да на Яике у вас, поди, о немецкой-то грамоте не очень думают!

— Тем и мил будет, коли по-немецки говорить не станет; а то вся эта латынь, по-нашему, только ересь басурманская!

— Ну так что же?

— Да ничего. Прислан доложить вашей милости: дескать, из острога украдём, слух пустим, а там с Иргиза-то первым на Яик. Топкину шайку около него соберём. Перфилыч же не знает, что с ней и делать! Ну вот и начнётся, сперва полегоньку, где силы меньше, а там, как сами силы-то понаберёмся, и гуляй вовся!

Князь Трубецкой молчал.

— А у нас ребята хоть куда, разгул любят.

Такого красного петуха пустят, что только держись!

— Помни, чтобы первым словом его было: «Жалую вас бородой и волей!» Первая — для вас, ведь у вас кругом там всё как есть старой веры, и скоблёные подбородки для них чуть ли не хуже собачьих морд; а вторая всю Русь перевернёт, всё вверх дном поставит!

— А как же баре-то?

— Э, кто поумнее, своё возьмёт!

— Рази что так!

— Да. И старую веру пусть похваляет; но нововерков пусть не изгоняет и не преследует: дескать, они по малодушию; в ум войдут — сами перейдут. И точно перейдут! Пойми, отец Пахомий! На деле стоишь, так нельзя быком упираться, а с разумом его нужно вести; стало быть, злодеяния тут ни к чему. А чтобы верили, не забудь, чтобы почаще о сыне-наследнике говорил, да голштинское знамя — вам его привезут — да портрет его берёт, ими хвастал, да почаще ухо-то с отметкой чуть не всякому показывал. Ещё пусть всем говорил бы: «Поезжайте, мол, в Петропавлов-

ский собор в Петербург, — вы, дескать, знаете, что не только цари, а все даже маленькие великие князья там погребаются. Ну и поищите, дескать, моего гроба, коли я умер! Не найдёте, наверно не найдёте, оттого что я вот тут с вами жив и здоров! Жену, что царицей себя сделала, в бараний рог согну и сына, великого князя, освобожу! Да и где же, наконец, я умер? Все знают, что я здоровый, как есть, поехал в Петергоф. Если бы умер там, так ведь в Петербург бы и мёртвого привезли; если же в Петербурге умер бы, так не украдкой же? Был же бы кто-нибудь при моей смерти; ну сенат, генералы, гвардия... А не было никого, не видал никто; ясно, оттого что я не умирал!» Вот так пусть всё и говорит.

— Сладим, ваше сиятельство, будьте покойны! Один из наших нарочно в казанский острог сел, чтобы его настраивать да готовить. Теперича я только к вашей милости: нельзя ли как на первой-то поре помочь нам; там, после, мы и сами справимся!

— Ладно, приходи завтра в контору и возьми деньги. Тысячи полторы или две, думаю, на первое время довольно?

— Довольно будет и тысячи: впрочем, и две не мешают!

— Бери две! Вот записка.

Раскольник-сектант ушёл с поклоном, а князь велел звать к себе ожидавшего его в голубой комнате.

Вкрадчивыми, тихими шагами вошёл наш знакомый, иезуит князя Радзивилла, отец Бонифаций.

Слащавым, несколько надтреснутым голосом отец Бонифаций стал передавать князю, рассевшись прежде, по его приглашению, со всем удобством в мягком вольтеровском кресле, что вот по поручению своего патрона ясновельможного пана князя Карла Радзивилла, воеводы виленского, он, слугитель Божий, руководясь указаниями вельможного графа Шувалова, прибыл нарочно в Москву для объяснения его княжеской светлости о несомненности прав её высочества княжны Владимирской на русский престол.

Говорил всё это отец Бонифаций, опустя очи долу и изредка только взглядывая на князя, когда он надеялся, что их взгляды не встретятся.

Князь слушал с вежливой улыбкой.

— Рады доброму послу, — отвечал князь приветливо. — Нам известна та несомненность, о которой вы, святой отец, изволите говорить; но признаемся, для нас было бы приятнее узнать о решении, какое принял по этому делу князь Радзивилл?

Иезуит склонил голову и, немножко подумав, отвечал:

— Его ясновельможность, князь Радзивилл, приняв в основание несомненность прав княжны Владимирской, а также и то, что узурпация этих прав приводит к враждебным отношениям два соседственные и единоплеменные государства, окончательно решился. Это именно он и поручил мне особо вашему сиятельству доложить, переговорив прежде с графом Иваном Ивановичем, с которым они виделись в Спа.

— Решился — и прекрасно! Стало быть, можно поднимать занавес, комедия начинается, — отвечал князь Трубецкой не то шуточно, не то приветливо, подёргивая вновь как-то необыкновенно своим правым глазом. Потом он спросил с особой любезностью: — Где

теперь и что делает в настоящую минуту ясновельможный пан, князь Радзивилл?

— Отправляя меня к вашей княжеской светлости, он, по совету графа Шувалова, снаряжался сам ехать в Венецию, чтобы иметь счастье представиться русской великой княжне Елизавете, которая перед целым светом хочет заявить свои права и ту обиду, которую она терпит. Подумайте, ваша светлость: её лишают не только престола, не только родового княжества, но даже её наследственных имений и капиталов, так как на обращение её к вице-канцлеру князю Голицыну, с представлением доказательств на право получения наследства после последнего князя Владимирского, равно и после своего родного отца, графа Разумовского, она не получила даже отзыва.

— У нас мода в затруднительных случаях отделяться молчанием. Нельзя сказать, чтобы это была хорошая мода!.. Но, пан аббат, протесты и заявления хороши только тогда, когда они поддерживаются чем-либо существенным. Нужно действие, действие, а то... Согласитесь, святой отец, что и на театре, ес-

ли в комедии нет действия, то она разгонит зрителей.

— Действие начинается, светлейший князь, начинается сближением с воюющей против России стороной, турецким султаном и его великим визирем Халиль-пашой, приятелем, говорят, персидского родственника княжны, поэтому принимающим в ней самое тёплое участие. Затем, под прикрытием турецкого войска и милиции, собранной польской конфедерацией, княжна должна будет явиться на юго-западе России, близ Малороссии и литовских провинций, где князь Радзивилл, при помощи нашего ордена, подготовил ей почву опоры; должна явиться как действительная претендентка, имеющая полное и неоспоримое право на русский престол. Теперь все, принимающие в русской великой княжне участие, надеются, что старорусская партия, главой которой в Европе признают вашу светлость, примет в ней участие и поднимет волнение, могущее содействовать...

Князь Трубецкой перебил его:

— Я ни в каком случае не могу признаваться главой какой бы то ни было партии.

Да у нас партий и нет в том виде, как есть они в Швеции, например, колпаки и шляпы, или в Англии тори или виги, или в Польше коронные и конфедераты. В России нет ничего подобного. Я не кто более, как отставленный от службы за старостью и неспособностью генерал и чиновник; какой же и чему я могу быть главой? Тем не менее в ответ на слова ваши я могу вам передать, что волнение уже поднялось, и не только волнение, но просто бунт — бунт чрезвычайный, выдающийся. Он начался на юго-востоке России с императором во главе...

— Как с императором?

— Так с императором. Просите только князя Радзивилла, чтобы он написал к своим, к тем, которые живут у нас в Самаре и Оренбурге в виде военнопленных, чтобы они, не колеблясь и не мешкая, поступали... на службу к императору.

— Да ведь император умер?

— Стало быть, не умер, когда предводительствует войском! Естественно, что он весьма легко может сойтись в условиях со своей двоюродной сестрой, которую как он, так и

все мы, разумеется, примем с восторгом, без особо строгого исследования о её правах.

Когда иезуит ушёл, Трубецкой стал обрабатывать все полученные им новости.

«Да, — сказал он, — каша точно заварена, что нужно — посеяно; как-то придётся её расхлебать и нам посеянное собрать? Ну что ж? Меня опозорили, выгнали... ну вот, теперь мы увидим, увидим...»

Но в эту минуту у него снова нервно передёрнуло правый глаз и левую руку. Он весь вздрогнул. Однако через минуту он пришёл в себя и продолжал своё рассуждение;

«Всё, кажется, внушено, всё указано, — думал он. — Обещать крепостным волю, а раскольникам бороду и попов, ходящих посылонь, — да это, значит, поднять пол-России, нет, всю Россию! А тут ещё наследница, родная и законная дочь. От этого не только Пётр III, но и Пётр Великий в гробу вздрогнут. Нужно теперь только самому быть в стороне, вести себя настороже, чтобы комар носу подточить не мог. Ещё нужно Шувалова не допустить силу забрать; да не заберёт, обленился слишком, изнежился...»

Думая это, он пошёл к гостям, которые из большой столовой перешли в обитую зелёным штофом и богато убранную гостиную, ярко освещённую восковыми свечами до белого света дня.

Окинув беглым взглядом разбившихся на группы своих родных, он подумал: «Впрочем, если бы я сделал какую-нибудь неловкость, подобную той, которая вызвала мне оскорбление и отставку, то, думаю, и тут меня бы теперь не тронули. Меня не так легко проглотить. Екатерина понимает это. Далекое не так легко, как проглотил я хоть бы Михаила Гавриловича Головкина при императрице Елизавете. Орлов, пожалуй, и подавился бы. Постоять за меня, по милости Божией, теперь есть кому. Вот Салтыковы... а для них по старой нежной памяти нельзя чего-нибудь не сделать! Они за меня горой станут. С Голицыным сын Пётр свояки, тоже за меня постоять не откажется. Панин, Пётр, брата своего терпеть не может и тоже мой человек, а теперь ведь Бендеры взял, популярность заслужил. Брат Дмитрий женился на Одоевской, а Одоевские с Барятинскими были — водой не разольёшь

и тоже мне помочь не откажутся. Румянцев тоже всей душой за меня, и Репнин мне не враг. А этих Перфильичей, Тепловых куплю на вес, за три гроша. Вот новый любимец, идёт в гору, князь Вяземский; но он, видимо, душой и телом Елене принадлежит. Сергей тоже может кое-что через Ладыженских, а Анна через Нарышкиных и Куракиных сделать. Всё кругом обступят. Васильчиков, если в случай попадёт, разумеется, Панина будет держаться; но из-за Репнина против меня также не пойдёт... Может быть, эти соображения и тогда заставили её быть ко мне посписходительнее. Она вещи понимает. Не захотела первое время идти против всех, а то бы... Но всё же она меня опозорила, выгнала... Хорошо, хорошо, увидим! У меня есть ещё резерв, Китти...»

В это время он как-то подпрыгнул и повернулся; лицо его страдательно передёрнулось; но через секунду он снова продолжал спокойно думать: «Может быть, она потребует на приманку этого проклятого Зацепина с его капиталами; а тогда? Посмотрим, посмотрим».

И Никита Юрьевич любезно обратился к

гостям с весёлой шуткой.

Но мы ничего ещё не сказали о младшей дочери Никиты Юрьевича Трубецкого, княгине Екатерине Никитичне, княжне Китти-старшей, как её называли в обществе, в отличие от другой Трубецкой, дочери князя Петра Никитича, Китти-младшей, приходившейся ей родной племянницей, хотя они были совершенно одних лет. Китти-старшая была старше своей племянницы — Китти-младшей только двумя месяцами. Ей месяца три назад минуло пятнадцать лет; но она уже сформировалась как настоящая девица, в отличие от Китти-младшей, которая была ещё ребёнок ребёнком. Сохраняя общий тип княжон Трубецких: их белизну кожи при чёрных волосах и глазах под тонкой чёрной бровью и длинных ресницах, их стройность и гибкость, — она была с тем вместе и их совершенной противоположностью. Во-первых, она была выше их ростом и отличалась особенно нежным сложением. Казалось, что она может переломиться от ветра. Потом те были всегда веселы и щебетали как птички. Не отличалась ничем в этом отношении даже их старшая, замуж-

няя сестра Анна Никитична Нарышкина. Княжна же Екатерина Никитична, напротив, не смеялась почти никогда и решительно была неспособна болтать. Поднимет, бывало, свои чёрные глаза, остановит их на рассказывающем, посмотрит, и глубоко посмотрит, ответит, как отрежет, одним словом и отойдёт. Если пристанут к ней с чем-нибудь, станут просить петь или танцевать, то обыкновенно она отделялась своим вечным: «Устала, не могу!» А если и станет петь или танцевать, то как-то автоматически, с какою-то математической, бездушной точностью, будто танцует и поёт не живая девушка, а с необыкновенным искусством устроенная механическая кукла. Это случалось с нею, впрочем, кроме обязательных уроков, весьма редко. Большею частью она сидела задумавшись, перебирая свои пальчики, и вертела ими, как бы что пересчитывала. В ней было что-то мистическое, что-то такое, что напоминало другой мир, заставляло думать о загробной жизни. И странное дело, почти с самых первых лет детства она любила ездить на похороны, слушать панихиды, говорить о смерти. Когда она была

ещё пятилетним ребёнком, ей, как девочке, подарили богато разряженную куклу. Кукла ей очень понравилась, и что ж? Она первым делом устроила ей подобие гробика, украсила гробик цветами, зажгла три свечи, — видите, хоронить собиралась.

И это тем страннее, что в доме Никиты Юрьевича в течение всего этого времени не было смерти, не было похорон; что семейство его вообще отличалось живостью, веселостью, жизнью; что и в Москве, как и в Петербурге, в доме этом вечно шла суета, приезды, выезды, наряды, всегда раздавался весёлый говор и смех.

— Не жилища, знать, она у нас, матушка княгиня, на белом свете; и играет-то всё как-то не по-детски, всё в покойников! — говорила её нянюшка Пелагея княгине Анне Даниловне, когда та приходила в детские комнаты, чтобы окинуть взором матери детское житьё-бытьё. — Не вырастить, видно, мне её, матушка, всё в Небо просится, всё о Божьем говорит.

— Что за вздор ты болтаешь, — отвечала княгиня. — Ведь она здорова?

— Здорова-то здорова, сударыня, и кушает, и всё как следует, только все панихиды служит, да о кладбище, да о мёртвых спрашивает.

— Постарайся занять её чем-нибудь другим, покажи игру какую...

Пелагея не отвечала. Она думала: «Показывай не показывай, она ни слушать, ни играть не станет. Вот о кладбище другое дело, тут не отгонишь! Видно, чует её душенька, что недолго здесь на свете погулять придётся».

Но Пелагея не угадала. Ей действительно не удалось поднять и вырастить маленькую княжну, но только потому, что умерла она сама. А княжна Китти-старшая росла и росла, росла и хорошела, хотя по-прежнему смотрела печально на Божий свет, нередко распевала про себя «со святыми упокой», по-старому любила молиться на похоронах и за похоронами. Росла она совершенно здоровая и казалась даже совершенно счастливой и довольной, когда к ней не приставали, когда была одна и пела себе вполголоса «вечную память» или рисовала проект памятника, какой хотела бы, чтобы поставили над её могилой.

Вот Али-Эметэ другое дело. Та не любила быть одна и никогда не думала ни о смерти, ни о могиле. Собираясь в Венецию, она не взяла с собой никого из своего прежнего официального штата двора. Впрочем, и взять было некого. Её обер-камергер и гоф-интендант де Марин занят был соглашениями с её кредиторами в Париже и старанием привести сколько-нибудь в порядок свои собственные дела, расстроенные до разорения его полуторагодичным камергерством; Шенк, шталмейстер, прятался от кредиторов; Ван Тоуэрс, гофмейстер, сидел во франкфуртской долговой тюрьме; а её бывший жених, бедный Рошфор де Валькур, был заперт в крепости как государственный преступник. Она взяла из Оберштейна только свою камер-медхен фон Мешедде, которой доверялась вполне и которую обещала возвести на степень своей фрейлины, как только обстоятельства дозволят ей усилить свой штат; да ещё с ней поехали два камер-лакея в надежде, что так или иначе они

получат с неё двухгодичное жалованье, которое им было не выплачено в Оберштейне.

Впрочем, она выехала из лимбургских владений с полным апломбом. В Оберштейне ей были устроены торжественные проводы, говорились речи, был произведён парад из четырёх рот войска князя лимбургского, было совершено богослужение, в котором читалась особая молитва за благополучие её путешествия. Князь лимбургский провожал её со всем своим двором до Цвейбрюкена. Встретил и провожал её на протяжении всех владений герцога трирского его первый министр барон фон Горнштейн, и, кажется, даже влюбился в неё старик, несмотря на свои семьдесят лет. Князь лимбургский написал своему поверенному в делах в Венеции, барону Кнорру, что он должен исправлять должность гофмаршала при всероссийской великой княжне Елизавете и заботиться о её спокойствии в течение всего времени, пока она будет оставаться в Венеции. Расставшись с князем лимбургским не без обоюдных слёз, она по дороге захватила с собой Доманского, на которого возложила исполнение при ней обязанности камерге-

ра, и тут вновь убедилась, в какой степени растёт привязанность к ней мужчины после того, как она ему отдаётся.

«Вот хоть бы Доманский, — думала она. — Он обо мне не мечтал вовсе и уж, разумеется, нисколько не любил. Да и я отдалась ему из шалости, так, наскучило сентиментальничать и развратничать с моим устаревшим Телемаком. Мне он напоминал другого поляка, который мне действительно нравился, но я почему-то его упустила. А теперь, теперь Доманский глаз с меня не сводит; не думает ни о чём, кроме меня! Он любит, он мой... И как это смешно! Он ревнив, дико ревнив, ревнив до бешенства, как варвар, как Отелло, как поляк. Ни немцы, ни французы, ни даже итальянцы, как народы образованные, никогда не могут быть так ревнивы, как эти варвары: поляки, татары, черкесы, полагаю, и русские, так как и они ведь варвары. Если я когда-нибудь буду царствовать в России, то непременно настою, чтобы русские отвыкли от ревности. Я скажу им, что это ведь глупо, дико; это варварство, китайщина — ревновать. Образованные люди должны быть выше ревности;

они должны понимать... А вот мой Владислав ничего не понимает! Весь побледнеет при одном моём взгляде, весь задрожит, а мне даже намекнуть не смеет; знает, что я терпеть не могу ревности, и боится, что я его прогоню. Но нет, теперь пока он нравится мне...»

Однако в Париже, приняв де Марина, она захотела утешить его за долгое ожидание и провела с ним два дня в прогулках по окрестностям, возложив с тем вместе на него и издержки по путешествию и пребыванию в Париже. Доманский чуть с ума не сошёл в эти два дня, тем не менее слова сказать не смел и совершенно успокоился, когда она возвратилась, что-то; сказала и приветствовала его своей лаской. Она удивила его только, когда заявила, что платить в Париже ни за что не нужно, так как за всё платит её гофинтендант маркиз де Марин из полученных им её средств.

Впрочем, деньги у неё были. Она виделась с отцом д'Аржанто, приняла все его планы, получила пенсию за полгода вперёд и поехала в Венецию с полным комфортом, путешествуя как владетельная герцогиня, перед ко-

торой должно склоняться всё и вся и которая, разумеется, не считает затрачиваемых ею поэтому издержек.

В Венеции её встретили с большим почётом. Гондола, которая должна была перевезти её через лагуны, была убрана цветами; во время переезда на двух других гондолах играла музыка; при причаливании к пристани её приветствовал серенадой хор певцов. Барон Кнорр, долженствовавший по письму князя лимбургского состоять при ней в должности гофмаршала, вместе с французским посланником и всеми чинами, состоявшими при французском и лимбургском посольствах, встретили её на пристани, сами посадили в карету и передали в её распоряжение, согласно предписанию герцога д'Егриньона, весь великолепно отделанный и снабжённый всем, что нужно, дом французского посольства.

Вечером, по случаю её приезда, дом этот был роскошно иллюминирован, а на лагунах зажжён великолепный фейерверк с её вензелем Елизаветы II под императорской короной, обрамленной атрибутами русского императорского герба, с двуглавым государственным

НЫМ орлом.

На другой день князь Радзивилл и его свита были приняты ею в торжественной аудиенции.

— Ваше императорское высочество, светлейшая княжна Всероссийская, княжна Владимирская-Зацепина и иных городов, стран и областей наследница и повелительница, — начал свою речь князь Радзивилл, представленный по церемониалу исправляющим должность её гофмаршала бароном Кнорром, — представляющая в настоящую минуту перед вами в лице своём соединение великих государств: Речи Посполитой — королевства Польского и великого княжества Литовского, я от имени всех благомыслящих и свободных сынов нашего великого отечества приношу вам почтительное поздравление с прибытием и искреннее пожелание успеха в вашем добром и великом начинании. При этом позволяю себе повергнуть к ногам вашим общее всех нас удостоверение, что русские монархи всегда пользовались и пользуются среди нас, поляков, полной и беззаветной преданностью, если только они сохраняют наши воль-

ности и не касаются наших шляхетских прав, которые против кого бы то ни было мы готовы отстаивать всегда до последней капли нашей крови. И если, государыня, вы, по своей мудрости и доброте, изволите признать, что эти права не могут и не должны быть попираемы, то в верных сердцах Литвы и Польши вы встретите полную готовность рыцарски стать за ваши права и, не жалея ни себя, ни своего достояния, вести вас в Москву, как некогда предки наши вели в Москву сына царя Иоанна. И да благословит Бог успехом то, что будет исходить из начал разума и справедливости.

На эту высокопарную речь, произнесённую частью по-польски, частью по-французски, Али-Эметэ отвечала:

— Благодарю искренно за поздравление и пожелание, которое для меня тем более дорого, что произносится столь знаменитым представителем Польши и Литвы, каковым вы, князь Карл Радзивилл, являетесь. Я думаю, что права, каковы бы они ни были, идут от Бога, поэтому не могу не уважать тех, которыми пользуется благородное шляхетство Речи Посполитой. Если бы Господь Бог помог мне

восстановить свои погранные права и вступить на престол моей матери и моих предков, то, без всякого сомнения, первым действием моим было бы выражение уважения к свободным учреждениям Литвы и Польши; особенно в таком случае, если, как слова ваши, князь, меня удостоверяют, в этих областях я встречу себе сочувствие и помощь.

После такого взаимного обмена фраз, сущность которых заключала, однако ж, в себе прямой уговор об услуге за услугу, началось представление свиты Радзивилла. Тут ей представились: граф Потоцкий, председатель конфедерации, граф Пржездецкий, лорд Монтегю — англичанин, добровольно присоединившийся к агитирующим полякам, маркиз д'Античи и множество других лиц свиты князя Радзивилла и ему сочувствующих. Сестра князя Радзивилла, графиня моравская, и знаменитая некогда своею красотой панна Пац, вместе с другими, тоже представились русской великой княжне, которая среди них, к изумлению, встретила и Чарномского.

«Теперь он мой, — подумала Али-Эметэ, — теперь-то я уж не упущу его».

ПОСЕЯННОЕ ВСХОДИТ, ЗАЖЖЁННОЕ РАЗГОРАЕТСЯ

Традиционная политика русского двора, чуть ли не с самого Столбовского мира, заключалась в стремлении ослабить опасных и сильных соседей.

И такая политика для России была естественна. Едва начинавшее устраиваться государство, обессиленное внутренними смутами, неурядицей, наконец, польским погромом, поневоле должно было думать, как бы охранить и обезопасить себя, особенно когда соседи его были действительно сильны и опасны.

А Россия была окружена опасными и сильными соседями. Швеция давила её с севера, отодвигая от всякого сближения с другими государствами Европы. А Швеция была тогда сильная военная держава. Обладая хорошо обученным войском и превосходно устроенным флотом и занимая по Балтийскому морю

все командующие и портовые пункты, она главенствовала на севере, заставив в Тридцатилетнюю войну знать и уважать своё оружие всю Европу. Прусская Померания со Штеттином и Штральзундом принадлежала тогда Швеции. С запада не только давила Россию, отрывая от неё непрерывно в свою пользу лучшие её области, но грозила даже вовсе подчинить её своему влиянию — Польша. Она могла бы быть очень сильна, занимая центральные плодороднейшие области Европы и раскидываясь между двумя морями, как бы предназначенными для распространения её могущества; но в ней уже началась та рознь, то разъедающее влияние внутреннего соперничества сословных партий, которое привело её потом к гибели. С юга, на границах России, остановила свои завоевательные стремления Оттоманская Порта, фанатическая, страшная всему западу, со своими нестройными ордами крымских, буджакских и кубанских татар, ногайцев и башкир, хищнические инстинкты которых всегда готовы были лавиной обрушиться на Россию и задушить в ней всякое начало граждан-

ственности.

С востока для России не было врагов, но было хуже; степи беспредельные да леса непроходимые, бродящие по коим номады готовы были присоединиться ко всякому врагу и дать убежище всякому злодею и извергу.

При этих условиях, казалось, России оставалось только погибнуть. Но внутренние события, происходившие среди этих самых государств, этих естественных противников слабой и разорённой России, помогли политическим стремлениям её государей. Олигархическое устройство Польши с её *liberum veto*, уничтожавшим, силой одного голоса, не только то постановление, которым таковое *veto* было вызвано, но и все другие постановления данного сейма, хотя бы они и были приняты единогласно, — такое устройство, при общей продажности вельмож, гнёте народа, внутренних несогласиях и избирательном короле, лишённом всякой власти, скоро поставило Польшу в безвыходное положение. Она представляла собой арену интриг, стало быть, ни для кого опасной быть уже не могла. Таковую же точно арену скоро представила со-

бой и ослабленная победами Петра Великого Швеция. Она захотела ограничить власть короля представительством, забывая, что для самоуправления нужно, чтобы народные понятия стояли в уровень с государственными требованиями и чтобы обязанности общества к государству усваивались народным сознанием. Ни того, ни другого не было в Швеции. Ясно, что Швеция не могла не сделаться игрой лиц партий, которыми, вследствие всеобщей подкупности, руководили иностранные послы. Партии колпаков и шляп, поддерживаемые первая русским, вторая французским посланниками, равно вредно влияли на внутреннее состояние Швеции, вводя в её управление рознь, хаос и неурядицу.

Оставались турки; но и их военное обаяние уже исчезло. Оно испарилось от гнёта деспотизма, совершенной индифферентности гаремной жизни и внутренних дворцовых интриг — противоположность тому, что было в Швеции и Польше, но противоположность, приводящая к тому же исходу. В Турции военной силы уже не было, а беспорядочные нестройные орды татар, башкир и ногай-

цев не могли быть страшны для русского регулярного войска, которое помнило Великого Петра. К тому же прочный союз с венским двором дал уже России случай заставить турок почувствовать силу её ударов.

Пользуясь теми же благоприятными обстоятельствами, которые содействовали возвышению и укреплению России, возникло и укрепилось Прусское королевство. Стремление ослабить прусского короля заставило императрицу Елизавету принять участие в Семилетней войне, результаты которой были уничтожены только антинациональным воззрением Петра III.

Затем, преемнице Петра III естественно было желать, чтобы Польша и Швеция оставались в том же своём внутреннем неустройстве, которое делало их бессильными; чтобы Вена помогала или, по крайней мере, не мешала громить турок, а прусский король, обессиленный Семилетней войной, в политике своей оставался бы совершенно изолированным или стал бы нам искренним союзником.

Всё это было весьма достижимо, если бы возвышающееся могущество России не озабо-

чивало французский двор.

Отмечая с ревнивым чувством зависти каждое проявление русской силы, французский двор стремился всеми мерами положить предел её возвышению. Для этого не пренебрегалось никакими средствами. Были посланы агенты в Лифляндию и Малороссию с целью раздуть в них тлеющее пламя сепаратизма; были доставлены все способы прибывающим из Франции послам для вызова, устройства и ведения всевозможных придворных интриг, которые, по кончине императрицы Анны, под руководством и при помощи маркиза Шетарди, достигли таких размеров, что в течение с небольшим одного года переменили четыре правительства. Бирон, Миних, Остерман, Анна Леопольдовна по очереди брали в руки кормило правления, под именем малолетнего императора Иоанна, пока, тоже при помощи французских интриг, не вступила на престол Елизавета, которой удалось устоять против всех чужеземных козней благодаря имени своего отца и любви к ней войска. Тогда Бурбоны Франции, стоя во главе фамильного союза бурбонского дома, владев-

шего в то время, кроме Франции, Испанией, Неаполем, Пармой и некоторыми другими областями Италии и связанные родственными узами с главнейшими представителями владетельных итальянских домов Медичи и д'Эсте, поставили постоянной и неизменной целью своей политики поддерживать всеми средствами всевозможные элементы вражды, противодействия и самой упорной ненависти в ближайших к России нациях, тех нациях, в кругу которых внешняя политика России тогда обращалась: Швеции, Польши и Турции.

Людовик XV, этот апатичный представитель абсолютного разврата, достойный покровитель иезуитов, не уступающий им ни в сластолюбии, ни в хитрости и так же, как и они, не задумывающийся ни перед чем для достижения своей цели, будучи обманут в своих надеждах на сближение с Россией по вступлении на престол императрицы Елизаветы, с помощью предположенного им брака русской государыни с французским принцем де Конти, обманывая даже своих министров отдельными, неизвестными им сношениями, в своём развратном воображении задумал найти

особую меру для подчинения России своему влиянию.

Под предлогом желания установить непосредственные сношения с всероссийской государыней он послал в Россию кавалера д'Эона, несомненность гермафродитизма которого покрыла имя его европейскими скандалами и, разумеется, не могла не вызывать любопытства.

Развратный до мозга костей, Людовик XV думал: «Самая идея о гермафродитизме не может не возбуждать чувственных инстинктов. Русское общество полуобразованно развратно; стало быть, д'Эон приобретёт, несомненно, обширное влияние во всех его слоях, а этим преобладание Франции установится как во внешних, так и во внутренних делах этой варварской России».

— Будь любовником всех их жён и любовницей всех их мужей — и ты дашь Франции силу, которой не дали бы ей сто тысяч рейтар! — сказал Людовик, провожая д'Эона.

Д'Эон безмолвно облобызал руку христианнейшего короля, который, говоря эту фразу, ударил его по плечу.

Для кавалера д'Эона, разыгрывавшего столько раз роль то женщины, то мужчины, такое приказание не было нисколько ни странным, ни унижительным. Ему казалось совершенно естественным, что его нежное, с чуть заметными усиками лицо, его насмешливая, несколько наглая улыбка, при его известной французской ловкости, заставят всех русских барынь смотреть на него как на юношу, с которым приятно иногда развлечься от супружеских обязанностей; а те же самые свойства, с присоединением к ним условных приёмов ловкого кокетства француженки, вызовут во всех этих варварах, их мужьях, стремление, тайком от своих супругов, поразвратничать, вкушая в таком разврате нечто новое, особое, чего не испытывали в своих развратных похождениях ни граф Гаврила Иванович Головкин, ни князь Александр Данилович Меншиков.

Но в этих соображениях старого безнравственного развратника ни сам король, ни посылаемый им не менее развратный кавалер д'Эон не приняли во внимание лета императрицы, её религиозное настроение, а главное,

предшествуемое всюду его приезду общее презрение.

Русское общество, несмотря на свою тогдашнюю полуобразованность и домашний разврат, поняло ту степень унижения, до которой человечество может прийти при отрицании естественных и разумных законов нравственности, и с негодованием отвернулось от наглеца, думавшего двухсторонне эксплуатировать его чувственные инстинкты. Миссия д'Эона в России провалилась совершенно, вызвав на его повелителя справедливое негодование и общие насмешки.

К негодованию же, а главное, к насмешкам не мог быть равнодушным самодержавный повелитель Франции. Для него они были тем оскорбительнее, что в глубине души своей он признавал всю их справедливость и меткость. Они раздражали, злили его, выводили из себя, особенно когда передавались со всеми комментариями госпожой Помпадур, бывшей свидетельницей и участницей много из того, что так едко выставлялось на позор его старости.

А маркиза Помпадур любила передавать

ему все насмешки, даже все пасквилы о нём. Такая передача имела для неё сенсационную цель. Она хотела озлобить Людовика против прусского короля Фридриха II. Задобренная австрийской королевой Марией Терезией, сперва через её министра, бывшего до того послом в Париже, барона Кауница, потом непосредственными её к ней письмами, в которых Мария Терезия, преемница Шафгаузен и представительница Габсбургов, королева четырёх королевств и владительница стольких герцогств и княжеств, не посовестилась развратную любовницу французского короля титуловать своею кузиной, сопровождая такой титул подарками, сколько драгоценными, столько же приятными как выражение искреннего дружества и уважения, в числе которых находился и осыпанный бриллиантами её портрет, — маркиза Помпадур хотела выразить ей свою благодарность и преданность. Единственное средство к тому было довести озлобление Людовика XV против прусского короля до ненависти. Для этого она старалась выставить Фридриха II как бы источником всех пасквилей и насмешек, ка-

кие только где бы то ни было появлялись на Людовика XV Она передавала ему, с особой едкой язвительностью, все выходявшие из уст Фридриха шутки и остроты, на которые, нужно сказать правду, тот не скупился. Она давала тон каждому его слову, сказанному даже вскользь, и передавала это слово в такой именно форме, которая, она знала, должна была особенно взволновать и оскорбить Людовика XV, потому что выставляла напоказ целому миру всё то, что он считал сокровенным и что доходило иногда действительно до последних степеней гнусности. Маркиза Помпадур распространялась в рассказах о том, как прусский король старался через разных агентов узнавать о каждом часе времени Людовика XV; как он стремился обобщить получаемые им сведения, поощряя пасквилянтов и хроникёров и украшая получаемые им рассказы своими вымыслами и прибавлениями, собственно в тех видах, чтобы в глазах всей Европы унижить и обесславить его королевское величие.

Результатом такого рода рассказов, при раздававшихся со всех сторон застрачивани-

ях возвышением могущества прусского короля, которому Франция должна была положить предел, было то, что Людовик XV вдруг круто повернул политику Франции, традиционно враждебную австрийскому дому, и начал, через того же министра Кауница, сближение с Марией Терезией.

Этому, разумеется, много содействовал заключённый перед тем Фридрихом союзный договор с Англией, вынудивший Францию заключить оскорбительный для неё парижский мир.

Целью сближения Франции с Австрией, кроме указанного уже стремления ограничить и сократить могущество ненавидимого одинаково как Людовиком XV, так и Марией Терезией прусского короля и возможности в Австрии иметь опору в случае новой войны с Англией, враждебность которой Людовиком XV чувствовалась в столкновениях народных интересов обоих государств, — могло быть ещё стремление Франции отклонить Австрию от союза с Россией, в случае войны последней с Турцией, естественной союзницей Франции, по важности французских интересов в Леван-

те и потому, что она служила противовесом усилению России на юге. Наконец, сближение с Австрией давало Франции возможность поддерживать старинных союзниц её, Швецию и Польшу, против России.

Но интересы Австрии требовали прежде всего помощи для защиты её владений от воинственных притязаний прусского короля, удары которого она испытала, будучи вынуждена уступить ему Силезию — лучший перл из короны Габсбургов, как говорили тогда. Австрия чувствовала, что устоять против дальнейших замыслов Фридриха не только одна, но даже в союзе с Саксонией она не может ни в коем случае. Ей нужна была помощь, и если не помогут ей в такой крайности Россия или Франция, то она должна будет подвергнуться распаду и потерять всякое значение.

Россия была в союзе с Марией Терезией. Последняя на основании союзного договора имела право требовать и требовала от России помощи. Но помощь, определяемая договором, была ничтожна и не могла уравновесить её силы с силами Фридриха. Притом и эту-то ничтожную помощь Россия оказать медлила.

Во главе иностранной политики России стоял тогда граф Бестужев-Рюмин, всею душой преданный австрийским интересам. Но влияние его было поколеблено. Дело маркиза Ботты вырыло пропасть между обоими императрицами. Поэтому союз с Францией в начавшейся уже Семилетней войне был для Марии Терезии спасением, и Мария Терезия не остановилась ни перед унижением перед маркизой Помпадур, ни перед жертвованиями, чтобы только достигнуть сближения, могущего стать и ставшего основанием союза.

Вместе с тем нельзя же было не признать, что и при сближении с Францией и в союзе с ней помощь России для войны с Пруссией была бы ни в каком случае не лишней. А получение этой помощи было возможно. Бестужев удержался на месте и стоял за австрийский двор. Дело Ботты уладилось; взаимность интересов естественно сближала оба двора. Елизавета сама начинала понимать, что ослабление прусского короля для неё выгодно; поэтому если по нерешительности характера она ещё уклонялась, то её можно было подвинуть, подогреть, тем более что Иван Ивано-

вич Шувалов, по своему направлению и симпатиям, был француз в душе; а остроты и шутки прусского короля задевали не одного Людовика XV, но касались также и Елизаветы. Как же быть? «Ну что ж, пусть Россия таскает для нас каштаны из огня, — рассудили между собою недавние враги, новые друзья-союзники. — Пусть сделает диверсию со своей стороны. Воспользоваться ей своими победами мы не дадим. Она же не воюющая сторона, а только союзница.

Но, к великому их удивлению, результаты побед были только в руках русского войска, которое довело Фридриха до отчаяния. Несмотря на то что война руководилась насколько возможно хуже, по двойственности направления, существовавшего при русском дворе, где в то время, когда государыня требовала энергических действий, великий князь, наследник престола, явно выражал прусскому королю своё сочувствие, — победа была в руках только у русских

Такое нежданное проявление силы русского оружия заставило союзников думать только о том, каким бы образом уменьшить есте-

ственные требования вознаграждения России, заставить её уступить что-либо из завоёванного ею в пользу Швеции, приступившей тоже к союзу против прусского короля, но не оказавшей на ход военных действий никакого влияния.

Смерть Елизаветы и добровольный возврат всего завоёванного прусскому королю Петром III без всякого вознаграждения, а после заключённый им с Фридрихом II оборонительный и наступательный союз разбили все комбинации союзников и заставили как Австрию, так и Францию искать мира во что бы то ни стало, не только не вознаграждая себя за тяжкие, понесённые ими жертвы, но даже с уступкой прусскому королю многих преимуществ и с видимой потерей своего военного обаяния. Таким образом, явилась новая причина быть крайне недовольным действиями петербургского двора и стремиться всеми мерами низвести его военное и политическое могущество, насколько только это будет возможно.

И вот Людовик XV, несмотря на свою полную апатию к государственным делам, при-

нял как бы за догму своей политики всем, чем можно, и во всём, в чём можно, вредить России, стремясь разными способами не только к низведению с занятого ею в Европе положения, но даже, если только обстоятельства будут тому содействовать, к умалению её силы до степени второстепенной державы, вдвинутой в границы чуть ли не прежнего Московского княжества.

Этим объясняется более и более тесное сближение Франции с австрийским домом, выразившееся потом брачным союзом внука Людовика XV, дофина Франции, впоследствии Людовика XVI, с австрийской принцессой, дочерью Марии Терезии, Марией Антуанеттой.

Сближаясь с Австрией, Людовик XV прежде всего хотел, чтобы в своей традиционной борьбе с Турцией Россия была предоставлена самой себе. Он надеялся, что Турция оправилась после ударов, нанесённых ей победами Миниха, и развилась настолько, что будет в состоянии выдержать силы России, значительно ослабленной Семилетней войной, особенно когда Россия будет не только без союзников, но и иметь в виду враждебное

настроение других соседственных держав.

— Победы России тогда были сделаны в союзе с Австрией, — рассуждал Людовик, — а теперь во время войны, если она начнётся для Турции хоть немного счастливо, от нас будет зависеть поднять Швецию! Тогда посмотрим, что Россия будет делать, атакованная с двух сторон.

И это рассуждение Людовика XV имело основание, так как французская партия шляп в администрации Швеции имела тогда преобладающее значение.

Наконец, Людовик XV надеялся вызвать все враждебные России элементы в Польше. При таких условиях унижение России казалось Людовику XV несомненным, без больших жертв со своей стороны. А там, в перспективе, совокупное действие уже твёрдо окрепшего союза Австрии, Германии и Франции, которые всем своим могуществом поддержат продиктованные Турцией, Швецией и Польше условия и заставят Россию удовлетворить все их требования.

Естественно, что одной, изолированной России не управиться с такой коалицией, осо-

бенно после того, как лучшие войска её будут уничтожены ударами турок, плодороднейшие области разорены хищническими набегами крымских и кубанских татар и ногайцев, а Петербург, новая столица, будет в опасности блокирования со стороны шведов, как со стороны Финляндии, так и моря, потому что занятие финляндского берега и устья Невы может парализовать силу защиты Кронштадта. Таким образом, завоевания Петра будут от неё отняты; Малороссия присоединена к Польше; Турция возьмёт себе южные степи, оттеснив Россию от Чёрного моря, как Швеция и Польша от Балтийского. Из Курляндии и части Лифляндии можно будет образовать особое герцогство для принца французского дома.

Такого рода планами со стороны представителя Бурбонов, по родственным связям своим надеявшегося встретить поддержку себе в Испании и Италии, объясняется та сильная поддержка враждебной России польской конфедерации, которая была оказана Францией, так что даже, кроме денежной помощи, были командированы Людовиком XV в Польшу, для

руководства её военными операциями, лучшие французские офицеры и заслуживший впоследствии известность генерал Дюмурье.

Само собою разумеется, что эти же соображения заставили французский двор настаивать, чтобы вступивший на престол шведский король Густав III, при самом вступлении своём на престол, сделал в своей стране переворот в пользу монархической власти, уничтожения шведской конституции, и для того предложить ему, несмотря на затруднительное положение своих собственных финансов, значительную денежную субсидию.

Нет никакого сомнения, что эти же стремления заставили французский двор, под сурдинкой, помогать и такой испытательнице приключений, какова была Али-Эметэ, набрасывая на помощь свою весьма прозрачный флёр, когда первоначально составленные планы лопнули как мыльные пузыри от побед Румянцева в Турции и Суворова в Польше и когда ни та, ни другая не оказались способными выполнить предназначение, которое этими планами для них определялось. Было видно, что не только каждая отдельно, но и

обе вместе они не могут не только потрясти Россию, но сколько-нибудь содействовать уменьшению её могущества. Напротив, было видно ясно, что война России с ними только повышает её военное обаяние и увеличивает её силу территориальными присоединениями, на которые она, несомненно, получает право.

Тут-то и явилось соблазнительное предложение. Русский вельможа, имевший в течение почти 10 лет исключительное влияние на все дела России, находясь в Спа на излечении от небывалой болезни, говорит, что для России страшна только Россия, то есть её неурядица, рознь, существующие во всех отраслях её управления непорядки, что эта неурядица и эти непорядки вызывают массы недовольных, поэтому нужно только имя, которое могло бы сосредоточить на себе эту массу недовольных... А вот получают известия и от другого вельможи, не непосредственно, правда, но получают несомненно. Этот вельможа в течение почти 30 лет стоял в челе внутреннего управления Россией. Он даёт знать тоже, что недовольные уже сгруппиро-

вались и что им нужно только имя, но что имя это должно быть такого рода, чтобы было дорого для всей России, было надеждой её будущего возрождения былой силы, способной её воодушевлению.

Теперь предлагают имя, не менее дорогое для России, хотя до времени не знакомое ей, имя дочери императрицы Елизаветы — государыни, памятной народу по уничтожению ею иностранного влияния, по своей религиозности, по милостивому царствованию, не допускавшему смертной казни и сократившему ужасы пыток. Она была обожаема войском, возведшим её на престол; любима народом, наконец, была дочь Петра Великого. Может ли быть, чтобы народ не отнёсся сочувственно к её дочери? Незнающему можно объяснить, сомневающеюся убедить. Но, естественно, не встретить себе сочувствия она не может, тем более противу кого же? Против чужеземки, начавшей своё царствование узурпаторством? Этого положительно «не может быть»!

И вот это-то «не может быть», проводимое во всех политических сферах столь ловкими

проводниками, каковы были отцы иезуиты, заставило Людовика XV, не более их разбирающего средства для достижения целей, согласиться с представлением об оказании тайной поддержки Али-Эметэ, точно так же, как желал он поддержать и даже усилить Пугачёва.

В какой степени было сильно это последнее желание у французского двора, можно судить из того, что Густав III, сделав у себя желаемый французским двором переворот на французские деньги и при французской помощи и получив от того возможность возвысить военное значение своего государства, предполагал начать своё абсолютное правление открытием ближайших сердечных соглашений с *маркизом Пугачёвым*, о чём он особо писал герцогу орлеанскому; а также из того, что поляки барской конфедерации, частью жившие в России в виде военнопленных, частью же из руководимых генералом Дюмурье, непрерывно прибывали в формируемые Пугачёвым шайки. Разумеется, и поддержка Франции, и сношения с Швецией, а может быть, и совокупность их взаимных действий могли бы развиться до более ощутительных послед-

ствий в таком случае, если бы они встретили в Пугачёве не только удалого казака-разбойника, но и человека, способного сколько-нибудь усвоить себе государственные соображения. Но чего не было, того и быть не могло. Екатерина имела полное право смеяться над этим другом короля шведского, безграмотным маркизом Пугачёвым, который, представляя из себя императора Петра III и слыша, что государи сидят на престоле, войдя в церковь первого взятого им села, заявил, что он давно уже на престоле не сидел, и по таком заявлении сел на церковный престол и, приказав открыть царские двери, принимал там доклады и прошения, будто тибетский да-лай-лама, воображающий, что прошения к нему есть то же, что прошения к божеству.

Али-Эметэ в этом отношении была для них сподручнее. Она, по крайней мере, умела играть принятую ею на себя роль с достоинством и грацией, хотя и знала, что разговаривавшие с ней лица тоже читают только реплику и хорошо знают, что и она не более как искусно играет роль.

Али-Эметэ жила в Венеции под именем

графини Пинненберг, одного из дворянских имений Гольштейна, который принадлежал по праву русскому наследнику престола, но оспаривался у него князем лимбургским.

Вот она в великолепном доме французского посольства, который заняла весь со своим штатом, предоставив места камергера и шталмейстера Доманскому и Чарномскому, при гофмаршале бароне Кнорре, заведовавшем её свитой, состоявшей более чем из 60 человек, — говорит с князем Радзивиллом и его сестрой, графиней моравской. О скуке и стеснённом своём положении, вследствие неполучения пенсии и известий от своего персидского дядюшки.

Князь Радзивилл, зная очень хорошо, что этим персидским дядюшкой, производившим ей пенсию в течение последних трёх лет, был он сам и что теперь, по случаю наложенного на его имение запрещения, он нашёлся вынужденным в производстве пенсии остановиться, тем не менее выражал искреннее сожаление о неполучении известий от дядюшки и выражал готовность послать нарочного в Персию, чтобы узнать, что такое вдруг слу-

чилося с её дядюшкой, что, после стольких лет внимания, от него нет ни привета, ни вести его очаровательной племяннице.

— Да! — отвечала Али-Эметэ. — Если бы я получила свои русские имения и зацепинские капиталы, я могла бы спокойно ожидать, будет ли дядюшке угодно меня вспомнить; а теперь, выполняя его желания и объявляя свои права, я нахожусь в затруднении...

Отец Антоний, который был прислан вместо отца Бонифация, также сидел тут и тоже знал очень хорошо, что на русские имения и зацепинские капиталы она имеет такие же точно права, как и на наследование Японской империей или Китаем, и что самым заявлением, что она не племянница Анны, а дочь императрицы Елизаветы, Али-Эметэ от них сама же отреклась, — тем не менее счёл себя обязанным сказать, что получение зацепинских имений и капиталов есть только вопрос времени.

Али-Эметэ знала, что он сказал это так, ей в утешение, только для того, чтобы что-нибудь сказать, и что он знает лучше чем кто-нибудь, что она скорей взволнует всю Европу,

чем из этих капиталов получит хоть грош, признала, однако ж, нужным продолжать разговор в том же духе и заговорила о своём славном и великом роде великих князей владимирских и московских.

Собеседники находили нужным поддерживать её рассказы о знаменитости её рода, хотя ни до этого, ни после они ничего о князьях владимирских не слышали.

Но болтовня была только болтовнёй. Между тем средства, данные иезуитами, при роскошной жизни Али-Эметэ, истощились быстро. Князь Радзивилл, живший на счёт своих капиталов и продажей драгоценностей, вывезенных из Вильны вследствие секвестра, наложенного на его имения за ослушание избранному королю Станиславу Понятовскому, которого он не хотел признать, — много помочь ей не мог. Ещё менее мог помочь ей князь лимбургский по запутанности своих дел. Впрочем, князь старался отнять от себя последнее, чтобы хоть сколько-нибудь поддержать обожаемую им Калипсо, царицу ношей, как в шутку он иногда называл её.

Отцы иезуиты, смутив её обещаниями и

заверениями, о какой-либо особой денежной поддержке даже и не думали. Они говорили: мы выдали вам всю пенсию на полгода, вольно же вам было прожить её в полтора месяца. Притом они заявляли, что они не видят с её стороны энергических действий. Правда, она разослала о себе формальные заявления; но это далеко не всё. Поэтому они обещались достать ей всё, что нужно, но только в Константинополе, по заключении формального договора с султаном.

Вероятно, иезуиты хотели этим заявлением подвинуть Али-Эметэ на более энергичные действия, не довольствуясь тем, что она заявляла о себе в Венеции. А может быть, обещая ей пенсию, они имели в виду обязательство Радзивилла производить эту пенсию; теперь же, когда Радзивилл сам должен был стеснять себя и выполнить назначенных платежей не мог, они не хотели слишком рисковать прямо на свой счёт.

Но тут-то опять Али-Эметэ убедилась, до какой степени велико её влияние на мужчин, которые пользуются её лаской. Ей доставали средства к жизни — правда, в размерах весь-

ма умеренных, но, судя по их бедности, и это казалось весьма странным, — Доманский и Чарномский. К ним присоединился ещё потом капитан корабля, долженствовавшего доставить её в Константинополь, Гассан-Ага. Эти деньги являлись к Али-Эметэ непонятными путями. Злые языки говорили, будто в этих непонятных путях, проходивших через Чарномского и Доманского, участвовала и шкатулка христианнейшего короля через французское посольство. Но, во-первых, мало ли что говорят, а во-вторых, всё бы это ничего, да денег-то было очень мало.

Те, которые руководили вызовом такого рода исторических явлений, каковыми были Пугачёв и Али-Эметэ, разумеется, рассчитывали на их будущее сближение. Для них было совершенно ясно, что дочь морганического брака и родной племянник, признанный наследником и вступивший уже на престол, если бы они были в действительности ими, легко могли бы сойтись и поделить доставшееся наследство, сохраняя между собою родственную связь и взаимную дружбу. Мало ли бывало случаев не только в царствующих домах,

но и в семействах, владеющих майоратами, что после смерти владельца имущество переходило не к дочери, а к племяннику; но это не вызывало между ними ожесточённой злобы. Племянник сделает, что можно, для кузины; а кузина уступит, что можно, кузену. Ещё ближе и легче раздел этот должен был произойти между такого рода проходимцами, каковыми были беглый казак и искательница приключений. Тот или та, на чьей стороне было бы главенство успеха, ясно представил бы из себя главного наследника, как бы представителя майората; а другой или другая, действия которого составляли бы только как бы демонстрацию, помогавшую успеху первого, должен был бы встать на вторую степень сподручника, получающего, во всяком случае, столько, что можно было быть довольным и отблагодарить тех, кто ему содействовал и помогал.

Но русские коноводы разного рода интриг против Екатерины если и готовы были содействовать лицам, поднимающим эти интриги, то, по возможности, не иначе, чтобы, во-первых, как говорил князь Трубецкой, комар не

мог подточить носу; а во-вторых, чтобы не падало на них слишком тяжелых материальных жертвований. Роскошь двора в царствование Екатерины слишком много требовала от представителей тогдашнего общества даже богатых классов, чтобы у них могли быть остатки. Напротив, большей частью чуть не у всех дела были весьма запутаны, поэтому ясно, что жертвовать многим они не могли, если бы даже и хотели.

Но они этого и не хотели. Фаворитизм, абсолютизм и личная заслуга, шедшая в параллель требованиям самовластия, давно уже заставили даже лучших людей отказаться от родовых притязаний; но зато заставили их сознательно усвоить понятие о силе капитала. Они воочию убедились, как худородные, получив богатство, благодаря фаворитизму, становились вместе с тем в челе общества, которое им начинало поклоняться, как восходящим светилам. Они видели, что, вызвав такое поклонение, эти худородные умели привлекать к себе и общественные симпатии. Какое же значение мог иметь тут род? Разумеется, никакого; были бы деньги. Точно так же пред-

ставители рода имели много случаев убедить-ся, что личное достоинство и заслуга могли сверкать рельефно только при капитале, и только капиталом же могли подавляться. Без капитала они или обращались в труженичество, или — увы — не принимались вовсе, хотя бы действительное достоинство их было несомненно. Род во всём этом тоже не имел никакого значения. А сознание силы капитала, уничтожающее всякое значение рода, естественно, заставляло каждого стремиться всеми мерами его нажить, нажитый же беречь, а не разбрасывать значительными затратами на предприятия, представляющие по самому существу своему полнейший риск. Притом они думали, что лицо, рискующее собой для получения блестящего положения, должно уже всем жертвовать для достижения цели. Чтобы из простого казака стать на стезю императора или из простой проходимки сделаться наследницей престола, стоит пере-нести кое-какие лишения, кое от чего отка-заться. Так думали русские. В несравненно большей степени эти мысли должны были охватывать иностранцев, участие которых в

русской интриге имело цели, может быть, более широкие, но и более отдалённые. Правда, что обладание несравненно большими капиталами и некоторое, приобретённое уже ими уменье действовать собирательным капиталом — уменье, которым русские не обладали и, к сожалению, не обладают до сих пор, давали иностранцам большое преимущество. Иностранцам легко можно было затратить сто тысяч там, где русским трудно было собрать десять; тем не менее сознание значительности шансов риска поневоле останавливало и иностранцев. Иезуиты рассуждали так: «Мы затратили на Али-Эметэ, если признать сделанные князем Радзивиллом по нашей инициативе пожертвования, до 50 тысяч франков, а пока не видим ещё ничего. Правда, она заверяет, что заявлениями и протестами везде вызвано сочувствие и что дружба великого визиря Халиль-паши с её персидским дядей, князем Гали, обеспечивают ей успех в сношениях с Турцией. И Порта, конечно, примет в ней существенное участие. Но пусть она докажет нам, что это действительно так: пусть докажет, что Порта действи-

тельно что-нибудь хочет для неё сделать, и мы пожертвуем тогда вдвое, вдесятеро... но пусть докажет».

Всё это было слишком хорошо и слишком справедливо, если бы Али-Эметэ хотелось только домогаться достижения своих честолюбивых замыслов. Но ей, главное, хотелось жить. Она была молода, увлекательно хороша; она заметила, что болтовнёй о своём происхождении, о своих правах, о своих приключениях она не только вызывает к себе сочувствие, но и получает средства к жизни. Естественно, что ей стало казаться, что эти средства могут быть неистощимы. А затем она полагала, что для неё нет никакой нужды сколько-нибудь стеснять себя и что будущее должно вознаградить её за всё настоящее.

И вдруг она получает следующий ответ: «Поезжайте в Константинополь, заключайте договор с султаном и тогда получите всё. Долги ваши после того будут уплачены, средства даны и вы во всех отношениях будете поддержаны, чего бы это ни стоило. Если не исполните нашего справедливого требования, то, извините, от нас вы не получите ни гроша».

— Ведь это насилие, это гнёт, подлость! — говорила себе Али-Эметэ.

Но Али-Эметэ ту же минуту остановилась, сознав, что на этом состоялся договор и было обещано, что в полгода всё устроится. Делать нечего, нужно выполнять договор, поэтому медлить нельзя, нужно ехать.

Затем она настояла, чтобы Радзивилл и его свита отправились с ней в Константинополь. Да Радзивилл и не хотел допускать её одну.

Он мечтал ещё о московском крулевстве и думал: «Содействуя ей, я приобретаю на неё право».

Но искусные моряки турецкой службы, в том числе и один из её любимцев, Гассан, вместо Константинополя доставили её и князя Радзивилла с их свитами и служащими, за противными ветрами, в Рагузу. Нечего делать! Пришлось ждать и жить в Рагузе.

Согласно предписанию д'Егриньона, совершенно увлёкшегося идеей выставить Екатерине соперницу в законной наследнице императрицы Елизаветы, французское посольство в Рагузе приняло её с тем же почётом, как и в Венеции. Французский поверенный в

делах, де Риво, предоставил в её распоряжение дом посольства и окружил её своим вниманием. Маленькая республика Рагуза была оскорблена Екатериной через Алексея Орлова, командовавшего её флотом в Черном море. Он потребовал от неё удовлетворения за то, что она не допустила стоять на Рагузском рейде одному из вверенных ему судов. Поэтому, отстраняя всякую тень политической манифестации, сенаторы Рагузы и почётнейшие лица города были очень довольны возможностью нанести маленькие уколы самолюбию русской государыни выражением частных засвидетельствований почтения иностранке, грозившей Екатерине соперничеством в её положении и оспаривавшей её права.

Они один за другим являлись с приветствиями к вступившей в их город всероссийской великой княжне Елизавете и окружили её различного рода овациями. Поэтому и здесь она должна была открыть приём и жить роскошно. Эта роскошь, за неимением у Али-Эметэ никаких средств, почти полностью должна была лечь на счёт князя Радзивилла, хотя тот, как мы уже говорили, сам крайне

нуждался в средствах, проживая последние из вывезенных им с собой драгоценностей.

Под влиянием тяжести этого положения Али-Эметэ решила приступить к более активной деятельности; решила не ограничиваться только жалобами, протестами и объяснениями своих вымышленных страданий, но фактически приступить к делу. Она написала о себе предводившему в Средиземном море русским флотом графу Алексею Григорьевичу Орлову. Ей пришло в голову, не захочет ли он, принимая её за ту, за которую она себя выдаёт, передать в её распоряжение вверенный ему русский флот и начать вместе с нею действовать против Екатерины. «Он, говорят, честолюбив, — думала она, — а его честолюбию я открою широкое поприще».

Письмо к Орлову и проект её манифестики русским морякам, как она выразилась о своём проекте заявления о самой себе русской эскадре, были составлены весьма ловко. Она передавала на волю Орлова делать то, что он полагает справедливым, но обращалась к его чести, разуму и патриотизму; наконец, она старалась задеть его самолюбие и честолю-

бие, ставя его во главе предприятия, успех которого, разумеется, вознёс бы его на вершину славы и почестей.

Послание это было отправлено ею через третьи руки, таким образом, чтобы Орлову, если бы он не захотел принять в ней участия, было весьма трудно, даже почти невозможно, узнать о её местопребывании.

Между тем князь Радзивилл, разыгрывая свою комедию перед Али-Эметэ и являясь к ней ежедневно с многочисленной свитой обедать в роскошном костюме польского магната и виленского воеводы как к русской великой княжне, хотя и должен был сам эти обеды оплачивать, — мало-помалу подчинялся очарованию её прелести и грации. Сперва он этого не замечал! Ему казалось даже, что она далеко не так хороша, как ему о ней говорили и как он себе её воображал. Даже на первых порах он готов был уверять, что она вовсе не хороша. Но почему-то ему становилось приятно бывать у неё; становилось скучно, когда он её не видел. Он желал быть у неё чаще и чаще, видеть её каждый день, если можно — два раза в день; потом ему начало становиться

скучно «даже когда он у неё, но она вдруг уйдёт куда-нибудь или занята кем-нибудь другим. Её мягкие движения, приветливая улыбка, бархатный, ласкающий взгляд становились для него мало-помалу привычной необходимостью; становились для него утешением, радостью, противодействием его хандре, которая против воли охватывала избалованного богача магната, вдали от отечества и доведённого почти до совершенного разорения. Смотря на неё, он забывал эту хандру. И ему бессознательно хотелось смотреть на неё, вечно смотреть или прислушиваться к музыкальному переливу её голоса, к её гармоническому смеху.

Те честолюбивые замыслы не имели никакого значения. Она начинала ему нравиться как она; хотя, разумеется, мечта его не могла не останавливаться с удовольствием на мысли, что вот, может быть, благодаря ей он не только отплатит жестоко своим врагам, не только возвратит всё у него отнятое, но станет на первую ступень в своём отечестве и, обладая ею, сделается самодержавным владыкой половины света. Мечта слишком соблаз-

нительная, чтобы ею мог не увлечься даже и не Радзивилл.

Он был нестар и недурен, хотя, разумеется, далеко не мог идти в сравнение с такими красавцами, каковыми были Доманский и Черномский. По своим летам, воспитанию, понятиям, он ни в каком случае не мог идеализировать женщину, которая ему нравилась. Избалованный с детства своим неисчислимым богатством, общим ласкательством и испорченный лестью до непонимания отказа, он смотрел на вопрос только со стороны своего личного самолюбия и самого грубого материализма. Радзивиллу ни на минуту не приходило в голову сомневаться в себе. Он был совершенно уверен, что если он думает об Али-Эметэ, то и она непременно если не более, то столько же думает о нём. Он не мог представить себе, что может встретить отпор; он даже не поверил бы, если бы кто-нибудь ему это сказал. Он не хотел знать, что в женщине могут происходить борьба, сомнение, колебания.

«Какие тут колебания, — ответил бы он, — разве я не Радзивилл?»

Он смотрел на женщин вообще, как турецкий султан смотрит на танцующих перед ним одалисок. Разве султану приходит в голову, что в избранной им брошенным платком женщине может быть какое-либо сомнение?

Затем становится понятным, что когда князь Карл Радзивилл оценил ближе свои чувства, то сказал себе без всякого шаржа и без всякого юмора, но в полном твёрдом убеждении, что это так и должно быть.

«Ну что ж, она мне нравится, тем лучше! Мы сойдёмся пока, в ожидании московского крулевства, а там вместе будем добиваться того, что должно будет соединить нас навеки неразрывно».

При таком материальном взгляде совершенно естественно, что человек, привыкший покупать всё и всех и думавший, что перед богатством его всё и всегда должно склоняться, пришёл к такому выводу:

«Она не имеет права мне отказывать в чём бы то ни было. Недаром же я, в течение трёх лет, платил ей по 120 тысяч франков в год и не отказываюсь производить эту пенсию и в будущем, как только удастся заставить снять

секвестр с моих имений!»

Но Али-Эметэ смотрела на этот вопрос совершенно с иной точки зрения.

«Он немолод, некрасив, — думала он. — Но это ничего. Граф лимбургский старше его и ещё некрасивее, но я не колебалась ни минуты, когда этого требовали польза и дело. Я не задумалась бы сблизиться и с семидесятилетним бароном Горштейном, если бы предвидела, что из этого может выйти что-нибудь полезное. Но тут не только польза, но видимый вред и мне и ему, положительный вред».

«В материальном отношении, для выполнения моих видов, князь может мне помочь, — рассуждала Али-Эметэ, — только в таком случае, когда ему возвратят его имение. Он сам говорит, что проживает последние свои сокровища. А сближение со мной, после моих заявлений и писем, после моих протестов и исканий, ясно, не только не будет содействовать возврату его имения, но, наверное, тому воспрепятствует. Между тем князь Радзивилл не Доманский, не Чарномский, не Шенк или Ван Тоуэрс, лица незаметные, на жизнь, связи и отношения которых никто не

смотрит и которыми никто не интересуется. Светлейший князь Радзивилл известен везде, и весть о моём с ним полном сближении непременно облетит всю Европу. В настоящем знаки его почтения ко мне, выражение в разных видах его ко мне уважения и его манифестации меня поддерживают, возвышают. Всякий думает: «Стало быть, она что-нибудь значит, когда перед ней преклоняется князь Радзивилл, а с ним и половина Польши». А какое же значение могут иметь манифестации любовника? Далее, сближение с ним меня свяжет; а моё положение требует свободы. Наконец, сближение с Радзивиллом поставит меня в ложные отношения к князю лимбургскому; оно огорчит глубоко моего бедного Телемака. А пока нет ничего впереди, я не хочу разрывать с ним связей. Он мой резерв, как говорит милейший Ришелье, когда, рассыпаясь в любезностях, рассказывает свою тактику атак женского сердца. Князь лимбургский — приют моего отступления в случае неудачи; он моё надёжное пристанище в несчастий. Огорчить его теперь, когда я не имею никакой возможности его утешить, бы-

ло бы непростительно глупо, было бы нелепо, было бы недостойно меня...»

На основании этого рассуждения Али-Эметэ приняла ухаживанье Радзивилла весьма и весьма холодно, давая ему чувствовать, что оно неприлично и немислимо.

Радзивилл, разумеется, взбесился:

«Как она, проходимка, которой я переплатил целое состояние, которую я поднял, которая и в настоящее время живёт на моём иждивении, хотя и знает, что временно я не в прежнем положении и не могу бросать золота, как прежде? И она?.. Да разве мало у неё было похождений, мало интриг? Разве она бережёт свою девственность? Вон говорят... — И он начал повторять клевету, которая про неё распускалась, будто не довольно было говорить и того, что не было клеветой. — И она меня отвергает, смеет меня отвергать? О, это верх дерзости, верх нахальства! О, это не пройдёт вам, фальшивая княжна, даром! Вы раскаетесь, горько раскаетесь! Вам не пройдёт это без того, чтобы вы сама... Я заставлю...»

И, опираясь на это «заставлю», он начал

приставать к ней в такой степени настойчиво, что Али-Эметэ рассердилась в свою очередь.

«Не хочу! — сказала она себе. — Я не из тех, которые балуют самодурство и уступают настойчивости! Я обещала иезуитам при удаче выйти за него замуж. Это другое дело. Своё слово я сдержу. Но нужно сперва, чтобы была удача. Пусть он мне сперва содействует получить эту удачу. А то одни обещали мне помогать, другой содействовать; а тут те не помогают, а другой пристаёт вон с чем... Не хочу, не хочу!»

Но Радзивилл приставал всё сильнее и сильнее и, отказавшись оплачивать её издержки, поставил её в Рагузе просто в безвыходное положение. Али-Эметэ пришлось опять метаться из стороны в сторону, искать денег сколько-нибудь, занимать хоть по мелочи.

Наконец, Али-Эметэ узнала, что князь Радзивилл задумал употребить против неё насилие.

«Это ещё что? — подумала она. — Это уж из рук вон! Я обманута кругом, я обещана, и

ещё насильственные притязания этого урда. — Радзивилл стал казаться ей уже уродом. — Ни за что на свете!»

«Однако к чему отцы иезуиты так настойчиво требовали от меня заявления моих прав? — думала она. — Ясно, чтобы лишить меня возможности возврата! И зачем им я? Какую выгоду они могут иметь, заменяя мной Екатерину? Они, не скрывая, говорят: «Вы должны стремиться к соединению церквей, стремиться самостоятельную, независимую Русскую Церковь подчинить святейшему отцу папе». Разумеется, при этом они займут главные места в церковной иерархии. Отсюда ясно, что главнейшая услуга, которую от меня требуют, будет преимущественно полезна для святейшего отца. А если она полезна ему, то он должен и защищать меня, и дать мне средства выполнить то, что было предположено для него. Во всяком случае, он должен выручить меня из положения, в котором я теперь нахожусь. Он должен помочь мне или сам, или заставить иезуитов, и, несомненно, должен избавить меня от назойливой притязательности, могущей всё уничтожить, всё

скомпрометировать.

Стало быть, нужно ехать в Рим, рассказать святому отцу моё положение, мои права; выразить ему готовность всю жизнь посвятить указанной мне великой цели и просить его помощи».

Придя к этому заключению, Али-Эметэ недолго думала. Достав денег столько, чтобы только доехать, взяв с собою одну девицу Мешедэ и поручив Чарномскому и Доманскому приехать к ней, как только найдут к тому способы, она отправилась в Рим, оставив Радзивилла рассчитывать за себя и за неё, как ему заблагорассудится. По дороге она заехала в Неаполь. Там ей удалось познакомиться с английским послом, лордом Гамильтоном. Она взяла у него новый паспорт на имя графини Пинненберг, заявляя о себе как о польке, бежавшей от бывших в её отечестве замешательств, и вновь под этим именем, оставленным ею в Рагузе ради имени всероссийской великой княжны, прибыла в Вечный Город, бывший в то время представителем религиозности и искусства.

III

ПОЛИТИКА БЬЁТ ТРЕВОГУ

В Петербурге в рабочий кабинет Никиты Ивановича Панина, пожалованного Екатериной графом и обогащённого за ту уступку совести, которую он вынужден был сделать при её восшествии на престол, — вошёл Фонвизин.

Панин в это время сидел в шлафроке и прочитывал протоколы заседаний выборных депутатов, собравшихся для обсуждения положения империи по наказу Екатерины, и от нетерпения и досады двигал и топал своими длинными и неуклюжими ногами, повторяя:

— Она права, сто раз права! Какие у нас представители? Ну разве можно молоть такой вздор? Хоть бы вот этот. Я уж ждал, что он вздумает говорить о происхождении от Сима, Хама и Иафета! А не то этот, готовый взять на откуп не только булки, но и печёный хлеб!

И Панин видимо сердился. Замечание Ека-

терины о невозможности принять шведский образ правления в России являлось справедливым до осязаемости.

Фонвизин был молодой человек и один из любимых секретарей Никиты Ивановича. Он вращался в том же обществе, в котором бывал и граф, и пользовался покровительством дам. Мятлева, молоденькая статс-дама императрицы, которой граф считал себя во многом обязанным, очень любила Фонвизина и обращала на его острый ум внимание его начальника. Поэтому Никита Иванович всегда встречал Фонвизина особенно приветливо и, несмотря на свою сухость, вызывал его иногда на разговор.

— Ты читал, Фонвизин, какую дичь порют наши мудрецы-законодатели? Вот и изволь тут отстаивать с ними представительство!

— Представительство нельзя отстаивать, ваше сиятельство, когда нет мнений, которые нужно представлять; лучше сказать, когда нет никаких мнений, — отвечал скромно и сдержанно Фонвизин. — Но позволю себе доложить, что как ни нелепы некоторые из вы-

сказываемых заключений, но из них всё же можно видеть народные нужды и желания. А ведь если никто ничего не будет говорить, то, ясно, ничего и узнать нельзя будет. Я к вашему сиятельству по делу: приехал английский посол лорд Каркарт с неизвестным мне господином и просят доложить вашему сиятельству особо, что с важным сообщением.

— Ох уж эти мне сообщения! Хорошо, проводи их в гостиную и скажи, что сейчас буду. А сам, если хочешь, прочти эти протоколы, много ли ты из них узнаешь; вечером поговорим.

Фонвизин ушёл, а Панин, сбросив с себя домашний шлафрок и напялив алый бархатный французский кафтан, с нашитыми на нём звёздами, сидевший на Панине весьма неуклюже, оправив кружевные брыжи и манжеты, вышел к гостям.

Лорд Каркарт, рыжий сухой англичанин, с небольшой лысиной поверх лба и веснушчатым лицом, пробурчал вошедшему Панину какое-то приветствие и, указывая на прибывшего с ним черноватого молодого человека с портфелем под мышкой, спросил:

— Вы, граф, его не узнали? А он имел случай вам представляться. Впрочем, нам, по-слам, так редко достаётся видеть ваше сиятельство, что немудрено, если вы которого-нибудь и забудете. Это здешний консул из Рагузы.

Граф, несмотря на свою сухость и неуклюжесть, сумел приветствовать и усадить гостей.

— А мы к вам с весьма важным и, к сожалению, неприятным сообщением, в котором, по несчастию, играет довольно печальную роль обманутого мой собрат по политике, наш английский посланник в Неаполе лорд Гамильтон. Но вот он расскажет вашему сиятельству всё по порядку и передаст копию с доставленной ему его правительством депеши; я же могу только подтвердить справедливость описываемого, прочитав сообщение, сделанное мне моим итальянским камрадом.

Панин слушал внимательно, хотя и не понимал, о чём идёт речь.

Консул вынул из портфеля бумагу.

— Извольте приказать начать, ваше сиятельство? — спросил консул.

Панин молча кивнул головой.

Консул начал читать сообщение, как на Рагузский рейд прибыли загнанные ветром два корабля и в числе бывших на них пассажиров оказалась дама, замечательно изящная, и князь Радзивилл, заявивший республике, что эта дама — русская великая княжна Елизавета Петровна, родная и законная дочь императрицы Елизаветы, от её морганического брака с графом Разумовским.

Граф Панин, слушавший совершенно хладнокровно, даже без малейшего оттенка любопытства, тут, однако ж, заметил:

— Как же это: *Петровна* — и дочь Разумовского? Графов Разумовских было только два: Алексей и Кирилл, разумеется, если не считать детей Кирилла.

— Княжна эта окружена блестящей свитой из поляков, французов и *русских*, — продолжал читать консул. — Князь Радзивилл, кажется, её наперсник. Она рассказывает о претерпенных ею несчастиях, заточении в крепости, ссылке в Сибирь, бегстве оттуда при помощи преданных ей людей, наконец, о своём путешествии в Персию, к родному её

дяде, бывшему первым визирем у персидского шаха, затем о прибытии своём в Лондон и Париж, где она имела свидание с друзьями своего покойного отца, пользовавшимися доверием её покойной матери. Они ободрили её и заверили, что в России она легко найдёт себе ту поддержку и помощь, в которой она нуждается. Она титулует себя княжной Владимирской-Зацепиной, по имени родовых, принадлежащих ей в России княжеств, а также владельницей Азова, подаренного персидским шахом её покойному отцу...

— Как же это? Если она княжна Владимирская-Зацепина, то не может быть ни дочерью Разумовского, ни даже родственницей императрицы Елизаветы. За одним из Зацепиных была сестра императрицы Анны, но это совершенно другая линия, — вставил своё слово Панин. — К тому же, признаюсь, я что-то не помню, чтобы не только князь Зацепин, но и кто-нибудь из знатных русских был визирем в Персии; да и Азов персидским городом никогда не бывал...

— Теперь она, с своей свитой и Радзивиллом во главе, предполагает отправиться в

Константинополь, чтобы оттуда, при помощи султана, заявить свои права и идти в Россию, где у неё, как она говорит, есть обширная партия и даже собрано войско, под начальством одного из благодетельствованных её отцом дворян, Пугачёва, который, согласно завещанию её матери, завоевав корону, должен передать её ей как законной наследнице.

Граф Панин не поморщился во всё время этого длинного чтения, будто дело его вовсе не касалось.

Когда консул Рагузской республики окончил своё чтение, лорд Каркарт стал говорить о полученном им сообщении от лорда Гамильтона, английского посланника при неаполитанском дворе, что туда из Рагузы прибыла знатная польская дама, уехавшая будто бы из Польши, вследствие происходящей там сумятицы, и просила у него паспорта для проезда в Рим, во избежание будто бы встреч и столкновений со своими соотечественниками. Он, не подозревая обмана, таковой паспорт ей выдал, именуя её, как она значилась в выданном ей от лимбургского поверенного в делах в Венеции графинею Пинненберг. По

прошествии некоторого времени она неожиданно обратилась к нему с письмом, в котором, прописывая всё, что было прочитано в депеше рагузского сената, просила у него взаимнообразно 7 тысяч червонцев, обеспечивая платёж этих денег агатовыми копиями в её графстве Оберштейн, купленном ею будто бы на деньги её дяди. Затем, видя себя обманутым и опасаясь, что выдача им паспорта такого рода женщине может навести в русском правительстве подозрение, что Англия помогает развитию подобного рода интриги, он, Гамильтон, счёл нужным сообщить обо всём лорду Каркарту, доставив ему и подлинное письмо этой женщины, для сообщения кому следует и рассеяния, таким образом, подозрений, могущих вести к недоумениям между правительствами. К этому лорд Гамильтон прибавил, что он счёл излишним о всём изложенном сделать известным графа Орлова, командующего эскадрой русской императрицы в Средиземном море.

Граф Панин и при этом рассказе не моргнул глазом.

— Желаете ли вы, граф, получить копии с

прочитанных бумаг и не соблаговолите ли сообщить, что я должен буду отвечать своему правительству о всех этих слухах и рассказах? — спросил лорд Каркарт.

— Пожалуй, я возьму копии, — отвечал холодно Панин, — хотя, по-моему, стоит ли говорить о какой-то побродяжке! Видите сами, ваше превосходительство, до какой степени нелепо всё это скомпоновано; даже не потрудились хорошенько узнать, как звали графа Разумовского, и вместо Алексея называют его Петром. Но чтобы ваши хлопоты и труды, за которые от имени императрицы благодарю чувствительно, не пропали напрасно, я возьму копии с этих бумаг; хотя, по-моему, право, всё это дело не стоит столько хлопот...

Но когда, по вручении копий, гости уехали, Панин засуетился, и очень засуетился, так даже, что не стал ни переодеваться, ни ждать кареты, а на первом попавшемся вознице поехал, как был, во дворец.

Там, несмотря на то что государыня была занята с Елагиным, он вошёл в кабинет без доклада и сказал, что имеет важное дело.

Императрица взглянула на него с изумле-

нием и сейчас же отпустила Елагина.

Панин в это время успел овладеть собой и начал уже хладнокровно передавать ей всё, о чём только что узнал.

Зато Екатерина вспыхнула при первых же его словах.

— Как! Всклепать на себя такое имя и так нагло врать! — воскликнула она с горячностью, совершенно ей несвойственной. — За это мало всех пыток прославленного Бирона! Что вы отвечали послам? — спросила она в таком тоне, будто Панин был виноват в том, о чём докладывал.

— Я сказал, что не стоит обращать внимание на какую-то побродяжку! — отвечал Панин с тем же невозмутимым спокойствием, с каким выслушивал он весь рассказ о княжне Владимирской и которому изменил, только собираясь к государыне.

— Как стоит ли? — почти фальцетом вскрикнула Екатерина. — Вы думаете, что можно оставить без внимания всклепавшую на себя имя русской государыни? Да я-то что же у вас такое после этого? Нужно было бы просить арестовать, выдать...

— Это ни к чему не поведёт, государыня, они не выдадут; мы понесём политическое поражение и будем поставлены в ложные отношения. Нужно сперва изыскать меры, а до того не дать и заметить, что мы подобным враньём беспокоимся.

Екатерина совершенно вышла из себя.

— Как — беспокоимся! — отвечала она вспыльчиво. — Но ведь такое враньё может произвести смуту, бунт, может отразиться... Удивляюсь вашему спокойствию, граф; разве можно хладнокровно относиться к тому, что взволнует...

— Никого она не взволнует, государыня, — отвечал невозмутимо Панин. — Вот обдумаем, примем меры и тогда...

— Напишите Орлову, чтобы сейчас же шёл с флотом в Рагузу и требовал выдачи самозванки; в противном случае бомбардировал бы город! Вот вам и мера! Напишите сейчас же! Я так хочу!

Панин молча пожал плечами.

* * *

В то же время к французскому первому министру герцогу д'Егриньону пригласили долго жившего в России француза Пуату, про которого ему сказали, что он знает все тайны русского двора.

Француз, польщённый этим приглашением, дня два болтал о нём между своими, рассказывая, что с первым министром Франции друзья закадычные, приятели неразрывные; что он при всякой встрече ему пеняет, зачем он к нему не заходит, «может быть, говорит, поможешь чем, посоветуешь»...

— И потому, делать нечего, в четверг утром я обещал прийти к нему шоколад пить...

— Да где ты сошёлся-то с ним?

— Это длинная история, когда-нибудь расскажу; только приятели, приятели! — продолжал врать Пуату.

— Так ты бы облагодетельствовал; вот попросил бы мне местечка.

— Можно, отчего же не похлопотать за приятеля, можно...

Приятель, конечно, счёл себя обязанным сейчас же поставить бутылочку бордосского.

Вот этот Пуату, которого до того герцог д'Егриньон и в глаза не видал, явился по приглашению герцога и в его кабинет.

Герцог действительно в это время собирался пить шоколад. По крайней мере, перед ним на инкрустированном столике работы Буля, покрытом белой как снег салфеткой, стоял на подносе серебряный шоколадник с конфоркой, раззолоченная корзинка с печеньями и маленькая чашечка дорогого севрского фарфора. Но ему и в голову никогда не приходило пригласить к своему завтраку какого-то Пуату, какого-то учителя, фамилия которого не имеет даже пресловутой частички «де».

— Вы Пуату?

— Точно так, ваша светлость!

— Вы жили в России?

— Точно так, ваша светлость; двадцать шесть лет как один день выжил!

— Что же вы там делали?

— Учил детей вельмож: князей, графов, знатных бар, богатых купцов...

— Чему же вы учили их?

— Всему, ваша светлость: французскому языку, риторике, морали, светскому обращению...

нию, мифологии, истории, статистике, естествознанию, логике и философии — всем наукам...

— Где же вы сами-то учились?

— Нигде не учился, ваша светлость. Читать и писать по-французски я выучился в школе святого Сульпиция. Там же начал было историю, мифологию и латынь проходить, да как батюшка скончался, матушка не могла платить за моё воспитание, меня и исключили. Да будто, ваша светлость, умному человеку надо учиться, чтобы учить? Этого совсем не нужно! Ну возьмишь книгу, прочитаешь — и учишь.

«Гм! правда! — подумал д'Егриньон. — Я тоже ничему не учился, кроме фехтования, верховой езды и танцев, а вот управляю же всем, стало быть, и учить могу».

— Кто был ваш батюшка?

— Седельный мастер! И какие сёдла делал, ваша светлость, чудо! Таких нынче, кажется, и не делают! А матушка мушки делала, вот что тогда самые модные герцогини, да и сама королева, себе на лицо наклеивали. Да каких, бывало, она не наделает: и сердечки, и

звёздочки, и крестики, да все самой мелкой работы, самой высокой художественной отделки. Ну, а как батюшка умер и мушки носить перестали, нам жить и нечем стало. Матушка пошла в ключницы к старой герцогине де Прален; по вечерам Псалтирь ей читала, а днём шёлк разматывала да за неё кошельки вязала, которые герцогиня в дни рождения дарила внучатам и внучкам. А я в шорники было пошёл, хотел отцовское дело продолжать, да тут и уговорили меня ехать в Россию с одним знатным господином. Он меня брал, чтобы его детям по-французски болтать было с кем. С той самой поры и до прошлого года я всё в России больше по большим домам жил. От одного графа даже пенсию заслужил. Меня графиня полюбила. Старая была, некрасивая, да ведь мне что? Думаю: дело не в красоте, а в доброте, а она была добрая... И вот как умирать стала и написала: «А учителю моего сына, французцу Пуату, когда он окончит заниматься с моим сыном, графом Иваном, назначаю пенсию по 400 русских рублей в год, по смерть». Вот она, некрасивая-то, на красивую и вышла.

— О, да вы, я вижу, философ, — сказал д'Егриньон. — Садитесь-ка сюда, порасскажите мне, что вы знаете о России!

Герцог д'Егриньон указал французу на низенький табурет, предназначенный, по формалистике тогдашних приёмов, для лиц низшего звания, не удостоиваемых сидеть рядом с маркизами и графами высокого происхождения.

Француз расцвёл от радости, что сидит в кабинете герцога, первого министра.

— Страна большая, ваша светлость, и, надобно сказать правду, негодная страна, не то что наша прекрасная Франция. Я почти всю её объездил, то переезжая от одного графа к другому, то с питомцами. И в Москве был, и в монастырь большой Сергия, ихнего святого, заезжали, и в Курске, и в Ярославле, и в Орле, был и у казаков, хохлами зовут, народ такой особой, и скажу: ничего хорошего там нет! Одно хорошо, что там больше богачи живут страшные. У всех рабы, — они и работают, и деньги платят! Это заведение хорошее, сказать нечего! А больше ничего хорошего нет! Всё больше лес! Как едешь — и направо, и на-

лево лес; вдруг потом откуда ни возьмётся деревушка. В ней рабы живут, шапки снимают и кланяются, а не то и помогают, коли экипаж где завязнет. Или ещё местами степь; куда ни взглянешь, всё степь. А из рек вот Волга...

— Нет, я не о том спрашиваю! Если вы жили, как вы говорите, в больших домах, то, вероятно, слышали, что при дворе делается, какие любимцы там бывали, кто в ходу...

— Как же, как же, ваша светлость, всё слышал, всё знаю. И государыню самую, прежнюю императрицу Елизавету, много раз сам видел, когда у Нарышкиных жил...

— Ну вот скажите: правда ли, будто императрица Елизавета была замужем?

— Была, ваша светлость, была, только это было не объявлено. Она ещё прежде, чем на престол вступила, говорят, влюбилась в молодого сына одного гетмана, это по-ихнему маршал, предводитель казаков. Куда он ни едет, везде с ним булаву носят, всё равно что у нас маршальский жезл...

— А как же говорили, — перебил герцог д'Егриньон, — будто она вышла замуж за че-

ловека простого происхождения и неважно-го?

— Оно, пожалуй, и неважного, — отвечал Пуату, поняв, что необходимо нужно вывираться. — Оно, изволите видеть, ваша светлость, как отец-то императрицы, Великий Пётр, стал преобразовывать своё государство и велел бороды брить, то гетман и взбунтовался. Тут, говорят, была под Москвою битва такая, что земля тряслась. Царь Пётр победил и всем головы велел поснимать, в том числе и самому гетману, а сына-то его к себе в туфленосцы взял. «За твоим отцом, — говорит, — булаву носили, ему было мало, так ты за мной туфли носи». А сын-то, говорят, красавец был первый. Вот царевна, молода ещё была, в него и влюбилась; а когда, после смерти отца, гвардия её на престол посадила, так за него и замуж вышла, но свадьбу эту в секрете держали.

— И дети у ней были?

— Были, ваша светлость, сын и дочь. Они даже у меня учились несколько месяцев. Там был большой граф, Разумовский по фамилии. Жена-то его, Нарышкина урождённая, импе-

ратрице сродни приходилась. Однажды она к моему маркизу-то Нарышкину и пишет, что у них гувернёр, что был при детях, заболел, так прислали бы кого-нибудь на лето к ним. А как у нас, кроме меня, был ещё немец да швейцарка, то маркиз и послал меня как более способного. Они жили под Москвой, в Петровском. Дворец такой, что Версалью не уступит, а жизнь такая, что хоть бы и нашим герцогам под стать. Детей было четверо: три мальчика да девочка; двое мальчиков были молодые графы Разумовские, а другие, мальчик и девочка, были дети императрицы и звались князем и княжной Таракановыми. Кроме меня, при них особый гофмаршал был, и воспитание они получали совсем особое, хотя нашу графиню звали не иначе как тётушка.

— Отчего же их звали Таракановыми?

— Уж не умею, ваша светлость, сказать, отчего им такую фамилию дали. Говорят, что прадед или дед того гетмана, которого Пётр казнил, прозывался Таракан, или Дараган, и от него будто бы идут Дарагановы, или Таракановы; государыня потому и назвала детей своих их родовым именем. Потом, через год, я

с ними на воды в Карлсбад ездил. Государыня сама на проводы приезжала и благословляла их. При мне дело было, и они её тамап звали...

— Почему же теперь дочь её называют княжною Владимирской?

— А должно быть, по городу, ваша светлость, что государыня ей назначила. Под Москвою город большой есть, столицей прежде был, пока Москвы не построили, Владимир называется. Государыня, не имея возможности престол предоставить после себя своим детям, так как была замужем за своим подданным, этот город и назначила им. Они по городу-то и княжеству и приняли титул князей Владимирских, как вот и наш дофин называется герцогом Орлеанским; родовая же фамилия их князя Таракановы, как нашего христианнейшего короля имя de Bourbon.

Когда самодовольный, счастливый Пуату вышел из отеля д'Егриньона, его почти у подъезда остановил приятель с вопросом:

— Ну что?

— Ничего! Пили шоколад, болтали по-приятельски, о России расспрашивал всё, о

князьях Владимирских. Кто-то ему сказал, что я с стариком князем был большой приятель; потом рассказывал, как ему Шуазеля спихнуть удалось.

— А о месте?

— Да, о месте... сказал, что будет иметь в виду, записал... Нельзя же вдруг...

— Ты всю семью мою облагодетельствуешь, друг, похлопочи!

— Ладно, ладно, выпрошу, вот увидишь...

А д'Егриньон начал писать дипломатические ноты с запросами о дочери императрицы Елизаветы и Разумовского, девице Таракановой, княжне Владимирской.

И пошли с той поры толки о княжне Таракановой, будто бы дочери императрицы Елизаветы. Толки эти облетели всю Европу, поддерживаемые дипломатическими нотами официальной переписки, сосредоточенной в руках французского двора, столь недружелюбно относившегося тогда к России, что каждое затруднение её он признавал счастливым для себя событием. Опираясь на эти толки, включённые в сотню мемуаров и очерков современников, многие поэты и художники

воссоздавали облик небывалой княжны Таракановой, её страданий и смерти, рисуя их в поэтической картине своего воображения и выдавая их за историческую истину, между тем как такой княжны в действительности никогда не было и самое имя её образовалось благодаря хвастливости одного из бесчисленных французских вралей, занимавшихся тогда воспитанием молодой России, и вследствие неправильного произношения им фамилии Дараганов, или Дарагановых, племянницы графа Алексея Григорьевича Разумовского от брака сестры его Веры Григорьевны с казаком Дараганом, крестников императрицы Елизаветы, воспитываемых ею в своём дворце.

* * *

Когда французскому двору удалось до некоторой степени осязательно выразить своё недоброжелательство к России, подвинув Турцию объявить ей войну, а Австрию заставить не только не быть, на основании прежних договоров, нашей союзницей, но по

объявлении нейтралитета принять в известной степени враждебное положение, — братья Орловы Григорий и Алексей, имевшие в то время при Екатерине, в правительственном механизме России, преобладающее влияние, придумали отыскать себе союзников среди самих ставших к нам во враждебное отношение стран.

— Матушка государыня, — говорил Алексей Орлов с своею искусственной простотой и в грубоватой форме, — голенький, ох, а за голеньким Бог! На нас враги готовы обрушить, кажется, все силы земные и небесные. Вон и Швецию подбивают на перемены, а для чего, чтобы опять военным государством стала и нам врагом была; и в Польше шумят, и старуху австрийскую на нас натравляют. А прусский король, того и направлять нечего. Он всегда был и нашим и вашим; у нас ли, у них ли, ему только бы себе клочок урвать! Разумеется, мы никого не боимся. Божья помощь будет, так никто же на ны! А о себе всё же подумать не мешает; не худо поискать себе тоже союзников, где они и не чают.

— Где же вы откроете мне союзников,

мой героический рыцарь? — отвечала с улыбкой Екатерина. — Не в испанском ли короле, этом Бурбоне, воюющем неизменно с кабанами, а по временам и с иезуитами? Не в Неаполе ли, где Таннучи устроил, говорят, совет адвокатов, которые уверяют, что только то и истинно, что исходит из кодекса Иустиниана, и доказывают, что сотворение мира было явным нарушением римского права? Да ведь они, мой рыцарь, пришиты к бурбонскому хвосту старого развратника и тянут в одну нуту с Францией, у которой в руках камертон. Или, вы думаете, Дания?

— Нет, матушка государыня, я думаю не о том. Дания нам не помощь, а Неаполь не союзник.

— Так кто же? Уж не герцог ли трипольский или султан марокканский?

— Нет, нет, государыня, ваше императорское величество! Вы, наша Богом данная повелительница, счастливите своей властью нас всех — русский народ; другие народы завидуют нашему счастью и, разумеется, рады будут к нам присоединиться. Вот русский народ и возьмёт себе в союзники другие наро-

ды.

— Как это, милый рыцарь? Я не совсем понимаю вас.

— Так, матушка. Вот хоть бы турки. Пришли они на Византию азиатской ордой, в то время как там попы с попами спорили, как легче благодать Святого Духа получить, крестясь справа налево или слева направо. Ясно, что когда одни спорят по-поповски да бражничают, а другие мечом секут да огнём жгут, так борьба неравна вышла. Ну и схватили, заволокли, да с тех пор и давят. Но как народ ни дави, он всё остаётся народом и чувствует, что его жмёт. Турок-то всего на десять человек греков одного не придётся, но у турок сила, а народу где силу взять? А вот если бы эту силу ему дать, хоть бы в Морее или на островах где, — там не только на десять, но и на сто греков одного турка нет, — так, пожалуй, и вышла бы такая диверсия, какой австрийский гофкригсрат и думать не посмеет. Есть там ещё и Чёрная гора, да и наши братья славяне, а поискать, так и ещё кое-что найдётся. Помните, государыня, каких штук на Черной горе наделал хоть бы этот сумасшедший Стёп-

ка-малый, который вдруг ни с того ни с сего объявил, что он русский император. И хоть он походил на русского государя как шавка на слона, а всё же смутил чуть ли не половину всего турецкого северо-запада. Значит, там имя русское знают и уважают. А турки — азиаты, так азиаты и есть: давить — давят, а больше смыслу ни на что. Торговля ли, мастерство ли — всё в руках греков. Греки и мореплаватели — моряки хорошие, и купцы, и переводчики. Тупоголовому турку лень чужому языку учиться, да, видите, он и презирает всех нас настолько, что не хочет по-собачьи говорить. Ясно, что дело всё в руках поработённых греков. Так вот, если бы вам, государыня, меня, что ли, или кого будет угодно эдак под сурдинкой послать, как бы на излечение, с тем чтобы нельзя ли как этому бедному, подавленному греческому народу дать силу да немножко его эдак порасшевелить. Тогда, пожалуй, у нас и явился бы союзник понадёжнее всякой Австрии.

Результатом этого разговора, прежде начатия ещё турецкой войны, был отъезд графа Алексея Григорьевича Орлова с братом Фёдо-

ром Григорьевичем в Южную Италию для поправления их бычачьего здоровья. Для выполнения тайного назначения им были предоставлены почти неограниченные средства и даны втайне самые обширные полномочия; притом обещано, что по открытии военных действий, в поддержку диверсии со стороны восставших греков, будет прислана в их распоряжение русская эскадра с возможным десантом.

Полная мощь и неограниченные средства предоставили Орлову возможность и дело делать, да и дать себя знать Италии; пожить так, как не жили ни прежде, ни после ни короли, ни банкиры, ни французские генерал-интенданты, ни английские директора Ост-индской компании, ни даже впоследствии русские откупщики и железнодорожники. Уж истинно по-царски пожил граф Алексей Григорьевич, на зависть, пожалуй, и древним императорам, которые, располагая целым миром, должны были бояться своей тени.

Граф Орлов не боялся никого и ничего. Русская удадь, при необыкновенной, нечеловече-

ской силе, щедрость почти безграничная, молодечество, вызывающее удивление, наконец, то умение относиться ко всем и каждому с патриархальной русской простотой, которая возвышает каждого до высоты лучших людей, не уменьшая уважения к действительно лучшему человеку, — сделали не только самого Орлова, но даже имя его популярнейшим в Италии.

Не щадя денег для того, чтобы заставить о себе, по возможности, всюду говорить, он раз, в блестящем мундире русского обер-шталмейстера и капитана кавалергардов, увешанный всевозможными цацами из драгоценных камней, с осыпанным бриллиантами портретом русской государыни на груди, в великолепном экипаже шорной запряжки, в сопровождении английских жокеев и русских казаков, предшествуемый двумя скороходами, подъехал к казино Ливорнского общественного банка.

Толстый швейцар стремительно выскочил принимать вельможного графа. Помощники его бросились в разные стороны вызвать на встречу знаменитого посетителя директора

учреждения.

Игорный зал казино был ярко освещён. В разных местах его, у дверей, колонн, каминов и углов, стояли служители в городских ливреях, готовые исполнить малейшие приказания всякого. Вдоль залы ходило несколько лиц из проигравшихся или из пожелавших отдохнуть несколько от волнений игры. Иные из них тихо разговаривали между собою.

Посредине залы стоял длинный стол, обитый зелёным сукном. На сукно с трёх сторон были набиты значительно увеличенного размера жестяные карты, по тринадцать на каждой стороне, от двойки до туза. На эти карты ставилось золото как ставка для игры. Кроме того, стол был особо разграфлён для обозначения различных условий, какие играющие могли предлагать банку.

Посредине одной из длинных сторон этого стола, против оконечностей набитых в виде буквы «П» жестяных карт, сидел банкомёт, а подле него с обеих сторон его два товарища, заменявшие его по очереди. Пред ними в стол была утверждена острая на обе стороны и с заострённым концом, в виде обломка шпаж-

ного клинка, стальная полоска, на которую накальвались банкомётом стасованные старательно несколькими лицами карты.

Кругом стола толпились до тесноты все жаждущие даров фортуны поклонники фараона, надеющиеся разрешить сфинксу задачу будущего. Они все молчали, с жадным любопытством и видимым нетерпением следя за каждым движением банкомёта, медленно срывавшего карту за картой со стальной полосы, на которой они были наколоты, и таким образом подрезывая их. Тогда метали ещё банки и принимались все предосторожности, чтобы играющие могли быть вполне убеждены, что они не будут обмануты в игре. После, когда в Германии вместо банка была принята игра в двадцать и двадцать один, таких предосторожностей уже не принималось.

После прокидки каждого абцуга крупье производил расчёт, выплачивая проигрыш по тем картам, которые выиграла, и снимая особыми лопатками или совками золото с тех карт, которые проиграла. Играющие с нетерпением ждали каждый выхода своей карты.

Тут было смешение всех званий, сословий

и возрастов. Вход в игорный зал был открыт для каждого; не допускались только дети, да и за этим наблюдалось не слишком строго. Герцог стоял рядом с мещанином, ремесленник толкал графа. Впоследствии было строго воспрещено принимать участие в игре духовным, но в то время такого ограничения ещё не существовало, и монахи разных орденов, так же как и офицеры различных полков, одинаково ожидали от оборота счастья милостей судьбы. Доктора, бакалавры, аристократы, банкиры и приказчики являлись сюда всё попытать счастья, не попадёт ли кто в число тех редких счастливцев, которые, входя туда с грошами, выходили с сотнями тысяч. Никто не вспоминал и не думал о тех, которые, входя сюда богатыми и счастливыми, выходили, чтобы пустить себе потом пулю в лоб. Женщины, по тогдашней общественной чопорности, сами непосредственного участия в игре не принимали; но они играли с не меньшим азартом через поставленных ими у стола их уполномоченных, подле которых сидели сами, руководя их игрой. Позади всех, толпившихся у стола, и крупье-банкомётов, произво-

дящих расчёты, на высоких креслах, для входа на которые к ножкам были приделаны ступени, сидело пять-шесть директоров учреждений, вкладчиков банка. Они также наблюдали за игрой и за расчётами крупье. Шла значительная талия, и молчание кругом было, можно сказать, гробовое.

Вдруг вбежал помощник швейцара и сказал что-то сидевшему в своих высоких креслах директору; тот торопливо сошёл и пошёл из залы, а за ним и другой. По залу пронеслось имя графа Орлова, и все забыли свои ставки, сосредоточив своё внимание на дверях, в которые должен был войти этот знаменитый русский.

Орлов уже знал это игорное казино. Не раз он бросал на карту золото пригоршнями, поэтому все признавали справедливым отдаваемый ему почёт и своим любопытством усиливали делаемую ему овацию.

Обе половинки дверей отворились, и Орлов вошёл своей молодцеватой походкой, окидывая взглядом всё общество. Все приветствовали его, очищая, по приглашению директоров, ему место возле стола, подле хоро-

шенькой неаполитанки, разгоревшейся от радости, так как ей удалось через своего уполномоченного выиграть сколько-то сотен лир.

Орлова поразило это выражение счастья на лице хорошенькой неаполитанки; он с нею заговорил; она ему любезно отвечала.

— Вам угодно играть, граф? — спросил вежливо крупье-банкомёт, который хлопотал, чтобы очистить для него место у стола, и которому, разумеется, хотелось, чтобы тот проиграл хорошенький куш. Он был участник банка в сотой доле.

— Нет, я ещё посмотрю, — отвечал граф, продолжая свою болтовню с хорошенькой неаполитанкой.

Крупье промолчал и продолжал метать.

Но вот талия кончилась, изорванные карты унесли; смешали несколько колод, давая мешать их по очереди и по частям всем, в том числе и графу Орлову. Орлов перемешал карты и подал их крупье. Тот наколол их на стальную полосу, *шпильку банка*, и, опять обратившись к графу, спросил:

— Прикажете, граф?

Орлову показалось досадно повторитель-

ное напоминание, и он спросил:

— Могу ли я поставить на карту миллион русских рублей?

Крупье-банкомёт невольно остановился, не зная, что отвечать.

Пересчитали банк, поговорили с директорами, которые, в свою очередь, пошептались между собой и, наконец, заявили, что такой карты бить они не могут, но что, желая доставить удовольствие графу и вместе поддерживать реноме общественного ответного банка, они согласны бить карту в 492 тысячи русских рублей.

— Только-то? — сказал Орлов. — Ну, делать нечего, идёт столько, сколько бьёте! Вот пусть идёт хоть на даму! Матушка червонная, вывези! Ведь наша государыня — червонная дама, на её счастье!

Но банккомёт не решился начинать, переглядываясь с директорами.

После сделанного кем-то из них знака он обратился к Орлову.

— Ваше сиятельство, — сказал он. — Я здесь только машина; но кругом находятся представители общественного банка, которые

ми, само собою разумеется, всякий проигрыш банка обеспечен. Кроме того, и денег 292 тысячи налицо, за 200 же тысяч обеспечение представляют семь банкиров, участвующих в компании; стало быть, с вашей стороны не может быть сомнения, что через четверть часа полная сумма выигрыша будет вам уплачена. Указывая на это, светлейший граф (итальянцы Орлову новый титул придумали), указывая на это с полным моим высокопочтением, я должен сказать, — продолжал крупье-банкомёт, заминаясь, — я должен сказать... что вы изволите быть частный человек и что мы за получение выигрыша ответственны перед обществом. Поэтому, при выражении полного своего вам уважения, осмеливаюсь всепокорнейше просить: не признаете ли вы справедливым обеспечить поставленную вами карту?

— Джекинс, обеспечивай! Это твоё дело! — сказал Орлов, обращаясь к первому римскому банкиру того времени, пользовавшемуся от всех почти неограниченным кредитом и проводившему обыкновенно лето в Ливорно, где у него был свой дом и особая

контора.

Джекинс ту же минуту вынул из своего толстого портфеля свидетельство на полтора миллиона облигаций венецианского банка, на полмиллиона амстердамских серий и на четыреста тысяч английских консолей и объявил, что проигрыш графа до суммы, им поставленной, он гарантирует предъявляемыми бумагами.

Банкомёт, его товарищи, директора и другие крупье и участники осмотрели бумаги и признали их несомненность; затем, после некоторых переговоров между собою и Джекинсом, банкомёт, по указанию старшего директора, почтительно поклонился Орлову и проговорил, что он вполне удовлетворён.

— Извольте приказать начинать, светлейший граф? — спросил банкомёт.

Орлов хотя всё это время сидел против банкомёта, но не обращал ни на него, ни на директоров, ни на Джекинса, ни вообще на то, что делается между державшими банк, ни малейшего внимания. Он весело болтал с соседкой, которую послала ему судьба в особе молодой неаполитанки, уверяя её, что она мо-

жет выиграть во всякое время сколько угодно, потому что для неё угадать карту, которая ляжет налево, не стоит ничего. Тут только, когда банкомёт обратился лично к нему, он отвечал как бы нехотя, как будто о такой вещи, о которой не стоит столько рассуждать:

— Да, да, если вы уладили, то начинайте! Я уже сказал, что идёт дама!

Банкомёт начал метать. Он метал тихо, осторожно и отчётливо срезывая с проткнувшей талию шпильки каждую карту. Руки его невольно дрожали, хотя, как мы говорили, он держал только сотую долю в банке. Но проиграть до 5000 рублей или до 20 000 драхм на одной карте было для него тяжело, страшно тяжело.

Все смотрели с замиранием сердца; все хотели знать, кто выиграет почти два миллиона драхм. Один Орлов был спокоен и весело болтал с неаполитанкой.

У банкомёта, по мере продолжения талии, руки дрожали более и более.

Судьба судила ему проигрыш. Дама выпала налево.

— Вы выиграли, граф, — вскрикнула ра-

зом сотня голосов следивших за талией с лихорадочным трепетом.

Орлов продолжал какое-то объяснение неаполитанке.

— Вы выиграли, граф, почти два миллиона драхм! — обратились к нему почти все, стоявшие кругом.

— Что?

— Вы выиграли два миллиона драхм, граф! Ваша дама действительно счастлива.

— Я пошутил, господа; тут никакого выигрыша нет! Я в такую большую игру не играю! — отвечал он.

— Позвольте, граф, — ответил один из директоров. — Общественный банк не может принимать и не допускает шутки. Он был вполне обеспечен в рассуждении уплаты с вашей стороны; поэтому он не может отказать от уплаты того, что проиграл вам!

— Э, Боже мой! Говорю вам, что я шутил! Но если вам очень хочется платить, то платите в пользу бедных города Ливорно.

И он любезно пожал руку неаполитанке и, кивнув небрежно головой, медленно вышел из казино.

При такой жизни, при таком размере роскоши графа Орлова, с такими неограниченными средствами, удивительно ли, что он поднял три четверти Архипелага, половину Морей, Черногорию и целые легионы славян.

Война началась, и он потребовал русской эскадры. Требование это в совете императрицы поддерживал настойчиво его брат, Григорий Григорьевич Орлов, любимец императрицы, генерал-фельдцейхмейстер и главнейший член тайной конференции государыни. В то время он был на высоте своего случая. Никто не смел ему возражать, и посылка эскадры была решена. Но мореплаватели Балтийского флота были в то время истинные гореплаватели. В течение всего лета в тот год эскадра адмирала Спиридова успела дойти только до Ревеля. Екатерина сердилась, но делать было нечего. Эскадра осталась в Ревеле зимовать и только на другую весну, отправив старые, негодные корабли назад, вышла в море, но и тут до Средиземного моря она не дошла, а зимовала в Англии и только на третий год, в числе одного корабля, из девяти вышедших из России, двух фрегатов — из пяти, и

трёх-четырёх мелких судов — из шестнадцати, адмирал Спиридов привёл её в Средиземное море.

Но Екатерина была не из тех женщин, которые скоро отказываются от раз усвоенной мысли. Она пригласила на русскую службу английского контр-адмирала Эльфинстона и снарядила вновь шесть кораблей с соответственным количеством меньшего ранга судов. Через несколько месяцев она отправила в подкрепление ещё три корабля.

Французский двор, когда узнал, что в Средиземном море находится уже внушительной силы русская эскадра, только руки развёл.

«Мы не могли бы собрать в короткий срок столь сильной эскадры, — писал д'Егриньон своему морскому министру, — нужно надеяться, что она будет рассеяна бурями Средиземного моря».

Однако ж она не рассеялась. Действия начались. Греки начали составлять когорты и учредили временное правительство. Был взят Наварин, где эскадра могла иметь постоянное пристанище.

Но если не было бурь в море, начались бу-

ри на эскадре. Адмиралы Эльфинстон и Спиридов готовы были резаться за старшинство.

Орлов прекратил эти бури, объявив, на основании данных ему полномочий, что главное заведование эскадрами он принимает на себя, хотя до тех пор он ни разу не был на палубе судна.

«Не черти же калачи пекут, — подумал он. — Коли могла управлять эскадрой такая пустая английская башка, как Эльфинстон, то будто уже не сможет управлять ею русская голова Орлова? А что я не моряк — так мы моряков подберём!»

Никите Юрьевичу Трубецкому начали со всех сторон приходить сведения об успехах движения, поднятого Пугачёвым. Он жёг эти известия, но принимал их с удовольствием.

— Хорошо, хорошо! — говорил он. — Вот и придётся почувствовать, как мы, неспособные-то, выгнанные, умеем действовать и как хваленые-то, способные, умеют только быть битыми да бегать... А вот ещё когда эту, хоть фальшивую, Зацепину спустим, увидим — какой переполох поднимут, какую песню запоют. Сумеют ли тут эти гении, эти Орловы, Па-

нины, эти Волконские с Пассеками, удержать то, что так решительно успели захватить...

Но это чувство удовольствия князя Никиты Юрьевича, происходившее от успешности задуманных им действий, скоро стало нарушаться сообщениями о злодействах, которые производили пугачёвские шайки. Сперва эти действия волновали только его разум. Он, как известно, не отличался нежными чувствами гуманности. Он говорил только:

— Глупо, совсем глупо! К чему тут жестокость? Освобождай крестьян и в то же время милуй и ласкай помещиков. Помещики, дворяне, чиновники тебе помогут всё взять; поэтому не душить тебе их нужно, а миловать...

Или когда он узнавал о всеобщем избииении какой-нибудь крепостцы, то говорил о Пугачёве:

— Дурак! На холопский бунт, что ли, считаешься? Шалишь, любезный! Холопы первыми и выдадут тебя же! С ними ты добьёшься одного — виселицы... И как это не понимают люди, что нужно же кому-нибудь и войском предводительствовать, и порядок устраивать. Что ж, с Чикой, что ли, против ар-

мии пойдёшь или с Твороговым будешь крепости брать и законы писать? Нет, чёрт возьми, нелепый человек вышел! А говорили ещё — голова, подходящий... Кой чёрт подходящий, просто дикий, несообразный!.. Неужели он думает на поляках выехать, да и тех, говорят, не слушает...

«Нельзя, однако ж, не отдать ему справедливости в том, что наездник он лихой, — думал Трубецкой, обсуждая действия Пугачёва, — и умеет двигать массами, пожалуй, не хуже Волконского и Репнина... Ещё — мастер говорить с простонародьем; даже глупые его выходки попадают в такт... Оно всё бы ничего. Ну, пожалуй, и глупости делай, но не нелепости, не бесцельные злодейства! Теперь церкви жечь, попов вешать — это такая нелепость, которая именно только виселицей может отразиться. Нет, Дмитрий моего прадедушки был не таков. Нужно правду сказать, молодец был! Такого не скоро найдёшь и подговоришь! Да что тут эти Антипов, отец Пахомий, Овчинников и другие прочие делают? Неужели только пьянствуют? Неужели не видят, что злодействами своими на виселицу се-

бя ведут; всё дело портят. Кажется, им было достаточно внушено, ясно было сказано. Я говорил, объяснял, велел особо писать: «Дескать, ласкай раскольников, староверов и всяких отщепенцев этих, они твоя первая опора; ласкай и привлекай их к себе, но не касайся ни чьей совести! Пусть молится кто как хочет и кто где хочет, не наше дело в поповские споры входить. Думать нужно о царстве, а не о разбое; а царство даётся только тому, кто всех любит, всем помогает, всем жить даёт. С виселицами же да с разбойничеством и каким бы то ни было насилием далеко не выедешь, высоко не поднимешься». На что вот Бирон? Кажется, виселиц не жалел, да недолго нацарствовал... Но, опять, что же делать? Разбойником был, разбойником как есть и остался! Нет, с ним каши не сваришь!»

И Трубецкой, видимо, волновался. Каждое новое злодейство Пугачёва его бесило. Он видел в нём не только зло, но видел глупость дикую, безусловную глупость отуманенного успехом разбойника.

«Хоть бы эта выдуманная княжна показала! — думал про себя Трубецкой. — И что

она мямлит? Говорили, к султану едет; ну, к султану, так к султану; но нет нигде, будто пропала совсем! Да хороши и иезуиты, поют: «Всё для цели», а как дело пришло, так сами ни с места... Правда, теперь такая напасть на них со всех сторон, что поневоле задумаешься. Разумеется, если бы у меня капиталов было побольше да сам помоложе, я бы несмотря ни на что дело двинул: и ту бы выписал, да и этих перевернул; Петра III нового, подходящего, выискал бы. А теперь...

Да что же это я: говорю о капиталах, а и за был — зацепи некие-то капиталы! Вот с ними можно кое-что сделать. Они сила. С ними можно вот хоть бы эту пьяную, буйствующую, нестройную толпу обратить в образцовую гвардию; инструкторов выписать, хоть из той же Пруссии; оружие через Персию, Каспийским морем, или из Индии через Бухару привезти!..»

«Н-да! — сказал себе князь Никита Юрьевич. — Нужно к делу, к делу!»

И он позвонил.

— Позвать ко мне княжну Катерину Никитичну, — сказал он вошедшему человеку и

стал опять ходить и думать.

«Велю написать настойчиво, — говорил он себе. — Дескать, пора войти в разум! Пьянство прекратить, жестокости оставить, успехом не увлекаться, умных советов знающих людей слушаться, себя держать поумнее да посдержаннее: церквей не зорить, попов не трогать, а помещиков не только не душисть и не вешать, а ласкать, вознаграждение и милость обещать. Иначе, иначе...»

Вдруг среди этого рассуждения его как бы что подёрнуло, так что он приподнял левую руку и левую ногу и весь вздрогнул.

Но через секунду он опять был спокоен, опять рассуждал, заметив только: «Что это нонче меня нет-нет да будто толкнёт что, будто что подёрнет, именно будто Франклиновы опыты с громовой силой делаю. Нужно бы с доктором поговорить; вот Сапиенцо приедет... — И он опять продолжал своё: — Если с капиталами удастся, я тогда заставлю их за настоящее дело приняться. Я заставлю народ жаловать, как я говорил, бородой и волей; а дворянство, чиновничество и всякое это различие привлекать, обнадёживая в своей

милости и жалованье землями и деньгами. Попов тоже по усам мазать их именьями. Тогда другим порядком дело пойдёт. Потом ты выпишу; чего бы ни стоило, выпишу, да и сблизу их, соединю. Она должна узнать своего двоюродного брата, наследника, назначенного тёткой быть ей покровителем; должна обрадоваться. Можно устроить торжественную хорошенькую сценку публичного свидания, взаимных объятий. Ведь Марина Мнишек умела же обрадоваться, когда вместо её мужа привели к ней этого жида, Тушинского вора, второго самозванца. Да и эта, судя по тому, как описывает её Шувалов, за этим не постоит, всякую роль сыграть сумеет».

Вошла княжна Катерина Никитична и остановила свои чёрные глубокие глаза на отце.

— Здравствуй, Китти, — ласково сказал Никита Юрьевич дочери. — Что это я тебя давно не видал? Дня два-три все говорят, тебя дома нет?

— Ах, папа, у Сонечки Апраксиной, что в прошлом году замуж вышла, ребёночек, такой маленький, хорошенький, умер, так

матап меня и отпускала каждый день к ней. Очень плачет, бедная. Мы устраивали всё, и гробик, и цветы заказали, и молитвы читать заставили. По ребёнке Псалтирь не читают.

— Это хорошо, мой друг, что ты в твоей бывшей подруге принимаешь участие. Но, мой друг, нельзя же забывать себя ради участия к подруге. Ты молодая девушка, тебе должно жить жизнью молодости. Твоя подруга потеряла ребёнка... очень жаль, но она тоже молода, муж также молод. Бог даст, у них ещё десять других детей будет. О чём же тут в отчаяние приходить? Кто у Апраксиных был?

— Старуха Лопухина приезжала; были Стрешневы, Голохвастова тоже, цветы привезла; сестра Анна тоже приезжала, только без мужа... Ещё был молодой Плещеев.

— А! Плещеев был, и долго там оставался?

— Всё время, пока я там была.

— Э! Не потому ли я и не видал тебя так долго, не потому ли ты и такое участие принимала в потере подругой ребёнка, что там у нас есть... а? Ну, говори, признавайся! Ты, верно, проболтала всё время с Плещеевым? —

шутливо проговорил Никита Юрьевич дочери.

— Э, папа, разве я виновата, что он является всюду, где я, и старается от меня не отходить ни шагу?

— Я и не виню тебя, мой друг, и скажу, что если бы он тебе нравился, то... Разумеется, не такого бы я тебе жениха желал. Плещеевы — старый знаменитый род московских бояр. Многие из них были в царской думе хорошими и умными советниками, многие были воеводами; но захудали-то они уж очень. У него теперь, я думаю, двухсот дворов крестьян нет. А так как я тебе многого дать не могу — ведь вас у меня с детьми твоей матери всего тринадцать человек, — то и признаюсь, хотел бы тебе жениха побогаче. Но если он тебе нравится... Скажи отцу откровенно: нравится он тебе?

— Нет, папа, не нравится!

— Между тем он молодой человек, хороший и с умом, почтительный молодой человек. И если бы ты хотела за него идти...

— Я, папа, ни за кого не хочу замуж; но если бы вы велели, то мне всё равно, за него

ли, за другого ли...

— Чего ж бы ты хотела?

— Я бы умереть хотела.

— Ну вот какой вздор, в твои годы хотеть умереть. Чисто напускная фантазия. Ты не жила ещё, а хочешь умирать. Ну прилично ли, скажи, думать об этом в твои годы?

— А если вы хотите, папа, я и замуж выйду, за Плещеева ли или за кого вы хотите!

И она так печально и так спокойно смотрела на отца своими чёрными глазами, что Никита Юрьевич не мог не убедиться, что в его дочери нет ничего напускного; что она отвечала ему просто, от истинной души, потому что она так думала.

— Умереть, мой друг, мы всегда успеем, а вот пожить... И если тебе, друг мой, всё равно, то я рекомендовал бы тебе жениха. Неблестящий он с виду, правда, и некрасив, сказать нечего, но зато... Видишь, милая Китти, тебе я уже могу говорить, ты не маленькая, через три месяца тебе шестнадцать лет. Ты — княжна Трубецкая, поэтому не можешь не сочувствовать имени князей Трубецких; а тут речь не просто о Трубецких, а о твоём отце — род-

ном твоём отце. Меня обидели, оскорбили, жестоко оскорбили, унизили, разбили все мои надежды, уничтожили всё, что я думал приготовить для вас, детей моих. Меня с царства, можно сказать, отправили в ссылку, ещё как отправили-то! Даже без манифеста, в котором бы хоть спасибо сказали за сорок с лишком лет службы, когда я в течение этого времени, без малого тридцать лет, занимал первые места в империи.

— Вас оскорбили, папа, вас? — спросила Китти, и глазки её неожиданно сверкнули огнём.

— Да, мой друг, меня! Недостаточно сказать оскорбили — опозорили! Даже почётного часового, как фельдмаршалу, не дали! Могу ли я это простить? Могу ли не желать отплатить врагам моим? Могу ли не желать воротить своё?

— Никакого нет сомнения, папа; кто вас оскорбил — жить не должен...

— Друг мой, те, от кого я должен был перенести оскорбление, недосыгаемы для моей руки. Да и что это за месть — отнять жизнь. Мы все умрём, стало быть, всем отомстит

судьба. Но вот унижить, уничтожить, заставить страдать — вот это месть, действительная месть; вот этой-то мести я и хочу достигнуть. Но у меня связаны руки, у меня нет средств. Не могу же я всех вас разорить для одной идеи о мщении, а других средств у меня нет. Только ты, одна ты, мне их можешь доставить!

— Я, папа! О, в этом отношении располагайте мною! Но каким образом?

— Видишь, моя милая: я стал говорить тебе о женихе. Я сказал, что он неблестящий, некрасивый и уже немолодой, хотя ещё далеко не старик. Ему досталось царское состояние, но он не умеет и приняться за то, как его получить. Если ты согласишься выйти за него замуж, я выхлопочу ему это состояние и тогда положительно сомну, уничтожу врагов моих, ни в каком случае не только не уменьшив богатства твоего и твоего мужа, — я иначе не соглашусь ни тебя выдавать, ни о состоянии хлопотать, если он не переведёт половины всего, что имеет, на твоё имя, но, положительно увеличив его всем тем, что может представиться в выгоднейших оборотах, где

будет своя рука владыка.

— Почему же вы, папа, думаете, что по-
мощию этого состояния вы будете в силах на-
казать врагов ваших?

— Потому, моя милая, что капитал — си-
ла, которая в настоящее время начинает пре-
обладать и перед происхождением, и перед
личностью. Оглянись кругом, думает ли кто-
нибудь о том, кто были у нас с тобой деды и
прадеды. Нет, решительно! И ловкость, и ра-
зум, и звание ценятся, если они богаты; если
нет, если нужно им прибегать к труду, чтобы
не умереть с голоду, то этого никто не хочет и
знать. Ну что же ты мне скажешь на это?

— Я скажу то же, что и сказала, папа: рас-
полагайте мной, хотя я и не хочу замуж. Нет
сомнения, враги ваши должны почувство-
вать, что князя Трубецкого нельзя оскорблять
безнаказанно; и если для этого нужна моя
жизнь, то я, папа, ваша дочь, и, как многие
люди уверяют, любимая дочь, поэтому я
должна быть вас достойна!

— Милая моя, дорогая моя!.. Тогда мы
унизим врагов наших, уложим их вконец, по-
тешимся над ними; можно сказать, сотрём в

пепел, насколько пожелаем мы сами. Обними же меня, мой друг, поцелуй меня! Моя дорогая, моя истинно любимая дочь! — И Никита Юрьевич действительно с горячностью обнял дочь.

— Скажите же, папа, кто этот мой будущий жених, богатство которого может дать вам победу?

— Князь Юрий Васильевич Зацепин, единственный наследник всех князей Зацепиных как в имениях их, так и в капиталах. Через неделю он обещал быть здесь!

IV

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОХОЖДЕНИЯ АЛИ-ЭМЕТЭ

Хотя Али-Эметэ и признавала себя вправе хупрекать отцов иезуитов, заставивших её через отца Флавио д'Аржанто официально заявить свои права и оставивших потом без надлежащей поддержки; хотя она совершенно основательно могла говорить, что жизнь претендентки на русский престол не может

измеряться той же меркой, как жизнь частной женщины, так как ей приходится делать иногда такого рода издержки, о которых она и не подумала бы, если бы не вынуждалась принятым ею на себя положением, — но отцы иезуиты были правы со своей стороны, жалуясь, что, заставив их понести громадные затраты (хотя затраты эти и были сделаны преимущественно за счёт Радзивилла), она пока не сделала со своей стороны ничего. Притом же положение ордена в то время было таково, что им приходилось невольно отклоняться от отдалённых предприятий. Ещё с половины XVIII столетия поднялось на них почти всеобщее гонение. Парижский парламент давно уже постановил их изгнание из Франции. Герцог Шуазель был также против них. Однако они ещё держались во Франции милостью Людовика XV и косвенным влиянием на маркизу Помпадур. Но другие католические государства, находившиеся под властью Бурбонов, не были к ним так снисходительны, как Людовик XV. Король испанский Карл III, вместе с министром своим Арандой, распорядился в одну ночь разом арестовать их во всех

провинциях королевства и вывезти из Испании. Арестовано было до 5000 человек. Имущество, принадлежавшее ордену, было конфисковано. Подобным же образом распорядились с иезуитами в Неаполе и Парме. Маркиз Таннучи, управлявший Неаполитанским королевством на правах регента, настоял, чтобы в Неаполе не осталось ни одного иезуита; так же распорядился и герцог пармский, несмотря на то что папа Климент XIII поддерживал орден всей силой своей папской власти. Наконец, по смерти маркизы Помпадур, Людовик XV тоже вынужден был объявить уничтожение ордена во Франции. По смерти папы Климента XIII к преемнику его, папе Клименту XIV, ходатайства об окончательном уничтожении ордена начали поступать со всех сторон. Кроме помянутых государей дома Бурбонов, о том же просили папу германский император Иосиф II и почти все государи Италии, так что из католических государей не настаивала на уничтожении ордена и не изгоняла иезуитов только одна Мария Терезия, да и та объявила, что в этом отношении она вполне подчиняется решению святого отца

папы.

Ясно, что папе пришлось уступить, и орден был официально закрыт. Такое закрытие неумирающего общества Лойолы скрепило только связи ордена и сделало его могущественнее. Вместе с тем оно очень озаботило иезуитов, заставив приискивать меры к сохранению своих громадных имуществ от секвестра передачей этих имуществ в надёжные руки частных лиц; наконец, необходимостью обеспечения положения своих отдельных членов. Ясно, что заботы о всём этом не могли не отвлечь иезуитов от интриги, которой они не видели не только конца, но даже начала. Тем не менее, узнав, что сочинённая ими принцесса отправилась в Рим, они поручили ехать за нею вслед отцу Антонию и командировали ещё одного испанского, номинально экс-иезуита, в действительности же одного из самых деятельных своих членов, поляка Ганецкого, который долго жил в Испании и Италии и составил там себе обширные связи. Таким образом выходило, что Али-Эметэ с жалобой на иезуитов отправлялась под руководством и покровительством самих же иезуи-

ТОВ.

Но, выезжая из Рагузы, Али-Эметэ, должно быть, ступила левой ногою. Письмо её к Гамильтону, с которым, казалось, она так сумела сойтись, одновременно было в руках Панина и Орлова; а въехав в Вечный Город, она узнала, что папа Климент XIV умер и что собран конклав для избрания нового папы.

Обидно было Али-Эметэ приехать в Рим из-за папы и не видеть не только папы, но даже никого из кардиналов, так как все они были заперты для конклава в Ватикане; между тем у неё, как и всегда, не хватало средств. Что было делать, к кому обратиться?

— Всего лучше обратиться к кардиналу-протектору Польши, ваше высочество, кардиналу Александру Альбани, — отвечал Доманский, успевший уже вместе с Чарномским явиться к Али-Эметэ. — Он всегда принимает в поляках участие. Его же, говорят, и в папы выберут.

— Прекрасно; но каким образом?

— Нужно узнать, где он помещается, пробраться к его окну и ожидать, пока он выйдет спросить, что нужно; а уж потом будет

зависеть от него.

— Ступай, Доманский, отнеси ему моё письмо. Я хочу видеться с ним непременно.

Но Доманский воротился с помятыми боками и не передал письма.

Стража приняла его за одного из тех проходимцев, которые, под предлогом свидания, бродят по двору и садам Ватикана для испрашивания подаяния и разных милостей, смущая душу запертых кардиналов разными вещами и слухами.

Али-Эметэ признала, что дело было сделано с недостаточной ловкостью, и хотела отправиться сама.

— Но женщины не допускаются вовсе на двор Ватикана в это время, — заметила ей Мешедэ.

— Я надену мужское платье.

— Это невозможно! — сказал патер Иосиф (Ганецкий). — Дайте мне письмо, я попробую.

Не скоро удалось передать письмо и Ганецкому. Несколько дней ходил он стоять под окном кардинала, купив прежде у кого следовало секрет, где это окно. Однако ж удалось, и

письмо было передано.

Кардинал отвечал, что видеться ему невозможно, но что у него есть поверенный, аббат Рокотани, и княжна обо всём может переговорить с ним.

Аббат Рокотани был обворожён княжной. А тут ещё явился патер Лодий — приятель Ганецкого, служивший прежде офицером в русской гвардии. Он уверял аббата Рокотани, что знает княжну; много раз видел её в Зимнем дворце; услышал, что её хотели выдать замуж за принца гольштейнского; но что будто после переворота, за которым следовало вступление на престол Екатерины, она уехала в Пруссию.

Вследствие этих уверений Рокотани стал преданнейшим прозелитом Али-Эметэ. Он являл всем об её высоком происхождении и принял от неё для передачи кардиналу Альбани письма.

В письме своём Али-Эметэ коснулась двух, особо интересных для кардинала предметов. Первое — дел Польши, о которых говорила с видимым знанием настоящего их положения. Она обещала, если Бог приведёт её владеть

престолом своих предков, восстановить Польшу во всех её правах и преимуществах. Второе — о католической религии, которую она обязывалась поддерживать и распространять в своём народе. Она высказала даже готовность сама принять католичество, но с тем чтобы это было совершенной тайной, ибо, — объясняла она, — принятие ею католичества в настоящем было бы равносильно отрицанию всех её прав. Кардинал отвечал коротко: «Да благословит Бог ваши добрые намерения!» Но этот лаконичный ответ сопровождался поручением аббату Рокотани содействовать, в чём можно, великой княжне Елизавете Всероссийской. Такое поручение быстро помогло Ганецкому пополнить несколько пустую кассу княжны, только ненадолго. Она вновь открыла роскошный салон в Риме, и деньги уплывали из её рук как вода, хотя она и открыла новый источник получения себе доходов, продавая обещание на награду, по получении престола, русскими орденами.

— Но ведь сила капитала и заключается в том, что его можно издерживать, — отвечала она на упрёк Ганецкого в её безумном мотов-

стве.

— Всякая сила, однако ж, истощается! — отвечал Ганецкий и был прав. Она скоро очутилась опять в нужде, и нужде крайней. Обещаний её никто более не покупал; даже аббат Рокотани перестал приходить.

От кардинала Альбани, разумеется, нельзя было вновь ожидать помощи. Кардиналы не любят давать; они предпочитают лучше, чтобы к ним приносили, а они окажут нравственную поддержку. Ей пришлось снова заниматься по мелочи, прибегать к ростовщикам, расставаясь со своими бриллиантами и не зная, что будет впереди.

В одну из таких минут, когда к ней со всех сторон приступали «за деньгами» и она терялась от невозможности даже придумать что-нибудь, что бы такое сказать на эти общие требования, ей докладывают:

— Банкир Джекинс просит позволения представиться вашему высочеству!

— Джекинс! Что ему нужно? Ну, пусть! Скажите камергеру Чарномскому, чтобы он мне его представил.

Чарномский через несколько минут ввёл

низенького старичка в чёрном шёлковом кафтане, с небольшими золотыми петличками, в коричневых панталонах, чулках и башмаках с бриллиантовыми пряжками, — старичка худощавого, сторбленного, седенького и хромавшего, поэтому шедшего с тростью, в набалдашник которой вставлен был редкий по своей величине изумруд.

— Чем могу быть полезной? — спросила Али-Эметэ, раскидываясь на кресле и приветливо кивая головкой Джекинсу, после того как он был представлен ей Чарномским.

— Ваше высочество, мне сказали, что вы изволите искать денег, желаете занять 7 тысяч червонцев. Я, с своей стороны, позволил себе явиться и доложить вашему высочеству, что наш банк, могу сказать — первый в Риме по своей солидности и осторожности, предлагает вам открыть свой кредит до какой угодно суммы. Семь тысяч или семьдесят тысяч червонных для нас безразлично. И если вашему высочеству угодно, касса нашего банка всегда к вашим услугам.

Али-Эметэ посмотрела на него с изумлением.

— Откуда вы взяли, что мне нужны деньги? — спросила она дрожавшим, нерешительным голосом; уж слишком они ей были нужны. — Почему вы полагаете, что я возьму у вас деньги? — продолжала она, колеблясь и как бы теряясь. — И на каком основании вы думаете, что если я у вас возьму, то возврат их в вашу кассу несомненен? Я так ещё недавно в Риме, и, признаюсь, меня весьма удивляет... Я вам очень благодарна, но желала бы знать... Видите, мне деньги вовсе не нужны; но...

Джекинс улыбнулся. Он знал, что сегодня только у его бухгалтера заняли 80 червонных от её имени, под залог бриллиантовой цепочки, и заняли по 3 процента в месяц, с платежом процентов ежемесячно.

— Я ниоткуда не взял; мне граф Ланьяско сказал, что вы желали бы занять. Я и подумал: «Такая прекрасная принцесса, платёж такой верный; да я из 7 процентов годовых с моим великим удовольствием; особенно при таких надеждах и таком поручительстве...» Вы простите меня, ваше высочество, что я позволяю себе так говорить; но я банкир, тор-

говец деньгами, и должен искать сбыт своему товару. Видя, что я могу у вас иметь верный и обеспеченный сбыт, я себе позволил... Ещё раз простите, что позволил беспокоить. Но вы изволите быть здесь чужестранкой, может быть, если не теперь, после будет нужно. Я позволю себе только заявить, что наш банк всегда к услугам вашего высочества...

— Кто же заверил вас в моей несомненности: лорд Гамильтон, лорд Монтегю, князь Радзивилл, кардинал Альбани, княгиня Сангушко или, может быть, принц лимбургский.

— Столь высокие особы, без всякого сомнения, каждый своим заверением, даже словесным только, представили бы полное обеспечение в несомненности. Но, признаюсь, я имею ещё более твёрдое ручательство на всякую сумму, какую бы вашей чести угодно было потребовать из банка. Все поименованные вами господа могли бы быть ручателями за настоящее, за то положение, в котором ваше высочество изволите находиться теперь; а мой ручатель представляет полную и несомненную гарантию и за будущее, за осуществление ваших надежд, за великую судьбу, ко-

торая вас ожидает...

— Вот хорошо, — проговорила Али-Эметэ с невыразимой грациею, способной расшевелить даже сухое, чёрствое сердце старого банкира. — Кто же это такой добрый прорицатель моего будущего? — спросила она как бы шутливо, но с видимым желанием увлечь банкира своей любезностью. — Садитесь, м-г Джекинс! Во всяком случае, я очень благодарна вам. Кто же этот прорицатель моей будущей судьбы?

— Русский пресветлейший и знаменитейший адмирал-фельдмаршал, граф Орлов-Чесменский!

Только что Джекинс проговорил эти слова, как заметил, что Али-Эметэ разом побледнела. Потому ли, что она никак не ожидала услышать это имя, о котором, со времени своего письма к нему, она много думала; или просто по какому-то предчувствию, что в эту минуту решается её судьба, — только она почувствовала, что сердце её как-то необыкновенно забилося, кровь будто разом отхлынула... Нужно было, чтобы прошло несколько минут прежде, чем она была в силах отве-

чать.

— Это знаменитый вельможа по своему богатству, влиянию, щедрости и отваге, — продолжал Джекинс, восторгаясь при одном воспоминании имени Орлова. — Его именем теперь полна вся Италия. Его слово дороже миллионов. Он, кажется, может одним своим именем сдвинуть горы. Нынешняя императрица русская, говорят, ему только и обязана своим престолом. И неудивительно: он может всё!

Али-Эметэ молчала. Она вспомнила, как мечтала о нём, когда посылала свой манифестик и сочиняла письмо; как она старалась коснуться всех его чувств. Он не отвечал, не обратил внимания на её письмо. Почему? Потому ли, что он видел, что в основании всего лежала ложь; или потому, что честолюбие его было уже удовлетворено и он не хотел рисковать собой для получения чего-либо большего? И теперь, вдруг... Что бы это значило?

Но в хаосе этих мыслей она сочла нужным отвечать холодно и будто сквозь зубы:

— Я его не знаю! Когда моя матушка царствовала, графов Орловых тогда не было во-

все, и я никогда не видала их при дворе...

— Может быть, ваше высочество; но невероятно, чтобы он-то не знал вас, по вашему высокому происхождению. Может быть, даже он и не видал вас, так как вы были в то время ещё очень молоды; но всё же он слышал, в особенности когда стал на ступень, на которой ему не могли быть неизвестны все истории русского двора. Он, разумеется, не мог не интересоваться вашей судьбой, не мог быть не тронут вашими несчастиями. А его участие — это сила, ваше высочество, это судьба! Вот он нарочно выписал меня в Пизу и говорит: «Джекинс, у вас там в Риме живёт под именем графини Пинненберг наша княжна. Узнай, что ей нужно. И всё, что бы она ни потребовала, сейчас же удовлетвори, на мой страх! Слышишь? Ведь ты мне веришь?» — «Ваше сиятельство, — отвечал я, — весь мой дом, всё до копейки, душу мою и ту, кажется, по слову вашего сиятельства отдам!» — «Ну так я прошу: помни, чего бы она ни захотела. Это обязанность, долг чести каждого русского. Мы обязаны помогать ей в чём можно, поэтому вот тебе вперёд кредиты на Венецию, Ам-

стердам и Гамбург; вот чтобы всё, что она ни захочет!»

Али-Эметэ задумалась. Уж очень ей были нужны деньги. Но она всё же отказалась.

— Нет, — сказала она, — мне теперь деньги не нужны, и я ничего не могу взять за счёт и страх господина Орлова.

— Прошу ещё раз прощения, что смел беспокоить, — проговорил Джекинс, видимо недовольный. — Но позвольте надеяться, что когда будет нужно, то вот адрес. Впрочем, банкира Джекинса здесь знают все!

И Джекинс откланялся.

Дня через два после того как был Джекинс, когда Али-Эметэ была чрезвычайно расстроена, потому что денег не могла достать нигде, а являлась уже полиция с требованием некоторых уплат, вечером Мешедэ, при помощи горничной, помогая Али-Эметэ раздеваться, выслав зачем-то горничную, сказала:

— Извините меня, ваше высочество, позволю себе доложить: здесь происходит что-то странное. Около нашего дома постоянно расхаживает какой-то молодой человек и, кто бы из дома ни вышел, непременно расспрашива-

ет о вашей особе.

— Какой молодой человек?

— Так, лет двадцати трёх или двадцати четырёх, прилично одетый и с маленьким золотым якорьком на фуражке.

— Это значит — моряк?

— Не умею сказать, ваше высочество. Одет он в обыкновенный французский кафтан, светло-коричневого цвета, с красным подбоем, в перчатках и с тросточкой.

— Ах, Боже мой! Не соглядатай ли, не петербургский ли агент?

— Ничего не могу сказать. Он и ко мне подходил с вопросом, но я не отвечала, не разговаривала с ним. А вот пан Чарномский с ним говорил долго, да и другие. Я спросила у них из любопытства; говорят, осведомляется очень почтительно и вежливо, но будто всё знать хочет: и когда встаёте, и что кушаете утром, рано ли выезжаете, и сколько платите за карету — о всём, о всём спрашивает.

— Право, это меня страшно беспокоит, не агент ли? Ведь я им теперь как спица в глазу. Они, я думаю, Бог знает что бы дали, чтобы меня на свете не было. Покажи мне его ко-

гда-нибудь.

Говоря это, Али-Эметэ переделалась и вышла в гостиную. Там её ждал аббат Рокотами.

— Мой милейший аббат, вас привела сегодня ко мне сама судьба. Я страшно смущена. Во-первых, ваша полиция настолько неделикатна, что меня просто мучит. Будто я сама не знаю, что нужно заплатить; а тут вдруг капитан от жандармов... и будто какая неоплатимая сумма 200 червонцев, но он до того пристал ко мне, что я не знала, что и делать. Напрасно и представляла все резоны — знать ничего не хочет! Я хочу попросить вас оказать мне услугу, просить кардинала одолжить мне хоть одну тысячу червонцев, до получения денег из Персии или от арендаторов моих оберштейнских агатовых копей.

— В этом отношении, ваше высочество, я оказываюсь весьма слабым исполнителем ваших желаний. Кардинал, извольте помнить, сделал, что мог; а теперь, сколько мне известно положение дел — а его дела все у меня, — он, по случаю затяжки конклава, и сам не при деньгах.

— Но ведь сумма в тысячу червонных так

ничтожна, и я думала... Но, разумеется, если это для кардинала затруднительно, не будем о том и говорить. Но вот второе: около моего дома ходит какой-то соглядатай, молодой человек, расспрашивает всех обо мне...

— Только один, ваше высочество! Это удивительно! Я полагаю, что для вашего высочества целый Рим готов обратиться в соглядатаев. Римляне издревле отличались поклонением красоте.

— Вы шутите, а я беспокоюсь! Не агент ли это из Петербурга, не злоумышленник ли какой? Я хотела просить, чтобы вы сказали кардиналу...

— Полноте, государыня, не грешно ли вам будет в такого рода историю вмешивать кардинала? Ну, молодой человек взглянул и воспылал без памяти, смотрит на луну, на ваш дом, вздыхает, что же такое? Походит и перестанет.

В это время вошла Мешедэ и сказала:

— Вот взгляните, государыня, он стоит прямо против окна.

— Я хочу его видеть. Скажите, Мешедэ, Доманскому, чтобы он подошёл к молодому

человеку и сказал ему, что завтра, ровно в два часа, я назначаю ему аудиенцию. Меня это интересует.

Аббат Рокотани откланялся.

После того как шаги его смолкли в мраморной галерее занимаемого Али-Эметэ дворца, она, с не совсем обыкновенной живостью, обратилась к Мешедде.

— Послушай, Мешедде, — сказала она, — могу ли я рассчитывать вполне на твою ко мне преданность?

— Всемиловитейшая государыня, — отвечала скромно, но с достоинством ловкая полька, — я льстила себя надеждой, что в моей беспредельной преданности вы изволите быть уверенной.

— Да, конечно, те, которые меня знают, не сомневаются, что я не останусь неблагодарной за их услуги, если только буду в силах сама. Я обещала тебя сделать своею фрейлиной, подтвердить твою частицу «фон», грамоту на которую не умел сохранить твой отец, — если только мои обстоятельства сколько-нибудь мне это позволяют. Повторяю тебе это обещание. Скажу более, я позабочусь

о тебе! Подумаю о том, что нужно сделать для того, чтобы ты могла оставаться при мне и статс-дамой, если мне удастся возвратить себе то, что у меня отняли. Я умею быть благодарной не менее Екатерины, которая оставляет же при себе и сохраняет в своей милости и доверенности эту кузину Шенка, мадам Белькю, несмотря на всё неприличие фамилии, которую она приняла по мужу. Стало быть, участь наша общая, моя Мешедэ; мы с тобой связаны неразрывно. Удастся мне — поднимешься и ты, не удастся... Что же делать! По крайней мере, теперь мы должны помогать одна другой всеми средствами; себя не жалеть для помощи другой. Вот теперь пришла минута, когда мне твоя помощь крайне нужна; я к тебе и обращаюсь.

— Ваше высочество, я не смею заверять вас, но готова поклясться всем, что есть святого, что в куски позволю себя изрубить, жилы вытянуть, если... В чём дело? Вы только скажите, ваше величество, в чём дело? Вы увидите, что я последней капли крови не пожалею, чтобы...

— Тут не нужно так много, милая Меше-

де; нужны только скромность, маленькая ловкость и... и... и... ну и небольшое кокетство. Последними двумя качествами мы, как женщины, кажется, обладаем вполне. Остаётся скромность. Могу ли я положиться на твою скромность?

— О, ваше высочество, всемилостивейшая княжна, неужели вы изволите сомневаться после стольких опытов моего усердия?

— Нет, нет, милая Мешедe, я не сомневаюсь; но тут дело слишком важное, и, должна тебя предупредить, дело, требующее чрезвычайной осторожности и сопряжённое с некоторой опасностью. Поэтому я, прежде чем скажу, что думаю, спрашиваю: готова ли ты поклясться, что ни в каком случае, никому, ни другу, ни любовнику, ни даже на исповеди, не скажешь, не выдашь того, в чём будешь мне помогать?

— Вот образ, ваше высочество. Пусть Матерь Божия будет ко мне немилостива; пусть я куска хлеба не проглочу; живую пусть похоронят, если я хоть слово...

— И будешь мне помогать?

— Чем только в силах, всемилостивей-

шая государыня, что только могу, перед Богом
клянусь!

— Я тебе верю, Мешедe, не клянись! Ви-
дишь, я хочу во что бы то ни стало видеть
кардинала Альбани.

— Кардинала Альбани? Да ведь он за-
перт, ваше высочество, в Ватикане заперт.
Женщин туда не пускают ни в каком случае;
а если бы кто и пропустил женщину, то не
только тот, кто пропустил, не только женщи-
на, которая пришла, но все те, которые её ви-
дели, с нею говорили и ту же минуту не до-
несли, подлежат немедленно смертной казни
там же, в одной из ватиканских тюрем.

— Я это знаю и всё же хочу его видеть. Те-
бя, впрочем, я не подвергаю никакой опасно-
сти. Я прошу тебя только пококетничать пол-
часа с часовым папской гвардии, стоящим у
тайной западной калиточки ватиканских са-
дов. Часовой этот — я уже заметила — стано-
вится всегда после заката солнца и стоит до
полуночи; человек он молодой, красивый, те-
бе будет не скучно с ним. Он тосканский или
миланский граф, очень любезный. Я с ним го-
ворила и обещала, что приду сегодня вечером

развлечь его скуку на часах. Он был очень доволен. Я хочу, чтобы в моём платье, под маской и покрывалом, ты пошла к нему вместо меня и заняла бы его на те полчаса, в которые я прокрадусь через эту калиточку и проберусь к кардиналу.

— Всемиловитейшая государыня, а вы?., вы? Ну что, если вас увидят и узнают?

— Во-первых, если и увидят, то ничего; я буду в мужском платье, а кто же может меня узнать, да ещё и ночью? В ватиканских садах всегда, особенно во время конклава, шатается столько сволочи, что никто и не подумает ничего; примут меня за прислужника при каком-нибудь из кардиналов, запертого в Ватикане вместе с ним. Во-вторых, поверь, святые отцы Ватикана те же люди, и хотя они принимают присягу не иметь во время конклава сношений с внешним от Ватикана миром, но все до одного отступают от этого правила. Тайная калиточка, говорят, для того только и устроена, и охраняется только ночью. Никакого нет сомнения, что в сообщениях своих кардиналы имеют иногда и более нежные сношения, чем политика; поэтому, по всей ве-

роятности, они сами приняли все предосторожности, чтобы эти сношения не могли их компрометировать. К тому же волков бояться, говорят русские, в лес не ходить. Я сделаю всё, что можно, чтобы всё это было покрыто тайной, и тебя-то уж не подведу ни в коем случае.

— Что ж тут я, государыня? Я последнее дело. Я хорошо понимаю, что не подвергаю себя ни малейшей опасности. Ну, пришла на свидание с молодым человеком, может быть, моим любовником, и только. Ведь часовым папской гвардии ни у ворот, ни у калиточки, ни даже у самых дверей священной коллегии не запрещается разговаривать с проходящими. Но вашему высочеству идти в мужском платье к неизвестному человеку, под опасностью смертной казни... Государыня, простите, что осмеливаюсь убеждать...

— Нет, нет, не говори, Мешедэ! Чему должно быть, то будет, и я не должна отступить перед судьбой. Не скрою от тебя, моё настоящее положение ужасно. Не получая ни пенсии и никаких известий от дяди из Персии, ни доходов от копей Оберштейна, ни, на-

конец, помощи от моих единомышленников, подвергаясь даже преследованию в нежностях со стороны князя Радзивилла, — я просто теряюсь, путаюсь, сама не знаю, что делать! Я приехала в Рим, чтобы видеть папу, но — несчастье — папы нет! Ни с кем из кардиналов нельзя видеться. Между тем мне нужно 2 тысячи червонных, ну хоть тысячу. Без этой тысячи я погибла. Что значит тысяча червонных против того, что я могу владеть империей, дающей до 15 000 000 червонных дохода? Ничтожество, капля воды в океане! Между тем у меня нет этой капли, и из-за того все мои надежды могут уничтожиться и я сама сгину как былинка. Выручить меня из этого положения может только кардинал Альбани. Он поймёт, что из-за тысячи червонных рисковать мировыми интересами и смешно, и грешно. Я говорила об этом Рокота ни, но он — он слишком мелок, слишком ничтожен; его идеи слишком погружены в меркантильные расчёты, чтобы представить себе важность... Ясно, что нужно идти самой, чтобы убедить, чтобы пояснить... И я решилась... Не возражай, не возражай, а лучше распорядись

достать мне мужское платье, и если не хочешь меня сопровождать, то...

— Всемиловитейшая государыня, я с вами и за вами всюду, хоть на смерть!..

— Ну идём же снаряжаться!..

* * *

Через несколько часов по тёмным улицам Рима пробирались две личности: одна — знатная дама в темно-пунцовом бархатном платье с шитым золотом корсажем, в маске и под покрывалом, падающим из-под шляпы, с кокарды которой до самых плеч падали длинные страусовые перья, прикрепленные к ней бриллиантовым аграфом. Другая — молодой оруженосец, или паж, в тёмной испанской мантилье и белом атласном, шитом золотом камзоле, тёмных шёлковых панталонах, одетых по-римски, коричневых чулках, башмаках, с тонкой шпагой у бедра и кинжалом за широким лакированным поясом. Первая личность была Мешедде, вторая — Али-Эметэ.

Они подошли к стене Ватикана и дошли до западной калитки. Дама шла впереди, оруже-

носец, или паж, за ней.

За железной решетчатой калиткой в саду стоял на часах молодой сержант папской гвардии, с мушкетеном у ноги и шпагой наголо. От скуки он смотрел сквозь решётку калитки на улицу и насвистывал не то марш, не то духовную кантату.

Дама подошла к самой решётке.

— Рыцарь, кажется, потерял надежду видеть ту, о которой он думает! — сказала она, останавливаясь и опираясь на китайский зонтик, который держала в руках и который в то время считался в числе драгоценностей.

— Рыцарь смотрел на небесную звёздочку и, обращаясь к ней, молился, чтобы надежда его не обманула, — отвечал часовой.

— Ну вот, молитва рыцаря и услышана; доволен ли он? И если доволен, то не захочет ли приветствовать ту, которая умела победить свои сомнения и страхи и пробраться сюда, чтобы прогнать от него несносную гостью — скуку?.. Можешь идти и ждать меня у восточного павильона, — сказала она, обращаясь к своему проводнику.

Она сказала это громко, так что папский

Гвардеец не мог не слышать.

Проводник, казалось, исчез в темноте.

— Итак, рыцарь не хочет приветствовать явившуюся к нему даму? — повторила Мешедде.

— Рыцарь у её ног! — отвечал гвардеец.

С этими словами калитка распахнулась, и часовой, упав на колени, стал целовать руки Мешедде.

Али-Эметэ незаметно проскользнула в это время в калитку. Гвардейцу было не до охраны.

Войдя в сад, она вспомнила, как ей говорили Ганецкий и Доманский, что перед окнами кардиналов раскинут лабиринт и что секрет этого лабиринта заключается в том, чтобы на всяком раздвоении пути держаться правой стороны; что среди извилин лабиринта есть киоски, беседки, гроты, которые служат святым отцам не только для отдохновения, но и для развлечения.

Идя вдоль аллеи из померанцев и придерживаясь правой стороны, Али-Эметэ наткнулась на человека, который прятался около колонн одного из портиков, поддерживавших

какое-то фантастическое здание, предназначенное, вероятно, скорее для увеселения, чем для отдохновения.

Али-Эметэ немножко струсил, но, видя, что прятавшийся человек тоже как бы трусит, оправилась.

— Ты кто? — спросила она.

— Тс! тс! — отвечал прятавшийся человек. — Сию минуту покажется отец Корочини, экзекутор священной коллегии; если он увидит нас, то насидимся в здешних подвалах; да хорошо, если немецкими шпицрутенами отделаешься, а пожалуй, и в инквизиционные допросы попадешь!

Услышав такую новость, Али-Эметэ бросилась тоже за колонны.

— Ты от кого? — спросил тот.

— А ты? — отвечала Али-Эметэ вопросом.

— Я от германского императора Иосифа II к кардиналу Петронелли с письмом.

— А я сам от себя.

— К кому же?

— К кардиналу Альбани!

— У! строгий! Второе окно от главного перистила.

— А твоё которое?

— Моё четвертое.

Оба замолчали.

— Что ж ты, с просьбой, что ли? — спросил посланный от германского императора.

— Не то что с просьбой, а нужно кое-что ему передать!

— Это ещё ничего; а если просьба, то брось! Тс! тс! Идут! Прячься!

Незнакомец схватил Али-Эметэ за талию и увлёк вместе с собой в нишу за колонной.

В это время по саду шёл дозором отец экзекутор, с двумя помощниками, караульным офицером, двумя ефрейторами и несколькими рядовыми.

Впереди них трое папских служителей несли фонари в виде факелов на древках, подобные употребляемым в церковных церемониях.

— Молчи! — говорил незнакомец, охватывая Али-Эметэ и стараясь не попасть в светлый круг освещённого пути. — Иначе сейчас схватят.

Али-Эметэ замерла поневоле.

Отец экзекутор с своей свитой прошёл ми-

мо, не заметив спрятавшихся.

— Ну, слава Богу! Теперь целый час сад свободен от дозора. Пойдём вместе. В лабиринте мне дорога знакома, и я выведу тебя прямо к окну кардинала Альбани.

Али-Эметэ с благодарностью приняла предложение. Они пошли вместе.

— Тяжёлое дело — доставка писем в конклав. Разумеется, платят хорошо, а попадешься, уж никто выручать не станет. Так прямо и говорят: если попадешься, то отвечай Своей кожей!

Заметив в своём спутнике страсть к рассказам и краснобайству, Али-Эметэ решила этим воспользоваться и кое о чём его порасспросить.

— А что, разве кардиналам-то и писать запрещают?

— Да как же не воспрещать. Они должны выбирать нового папу, должны руководиться в этом внушением Божиим, не давая места ничему человеческому, не склоняясь ни перед кем и не изменяя себе ни для чего. А какое тут внушение Божие, когда вот я от германского императора восьмое письмо несу, а

французский Людовик, хоть самого-то его в Риме и нет, но через своих двух послов чуть не весь конклав в руках держит.

— Из-за чего же они бьются, что нарочных послов посылают и на посылки тратятся?

— Как из-за чего! Один хочет своего кандидата в папы провести, другой своего. Всякий вперёд уговаривается, что коли кто при его помощи папой будет, то чтобы под его дудку плясал. Вот и шлют, и подкупают. Какие деньги кардиналам перепадают — страсть! Благодаря Богу, из этих денег и на нашу долю бедняков кое-что прилипает. Вот хоть бы я, сегодня больше двухсот драхм заработал, а за что? За один риск! Труд-то не велик в известное потаённое место — у каждого кардинала такое есть — письмо положить... Да ты, видно, новичок в нашем деле — деле ворон в ватиканских садах, как выдумали называть нас. Знаешь ли ты хоть знак-то своего кардинала, к которому идёшь?

— Какой знак?

— Эге, брат, ты и этого не знаешь! Да как же ты вызовешь своего кардинала, как дашь ему знать, что ты тут и его видеть хочешь? Ес-

ли думаешь, что вот подойдёшь и будешь стоять, пока Божиим напущением кардинал не взглянет в окно, тебя не увидит и не вздумает о тебе спросить, тогда, брат, и с голоду поmrёшь, и в подвалы попадёшь. Нужно или знак знать, как кардинала вызвать, или человека такого иметь... Вот если бы у тебя с собой была хоть парочка венецианских цехинов да ты обещал бы меня завтра угостить, то я бы помог тебе, указал человека, который разом бы твоё дело обладил...

— Кому же цехины-то пойдут?

— Один мне, а другой тому, кто дело ладить станет. Ведь даром здесь ничего не делается.

— Ну, парочка-то цехинов, пожалуй, и найдётся.

— Тогда мы дело живо поведём. Только советую приложить и третий цехин для благодарности, потому что свой цехин я возьму себе, другой дадим вперёд, чтобы дело ладил, а когда обладит и тебя лицом к лицу с твоим кардиналом поставит, нельзя же не поблагодарить...

— Ну, третьего-то цехина у меня, кажет-

ся, нет!

— Жаль, жаль, потому что одним тогда придётся рисковать. Когда скажешь: что вот, мол, как дело сделаешь, то другой получишь, тогда ясно, усердие-то подогреешь... Да вот, впрочем, у тебя цепочка; я, пожалуй, вместо своего цехина, цепочку возьму!

— И кардинала вызовешь?

— Не я, а тот, к кому я тебя подведу и кому ты отдашь цехин из рук в руки... Да вот и он, доставай цехин.

В это время навстречу им шёл один из прислужников папской капеллы.

Незнакомый спутник Али-Эметэ прямо подошёл к нему и сказал, что вот его товарищ желает видеть кардинала Альбани и за услугу кланяется вперёд цехином, а другим цехином поклонится, когда кардинала увидит.

Прислужник не любопытствовал спросить, кто и зачем; он осмотрел только внимательно подаваемый ему цехин.

— Через полчаса вы увидите кардинала! — сказал он.

— Ну, брат, как хочешь, давай цепочку! — сказал путник Али-Эметэ, как только

прислужник отошёл, схватив её за руку и, видимо, боясь, чтобы Али-Эметэ от него не скрылась.

Али-Эметэ, не говоря ни слова, сняла цепочку и отдала ему.

— Вот честно, так честно, и сказать против этого нечего. Ну, благодарю! Постараюсь и опять услужить; признаюсь, люблю честных людей...

Али-Эметэ, которая, когда он держал её за руку, вся дрожала, думая с ужасом, что вдруг он её узнает, тут успокоилась. Видимо, что спутник её и не подозревал, что говорит с женщиной.

Через четверть часа прислужник вышел.

— Идите за мной, — сказал он Али-Эметэ. — Скоро преосвященнейший отец пойдёт на ночное бдение в капеллу. Я проведу вас туда, и вы можете к нему подойти, он предупреждён. Я своё дело, сделал, надеюсь на благодарность...

Конечно, благодарность не замедлила.

Впрочем, и было за что. Кардинал Альбани, отец протектор Польши и Белоруссии, был один из самых строгих кардиналов, наи-

более подчиняющих себя правилам конклава. Поэтому добиться от него свидания в то время, как он принимал присягу не видеться ни с кем из не принадлежащих к составу конклава, было дело трудное. Прислужник, желая получить другой обещанный цехин, должен был пуститься на выдумки. Он сказал, что явился неизвестный посол с весьма важными вестями из Польши, но что ни о себе, ни о делах своих он не может ничего сказать никому, кроме как его святейшеству. Кардинала начало мучить любопытство, что бы это было такое?

Он знал, что в Польше смута; что часть Польши занята русскими; что там составляются конфедерации, контр-конфедерации, сеймы; что король колеблется между одним и другим. В такую минуту важные вести могут быть действительно важные вести.

«От кого этот посол, — спрашивал себя кардинал, — от короля, князя Радзивилла, конфедератов, может быть, от нунция?» Эти вопросы его мучили, и он, отступая от своего обычновения, велел привести посла в капеллу.

Там Али-Эметэ увидела человека лет за

пятьдесят, в красной сутане, с бриллиантовым крестом на груди, привешенным к золотой цепочке, сделанной в виде складня из гравированных по золоту ликов святых апостолов.

Он сидел перед одним из боковых алтарей и молча перебирал чётки из бурмицких зёрен. Издали он показался ей очень похожим на князя лимбургского, и она подумала, что он должен обладать той же мягкостью характера.

Это сближение, может быть совершенно фантастическое, придало ей бодрости. Ей почему-то представилось, что если она могла с первого же раза поразить князя, то почему же не может поразить и кардинала. Под влиянием этой мысли она смело подошла к нему.

Между тем Мешедэ любезничала с каральным гвардейцем у западной калитки.

Зная Али-Эметэ хорошо, изучив её манеры, тон голоса, обыкновенные движения, она играла свою роль весьма удачно, что, впрочем, под маской было и не особенно трудно, так как гвардеец видел Али-Эметэ не более как два раза.

Но вот она любезничает с ним четверть часа, полчаса, час, два часа. Али-Эметэ всё нет. Она переговорила всё, что можно было сказать при таких случаях, а её всё нет. Наконец, Мешедэ заметила, что не только скучает она, но становится скучно и ему.

Может быть, они оба не скучали, если бы находились сколько-нибудь в других условиях. А то ему нельзя было отойти от решётки и выпустить из рук мушкетона; а ей нужно было стоять на улице, опираясь на свой зонтик, и выслушивать замечания проходящих, которые, несмотря на тёмную ночь, идя с фонарями, не могли не заметить, что папский часовой амурится с хорошенькой женщиной.

Но условия были именно таковы, каковы они были. Далее поцелуя их обоюдные нежности идти не могли, преимущественно же должны были ограничиваться рукопожатиями и обещаниями на другой день встретиться под колоннадой святого Петра.

«Скоро, — думала Мешедэ, — он сменится, будет, естественно, просить к себе, что я сделаю?»

Остаться здесь невозможно, наведёшь по-

дозрение. Первый он же спросит, что это значит, что вся моя любезность касается только часового, тот ли, другой на часах... Ехать с ним? Оно бы, пожалуй, можно. Отчего же не развлечься. Я не имею претензии на монашеский образ жизни, да и моя княжна тоже далеко не монахиня. Но если я уеду, кто же пождёт и проводит княжну?..

Ни то, ни другое не годится ни в коем случае; что же делать?

Вот что: сердись не сердись, княжна, а мне больше делать нечего, устала, мочи нет. Найму носилки, распроцусь с ним. Покажу себя страстно влюблённой в него, страстно желающей; обещаю на завтра всё, что ему угодно, — от меня будет зависеть исполнить обещание или нет, — и велю себя унести. А как приеду домой, вытребую сию же минуту Чарномского. Пусть он распорядится поставить экипаж у северного павильона, а сам один или, ещё лучше, вдвоём-втроём становятся на дежурство сюда, чтобы поддержать княжну, если ей удастся вырваться из сада. Чарномскому не грех и побеспокоиться; недаром она чуть не каждую неделю любит принимать от него до-

клад поздним вечером... Я бы подождала, как ни устала; да при смене часового я поставлена буду в самое глупое положение».

Подумано — сделано, и около полуночи княжну ожидал уже Чарномский с двумя здоровыми гайдуками и одним конюхом. Все были вооружены с головы до ног.

Экипаж княжны ожидал её у северного павильона.

Али-Эметэ в это время подошла к кардиналу.

— Святой отец благословит пришедшего? — сказала она, припадая перед ним на колени и склоняя голову.

Кардинал проговорил обычное благословение.

— Вы посол? От кого? И какие вести привезли вы мне от возлюбленной дочери церкви Речи Посполитой?

— Вести из Польши, святой отец, дурные вести! Там брат восстаёт на брата, сын на отца. Екатерининские волки давят верных овец Божиих и требуют, чтобы даны были равные права верующим и неверующим.

— Это известно нам; но что же случилось

такое, что, несмотря на страшный час суда Божьего в избрании святейшего отца церкви, вас послали ко мне в явное нарушение канонических правил? От кого вы?

В капелле было довольно темно, несмотря на множество горевших лампад, и кардинал, думавший более о том, что он услышит, нежели — от кого он услышит, нисколько не сомневался в действительности представшего перед ним посла.

— От кого вы? — спросил наконец кардинал решительно.

— От самой себя, святой отец!

Этот ответ заставил кардинала взглянуть на отвечавшего пристальнее.

Увидя Али-Эметэ, с распущенными волосами, нежным взглядом и женственной улыбкой, он вздрогнул, не веря ещё себе, но убеждаясь более и более в том, что перед ним женщина.

«Боже мой! Не злой ли дух?» — прежде всего подумал он и начал читать заклятия. Но Али-Эметэ не исчезала.

— Кто вы? Кто вы? — спрашивал кардинал судорожно. Он чувствовал, что эти вопро-

сы как-то перехватывают ему горло.

— Святой отец. Я писала вам о сироте, о принцессе, брошенной целым миром в то время, когда по праву чуть не полмира принадлежит ей; писала вам о наследнице великой империи, лишённой наследства злодейством. Империя эта заблуждается, она верит в схизму. Принцесса надеется, при Божьей помощи, руководствуясь вашими мудрыми советами и наставлениями, обратить её на истинный путь и заставить поверить в святого отца, избираемого теперь вами. Теперь принцессу эту давят, мучат, и она пришла к вам умолять: помогите ей, поддержите её.

С этими словами Али-Эметэ припала к его ногам, отирая слёзы своими чудными длинными волосами, которые покрыли собой кардинальский коврик, лежавший у него в ногах.

— Что вы делаете? Что вы делаете? — говорил кардинал и, желая её поднять, взял её руку, её мягкую, нежную ручку, теплота которой электрической искрой пробежала по всему его существу, и пятидесятилетний кардинал разом почувствовал, что он не совсем

ещё старик, что человеческие животные стремления не совсем ещё погасли в нём от монашеской жизни.

Когда Али-Эметэ встала, взглянула на него своим чарующим взглядом и обдала приветом своей улыбки, он почувствовал, что так она ещё опаснее.

— Кто вы? Скажите, кто вы? — лихорадочно повторил свой вопрос кардинал Альбани.

— Я — княжна Владимирская, наследница русского престола, — отвечала Али-Эметэ.

— Женщина! Женщина в стенах священной коллегии! Как вы решились на это? Вы знаете, что и вы, и я в эту минуту обречены смертной казни? И если не поразит нас здесь гром небесный, то не можем мы миновать кары земной.

Мысль о смертной казни, о стыде, который должен будет испытать он, кардинал, страж церкви, член священной коллегии, за назначение свидания женщине перед святым алтарём и за нарушение тайн конклава, разом заморозила все его животные инстинкты, разом возвратила его самому себе. И он начал

говорить уже не как человек, а как кардинал.

— Верю и сочувствую вашим несчастиям, княжна, — говорил он. — Но таковые несчастья исходят не только от злых людей, но и от воли Божией, иже любимого наказует! А вы, княжна, признаете ли таковую милость Божию? Нет? В такой даже степени, что нарушаете тайну святой коллегии, созванной для моления о ниспослании ей благодати Святого Духа, да исходят решения её из велений Божиих. Вы отвергли эти решения. Вы не остановились даже на том, что ваше отрицание нарушает не только небесный, но и земной закон, который карает не только вас, виновную, но и всех нас, ни в чём неповинных. Ясно, что милость Божия не может не оставить вас. Вы указываете на величие цели, вами предположенной, — на соединение и общение со святой церковью миллионов ныне отступников, нами оплакиваемых; но для чистых и великих целей Всевышний избирает чистое орудие. Испытайте себя в своей совести, заслужили ли вы быть избранной на великий подвиг — спасения человечества? А если нет, то чего же вы хотите, чего добиваете?

тесь, даже нарушая законы и канонические положения? Разумеется, я слишком далёк от того, чтобы отдать вас каре закона, но менее всего способен вас поддерживать.

Сказав эти слова, кардинал позвонил и приказал кого-то позвать. Явилась тёмная личность неизвестного племени и звания и взглянула как-то хитро, как-то опасно на кардинала. Но тот разрешил его сомнения, приказав вывести княжну из сада и объявляя за то своё прощение в чём-то и за что-то. Это была одна из пойманных «ворон ватиканских садов», слетающих туда со всех концов света, во время конклава.

И «ворона» вывела княжну из капеллы.

Разбитая, уничтоженная, униженная, Али-Эметэ шла за ним безмолвно, как вдруг почувствовала, что «ворона» быстро схватила её за кинжал.

— Послушай, голубушка, — сказал ей её новый проводник, — ты думаешь, что меня проведёшь? Не на таковского напала. Сразу увидел, что веду бабу. Так что же ты думаешь, что я для тебя так, ни за что, буду рисковать собою и даром трудиться? Правда, за то кар-

динал меня отпустил, а то, пожалуй, я целую жизнь просидел бы у них в погребе; но ведь не довольно иметь право гулять по белому свету; бывает нужно что-нибудь и покушать. Да если я ещё попадусь с тобой, то, пожалуй, на решётке инквизиторской изжарят. Там что у вас такое было с кардиналом, я не сужу. Известно — дело житейское. Но ведь недаром же ты в молодца переряжалась и самого строго кардинала в грех вводила. Вот прежде всего эту игрушку, тут ведь золото есть, я возьму; а потом отдавай всё, что есть с собой и что тебе подарил этот старый греховодник, что не постыдился твои амуры в церкви Божией принять...

И проводник, отняв у Али-Эметэ кинжал, ограбил её дочиста, отняв не только шпагу, кошелёк, крестик и часы, но даже оборвав шитые золотом по белому атласу борты камзола.

Снимая с неё всё, он приговаривал:

— Крикни, крикни только, — я убегу, спрячусь, и тебя отцы инквизиторы живую изжарят.

Обобрав всё до нитки, что только ему по-

любились, он указал ей на ворота, представлявшие выход из сада.

— Вот, можешь идти! Да не попадайся собираю, коли не хочешь быть зажаренною; а я пока здешний житель. Имею честь кланяться!

И он исчез.

Али-Эметэ пошла к отворенным воротам. Было уже утро. Солнце ярко отражалось на раззолоченных звёздах купола святого Петра. В городе начиналось движение. Но едва Али-Эметэ ступила шаг за ворота, как её кто-то схватил за плечо.

Это был один из стражей входа, папский сбор.

— Ты откуда? Ба, да это женщина!

— Бери её, тащи к отцу экзекутору! В инквизиции давно работы не было, так пусть чёрту на жаркое пойдёт! — проговорил другой сбор. Но вслед за тем он полетел от страшного толчка.

Тот, кто держал Али-Эметэ, тоже лежал уже на мостовой, а Али-Эметэ, бесчувственную, несли на руках к дожидавшему её экипажу.

Это был Чарномский и его люди.

— Феликс, ты спас меня! — проговорила Али-Эметэ Чарномскому, опомнившись уже в своём экипаже. — Они убить меня хотели. Твоей услуги я не забуду никогда!

На другой день разбитая, измученная, истерзанная Али-Эметэ едва могла подняться с постели, когда Мешедэ доложила ей, что молодой человек, бродивший под её окнами, которому вчера назначена была аудиенция, пришёл и что обер-гофмаршал спрашивает, расположена ли она его принять.

Али-Эметэ отвечала утвердительно.

Патер Ганецкий, исправлявший в Риме при княжне должность обер-гофмаршала, вышел к молодому незнакомцу, введённому дежурным фурьером в приёмный зал.

— Ваше имя и звание? — спросил у него Ганецкий.

— Русского флота лейтенант Христенек.

Али-Эметэ вышла с своей вечно привлекательной улыбкой, мягкими приёмами, грациозными движениями.

— Вы русский морской офицер? — спросила Али-Эметэ.

— Точно так, ваше высочество, и счастлив, что имею случай выразить вам чувства моего рабского почитания...

— Вы обо мне слышали?

— Много слышал, ваше высочество; слышал о ваших несчастиях! Как русский, разумеется, я не мог не скорбеть душою; да не я один, многие, многие! А Бог даст, будут и все!

Христенек был серб, но по-русски и по-французски говорил в совершенстве и любил называть себя русским.

— Я надеюсь на милость Божию...

— Государыня, осчастливьте меня особой аудиенцией. Я имею много кое-чего передать вам!

— Я приглашаю вас обедать.

После обеда Али-Эметэ осталась одна с лейтенантом и спросила:

— Вы хотели говорить со мною?

— Да, ваше высочество. По вниманию к вашему положению и участию, всеми нами принимаемому в ваших несчастиях, я позволю себе спросить: вы писали графу Орлову?

— Да, но он мне не отвечал.

— Разве он мог отвечать через неизвест-

ных лиц? Игра была бы слишком опасна! О таких вещах не пишут, ваше высочество, и даже если говорят, то так, чтобы и стены не могли слышать.

— Но как же бы я могла ему довериться?

— Графу Орлову довериться можно. Он рыцарь...

— Я не знаю его! Но, допуская, что он рыцарь, я могла рассчитывать, что, хотя из вежливости, он ответит мне: да или нет!

— Но отвечать — значит отвечать только «нет»; потому что отвечать «да», как я имел честь вашему высочеству доложить, можно только тогда, когда даже стены услышать не могут! Ведь тут идёт залогом голова, да не только его голова, — своею жизнью граф Орлов не задумался бы рисковать, — но он не имел права рисковать вашей жизнью и жизнью всех нас, готовых идти за ним в огонь и в воду.

— Что же он хочет, что бы я сделала?

— Чтобы вы переговорили с ним лично! Он нарочно послал меня, чтобы передать вам это. Я его генералс-адъютант.

— Чем вы докажете, что я могу вам ве-

ритель?

— Его письмом, написанным очень осторожно, как вы изволите усмотреть, так что незнающий хода дела ничего из него не поймёт; но для вас оно может быть ясно, как ответ на ваше письмо. Оно, для большей скрытности, писано на моё имя; но самый смысл его вам укажет, что оно писано не ко мне!

С этими словами Христенек осторожно, оглядываясь во все стороны, передал княжне письмо.

Али-Эметэ начала его тут же читать, как бы показывая тем, что она выше опасений. Письмо было написано по-немецки и начиналось:

«Любезный Христенек!

Не всё, что думается — пишется, не всё, что желается — высказывается. На Бога грешно роптать, я хорошо поставлен; но нельзя сказать, чтобы не желал большего. Нужно поговорить, условиться лично, а тогда, пожалуй, и манифестик пригодится. И на медведя идут, так вперёд обговариваются да обусловливаются; а тут что твой медведь! Честь честью, а дело делом; в деле же патриотизм сам собой

выплывает. Поэтому нужно прежде всего спеться и увериться в том, что есть, и в том, что должно быть». Письмо было подписано самим графом, и, кроме того, к нему была приложена его гербовая печать.

— Так что же делать? — спросила Али-Эметэ.

— Ехать в Пизу и видеться с графом.

Али-Эметэ молча качала ножкою.

— Я бы поехала, — сказала она, — но, признаюсь, я не в средствах, у меня есть долги...

— Об этом не беспокойтесь, Джекинс всё заплатит и денег, сколько нужно, даст.

— Мне нужно, по крайней мере, 2 тысячи золотых.

На другой день Джекинс привёз ей 2000 золотых, и Али-Эметэ, щедро одарив всех, в том числе и аббата Рокотани, в трёх роскошных экипажах выехала из Рима. А Джекинс стал уплачивать её римские долги. Пришлось заплатить 11 000 червонных.

«Если прибавить к ним 2000 последних, да 3500 кардинала Альбани, да хоть тысячу или две посторонних, то выйдет всего семнадцать

или восемнадцать с половиной тысяч золотых, — рассчитывал Джекинс, принимая в основание выдачи, сделанные по приказам кардинала Альбани, графа Льянско, аббата Рокотани и других. И всё это в три с половиной месяца! Ай да барыня! Это именно всех богатств Персии неостанет! — сказал Джекинс. — Впрочем, моё дело сторона; я обеспечен, вполне обеспечен...»

Христенек ехал за Али-Эметэ следом.

V

РУССКОЕ УДАЛЬСТВО

Приняв главное начальство над эскадрами, Орлов созвал к себе командиров и старших офицеров со всех судов.

— Господа, я не моряк, но я русский, и думаю, что стыд и срам будет русскому имени, если мы станем прятаться от турок, сколько бы там их ни было. Поэтому, господа, мой взгляд такой: увидал турка, не рассуждай, а гонись и бей! Как гнаться, как бить, это вы лучше меня знаете! Одно, что я знаю, — что

победа в воле Божией. Будет угодно Богу, бригам эскадру побьёшь! Не даст Бог победы, что делать? Живьём не сдавайся, не давай туркам тешиться над русской душой, не давай с себя с живого кожу драть, а лучше, помолясь, вместе с победителем-турком лети на воздух. Тогда, поверьте мне, турки будут бояться вас, как суда Божьего, и победу Бог даст, и оружие наше прославит! Нужно только, чтобы так думали все до одного; чтобы отговорок эдаких разных — дескать, ветер помешал, да снасти оборвались, да порох отсырел — не было. Поэтому я собрал вас и прошу: кто думает не по моему, кто хочет сперва неприятельские порты да пушки считать, а не по-русски драться, — скажи вперёд и уезжай в Россию с Богом. Я и денег на дорогу дам! Пусть дома у жены под боком греется. Таких нам не нужно. Кто же хочет драться по-настоящему, по-моему, себя истинно русским показать и милость царицы заслужить, тот уж не пеняй, коли за отговорки да за увёртки я расстрелять велю! Главное — не думай, что коли нас мало, так нас непременно и побьют. Нет, лезь напролом, назад не оглядывайся! Лупи вовся! — без

счёта и без думы, без оглядки! — разумеется, с тем ветром, который есть, и делая, что можно, но непременно нападая сам, а не давая на себя нападать... Ну, так кто же, господа, в Россию и кто со мною?

Русским морякам понравилась речь нового начальника, хотя и не моряка, да удальца, и ни один из них в Россию ехать не захотел.

Орлов зато закатил им такой обед, с музыкой, песнями, плясками, фейерверком и кулачными боями, одним словом, такой праздник, что предание о нём дошло до правнуков.

Тут случился эпизод, о котором стоит упомянуть как о характерной черте и того времени, и графа Алексея Григорьевича Орлова.

Мы сказали уже, что Орлов обладал нечеловеческой силой. Он подковы ломал, железные кочерги в узлы вязал, быка, схватив за рога, с ног валил. Когда начались для большей потехи кулачные бои, корабельные команды одна на другую стеной шли и, по русскому обычаю, на кулачки брали, граф Орлов, страстный охотник до кулачных боёв и нередко принимавший в Москве в них участие, что, разумеется, было известно мно-

гим, — стоял на юте, с адмиралами и капитанами, и жестом, движением, словом поощрял удальцов, которые бились впереди. В это время пробился вперёд маленький, довольно жиденький, молоденький мичман, свалил с ног коренастого боцмана противной стены и обеспечил этим своей стене победу. Сломив этого боцмана, он прямо обратился к Орлову:

— Что же, ваше сиятельство, не удостоите нас чести силу попробовать! Вот хоть бы за разбитую стену вступились!

— Да кто же тут, ты, что ли, против меня встанешь? — смеясь, сказал Орлов. — Пожалуй, эдак всей вашей стены мало будет, чтобы со мной одним помериться! — отвечал Орлов.

— Напрасно изволите говорить, ваше сиятельство, — отвечал мичман. — Тут есть люди сильные; вон Михайло Аверьянов, Мина Семёнов, да и я, думаю, не очень сдам. Сами изволите говорить, противника следует не мерить, а валить!

— Что? Ты? — Алексей Орлов с изумлением взглянул на жиденького мичмана и невольно засмеялся. — Не хочешь ли побороться?

— Отчего же нет, ваше сиятельство, если изволите удостоить...

Орлову пришло на мысль, что не мешает проучить хорошенько самонадеянного мальчика и в борьбе перекинуть его через свою голову вверх ногами, что, разумеется, вызвало бы всеобщий смех.

— Ну ладно, — сказал Орлов, — давай бороться! Становись в позицию, берись накрест или хочешь меня под мышки взять?

— Зачем под мышки, ваше сиятельство, нужно по закону! И он взял Орлова накрест, поднимаясь на цыпочках, стало быть едва стоя на земле.

Орлов думал, что он бросит его, как мяч. Но не тут-то было. Только он схватил Орлова, тот сейчас почувствовал, что его взяли железные руки. Напрасно Орлов напрягал всю свою страшную силу, чтобы сломить и сбросить противника; он нежданно почувствовал, что спина его согнулась и он полетел сам со всех ног, тогда как противник стоял и улыбался спокойно.

— Эге, братец, так ты вот какой! — сказал Орлов, вставая. — Первого встречаю, который

Алексея Орлова мог свалить, и так свалить! Ну, а на кулачках умеешь?

Орлов нарочно брал уроки английского бокса и был уверен, что против его удара ни один человек в мире не устоит.

Мичман принял вызов. Они встали друг против друга, скинув предварительно мундиры и засучив рукава.

Но и тут громадный, как молот, кулак Орлова встретил будто стальную маленькую руку, и через минуту эта стальная рука нанесла ему такой удар под бок, что он свету не взвидел, опустил руки и должен был признать себя побеждённым.

— Отпотчевал, брат, нечего сказать! Первого человека такого встречаю! Вот отпотчевал-то! И кого же, меня, Алексея Орлова! Это чёрт знает что! Как твоя фамилия?

— Мичман Лукин, ваше сиятельство.

— Лукин, Лукин! Ну силач же ты, братец! Молодец, ей-Богу, молодец! Ну пойдём со мною брудершафт пить. Выпьем шампанского за твоё здоровье и молодецкую силу! Стоит, по совести стоит!

И Орлов увёл Лукина с собой в свою каюту.

Там он его обнял, расцеловал, велел при себе флаг-офицером состоять и подарил на память свой осыпанный бриллиантами портрет. После, говорят, он, по русскому обычаю, обменялся с ним крестами и крестовым братом назвался; во всём напомнил собой Топку с Перфильичем, относясь к русскому по-русски, хотя и пили после с Лукиным вместе немецкий брудершафт.

— Помни, Лукин, когда случится нужда в чём, так у тебя тут брат есть! — сказал Орлов, провожая Лукина и прощаясь по-братски. И точно, говорят, он всю жизнь свою ему во всём помогал.

Праздники праздниками, а дело делом. Вывел свою эскадру Орлов из Наваринского залива в Средиземное море, подняв, в означение своего присутствия, на грот-мачте корабля «Три Иерарха» кайзер-флаг. Велика была самонадеянность поднять кайзер-флаг, означающий присутствие кого-либо из членов высочайшей фамилии. Но в то время Орловым всё сходило с рук; отчего же было и не быть им самонадеянными?

Недолго пришлось Орлову бороздить Сре-

диземное море. На третий или четвёртый день он встретил турецкий флот.

У Орлова всего было взято с собой семь кораблей; у турок было их десять. У Орлова было три фрегата, бомбардирская иола и шесть мелких судов; у турок — пять фрегатов и много транспортных и мелких судов. На турецкой эскадре было, кроме вооружения мелких судов, более тысячи пушек, могущих выбросить до 30 000 фунтов чугуна. У Орлова было всего 580 орудий, могущих выбросить чугуна не более 17 000. У турок на судах было не менее 9 000 команды. У Орлова едва ли было 5 000 человек. Тем не менее, как только увидал Орлов противника, закричал:

— Вали! Гони! Станови все паруса! Адмирал, прошу вас гнать неприятеля, напасть на него, разбить! Извольте спускаться!

Эльфинстон, которого Орлов просил сесть к нему для совета на корабль «Три Иерарха», хотя флаг его был поднят на корабле «Не тронь меня», а другие два корабля его эскадры «Саратов» и «Всеволод» оставались на Наваринском рейде, за признанием их неудобными для продолжительных плаваний, — по-

смотрел на Орлова с невозмутимым спокойствием истого англичанина и не без юмора как-то прошамкал сквозь зубы:

— Куда гнать, куда спускаться, ваше сиятельство, против ветра-то? Они на ветре у нас, поэтому они на нас спуститься могут; а мы — ни в каком случае! Притом они больше чем вдвое сильнее нас; поэтому нам нужно утекать, а не нападать и уж никак не гнать!

— Ни за что! Ни за что! Чтоб я побежал от турок? Да что вы, адмирал! Я скорей повесить себя велю! Я приказываю: сделайте всё, что можно, чтобы начать сражение!

— И мы будем разбиты, погубим эскадру!

— Лучше сто эскадр погубить, чем допустить даже мысль, что русские от турок побежали! Пригласите сигналом на совет адмирала Спиридова!

Между тем Орлов перекидывался словами то с тем, то с другим офицером и заметил, что все они очень желают сразиться, но что ветер действительно противный и спуститься на неприятеля, как сперва думал Орлов, просто невозможно.

Прибыл по сигналу адмирал Спиридов, че-

ловек нерешительный, но храбрый. Он сказал то же, что и Эльфинстон.

— Впрочем, ваше сиятельство, — прибавил он, — если вы желаете непременно напасть на сильнейшего неприятеля, то дайте письменное предписание, мы можем повернуть и гнать к ветру. Турки, так как они нас несравненно сильнее, разумеется, не побегут, и сражение состоится, хотя, должен доложить, при самых невыгоднейших для нас условиях.

— Пишите предписание, я подпишу.

Через полчаса флот шёл другим галсом, с кораблём «Святой Евстафой» под флагом адмирала Спиридова во главе.

— Пошлите бриг в Наварин, за вашими остальными кораблями, — приказывал Орлов Эльфинстону, — авось они придут хотя к концу дела, так как, разумеется, мы ждать их не станем!

Эльфинстон исполнил приказание, но с видимой неохотой.

В это время Орлов услышал голос позади себя:

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство.

Ветер-то отходит, пожалуй, скоро и спускаться можно будет!

Орлов обернулся, за ним стоял Лукин.

— А! Ты это верно говоришь, Лукин, хорошо!.. Адмирал! Адмирал! — закричал Орлов.

— Что прикажете, граф?

— Ветер переменялся, теперь можно спускаться!

— Вы непременно желаете быть разбитым? — отвечал Эльфинстон. — Турки, наверное, примут сражение и нас разобьют!

— Ну, это ещё старуха надвое сказала; а подражаться — руки чешутся. Спускайтесь!

Эльфинстон пожал плечами и велел поднять сигнал.

Но ни Спиридов, ни Эльфинстон не угадали. Турки, увидев, что на них под всеми парусами идёт русский флот, и не подумали принимать сражение. Они спустились сами, подняли всё, что можно, и дали тягу. Это, разумеется, ободрило русскую эскадру: значит, она сильна, когда её так боятся.

Но турки вовсе не боялись её; они знали, что в Хиосском проливе стоит ещё их эскадра в шесть кораблей, так им показалось мало

преимущества, что их только десять против семи, и они вздумали с ней соединиться, чтобы семи русским кораблям противопоставить свои шестнадцать. Тогда победа была бы верная, особенно если русские вздумают напасть в проливе, где турецкие корабли будут находиться под защитой ещё береговых батарей и вооружённого лагеря.

По этим соображениям турецкий адмирал вошёл в Хиосский пролив.

Орлов гнался за ним по пятам; но, по случаю позднего времени, русский флот, подойдя к проливу около часу ночи, должен был отложить нападение и остановиться перед входом. Легли в дрейф.

Рано утром Орлов вышел на палубу, взглянуть на пролив, и первую минуту опустил руки. Перед ним, вдоль пролива, тесно сплочённой линейной баталией, в виде вогнутой несколько в середине дуги, прижавшись весьма близко к азиатскому берегу, вытянулось 16 линейных кораблей, с своими 1 200 орудиями 24-х и 36-фунтового калибра, представлявшими тогда почти непобедимую силу. Между ними красовалось несколько 90 и 100-

пушечных кораблей, в том числе и корабль турецкого адмирала, храброго Гассан-бея, с поднятым на грот-мачте адмиральским флагом, представляющим на красном поле блестящую золотую луну.

Позади кораблей была вытянута другая линия шести фрегатов, расположенных в шахматном порядке с кораблями, против укороченных интервалов между ними. На них было тоже не менее 360 орудий тоже большого калибра и дальнего боя. С флангов флот был прикрыт сильными береговыми батареями, а на берегу, на возвышении, был расположен укреплённый лагерь турецких войск.

Таким образом, против дерзкого, который решился бы проникнуть в пролив, направляли дула до 800 орудий (одного борта), могущих выбросить разом до 20 000 фунтов чугуна. Ясно, что против такого сопротивления было не устоять никакой силе. А у Орлова было только семь полугнилых и плохо снаряженных кораблей, с командами, едва начавшими привыкать к морскому делу.

Хиосский пролив, отделяющий остров Хиос от анатолийского берега, на половине

своей длины раздаётся широким плёсом и вдаётся в берег особой бухтой, окружённой анатолийскими возвышениями, над которыми командует расположенная на этих возвышениях, незначительная по своей величине, но весьма сильная по положению и вооружению, крепость Чесма. Вход в эту бухту был тоже прикрыт сильными батареями. Сюда вошли все мелкие и транспортные суда турецкой эскадры, состоявшей на рейде исключительно из военных кораблей и фрегатов.

Другой выход из пролива весьма суживался и был доступен только для мелких судов.

В первую минуту, как мы сказали, Орлов опустил руки.

«В самом деле, не идти же на верную смерть? Впрочем, это бы ещё ничего; двух смертей не бывает, а одной не миновать! Но не идти же на верное и бесславное уничтожение, на гибель без отместки, даже без сопротивления. Не губить же таким образом всю эскадру, своё имя, славу русского оружия? — думал Орлов. — Тут будет уже не отвага, а именно безумие».

Эльфинстон стоял подле, осматривая в тру-

бу положение турецкого флота, и передавал свои замечания Орлову.

Орлов молчал и думал:

«А что я говорил только несколько недель назад? «Увидел и нападай; врагов считать нечего! Богу угодно будет, бригу над эскадрой победу даст! Нападай сам, а не давай нападать на себя!» Я это говорил, а теперь сам же и поворочу оглобли; а у меня не бриг, у меня эскадра, семь да ещё два придут — девять кораблей... Если мы повернём назад, — продолжал он думать, — они, пожалуй, погонятся за нами. Ведь их больше чем двое на одного; могут рискнуть, напасть и разбить. Куда будет неловко! Да и драться в открытом море совсем уж не моё дело. Не понимаю я морских эволюций да поворотов; должен буду совсем в руках этой английской упрямой башки быть. Это не рука! Здесь, при берегу-то, я всё могу кое-что мороковать и что-нибудь могу придумать, а там... Да и уходить-то... Чёрт знает что такое! Стыд! Стыд».

— Он неуязвим! — проговорил в это время Эльфинстон. — Нужно уходить, пока целы! При этом ветре он не выйдет, бьёт ему прямо

в лоб; а переменится ветер — нам может быть худо. Уходить, граф, надо!

— Ни за что на свете! — бессознательно отвечал Орлов, думая о стыде говорить одно, а делать другое в виду всей эскадры.

«Меня все пустейшим хвастуном и трусом прозовут, — мелькнуло у него в голове. — Скажут: на языке храбр, а на деле труса празднует! Мастер учить, да не мастер косить! Дескать, это не то что в Москве на кулачках драться. Нет, ни за что! Этого не скажут об Орлове».

— Ни за что на свете! — повторил он вслух.

— Но нас разобьют в щепы прежде, чем мы успеем подойти к ним! — сказал Эльфинстон.

— Э, Бог не выдаст, свинья не съест, дорогой адмирал! — отвечал Орлов. — Вы не знаете ещё русской удали; а мы, перекрестясь, за матушку царицу пойдём на дьявола.

Вот увидите, как услышат о баталии, к нам и те два корабля подойдут, что мы оставили за негодностью. Дескать, не без дела же стоять, когда наши дерутся! Все на стену полезут.

— У них шестнадцать кораблей! — изумлённо проговорил Эльфинстон.

— Не считать, — отвечал Орлов, — да и считать не хочу! Вижу неприятеля и хочу его разбить.

— Это сумасшествие, граф, извините!

— Может быть! Мы, русские, все в этом случае сумасшедшие. Потребуйте-ка ко мне капитанов да послушайте, что они будут говорить!

— Орлов сошёл вниз и велел позвать к себе своего брата графа Фёдора.

— Ну, брат Федя, — сказал он брату, когда тот пришёл, — пришёл для нас день расчёта. Не даром же кутили мы с тобой годков пять-шесть на царицыны денежки; надо нам теперь и себя царице показать. Ты турецкий флот видел? Ну, разумеется, я от своих слов не отойду. Приходится одному на троих идти. Англичанин говорит — сумасшествие; тем хуже для него! Я его в резерв поставлю, пусть любуется. Я покажу ему, английскому рылу, что по себе судить ему нечего. Англичане всё нороят, как бы впятером на одного идти; нам это не рука! Мы любим голова против го-

ловы, баш на баш, а не удастся, так и один на десятерых идём! У русских порядка нет, зато смекалка есть, и врагов, каковы бы они ни были, они бьют, а не считают!

— Что ж, брат, вели что, — от тебя, ты знаешь, я не отстану, — отвечал скромно Фёдор Орлов.

— Да вот я и хочу поговорить, что велеть. Видишь, брат, не мастаки мы, к несчастью, их морские манёвры понимать, так нам нужно что-нибудь по-своему, по-сухопутному; нужно придумать какую-нибудь такую штуку, которая бы и не турецких моряков могла с толку сбить. Только тогда мы что-нибудь и сделаем; иначе, дело брось! Вот я и вздумал поговорить с адмиралом Спиридовым; он человек нерешительный, но храбрый. Если он чем-нибудь разумным меня не опровергнет и ветер будет тот же, что и теперь, то, думаю, вот как сражение по-новому вести... Тут мне ты, друг и брат, первое дело...

— Сказывай, брат. Что ж ведь, в самом деле пожили, теперь и дело сделать не грех!

— Ну вот что. Фрегаты я посылаю с утра сбить береговые батареи. Без этого нельзя, в

самом деле до флота не дойдёшь. Сегодня, думаю, оставленные корабли и фрегат ко мне придут. Ну, три фрегата отделию к ним; пожалуй, и корабль «Саратов», если придёт. Полагаю, они береговые батареи заставят молчать. Они же поставлены легонько, чуть ли не в одну ночь. Думаю, что сбить их небольшого труда стоить будет.

— Что же, брат, ты меня сбивать батареи посылаешь, что ли?

— Нет, голубчик, ты мне нужен для дела поважнее. Видишь, когда батареи будут сбивать, я велю идти всем один за одним. Клокачёв на «Европе», впереди, за ним, прикрываясь его корпусом, должен идти «Евстафий» с адмиралом Спиридовым; пусть лезут в самую середину, на их адмирала. Так как они будут лезть носом, то цель небольшая. Правда, выстрелы по ним будут все продольные, перебьют много команды, но что делать-то? При нынешнем попутном, ровном ветре, полагаю, дойдут скоро. Я велю всем останавливаться перед неприятелем на расстоянии не более пистолетного выстрела и бить кто во что горазд по левому, наветренному, как они гово-

рят, неприятельскому крылу. Теперь твоё дело. Я тебе сказал, что адмирал Спиридов храбрый, но в то же время нерешительный человек. Я тебя к нему и посылаю. «Европа», идя впереди, будет вас прикрывать, а вы, как подойдёте, так и сцепитесь с турецким адмиралом на абордаж; сцепитесь во что бы то ни стало. А как сцепитесь, абордажные партии пусть делают своё дело. Я вам в придачу к команде сто человек греков дам, народ храбрый, сами за себя дерутся; ещё человек двадцать преображенцев дам. «Европа» вам помогать будет. Клокачёва учить нечего, он сам своё дело сделает. А ты, как резня-то разгорится, возьми, пожалуй, с собой адмирала Спиридова на корабль «Святой Януарий», веди его на другой корабль левого турецкого крыла и тоже абордируй. За «Януарием» буду идти я и, Бог даст, охулки на руку не положу; а ты, буде поспеешь, с корабля «Януарий» переезжай на «Не тронь меня» и также ломи на абордаж. Эльфинстона я оттуда прогоню, так он не помешает Я с «Трёх Иерархов», если время будет, перееду тоже на первый корабль, который будет оставаться свободным,

и тоже поведу его абордировать. Таким образом, понимаешь, мы это крыло и отхватим. Бог благословит — и призы возьмём. Другой-то половине их флота из-под ветра трудно будет своим помочь. Все моряки это в одно слово говорят. Турки с якоря ни за что не снимутся по своей вечной медлительности и несообразительности, да и ветер им будет противный; стало быть, что возьмём, не отобьют. Как кто какой приз взял, тащи к своему месту в резерв, к Эльфинстону, которого посажу на «Всеволода»; тотчас же приводите в порядок, устраивайте, к бою готовьте. Ты пойми мой расчёт. Если мы отобьём у них только четыре корабля, то у нас с «Всеволодом» и «Саратовым» будет 13 кораблей, а у них только 12, стало быть, мы уже будем сильнее их. Ясно, мы их запрём на месте и начнём хлопотать, чтобы по времени убыло у них ещё один-два корабля; а затем уже, приведя себя в надлежащий порядок и пополнив комплекты команд волонтёрами из греков и славян, — куда кривая не вывезет! — полезем на все остальные. Английская свинья, заверяющая, что всё это безумие, глупость, непонимание

дела, проглотит язык. Она увидит тогда, как русские удальцы умирать умеют и как дело делают. Ты только не задерживай. Веди, подкураживай и сваливайся; а как свалились и одолевать начали, сейчас же на другой корабль махай. Я буду то же делать, и, Бог даст, часа через четыре после начала мы будем уже сильнее их, тогда и будем рассуждать, что делать. Во всяком случае, дело будет небесславное.

— Разумеется, брат, коли так велишь, так и будет сделано! Только, думаю, лучше бы береговые батареи совсем взять.

— Много возни, да и боюсь я турецкого лагеря. Пожалуй, десант даром погубишь. Впрочем, как они от фрегатских-то выстрелов смолкнут, пошлю грека Скрифулаки с его волонтерами попробовать. Но дело не в батареях, а во флоте. Во всяком случае, им исправить их будет некогда, пока мы будем управляться с левым крылом; а там — будь что будет!

Братья помолились, расцеловались и распростились. Они ведь могли видеться последний раз. Нападение предназначалось на дру-

гой день.

К вечеру пришли ожидаемые Орловым корабли и фрегат, и он распределил их согласно своему плану, назначив Эльфинстона командовать арьергардом.

На другой день, часу в шестом утра, под прикрытием утреннего тумана, густо лежавшего над проливом, снялись с якоря фрегаты, с кораблём «Саратов», и подошли к береговым батареям, насколько только дозволила глубина. С восходом солнца они проходили мимо батарей, открывая по ним огонь из 60-ти орудий одного борта, потом, поворачивая, били их 60-ю орудиями другого борта. Через час батареи были буквально скрыты.

В одиннадцать часов утра, при свежем попутном ветре, под марселями, брамселями и поставленным фоком, полетели на неприятеля корабли «Европа» и «Евстафий». За ними следовала вся эскадра.

Адмирал Спиридов, оскорблённый, что к нему прислали наблюдателя, как бы сомневаясь в его храбрости, стал на сетке корабля, у грот-вант, чтобы от головы до ног всему быть открытым неприятельским выстрелам. Ор-

лов, заметив выходку адмирала, не захотел отстать и сделал то же, а за ним, из того же удальства, встал и голландец, командир корабля, капитан 1-го ранга Круз. Корабли летели на 800 наведённых на него жерл, долженствовавших разбить его в щепы.

По сигналу турецкого адмирала раздался залп — страшный залп. Воздух помутился от этого залпа, земля дрогнула; на берегу в крепости Чесме во всех домах стёкла повылетели, и весь пролив покрыло дымом. Но турки не мастера были стрелять, особенно залпами, и корабли продолжали лететь вперёд; даже повреждения были относительно незначительны; большая часть турецких ядер перелетела выше наших бортов.

Начался батальный огонь. Ветер, по мере приближения полудня, начал стихать, но «Евстафий» был уже подле турецкого адмиральского корабля, который бил его продольными выстрелами. Вдруг произошёл сильный удар, и «Евстафий» сцепился с турецким адмиральским кораблём.

— Абордажные, вперёд! Ура! Опускай сетки! Ура! — крикнул Спиридов, и началась

свалка, страшная свалка морского абордажного боя, в котором режутся грудь с грудью, давят друг друга руками, кусаются зубами.

— Браво! Браво! — закричал Орлов, видя, как сцепился «Евстафий». — Поднимите сигнал: «Адмирал изъявляет своё удовольствие». Капитан, наша очередь, не ударьте лицом в грязь! Корабль подле должен быть наш!

Чёрный, смуглый капитан из греков посмотрел на Орлова и спросил:

— Который прикажете, ваше сиятельство, атаковать?

— Вот этот.

— Этот? — И капитан посмотрел на Орлова как-то двусмысленно. — Слушаю, ваше сиятельство, если изволите приказывать!

И затем он моментально врезался в указанный ему корабль. А корабль был трёхдечный, стопушечный, с 1 100 человек команды, тогда как у Орлова корабль был 72-пушечный и 640 человек команды. Абордажные силы были далеко не равны. Орлов не рассчитал, по незнанию морского дела и незнакомству с устройством судов.

Несмотря на то, наши бросились вперёд.

Турки резались отчаянно, напав на передовую abordажную партию с трёх сторон.

— Алла! Алла! — раздался их крик, и наша abordажная партия принуждена была отступить с неприятельского корабля. За ними и турки полезли к нам со всех сторон. Их встретила вся команда, отмахиваясь интрепелями, коля пиками и поражая пистолетными выстрелами. Но турки храбро лезли вперёд; силы были слишком неравны, и турки начинали решительно одолевать.

Орлов стоял всё это время спокойно на командной площадке.

Несмотря на общую суету, отчаянные крики, лязг оружия, стоны раненых, пистолетные выстрелы, он молчал. Вот капитан повёл лично последний резерв. Орлов всё стоял. Он собирал отступавших, выправлял, подкураживал... а сам всё стоял на той же площадке. Турки дошли уже до половины шкафута. В это время показалась их новая партия; наши отступали, бежали... Кривая турецкая сабля отсекала легко кончики длинных русских abordажных пик, а затем рубила головы. Матросики схватились за ганшпути[3], но ничего

нельзя было поделаться, сила ломила...

Вдруг сердце первого кулачного бойца не вытерпело, дрогнуло. Без всякого оружия, с голыми руками, Орлов мгновенно соскочил с площадки, на которой стоял, крикнул, как говорят в старинных сказках, зычным голосом: «За мной, за мной!» — и ринулся в толпу. Перед ним были два турка. Он схватил их, приподнял, ударил один о другого и бросил обоих бесчувственными на палубу. У одного пистолет разрядился на воздухе и попал в своего же. Против Орлова стоял третий, готовясь ударить его ятаганом. Но Орлов перекинул его через свою голову. Потом он поднял упавший у кого-то ганшпуг и начал размахивать этим ганшпугом, нанося смертельные удары и образуя около себя груды мёртвых тел, именно как сказочный богатырь, взмахом меча делающий улицу. В это время, оглянувшись, он увидел, что подле него, рядом, подражая ему вполне, делал то же самое флагофицер Лукин, размахивая схваченным им за ноги убитым турком.

— Вперёд! Ура! — крикнул Орлов. — Идём вместе, Лукин! Ура! Вперёд!

И всё ожило, всё закипело.

— Ура! — крикнула вся команда и полезла на вошедших на корабль турок.

— Шайтаны! Шайтаны! — раздался крик среди турок, и все бросились назад!

За ними полезли и наши вновь сформированные абордажные партии.

Но всё же Орлову взять турецкий корабль не удалось. Пользуясь силой и многочисленностью, турецкий капитан успел подать назад вошедшие на его корабль русские абордажные партии и, прежде чем могли явиться новые, успел обрубить абордажные сетки и выпустить канат. Пользуясь ветром, он распустил марсели и спустился в Чесменский залив.

Между тем «Евстафий» и турецкий адмиральский корабль были в огне. На них происходил ужасный бой, среди пожара, падающих сверху снастей и ожесточённой абордажной битвы; грот-мачта турецкого корабля со всеми снастями пылала и, наконец, обгорелая, упала на корабль «Евстафий», осыпая его искрами. Орлов и адмирал Спиридов уже съехали с него и отправились на корабль «Святой

Януарий», чтобы искать нового абордажного противника. Но такового для них уже не было.

Корабль Орлова, навалив на турецкий, заставил его дрейфовать, а стоявший прямо за ним турецкий корабль, видя, что сражающиеся суда непременно навалят на него, выпустил канат и сдался под ветер к Чесменскому заливу. Орлов и Спиридов напрасно искали себе противника. Вдруг раздался страшный удар. Всех как бы ослепило. Последовал взрыв обоих, и русского «Евстафия», и турецкого корабля. Горящие осколки осыпали весь рейд, угрожая пожаром обоим флотам.

На минуту всё смолкло. Алексей Орлов спокойно приводил в порядок расстройство, происшедшее на его корабле. Спиридов с Фёдором Орловым направились к следующему турецкому кораблю. Но турки не выдержали. Все до одного, выпустив канаты, при помощи попутного ветра, направились в Чесменскую бухту, где, под прикрытием крепостных орудий и береговых батарей, считали себя безопасными от всякого нападения.

На Чесменском рейде собралось всего до

ста вымпелов разного ранга судов, прикрываемых 15-ю линейными кораблями и пятью боевыми фрегатами. Под защитой береговых батарей и крепостных верков, которых, они знали хорошо, скрыть было невозможно, они считали себя неуязвимыми.

Но Орлов недаром изучал последнее время различного рода применения к морскому делу сухопутных приёмов войны. И точно так же, как сперва он составил предположение атаковать стоящие на якоре корабли по очереди абордажем, так и тут, видя теснившиеся в небольшом заливе разного ранга суда, он решил, что их нужно во что бы то ни стало, каким бы то ни было образом сжечь.

— Пустить брандеры! — сказал Спиридов.

— Что это за брандеры?

— Небольшие суда, начиненные порохом и наполненные разными горючими материалами, ваше сиятельство. Их ведут два-три удальца, направляют на неприятеля, сцепляются с ним и зажигают, стараясь спастись на маленькой, взятой ими для того с собой шлюпке. Ветер теперь как раз на них, и пускать нам теперь брандеры весьма удобно.

— Да, ваше сиятельство, в настоящем положении дела брандеры есть не только лучшее, но и единственное средство истребления неприятеля, — сказал Грейг. — Мы можем подойти, открыть бомбардировку и, под прикрытием её, пустить брандеры. Если бомбардировать только без брандеров, то дело может продолжаться долго. Турки, разумеется, будут всеми мерами поддерживать свой флот; но брандеры — другое дело, они в один миг всё порешат.

— Вызвать охотников вести брандеры, — приказал Орлов в ответ на это объяснение.

Охотников нашлось более, чем нужно. Общим начальником команды брандеров был назначен старый, морщинистый, брюзгливый, но беззаветно храбрый лейтенант Ильин. Лукин тоже просился было на брандеры, но Орлов его не пустил.

— Чтобы зажечь фитиль, немного силы нужно, — сказал Орлов, — а ты мне понадобишься там, где именно нужна сила.

Начальником бомбардирской эскадры, на которую возложено было устроить пожар на неприятельском флоте, был назначен капи-

тан-командир Грейг.

Часу в восьмом вечера, уже после захода солнца, эскадра Грейга, из четырёх кораблей и трёх фрегатов, снялась с якоря и, предводимая своим храбрым командором, под брейд-вымпелом, поднятым на корабле «Ростислав», направилась к заливу и стала в линию напротив леса мачт, составлявших турецкую эскадру. Загремели береговые батареи; против них стал корабль «Европа», корпусом своим прикрывая эскадру. Среди атакующей эскадры поставили бомбардирское судно «Гром», долженствовавшее зажечь неприятельский флот бомбами. В 10 часов вечера бомбардирское судно открыло огонь, а за ним и вся эскадра, поражая неприятеля брандскугелями. Не прошло четверти часа, несколько судов неприятельского флота уже горело. Эскадра продолжала огонь, несмотря на страшное разорение, производимое турецкими выстрелами. Весь залив покрылся дымом, сквозь который виднелись только языки пламени горящих судов. В эту минуту, по сигналу командора, русская эскадра замолчала. От большой эскадры Орлова отделилась новая эскадра небольших су-

дов и под страшным турецким огнём ринулась в середину залива... Через час весь турецкий флот горел, и русские старались только о том, как бы спасти несколько турецких судов от всепожирающего пламени.

Победа была полная. Турецкий флот был уничтожен; русская эскадра на Средиземном море получила преобладающее значение. Можно сказать, что она владела Средиземным морем, потому что для снаряжения эскадр со стороны Англии и Франции, которые могли бы быть грозными для русской эскадры, усиленной взятыми в плен турецкими судами и укомплектованием команд из греков и славян, хороших моряков, требовалось много времени и много средств.

Екатерина, узнав о победе, была обрадована несказанно. Она не знала, чем наградить и чем поощрить победителей. Чем менее ждала она победных вестей, чем более опасалась за положение своей эскадры, тем радость её была сильнее. Первоначальная медленность движения эскадры, непрерывные возвраты кораблей с пути, разъединённые действия, наконец, донесение о дурном состоянии судов

и команд приводили её в отчаяние. И вдруг — не только победа, но разгром, уничтожение неприятеля и затем торжество полное и совершенное. Недаром Спиридов сообщал своим кронштадтским сослуживцам: «Пришли, напали, победили, уничтожили, сожгли... «Евстафий» взлетел на воздух, зато весь турецкий флот пропал».

Орлову пожаловали титул Чесменского, голубую ленту, имения, вещи, деньги, неограниченный кредит, монумент в Царском Селе и ещё Бог знает что. Все были награждены, все произведены, на всех разлиты милости. Екатерина писала Орлову, что она везде и всегда видит в нём опору престола и отечества.

Победа была действительно полная. После такой победы не грех было и отдохнуть, не грех и поразвлечься, и побаловать себя. На этом основании Орлов не задумался сейчас же отправиться в Ливорно, а оттуда в Пизу и зажил там опять тем роскошным вельможей, про которого гондольеры Венеции песни славали, а неаполитанские лаццарони сказки рассказывали и которым, говорят, турки в

своих гаремах начали детей пугать. Шайтан, да и только.

В Пизу влекла Орлова-Чесменского какая-то графиня Чириолли, которая остановила на себе его особое внимание тем, что у неё муж был страшно ревнив. Каждое свидание должно было происходить почти под ножом.

— То-то весело! — говорил Орлов.

Впрочем, не одна Чириолли занимала его; была, говорят, там и наша русская Катерина Львовна Давыдова, сродни Орлову приходилась.

Среди роскоши, безумного мотовства, опасных свиданий и политических интриг через своих агентов в Черногории, Сербии, Молдавии, а главное в Морее, благодушествовал Chesmenский победитель, разбрасывая всюду и деньги, и здоровье, благодаря тому что и того, и другого у него было вдоволь, хотя в то же время нельзя не сказать, он зорко следил за всем, что делалось в Петербурге. А из Петербурга, несмотря на все милости к нему, несмотря на все награды, которым, кажется, и предела не было, приходили невесёлые вести. Брат его, граф Григорий, видимо, терял кре-

дит. О замужестве давно и речи не было, да тут и не до замужества было.

«Дурак, в ревность кидается; амбициозностью щеголять вздумал! Дурак дураком и остался! — думал Орлов. — Это всё Панин пелюки разные там разводит, куролесы разные выкидывает, а брат как кур во щи попадается. Эх, Григорий, Григорий, ума-то в тебе нет, право! Ну чёрт его дёрнул теперь на конгресс ехать, дьявола там за хвост ловить... Ну как же не дурак? Не знает, видно, наших поговорок русских, память отшибло».

И точно, слышал он, что нашёлся на место брата красивейший, милейший, но и пустейший Александр Семёнович Васильчиков.

«Теперь мы оба с братом будем у праздника, — думал Орлов. — Надо обоим держаться берега; пожалуй, птичка-то невеличка, да остёр ноготок...»

В это самое время, как он всё об этом думал, он вдруг получил письмо Али-Эметэ, с её манифестиком к эскадре.

«Эге, да это штуки Панина, — подумал он. — Никакого сомнения нет! Его собственное изобретение. Поддеть меня хочет, облаву

устроить. Ладно, да не на таковского напал; таких удочек не клюём, в такие ловушки не попадаемся!»

И Орлов письма и манифестик в подлиннике послал к государыне при своём письме.

«Послал я, матушка, — писал Орлов Екатерине, — самого хитрого, что у меня был, а именно Рибаса, разузнавать и разыскивать, что это за такая птица, принцесса Елизавета, и кем она выдумана и отколе выпущена; но если не найдут, не моя вина. Может, и то, что твои верные слуги меня пробуют; так скажи им, матушка, напрасно стараются. Пробуй не пробуй, всё выйдет одно: я всегда твой верный раб и слуга».

Между тем из Петербурга ему писали о той же Елизавете, приказывали потребовать от рагузского сената её выдачи, добиваться этой выдачи во что бы то ни стало, хоть город сожги!

«Вот как, — думал Орлов, — сжечь Рагузу нехитро, да только я куда после того с эскадрой денусь? Ведь все озлобятся. Оно, разумеется, Италия не страшна, да ведь не в ней дело; а где я с эскадрой-то хоть кусок хлеба най-

ду? С турками воюешь, с Францией тоже лада нет, Испания заодно с Францией, Австрия тоже в чужую руку тянет, одна только Италия и есть, где хоть душу отвести можно. А как с ней разойдёшься, хоть топись... «Броди, скажут, пожалуй, по Средиземному морю, а при-ткнуться никуда не смей!» А если французы да, пожалуй, и англичане озлобятся и вздумают Гибралтар своими эскадрами запереть? Неладно будет, очень неладно! К тому же и озлобить-то, пожалуй, всех озлобишь, а её-то всё-таки не заполучишь!.. Ну, положим, приду я в Рагузу, потребую, пушки наведу... А она разве так и будет там сидеть да ждать, пока её, связанную по рукам и по ногам, ко мне привезут? Не так ведь глупа! Прежде ещё чем хоть одно судно якорь бросит, её, разумеется, и след простынет. Да если бы она и там была, всё равно скажут — уехала, и город назовут, куда? — ну хоть в Венецию. Что ж, и ту жечь?..

Нет, это, по-моему, не дело; это то же, что ловить птицу, насыпав на хвост соли, да ещё с придачей пожаров и проклятий... Не то, не то! Если Екатерина велит, то, значит, не поду-

мала или, может, уж очень смутила её эта принцесса Елизавета. Тут нужно что-нибудь поскладнее да поумнее; что-нибудь, что голову бы отуманило, саму рыбу на крючок идти заставило... Я никогда не отказываюсь, коли нужно нанести удар. В этом, кажется, все могли увериться. Я не люблю жаться: и хочется, и колется, и бабушка не велит... Но ведь удар должно делать вовремя, с разумом; а тут из пушек палить, чтобы мыльный пузырь разбить? Нет, такое дело не нашего ума...

А что, если это не мыльный пузырь, если и в самом деле она настоящая, истинная дочь Елизаветы Петровны, имеющая все права? Что, если у меня в руках случай?.. Нет, нет и нет! Если бы она и настоящая была, то вина матери, зачем не говорила вовремя; а теперь уже объявлять, на смуту да на рознь, нечего. Екатерина не такая барыня, чтобы так сейчас и отдала, что раз взяла; а взяла-то она силу. Теперь силы у ней как раз столько, чтобы нас обоих и с княжной этой на первую осину вздёрнуть. Стало быть, хоть была бы и настоящая, всё остаётся мыльным пузырём...

Потом, может ли быть, чтобы в Петербурге

я хоть вскользь не слышал, что вот у Елизаветы от Разумовского есть дети? Да и зачем было бы ему так прятать их? Ведь, слава Богу, воспитать было на что. Вон у брата Григория есть сын, так воспитывается же, не прячется... Нет, это просто, надобно полагать, штуки нашего действительного обер-камергера Ивана Ивановича, которому удалось в прошлое царствование поцарствовать, понравилось и опять хочется. Вот он и сочиняет... Да, по правде сказать, сочиняет-то неудачно... С такими государынями, какова Екатерина, подобные выдумки ведут как раз на виселицу, куда я ему от души и желаю попасть; но сам — слуга покорный, никак уж идти не подумаю... Потому отпишу, попрошу разрешения отыскать и постараюсь, как сумею; но уж ни в каком случае не стану ни пугать, тем паче бомбардировать. Ведь всю Европу на себя поднимешь...»

В это время английский консул в Ливорно сэр Джон Дик, большой приятель Орлова, ставшего всеми мерами сходиться с англичанами, чтобы Франция, с её злобой на Россию, в узде была, как говорил Орлов, — этот

Дик приехал в Ливорно и в Пизу нарочно и привёз ему копию с писем, отправленных лордом Гамильтоном к лорду Каркарту, и сведения о депеше рагузского сената в Петербург.

— А, так она в Риме! — вскрикнул обрадованный Орлов. — А я послал искать её в Венецию и Рагузу. Признаюсь, любопытно взглянуть! Я, кажется, наших великих княжон должен бы был знать... Пишут, что она называется графиней Пинненберг... Разущем, разущем... Нельзя не разыскать!.. Пошли-ка ко мне лейтенанта Христенека, — сказал он лакею, который в парадной ливрее, весь расшитый золотом, стоял как статуя в дверях, пока граф рассуждал с английским консулом.

Таким образом состоялась миссия лейтенанта Христенека, и Орлов получил известие, что принцесса едет к нему для переговоров в Пизу.

НЕТ ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ

В семидесятых годах прошлого столетия Замокворечье не блистало ещё нынешними купеческими палатами московских лордов, — палатами, которые, если нет гостей, запираются с семи часов вечера, охраняются спуском с цепей пяти собак и освещаются, опять-таки если нет гостей, парой пятериковых свеч в какой-нибудь задней комнате, излюбленной хозяевами, пожалуй, с русской лежаночкой и большим столом под образами, в то время как мраморные залы и обитые штофом гостиные, убранные напоказ, покоятся в непроглядной темноте. В то время у русских купцов таких затей ещё не было. Замокворечье было почти всё деревянное и выстроено так или почти так, как теперь строятся некоторые большие и торговые слободы. Зато в этих домах жили, как люди живут: если дом не отдавался внаймы, то занимался хозяевами полностью. В нём жили, потому что он

вполне отвечал привычкам, требованиям и условиям развития своего хозяина. Не было ни штофных гостиных, ни мраморных каминов и колонн, но было всё, что нужно и что распределялось по всему дому.

В одном из таких домов, устроенных особым узорочным образом, с коньками, шпилями, свесами и прочими затеями русского зодчества, в широкой чистой горнице нижнего этажа, убранной совершенно по-старинному, по-русски, в виде брусной избы, с широким столом, под старинными образами, в переднем углу, покрытыми сукном лавками, медным умывальником, с повешенными на нём двумя обшитыми русским кружевом полотенцами, сидел князь Юрий Васильевич Зацепин в гостях у хозяина дома, старообрядческого попа отца Вавилы, и, сюсюкая и пришёптывая, объяснял ему те обстоятельства, которые содействовали его приезду в Москву.

— Трудно жить, батюшка, очень трудно, — говорил князь Юрий Васильевич, — особенно нашему брату дворянину! Пошли на все такие строгости, такие несуразные требования, что не знаешь, как и быть! Хоть бы ва-

ше дело: у меня по Шугароновской волости чуть не вся вотчина старообрядцы. Какое бы, кажись, кому дело, какие попы там у них будут? Так нет! Молись, дескать, с какими хочешь попами, а русского попа и с причтом держи и землю им отводи! А ведь это всё расход, расход!

— Ну, батюшка князь, ваше сиятельство, с такими расходами ещё вам мириться можно; только бы не претили да не мешали. А то ведь покою не дают, так и норовят, как бы накрыть да как бы разорить. Вон пошла уж и беспоповщина. Отчего? Оттого, что старые-то попы повымерли, а новых рукоположить некому. Это, батюшка, будет похуже расходов.

— Что вы, батюшка, что вы? — прошепелявил князь Юрий Васильевич. — Хуже напрасного расхода ничего в мире нет! Разве только одно неприятельское нашествие с ним сравниться может!

— Уж и неприятельское нашествие! Ну, батюшка князь, хватил чересчур.

— Нет, право, так-с! Только неприятельское нашествие. Ведь что такое неприятельское нашествие? Расход — и только! Пожгут,

поломают, возьмут, а там и поправляй, и прилаживай как знаешь! Мор или голод никогда с ним не сравняются. Голод тяжёл, зато хлеб в цене, и кого Бог благословил запасами, наживёт деньгу. Мор, — разумеется, человек померёт, не работает, да и не ест, и расходов никаких не требует. А напрасный расход, чем ты больше тратишь, тем больше требуется. Это бездонная бочка какая-то! Что хочешь, батя, а хуже напрасного расхода ничего на свете нет!

— Ну, будь по-твоему, князь, коли уж ты не любишь так расходов! Потому-то я и говорю, что хорошо вы, батюшка, ваше сиятельство, сделали, что пожаловали сюда. Вот поговорите с князем Никитой Юрьевичем; он научит, как всё ваше зацепинское собрать да склеить, чтобы доходы, а не расходы шли. Мы потому и писали к вашей чести, что князь за то берётся, буде сговоритесь. Только с ним нужно начистоту. Он ко мне иногда жалуется, и я его знаю. Да он и сам говорит прямо: «Само собою, говорит, никто, без пользы для себя, обузы по чужому делу не берёт, в петлю, говорит, за другого не лезет; а выручить — выру-

чу, говорит, всё до копейки выручу! Это так верно, как то, что я Трубецкой».

— Что ж, ведь я ничего! — сюсюкал в ответ попу князь Зацепин. — Я буду рад хоть целую четверть отдать. Пусть берёт и хлопочет. Только бы мне расходов вперёд не платить.

— Ну, без расходов нельзя же; согласитесь, ваше сиятельство, без расходов и щей не сварить. А богатство-то ведь царское!

— Нет уж, батюшка, уволь; расходы самое как есть дело неподходящее. Своё искать, да самому же и платить. Сыскать, пожалуй, не сыщешь, а исхарчиться — исхарчишься! Щи сварить, так съешь их всласть; а тут будешь платить, платить, и вдруг шиш! Нет, батя, уж это мне не рука! А вот треть из того, что сыщет мне, получай сам.

— Ну, князь, на этом едва ли ты сойдёшься. Князь барин большой, торговаться не станет. Ему, пожалуй, обидно будет, что ты его как ярыгу какого трактовать станешь.

— По правде сказать, отец Вавило, этого-то я и боюсь. Нонче у вас все большие господа стали! — продолжал князь Юрий Васильевич. — Оно, разумеется, Трубецкие люди

фамильные, князья родовые. Хотя, по-моему, после того как они из Польши воротились, и не должно бы было им большого хода давать, дескать, были в отъезде; а их ни с того ни с сего да прямо в бояре. Ну, а Зацепины всегда Зацепины были, никому ни в чём шагу не уступали. Нам боярство не в честь! Мы в боярах не служили. Но всё же и боярство их было своё дело, дело домашнее. Боярин ли, князь ли, а все свои люда. Один служит и боярин, другой дома сидит и все чести своей родовой не теряет, всё как был, так и есть. А теперь, видишь, какие все ферты пошли. Дескать, фельдмаршал, кавалерия голубая, тайный действительный советник и там в генералах генерал. С ним и речи, пожалуй, не веди! Ну что он хочет? Половину? Возьми, пожалуй, и половину. Мне лучше половиной довольствоваться, чем ничего не получить; только вперёд давать я ничего не намерен! Сделай и бери!

— Эх, князь, да ты всё не то толкуешь; не про то я говорю! Я говорю, что ему, такого высокого чина господину, покажется обидным, что ты его как бы подкупить желаешь. Тут

ведь всё равно, что рубль, что тысяча или миллион. Ведь это не наш брат. Нам, разумеется, коли видишь — дело верное, из доли, на свой страх, поведёшь с радостью; дескать, потом всё ворочу. Ну, а такой господин... Он, пожалуй, скажет: ничего не хочу!

— Как же быть-то? Всё ему, что ли, отдать?

— Зачем всё. А как там у вас по-господски-то делается: в родню войти, что ли? Вон у него дочь красавица, так жениться или эдак что-нибудь! Одним словом, как-нибудь, чтобы того не обидеть. На жену, дескать, половину записываю. Ведь вы, ваше сиятельство, князь... да ещё и князь-то какой.

— А что нонче князь-то? Съел грязь и больше ничего! Вон нонче меня в собрание дворянское на выборы не пустили, говорят — чина офицерского нет; а на черта ли мне твой чин, спрашиваю тебя, батька? На черта ли он мне? Потому вон в собрании-то, говорят, и воюет нонче Панфутьев. А откуда эти Панфутьевы? Его дед у батюшки-покойника не то псарём, не то пастухом был; сына в рекруты сдали; а вон внук уж и нос поднимает, говорит:

высокоблагородный; хоть у этого высокоблагородного, говорят, две курицы в крепостных. Ну, пусть высокоблагородный, так что же? Всё приходится кланиться Черномышкину! А Черномышкин кто? — продолжал сетовать князь Юрий Васильевич, не обращая на поправимости, как бы про себя. — Отец мещанишкой в посаде шатался, да за конокрадство был высечен и в Сибирь сослан. А вот как эти бумажные-то деньги пошли, так, Бог его знает, каким путём из Сибири-то воротился и во какое место этих бумажных денег привёз. — И Юрий Васильевич показал руками охапку. — Говорят, будто с каким-то поляком они сами там их смастерили. А теперь сынок-от, который, как отца-то сослали, паршивым мальчишкой босиком по улицам бегал, стал первый по губернии подрядчик, именитый купец. К нему и губернатор на чашку чая заезжает, и все кланяются. Панфутьева взял в управляющие себе; дескать, пусть у меня высокоблагородный в сенях дожидает! Нечего сказать, и мне помог на постройке моста казну объегорить. Стало быть, дело нонче не в княжестве, а в мошне. У кого мошна толста,

тот и князь. Вот ведь что! Дело не в том, что Зацепин там аль Трубецкой, а в том, у кого карман толст. У кого запасы-то в закромах, а в кармане не то, чтобы соловей свистит, тот всякому князю в версту становится! А при таком деле карманы бережешь поневоле и денежки не выпускаешь, хоть бы для какого там журавля в небе... Жениться? Разумеется, отчего не жениться? Да ведь там нонче у них всё по-французскому, да всё деликатес. А мне что? Облюбовал себе красавицу из своих же да велел себе привести: сегодня одну, завтра другую, и моей жене всегда семнадцать лет. Оно, правда, не вечно же так жить? Я не прочь и жениться; только вот ихние деликатности да пикантности разные меня пугают.

— Э, князь, грешишь! Княжна Катерина Никитична девица скромная, богобоязненная и нами, людьми старой веры, не пренебрегает. Вот вчера в молельне на панихиду зашла и крестилась всё по-нашему. Князь Никита Юрьевич не то чтобы совсем наш был, но и не никонианец же закоренелый. Недаром у царя Петра Феодоровича первым человеком был и нам всякие льготы творил. Он то же, что и ты;

настоящий русский человек, в чужую совесть не мешается; пусть, дескать, молятся и поют, как хотят. Она его дочь, и уж поистине можно сказать — хорошая, добрая девица светлой подругой будет. Таковую в жёны просто и без приданого взять, так радость, а тут... Подумай!

— Думано много, отец Вавило; да как тут ни думаешь, всё выходит клин. Жить просто нечем! Батюшка-покойник, дай Бог ему царствие небесное, нас совсем избидел. Ему, разумеется, было жить с полгоря. У него было более десяти тысяч душ, да тогда не было и таких требований. Брату Андрею, разумеется, было жить и того лучше. Ему, кроме того, что отец, в обиду нам, оставил, от дяди всё имение перешло; имение большое, богатое, и капиталы, такие капиталы, что, как я ни считаю, всё сосчитать до точности не могу!

В это время к дому подъехала закрытая карета, без гербов и с немым мальчиком вместо лакея на запятках.

— А вот постой! Князь Никита Юрьевич сам, кажется, пожаловать изволил! Поговори с ним, дело лучше увидишь и сам себя вернее

усчитаешь.

И точно, в светёлку старообрядческого по-па вошёл генерал-фельдмаршал и андреевский кавалер, князь Никита Юрьевич Трубецкой.

Князь Никита Юрьевич вошёл весело, хотя и можно было заметить, что нет-нет, а как-то конвульсивно подёргивается его правое плечо.

— Ну вот, отец Вавило, и мы к тебе в гости! Ведь ты никонианца не выгонишь? Не станешь после него светёлку святить?

И он остановил свой взгляд на незнакомом ему Юрии Васильевиче, как бы встретил его неожиданно и не знает, что это за человек.

— А, батюшка князь, твоей милости всегда рады! Такой никонианец, как ты, сотни православных стоит. Мы вот и так с его сиятельством князем Юрием Васильевичем Зацепиным говорили, что благочестие в вашем доме искони живёт. Ведь, ваше сиятельство, изволите знать князя Юрия Васильевича?

— Нет, не имею чести. Вы изволите быть родственником князю Андрею Васильевичу? Был мне добрый приятель, и какой человек

был, какой человек... Его дядюшка, Андрей Дмитриевич, был во флоте вице-адмиралом и в большом почёте, тоже мне приятель был!

— Андрей Васильевич родной брат мне; позволю себе вашему сиятельству представиться! — просюсюкал Юрий Васильевич.

— Большие были мне приятели ваш братец и ваш дядюшка Андрей Дмитриевич. Какие люди были. Таких людей и нет нонче...

— Да-с, брату хорошо было жить. Дядюшка ему оставил...

— Мы поговорим об этом, поговорим! Вот прошу сегодня вечером навестить мою хату в Кремле, — вам укажут, — по-русски чаю напиться. Ну, а что вы?

И Никита Юрьевич сел, приглашая рукой садиться и Юрия Васильевича.

— Что, ваше сиятельство, по нонешнему времени всё худо; всё расход, расход, а доходы всё урезывают, — начал шепелявить Юрий Васильевич, садясь. — И как ещё урезают-то, Бога не боятся просто; несуразно, совсем несуразно! Вот хоть бы моё дело, по рекрутству. Разумеется, брату думать ни о чём не приходилось. У него больше двадцати ты-

сая душ было; а мне как досталось всего полторы тысячи, так поневоле пришлось подумать. Не сгинуть же было, как брат Дмитрий, — сперва промотался, а после и совсем сгиб. Я ни промотаться, ни гибнуть не захотел. Подумал: люди и с ничего начинают, да капиталы наживают, отчего же и мне...

— Что ж вы придумали?

— Да что, ваше сиятельство, придумал я, казалось бы, дело хорошее: рекрутов поставлять. Купил я вотчину да подростков всех и сдал в рекруты; народ молодой, здоровый; казне, надеюсь, приятно было таких рекрутов принимать, а квитанции я в продажу пустил. Другому или другой не хочется с сыном, с мужем или женихом расставаться, детей оставлять, — покупают. И все довольны. А вотчина-то мне выходит не только даром, а с барышом пришла. Ну, думаю, дело подходящее, стал торговать другую вотчину. Думаю, оборочусь: молодцов в рекруты, а девок на вывод. Малолетки, пожилые да женщины — все мне в барышах будут; ну и земля, и всё прочее. И ни за что всё придёт, задаром, ещё прибыльк дадут! Не тут-то было! Говорят: «Нельзя, де-

скасть, дело не дворянское! Это, дескать, значит, живым человеческим мясом торговать!» Как не дворянское, так чьё же? Ведь у купцов вотчин с крестьянами нет! А что мясо-то живое, так что же? Не мёртвых же продавать? Вот кабы я обманывал казну да вместо хороших рекрутов каких-нибудь калек сдавал или бы квитанции обманные продавал, тогда так! А то... ну скажите, ваше сиятельство, вы сами изволили генерал-прокурором быть, чем тут я нарушил закон? Ведь они мои. Если я купил их, то, стало быть, мои, не правда ли? Мои или не мои, — ведь что-нибудь одно, не правда ли? Если мои, то кто же может мне препятствовать делать с ними что угодно, стало быть, и в рекруты ставить? Если же не мои, то за что же я деньги-то заплатил?

— Так-то оно так, — подумавши, ответил Трубецкой. — Только, кажись бы, по человечеству...

— В том и дело, ваше сиятельство, и я тоже говорю, что по человечеству нельзя заставлять даром деньги платить, расчёты хозяйственные нарушать! — с азартом и ещё сильнее сюсюкая и шепелявя, стал говорить

Юрий Васильевич. — Если бы не было закона о покупке, я бы не покупал. А то я купил, а тут говорят, нельзя. Пожалуй, ещё и девок на вывод продавать запретят. Да что же это будет? Разбой, просто разбой! Там, с одной стороны, говорят, поднимаются на помещиков злодейства разные; кто говорит, что донской казак, а кто... Ну да это дело не наше; а тут... Помилуйте... Разумеется, если бы ваше сиятельство...

Трубецкой посмотрел на него грустно; потом опять как-то конвульсивно подёрнул рукой, даже вытянул её вперёд, но промолчал и стал прощаться, повторив своё приглашение пожаловать вечером к нему.

«Капиталы, большие капиталы, говорить нечего, — думал он, — но человек-то, человек... Да человек ли ещё он? — подумал князь, садясь в карету. — Бедная Китти!»

И его левый глаз сильно замигал; всё лицо передёрнуло сперва левую, а потом правую сторону; правую ногу повело. Он даже вскрикнул в карете. Но сейчас же всё прошло, и карета покатила.

«Непременно бы нужно с хорошим доктором поговорить, — думал Трубецкой, сидя в

карете, — да с кем? Вот если бы Ерскин Петра Великого был жив, так с ним бы. У Петра и не такие, как у меня, судорожные подёргивания были, и ничего. А из новых, — не слышно что-то, чтобы кто это дело понимал!»

И Трубецкой задумался о прежнем времени. Ему что-то чаще и чаще стало приходить на память оно, это прежнее время; чаще и чаще он начинал вспоминать... Но не любил он этих воспоминаний. Лучше думал о князе Зацепине. И стал он думать о князе Зацепине и опять невольно повторил себе: «Бедная Китти».

* * *

Получив известие от Христенека, что так называемая княжна Владимирская решилась ехать в Пизу, Орлов ждал её с нетерпением.

«Она любит жить, хорошо жить, — говорил чесменский герой. — Ладно, мы распорядимся! Покажем, что морокуем кое-что по этой части. Устроим всё как следует, устроим на славу! Пусть не говорит, что русские не умеют распорядиться. Она избалована, ну и

мы её побалуем! Пусть знает, что граф Орлов-Чесменский о ней заботится, что он ей верит... Верит, стало быть, считает обязанным ничего для неё не жалеть!»

И он нанял для неё один из великолепнейших мраморных дворцов Пизы, с садом, идущим по склону горы и видом на долину, покрытую виноградниками, прорезываемую рекой Арно и центральным каналом, соединяющим комфортабельную, роскошную Пизу с торговым портом Ливорно.

Нанятый для Али-Эметэ дворец он обставил всей русской роскошью екатерининского времени. Он знал, что с ней приедут её шталмейстер и камергер, также её любимая камер-юнгфера; знал, что затем из Рима, из Рагузы, из Венеции явится весь её штат. Тем не менее из своих адъютантов он особо назначил гоф-интенданта двора всероссийской великой княжны и под его главенством метрдотеля, тафельдекеров и кофешенков, с соответственным количеством необходимой прислуги, по образцу штата петербургского большого двора. Конюшня тоже была наполнена лучшим и лошадьми с конюшни Орлова. Эки-

пажи, выезд, всё было снаряжено и устроено превосходно. Два камер-фурьера были назначены смотреть за убранством комнат и служить княжне; при них находилось достаточное число камер-лакеев, официантов, негров, для комнат и для выезда. Выезд, по её приказанию, мог сопровождаться конвоем из четырёх казаков, четырёх фанариотов и двух черноморцев, в их национальных живописных костюмах. Грумы, кучера, выездные лакеи — всё это было устроено царски хорошо, буквально великолепно, как для истинной русской великой княжны, имеющей все права на полное к ней внимание. При этом Орлов везде старался примениться ко вкусу Али-Эметэ, насколько он мог судить о нём по слухам и рассказам, которые Орлов собирал о ней повсюду.

Ожидая её, он решил, что внешних оваций при её приёме делать не следует.

«Во-первых, внешние овации могут вести к дипломатическим недоумениям; а во-вторых, ведь мы заговорщики, съезжаемся, чтобы сговариваться, соглашаться, придумывать, как бы вместо Екатерины II посадить на рус-

ский престол Елизавету II. А такого рода заговоры делаются втайне. Явно я должен показывать, что и не знаю о её прибытии, не знаю, за кого она себя выдаёт. Явлюсь к ней с полным уважением, но под сурдинкой, дескать, боюсь, как бы заранее Екатерина не узнала. Какие же овации и манифестации тут могут быть? Нет, ясно; всё внутри стен и ничего наружно. Она поймёт это, и я ей поясню».

И он написал в Рим, чтобы перед выездом она переименовала имя, для того чтобы те, кто знал её под именем графини Пинненберг, не могли думать, что она-то и переговаривается с Орловым.

Али-Эметэ, по этому совету, приняла на себя имя графини Селинской.

Княжну подвезли прямо к приготовленному для неё дворцу. На лестнице её встретили два русских офицера, посланные для того Орловым, и гоф-интендант её двора.

Али-Эметэ любила роскошь и привыкла к ней, проживая состояние Ван Тоуэrsa, Шенка, Марина, Рошфора, князя лимбургского и пенсию Радзивилла, но и она была поражена роскошью убранства, изяществом и комфор-

том, которыми её окружили.

Согласно придворному этикету, гоф-интендант её двора, представившись сам, представил ей и старших лиц её двора. Затем прислуга представлялась Доманскому и Чарномскому, по их званиям камергера и шталмейстера. Всё было чинно, изящно, отличалось изобилием, хорошим вкусом.

На другой день, едва Али-Эметэ встала, явился к ней от Орлова генерал-поручик русской службы де Рибас. Он спросил о её здоровье, передал от имени Орлова поздравление с прибытием и в самой почтительной форме выразил желание знать, не встречается ли в чём надобности, испрашивая с тем вместе для графа Орлова аудиенцию.

— Передайте графу мою искреннюю и глубокую благодарность за всё, что им для меня сделано. Я здорова и очень буду рада видеть его во всякое время, хоть сейчас!

Де Рибас, разговаривая с ней, титуловал её высочеством, а однажды даже, будто обмолвившись, назвал величеством.

Али-Эметэ была в восторге от всего, что она видела и слышала.

— Да, передайте графу, что я его сердечно, от всей души благодарю и рада видеть его всегда...

В эту минуту, будто вызванный волшебной силой её слова, как лист перед травой предстал перед ней замечательно высокий, стройный, плотный мужчина, с выражением необыкновенной энергии и мужественной силы. Эта сила, если можно так выразиться, светила в каждом его движении, в каждом взгляде. Его плоское, довольно широковатое лицо весело и откровенно смотрело на неё; оно улыбалось приветливо, светло, так показалось, по крайней мере, Али-Эметэ, несмотря на то что несколько нависшие, густые брови придавали его лицу выражение строгости. Волосы его были слегка напудрены и падали кольцами на плечи, оттеняя белизну и нежность кожи не красавчика Григория, но русского удальца Алексея Григорьевича, который был, что называется, кровь с молоком, напоминая собой сказочного богатыря, воеводу светлого князя Владимира Красное Солнышко, Добрыню Никитича. И точно, Орлов был русский богатырь. Мускулы будто из ста-

ли; в плечах именно косая сажень; рука как молот; на лице боевой шрам виднеется; зубы мелкие, ровные, белые как снег, готовые перекусить железо. Казалось, ступит он — земля подастся; ударит — дом развалится; схватит за руку — руку оторвёт, за ногу — ногу, за голову — головы не будет...

Одет он был в генерал-адъютантский мундир русской императрицы, с голубой лентой через плечо и двумя звёздами на груди, украшенными бриллиантами, величине которых позавидовал бы сам великий могол.

Али-Эметэ сидела в креслах, когда он вошёл. Она хотела было приподняться. Инстинктивно она угадала, кто к ней входит, и хотела встать, приветствовать, но вместо того невольно откинулась назад и сделала бессознательное восклицание не то испуга, не то радости. Ей хотелось идти ему навстречу, сказать какое-нибудь ласковое слово, но она не могла, ничего не могла... Она просто обомлела, так поразил её вид и взгляд вошедшего.

— По слову вашего вёл... императорского высочества, я счёл долгом явиться ту же минуту, чтобы засвидетельствовать свои раб-

ские чувства беспредельного почтения и то бесконечно преданное вашему императорскому высочеству сочувствие, на которое от всякого русского вы, по вашему высокому происхождению и вашим несчастиям, имеете неотъемлемое право.

Али-Эметэ всё ещё не могла собраться с силами ему отвечать, не могла овладеть собой, подняться, и всё ещё по-прежнему полулежала в креслах, остановив на нём пристальный взгляд своих больших, страстных, выразительных глаз, как бы желая насмотреться на него, изучить его.

Перед ней был герой Хиосского пролива, сказочный витязь силы и мужественности, граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.

Проговорив своё приветствие, Орлов стоял перед ней, несколько склонившись и окидывая в свою очередь её своим быстрым, пронизательным взглядом. Она всё ещё молчала, не находя ни слов, ни голоса, чтобы говорить.

— Да какая же вы красавица, матушка княжна, ваше императорское высочество, позвольте вашу ручку поцеловать! — продол-

жал Орлов, впадая в тон привычной своей искусственной простоты. — Я человек простой, русский и не знаю этих немецких тонкостей, где и что нужно говорить; а всё скажу, что такая красота... Вся вы в матушку вашу, покойную царицу, от которой все посланники с ума сходили и говорили, что краше её и на свете нет. И точна была хороша она, я её чуть помню; а вот вы её живой портрет. Позвольте ручку вашу поцеловать!

Али-Эметэ наконец осилила себя.

— Рада познакомиться, граф, со славным победителем врагов православия и нашего дорогого отечества; тем более что первое слово моего знакомства должно быть слово глубокой благодарности за всё, за всё.

Собравшись с силами это высказать, она подала ему свою руку с робким чувством ожидания и даже как бы невольного трепета.

Али-Эметэ чувствовала, что этот человек приковал к себе её внимание; что влияние его на неё неотразимо; что дальнейшая жизнь будет зависеть уже от него. Где бы она ни была, что бы она ни делала, она уже не забудет, никогда не забудет ни огневого взгляда

его серых глубоких глаз, ни его улыбки, приветливой и светлой, ни его голоса, пронизающего душу, ни его простой и, как ей казалось, полной искренности речи... Да, она вечно будет помнить их, как будет помнить эту могучую фигуру, которою сама природа, казалось, хотела очертить в её воображении тип русского богатыря и очертила совершенно рельефно в Алексее Орлове, имя которого в это время сияло ещё не потускневшим ореолом чесменской победы.

Она проговорила свои слова и хотела приподняться, чтобы на поцелуй её руки дать, согласно тогдашней моде, ответный поцелуй в его щёку или голову, но не могла осилить себя. Поневоле пришлось ей снова опуститься в кресло, и она опустилась, ослабелая, изнеможённая...

— Ваше высочество изволили устать с дороги, утомиться? — спросил Орлов, заметив её изнеможение. — Я вас беспокоил?

— Нет, нет! — торопливо отвечала Али-Эметэ. — Я рада видеть вас, граф! Я так желала... я так много о вас думала... Я представляла всегда себе, что только один Орлов, Алек-

сей Орлов, в силах почувствовать, в силах понять, что я перенесла и что переношу, оторванная от родины, можно сказать, брошенная на произвол случая...

Разговор перешёл на политическую почву, в которой Орлов показал себя знатоком человеческого сердца, стало быть, тонким политиком. Он сразу подделался под её тон и вкус, угадав её мысли, её желания и олицетворив в себе все её надежды; так что, когда ушёл Орлов, Али-Эметэ осталась как бы очарованная. Ей уже казалось, что она в Петербурге и что корона, русская императорская корона, уже на её голове...

До самого вечера ходила она отуманенная, трогая ту свою руку, которую поцеловал Орлов, и прикладывая её иногда к своей горячей голове. Ей думалось, что вот эта самая рука может уже счастливить, может миловать. Она, эта рука, вызывает на её правление благословение её подданных, между которыми первый, вознесённый её благоволением на верх счастья и славы, это граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.

От неё Орлов зашёл с визитом к кавалерам

её двора, её шталмейстеру Чарномскому и камергеру Доманскому и поразили их своей вежливостью и любезностью, несмотря на грубоватость формы, в которую он облёк своё тонкое искательство.

Он укрепил в них уверенность, что они служат действительной наследнице русского престола, от которой, при некоторой отважности и ловкости, зависит надеть на себя императорскую корону четырёх древних царств. Встретив при выходе Мешедэ, Орлов и ту не оставил своим вниманием, оживив её надежды на будущее счастье; так что, когда он уехал в свой дворец, все окружающие Али-Эметэ утопали в эмпиреях надежд и мечты; все они были как бы в тумане.

Возвратясь к себе, Орлов счёл нужным сейчас же написать Екатерине. В письме своём Орлов обрисовал личность всклепавшей на себя имя таким образом: «Росту она небольшого, телом суховата. Лицом ни бела, ни черна, глаза имеет большие, открытые, волосы тёмно-русые... Говорит хорошо по-французски, по-немецки, по-английски и по-итальянски; надобно думать, знает и польский язык,

только в том не открывается. Уверяет она, что хорошо владеет арабским и персидским языками. Свойство имеет отважное и своею смелостью много хвалится...»

Впрочем, Орлов хорошо знал, что женщине нельзя понравиться тем, что ей будешь расхваливать красоту другой женщины, и отчасти писал об Али-Эметэ так, чтобы не возбудить к себе неудовольствия. «Итак, матушка Екатерина» писал он, — начинают подшучивать да подсмеиваться, что чесменский победитель попал на Фенелонов остров и очарован голосом победившей его, всклепавшей на себя имя сирены. Ну да пусть их смеются. Тебе бы угодить».

Екатерина оправдала и утвердила вполне принятые Орловым меры, признавая, что первоначальное распоряжение её о требовании выдачи самозванки от рагузского сената, данное под влиянием первого впечатления, а может быть, согласно совету Григория Григорьевича, который любил решительные меры, было неосновательно. С тем вместе она предписывала во что бы то ни стало доставить к ней всклепавшую на себя имя — живой или

мёртвой.

На другой день утром граф Орлов, приняв визиты Чарномского и Доманского, которые вышли от него опять в восторге, видя мечты свои осуществляющимися, опять в полной форме и в орденах явился к Али-Эметэ узнать: нет ли приказаний и нет ли в чём надобности? Али-Эметэ постаралась его удержать. Орлов остался, видимо, с удовольствием, но сдержанно, сохраняя вид полной верноподданнической почтительности, разбить которую было не в силах никакое влияние, никакое чувство. Вся его мысль, казалось, была направлена к тому, чтобы угодить своей государыне, угадать и предупредить все её желания. Он, казалось, не смел позволить себе даже думать о чарующем влиянии её красоты, о прелести её женственности. Он был только верноподданный, и более ничего. Такая сдержанность сперва смутила Али-Эметэ; потом возбудила её, вызвала в ней страстное, невыразимое желание его победить. Она хотела заставить его увлечься, забыться, хотела, чтобы он подчинился не только значению её происхождения, но и силе её очаровательного ко-

кетства. Одним словом, она хотела победить его как женщина. Но победить Орлова было нелегко; особенно той, которая, смотря на него, сама таяла от желания, сама сторала от страсти.

Каждый день являлся Орлов докладывать ей о состоянии своих команд, подавал строевые рапорты, спрашивал о её приказаньях, будто был назначен главнокомандующим морских и сухопутных сил, действующих в Средиземном море, её велением, как его государыни и повелительницы. Каждый день Али-Эметэ оставляла его у себя, придумывала новые способы подвинуть его на сближение, на интимность. Орлов не уклонялся; напротив, минутами казалось, сдавался, подчиняясь чарующему увлечению. Но это было только минутами. Почтительная сдержанность опять брала верх. Она осиливала и чувство, и возбуждение, тушила порыв страсти и огонь увлечения.

Однажды вечером сидели они в саду под ясным, голубым пизанским небом, в виду великолепной падающей башни. Аромат поморанцев раздражал обоняние; теплота воздуха

и лёгонький ветерок, именно зефир, дующий с моря от Ливорно, располагал к неге. Али-Эметэ рассказывала свои похождения. Орлов молчал и слушал.

— Да, это была грустная история! За что и почему мать моя, государыня, разгневалась на моего отца, я, разумеется, ни понять, ни оценить не могла. Но партия, которая стремилась к тому, чтобы сделать эту ссору непримиримой, зная привязанность моей матери ко мне, не пожалела семилетнего ребёнка. Мне дали яду. До сих пор мне мерещатся те страшные мучения, которые я тогда испытала. По счастью, тут случился доктор Шилинг; он дал мне сильное рвотное и тем спас мне жизнь. Тем не менее мать моя должна была уступить внешнему давлению, и меня убрали.

Меня увёз бедный священник и моя нянька, так как жизнь моя была в непрерывной опасности. В каждом подносимом мне куске хлеба я должна была бояться отравы. Но куда скрыть, где воспитать ребёнка, которого ищут, преследуют враги, имеющие столько влияния, что могли заставить мать мою от

меня отказать, а отца — заставить забыть! Меня скрыли у одной старушки помещицы, откуда персиянин Гамет увёз меня в Персию к родственнику Разумовского, бывшему у Надир-шаха первым визирем. Это был князь Гали... — Она остановилась и задумалась. — И я должна была привыкать к новому порядку жизни, к новым обычаям. Лелеенная и балованная матерью в детстве до того, что все преклонялись перед капризными требованиями ребёнка, я в чужом гареме, окружённая чужими людьми, должна была угождать всем, чтобы не встречать упрёков, укоров, а иногда и побоев от многочисленных жён князя, принявшего меня на воспитание... Грустно мне было, очень грустно!

«Да, точно была бы грустная история, — подумал Орлов, — если бы не была от слова до слова ложью». Но это он, разумеется, только подумал, показывая к словам её полное внимание и выражая её несчастьям видимое сочувствие.

— Когда мне минуло шестнадцать лет, многие находили, что я недурна, и решили, что я должна ехать в Европу, чтобы занять

принадлежащее мне место. Тут и воспитавший меня князь Гали, родственник моего отца, и его политические друзья окружили меня своим вниманием. Они дали мне средства и поддерживают меня до сих пор. Я проехала Россию в мужском платье, под видом служки одного архиерея, приехала в Берлин, там виделась с лордом Кейтом, братом того, который был на русской службе. Там виделась и с королём. Фридрих принял меня весьма приветливо и обнадёжил в помощи, в случае если в России найдётся партия, готовая меня поддерживать. Это совпадало ровно с тем временем, как Екатерина вступила на престол, и планы прусского короля рассыпались в прах от смерти Петра III. Такого же рода удостоверение получила я и от шведского короля, бывшего тогда кронпринцем, с которым я встретила в Париже у герцогини де Круа. В Париж я поехала из Берлина. Здесь я сошлась с министрами Людовика XV и многими князьями Германской империи, между которыми встретила особое сочувствие в курфирстве Трирском и князе гольштейн-лимбургском. Последний влюбился в меня и предложил не

только своё сердце, но и руку; но могла ли я принять их, когда у меня была в виду обширная империя, моя прекрасная родина. В Париже сошлась я также с польскими конфедератами, которые обязались в помощь мне сформировать польский легион и стали настаивать, чтобы я ехала к турецкому султану Абдул-Гамиду и при помощи его верховного визиря Халиль-паши, находящегося в дружеских отношениях с воспитавшим меня персидским визирем князем Гали, убедила его принять во мне явное участие. Но тут начинаются любовные преследования меня князем Радзивиллом, от которых я принуждена была бежать в Рим...

— И получить сведения от верноподданнейшего слуги, который головы своей не пожалеет, чтобы видеть светлое личико вашего императорского высочества украшенным короной, на которую вы столько лет имеете неоспоримое право и которую до сих пор владеет узурпаторство. О, великая, прекрасная княжна, повелите только, скажите — и Орлов, сумевший надеть эту корону на голову Екатерины и в благодарность за то отправ-

ленный в почётную ссылку, сумеет восстано-
вить вновь нарушенное право и поднести эту
корону нашей прирождённой государыне
Елизавете II.

— Граф, вы меня смущаете! — проговори-
ла Али-Эметэ кокетливо, но робко, видимо в
волнении, и тая от восторга перед его увлече-
нием. — Я бы согласилась на это в таком толь-
ко случае, Сели бы... если бы...

Она задрожала от своей мысли, однако ж
осилила себя и мягко, с выражением томно-
сти и неги, проговорила:

— Если бы вы согласились разделить со
мною бремя правления.

Слово было брошено, а Орлов был не такой
человек, чтобы им не воспользоваться. Но он
и тут не торопился. Он видел, что она во вся-
кую минуту может быть его; что от него зави-
сит потребовать от неё всё, что можно требо-
вать от женщины, и она будет не в силах ему
сопротивляться, не в силах отказать; стало
быть, нужно немножко терпения. Нужно ма-
ленькое терпение до тех пор, пока страсть не
дойдёт до предела, когда шаг далее — уже
безумие.

Провожая из сада Али-Эметэ к её дворцу, Орлов случайно наткнулся на четырёх человек полупьяных гвардейцев тосканского герцога Леопольда, брата германского императора, сына Марии Терезии, королевы австрийской и венгерской. Флорентийские гвардейцы считали себе дозволенным в недавно присоединённом к их герцогству славном городе Пизе, потерявшем уже прежнюю свою силу и величие, немножко посвоевольничать и побушевать, как везде, где администрация опирается исключительно на военную силу.

Видя хорошенькую женщину, провожаемую одним, когда их было четверо, они начали к ней приставать. Необыкновенная сила Орлова выручила её из неприятного и опасного приключения. Первый, который подошёл к ней близко, получил удар, подбросивший его кверху и заставивший отлететь шагов на десять прежде, чем он упал. Едва ли после такого удара он остался жив; по крайней мере, в ту минуту он лежал без движения. Три других, разумеется, не смели подойти, но побежали звать товарищей, чтобы остановить убийцу. Орлов торопит Али-Эметэ идти;

но та, истомлённая продолжительной прогулкой и волнением, не могла. Тогда он подхватил её, как пёрышко, посадил к себе на плечо и, сказав, чтобы она держалась за его голову, зашагал своими исполинскими шагами. Через две минуты Али-Эметэ была уже в своём дворце.

С этой ночи Али-Эметэ только и думала, что о нём, о своём герое, своём Алексее, который везде её защитит, везде охранит. Он даст ей царство и будет им управлять как её друг, муж-правитель, так точно, как управлял Англией Вильгельм Оранский.

«Почему же нет? — думала Али-Эметэ. — Он будет любить меня, беречь, лелеять. Ведь через меня он получит царство, империю. А он честолюбив. Не буду же я Екатериной, которая, в благодарность за корону, отправила его, как он говорит, в почётную ссылку, надеюсь, что в борьбе с турками он сложит свою буйную голову. Нет, я эту голову буду беречь, охранять, украшу её короной, которую через него же получу. Но нужно связать это крепче, нужно привязать его к себе, приковать, как невольника, как приковала я к себе князя

лимбургского, Чарномского, Доманского, Шенка и этого бедного Ван Тоуэrsa. Освободили ли его, бедняка, из тюрьмы кредиторы?.. Нужно приковать, а для того нужно заставить Орлова забыть на минуту свою ко мне почти-тельность, как к государыне, для любви к женщине; нужно увлечь... Мужчина никогда не оставляет меня, когда я ему отдаюсь. Но эти русские так нерешительны... А как он силен, как могуч!»

В этих мыслях, млея от собственной своей мечты, Али-Эметэ перебирала все средства, чем бы можно было вызвать со стороны Орлова увлечение её красотой до самозабвения, до страсти...

А Орлов, возвратясь к себе и целуя ожидавшую его страстную графиню Чириолли, жившую у него, к великому огорчению его дальней родственницы Катерины Львовны Давыдовой, уже целые три дня, так как она отпросилась у своего мужа ехать в Рим принять благословение вновь избранного святого отца папы и участвовать в тамошних празднествах, — в это время думал:

«Баба-то, всклепавшая на себя имя, втюри-

лась, кажется, в меня порядочно. Ну что ж — и дело! Пора, давно пора! В Петербурге просто горят от нетерпения. А врёт-то как здорово, без милосердия врёт! Чего тут не придумала: и визирь-то персидский, и прусский король Фридрих, и корону-то разделит... Дело хорошее, было бы что делить!.. Ну, ладно! Осчастливим, осчастливим, успокойся! Не плачь только потом!..»

И он подписал приказание лучшим судам своей эскадры прибггть с Паросского рейда в Ливорно.

* * *

Никита Юрьевич Трубецкой вошёл совершенно измученным в свой кабинет после чая, за которым он представлял своему семейству и своей Китти князя Юрия Васильевича Зацепина, долженствующего получить по наследству тридцатимиллионное состояние. Этот будущий миллионер держал себя до того нелепо, что с первого же раза вызвал к себе общее презрение. Он был до того дик, что не удержался, чтобы не похвастаться перед его

женой и дочерью даже своей рекрутской операцией и не рассыпаться в жалобах на то, что его заставили такое выгодное дело прекратить. Он и княжне Китти предложил тот же вопрос, который предлагал князю Никите Юрьевичу.

— Если я их купил, заплатив деньги, то мои они или не мои? Если мои, то кто же может мешать мне делать с моими людьми, что я хочу? Если же не мои, то зачем же заставляли меня за них деньги платить? За что казна взяла пошлину, совершая купчую крепость? Говорят-с, — прибавил, суюкая, Юрий Васильевич, ни с того ни с сего вздумав вдаться в учёность, — в Риме-с прежде, не в нынешнем-с, а в прежнем-с, императорском Риме, были тоже-с рабы у тамошних господ... как они звались-то?.. да, патриции-с. Так что же-с? Они откармливали ими своих мурен, — рыба такая у них была-с, — чтобы вкуснее стала. Разумеется-с, по-моему, это было очень глупо со стороны римских господ, потому что невыгодно-с. Ну, скормишь раба рыбе, скушаешь рыбу — и не будет ничего; тогда как раб мог бы работать-с или оброк-с платить. Так это

было очень глупое обыкновение. Но законно, совершенно законно по римскому праву, потому что если уж он раб мой, так он мой, и я могу делать с ним, что хочу-с. А у нас какой это закон?

Китти за эту учёность его, — заметил Никита Юрьевич, — бросила на него такой взгляд, который мог исходить только от полного отвращения. «Да кого и не отвратят подобные рассуждения, особливо с его шепелявением и сюсюканьем? — подумал Никита Юрьевич. — Но тридцать миллионов, тридцать миллионов!..»

И вот, с одной стороны, ему вспоминается, как его опозорили, выгнали, с царства отправили прямо в ссылку.

С другой — рисуется возможность отплатить жестоко своим врагам, имея в своём распоряжении такой капитал, который даст силу интриге и поддержит разгоревшееся восстание.

Затем мерещатся ему массы злодейств, которые это восстание производят: вешание помещиков с чадами и домочадцами, гибель церквей и служащих при них, разорение

края. И этому всему он виноват, он!..

Потом мысли его перешли на медленность появления выдуманной им княжны, уклонение от неё иезуитов, слабость действий конфедерации, колебания Франции и, в заключение, Китти и её естественное отвращение от такого жениха, которого не прикрасишь ни княжеским титулом, ни золотым мешком.

Всё это мучило Никиту Юрьевича, томило, волновало, выводило из себя. А тут ещё вспоминалось и прошлое: Долгоруковы, Головкин, Бестужев, Бирон, пытки, казни, которые когда-то он назначал и производил, чтобы или мстить за себя, или угодить другим. А Лопухина? А Ягужинская, бывшая потом за Михаилом Бестужевым? А первая жена его? Всё это его, чисто его дело. И в заключение всего опять: «Опозорили, выгнали». Стоило ли из-за этого биться?

Вошёл Евсеич и сказал, что княжна Катерина Никитична прислала спросить, может ли она прийти к отцу.

— Проси! — отвечал князь.

«Она пожертвует собой для меня, — подумал Трубецкой, — пожертвует собой для мще-

ния за имя князей Трубецких, не прощающих обиды. О, милая, дорогая, любимая дочь, мне жаль тебя, жаль!.. Но опозорили, выгнали...»

Княжна Китти вошла. С минуту молчали и отец, и дочь. Друг от друга ждали первого слова.

Никита Юрьевич судорожно моргнул глазом, но спросил:

— Ты хотела меня видеть, милая?

— Да, папа, я хотела вас спросить. Помните, вы говорили мне о князе Зацепине, о вашем оскорблении, о миллионах, которые Зацепину достаются. Я вам сказала, что для того, чтобы смыть сделанное вам оскорбление, отплатить врагам вашим, я готова на всё. Теперь я позволяю себе спросить: вы видели этого князя Зацепина? Без сомнения, вы слышали его рассуждения, которыми перед нами он себя так ясно очертил. Если вы слышали, то позволяю себе вас спросить: человек ли он?

— То есть как это — человек ли? — спросил Никита Юрьевич, вспоминая, что именно этот же вопрос он сам себе сделал, после того как первый раз говорил с ним. — У нас в то

время разговор, кажется, шёл, мой друг, не о человеке, а о капиталах.

— Да, но эти капиталы должны же принадлежать человеку, хорошему или дурному, умному или глупому, красивому или безобразному, но непременно человеку. Так ли, папа? А человек ли князь Юрий Васильевич Зацепин, или обезьяна, собака, или какой другой зверь?

— Моя милая, разве можно так резко говорить?

— Нет, папа! Но отвечайте просто на мой вопрос. Если вы находите, что можно назвать человеком того, кто жалеет, что вы по закону не можете, например, вашим Евсеичем, который более сорока лет за вами ходит, накормить собак, и находит самым хорошим делом продажу девок на вывод; особенно заметьте его примечание, что он сказал: «В Москву много покупают и дорогие деньги дают», и это сказал он мне, о которой думает, что я могу быть его невестой... если вы находите, что это по-человечески, — то я не отступаю от своего слова и иду за него. Но, папа, если вы и сами находите, что человек так думать и го-

ворить не может, то неужели вы согласились бы выдать меня замуж за собаку или обезьяну, если бы, положим, у собаки этой или обезьяны были те тридцать миллионов, которые, при вашей помощи, могут достаться Зацепину?

На это Никита Юрьевич хотел отвечать, хотел отвечать сильно. Ему в глазах рисовались слова «опозорили, выгнали», и он хотел распространиться о преданности роду, о величии самопожертвования. Но вдруг лицо его сильно заходило, глаза замигали судорожно, что-то начало дёргать то одну, то другую щеку, и рот начало сильно перекашивать. Он невольно закричал от страшной нервной боли.

Никита Юрьевич стоял в это время посреди своего кабинета против дочери, которая столь настойчиво предложила ему разрешить вопрос о человеческом достоинстве предложенного им жениха.

Вдруг рука его приподнялась, подёрнулась; потом приподнялась и дрыгнула нога; потом другая рука и другая нога, подался и весь корпус. Он опять испустил нечеловеческий

крик, — крик отчаянный, страшный, и вслед за этим криком пошёл плясать по кабинету, дрыгая руками и ногами и поддёргивая ими, в то время как судороги сводили его лицо, глаза, щёки и заставляли двигаться даже его уши.

Он кричал отчаянно, страшно и начал крутиться в пляске по комнате, будучи не в силах остановиться.

Княжна Китти, омертвелая от испуга, с минуту молчала.

— Папа, милый папа, что с тобою? — вскричала она. — Я согласна, согласна, хотя лучше бы ты похоронил меня! Я сделаю всё, что ты хочешь! Папа, папа!

Но Никита Юрьевич не отвечал ни слова, продолжая свою пляску по комнате и выпуская те ужасные крики, которые определяли невыносимость чувствуемой им боли, происходящей от дёрганья нервов и судорожного сведения мускулов.

Сошлись домашние и смотрели с ужасом, не зная, что делать, что предпринять. Евсеич догадался послать за доктором.

Доктор пришёл, посмотрел и не мог даже

взять руки Никиты Юрьевича, чтобы пощупать пульс, так он прыгал, скакал, начиная иногда биться головой о стену.

— Что это такое, доктор? — спросила княгиня.

— Такая болезнь нервная, страшная болезнь. Нужно уложить его, хотя силой, в постель. Я пропишу лекарство.

— Как называется такая болезнь? — спросил старший из сыновей, который тут был.

— Пляска святого Витта. Иногда она сопровождается страшными мучениями. Дай Бог князю силы их вынести.

— Отчего, отчего? — спросил князь Юрий Юрьевич. Доктор пожал плечами.

— Нет действия без причины, — отвечал он. — Душевное расстройство, нервные потрясения, глубокое огорчение. Но почему и как — этого ещё не дано нам знать!..

VII

ОТЧЕГО ЗАГОРЕЛСЯ СЫР-БОР

Орлов угощал ужином Али-Эметэ. Они ужинали вдвоём и вместе составляли планы свержения Екатерины с престола.

Стол был сервирован в садовой веранде, густо прикрытой зеленью. Апельсиновые и померанцевые деревья в цвету окружали веранду и обдавали её своим возбуждающим ароматом. Между деревьями виднелась небольшая античная статуя, изображающая Венеру, слушающую соблазнительные речи Вулкана. Ответ Венеры изображался тонкой струйкой воды, которая, как бы освежая упавшего на колени Вулкана, падала сперва в серебряную раковину, подаваемую ей Амуром, а потом в мраморный бассейн и журчанием своим будто вторила страстным словам, сближающим две наиболее могучие, наиболее волнующие человечество страсти: любовь и честолюбие.

Несмотря на невыгодные отзывы об ита-

льянской кухне вообще, ужин, предложенный Орловым Али-Эметэ, был превосходен. Правда, повар у него был француз, тем не менее Орлов хотел сообщить своему ужину национальный характер итальянского пира, долженствовавшего напомнить знаменитые ужины Лукулла. Кажется даже, что именно под прикрытием этого условия назначенный ужин с глазу на глаз мог состояться. И точно, ужин был вполне итальянский. Устрицы Средиземного моря, дикая серна сицилийских гор, палермские стримсы и миланский гусь в оливках, может быть выселившийся потомок тех гусей, что когда-то спасли Рим, представляли нечто такое, что нелегко было иметь в Париже и Лондоне, особенно в соединении с полентой, макаронами, итальянской ветчиной и птичками алжирской дичи, так же как и персиками южной Франции, сицилийским мускатным виноградом и африканскими финиками и фигами. Всем этим можно было насытить целый эскадрон, не только одну Али-Эметэ, которая, кстати прибавить, любила хороший и изысканный стол, но вовсе не отличалась особым аппетитом.

Впрочем, высших сортов тенедоское и кипрское вино и, наконец, превосходное лавра-кима-кристи, из погребов самого покойного святейшего отца Климента XIV, содействовали возбуждению аппетита и помогали находить превосходным всё, что ученик Вателя, француз Гуфье, мог предложить для угощения той, которая, по уверению Орлова, обращённой к ней самой, весьма легко могла занять русский престол как прямая и законная наследница императрицы Елизаветы I.

Орлов высказывал свои предположения относительно осуществления плана, который в его устах казался столь несомненным, охватывавшей его страстным взглядом Али-Эметэ.

— За признание вас моей эскадрой я отвечаю! — говорил Орлов. — Потом я напишу Румянцеву.

— И вы думаете, что Румянцев согласится? — спросила Али-Эметэ, взглядывая на Орлова сколько с честолюбивой надеждой воспользоваться мыслью и действиями этого героя, этого гения, этой силы, столько же и с тем страстным томлением, которое хотело бы, чтобы самое честолюбие охватило

страстностью и сила подчинилась нежности.

Но Орлов искусно играл свою роль.

— Румянцев! Он будет непременно весь наш! Он признается вообще одним из преданнейших лиц памяти покойной императрицы Елизаветы I и будет рад стать за Елизавету II. Когда Екатерина заняла престол, он подавал в отставку и остался только по её особому настоянию. Разумеется, по моему письму он сейчас же остановит наступление, несмотря на свои победы, и даст нам время и удобный случай войти с султаном в соглашение. А тогда у нас будут в руках флот и армия, а к ним и ставший из врага союзником турецкий султан. Для начала это будет кое-что.

Орлов остановился, бросив будто нечаянно на Али-Эметэ страстный взгляд, побеждённый им сейчас же, будто усилиями твёрдой воли. Он ту же минуту налил две рюмки лаванды-кристи, прося княжну выпить рюмку этого нектара за успех хорошего начала.

Али-Эметэ протянула к нему рюмку. Орлов чокнулся и выпил свою залпом.

— Но мы на этом не остановимся. Мы войдём в переговоры с прусским и шведским

королями. Вы говорили, что они заверяли вас в своей готовности вам помогать. Разумеется, это были фразы, фразы и фразы. Я слишком учен, чтобы им верить на слово. Придётся им кое-что уступить, кое-что обещать. А тогда... Тогда они рады будут нам помогать, уж из одного того, что нас они не будут бояться, как боятся теперь Екатерины. О Польше и говорить нечего; все пристанут к конфедератам. Из одной зависти к Понятовскому, которого посадили им в короли, когда они его презирают, они возьмут нашу сторону. Стало быть, дело будет в шляпе. Франция и теперь на нашей стороне; а Австрия, Германия? Они слова не скажут, палец о палец за Екатерину не ударят. Дело будет наше. Я это твёрдо говорю. Не более как через три месяца вы, прекраснейшая из великих княжон, будете царицей севера и повелительницей миллионов, вступив в свои владения при помощи не могущих не обожать вас флота и армии. В том, что это будет, наверное будет, я закладываю свою голову.

— Нет, нет, — отвечала отуманенная представившейся ей картиной Али-Эметэ. —

Ваша голова, ваша отвага, мой рыцарь, мой герой, будут нужны, будут дороги для бедной, обиженной всеми принцессы-сироты, которой теперь негде преклонить свою голову и которая тогда, обязанная вам всем, в чувстве женщины найдёт награду вашей преданности и великодушию.

— Но это всё дело внешности, дело союзничества. Вопрос вовсе не в том. Нельзя царствовать, опираясь на штыки и окружая себя только штыками. Штыки хороши для врагов внешних, для слома силы силой, а никак не для охранения и сбережения, которые должны исходить из народной любви, из общего почитания. А существуют ли данные такой любви и почитания к Екатерине? Не знаю, что будет далее, заслужит ли она вперёд, но пока говорю твёрдо: нет, нет и нет! Духовенство её не любит. Она не возвратила ему его имений, хотя обещала это перед вступлением на престол. Мы скажем: «Елизавета II выполнит то, чего не выполнила Екатерина II», и духовенство будет наше. Поверьте так! — развивал свою мысль Орлов, стараясь доказать, что в России полюбят Али-Эметэ, как только о ней

услышат. — Интерес — великое дело! В нём сила — и этой силой мы воспользуемся. Притом кто что ни говори, а духовенство не может не смотреть на Екатерину как на немку, более, как на вольтерьянку, которая, пожалуй, и в Бога-то не верит! А вы, законная дочь богомольной и любящей служителей Божиих Елизаветы, верная дочь церкви и преемница добродетелей своей матери, вы обещаете им вознаградить за всё, чего лишило их узурпаторство; может ли быть, чтобы чувства духовенства не преклонились перед вами, чтобы оно не стало обожать вас, молиться за вас?.. Дворянство, простой народ — да они примут вас с восторгом. Война им наскучила, она их разоряет. А вы, возвращаясь в челе вашей храброй армии, только что увенчавшей себя лаврами побед и с оливковой ветвью мира, не можете не вызвать в них глубокого и искреннего сочувствия. Притом юго-восток в огне. Екатерина не может с ним управиться. Какая-то там шельма выдумала, что император Пётр III воскрес из мёртвых и идёт жену в крепость посадить. И что же? Всё поднялось против Екатерины. Не знаю откуда, но вижу,

что штука сочинена умной головой. Уж одно то, что народу обещана борода и воля, указывает, что тот, кто этого Петра выдумал, человек неглупый. Исполнение-то, правда, плохо: в насилие да в злодейство бросается... Мы воспользуемся всем, что хорошо, и сделаем напротив всему, что глупо. И дело будет настоящее, дело будет привлекать к нам всех и каждого. Мы скажем: народу земля и воля, раскольникам борода и попы, ходящие посолонь, а барам — служба, деньги и милость царская. Все за нами пойдут: и дворянство, и раскольники, и попы, и крестьяне. Все нам поклонятся. Купцов сманим обещанием тарифов и запрещений. Куда как они любят их, им бы всё запретить. Мещанство и бедняков сманим льготами; скажем, что рекрутчины не будет... И имя Елизаветы II станет общей надеждой, общей радостью. Кем же встретит нас Екатерина? Вон брат мой преданный ей человек был, так она и того прогнала. Я тоже кое-чем ей служил, а она за то в почётную ссылку меня послала. На вашем светлом имени сольются все мысли, все сословия, все надежды. Кем же она встретит это соединение желаний и

надежд? Васильчиковым? Паниным? — и то Пётр на нашей стороне будет. Разве Елагиным, Ададуровым или вот Вяземским, Бакуниным, Тепловым да десятком немцев? Ну, на этих защитниках дальше Петровской крепости не уедешь!

Орлов остановился, бросив на Али-Эмегэ страстный, вызывающий взгляд. Он видел, что она вся отдаётся одновременно впечатлению его слова и очарованию его присутствия; что быть с ним, его видеть, с ним говорить, для неё наслаждение, вне всех планов честолюбия, которые тем не менее её волнуют и туманят.

«Размякла наша королева, — подумал он. — Ну, теперь, Алёшка, не зевай! Твоё время пришло».

— Боже мой, граф, да это ясно! А я этого не видела, я не знала. Я всё думала: как же сделать, как же начать? Вы мой рыцарь, мой герой!.. — Так Али-Эметэ в своей мысли постоянно называла Орлова, с той минуты, как он унёс её от тосканских гвардейцев... — Вы, рыцарь чести и герой мужества, возьмётесь ли вы вести неопытную представительницу

очерченного вами величия по указанному вами пути, чтобы достигнуть слияния всех в одной мысли?..

— О матушка, о великая княжна, царица наша прекрасная! Да разве может кто отказаться, может кто устоять против твоего взгляда ясного, против твоего слова радостного? Разве родился тот человек, который бы не с радостью положил за тебя свою голову? Ведь ты нездешняя, ты небесная, наше солнышко красное, наша ясочка родимая. Твой взгляд кровь мутит, туманом глаза застилает. Я не знаю, я не помню, кажется, всего себя изрезать бы дал...

И среди своей несвязной, бестолковой и, казалось, страстной речи он вдруг своей сильной, могучей рукой охватил стан Али-Эметэ и прижал к своей груди, покрывая её поцелуями.

Али-Эметэ давно уже таяла от каждого его взгляда, давно уже ждала его объяснения и давно решила отдаться ему беззаветно, вполне, душой и телом. Она воображала, что все, которым она отдавалась, были преданы ей беспредельно и никогда не забывали минут,

когда она счастливила их своей лаской. Таков же будет, разумеется, и Орлов, герой, рыцарь, диво-богатырь, уже успевший раз надеть русскую корону на ту, которую теперь упрекает в неблагодарности. А она будет ему благодарна. В её беспредельной любви он найдёт ту отраду, которую не даёт ему ни кипучая деятельность, ни беззаветная отвага.

Думая это, Али-Эметэ ждала только его слова. Но в данную минуту, обманутая его долгой сдержанностью и досадной почтительностью, среди честолюбивых мечтаний и планов, она никак не ожидала, никак не думала... Поэтому, под влиянием неожиданности и долго сдерживаемой чувственности, она просто замлела в его объятиях. Что-то новое, неизведанное, незнакомое охватило всё её существо.

В груди будто оборвалось что, и она в беспомощности склонила свою голову на его богатырскую грудь.

Наступило молчание, прерываемое шёпотом, поцелуями и страстной, чувственной лаской любовников, забывших в эту минуту и корону, и царство, и целый мир...

Но честолюбие тоже страсть. Не прошло получаса, как они говорили уже опять о своих честолюбивых надеждах, о замыслах, которые изменили бы карту Европы и дали бы иное направление историческому развитию цивилизации. Мечты политические, экономические и социальные скоро охватили их разгорячённое воображение. Но мечты эти были уже другого вида, другого направления против тех, которые рисовались за полчаса перед этим в их глазах. Теперь в мечтах их Орлов, осчастливленный беспредельностью любви русской императрицы Елизаветы II, был уже её мужем, правителем империи как регент и первый министр. Он заключает союз с турецким султаном и шведским королём, отдавая каждому только то, что каждый из них заслужит, помогая низведению с престола Екатерины и возведению Елизаветы. Польша должна поплатиться за все недоумения, происшедшие от переворота. Она должна вознаградить Россию за турецкую войну, за уступку Россией Швеции Ревельского округа, за молчание или помощь прусского короля. Она поэтому уступит России всю Самогитию,

часть Литвы по Днепр на севере и до самого Днестра с Каменцом на юге; а Пруссии — Курляндию и часть польской Померании; за то Россия отступается от Понятовского, не мешается в дело диссидентов и предоставляет полную свободу внутреннему олигархическому устройству Польши, в которое Россия обязывается не вмешиваться ни прямо, ни косвенно. Турция сохраняет Крым, Молдавию и Валахию, завоёванные русскими, уступая только порты Азовского моря, Таганрог и Азов, которые отходят к России как необходимые для сбыта произведений её юга. Взамен того что Россия теряет при этом, Орлов озабочивается открыть сообщение с Китаем и через Бухару и Персию, особенно при покровительстве дяди Али-Эметэ князя Гали, через Персию, путь в Индию, торговые сношения с которой разольют богатство в народе и снабдят Россию всем, в чём она может нуждаться. Внутренние преобразования предполагались в мечтах их ещё шире, ещё радикальнее. Основанием всему служила свобода совести и свобода личная. Орлов говорил об освобождении крестьян. Он уверял, получив от Екатерины в

разное время более 10 тысяч душ, что это его личное и всегдашнее желание. Он хотел освободить всех, с находящейся в их пользовании землёй, имуществом и полной независимостью от всяких обязательств к владельцам, предполагая, впрочем, определить владельцам то вознаграждение, которое, по справедливой оценке потери их прав и собственности, будет им следовать.

— Ах, Алексей, хорошо бы было, если бы всё это исполнилось! Я понимаю, что тогда общее сочувствие было бы на нашей стороне; да откуда денег столько взять?

— Эх, матушка, великая княжна, царица моя ясная, распрекрасная! Да у кого же и деньги-то есть, коли у России нет? Ведь на полмира родная раскинулась, чего в ней нет? А коли извлечь не умеют богатства, что под носом, то что же делать! Глупому сыну, говорят, никакое богатство в помощь не приходится. И точно, видал я князьков, которые, чтобы на вечер к какой-нибудь Леклер или Даллоке ехать, усадьбы дедовские целыми волостями, старыми княжествами закладывали. Ну да ведь мы не будем глупыми детьми!

Так ли, чудная, светлая, очаровательная царица, звёздочка моя ненаглядная?

И пошли опять восторженные, страстные ласки...

«А что, если и в самом деле так? — спросил себя Орлов, когда остался один, проводив великолепный поезд Али-Эметэ к её дворцу. — Если она не лжёт?.. Нет, нет, тысячу раз нет! Во-первых, Румянцев на удочку никогда не поддастся. Не такой человек. Он поймёт, что тут Орлов будет в первых, а он только во-вторых. А он не любит быть во-вторых. Потом, духовенство, обманутое раз, не поверит в другой; дворянство не захочет Орлова и тоже не поверит. А главное, Екатерина-то не глупый сын и не даст себя захлопнуть в ловушке, как её, блаженной памяти, супруг. Она скорее сама позаботится прихлопнуть кого нужно, а это Орлову не рука, никак не рука... Стало быть, не так; и синицу в руках на журавля в небе менять не приходится!»

И началась у них жизнь и мечты вдвоём. Али-Эметэ, обеспеченная в своих требованиях даже до неограниченного мотовства и счастливая любовью человека, которого она полю-

била, — первого человека, который с каждым днём становился ей милее и дороже, — не очень торопилась с осуществлением своих планов. Она жила и жила полной и счастливой жизнью любящей и любимой взаимно женщины. Желание её было «и век бы так прожить». Другое дело было Орлову, который всё бросил для неё и оплачивал все её издержки, становившиеся с каждым днём роскошнее, как действительной царицы и самодержицы севера.

Однажды Али-Эметэ высказала свои предположения о связях с Римом.

— Береги тебя Бог от всякого с ним сближения, — отвечал Орлов. — Ты не знаешь, что такое Рим? Это гнёт совести в пользу его славолюбия. Это насилие ради возвышения его богатства и силы. Я довольно здесь шатаюсь по Италии и насмотрелся и наслушался здешних порядков и мнений. Папство — это, по мнению Рима, царство над царствами. Оно осталось то же, что и при Григории VII, который писал английскому Вильгельму Завоевателю, что как свет физический в мире распространяется солнцем и луной, так и правда на

земле поддерживается королём и папой. Король представляет луну, охраняющую порядок и правду в их видимости, а папа — солнце, освещающее самую глубь внутренних помышлений и совести. В этих словах все понятия, все стремления папства. Ты будь императрицей, а он царём императоров. Ты думай только то, что повелевает он. Это не рука для России, не рука для моей очаровательной Елизаветы II. Мы будем ласкать иезуитов, кланяться папству настолько, насколько и пока это нам необходимо, с тем, однако ж, чтобы после употребить против них оружие: поклон, да и вон!

— Так ты думаешь, мне не нужно ехать в Рим к кардиналу Альбани, так как конклав, говорят, кончился и он принимает папскую тиару под именем Пия VI?

— Отчего ж и не съездить, если ты хочешь; только не принимай никаких обязательств. Кстати же, мне нужно будет завтра ехать в Ливорно, куда прибывает моя эскадра...

— Ах, и я бы хотела ехать с тобой в Ливорно. Я никогда не видала военных кораб-

лей и морских манёвров. Правда, уезжая из Лондона, мы проходили мимо английской военной эскадры. Но мы проходили ночью, и я была в таком состоянии, что мне было не до кораблей.

— Что ж, поедем! Я напишу вперёд к английскому консулу Дику, чтобы он приготовил тебе приличное помещение. В Рим можешь съездить после. Оно же, кстати, необходимо прежде познакомиться с эскадрой, чем станем объявлять ей о себе... Действительно, недурно вперёд съездить...

Орлов сказал это так спокойно и с такой небрежностью, что никакой хитрый политик, никакой иезуит не мог бы подозревать тут умысла; тем более не могла подозревать тут умысла страстно любящая и беззаветно преданная ему женщина. Таким образом, поездка в Ливорно была решена.

VIII

ЖИЗНЬ ПЛАТИТ СВОЙ ДОЛГ

Князь Никита Юрьевич Трубецкой, спелёнатый по докторскому предписанию, в то время как всякая часть его тела судорожно подёргивалась и дрожала под пелёнками от неестественного положения и судорожных сотрясений всего его существа, — лежал в постели и кричал неистово, страшно, криком, раздирающим душу.

Подле его постели, на стуле, не сходя с места с той самой минуты, как уложили тут отца, сидела его младшая дочь, княжна Китти, подававшая ему лекарство и не сводившая с него глаз. Кругом его постели стояли все другие его домочадцы; но, выслушивая час или полтора неистовые крики и смотря на страшные мучения и судорожные извороты его лица, все не выдерживали, уставали и уходили. Одна Китти, безмолвная, немая, с затаённым горем в глубоких, задумчивых чёрных глазах, с молитвой в глубине сердца, без усталости гото-

ва была сидеть перед отцом и день, и ночь, забывая пищу и сон и как бы не слыша страшных, раздирающих криков.

Ей казалось, что она виновата в болезни отца; что эта болезнь явилась вследствие огорчения от её отказа выполнить его волю, в рассуждении её замужества. Оглянувшись и увидя, что в комнате, кроме неё, у отца никого нет, она проговорила с робостью, но твёрдо:

— Папочка, милый папочка, полно, перестань, не огорчайся! Я выполню твою волю, пойду за того, за кого ты хочешь; сделаю всё, что ты прикажешь!

— Нет, нет, дорогая, ненаглядная моя! — успел сказать ей Никита Юрьевич среди сто-на и крика. — Я виноват перед тобой за эту мысль, прости меня! — И он опять застонал невольно от болезненных мучений и судорожного движения. — Прости! Это мне наказание за злую, ядовитую жизнь мою... Ой, ломит, жжёт! Ой!.. Наказание за то, что других я ломал и жёг без сожаления. Не жалел никого и ничего, ради своей корысти, ради возвеличивания себя! Готов был не пожалеть даже

тебя, родную, любимую дочь мою, для своих планов, для своего честолюбия, для мщениия, забывая, что в человеке прежде всего должен быть человек. И вот наказание... О, о! крутит, крутит, вертит... Ай как нажало!.. Ой, ой!.. — И стоны раздавались вновь, усиленные, страшные стоны.

Вошла княгиня Анна Даниловна, вошли сыновья Юрий и Николай Никитичи.

— Боже, пошли мне смерть! Скорее! Скорее! Освободи от мучений! Дети, милые дети, Юрий, Николай, прирежьте меня, ради Бога, ради Бога!.. — И он стонал, поднимая судорожно локтями тесно скрученные и связанные простыни.

— Не послать ли снова за доктором? Съезди, Юрий, да попроси их всех, кого вздумаешь, и попроси, чтобы они устроили дежурство! — распорядилась княгиня Анна Даниловна.

Князь Юрий Никитич уехал. Через час больной был окружён докторами. Но что доктора ни делали, больному было всё хуже и хуже.

Мучения были страшные, перед которыми

немела наука. Нервные сотрясения соединились с болезнью и страданиями кожи и общим расстройством организма. Никита Юрьевич мучился невыносимо, нечеловечески.

— Прирежьте меня, убейте меня! — кричал он. — Друзья, дети, пожалейте меня, прекратите мои мучения, отравите меня! Это наказание за жизнь мою, нечеловечески жестокую, безжалостно самолюбивую. Вот теперь окоченел весь, всё будто корою железною облилось, — это за Фимку, Фимку... Такая женщина была, мещанка в Тамбове; ездил хлеб для армии покупать, был молод, соблазнил... А узнал муж и начал её бить. «Проси, дескать, у князя тысячу рублей. Выпросишь, — говорит, — прощу, словом не попрекну; не выпросишь — на меня не пеняй! Не для того я женился, чтобы моя жена по князьям бегала». Пришла Фимка, плачет, просит! Никогда я скупым не был, но тысяча рублей, за что? «Богата больно будешь! — отвечал я. — Вот пятьдесят рублей, возьми, а то тысяча!» Не взяла, ушла. Муж и принял её в плети. «Всякий день, дескать, так буду!..» Ой, ой, горит, калёным железом жжёт!.. Не выдержала Фимка;

на другой или на третий день мужа-то сонного ихватила топором, отмахнула разом голову; а я из Тамбова уж уехал, в генерал-прокуроры попал. Фимку за убийство мужа под суд. Приговорили по горло живую закопать. Я сам приговор утвердил. По закону приговорили, да ведь виноват-то был я... Вот и я будто в землю по горло зарыт, мучусь... Господи, пошли мне смерть, пошли отдохновение! — Трубецкой рвался, гримасничал, стонал в судорогах.

— Жизнь расплачивается сама за себя, — продолжал он. — Я никого не жалел, приговаривал к пытке, велел жечь, кости ломать, из спины человеческой ремни вырезывать; вот теперь меня Бог не жалеет, режет из живой кожи ремень. Справедливо, справедливо! Помилосердуй, Господи!.. Вот раскольников шестьсот человек священника не приняли, за начальство молиться и пошлину за бороду платить отказались. Я велел привести насильно в церковь, окрестить и бороды сбрить. Завопили раскольники. И что же? Не дожидаясь исполнения резолюции, на самый светлый праздник, запёрлись в избе и запалили себя со всех четырёх углов. Горят и поют:

«Смертью на смерть наступы!» и сгорели все до одного... А я вот горю, горю и сгореть не могу. Положим, я приговорил законно, да человечески ли? Ой, ой! А моя жена первая, Настя? Согрешила она передо мною, чем? Она мне вперёд говорила — я не слушал. А потом месяцы, годы она стонала от меня. И умерла она наконец. А я и мёртвую не простил! Вот теперь меня Бог не прощает, не хочет облегчить, не посылает смерти. Дети, родные дети, не хотят пожалеть, прирезать, пристрелить... Ой, ой!.. — И он начал опять биться, стонать.

Его начало подёргивать; пена была изо рта. Потом опять неслись перед ним картины его жизни; проходили пытки, которые он назначал, утверждал или смотрел; действовали палачи; слышались стоны, жалобы, скрежет зубов.

— Вот бьют кнутом графиню Бестужеву, родную сестру моей первой жены; кнут вырывает клочьями её нежное тело, так же как и у Лопухиной; а вот плетью секут Софью Лилиенфельд... Я устроил, я подвёл, — говорил Трубецкой, — всё я! Лилиенфельд попала случайно, а те всё за то, что Настю под-

держивали, её против меня отстаивали. А вот и Долгорукие!..

Вспоминает Трубецкой, как он истязал их, как мучил, как подсмеивался, а теперь, теперь?

«Вот и мне кости ломают, на дыбе бьют, калёные уголья подкладывают. Вот это я велел калёным железом по спине провести, теперь и меня... ой, ой, ой! жгут! жгут! Господи, Господи!.. А пугачёвские злодейства? Разве не я им виной, не я причиной, — думал Трубецкой. — Я подготовил, отыскал, научил. Я дал средства, поднял... А за Пугачёвым самозванка идёт. Всё я!.. Проклятие, проклятие! Вот горю я в огне, и бьют меня воловьими жилами, как я Долгорукова велел бить».

Судороги были так сильны, что, казалось, лопнет тонкое голландское полотно простынь или камчатый капор связывающих и опутывающих князя Никиту Юрьевича полотец.

В эту минуту вошёл Иван Никитич со своей молодой женой. Он объезжал данные ему в приданое за женой вотчины, но, получив известие о болезни отца, поспешил вернуть-

ся.

— А, князь Иван, друг мой! — вскрикнул отец, не то обрадовавшись, не то вне себя от нового воспоминания. — Ты напомнил, спасибо, а я и забыл, совсем забыл. Граф Михайло-то Гаврилович, твой дядя; его пятнадцать лет мучил я в ссылке, мелкими уколами терзал; душу его истомил. А всё за ту же жену, за ту же Настю, твою мать! А жена Михайлы Гавриловича, по роду Ромодановская, Катерина Ивановна, она за что страдала? За что я её тоже годы, полтора десятка лет терзал? Муча её мужа из своей мести, я и её мучил. За то ли, что отец Михайлы Гавриловича меня на ноги поставил, в люди вывел, дочь свою отдал... А Иван Фёдорович, отец Катерины Ивановны, князь-кесарь, меня всегда как родного принимал и во всём, чем мог, поддерживал? Она, по дяде, тётка родная тебе, Иван; говорят, святая женщина. Я не хотел, я не мог видеть её, когда, похоронив мужа в Сибири, приехала она сюда, в Москву. Духа не хватило, сил не было! А вот теперь... Боже мой, опять жжёт, опять дёргает!.. Иван, Иван, поезжай к тётке, проси её, на коленях умоляй, чтобы

приехала, простила бы меня; благословила бы, умереть благословила бы, на сон вечный отпустила бы. А то я не умру. Меня всё будет жечь, всё дёргать... Иван, Иван, умоляю, уговори её! Она святая, она простит... А вот потом и её хотел... Китти, Китти, ведь ты прощаешь отца? Скажи, что прощаешь!

Княжна Китти, вся в слезах, хотела было броситься к отцу на грудь, но, оттолкнутая судорожным движением его плеча, отшатнулась изумлённая. Слезы в глазах её высохли, и она молча смотрела ему в лицо.

— Не касайся меня, мой друг, а только скажи! Я проклят! Я ушибу, убью! Не зная сам, что делаю, убью! Скажи, скажи, ты прощаешь? Скажи, Катя!

Княжна сделала несколько шагов вперёд, смотря в его судорожно двигающееся лицо, потом взглянула на образ, подошла ближе к отцу, взглянула ему в глаза и перекрестила.

— Бог простит и благословит тебя, папочка; прости ты непослушную дочь.

— Благодарю, благодарю! — отвечал князь Никита Юрьевич. — Нет, ты послушная, ты милая. Я злодей, изверг! Но теперь я

прощаю всех, всех благослов... Что я? Я проклят, разве я могу благословлять...

И судороги, которые как бы под влиянием магнетизма, волею дочери, приостановились на минуту, — начали бить его с новой силой.

— Жжёт, жжёт, дёргает, давит! — кричал Трубецкой. — О, если бы она меня простила, сняла с меня проклятие! Она святая, она может! Я бы тогда умер спокойно, я бы благословил вас, а вот... давит, жжёт!.. — И он опять заметался и застонал.

Доктора вышли в другую комнату на консультацию. В эту минуту дверь отворилась, и вошла за князем Иваном Никитичем графиня Катерина Ивановна Головкина.

* * *

В Ливорно граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский представил Али-Эметэ всех офицеров эскадры и присланного к нему вспомогательного десанта как русской великой княжне.

Офицерам велено было титуловать её «высочеством».

— Что он врёт такое? — говорил старый лысый лейтенант Шарыгин другому, не менее старому и лысому Крамарёву. — Какая там у нас великая княжна Владимирская? Правда, было когда-то княжество Владимирское, — было, да сплыло. Из него стало Московское государство, а из него Российская империя. Какое же тут Владимирское княжество?

— А кто его знает! Может, такая и есть. Нам где же всех знать. А велит — значит, нужно. Знаешь, что Орловы государыне свои. Ну какой бы адмирал смел кайзер-флаг поднять? А он поднимает, и ничего! Да нам какое дело? Велит титуловать, ну и титулуем. Нас же за это то он, то она обедами такими кормят, что пальчики оближешь; всякие льготы предоставляют; говорят, на корабле «Три Иерарха» хотят бал задать, да такой, что на славу, будто бы от имени офицеров, тогда как от нас не потребуют ни гроша.

— Хорошо, если бы позволили офицерам своих знакомых пригласить. А то ездить — едешь, угощаться — угощаешься, а сам никогда ничего. Неловко как-то! Вот праздник эс-

кадра даёт; если и тут никого приглашать не станешь, то после носу показать никуда нельзя будет.

— Говорят, дозволят, всем дозволят; только заранее всякий должен будет объявить, кого хочет пригласить, чтобы, знаешь, русской великой княжне не быть Бог знает с кем.

— Разумеется! Только смущает меня эта великая княжна, право! Как-таки вдруг, невесть откуда явилась. Ни на ектенье её не поминали, никто никогда ничего не говорил, никто не видал — и будто из-под земли выросла. И ещё где? В Италии, за тридевять земель. Чудное дело!

— Самое, брат, главное — дело не наше; а не наше, так и толковать не о чем!

И старые фуфлыги, морские бобры, как прозвали матросики пятнадцатый год командующих вахтами лейтенантов, разошлись каждый по своему делу. Шарыгин пошёл смотреть, как сплеснивают оборвавшийся кабельтов, а Крамарёв, от нечего делать, пошёл учить гардемарин брать полуденную высоту.

— Наша великая княжна очаровательна! — говорил мичман Скрыплев, разглажи-

вая свои густые русые бакены и раскидывая их по белоснежному отложному воротнику. — А какая любезность, какая грация! Я буду танцевать с нею экосез. Она обещала.

— Ну вам, фертам выписным, больше делать нечего. А вот ты бы брам-реи к повороту с марсовыми наверх шёл готовить, как наш брат... Люди танцевать, а тут бегай по салингам да за людьми смотри! — отвечал хмуро мичман Артюков, у которого батистовый воротник трудно было отличить от чёрного сукна мундира.

— Что ж, велели бы — и пошёл не хуже других! — отвечал Скрыплев. — Хвастаться — не хвастаюсь, а тебя перебегу!

— Ты?

— А ты думал кто? Да я!

— Поди лучше к барыням да пой им тарантеллу, а не суйся туда, где, пожалуй, боками своими в блок попадёшь!

Скрыплев обиделся, и Бог знает чем бы кончилась ссора, если бы не команда «Все наверх!» — с якоря сниматься.

По этой команде, разумеется, мичманы должны были замолчать и разойтись.

В самом деле, на корабле «Три Иерарха» готовилось что-то такое особое. И к балу шли приготовления, и команда всё время училась, и чему училась? Сниматься с якоря! Будто это дело какое-нибудь незнакомое, особое. Слава Богу не раз, да и не сотню раз случалось с якоря сниматься и на якорь становиться, так чему же тут особо учиться? Между тем учат, и не только учат, мучат. Сам новопроизведённый за Чесменскую битву контр-адмирал Самуил Карлович Грейг входит в каждую мелочь, требует, чтобы снятие с якоря происходило будто в гостинной, и слова бы никто не сказал.

— Уж, кажется, ловко снимаемся, десяти минут не берём, чтобы под парусами быть, а всё учат. Ну их к Богу! — говорила и несколько роптала команда.

Кроме этого ученья и бального приготовления, адмиральскую каюту перестраивали да переделывали. Зачем бы?

Впрочем, эти вопросы немного занимали всех. Приготовление корабля к балу поглощало общее внимание.

Да и в этом приготовлении было всё, то то,

то другое, особое. Лейтенант Шарыгин хотел бухты поднять. Грейг запретил, велел, чтобы бухты чисты были. Великая княжна вдруг манёвры смотреть захочет. Шканцы, убирая флагами и драпируя оружием, наблюдали, чтобы не помешало что-либо тому или другому действию. Коли бал, так какие бы тут, кажется, манёвры? В батарейной палубе ничего не велено было трогать, и, к великому всеобщему удивлению, в день самого бала пушки там с обоих бортов велено было ядрами зарядить, а салют производить велено из жилой палубы. Что ни приказание, то новость, что ни распоряжение — загадка. Что бы такое?

Между тем Али-Эметэ, успокоенная общим признанием её за ту, за кого она себя выдавала, обеспеченная во всех своих требованиях и будучи почти неразлучна с человеком, которого она полюбила искренно, счастливая его вниманием и любовью, проводила своё время с особым удовольствием.

С нею были её друзья-слуги, камергер и шталмейстер Чарномский и Доманский, о которых она, занятая графом Орловым, забыла и думать, но услуги которых она принимала

и была ими вполне довольна, тем более что ни тот, ни другой ни одним намёком не требовали объяснения её поступков, зная, что по первому намёку, выказывающему только некоторый вид ревности, она непременно сделавшего этот намёк прогонит. Была с ней Мешедэ, её поверенная, которой хотя она не говорила ни слова, но которая, она знала, понимает всё и не выдаст её ни в каком случае, полагая на неё всю надежду своего будущего; была прислуга, вся довольная, всё удовлетворённая жалованьем.

По приезде в Ливорно она ехала с Орловым в одном экипаже: их встретил английский консул сэр Джон Дик. Он приготовил для неё помещение, хотя и не столь великолепное, как в Пизе, но прекрасное помещение; особенно для кратковременного приезда. С её балкона был вид на рейд, за которым синели безграничной далью голубые волны Средиземного моря, отсвечивающие ясное небо и прихотливые силуэты ливорнских зданий в полумаавританском, полуготическом стиле.

Супруга английского консула, миссис Дик,

любезная молодая дама её лет, старалась угождать ей всеми мерами и разнообразить препровождение её времени. У неё собирался небольшой, но отборный кружок знакомых, как из англичан и иностранцев, так и из природных ливорнских жителей. Время у них проводилось чрезвычайно приятно. Али-Эметэ поздоровела; припадков болезни, беспокоивших её в Рагузе и Риме, как не бывало! Она несколько пополнела и даже, можно было сказать, похорошела. Но главное, что её утешало, что содействовало возвышению её красоты и окружало её обаянием наслаждения, — это её друг, рыцарь, герой, страстный, любящий, покорный и верящий ей беззаветно и беспредельно. Она видела в нём идеал мужчины; видела представителя силы, мужества, великодушия и чести; видела в нём опору твёрдую, несокрушимую, как сталь. В нём была её надежда, было её счастье. Орлов был для неё всё. Она забывала, что пользуется всем этим благодаря чужому имени, благодаря обману, и начинала сама верить, что это всё так и есть, так и должно быть; что это всё её, принадлежит ей по праву и что иначе ни-

чего бы и не было, ничего бы и не могло существовать. Да, эти немногие дни Али-Эметэ была счастлива, именно счастлива.

Но вот наступил день бала на корабле «Три Иерарха». Всем, кроме Али-Эметэ, были розданы программы праздника; все были предупреждены, что будто бы, по русской военной дисциплине, праздник может продолжаться только до десяти часов вечера, но что после десяти часов будет сожжён фейерверк и сервирован ужин на одном из островов; что это делается сюрпризом для великой княжны, поэтому просят ей не говорить; что там, на острове, в раскинутой нарочно для этого палатке, могут продолжаться и танцы.

В этот день английский консул пригласил Али-Эметэ и Орлова к завтраку, с тем чтобы уже не обедать, а от него отправиться прямо на корабль, на котором бал должен был начаться в шесть часов.

Завтракало многочисленное общество, состоявшее из приглашённых на бал; в том числе были контр-адмирал Грейг с женой и лейтенант Христенек, пользовавшийся, со времени сближения принцессы с Орловым особым

её расположением. Завтрак прошёл весьма оживлённо и весело. Адмиральша Грейг, супруга консула и другие дамы обращались с Али-Эметэ почтительно, как с царствующей особой. Офицеры и другие гости были обворожены её красотой, умом, грацией. Всё, можно сказать, расстилалось перед ней, чтобы высказать своё почтение и преданность. Орлов был несколько задумчив, но бесконечно нежен. Грейг — молчалив, но глубоко почтителен.

После завтрака поехали. Решили ехать несколько ранее, чтобы иметь время до бала осмотреть корабль.

За гостями было прислано три катера. В первом, убранном зелёным бархатом, с золотыми кистями и шнурами, уселись дамы. На первом месте сидела княжна, подле — адмиральша Грейг, с другой стороны — супруга консула миссис Дик и другие. Адмирал сам стал позади на руль, как следует, по положению, при переправе на катере царствующей государыни.

Всё это умели дать понять Али-Эметэ, и она была в восторге. Она думала: «Ну, вот я

уже на русской эскадре, признающей, вместе с находящимся на ней десантным войском, меня своей повелительницей».

На втором катере, убранном проще, сели Орлов, английский консул сэр Джон Дик, Доманский, Чарномский и несколько посторонних.

В третьем катере ехала Мешедэ, два камердинера великой княжны и тоже кое-кто из посторонних.

Когда катера подошли к эскадре на довольно близкое расстояние, раздался со всех кораблей царский салют. Затем люди разошлись по реям, музыка заиграла «поход», и понеслось по всей эскадре русское залихватское «ура!».

Али-Эметэ сама себя не помнила от счастья и радости. Она окружена своими подданными. Царица эскадры храбрых моряков, которые перед тем только доказали, что они могут сделать под предводительством их сказочного богатыря-начальника, преданность которого ей беспредельна. Перед нею развевается русский флаг, раздаётся русское «ура», преклоняется русское знамя. «Ура», «ура!» — гре-

мят по эскадре, и начинается вновь общий салют. Али-Эметэ была поражена, была очарована.

Между тем ливорнцы, узнав, что русская эскадра, предводимая Орловым, даёт бал своей великой княжне и с сюрпризами, высыпали почти полностью на набережную рейда. Они знали, что Орлов мастер на сюрпризы. Они помнили, как он однажды, чтобы ознакомить художника с картиной морских сражений, для написания Чесменского боя, приказал взорвать старый корабль. Теперь они также ждали чего-нибудь необычайного, чего-нибудь страшно великолепного. Оживлённые, восторженные крики русской эскадры вызвали сочувствие ливорнцев, тем более что красота прославляемой произвела на всех чарующее впечатление, и возглас «виват», не одного десятка тысяч людей, покрыл собою гром пушек.

Катер подошёл к кораблю «Три Иерарха», и перед княжной явилось кресло на особо устроенном и обитом красным сукном плоту с перилами. Её пригласили сесть и живо подняли на воздух, осторожно спуская на палубу

корабля. Там уже ждал её Грейг со строевым рапортом о состоянии эскадры и почётный караул со знаменем. Барабаны забили, музыка заиграла, новое «ура» раздалось по заливу, и этому «ура» вторили вновь зрители.

Ей опять сказали, что это царская почеть, что все другие должны подниматься на корабль по парадному трапу. Разумеется, всем этим Али-Эметэ не могла не быть довольной. Она была восхищена, очарована и рассыпалась перед Орловым в благодарностях, которые Орлов принимал в почтительной позе верноподданного, с непокрытой головой.

Началось вновь представление офицеров корабля. Христенек был назначен Орловым состоять весь вечер адъютантом при принцессе и объяснять ей морские термины и манёвры. Пошли по кораблю. В адмиральской каюте, которую во время Чесменского боя занимал Орлов, они нашли сервированный десерт, что после завтрака, заменившего обед, было очень кстати. Али-Эметэ щебетала как птичка от полноты удовольствия, бросая свои любящие взгляды на своего рыцаря-богатыря.

Бал начался менуэтом. Для великой княж-

ны, разумеется, были выбираемы самые ловкие и любезные танцоры. Общее оживление, прекрасная музыка, необыкновенность положения, ясное итальянское небо, разумеется, не могли не вызывать самых приятных ощущений, особливо ввиду осуществления великих надежд и удовлетворения самых страстных желаний. За менуэтом следовала кадрили. Княжна танцевала её с Христенеком, которому высказывала свои надежды, а тот поддерживал и укреплял их, удостоверяя, что графу Орлову, этому рыцарю-богатырю, этому сказочному герою, в России можно сделать все; что его, по его удали и отваге, знает вся Россия и преклоняется перед ним как перед типом русского молодечества, безграничного, как сама Россия. После кадрили начался экосез, в котором место Христенека занял мичман Скрылев, тоже прославлявший Орлова как идеал богатыря. Впрочем, Христенек стоял подле. Может быть, его-то присутствие, как ближайшего адъютанта Орлова, и вызвало в молоденьком мичмане хвалебный панегирик добродетелям его удалого начальника. Но как бы то ни было, влюблённая Али-Эметэ, носясь

между парами экосеза со своим юным, но весьма ловким кавалером, слушала жадным ухом каждое слово хвалы тому, кто и так занимал все её помыслы и наполнял собой все её надежды.

Вдруг среди самой оживлённой минуты танца, когда всё летело, кружилось, несло, раздался громовой голос вахтенного лейтенанта Шарыгина:

— Смирно! Марсовые к вантам, по марсам, брам-реи к спуску готовить!

Всё смолкло и остановилось на месте как вкопанное, в полном изумлении.

Караул вытянулся во фронт, и началась «зоря».

Барабанщик пробил на молитву. Музыка заиграла только перед тем вышедший знаменитый гимн Бортнянского «Коль славен наш Господь!».

Лейтенант Христенек объяснил Али-Эметэ значение всего этого действия. Он говорил, что так как ночью корабль идти никуда не полагает, то в предупреждение всякой случайности, в предупреждение могущей быть непогоды и чтобы не производить этой рабо-

ты ночью, обыкновенно спускают на ночь верхнюю, так называемую брам-рею; что это действие обыкновенно производят вместе с вечерней зорей как для того, чтобы приучить команду к выполнению этой необходимой работы, так и потому, чтобы держать всё на корабле в постоянном порядке и принимать своевременно всевозможные предосторожности.

Разумеется, Али-Эметэ осталась довольна этими объяснениями, Но если бы между посетителями был морской глаз, то он сейчас бы заметил, что что-то не так, что готовится что-то особое. Брам-рею не спустили вниз, а оставили на марсе, принайтовив её к стень-вантам, подле летучей бом-брам-реи; во-вторых, люди с марсов не сошли, а остались там, как бы готовясь к чему, сбросив даже пёрты с марса-рея.

Но вот раздалась команда: «Ворочай, флаг и гюйс долой!» Забили «поход». Лейтенант рапортует капитану, капитан адмиралу, адмирал Орлову, а Орлов предстал перед Али-Эметэ и с военной форменной вытяжкой проговорил:

— Вашему императорскому высочеству имею честь донести, что караул и команда по кораблю «Три Иерарха» и по вверенной мне эскадре обстоит благополучно; больных на корабле нет, а воды в льяле 1¹/₂ дюйма.

Эта стройность, эта последовательность, эти рапорты, самые даже непонятные технические слова будто маслом проводили по сердцу Али-Эметэ; она буквально наслаждалась ими, была ими очарована. Но вот опять музыка, опять живой экосез с ловким мальчиком и любезным кавалером.

Наконец экосез кончился. Стали готовиться к котильону. Дам просили освежиться десертом; подавали чай.

Али-Эметэ не пошла в каюту и отказалась от чая. Мысли её были слишком взволнованы, слишком возбуждены, чтобы она могла желать чего-нибудь. Подле неё стоял Христенек, и она предпочла говорить с ним о порядках на корабле, о службе, о морских терминах, сводя, разумеется, всякий разговор на Орлова.

— Признаюсь вам откровенно, Христенек, — сказала Али-Эметэ. — Может быть, я

несколько пристрастна к вашему начальнику, ввиду всего, что он делает для меня; но я нахожу, что он истинный рыцарь чести, истинный герой. И знаете, мне кажется, что и он ко мне немножко расположен. Я заключаю это из того, что он просил моей руки. Я на это отвечала, что тогда, и только тогда, когда я займу принадлежащее мне место, я позволю ему повторить своё предложение. А тогда, — я надеюсь, Христенек, вы уверены, что вас не забудут.

Христенек не моргнул глазом в минуту этой откровенности, столь далёкой от действительного положения дела, ему хорошо известного. Он, напротив, скромно опустил глаза и проговорил тоном искренней, глубокой благодарности:

— О, ваше императорское высочество, всемилостивейшая государыня, великодушие ваше выше заслуг моих! Я бедный офицер, умею только беспрекословно и точно исполнять приказания. Это вызвало ко мне милость его сиятельства графа Орлова. Буду безмерно счастлив, если удостоюсь заслужить и вашу милость.

Но в эту минуту Али-Эметэ увидела, что внизу, на шканцах, её камергер Чарномский и шталмейстер Доманский горячо спорят о чём-то с офицером и окружены солдатами. Она хотела было просить Христенека узнать, что такое, как и к нему тоже подошёл капитан Преображенского полка, представленный ей перед тем под именем Литвинова, и сказал повелительно и строго:

— Господин лейтенант, вашу шпагу; вы арестовываетесь по высочайшему повелению.

И с этими словами она увидела, что их окружили солдаты с примкнутыми к их мушкетонам штыками.

— Что? — в изумлении и со страхом, дрожащим голосом спросил Христенек.

— Пожалуйте вашу шпагу! — повторил Литвинов как бы с сердцем и готовясь приказать взять её у него силой.

Христенек беспрекословно отдал свою шпагу капитану.

— Но я ни в чём не виноват! — проговорил он.

— Это не моё дело. Извольте идти в на-

значенную для вас каюту: вот ефрейтор и часовые, они конвоируют вас!

И Христенека увели.

Али-Эметэ стояла в полном изумлении. Литвинов стоял уже против неё.

— Ваше высочество, по именному высочайшему повелению мне поручено вас арестовать; прошу пожаловать в приготовленную для вас каюту!

— Что это значит?

— Ничего не могу сказать, ваше высочество; я имею только личное приказание адмирала арестовать вас!

— Где адмирал?

— Исполняет лично, своей особой, высочайшее повеление об аресте графа Орлова!

— Графа Орлова? — вскрикнула она и как бы окаменела.

В это время она увидела, что Чарномского и Доманского сажают под конвоем в шлюпки. Мешедэ и горничная стояли арестованные и тоже под конвоем. Мешедэ вскрикнула:

— Принцесса, принцесса, что с нами делают?

Взглянув на них, Али-Эметэ поняла, что

это не шутка; между тем Литвинов почти-тельно, но твёрдо проговорил:

— Ваше высочество, прошу настойчиво пожаловать в каюту; не заставьте прибегнуть к силе.

— Как вы смеете? — вскрикнула Али-Эметэ, и она оглянулась; но из общества ни дам, ни танцоров, ни английского консула, ни даже никого из знакомых офицеров не было видно. Она была окружена только вооружёнными солдатами, с единственным Литвиновым во главе.

— Как вы смеете? — повторила она и упала б»» чувств.

Её осторожно подняли и отнесли в адмиральскую каюту; к ней же препроводили и Мешеду. К дверям каюты поставили караул.

Между тем раздалась команда: «По местам, с якоря сниматься!» Марсели моментально были подняты, и корабль «Три Иерарха», при довольно свежем, попутном ветре, выпустив канат, подняв брам-реи и поставив брамсели и фок, быстро исчез с Ливорнского рейда.

Остальные четыре корабля и фрегат остались, но стали готовиться к походу, и через

два дня на Ливорнском рейде из русских судов не осталось ни одного. Корабль «Три Иерарха» дожидал оставшуюся эскадру на высоте Корсики.

Орлов, в минуту ухода корабля «Три Иерарха», пировал с гостями в палатке. Он заботливо смотрел за всеми движениями на корабле, и когда он скрылся из вида, то проговорил себе: «Ну, слава Богу, дело в шляпе; удалось бы ему обойти французские порты и не наткнуться на французскую эскадру».

Думая это, он предложил тост за здоровье русской императрицы Екатерины II и приказал зажигать фейерверк.

Фейерверк был действительно превосходный, был такой, что, как говорили в Ливорно, такого они не видали на своих водах, да, верно, скоро и не увидят.

На другой день явился к нему выпущенный из-под караула Христенек и обстоятельно донёс, как было дело.

IX

ПУТЕШЕСТВУЮТ НЕ ВСЕГДА ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

Исполняя желание отца, князь Иван Никитич Трубецкой взял тётку свою графиню Катерину Ивановну Головкину, что называется, врасплох.

Он подъехал с чёрного двора и прошёл к ней чёрным ходом. Он видел, как два маленьких поварёнка дрались между собой чумичками; видел, как горничная с лакеем целовались; видел, как садовник большую корзину фруктов и ягод разных на продажу отправил; видел, как ключница продавала варенье из графской кладовой, а метрдотель масло и свечи; слышал, как конюхи перекорялись между собой при разделе овсяных денег, принесённых подрядчиком за овёс, который он должен был поставить лошадям, но который не поставил, так как конюхи предпочли лучше деньги эти пропить самим, чем в виде овса скормить лошадям. Одним словом, он видел

всё, что видят в большом доме со множеством дворни, когда хозяин или хозяйка распустят вожжи и оставят всё на произвол случая. Подъехав в карете, он молча вышел, прошёл по чёрному двору, по лестнице, вошёл в комнаты; никто не остановил его, никто не подумал спросить, кого и что ему нужно.

Так добрался он до самой спальни графини Катерины Ивановны. Правда, ему навстречу под ноги шмыгнула какая-то девчонка и спросила:

— Вам Мугасову, что ль? — но, не дождав-шись ответа, убежала; затявкала какая-то шавка, но это, разумеется, его не остановило, и кто такая Мугасова, о которой спросила девчонка, чем она тут и почему её надо искать подле спальни самой графини, князь Иван Никитич так и не узнал. Он вошёл в спальню и нашёл свою дорогую тётушку, дочь князя-кесаря Ивана Фёдоровича, внучку страшного князя-кесаря Фёдора Юрьевича, знаменитого начальника Преображенского приказа, и супругу известного вице-канцлера графа Михаила Гавриловича Головкина, в положении женщины, старающейся уговорить ко-

тёнка есть с блюдечка приготовленное ему молоко, в то время как тот есть не хочет и занят волочащейся на шнурке от её мантильи какой-то большой чёрной кистью.

— Покушай, коточка, покушай! Молочко хорошее, и с сахаром, и с булочкой, я сама готовила. Полно, кисть тебя не спрашивает! — говорила она, обращаясь к котёнку и тыкая мордочкой его в блюдечко, в то время как тот вырывался от неё и опять норовил как бы поймать кисть.

Князь Иван Никитич вошёл, постоял несколько минут. Графиня, занятая котёнком, его не замечала. В комнате был полнейший хаос, столпотворение вавилонское. На диване были набросаны платья, мантильи, шали; на постели стоял горшок распустившегося рододендрона, на туалете — серебряный таз с мыльной водою; на полу валялись гравюры, растрёпанные книги, бумаги; на окне — опрокинутая с разлившимися чернилами склянка.

— Тётушка, добрая, милая тётушка, вас ли я вижу? Позвольте обнять вас, поцеловать вашу добрую ручку!

Графиня, которая перед тем опустилась к

котёнку на пол, вскинула на него свои полутуманные глаза.

— Постой, постой! — сказала она. — Как же ты мне племянником-то приходишься? У меня ни брата, ни сестры не было и никого из рода Ромодановских. За грехи деда Бог весь род перевёл. Ты знал деда-то? Большой барин был! Сам государь Пётр Алексеевич, великий государь, и тот деда величеством величал и в пояс кланялся. Бывало, взглянет, так, какой-никакой большой господин будь, шапка сама валится. Вот ему-то царь Пётр и поручил у людей кости ломать, кожу вырезывать да с живых людей сдирать, на огне поджаривать и правды допытываться. Он и допытывался, служил царю верно. Только раз немудрого такого старичка к нему привели: «Скажи, — говорит дед, — какую вы там новую Божью мать выдумали и как вы там лик царский в геенне адской сжечь задумали? Сказывай, говорит, правду, не то велю кости ломать, живого на сковороде жарить!» А на это ему старик в ответ: «А ты скажи мне прежде, князь, великий барин, что больше — солнце или месяц? Коли солнце больше, так и свету в нём

больше, и радости больше. Месяц — это здешний мир и ваш земной царь, а солнце — это тот мир и великий царь небесный. Как же ты хочешь, чтобы я на радость тленную, временную, променял радость светлую, вечную? Ломай мои кости всласть, боярин; жарь, жги моё тело тленное; ничего не узнаешь от меня; а измучишь, убьёшь меня хилого, не будет твоего рода, племени, исчезнет даже имя твоё с мира Божьего, вот тебе и весь сказ. Пострадаю я за Предвечного. Он мне и силы даст перенести страдания». Рассердился дед, велел мучить старика; замучили его до смерти: за то и род Ромодановских перевёлся. Нет у меня ни брата, ни племянника!

— Я по мужу тебе племянником прихожусь, тётушка дорогая моя!

— По мужу, по мужу! У меня по мужу много племянников! Отец моего мужа тоже важный боярин был, чуть не самый близкий к царю. У него было пять сыновей, в том числе и мой Мишенька, и три дочери. Но тоже всё рассеялось как-то, весь род погиб, кто где! Ты чей же, от кого?

— Я второй сын Настасьи Гавриловны.

— А, Насти, Насти! Помню, знаю! Любила её, как жива-то была. Муж у ней злодей! Поставлен был также у людей кости ломать да с живых кожи сдирать. Злодей! Злодей! Жену-то без палки в гроб вколотил. Мой Миша отстаивал, помогал, сколько мог, за то и сам попал. А как тиранили-то его там, в ссылке, мучили. А всё за то, что сестру отстаивал. А сестрицу, сестрицу-то Анюту, каково, подумай, кнутом. Любимая дочь, была замужем за Ягужинским, любимец царский, — и вдруг кнутом, на торговой площади... подумать страшно! Злодей!

— Он мой отец, добрая, дорогая тётушка. Он знает, что виноват перед покойным дядей Михаилом Гавриловичем, знает, что виноват и против вас, тётушка, и умоляет приехать к нему, простить; говорит, что и умереть без того не может. Тётушка, милая, добрая, дорогая, утешьте умирающего, успокойте, простите!

— А! болен, умирает! Больного надо успокоить, надо помочь! Мы ведь, слава Богу, христиане. Кто же болен, кто умирает? — спросила графиня Катерина Ивановна, видимо забывшая, что перед тем слышала и что говори-

ла.

— Мой отец, тётушка; он умирает, прощенья просит!

— Коли прощенья просит, простить надо, всё простить! Сам Он, Отец милосердный, нам всё прощает. Прости, прости! Да кого же простить-то нужно?

— Отца моего, тётушка; он страдает, страшно страдает и мучится!

— Да ты-то чей будешь?

— Я второй сын Настасьи Гавриловны, вашей невестки, которую, вы говорили, что, когда жива была, любили.

— А, Насти! Стало быть, ты сын князя Никитки, что нас-то с мужем в ссылке держал и мучил? Ух, зло мучил!

— Он умирает и прощенья просит.

— Коли прощенья просит, надо простить! Вот Мишенька-то мой всех простил, а от него, князя Никитки, и в гроб пошёл. Сама государыня смилостивилась, простить хотела, а этот злодей... но ты говоришь, он болен, мучится. Ехать нужно, ехать! Пстой, нужно приодеться; что ж я такой чучелой! Я ведь его, почитай, больше двадцати лет не видала!

Говорят, после Насти-то он на другой женился. Ты вот выйди на минуту, я мигом снаряжусь.

Князь Иван Никитич вышел; и точно, не прошло пяти минут, как графиня выбежала и проговорила скороговоркой:

— Ну, едем, едем, скорей едем! — И, схватив его под руку, она потащила за собой. — Едем же, — повторила она. — В самом деле, он тебе отец! Мучил он нас, мучил, а теперь сам мучится. Бог с ним! Нужно успокоить, облегчить... Миша всех простил, и я прощаю! Едем!

И она тащила его за собой.

Графиня Катерина Ивановна как сказала, что она переоденется, так и сделала. Она точно переоделась, но так, что князь Иван Никитич только рот разинул от изумления. Говорить, впрочем, он не признал нужным, да было и некогда; она решительно его тащила. Он посадил её в свою карету и привёз к отцу в том самом виде, как она была.

А изумиться было отчего при взгляде на одетую графиню Катерину Ивановну. Во-первых, на ней надеты были великолепные бриллиантовые серьги и ожерелье и дарён-

ные ей ещё дедом князем-кесарем и которые так резко оттенялись и так не соответствовали её жёлтой, морщинистой шее и ушам. Графиня Катерина Ивановна подумала: «Поди, князь Никитка думает, что всё распродала, всё растрянжирила, ан у меня всё цело, всё сбережено!» И вот, под влиянием мысли, что пусть, дескать, видит, что всё сбережено, она надела на себя самые дорогие свои вещи. А как было не особенно тепло, то для теплоты вместе с ожерельем она надела серый пуховый из ангорской козьей шерсти платок. Потом на какую-то не то холстинковую, не то набивную синюю юбку надела шитый золотом, по пунцовому бархату, и обшитый золотыми кружевами спенсер. На ногах, вместо башмаков, у ней были надеты серые валяные коты. На спенсер был накинут, тоже для теплоты, грязный, изорванный нагольный полушубок, снятый на промен с нищего; растрёпанные седые волосы она прикрыла парчовой кичкой, сшитой, вероятно, ещё матерью её деда князя-кесаря, с жемчужными подвесками или поднизью. Но что было всего замечательнее, так это то, что графиня, надев кич-

ку и взглянув в зеркало, признала, что «желта она очень, что нужно подрумяниться и не след свою худобу на людей выставлять!» И вот она взяла румяна и натёрла ими густо одну щёку, а другую, по рассеянности, тоже натёрла, только не румянами, а чёрным угольным порошком, так что с одной стороны явилась она красной, а с другой — чёрной. Если ко всему этому прибавить растерянный вид, бледные мертвенные губы, выставляющийся изо рта чёрный зуб и текущий из носа табак, то портрет графини Катерины Ивановны Головкиной в данный момент обрисуетса сам собой.

В таком виде князь Иван Никитич привёз её к отцу; в таком виде и вошла она в спальню Никиты Юрьевича.

Никита Юрьевич не заметил ни странности в костюме и гримировке графини Катерины Ивановны, ни её затерянного, но своеобразного настроения. Он увидел в ней ту, которую знал тридцать лет тому назад, и не столько взглядом, сколько чувством, предвидением, угадал её прибытие.

— Развяжите меня, пустите меня! — за-

кричал он, когда она шла ещё только в первых комнатах его обширного дома. — Пустите, я прошу, я приказываю! — кричал Никита Юрьевич. — Проклятие тому, кто не развяжет меня!

— Но доктора, мой друг... — начала было говорить княгиня Анна Даниловна.

— Уходи к Богу с твоими докторами! Помилуй, разве они помогли мне? Я просил умерить, так и того не умели или не хотели. Пустите же меня!

И он не застонал, а как-то завыл от боли и от нетерпения. Лицо его всё перекосилось.

Его развязали.

Графиня Катерина Ивановна вошла. Никита Юрьевич хотел броситься перед нею на колени, умолять о прощении; хотел высказать своё состояние вины перед её мужем, а главное перед ней самой. Но вместо всего этого он, освобождённый от своих пут, заплясал, и ещё как заплясал.

Графиня Катерина Ивановна взглянула на него и остановилась.

— Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, — проговорила она, останавливаясь в

дверях и осеняя Никиту Юрьевича крестным знаменем. — Давно ли с тобой это, князь Никита? Перестань тешить дьявола, остановись!

И — такова сила твёрдой воли, таково могущество желания — князь Никита Юрьевич почти в ту же секунду остановился, хотя весь дрожал и нервные подёргивания продолжались.

Тут произошло нечто необыкновенное. Сперва он весь вытянулся, повернул как-то судорожно головой и вдруг бросился в ноги вошедшей графине.

— Прости, матушка-сестрица! Знаю, что виноват, кругом виноват! Всё я, точно я, без меня ничего бы и не было! Я клеветал, я путал, я мучил. Прости, сестрица, дорогая моя! Умереть не могу, мучусь-мучусь, а не умираю; всё оттого, что ты не простила! Прости, прости!

— Бог тебя простит, князь Никитка! Бог простит! Ты теперь сам видишь, что злое посеешь, злое и вырастет! Великий грех на свою душу вы принимали, и дед мой, и ты. Людей ломали, естество человеческое терзали. Из жажды чести земной от человечества отрица-

лись. Велик грех, но Бог милосерд. Я тебе и от Миши прощенье привезла. Тяжко было ему умирать на чужой стороне, но он простил, всех простил; теперь и я тебя прощаю, за всё прощаю!

— Благослови меня, сестрица моя, благослови, голубушка! Ты святая у нас, благослови умереть с миром! — говорил Никита Юрьевич, не поднимая головы от её ног. — Много зла посеял я, много душ погубил, ещё больше измучил. Бог проклял меня, и я горю, весь горю! Вся внутренность сгорела во мне, а я живу, живу, чтобы мучиться. Но твоя молитва всё снимет, всё умирит. Благослови, родная моя, помолись за меня, облегчи меня, дай душе успокоиться. Благослови!

Графиня Головкина протянула руку для благословения, но остановилась. Она подумала: «Прежде всего молитва» и проговорила с каким-то вдохновенным выражением:

— Молись и слушай, князь Никита; слушай и молись!

С этими словами она подняла глаза свои на образ, осенила себя крестом, простёрла над лежащим у её ног Трубецким руки, как бы

призывая к нему милость Божию, и начала псалом:

— Живый в помощи Вышнего...

Кругом царствовало мёртвое молчание. Катерина Ивановна читала псалом. Твёрдо, вдохновенно произносила она каждое слово, с невыразимым благоговением устремляя взор свой к образу. И ни её гримировка, ни раскраска, ни костюм, ни даже текущий табак не нарушили той картины святости, которая исходила из её сердечной доброты в искренней, тёплой молитве за её врага-мучителя.

Она кончила. Всё молчало.

— Прощаю и благословляю раба твоего, Господи, Никиту. Да снизойдёт на него вместе с моим благословением твоя милость Божия, мир душе и телесное успокоение!

Встань! Поцелуемся, брат Никита, во имя Отца и Сына и Святого Духа, да забудется прошлое и будет между нами мир и любовь!

С этими словами она его перекрестила.

Трубецкой встал, поцеловался с ней и тоже перекрестился.

— Благодарю, сестра, теперь я умру спо-

койно! Подведите мне детей, я их благословлю!

И он сам, без малейших подёргиваний и судорожных сотрясений, подошёл к креслам, сел и по очереди стал благословлять детей своих.

Графиня Катерина Ивановна уехала.

— Ещё раз прошу твоего прощения, Китти, — сказал он, благословляя свою младшую дочь, — что забывал даже в себе чувство человечества!

— О папа, папа, — вскрикнула Китти, — разве можно думать о том?

И она бросилась к нему на грудь. Но грудь эта уже не билась: Никита Юрьевич отошёл к суду Божьему.

Китти упала на колени, помолилась и закрыла глаза отцу.

Все обступили покойного.

В это время докторский консилиум вынес решение о необходимости ехать больному за границу.

— Он и так уже за границей этого света, — проговорил князь Иван Никитич, подводя проститься с покойным свою молодую же-

ну.

В ту же ночь скончалась и графиня Катерина Ивановна.

Возвратясь от Трубецкого, она сейчас же послала за духовником, и хотя не чувствовала никаких припадков, но исповедалась, причастилась, долго молилась, легла, заснула и более уже не просыпалась.

Бедные Москвы огласили всю столицу своим воем.

— Не стало нашей матери, общей благодетельницы, не стало нашей святой. Да помянет Господь душу рабы своей Катерины!

Эту молитву повторила через три дня буквально вся Москва. Хоронили графиню Катерину Ивановну Головкину, последнюю отрасль дома князей Ромодановских; хоронили её, согласно её наказу, в простом гробе, без всякой помпы. И только Китти, одна Китти в тот же день усердно молилась на пышных похоронах фельдмаршала и андреевского кавалера, боярина, князя, раба Божия Никиты.

Не стало князя Никиты Юрьевича, но росло зло, им посеянное. Юго-восток России весь в огне горел от имени Пугачёва и данных Ни-

китою Юрьевичем заветных слов: «Жалую вас бородой и волей». Верил ли кто Пугачёву, не верил ли, а всякий за ним шёл. Надежда на права человеческие, надежда на волю и свободу совести вели к нему и собирали вокруг него тысячи. Разбитый и рассеянный, он вдруг появлялся сильнее прежнего и снова злодействовал, снова был страшен одним своим именем. Но Трубецкой и в том был прав, что не злодействами добро творят, не убийствами добрых целей достигают. Против этих злодейств восстали сами его сообщники. Они видели, что всё честное, всё разумное отрицается от них, а что с подонками человечества недалеко вперёд уйдёшь, и вот они, спасая свои головы, решили выдать его.

— Довольно погулял ты, Емельян Иванович, довольно послужили мы тебе, пора и честь знать!

Оглянулся наш Емеля, нет ли на кого опереться? Нет; все хоть и свои, да чужими стали!

Хватился было ножа острого, да сабли булатной — те не изменят, те не обманут! Думал он дорого жизнь свою продать. Не тут-то

было! Емеля был, Емелей и остался, хотя и сел на церковный престол ссоры и дразги разбирать. Саблю булатную и нож его разбойничий у него из-под носа унесли; пришлось самому руки протянуть, чтобы вязали...

И принёс он повинную в своих злодействах, не зная того, что и на злодейства-то натолкнула его чужая рука; что он и все дела его были следствием чужой воли. Искренно просил он русский народ простить его окаянного, что сгрубил перед ним; не поминать лихом его имени, помянуть когда в церкви Божией; искренно каялся перед царицей севера и дал этим случай Екатерине писать о нём: «Он — этот безграмотный маркиз шведского короля, кажется, надеется на прощение, а это решительно не делает чести его дипломатическим соображениям».

Привезли Пугачёва в Москву, как зверя какого, в железной клетке, и сложил он там, на Болоте, свою буйную голову, раскланиваясь на все четыре стороны и прося ещё раз перед бесчисленной толпой народа себе забвения и прощения; сложил свою голову в то время, как пугачи по деревням смущали ещё люд

православный и творили нескончаемые бесчинства его именем, а на Западе готовилась выступить на сцену ему преемница, сестрица двоюродная, которой если не удалось выступить с ним одновременно на сцену, то потому, что за смертью Никиты Юрьевича не стало руки, которая бы руководила всеми её действиями, да так руководила, чтобы комар носу подточить не мог. Сильны, могучи были средства, поднятые этой рукой, они вносили в русскую жизнь разлад и раздор, заставляли всех признавать, что для России может быть опасна только Россия.

Но внутренняя сила воли Екатерины нашла в себе достаточно могущества, чтобы сладить, умиротворить расстроженные части и соединить их вновь для взаимного содействия и процветания; и последний отпрыск глухой злобы и интриги, бедное, обездоленное, созданное этой интригой существо, Али-Эметэ неслась уже по Атлантическому океану, на русской эскадре, к невским берегам; неслась в виде пленницы, выданной тем, кого она признавала беспредельно любящим, её рыцарем чести...

Как быть? Винить в том Екатерину нельзя. С её стороны это была борьба за существование.

* * *

Первые минуты, как Али-Эметэ пришла в себя, уложенная в постель в адмиральской каюте, были или казались ей сном. Она совершенно бессознательно оглядела каюту, в которой часа за три перед тем граф Орлов угощал её роскошным десертом, не понимая ни где она, ни что с нею случилось; взглянула она на себя, лежащую на постели в великолепном бальном платье из зелёного бархата, отделанном золотым кружевом и украшенном цветами и бриллиантами; взглянула на свои бриллианты в виде серёг, ожерелья, диадемы, браслетов и приделанных к платью украшений; внимательно прислушалась к непонятному, странному для её уха шуму, происходившему от производимой на корабле работы и от всплесков в его борта воды; наконец, безучастно отнеслась к движению каюты в виде небольшой качки, неизменно

чувствуемой во время движения судна под парусами, при сколько-нибудь свежем ветре. Ей всё казалось, что она спит и видит какой-то страшный, тяжёлый сон, который будто гнетёт её, давит, но чем — она не умеет себе объяснить.

Наконец она встала и нетвёрдыми шагами прошла по каюте.

Подойдя к дверям, она машинально тронула ручку; двери отворились, там она увидела плачущую Мешеду.

Али-Эметэ обрадовалась.

— Что с нами, Мешеду, где мы?

— Ах, ваше высочество, княжна, что с нами сделали, что сделали эти изверги! Они нас арестовали, всех арестовали, и камергера, и шталмейстера, и меня, и обоих камердинеров, и, говорят, будто и самого Орлова; забрали всех. Господ Доманского и Чарномского увезли куда-то, а меня посадили с вами; ещё камердинера Маркезини оставили при вас для услуг. И чего они хотят? Говорят, сейчас же в море ушли. Говорят, граф долго не давался; однако ж взяли. Впрочем, я не верю этому, всё обман. Они зазвали нас, просто чтобы за-

хватить. Что теперь будет, что будет? А всё этот англичанин, новый адмирал. Я сама видела, как он отдавал приказание отнести вас в каюту, когда вы упали без чувств, и держать под строгим караулом. Что-то будет с нами, Боже мой, что будет?

— Но где же граф Орлов?

— Говорят, тоже на другом корабле арестован, а кто их знает? Никто не видал, как его арестовали. Может быть, всё это выдумки.

— Однако они должны же отвечать...

Али-Эметэ хотела было выйти из каюты в двери, противоположные тем, в которые вошла, но двери эти были заперты.

— Что же это значит?

— Мы арестованы, государыня, арестованы. Впрочем, нам сказано, что если вашему высочеству будет что угодно, то чтобы мы позвонили бы...

— Ну позвони! — сказала, несколько подумав, Али-Эметэ.

Вошёл один из офицеров корабля.

— Вам угодно что-нибудь приказать, княжна? — спросил он весьма вежливо, но уже не титулуя её высочеством и не отдавая

почестей, соответственных особе, принадлежащей к царствующему дому.

Входя, офицер запер за собой двери и ключ взял в карман.

— Что это всё значит, господин офицер? Разве я пленница?

— Не умею ничего сказать, княжна. Это нужно спросить у адмирала Грейга.

— Где я его могу видеть?

— И на это не умею отвечать? Если вам угодно спросить адмирала, то не угодно ли написать ему? Я принесу бумаги и всё, что нужно.

— Вы меня обяжете!..

Офицер ушёл, опять заперев за собой двери; кроме того, когда он уходил, Али-Эметэ видела, что у дверей стоят двое часовых.

Бегство было немыслимо.

Офицер принёс лист бумаги, пачку перьев и чернильницу.

Али-Эметэ села и мелким, бисерным почерком написала без помарки:

«Графиня Селинская (из Рима паспорт ей дан был на имя графини Селинской) покорно просит господина контр-адмирала Грейга

объяснить его поступки с ней. Приехав на корабль вместе с графом Орловым, начальником эскадры, по его приглашению, она вдруг увидела себя пленницей. Какие поводы могли быть к её арестованию и какие основания может адмирал представить в оправдание своей дерзости, арестовать ту, которая к его эскадре не имела никакого отношения, тем более ни в каком случае ему не могла быть подчинена?»

Офицер взялся доставить письмо и через полчаса принёс словесный ответ: «*По высочайшему повелению*». Потом будто от себя прибавил:

— Княжна, вы с графом Орловым вошли в соглашение действовать во вред царствующей государыне; граф Орлов хотел смутить вверенную ему эскадру. Удивительно ли, что государыня приказала вас и его арестовать?

Сказав это, мичман взглянул на неё с невольным чувством сожаления. Он был молод. Красота заключённой произвела на него впечатление. По ответу, который он ей передал, она понимала, что она жертва интриги и что к ней отнесутся непременно с той жесто-

костью, которая всегда, сама собой, исходит из политической интриги.

Али-Эметэ заметила его участие. Она захотела развить это участие и стала говорить о своих несчастиях, прошлых и настоящих.

— Неужели ещё недовольно меня преследовала судьба, — говорила она. — Неужели было недовольно того, что, рождённая для царственной доли, я должна была ребёнком испытать гнёт каземата, потом быть занесённой в глубь Сибири. Спасённая добрыми людьми из ссылки, я должна была расти оторванной от всего, что могло быть дорого даже ребёнку. Но вот судьба, казалось, сжалилась надо мной, дала мне возможность взглянуть свободной на белый свет, и для чего же? Для того, чтобы вы стали моим тюремщиком?

Офицер вспыхнул.

— Княжна! Я морской офицер, поэтому тюремщиком никого быть не могу! Я был прислан с вахты узнать о ваших желаниях и в чём можно удовлетворить их, а никак не стеснять и не ограничивать вашей свободы. Это дело не моё; дело старших. Моё дело исполнять приказания, которые не касаются

моей чести. Если же вам не нравится моя личность, то всё равно вместо меня явится другой.

— О нет, нет! Я не то хотела сказать; я понимаю, что вы не виноваты в моей участи. Я хотела только, чтобы вы имели сожаление к кунице, которая виновата в одном — в доверчивости. Виновата я в том, что верила и верю людям, хотя столько раз на себе испытала их злобу. Если мне суждено безвинно погибнуть от моих врагов, то полагаю, всякий честный человек не откажет мне, по крайней мере, в своём участии и даже посильной помощи. Я, по крайней мере, так думаю!

— С моей стороны, княжна, смею уверить...

— Не уверяйте, а вот сделайте для меня: передайте от меня письмо графу Орлову!

— Княжна! Это может стоить мне моей службы. Но извольте, я передам, чем бы это ни кончилось и чего бы это ни стоило! Приготовьте письмо...

Али-Эметэ писала Орлову, что ей странно, что в минуту, когда она подверглась опасности, его не было подле неё; но что тем не ме-

нее она верит ему и любит его беспредельно. Она верит, что он — её рыцарь, её герой, если вследствие подозрения в их взаимных сношениях и попал в те же тягостные условия, что и она, то найдёт способ уничтожить все враждебные против них замыслы и, освободившись сам, освободит и её.

Письмо было написано весьма нежно, как к человеку, истинно и горячо любимому. В конце письма прибавлялось, что она не может ему не верить, так как нежность его оставила свой след, и она надеется, что милость Божия осенит её продолжением славного имени героя чесменского, так как чувствует первые припадки, доказывающие, что она носит под своим сердцем залог его любви к себе.

Но всякий расчёт на нежность чувства графа Орлова был ошибочен. Письмо Али-Эметэ, полное беспредельной преданности и нескончаемой нежности, дало ему только повод писать императрице Екатерине: «Она ко мне казалась быть весьма благосклонной, для чего и я старался быть перед ней весьма страстен и уверил, что с охотой бы женился на ней, хоть сегодня же, чему, обольстясь, она больше по-

верила».

Впрочем, он отвечал и Али-Эметэ. Он писал ей: «Я нахожусь в том же несчастном положении, что и вы, хотя мне и удалось бежать с корабля, на котором мы были. Но мою шлюпку догнали; и я в заключении очутился между четырьмя кораблями, должен был сдать. Преданность офицеров, — писал Орлов, — даёт мне надежду на освобождение; поэтому не должно отчаиваться. Всемогущий Бог не оставит нас! А я, как только получу свободу, сыщу вас хоть на краю света, чтобы служить вам. Только берегите своё здоровье, берегите себя, об этом умоляю вас! Предоставим судьбу нашу Всемогущему Богу! Письмо ваше я читал со слезами; от всего сердца целую теперь ваши ручки».

Письмо было без подписи; но любящее сердце угадало, от кого оно. И странное дело, не довольно ли было мужчин, которых Али-Эметэ имела все права называть своими. Все они были ей преданы беспредельно, до самозабвения. От Ван Тоуэrsa до принца лимбургского, от Рошфора до Доманского и Чарномского, все ей жертвовали всем, и ни об одном

из них она никогда не думала, ни об одном не вспоминала. Всецело мысль её была занята одним Орловым; все надежды её исключительно сосредоточились на нём одном. Она готова была отказаться и от имени, которое приняла, и от блестящего положения, о котором мечтала, чтобы только он осчастливил её своей лаской, чтобы в нём видеть себе отраду и спокойствие. И опять странность, такова, видно, сила чувственности: все те, которые пользовались её благосклонностью, которые ласкали себя надеждой быть ею любимыми, от Шенка, Марина, Огинского и опять до того же Лимбургского, — которые всю жизнь свою сохраняли отрадное воспоминание о счастливых минутах, проведённых с нею, — не оставили никаких следов своих отношений к ней. Она о них забыла, как забыла всё, что она придумывала, что она сочиняла, да и не было повода их особо помнить, хотя с иными её близкие отношения продолжались целые годы, и между ними были люди молодые, цветущие здоровьем, как Ван Тоуэрс, Шенк, Огинский, Доманский и Чарномский. Но всё это не оставило следа даже в воспоминании.

Менее месяца она могла назвать Орлова своим, и вот след — беременность.

Получив письмо от него, она успокоилась. Она была в такой степени убеждена в его всемогуществе, что готова была верить, что по его слову самый корабль распадется, чтобы она могла на крыльях ветра лететь в его объятия. Она ждала его каждый час, каждую минуту. Вся жизнь её обратилась в ожидание. Малейший шорох, малейшее движение на корабле её уже волновали; она думала: «Вот он — мой рыцарь, мой герой, мой идеал. Он войдет и освободит...»

А эскадра шла, шла и шла; наконец зашла заpastись водой и провизией в Плимут.

Там камердинеру Али-Эметэ удалось достать английские газеты. Он принёс и своей княжне.

В газетах была рассказана в подробности история её плена и возврат Орлова в Россию сухим путём, чтобы не быть застреленным или окормленным иезуитами, как он писал Екатерине, или другими соумышленниками, клепавшей на себя имя, подозревая в ведении всей интриги Ивана Ивановича Шувалова.

ва. Из этого рассказа она убедилась, что все её отношения к Орлову были только изменой, обманом, самой низкой ловушкой на приманку соединения двух страстей — честолюбия и любви. Отчаянию её не было предела. Она хотела из кормовой галереи броситься за борт. Её не допустили. Хотела отравиться и для того думала подкупить доктора своими бриллиантами. У ней взяли бриллианты и не принесли никакого острого оружия, даже иглы. Одним словом, приняли все предосторожности, чтобы доставить её в Россию живой, и действительно доставили, хотя здоровье её, сперва от непрерывного ожидания, а потом от безысходного горя и отчаяния, сильно пострадало. Она начала харкать кровью.

Но как бы там ни было, здоровую ли, больную ли, но её привезли, и вместо царственной встречи, о которой мечтала она, рассуждая с Орловым о свержении Екатерины с престола, её, как колодницу, под строгим караулом, препроводили в Петропавловскую крепость.

«Господин контр-адмирал Грейг, — писала Екатерина командиру эскадры, привёзшей

Али-Эметэ. — С прибытием вашим поздравляю и вестью сею весьма обрадовалась. Что же касается известной женщины и её свиты, то сих вояжиров снимет от вас фельдмаршал князь Голицын. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша всегда в моей памяти и я не оставлю дать знаки моего к вам доброжелательства.

Екатерина».

И точно, Грейг скоро получил вице-адмирала, был сделан главным командиром Кронштадтского порта, пожалован александровской лентой, получил имение и деньги; тем не менее он и писал и говорил Орлову, что более тяжкого и неприятного поручения ему в жизнь свою не доводилось исполнять.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

I

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

Увлечённые рассказом о похождениях Али-Эметэ, втянутой в политическую интригу врагов Екатерины, мы забыли совсем настоящую княжну Настасью Андреевну Зацепину, или, как звали её в коллегии, Анастасию-Елизавету, принцессу Владимирскую, отказавшуюся и от герцогского титула старинного дома французской аристократии де Праленов, и от многомиллионного состояния, чтобы сохранить за собой свободу в выборе сердца.

Её симпатии, как мы уже говорили, остановились на стремлениях к равноправию и свободе, подавляемых английским меркантилизмом, в сознающих уже свои права гражданах Северной Америки. Один из этих граждан, Эдварс Ли, успел сосредоточить на себе силу её душевной преданности, и она, счаст-

ливая жена, счастливая мать семейства, отдала своему новому отечеству все силы своей чистой души, всю искренность своей преданности.

Мы говорили, что восставшие на свою защиту американцы, благодаря всеобщему сочувствию, прибывавшей отовсюду помощи и неутомимой энергии своего вождя, начали оправляться от понесённых им в начале поражений и что Настасья Андреевна, тогда уже миссис Ли, следуя за своим мужем, командовавшим одним из отрядов союзной армии, внесла в этот отряд ту восторженную преданность делу, то братское чувство стремления к взаимной помощи и то доверие к своему начальнику, которые служат первым залогом успеха. Она, силой своей женственности и готовности к самопожертвованию помогла своему мужу из вверенного ему отряда создать одну семью, в которой каждый готов был стоять за всех и все за одного. Она внесла в этот отряд уверенность каждого в самом себе, сблизила, соединила все мысли, сосредоточила все желания и, можно сказать, дисциплинировала всех в их взаимной братской люб-

ви, Обожаемая мужем, окружённая людьми, ей бесконечно преданными, пользуясь общим и заслуженным уважением, она была счастлива даже среди лишений и трудов похода, даже под опасностью ежеминутного нападения и тревоги от выстрелов.

В эти-то минуты редкого счастья, созданного её самоотверженностью, ей пришло известие о болезни её обоих детей. Естественно, она должна была оставить отряд. И она уехала, сопровождаемая общими благословениями, общими желаниями ей всего лучшего.

Её молодой, любимый и любящий муж провожал её на два перехода. Он сознавал, что обязанность гражданина приковывает его к своему посту, поэтому, с замиранием сердца, с тревожной тоской, прижал он её к своей груди, отпуская на труд, не менее священный, чем тот, которому он посвятил себя.

Она нашла своих мальчиков хуже, чем могла ожидать. Они оба горели, покрытые язвами до неузнаваемости, и сами не могли её узнать, хотя, видимо, мелодичность её голоса и сила материнского чувства производили на них благотворное влияние и давали им отра-

ду даже в тяжкие минуты болезни.

Среди горячечного бреда, в минуты иступления, бедные дети выполняли каждый совет, каждое слово матери, хотя не узнавали её и даже едва ли сознавали её присутствие.

При первых же припадках болезни детей старая миссис Ли, разумеется, послала за доктором.

Но какого же доктора просить? Большая часть из них находилась при армии, остальных миссис Ли не знала. В это время в Массачусетс, где старая миссис Ли с внуками пребывала, прибыл новый доктор, специалист по лечению оспы и, говорили, учёная знаменитость, по крайней мере он говорил это о себе.

Доктор был немец, Шёнкопф, редкой представительности, зато шарлатан такой, каких немного на свете, а между немцами, пожалуй, и не найдёшь; всех итальянцев перецеголял. Он был небольшого роста, полуседой, но весьма живой старик, с блестящими, будто пронизающими насквозь глазами и густыми, нависшими на глаза, чёрными как смоль бровями.

По приезде в штат он поместил о своём

приезде статьи во всех газетах. В одной из этих статей описывалась комната, в которой он принимал посетителей, и перечислялись висевшие в этой комнате на стенах, полученные будто бы Шёнкопфом от разных европейских университетов и академий дипломы: описывался альбом, в котором были вклеены сотня или более различного рода записок, выражающих благодарность за чудесное исцеление. Каких имён тут не было; каких лиц он не лечил и не исцелил? Записки эти прибавлялись ежедневно и печатались во всех газетах. Другие статьи описывали его подвиги на пользу науки и человечества, особо в борьбе его с таким опасным злом, как оспа; наконец, сделанные им разные открытия в терапии болезни, которую он избрал своею специальностью.

Ну как было не пожелать видеть такого человека, как не поговорить с ним о болезни любимых внуков?

А речь его была полна, плавна, методична. Он увлекал всех своей речью и благодаря ей составил себе известность и деньги.

Этою речью он увлёк и старую миссис Ли,

описывая болезнь её внуков так, как будто он держал её в своей ладони и мог уничтожить во всякую минуту. Она вверилась ему безусловно, взяв на себя только наблюдение за точным исполнением его советов.

Между тем советы нашего знаменитого доктора были очень ограничены. Он признавал за абсолютно полезное во всех болезнях только одно средство — каломель.

Каломель была, по его мнению, тем философским камнем, тем *археем* всех веществ мироздания, который всегда и везде должен восстановить жизнь.

Таким образом, дипломы ли его были не более только как искусное произведение гравёра, или, со времени их получения, он успел выкинуть из головы всё, за что они были ему выданы, считая совершенно излишним, при надлежащей ловкости и сноровке, сохранять в себе ещё знания, — только дело в том, что он знал и верил единственно в каломель и морил своих больных во славу Божию, отравляя их каломелью во всевозможных видах, и чем больше, тем лучше. А уморив, Шёнкопф с спокойной совестью получал свой гонорар и

заверял, что для спасения больного было сделано всё, что во власти человеческой; а что если он умер, то уж такова, значит, была воля Божия.

Настасья Андреевна в первую же минуту своего приезда, несмотря на свою неопытность в распознавании людей, увидела, что тут что-то не так. Она сейчас же разослала гонцов за докторами во все стороны, где только можно было их найти.

Доктора приехали, посмотрели, поспорили. Всякий говорил своё, отрицая всё, что говорят другие. Наконец они сошлись на одном, что поздно; сказали это «поздно», взяли деньги и уехали.

И точно, было поздно. Никакая любовь, никакие попечения матери были уже не в силах спасти малюток, скорей отравленных лекарством, чем сражённых болезнью, и они оба, один за другим, скончались на руках прижимающей их к сердцу любящей матери.

Отчаянию Настасьи Андреевны не было предела, если бы она не думала о муже, который, она знала это хорошо, стоял в это время грудью против неприятеля и который, она то-

же знала, не пожалеет своей жизни, чтобы сломить вражескую силу.

Поэтому, схоронив то, что было частью жизни её самой, она сейчас же полетела к мужу на поле отчаянной битвы.

Она думала: «Утешу его, облегчу тяжесть нашего общего горя, окружу заботливостью, успокою, поддержу энергию его и тех, кто связан с ним общностью самоотвержения, кто разделяет его труды и опасности».

Да, торопись, Настасья Андреевна, спеши. Тому, кто теперь единственная радость твоей жизни, нужна твоя помощь, нужна твоя заботливость. Ему нужен ангел-утешитель, чтобы облегчить страдания и закрыть глаза, которыми он так страстно упивался твоей красотой и так бесстрашно глядел в глаза смерти.

Молодой Ли был смертельно ранен при атаке последних высот, занимаемых гессенцами в Виргинии, чтобы за окончательным отступлением их иметь возможность открыть первый конгресс, положивший начало освобождения нового государства.

— Или со щитом, или на щите, — говорил он, смеясь, идя штурмовать гессенцев. И его

принесли к ней на щите.

Не стало того, в ком заключался для неё весь мир; не стало того, для кого она готова была забыть всё, даже детей своих.

Горе страшное, безысходное охватило Настасью Андреевну. Что она, зачем она? Она ничего не видала, ничего не понимала.

Она не видала слёз товарищей по оружию её мужа, пролитых над его гробом; не слышала стонов молитвы за него его подчинённых. Она не вняла даже воплю старухи, его матери, прибывшей тоже сюда, чтобы благословить его, лежавшего перед ней уже без жизни. Она не слышала и не поняла даже воспоминаний о её муже на конгрессе, как об одной из искупительных жертв их свободы, — жертвы, имя которой должно быть окружено уважением, сохранено в народной памяти.

Бесчувственная, бесстрастная, будто окаменевшая, стояла она перед свинцовым гробом, подняв дрожащие руки к небу. Ни стоны, ни слезинки не вырвалось у неё, будто в груди у неё замерла жизнь, дающая звук. Она была не в силах даже молиться.

В таком виде, вместе со старой Ли, тоже

обезумевшей от горя, свезли Настасью Андреевну в их убежище, и только там, когда опустили его в могилу, рядом с детьми, и сровняли засыпавшую их землю, она упала на колени перед закрытой могилой и уронила первую слезу о своём муже и друге.

— Эдварс, Эдварс! — воскликнула она. — Зачем же меня-то ты к ним не взял? Зачем один, один...

И заплакала горько, слезам конца не было. Тут услышала и поняла она первое слово, слово его матери.

— Настя! — сказала старуха, убитая тем же горем, что и она.

— Матушка! Они ушли! Без нас ушли! — вскрикнула она и прильнула к груди старухи, которая тоже осталась сиротой.

Старуха обняла её, и слёзы их смешались.

Плачут несчастные мать и жена, плачут горько о прошлом счастье, о всём, что было дорого им и что они потеряли; плачут не неделю, не месяц; не выплакать им слёз своих и целую жизнь.

А то тоска нападёт на них, такая тоска, что свет не мил, — жгучая, безысходная тоска. Со-

сёт она сердце, терзает грудь.

— Нет того, кто был моим счастьем, нет моих ангелов-утешителей, — говорит себе Настасья Андреевна, — и не будет их! Зачем же я-то живу, чего я-то жду? Вот цветы. Эдварс сам сажал их. Для чего? Неужели для своей могилы? Вот здесь всегда я с моими малютками глядела на дорогу и ждала его, когда он уезжал. Боже мой, Боже мой! Зачем всё это ушло, всего этого не стало, как не стало моего счастья. Скрыла его от меня мать сыра-земля, закрыла гробовая доска.

И думала она, вспоминала она каждый шаг прошлого, каждое слово бывшего, и опять тосковала, и опять плакала.

Но время всё берёт своё.

Одеревенелость чувства, сон разума вылились горячими слезами и обратились в заботу о матери того, кто когда-то сосредоточивал на себе все её мысли, и которая теперь, так же как и она, томилась одинокой на этом свете.

Правда, у неё был племянник по мужу, но что такое племянник по мужу?

Настасья Андреевна ей дочь по душе, по глубокому чувству любви к её сыну. Она бу-

дет о ней заботиться, будет успокаивать, будет утешать.

А забота её, обязанность утешения, облегчают тяжесть и её грусти, разлагают её горе.

Исподволь, мало-помалу жизнь осилила, взяла своё и заставила бывшую нашу княжну вдумываться в то, что кружилось, шумело, волновалось вокруг неё, а кружилась, волновалась в это время кругом её вся Северная Америка.

Устраивались штаты, учреждалась администрация, избирались лица, долженствовавшие либеральную американскую жизнь вести по пути прогресса, разума, преуспевания. Практический смысл англосаксонской расы принял в основание мысль, что из силы исходит насилие, из насилия — рабство. А стоило ли приносить столько жертв, пролить столько крови, чтобы, сбросив с себя одно рабство, впасть в другое, может быть более тяжкое? Нет! Свобода должна быть принципом американской жизни. «У нас нет господ, мы все господа! — думали они. — Свобода жизни, свобода труда, свобода совести и обсуждения, полного и гласного, должна быть основой всему,

что составляет американскую жизнь».

Началась эта свобода, засияла яркой звездой на сумрачном небе Америки, отразилась общей радостью. Всякий имеет право сказать своё мнение, вставить своё слово, подать свой голос. Это право вошло в сознание, в плоть и кровь американцев, и составило принцип всеобщей подачи голосов.

И может ли быть что-нибудь справедливее, рациональнее, основательнее такого принципа? Государство — это общество, общество, стало быть, люди. А если государство состоит из людей, единиц равноправных, составляющих его основу, то, ясно, каждая единица имеет право располагать своим голосом, должна иметь свою долю власти. Тогда только и будет истинное правление народа, действительная республика. А американцы хотели республики.

Да, это верно теоретически, но таково ли на практике?

Грустным, осиротелым взглядом смотрела Настасья Андреевна на всё, что делается кругом её, и видела, что мнения наиболее благотворные для большинства не утверждаются

большинством, если не поддерживаются интригой, коварством, иногда даже подкупом или хоть бы если не подкрепляются обаянием чьего-нибудь имени. Масса остаётся массой. Она не судит, не думает, а идёт покорно за своим вожаком, как стадо баранов.

«Это будет преобладание капитала, поклонение золотому тельцу, — говорила себе Настасья Андреевна, повторяя то, что она высказывала когда-то своему покойному мужу. — Но мне-то какое до того дело? Ведь я здесь чужая, и мне не до них.

Не стало моих ангелов, будущность которых меня заботила, не стало и того, кто меня связывал с новым строем этой новой страны. Стало быть, что мне о ней думать, что говорить?

Благо Америке, что в ней всеобщим обаянием пользуется имя Вашингтона. Он всё устроил им на пользу. А что бы было, если бы вместо него был Калигула, Людовик XI или Бирон?

Но опять мне дела нет! Я здесь чужая, иностранка, и хочу быть чужой. Мне дороги здесь только две сажени земли, в которой зарыто

моё счастье. Ещё дорога старушка, мать того, кто для меня как был, так и остался дороже всего на свете, как и они, мои ангелы».

В такую минуту её раздумья вошёл комнатный негр, не крепостной, крепостных негров тогда ещё не было, и сказал ей:

— Миссис, приехал господин, не умеет говорить по-нашему, а подал вот бумажку и просил отдать вам.

С этими словами он подал ей карточку, на которой было написано с одной стороны: «барон Отто Кнорр, чрезвычайный посланник его светлости князя гольштейн-лимбургского, графа Оберштейнского при конгрессе Американского союза»; а с другой: «при выражении глубочайшего почитания её высочеству великой княжне всероссийской, княжне Елизавете Владимировской, барон Кнорр позволяет себе почтительнейше просить осчастливить его назначением аудиенции».

«Что это такое? — подумала Настасья Андреевна. — Кто такой барон Кнорр и что ему от меня нужно?»

— Господин ожидает ответа, миссис! — сказал негр.

— Ах, Боже мой, что такое? Зови его сюда!

Вошёл господин, толстоватый, белобрысый, круглолицый, тот самый, которого мы видели посланником принца лимбургского при венецианском сенате и который, по особому распоряжению принца, исправлял должность гофмаршала при Али-Эметэ во время пребывания её в Венеции и вместе с французским посланником устраивал ей торжественную встречу.

Настасья Андреевна сделала к нему несколько шагов навстречу.

— Очень рада познакомиться, барон; скажите, чем я могу быть полезна? — сказала она по-немецки.

Барон поднял на неё свои выпуклые глаза, хотел сказать что-то, но остановился в изумлении.

Однако через минуту он оправился и тоном любезной вежливости проговорил:

— Сударыня, я просил бы доставить мне честь представиться её высочеству княжне Владимирской!

— Я урождённая княжна Владимир-

ская-Зацепина. Что же вам угодно?

— Вы?

— Да, я. Владимирская-Зацепина.

— Вы шутите, сударыня. Я имею честь лично знать её высочество; полагаю, что и она не совсем ещё изгнала меня из своей памяти. Не прошло двух лет, как я был посланником в Венеции и, по приказанию своего всемилостивейшего государя, имел счастье в течение почти трёх месяцев исправлять должность гофмаршала её высочества.

— Не знаю, при ком вы там исправляли такую должность, но что я урождённая княжна Владимирская-Зацепина, и только одна я, в этом позволяю себе вас уверить.

Барон Кнорр всё ещё смотрел на неё изумлёнными, вытаращенными глазами.

— Послушайте, барон! Не говорю о том, что я никогда не лгала, да и лгать перед вами мне нет повода; но я могу положительными доказательствами удостоверить вас, что я есть я и что другой княжны Владимирской-Зацепиной более на свете нет. Правда, есть ещё двое князей Зацепиных в России. Они мне двоюродные братья; но собственно

княжны Владимирской-Зацепиной, кроме меня, нет и не может быть. Мои кузины давно замужем; да они и не носили имени княжон Владимирских, назывались просто Зацепиными. Я приняла это имя по французскому обычаю передавать старшей ветви не только родовое, частное имя, но и общее, означающее происхождение. Вы мне все не верите, может быть, хотите взглянуть на мои бумаги?

— Помилуйте, смею ли я не верить! Только весьма странно, как же это?

— А вы не меня ожидали видеть? Но что же мы стоим, займите место, барон, садитесь!

И она села, указав кресло барону.

— Очень благодарен, — отвечал барон, садясь, — только как-то очень странно. Вот вы изволите говорить, что вы только одна княжна Владимирская; та также мне говорила, что она тоже только одна и что другой нет на свете. И хотя правда, что она жила инкогнито, под именем графини Пинненберг, но мы все знали, что она княжна Владимирская и что она отыскивает своё наследство, оставленное ей по завещанию её двоюродным братом князем Зацепиным в больших имениях и

капиталах. Нам это было слишком хорошо известно, так как возлюбленный государь наш принц Фердинанд Филипп, видимо, был поклонником прекрасной княжны, и одно время говорили даже, что она скоро переменит свой титул княжны Владимирской на титул светлейшей княгини Римской империи гольштейн-лимбургской и станет таким образом нашей государыней.

— О, это обман, пошлый обман! Я действительно слышала, будто явилась какая-то обманщица, которая вздумала называться моим именем, и я даже, вместе с покойным мужем моим, хотела нарочно ехать в Россию, чтобы раскрыть это плутовство. Поездке этой воспрепятствовала начавшаяся война, а потом мои несчастья. Но чтобы такой обман мог зайти столь далеко, что владетельные князья готовы сделать её действительной принцессой, — этого я ни в каком случае не полагала. Прошу вас, барон, убедительно прошу взглянуть на мои бумаги, чтобы увериться в том, что я говорю правду, и потом рассказать, что вы знаете об обманщице, осмелившейся назваться моим именем.

Она вынула из шифоньерки свои бумаги и подала их барону. Бумаги её были переведены с русского на французский, немецкий и английский; все переводы были надлежащим образом удостоверены. Барон прочитал их по-немецки и убедился, что он говорит действительно с княжной Владимирской-Зацепиной.

— Расскажите же мне теперь всё, что знаете о ней.

— Что же мне рассказать о ней вам, княжна?

— По замужеству я миссис Ли.

— Прошу позволения титуловать вас прежним именем, ваше сиятельство. О той, которая называлась этим именем, живя в замках Нейсен и Оберштейн, замках моего государя, мне известно, что она приехала во Франкфурт как невеста графа Рошфора, гофмаршала нашего двора; но что потом наш светлейший повелитель влюбился в неё до самозабвения. Он просил её руки, но она ему отказала, так как желала получить прежде оставленное ей в России наследство и приехала в Венецию, чтобы при помощи султана, польских конфедератов и недовольных в Рос-

сии отыскивать свои права на русскую корону. Из Венеции она отправилась в Константинополь, но знаю, что долго жила в Рагузе. Всемиловейший повелитель мой находился с ней в переписке и постоянно убеждал бросить свои замыслы и всецело отдаться ему. Но что последовало дальше — я не знаю. Я был назначен князем из Венеции сюда. Случайно я узнаю, что принцесса Владимирская здесь, вышла замуж и овдовела. Думая, что это какая-нибудь новая перипетия из её пождений и что сообщением о ней сведений я могу угодить моему всемиловейшему покровителю, я решился к ней ехать, но вместо её нашёл вас.

— Напишите же вашему князю, что всё, что он знает об этой известной ему княжне Владимирской, есть чистая ложь, обман и что как только я оправлюсь настолько, что, оплакивая потерю свою, буду в силах собраться, то поеду сама в Россию и раскрою, разоблачу обман. Это я считаю долгом своей чести, считаю обязанностью перед своим именем, перед родными, перед отечеством.

Настасья Андреевна говорила это твёрдо,

с полным сознанием и несомненностью убеждения. Так говорила она едва ли не в первый раз после постигшего её удара. Барон Кнорр понял, что тут нет двусмысленности и что она сделает то, что говорила, раскланялся и счёл долгом обо всём уведомить своего сюзерена.

Оставшись одна, Настасья Андреевна стала обдумывать всё, что она слышала.

«В самом деле, — думала она, — это мой долг перед отечеством. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь, злоупотребляя моим именем, сеял смуты и раздор; не приведи Бог слышать волнения, подобные тем, которые, когда-то я читала, в России производили самозванцы. Притом я здесь чужая, что мне здесь нужно? Могила моего друга и детей моих. Но я схороню их в моём сердце. А она, она? — вдруг сказала Настасья Андреевна себе, взглянув на вошедшую в комнату миссис Ли. — Нет! Её, пока не утешит Господь её горе, я оставить не могу!»

Но старая миссис Ли недолго тяготила собой землю. Огорчённая и расстроенная потерей внуков и сына, она не имела той внутрен-

ней силы, которая помогает переносить несчастья в лета крепости и здоровья. Она чахла и хирела с каждым днём. И, несмотря на ухаживанья за нею с истинной самоотверженностью Настасьи Андреевны, она скоро впала в тяжкую болезнь. Доктора определили эту болезнь лихорадкой старости, и точно это была лихорадка полного истощения организма. Единственным утешением её в это время было — взгляд на ухаживающую за ней невестку. Она вспомнила своего сына, взаимную любовь их и с грустью думала: «Так молодая и так несчастна!» Но болезнь продолжалась недолго. Настасье Андреевне пришлось и ей закрыть глаза. И она осталась одна, совсем одна...

Новая грусть и новые слёзы; но это были уже не те слёзы, которые душили, жгли, не давали смотреть на свет Божий. Те слёзы выплакались, замерли в иссохшей груди и обратились в глубокую, но тихую грусть; а эти были только молитвой перед Богом за то, что к Богу отошло.

Между тем вновь образовавшаяся республика росла не по дням, а по часам. Она вошла

в сношения со всеми государствами Европы на равных с ними правах. Европейские газеты начали получать отовсюду, вместе с европейскими модами, предметами роскоши и изобретениями. Доходы республики увеличились, и она начала выплачивать свои долги. Все расчёты её были скоро окончены, и Настасья Андреевна получила обратно свой капитал в облигациях, которые во всяком большом городе Европы и Америки легко было обратить в наличные деньги.

Тогда Настасья Андреевна, распределив большую часть этого капитала на дела благотворительности, в память её мужа и детей, решила окончательно, что ей непременно должно ехать в Россию; что она виновата перед нею, перед своими родными, предоставляя возможность играть роль самозванке и, может быть, даже захватить её огромное имение, а может быть, и компрометировать самое её имя.

Быстро собралась Настасья Андреевна, не связанная никем и ничем, чтобы ехать в своё незнаемое, но любимое ею отечество. Вот она уже на корабле. Паруса подняты. Корабль от-

даёт свой последний салют крепости. Настасья Андреевна бросает свой прощальный взгляд на американскую землю, которая дала ей столько счастья, что воспоминание об этом счастье не заглушается никаким горем.

«Моё счастье было, — говорила себе Настасья Андреевна, — любовь одного, и я должна отблагодарить за него Бога любовью ко всем!»

Через несколько часов было видно только море да небо. Корабль шёл, несомый ветром; волны ударялись в его борта, пока он не бросил якорь в тихом пристанище Гаврского рейда.

II ДОПРОС

Перед читателем грустная картина: каземат Петропавловской крепости; такой же в 1775 году, как и потом в 1825 и 1881 годах, потому что каземат всегда каземат, неволя всегда неволя. И не позолотишь этой неволи ни бархатными обоями, ни персидскими коврами, ни обедами, ни всею роскошью мира.

Итак, всё одно: те же допросы, те же дознания и те же истязания, физические и нравственные.

Пытка у нас была легально уничтожена Екатериной II. Поклонница Дидро и Вольтера, почитательница Беккариа и Гельвеция, проводящая в жизнь идеи Монтескье, покровительница Лагарпа, она не могла допустить раскрытия истины посредством мук и истязаний.

Но что такое пытка? Тогда ли только пытка, когда по формальному установлению на дыбе руки выворачивают, кости в тисках да-

вят, тело клещами рвут?

Не пытка ли под розгами допрашивать, заставляя полупудовые кандалы носить, к шестипудовым стульям приковывать или с голоду морить? А много ли прошло времени с того, как все эти милые вещи практиковались у нас и признавались не только естественными, но даже необходимыми?

А разве не пытка сидеть и не видеть конца своему сидению, особенно когда знаешь, что от этого сидения гибнет всё, что дорого, всё, чем мила жизнь? Разве не пытка — искушение? Вот тебе муки Тантала, если молчишь; а вот все блага жизни, если заговоришь, раскроешь. Удивительно ли, что перед такой пыткой не устоит мужчина; каково же устоять против неё женщине?

Женщина всегда женщина, и судьба её, когда она стеснена, когда она несчастна, не может не вызвать в мужчине сострадания; мужчина всегда невольно её пожалеет, отнесётся к ней с участием, несмотря на её виновность.

В чём же была виновата Али-Эметэ?

— Как, она?! — воскликнула бы Екатерина, если бы ей предложили этот вопрос. —

Всклепавшая на себя имя, могущее возбудить мятеж, поднять возмущение, внести смуту, вызвать народные страсти, и когда же, когда эти страсти ещё не успокоились, не улеглись от казни Пугачёва? Да она более чем виновна, она язва, она яд! Для неё мало всех пыток Бирона! Она хотела перевернуть весь строй общества. Для достижения своих преступных замыслов она хотела возбудить междоусобную войну, залить полмира кровью. Может ли быть какое преступление более тяжко, может ли какой-либо замысел в его осуществлении быть ужаснее?

— Так, государыня, так! Но Али-Эметэ, в сущности, ничего не замышляла и уж ровно ни к какому осуществлению не приступала. Она только лгала, лучше сказать, поддерживала ложь других, чтобы из этой лжи извлекать себе средства для роскошной жизни и высокого положения.

«Ну, пусть бросит в неё камнем тот, кто никогда не лгал», — думает князь Голицын, вспоминая великого Учителя, предложившего такое же наказание грешнице, перед ним представшей.

А граф Орлов-Чесменский, этот, по мнению Али-Эметэ, рыцарь чести, герой добродетели? «Чисты ли были руки твои, когда ты готовился преломить хлебы жертвоприношения?» — мог бы спросить его древний мудрец, остановивший мановением руки своей течение солнца.

Какой ответ дал бы он ему, даже если бы действительно был безгрешен, аки агнец, ведомый на заклание. А если руки его были не чисты? Если он, как леди Макбет, моет, моет руки свои, а на них всё кровь и эти не отмытые от крови руки он поднял на женщину для предательства. Что бы тогда сказал он? Что бы ответил он, если бы ему указали, что ведь эта женщина отдалась ему вся беззаветно, всем телом и всей душой своей, а он предал её, как Иуда, и когда же? Когда она готовилась быть матерью его сына!

Поздно, очень поздно поняла Али-Эметэ, какому человеку она отдалась, кому она вверила себя. Поздно поняла она, что он был действительно представитель русской удали и русской смётки, стало быть, представитель русского молодечества, но никак не предста-

витель русского чувства и русской чести. Русская честь была ему не только не дорога, но даже незнакома. Он солгал бы из малейшей отдалённой выгоды, обманул бы из хвастовства. А чувство? Боже мой, да граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский не понимал самого слова «чувство», если оно не обозначает тех его физических ощущений, которые он мог бы тешить материальными наслаждениями или хотя бы услаждать дикими затеями, вроде бешеной скачки на борзом коне или борьбы с медведем один на один.

Поздно узнала Али-Эметэ, что для её рыцаря, для её героя, как называла она Орлова в мечте своей, когда млела в его объятиях, было решительно всё равно, она ли, другая ли будет тешить его грубую чувственность. Вопрос о её жизни и страданиях он сумеет заглушить московским разгулом, пирами на весь мир, цыганской песней, рёвом медведя на травле, восклицаниями кулачных бойцов. Он обманул её так же, как обманул своего государя Петра III, вверившегося его чести; как обманул доверие итальянцев, признававших его своим дорогим гостем; как обманул десяток

тысяч славян и греков, поднявших против турок оружие в надежде на его обещание поддержки и брошенных им без всякого внимания к тому, насколько тяжело отзовется им турецкое возмездие. Он обманул бы и Екатерину, если бы надеялся, что Али-Эметэ может преуспеть... Он писал теперь, что боится быть застреленным или окормленным сообщниками всклепавшей на себя имя, особенно иезуитами. Неправда! Он обманывал! Никого и ничего он не боялся; да и чего было бояться ему, окруженному почти царской пышностью и ещё при его необыкновенной силе. А окормить его иезуиты и в Москве могли бы так же легко, как и в Пизе или Ливорно. Ему просто наскучила Италия, разгуляться было негде, то ли дело матушка-Москва.

Брат его Григорий Григорьевич потерял при Екатерине всякий кредит. Его к ней не допускали, опасаясь дерзкой выходки его бешеного характера. По возвращении из Фокшан и неудачи мирного конгресса, на который, отправляя его как ангела мира, Екатерина сама заботилась о доставлении ему возможно большего блеска, так как она знала,

что он блеск любит, — он вдруг попал в положение опального, которого не допускают ко двору, сперва под предлогом необходимости выдержать карантин, прежде чем представиться государыне по возвращении из опасных мест, а после просто по нежеланию его видеть. И он волей-неволей жил в Гатчине, то беснуясь до сумасшествия, то приходя в отчаяние до детских слёз, то вдаваясь в эротические похождения, в которых не пощадил даже своей молоденькой четырнадцатилетней двоюродной сестры, Екатерины Николаевны Зиновьевой, привезённой к нему его родным дядей на поклон по обычаю доброго старого времени возить детей на поклон к старшим родственникам, особенно таким, которые разыгрывали при дворе роль вельможи.

Был в кредите тогда — в случае, как говорили, Васильчиков Александр Семёнович, этот красивейший, милейший, но и пустейший господин, который, говорят, умел хорошо только на пальцах вышивать.

— А, Александр, это ты? — спрашивала его Екатерина, когда он входил.

— Я, ваше величество! Я позволил себе...

— Ну, здравствуй! Садись, когда пришёл! — говорила Екатерина и как бы нехотя протягивала ему руку. — Садись же! Вот я приготовила тебе новую берлинскую шерсть, самых нежных оттенков.

И он, поцеловав руку государыни, садился разбирать новые оттенки берлинской шерсти, и так до вечера; во весь день более ни слова; разве забракует какой-нибудь моток шерсти, который ему покажется неровен или слишком ярк.

А то вдруг разговорится и ни с того ни с сего начнёт рассказывать длинную историю о том, как он, в бытность ещё прапорщиком, очень любил и ловко умел в кольцо и свайку играть.

* * *

— Не удержаться ему, ни за что не удержаться, — говорили москвичи, рассуждая о тайнах двора, прибывшего тогда в Москву праздновать Кучук-Кайнарджийский мир. — Не такой человек Екатерине надобен!

— Разумеется, не удержаться, — говорил

и князь Пётр Никитич Трубецкой. — Недаром покойный отец говорил, что глуп как сто ослов!

Сказал это князь Пётр Никитич графу Петру Семёновичу Салтыкову, генерал-фельдмаршалу и московскому генерал-губернатору, приходившемуся ему, впрочем, сродни, показывая ему свой кремлёвский дом, который Екатерина поручила Салтыкову осмотреть с целью покупки.

— Зато нового претендента на случай уж никак нельзя назвать глупым! — заметил Салтыков, весьма сочувственно относившийся к расхваливанию Трубецким его дома, с целью взять за него подороже.

— А разве есть уже и новый претендент? Извините, ваше сиятельство, почтенный дядюшка, мой нескромный вопрос, но любопытно...

— А ты не слыхал? Вот что значит московским жителем сделаться. Совсем обленился, братец! Нет, твой отец Никита Юрьевич был не таков. И мой тебе совет, коли хочешь взять за дом подороже, — съезди к Григорию Александровичу Потёмкину. По дружбе к тво-

ему покойному отцу и по родству тебе говорю!

— Неужели претендентом Потёмкин?

— Потёмкин, братец!

— Кривой-то?

— Что ж что кривой! Это, братец, не Григорий Орлов и не Васильчиков. Он и одним глазом видит за четверых. Не бойсь, ни в ревность не бросится, ни на пальцах вышивать не станет, а приладится так, что поневоле французскую маркизу Помпадур вспомнишь!

«Вот как!» — подумал Трубецкой, и только Салтыков уехал, сейчас же отправился засвидетельствовать своё, сенатора, александровского кавалера и родового князя, глубокое почтение к военным подвигам молодого, приехавшего из армии генерала, которого, впрочем, скоро сделали генерал-адъютантом и вице-президентом военной коллегии, хотя подвигов у него ни военных, да и никаких не было.

Зато продал свой дом князь Пётр Никитич, хорошо продал!

А Али-Эметэ?

Холодно приняла Екатерина графа Орло-

ва-Чесменского, хотя и осыпала его милостями; награды на него рекой лились, но ни приближения, ни назначения. Даже после празднеств в Петербург не пригласили. Чесменский герой так и остался в Москве.

— Заслугу оплачивают, — говорила Екатерина, — хотя бы человека и не уважали!

А могла ли уважать Екатерина человека, который продавал священнейшие чувства человека за выгоды её царской милости?

Но, может быть, его верноподданническая преданность?..

Знала Екатерина верноподданническую преданность графа Алексея Орлова по своему мужу.

— Нет, удалец — и только; *хитрый* плут — и больше ничего. Понадобится мне его удаль и сноровка — позову. Не понадобится — тем лучше! Пусть разгулом себя и Москву потешает; ни ума его, ни чувства мне не нужно!

Не понадобились, она и не позвала.

Но, относясь холодно к Орлову, она не могла с тем вместе не относиться весьма страстно к Али-Эметэ.

В женщине не нашлось к другой женщине

столько милости и сострадания, сколько нашлось их в князе Голицыне, и Екатерина писала Голицыну самые строгие настояния, требовала самых решительных мер, чтобы узнать, раскрыть во что бы то ни стало, кто действительно была женщина, всклепавшая на себя имя; кто её выдумал, научил и в ход пустил; узнать непременно всех её наставителей и соучастников, всех её единомышленников.

Бумаги Али-Эметэ Орлов захватил в Пизе хитростью. Он послал де Рибаса, будто бы от имени принцессы, рассчитать прислугу, с выдачею всем наград, и принять все её вещи. Прислуга была очень довольна и безмолвно разошлась, оставив все вещи. Правда, нашлись двое, которые не согласились выдать вещи без личного приказанья принцессы. Для получения такого приказанья их повезли вместе с вещами в Ливорно на русский корабль. Там, разумеется, арестовали. Бумаги Орлов отправил с курьером сухим путём, и они пришли, прежде чем прибыла эскадра Грейга, Голицын имел время с ними ознакомиться.

Получив непосредственно собственноручное приказание императрицы принять секретную арестантку от Грейга, фельдмаршал и Санкт-Петербургский генерал-губернатор князь Александр Михайлович Голицын призвал к себе капитана Преображенского полка Александра Матвеевича Толстого, заставил его принять особую присягу в сохранении тайны, велел плыть на яхте в Кронштадт с командой, принять там арестантку и других привезённых с ней лиц и доставить к коменданту Петропавловской крепости так, чтобы о том не знала ни одна душа человеческая.

Как было приказано, так и сделано Толстым. Ночью, незаметно, подошла яхта к эскадре. Весь день команда яхты, по приказу Толстого, сидела в каютах, чтобы не иметь возможности ни с кем, ни о чём говорить. Ночью на яхту привезли арестованных и разместили по каютам, чтобы они не могли друг с другом видеться и ни с кем не могли говорить. В ту же ночь всех привезённых сдали в крепость коменданту Чернышёву.

Команда, разумеется, видела, что кого-то привезли; но кого именно и за что, никто не

догадывался и ровно ничего не знал.

Чернышёв сам проводил Али-Эметэ в Алексеевский равелин.

Впрочем, помещение приготовлено было ей там весьма приличное. Оно состояло из нескольких комнат, довольно сносно убранных. При ней оставили Мешеду и горничную, назначили особого доктора. Стол давали если не изысканный, то довольно хороший, приготовляемый особо на комендантской кухне.

Голицын объяснял эту снисходительность свою тем, что она ни в чём ещё не разоблачена, поэтому он считает справедливым предоставить ей некоторые удобства, в особенности по слабости её здоровья и чрезвычайному расстройству, которому подверглась она в пути, наконец, по её положению — беременной женщины.

Императрица не возражала, хотя нельзя сказать, чтобы этим распоряжением осталась довольна. Она только настаивала на скорейшем начатии и строжайшем ведении следствия.

Началось следствие. Начались допросы и передопросы; но что на этих передопросах могла сказать о себе Али-Эметэ? Ясно, она могла повторять только ту сказку, которую говорила Огинскому, Радзивиллу, Орлову и другим и которая составила в её голове частью из действительных воспоминаний, частью из внушений отца д'Аржанто и других отцов иезуитов, а частью из указаний разных лиц, которые имели случай с ней говорить и на неё влиять; сказку, в правдивость которой она, кажется, начинала верить сама, хотя, как справедливо заметил Панин, сказка эта была настолько дурно скомпонована, что перевидала даже имя Алексея Разумовского, придуманного для неё отца.

Когда Голицын первый раз, в полной фельдмаршальской форме, вошёл к ней в каземат вместе с делопроизводителем комиссии Ушаковым и одним из членов, Шешковским, она сейчас же встала и сама обратилась к нему с первым вопросом:

— Скажите, генерал, что это значит? Какое право имеют так обходиться со мной? Что я

сделала и кто смел меня арестовать?

Она говорила лихорадочно, с нервной дрожью. Красноватые пятна выступили на её лице от одолевшего её волнения.

Князь Голицын на это строго заметил ей, что не её дело спрашивать, она должна только отвечать.

— Из вопросов, которые вам предложат, — говорил он, — вы узнаете, в чём вы обвиняетесь, и советую искренним признанием и откровенностью облегчить себе положение, которое в противном случае может привести вас, предупреждаю, к весьма печальным последствиям.

Князь проговорил слова эти весьма строго; тем не менее красота и грация порученной ему для следствия жертвы, видимость её душевных страданий, разрушавших её организм, произвели на него сильное впечатление, и он невольно старался относиться к ней возможно человечнее.

— Я? Отвечать? Хорошо, я буду отвечать! — с вибрацией в голосе и как бы юмористически проговорила она, опускаясь в кресло и положив на стол свою исхудалую ручку,

на которой обозначалось тоненькими синими полосками сплетение её нежных мускулов.

— Сударыня, я фельдмаршал князь Голицын, здешний генерал-губернатор. Мне поручена ваша участь. Поэтому убеждаю вас, ради вас самих, к полной искренности...

Али-Эметэ перебила его.

— Князя Голицыны в русской истории отличались доблестями; а вам поручено терзать бедную женщину, захваченную обманом. Ну что ж? В добрый час. Терзайте, мучьте, зовите палачей ваших. Я в вашей власти!

— Ваше замечание неуместно, сударыня. Ни из чего вы не можете заключить, чтобы желали терзать и мучить вас. От вас желают получить только полное, откровенное признание.

— Э, Боже мой! Мне не в чем признаваться. Спрашивайте, я буду отвечать всё, что знаю, и буду отвечать, разумеется, искренне, потому что мне незачем лгать...

— Ваше имя?

— Елизавета!

— Сколько вам лет?

— Двадцать три года!

Али-Эметэ взяла на душу года два-три. Но кто же отнёсся бы строго за то к хорошенькой женщине?

— Какого вы вероисповедания?

— Восточно-православного!

— Кто ваши родители?

— Не знаю!

— Кто были восприемники?

— Не знаю!

— По какому же поводу вы говорили, что вы дочь государыни Елизаветы Петровны, будто бы от её тайного брака?

— Никогда я этого не говорила, разве в шутку. Мне говорили другие о моём высоком происхождении, но я всегда смеялась и говорила только, что я то, что я есть; а происхожу ли я от турецкого султана или от русской императрицы, мне до этого нет дела!

— Но слухи...

— Какое мне дело до слухов? Посторонние, окружающие меня, могли распускать обо мне какие им угодно слухи. Я не могла, да и не хотела мешаться в чужую болтовню!

— Расскажите, что вы помните о вашем

детстве и юности.

Али-Эметэ начала свой рассказ, который тут же записывал Ушаков.

— Сколько я помню, первые годы своего детства я жила в Киле у госпожи Пере или Перон. При мне была нянька Катерина, ещё учитель Шмидт. В один день вдруг меня торопливо собрали; сказали, что везут в Россию. «Там, говорили мне, ты увидишь своего отца и мать, больших и знатных господ, тебя всякий день будут наряжать в новые платья, кормить конфетами, дарить игрушки и куклы». Я с нетерпением хотела видеть отца и мать и много думала о платьях и игрушках, которыми меня будут одаривать.

Помню, что точно мы приехали в какой-то большой город; там ввели меня в большой зал, по которому я шла, шла, конца не было; наконец меня ввели в небольшую, но чрезвычайно украшенную комнату, разукрашенную в такой степени, что, войдя в неё, я вскрикнула от удивления. Меня встретила нарядная дама, подняла меня на руки и стала целовать. Была ли это мать моя, не знаю!

Тут воспоминания мои мешаются. Я была

страшно больна, больна до беспамяත්ства, до сумасшествия. После мне говорили, что болезнь моя была от отравы.

Принятыми своевременно мерами вредное действие отравы было уничтожено, я довольно долго была очень слаба. В это время случился какой-то переворот, что-то сделалось, и я очутилась у доброго, очень доброго священника. Воспоминания мои здесь путаются, но кажется мне, будто этому священнику вручила меня сама моя мать и будто при этом она много плакала и крепко, горячо меня целовала. Нянька Катерина всё оставалась при мне, но ко мне приставили другую няньку, русскую, от которой я научилась немножко говорить по-русски, что, к сожалению, потом забыла.

Священник повёз меня куда-то далеко, мы ехали долго, пока не приехали в город, имя которого память моя сохранила; это — Астрахань. Здесь священник сел с нами на какое-то персидское судно и отвёз меня на персидскую границу, где сдал с рук на руки весьма образованной и умной старушке, которая сама занялась моим первоначальным образованием.

К старушке как-то раз заехал один из вельмож персидского шаха. Узнав обо мне, он сказал, что он берёт меня с собой и отвезёт к моему дяде, первому вельможе и богачу в Персии. Старушка не смела возражать, и я с ним отправилась. Это был персиянин Гамет, действительно друг моего дяди, к которому он меня привёз.

— Как звали вашего дядюшку?

— Князь Гали.

— Такого князя в Персии нет.

— Не знаю, но его все так называли. Я у него росла и воспитывалась, и он очень заботился, чтобы дать мне отличное образование. Для этого он нарочно выписал учёного француза Жака, у которого я училась по-французски, по-итальянски и словесным наукам. У него в гареме жила ещё швейцарка, учившая меня музыке, пению, рисовать и танцевать. Дядя нередко говорил мне, что я законная дочь русской императрицы Елизаветы от её тайного брака с его братом, и объяснял мою отправку из России тем, что государыня чем-то была недовольна моим отцом и разошлась с ним. Противная моему отцу партия, видя,

что мать меня очень любит, желала всеми мерами меня извести, вероятно в своих видах. Мать, опасаясь вторичной отравы, решила меня удалить и поручила это дело своему духовнику. Хотя дядя это мне пояснял, но я не придавала никогда этому значения и мало о том думала.

Когда мне минуло пятнадцать лет, мой дядя решил отправить меня в Европу для получения образования. Под чужим именем проехали мы через всю Россию. Мать моя перед этим скончалась, и мне сказали, что я должна скрываться. Дядя тотчас же увёз меня через Кёнигсберг в Берлин, а потом в Париж. По дороге, кажется в Гамбурге, он виделся с английским резидентом при германском императоре лордом Кейтом и поручил меня его наблюдению. В это время дядя узнал, что ему необходимо ехать в Персию, по делам чрезвычайной важности. Он оставил меня получать образование в иезуитском коллегиуме, а сам уехал. Оставляя меня, он положил на моё имя значительную сумму денег и ещё более значительное количество драгоценных вещей.

Я получила эти вещи и деньги по достиже-

нии совершеннолетия. В Париже, потом в Лондоне меня признавали дочерью князя Гали и называли принцессой Али, а иногда княжной или султаншей Алиной. Дядя мой, видимо, весьма богат. Он нередко присылал мне значительные суммы и требовал, чтобы я жила соответственно своему происхождению. Я обращалась в кругу лиц самой высшей французской аристократии. Дочерью императрицы Елизаветы я себя ни перед кем не называла, разве в шутку, хотя многие впоследствии меня в том уверяли положительно. Из Парижа я поехала в Германию. Мне хотелось купить там поземельную собственность. Деньги у меня были из оставленных дядей при отъезде и из присланных после. Во Франкфурте я встретила с принцем Филиппом Фердинандом, герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Лимбург де Ливанж. Я ему понравилась; более, он в меня влюбился и стал домогаться моей руки. Я была согласна. Он мне тоже нравился, поэтому, вместо покупки отдельной собственности, я, согласно желанию своего жениха, решила выкупить графство Оберштейн, находившееся у него в совокупном

владении с герцогом трирским. Имение это обладает превосходными агатовыми копиями, которые приносят мне значительный доход, так как герцог лимбургский передал мне его в пожизненное владение. Но для брака необходимы были документы о моём происхождении. Между тем из коллегіума мне были доставлены сведения о доставшемся мне в России наследстве после одного из родственников моего отца. Для получения этого наследства мне тоже необходимо было иметь точные доказательства о моём происхождении. Чтобы собрать эти доказательства и разъяснить, таким образом, тайну своего рождения, я решила ехать в Персию сама. Прежде, однако ж, чем я приняла такое решение окончательно, я написала в Россию к здешнему вице-канцлеру, тоже князю Голицыну, испрашивая разрешение ехать в Персию через Россию; просила я также разрешения проездом в Петербурге представиться императрице. На письмо своё я не получила никакого ответа. Мне оставалось только ехать через Турцию, но и для этого нужен был султанский фирман. Чтобы исходатайствовать этот фирман, я

поехала в Венецию, из которой было удобнее сноситься с Константинополем. В Венеции я встретила с князем Радзивиллом. Он прямо признал меня за дочь императрицы Елизаветы, удостоверяя, что ему вся моя история хорошо известна. Не отрицая его уверений, я, однако ж, не приняла их. Он вызвался провожать меня до Константинополя; я не отказывалась ехать с ним и его сестрой, графиней Моравской. Противный ветер занёс нас в Рагузу, откуда я захотела взглянуть на Рим. Нужда в расходных деньгах заставила меня войти в переписку со многими лицами о доставлении нужных сумм. Эти суммы обязательно взялся доставить через банкира Джекинса граф Орлов. В то же время он предложил мне, в ожидании присылки денег из Оберштейна и получения султанского фирмана, провести время в Пизе. Я согласилась и попала в обман.

— В ваших бумагах находятся копии завещаний императрицы Екатерины и Елизаветы, переписанные вашей собственной рукой. Кто доставил вам эти бумаги для переписки?

— Я получила их при анонимном письме, вместе с пакетом, который, тем же письмом, просили переслать графу Орлову.

— И вы не знали, что в пакете?

— Не знала; хотя догадывалась, что это те же бумаги, которые были доставлены и мне!

— Согласитесь, это невероятно!

— Может быть; но было так, как я говорю.

— После кого из родственников вы полагали получить наследство?

— После князя Зацепина-Владимирского. Получив известие об открывшемся наследстве, я приняла на себя и его фамилию.

— Но каким же образом, быв дочерью императрицы Елизаветы, вы хотели получить в наследство зацепинские имения и капиталы, идущие из рода императрицы Анны Иоанновны.

— Быв дочерью императрицы Елизаветы, я была, естественно, племянницей императрицы Анны, её двоюродной сестры. Впрочем, удалённая с детства из родины, не зная русских законов, я просила вице-канцлера разъяснить мне то, чего я не знала.

— На каких основаниях сошлись вы с Радзивиллом?

— Мы встретились в доме одного из венецианских сенаторов Альбедини. Он прямо мне сказал, что я могу быть полезной Польше, так как ему положительно известно, что я дочь императрицы Елизаветы, и предложил свои услуги.

Разумеется, ни рассказами Али-Эметэ, ни даваемыми ею ответами князь Голицын удовольствоваться не мог. Он видел, что она рассказывала ему сказку, в том тоне, что все её похождения исходили из её собственного желания узнать ближе о самой себе; но ему не было нужды до её желаний; ему нужно было добиться во что бы то ни стало, кто подал ей мысль объявить себя дочерью императрицы Елизаветы и с кем она находилась по этому предмету в сношениях. Поэтому после нескольких секунд молчания он спросил, стараясь придать своему голосу возможную мягкость и убедительность:

— Послушайте, сударыня. Всё, что вы рассказывали, не имеет и тени вероятия. Для вашей собственной пользы, для вашей личной

безопасности и спокойствия я убедительно прошу вас, отвечайте на мои вопросы откровенно и чистосердечно. Это одно, и только одно, может спасти вас от самых тяжких неприятностей. По летам своим я могу быть отцом вам, и поверьте, что истинно как отец дочери советую: раскройте эту интригу, исходящую из адской злобы и зависти. Скажите...

Голицын был мягкий и добрый человек. Ему было жаль молодой женщины, видимо попавшей, по легкомыслию и страсти к удовольствиям, в тиски политической интриги, исход которой может быть — или смерть, или вечное заключение.

— Я вам сказала всё, что я знаю! — отвечала Али-Эметэ твёрдо. — Больше мне нечего говорить! В жизни своей мне приходилось много терпеть; но никогда не теряла веры в справедливость и упования на милосердие Божие. Совесть не упрекает меня ни в чём преступном. Надеюсь на милость государыни.

Слова Али-Эметэ были записаны и переведены. Она прочитала их и подписала твёрдой рукою: Elisabeth.

Доманский и Чарномский, равно как и

прислуга, в один голос показали, что князь Радзивилл им сказал, что она великая княжна, и они поверили ему, тем более что видели, что сам он, его сестра графиня Моравская, графы Потоцкий и Пржездецкий отдают ей царские почести. Да и все приезжающие к ней знатные лица: министры, сенаторы, посланники разных дворов и даже владетельные особы, герцог трирский и князь лимбургский, обходятся с ней как с особой, принадлежащей к царственному дому. Впрочем, Доманский прибавлял к общим показаниям, что и от неё самой он слышал, что она дочь русской государыни.

* * *

Получив в Москве донесение от фельдмаршала Александра Михайловича Голицына об ответах самозванки, государыня сильно прогневалась.

Первое, на что она обратила своё внимание, это лаконичность её подписи. «Какова? — думала она. — Смеет продолжать обман; смеет передо мной уверять, что она при-

надлежит к царственному дому, означая свою подпись одним именем».

— Вяземский, посмотри! Наглая лгунья решается утверждать своё враньё, подписываясь так, как подписывалась покойная тётушка императрица. И она это смеет? Нет, фельдмаршал слишком мягок! Таковую наглую лгунью следует хорошенько приструнить. Потом, что это? Ложь в каждом слове, мистификация какая-то. Вместо объяснения дела она сочиняет роман.

И она написала Голицыну:

«Передайте пленнице, что облегчить свою участь она может только полной откровенностью и совершенным отказом от разыгрывания безумной комедии, подписываясь Елизаветой. У ней было столько имён, что может выбрать из них себе любое, кроме того, которым подписывается. Поручаю вам принять против неё надлежащие меры строгости, чтобы наконец её образумить, потому что наглость её переходит все границы».

Князь Александр Михайлович Голицын был, как мы сказали, человек мягкий и добрый. Но ввиду такого положительного прика-

зания государыни, — приказания в то время совершенно понятного, ибо всякий знал, что под надлежащими мерами строгости следовало разуместь ни более ни менее как розги, он счёл долгом о том её предупредить. Но на личное предупреждение о таком исходе её за-пирательства у него не хватило решимости. Он приказал сказать ей об этом Ушакову; тот тоже невольно проглотил свои слова перед гордой и изящной красавицей. Однако ж он сказал ей, что, в случае дальнейшего с её стороны упорства во лжи, будут приняты крайние способы для узнания её сокровенных мыслей. В этих словах, разумеется, подразумевалась пытка; так и поняла эти слова Али-Эметэ.

— Ах, Боже мой, кто вам мешает? Режьте, жгите меня! Пусть сломанные кости мои будут свидетельствовать о подвигах вашего человеколюбивого правительства!

И вот отменённая формально Екатериной пытка готова была вновь явиться на Божий свет, на тиранство бедной женщины.

Впрочем, Екатерина не была противницей телесного наказания, и розги не относились к

орудиям пытки. В конце царствования она даже злоупотребляла ими. А противосклепавшей на себя имя она, видимо, действовала с той страстностью, которую создаёт только озлобление. И удивительно ли? Столько ума, столько отваги, столько риска было ею принесено для приобретения власти, и вдруг какая-то всклепавшая на себя имя желает всё уничтожить, всё подорвать.

Но Голицын, видевший Али-Эметэ, её нежность, слабость, видимую болезнь и ещё во время беременности, даже подумать боялся о мере, ему предложенной.

Али-Эметэ клялась, что она дала показание по совести и сказала только одну правду.

Желая всеми мерами отклонить готовившуюся пленнице грозу, он отправился в каземат сам, убеждал, доказывал, давал даже надежду на помилование, просил сказать хоть одно: от кого она получила копии с завещаний императора Петра I, Екатерины I и Елизаветы; но всё было напрасно. Али-Эметэ стояла на своём, объясняя, что поименованные бумаги она получила через анонимное письмо.

— Так вы не хотите исполнить волю госу-

дарыни, признаться во всём? — спросил князь Голицын.

— Мне не в чем признаваться, кроме того, что я сказала прежде. Больше ничего не могу сказать, потому что не знаю; видит Бог — не знаю!

При этом она просила испросить у государыни аудиенцию, чтобы она сама могла видеть степень искренности её слов.

Голицын писал обо всём государыне и объяснял, что принятие более строгих мер её убьёт.

Но Екатерину, в свою очередь, не легко было разнежить; она отвечала:

«Распутная лгунья осмелилась просить у меня аудиенции. Объявите этой развратнице, что мне известна её крайняя безнравственность, её замыслы и попытки принимать на себя чужие имена, и я не приму её никогда! Объявите, что если она будет продолжать свою ложь, то подвергнется самой строгой каре».

При этом собственноручном письме государыни Голицын получил указания несоответствия данных Али-Эметэ показаний. Ука-

зания эти состояли из 20 статей, в которых каждое слово её разбиралось в сближении одного с другим по времени, месту, обстоятельствам и взаимному одно другому противоречию. «Эти 20 статей, — писала Екатерина, — уничтожают все ложные выдумки наглой арестантки».

После такого предписания, при требовании употребления самых строгих мер к вынуждению у пленницы искреннего сознания, Голицын был поставлен в необходимость начать против неё дело в более крутом виде. Мягкость его характера и невольное сожаление о судьбе арестантки, столь легкомысленно попавшей из мраморного пизанского дворца в каземат Петропавловской крепости, заставили его ещё раз испытать над ней силу убеждения. Сам он прочитывал ей одну статью за другою; сам доказывал, что, например, в некоторых письмах, от написания коих она отказывается, объясняя, что они доставлены ей неизвестным лицом, есть обстоятельства, которые могли быть известны только ей одной, — всё было напрасно. Али-Эметэ стояла на своём, не отступая ни в чём от показания,

которое дала, стараясь дополнить и разъяснить его только в подробностях.

Тогда Голицыну оставалось принять тот путь мер строгости, на который указывала ему Екатерина. Но, взглянув на исхудалую, истомлённую женщину, на лихорадочный блеск её глаз, дрожание зрачков и уголков рта, прислушавшись к её сухому кашлю, тяжёлому удушью, заметив кровохарканье и пятнистый чахоточный румянец её лица, Голицын невольно подумал: «Господи, неужели эту несчастную, больную женщину сечь, и когда же, в последние месяцы её беременности? Да она не выдержит первых ударов; она умрёт от одного страха. Тогда я буду её убийца! Я, Голицын, буду убийцей женщины! Это невозможно, невозможно! Пусть на меня обрушится гнев государыни, пусть я лишусь её милости на всю остальную жизнь мою, но этого я не могу. Хотя при других обстоятельствах, при других условиях, но я должен вспомнить, что отвечал мой отец Петру Великому, когда, ведя свои войска на штурм Шлиссельбурга под страшным неприятельским огнём, он получил приказ отступить. Он отве-

чал посланному: «Скажи царю, что теперь я Божий, а не царский и или возьму крепость, или лягу на её стенах». В настоящем, разумеется, мне нет опасности быть убитым, но есть опасность быть убийцей. А что хуже? По-моему, последнее... Ни за что, ни за что!..»

Однако ж нужно было исполнить волю Екатерины, приступить к строгим мерам необходимости.

— Послушайте, сударыня, — начал говорить Голицын строго и печально. — Если вы не хотите облегчить участь свою искренним и благородным признанием, не хотите внять моим увещаниям, которые, позволяю себе уверить, исходили из отеческого чувства участия к вашей судьбе, то делать нечего: я должен прибегнуть к мерам строгости. И на первое время я должен лишить вас тех удобств, которыми вы доселе пользовались, по уважению ваших привычек и вашего воспитания. Отрицая назвать своих родителей и дать какие-либо действительные, а не вымышленные сведения о ваших отношениях, образе жизни и стремлениях, вы становитесь на ступень проходимки, для которой не следует де-

лать никаких изъятий; вы тогда арестантка, и более ничего. Поэтому, с глубоким огорчением, я должен буду приказать вывести вас из занимаемого вами помещения, отнять у вас прислугу, предоставить пищу, которая обыкновенно даётся арестантам. Подумайте, сударыня, не заставьте меня прибегнуть к такой крайней мере; но я должен... поймите меня, должен!..

Али-Эметэ заплакала, но отвечала с выражением истерической твёрдости:

— Князь, князь! Что же вы хотите, что бы я сказала, когда я сама более ничего не знаю?..

Голицын пожал плечами и вышел, написав Екатерине о своих распоряжениях и о том, что к более сильным мерам он приступить не может, так как по состоянию её здоровья видимо, да и доктор, её пользующий, удостоверяет, что ей и так недолго остаётся жить.

В тот же вечер бедная Али-Эметэ была переведена в нижний этаж Алексеевского рavelина, в каземат длиной полторы сажени и шириной сажень, свет в который падал из

маленького в 1/4 аршина квадратного окна, находившегося под самым сводом, далеко выше её роста. В каземате были арестантская деревянная нара с обрубком дерева под голову, покрытая войлоком, обшитым холстиной, грязной, старой, и глиняный кувшин с водой. Сквозь стены глухо отдавались в каземате всплески воды.

К ночи принесли ей деревянную чашку арестантских щей, может быть, с тараканами, кусок чёрного хлеба и деревянную ложку.

Али-Эметэ взглянула на принесённую ей пищу с ужасом.

За дверью по коридору раздавались шаги караульных солдат, их грубые шутки, подчас их крупный разговор, отдававшийся порой эхом в сводах здания и вдруг смолкавший и впадавший разом в мёртвое, гробовое молчание. Всплески воды неумолчно журчали в самых ушах как нечто вечное, нечто роковое, лишающее всякой надежды, всякого ожидания.

«Так вот он, этот каменный мешок Петропавловской крепости, о котором я столько слышала, столько читала и который я никак

не могла себе вообразить. Вот откуда нет бегства и где не слышны стоны страдающих. И мне суждено жить здесь, страдать, принести новое существо жизни и потом умереть. И за что, за что? За то, что поверила тому, кого полюбила!»

Она села на свою нару и осмотрела себя. Она была в том же бальном из зелёного бархата платье, отделанном золотым кружевом, как она была взята на бале. Грейг снял с неё только бриллианты. Роскошная восточная, шитая золотом по индейской кисее наколка, падающая с косы ниже талии, оттеняла её исхудалое, измученное, но всё ещё выразительное и прекрасное лицо. Местами наколка, равно как и кружева, была оборвана; местами и платье означало, что время имеет влияние на самые прочные материи; но всё же в этом платье — и в каземате, на арестантской постели, усеянной паразитами!..

«Боже мой, Господи мой, где же конец моим страданиям? Умилосердись, Господи, пошли мне конец!»

Нет! она носит под сердцем живое существо. Прежде чем она умрёт, она должна дать

жизнь. Но зачем оно, это маленькое существо, долженствующее огласить первым криком своим своды каземата? Кому оно нужно?.. Отцу? Но отец предал его. Слыхано ли где-нибудь такое дело, что даже не сын отца, а отец сына предал, и за что? За то, что мать бедного дитяти искренно его любила.

Слёзы душили её.

«Так вот он, этот мешок. Здесь раздавались и будут, может быть, долгое время раздаваться рыдания тех, которые, по несчастию или своей вине, навлекут на себя гонение судьбы. Здесь никто не увидит и не услышит их жалоб, поэтому никто не поверит, никто не рассмотрит, кто справедлив, те ли, которые жалуются, или те, которые их преследуют.

Вот здесь, может быть, на этом месте, был застенок, где грозный царь пытал своего сына. Кто знает, что было тут тогда? Никто! Камни не расскажут! Сын молчал, встречал грозу пассивностью страдания и, может быть, этою пассивностью более и более раздражал отца.

Я читала где-то об инстинктах человека. Там рассматривалась человеческая кровожадность и объяснялось её развитие в цивили-

лизованном обществе. Там говорилось именно, что страдания другого, при их пассивности, могут возбудить ожесточение, доходящее до страстности, до исступления; могут возбудить ожесточение до того, что мучающий начинает чувствовать в мучениях мучающегося наслаждение. Неужели мог находить наслаждение отец в мучениях сына?

Вот и мне не суждено ли доставить им наслаждение своими мучениями; не суждено ли испытать те страдания христианских мучениц, которые возбуждали страстность римских извергов? Мне, а может быть, и этому ребёнку, который ещё не видел света Божьего, а уже осуждён... Боже, пошли конец мне!»

Такого рода мысли, такого рода представления воображения волновали, терзали бедную. Намученная, она впадала в дремоту, но опять, будто уколота чем, вскакивала и вспоминала свои видения, свой горячечный бред.

И так шли час, другой, третий, десятый, без счёта времени, без сознательного понимания часов. Ей опять принесли пищу, но она не в силах была даже взглянуть на неё.

На другой день, по именному приказанию

государыни, её мучения были усилены тем, что караульные были введены в самый каземат. Дело в том, что Голицын, описывая отчаяние Али-Эметэ, выразился, что он боится, чтобы она чего над собой не сделала. Присутствие солдат в её комнате, присутствие, не отстраняемое ничем и ни для чего, ни днём ни ночью, вывело её совершенно из себя. Она попросила бумаги и написала Голицыну:

«Ради самого Бога, князь, пощадите во мне женщину, уведите их!»

В том же духе писала она и к императрице:

«На коленях умоляю, государыня, пожалеть мою женскую натуру и избавить от присутствия солдат, которые даже ночью не оставляют моей тюрьмы».

Эти письма вынудили Голицына освободить её от присутствия караула в каземате, а донесение доктора о её болезни и истощении заставило его вновь предоставить ей ту пищу, которая до того подавалась. Но Голицын не решился взять на себя и переменить её помещения. Он написал государыне, и до её решения Али-Эметэ всё оставалась в нижнем помещении крепости.

Была тёмная осенняя ночь. Али-Эметэ задремала.

Вдруг в полудремоте она видит, что что-то врывается к ней в окно; что-то будто плескается, будто говорит. Она приподнялась на своей наре, оглянулась и видит, что окно в её каземате выбито и в него вливается моментами вода, которая уже заметно стоит на каменном полу каземата. Прошла минута — и вода полилась в окно уже полной струёй. Каземат мгновенно стал наполняться. Вода дошла до половины высоты нары, где сидела Али-Эметэ, заставив её поднять опущенные было ноги.

«Что это? — подумала она. — Наводнение? А! Ну вот и хорошо, вот и конец и мне, и моему будущему ребёнку! И прекрасно!»

Между тем падающая каскадом сквозь окно струя светилась отблеском в её глазах. Она вспомнила, как в детстве ещё, в Киле, она любовалась такой же струёй и бросила в неё свою куклу, и как кукла полетела, закружилась и скрылась в глубине струи. «Вот если бы ребёнок родился, тогда можно было бы за зло, сделанное его отцом... Что я? Никогда, ни-

когда! Уж лучше пусть утонем вместе!» Вода подступила к самому войлоку. Али-Эметэ машинально вскочила. Вдруг она увидела, что по воде плывут к ней крысы, выгнанные наводнением из своих нор. Вода уже покрывала ей колени; они лезли к ней на платье, падали и опять плыли. Она закричала страшно, неистово... Но пройти к ней уже было невозможно; коридор весь был в воде.

III

ЧТО ВЗЯТО, ТО СВЯТО

В один из тёплых осенних дней, когда хлеб был уже убран, в село Зацепино, принявшее, по долгому отсутствию владелицы и неизвестности её местопребывания, вид вольной слободы, нежданно, негаданно вдруг прибыло начальство.

Засуетилось, забегало село. Волостные головы, сельские старшины, выборные, сотские и десятские побежали к конторскому дому встречать и чем можно умасливать начальство. На ком числилась какая недоимка, тот

спешил, что было получше да подороже, снести в подполицу; девки прятались по чуланам; парни уходили в лес. Не ровен случай, пожалуй, ещё возьмут да в рекруты угодят, говорили они и бежали, кто с топором, кто с ружьём, а кто и с пустыми руками, только бы на виду не быть, с начальством не встречаться, а подобру-поздорову подальше убираться. Петровские-то времена, видно, не совсем забыты были.

Сам главноуправляющий и душеприказчик по завещанию Анисим Антонович Чернягин, уже семидесятипятилетний старик, поселившийся в Зацепине со времени ссылки в это имение князя Андрея Васильевича и живший с семейством в особом доме, выстроенном для него нарочно в конце села и устроенном так, что немного таких домов было и у помещиков, счёл долгом встретить начальство и в чём нужно уважить. Хотя он и надеялся, что начальство, должно быть, им довольно, так как забыто им никогда не было и на каждый праздник удовлетворялось всем, что каждому следовало по положению безнедоимочно, но всё же начальство было началь-

ство, поневоле поедешь.

Чтобы удовлетворить прибывших, чем можно, пришлось открыть два-три окна в наглухо заколоченных до смерти Андрея Васильевича доме и, несмотря на тёплый день, истопить две-три печки, для изгнания сырости; затем на кухне развести огонь; выискать какого-то мальчика, бывшего при поваре-французе князя Андрея Васильевича поварёнком, и заставить его готовить обед, собрав, разумеется, с мира необходимые припасы; наконец, сыскали какого-то третьего подкамердинера и подлакея и их поставили для услуг. Ведь не угодить — насолят хуже.

Начальство прибыло не только что в полном своём составе, но даже в усиленном. Оно состояло из капитан-исправника, двух заседателей земского суда, стряпчего, члена опеки и секретарей обоих судов.

Но что особенно смутило и заставило задуматься всех обывателей села Зацепина, это то, что вместе с начальством прибыл князь Юрий Васильевич.

После смерти князя Андрея Васильевича, столь обидевшего братьев своим завещани-

ем, предоставлявшим не только полученное от дяди, но и отцовское родовое имение своей двоюродной сестре, которую они никогда не видали. Юрий Васильевич никогда не показывался в Зацепине, и теперь если приехал, то, стало быть, что-нибудь да есть, что-нибудь да мастерит.

— Батюшки, отцы родные! — загалдели крестьяне. — А ну как нас да ему отдадут?

— Кормилицы, ведь он со света Божьего сживёт!

— При нём как есть барана к празднику не освежи, курицы не смей продать! Какая есть телушка и ту оброком обложит!

— Пареньков заберёт всех в Питер, по контрактам в ученье отдаст, молодцов сдаст в рекрута, а девок на вывод продавать станет!

— Он не то чтобы лют сечь был, не засекает до смерти, сечёт не очень больно, зато часто; чуть что — и розги; в иной день раза три под секуцию попадёшь! По Шугорановке знаем; ведь были при старом-то князе одно-вотчинники, так знаем!

— А уж жмот-то какой, не приведи Господи, какой жмот!

— Просто жила, как есть жила! У самого себя хлеб отжиливает!

— Беда, беда! Не жалейте ничего, родимые, как бы беду изжить!

Понятно, что после хотя строгого, но патриархального правления Василия Дмитриевича, милостивого, истинно гуманного владения Андрея Васильевича, потом жизни почти на воле под управлением Анисима Антоновича и опеки — мысль попасть в руки князя Юрия Васильевича, которого Андрей Васильевич, жалеючи крестьян, отстранил от наследства, казалась для крестьян ужасной.

— Да, да, нужно не жалеть, — говорили они. — Приехал, так уж недаром; именно что ни на есть да мастерит.

Но известно, гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Крестьяне погалдели, погалдели и не сделали ничего, а князь Юрий Васильевич действительно мастерил. С той самой минуты, как князь Никита Юрьевич ему сказал, что зацепинское имение ему можно к рукам прибрать, он ни спать, ни есть не мог, всё думал, как бы это сделать, как бы устроить!

«Ведь богатство-то царское; даже сосчитать никак не могу!» — думал он. И вот в этих-то мыслях он доказывал съехавшемуся начальству, что если княжна Настасья Андреевна столько лет за получением наследства не является и даже не даёт никакого отзыва, то, значит, её нет на свете; стало быть, завещанное ей имение следует отдать ему как её единственному наследнику, так как брат его, князь Дмитрий, умер бездетным.

Начальство слушало его и молчало. Оно было всё новое, только что установленное преобразованиями Екатерины на выборном начале, и не совсем ясно сознавало ещё ни свои права, ни свои обязанности, поэтому в делах вообще более опиралось на утвердительные и отрицательные знаки своего стряпчего, чем на свои собственные соображения. «Стряпчий, человек прожжённый, — думали члены суда, — он на этом вырос, сызмала все эти крючки произошёл, ему и книги в руки. На его же ответе лежит, чтобы всё по закону шло да хорошо было». И вот стряпчий кивнёт головой, и капитан-исправник говорит, да и заседатели поддакивают; а если

стряпчий тряхнёт головой отрицательно, все одинаково на «нет» идут.

Но хотя дел начальство и не понимало, но всё же соображало, что оно начальство и что от него много зависит; а если зависит, то глупо было бы упустить случай и не воспользоваться, не погреть руки, приехав в княжее имение, как они Зацепино называли. Ведь по имению-то этому с его волостями и деревнями в их только округе числится более семи тысяч душ; что значит для него какая-нибудь сотня, другая? По пятаку с души, так более 350 рублей будет, больше, чем годовое жалованье судьи. «Погреть руки можно, — думали все, — не только можно, но и должно».

Это-то рассуждение заставило к членам и секретарю земского суда присоседиться и секретаря уездного суда, и члена опеки. Они хотели убедиться, что земский суд не всё себе забирает, а и об уездном суде и об опеке думает; хотели убедиться, что всё как следует починам и местам по совести разделяется. Установления, стало быть, были новые, да порядок-то старый.

— Не одному же земскому суду брать, ведь

и мы есть хотим! — говорили уездный судья, предводитель и другие чины. Они даже и не понимали, что можно служить и не брать. Они помнили, что по старой памяти службу называли кормлением, и готовы были с радостью и теперь проситься на город покормиться, да только не смели; всё, дескать, нонче по-немецкому: ешь да молчи!

Поэтому, когда по предъявлении Чернягину указа о том, чтобы он допустил членов земского суда к проверке движимости по имению, тот заявил, что у него всё цело, назначил выборных, чтобы показывать всё, что суду будет угодно видеть, а сам уехал, поднеся, однако ж, исправнику барашка в бумажке, то исправник распечатал бумажку при всех, несколько не стесняясь даже тем, что тут был и Юрий Васильевич. Он пересчитал под общим наблюдением положенную в конверт и подлежащую разделу сумму и насчитал 300 рублей мелкими десятирублёвыми бумажками.

Довольные таким приложением к представляемой описи, ни исправник, ни стряпчий, ни другие члены ничего не захотели и смотреть. Они и без того знали, что всё цело.

Во-первых, потому, что слухом земля полнится, а строгая аккуратность и точность Анисима Антоновича была известна; а во-вторых, что если бы было и не цело, то ведь сдавать-то будет он же, Анисим Антонович; а члены суда знали, что Анисиму Антоновичу есть из чего пополнить: без мала пятьдесят лет княжим именем управляет почти безотчётно и по двум завещаниям от князя Андрея Дмитриевича и от князя Андрея Васильевича был особыми суммами награждён.

Ни раздел поднесённой Чернягиным суммы, ни утверждение описи без проверки не смутили и не скандализировали Юрия Васильевича. Дело было обычное, естественное, совершенно в порядке вещей. Он сам не хуже суда знал, что у Чернягина всё цело, всё в сохранности, стало быть, проверяй не проверяй, всё одно будет; знал также, что если уж суду дан был указ и суд наехал, то без барашка в бумажке его нельзя было проводить. Ему показалось только, что сумма очень велика. «Триста рублей! Шутка, одних рублей ведь триста. Рубликов бы пятьдесят, много семьдесят, а то триста... Чернягину чужих-то не

жаль! Сколько же эти кровопийцы с меня потребуют, чтобы имение мне отдать? Пожалуй, заломят тысячу... Ну да что же делать-то, и тысячу, и полторы дам, только бы отдали!» — рассуждал Юрий Васильевич про себя и старался доказать всем присутствовавшим, что имение отдать следует ему.

Стряпчий опровергал его доводы, объясняя, что завещание утверждено высочайшим повелением и содержит в себе разные условия, на основании которых имение должно переходить не в обыкновенном порядке наследования, а согласно условиям завещания.

Юрий Васильевич с этим, разумеется, не соглашался и в жару спора высказал, что вот бывший генерал-прокурор, генерал-фельд-маршал князь Трубецкой...

— Ведь-с он-с дело знал, господа; согласитесь, знал-с? — сюсюкал Юрий Васильевич. — Так вот-с он сам лично мне говорил, что отдать имение мне следует-с. Сам даже брался-с выхлопотать-с. Ей-Богу, брался-с! И денег вперёд не просил. Говорил, всё как есть имения-с и капиталы-с выхлопочет. Стало быть, ясно, дело-с подходящее-с и сделать-с его можно.

— Так что же вы думали, князь! На что же лучше? У князя Никиты Юрьевича, кроме знания, была и сила! Другого такого ходатая не сыщешь! — заметил капитан-исправник.

— Что и говорить-с, понимаю-с, хорошо понимаю; да уж судьба-с моя, видно, такая; что станешь делать? Умер-с, умер-с князь Никита Юрьевич. Как мы поговорили-то с ним, — эдак-с хоть сегодня, а недели через две-с, не больше, он уж на столе лежал-с. Я ведь к тому говорю, что, стало быть, можно-с, когда он говорил.

— Ну нет, извините, ваше сиятельство, — сказал один из заседателей. — За что князь Никита Юрьевич мог взяться, за то нашего брата соболей ловить посылают!

— Вам нужно, князь, поговорить с этими ярыгами-законниками, — начал опять капитан-исправник. — Мы военные, хоть и по гражданской идём, а всё без этих выжиг шагу ступить не смеем; даже и взятку берём, так только с их благословения.

Стряпчий почесал затылок. Он тоже причислял себя к числу законников, которых исправник окрестил именем ярыг и выжиг. Од-

нако он промолчал; время было не такое, чтобы ссориться. Если исправники брали только с их благословения, то и стряпчим без исправников выеденного бы яйца никто не дал. Распорядительная-то часть ведь всё же была в руках исправников.

— Так вы бы с этими ярыгами! — повторил исправник.

— Говорил-с, как не говорить! И деньги-с платил, — слезливо проговорил Юрий Васильевич. — Сами ведь посудите, эдакое-с богатство пропадает-с! И с Агапитовым, и с Безносиковым говорил. Да ещё-с нарочно выписывал-с; расходу сколько было, я ему две беленьких-с подарить должен был, да дорога, содержание, всё это-с стало в копейку. Из Ярославля выписывал нарочно такого ярыгу-с, что, говорят, и в Питере такого нет. У князя Трубецкого сперва служил, а потом в сенат секретарём-с. Говорят, там всем, как называют-то по-новому, по-старому было повытье, так всем повытьем ворочал. Ума палата-с. Уволен-то он был, говорят, за то-с, что дело какое-то выкрал. Умница, сказать нечего, умница! Одно жаль: такой пьянчуга, что и сказать страшно.

Без вина или водки и говорить не станет-с. А как пишет; сказать нечего, талант, истинно талант-с! Хотя три века читай, а всё ничего не поймёшь! Такая мудрость ему уж от Бога дана.

— Кто же это? Я, кажись, всех в Ярославле знаю! — сказал заседатель.

— Коряга! Может, слышали-с?

— Коряга! Как не слышать! — отвечал исправник. — Из хохлов...

— Ну, этот, батюшка князь, сказать по совести, у чёрта хвост украдёт! Уж если он ничего придумать не мог, то, значит, дело дрянь, не стоит и начинать! — сказал заседатель, замечая знак отрицания стряпчего.

— Оно не то чтобы ничего-с, но только, что сказал он, так это всё это неверное, несовершенное... По перу-то было просто отказался; говорит, нужно-с свидетельство о смерти. Ну, а потом-с, когда я его угостил да две беленьких поднёс, он и растаял; начал думать и сказал, да что-то такое несовершенное...

— Что ж он сказал? — спросил стряпчий.

— Да он-с сказал: во временное владение просить можно, под опекой-с, и велел с вами

поговорить, господа-с. Так что вы думаете?

Заседатели взглянули на исправника, исправник на стряпчего, стряпчий сделал утвердительный знак.

— Ну что ж, на первое время хоть и временное хорошо; а там, князь, понемножечку да полегонечку, ваше сиятельство, и начнёте дельце-то объегоривать! — проговорил опять заседатель.

— Говорите же, господа-с, что и как? — сказал князь Юрий Васильевич. — Мы-с от благодарности не отказываемся!

— Да что тут благодарность, ваше сиятельство, — начал стряпчий. — Вот за его высокоблагородие, господина исправника, я скажу: пять дадите на всю братию, временное мы оборудуем.

— Как это пять-с, я не совсем понимаю-с?

— А кажется, ваше сиятельство, дело понятное! Поднесёте пять тысяч на братию, и село Зацепино со всеми угодьями, полями и лесами, со всей движимостью, окрестными деревнями и волостями, со всем, как было у вашего батюшки, что в нашей округе, будет во временном вашем владении.

— Пять тысяч! — с изумлением и с каким-то диким отчаянием в голосе проговорил Юрий Васильевич. — Да разве это возможно, пять тысяч?

Пять тысяч по тому времени была сумма действительно весьма значительная.

— Ведь на всю братию, ваше сиятельство, так что вам и беспокоиться будет не о чем. Подумайте, на сколько это рук пойдёт! Пернаперво земский суд, опека, потом суд уездный. Спросите вот у них, откажется ли кто-нибудь! — проговорил стряпчий, указывая на секретаря уездного суда и члена опеки. — Потом, как вы изволите думать, ведь и губерния пить-есть хочет и дело-то понимает. Да из консистории метрик из приходских книг не выпишут, а из депутатского собрания выписок из родословной без денег не дадут; а гражданская палата, губернское правление? Все знают, что дельце-то масленое! А разделишь на всех, так нашему брату не то тысячи, а и сотен-то не придётся...

Стряпчий проговорил это с апломбом и оглянулся, чтобы видеть, какое впечатление речь его произвела на присутствующих. Заме-

тив у всех одобрительные и сочувственные взгляды, он самодовольно начал охорашиваться и замолчал, как бы говоря: я своё дело сделал, теперь ваше дело, господа.

— Пять тысяч! Это невозможная-с, невероятная-с сумма, господа. Откуда взять такие деньги? Да это...

— Полноте скупиться, ваше сиятельство, — сказал другой заседатель как-то в нос и с каким-то прихрюкиванием. Первый заседатель перебил его:

— Ведь дельце-то, ваше сиятельство, сами изволите знать какое. Другого такого дела, пожалуй, и в жизнь не будет. Егор Егорович говорит правду: без приложения губерния не пропустит. Вы подумайте: сейчас же вы получите в своё распоряжение больше 7000 душ, как же тут пяти тысяч не дать?

— Не получу-с, не получу-с; только временно-с и под опекой. Ничего-с не получу лично-с; и бьюсь-то, можно сказать, только из самолюбия, всё же, дескать, зацепинское.

— Что вы говорите, князь, — возразил исправник. — Сегодня вам в руки указ, завтра вы будете хозяин полный. Отчёт у вас может

потребовать только княжна Настасья Андреевна, а откуда её взять? Месяца не пройдёт, вы свои деньги вернёте. Не скупитесь же; право слово, не скупитесь!

— Если бы ещё вы все имения мне отдали, господа, тогда так; а то вот вам подай пять тысяч, по Парашину, пожалуй, больше потребуют, да по другим волостям в разных губерниях. Эдак, пожалуй, тысяч двадцать истратишь; имения-то будут-с почти купленные-с!

— Дёшево покупаете, князь! — сказал член опеки. — Тут одни картины есть, что по 20 000 стоят, а вы... Ведь больше двадцати тысяч душ; а дома, а завод, а движимость!

— Да ведь всё-с это временно-с, поймите, господа! Всё это-с только на хранение-с! Что за радость-с? Потом только отвечай!

— Денежки, говорят, хоть чужие в руках подержать хорошо! Они как масло пристаю-ют! — заметил член опеки.

— Нет-с, не из чего, господа, такой суммы, право не из чего-с! — ответил Юрий Васильевич. — Вот кабы вы хотели тысячки полторы-с?..

— Нет, князь, такого и разговора вести

нельзя! — отвечал исправник, взглянув прежде на стряпчего.

— Ну хорошо, быть по-вашему: даю две с половиной-с. Полторы сейчас, а тысячу по вводе.

— Чего нельзя, того нельзя, стало быть, и говорить об этом пустое дело! Подумайте: вот нет-нет да и наезжаем мы сюда поверку и контроль чинить, и всякий раз получаем за то от экономии в благодарность то 300, а то и 500 рублей. Всё доход! Отдадим имение вам — этот доход уж в небе будет!

— Ну три?

— Нельзя! — отвечал капитан-исправник, поглядывая на стряпчего.

— Три с половиной?

— Менее пяти никак нельзя, ваше сиятельство; верьте Богу, боимся, самим внакладе бы не остаться. Хотите пять — будем думать и делать, а не хотите... сами изволите знать: сухая ложка рот дерёт.

— У меня денег таких нет!

— На нет и суда нет, князь! Только тогда, как говорится, груздем не зовись и в кузов не ложись!

— С вами, господа, видно, ничего не поделаешь! — начал вновь Юрий Васильевич. — Обидеть хотите меня, бедного человека-с, по миру пустить-с. Что ж делать-с, тянуть из последнего; хотите четыре, — всё, что за душой есть!

Исправник взглянул на стряпчего; заметив его отрицательный знак, он отвечал тоже отрицательно.

— Ну что тут станешь делать, если уж вы меня хотите вконец разорить? Выходит, надо быть, по-вашему; пять, так пять, три при указе, а две через четыре месяца.

— Вы смеётесь над нами, князь... — начал было говорить опять тот же разговорчивый заседатель, но стряпчий его перебил.

— Полноте, ваше сиятельство, — сказал стряпчий, — мы не дети, знаем хорошо, что только получите имение в руки, вас и не останешь, а с нас будут требовать. Хороши мы будем. Нет уж, как было говорено: тысячу рублей задатку сейчас, а четыре — из рук в руки при получении указа. Вы подумайте: мы сделаем — вам будет пример и для других вотчин и имений. В Парашине, говорят, дворец

такой, что и у царицы такого нет!

Делать было нечего, пришлось согласиться. Теперь вопрос был только о том, как бы скорее. Таким образом, Юрий Васильевич, сговорившись относительно зацепинских имений, поехал в Москву, в Петербург, на завод. С плачем и горем выпускал он деньги, торгуясь за каждый грош, но волей-неволей платил; не платить нельзя было.

С той самой минуты, как Никита Юрьевич ему намекнул о возможности получить имения и капиталы, завещанные Настасье Андреевне, эта мысль преследовала его неотступно. Она была, можно сказать, манией души его. Он только о том и думал. И вот наконец дело приходит к окончанию. Он, правда, истратился, разорился, но зато если не капиталы, то имения зацепинские будут у него в руках. Он повыжмет из них сок, усотерит истраченные им деньги.

«Одно жаль, — думал он, — нельзя вот этот хлам продать (под хламом он подразумевал дивные произведения искусства, собранные Андреем Дмитриевичем и Андреем Васильевичем). Значатся по описи, продать никак

нельзя. А зачем они? Никакой пользы-с, мёртвый капитал! Ну да ничего, мы постараемся пообменять которые подороже. В описи же не оговорено никаких примет. О статуях, например, не сказано даже и того, мраморные они-с или алебастровые, мы сделаем их все алебастровыми. Да и картины... написано, например, «Ночь» Корреджио; мы и повесим ночь, а там доказывай, Корреджио она или какая другая. Распорядимся-с, одно слово, что распорядимся!»

Между тем мало-помалу между крестьянами начали распространяться слухи, что их отдадут князю Юрию Васильевичу.

Тут они и в самом деле готовы были ничего не жалеть. Грянул гром. Собрали денег, послали ходоков в Зацепинск, в губернию, а потом в Петербург. Но было уже поздно. Дело было решено, и земский суд наехал из Зацепинска вводить князя Юрия Васильевича во временное владение селом Зацепином с волостями и деревнями. Крестьяне подняли вой, бранили себя, что долго собирались. Но близок локоть-от, да не укусишь; делать было нечего, стали собирать понятых.

В это время действительная наследница князей Андрея Дмитриевича и Андрея Васильевича Зацепиных, Настасья Андреевна, ехала из Гавра через всю Европу в Россию. Ехала она тихо, покойно, не торопясь, в своём экипаже, останавливаясь там, где что-нибудь обращало на себя её внимание.

Из газет она знала, что в России всё покойно, смут нет.

«Если существует ещё там какая бы то ни было княжна Владимирская, — думала она, — то, видимо, волнения она не произвела, сочувствия себе не вызвала. Может быть, она захватила себе мои имения? Что ж; мне изобличить её будет легко. Да этого и быть не может. Чернягин, душеприказчик и управляющий моего отца и кузена, был в Париже и знает меня лично».

Таким образом, ехала она довольно медленно, наблюдая и рассматривая всё, что казалось ей любопытным.

Но нужно сказать, что это была уже не та княжна Настасья Андреевна, которую мы видели среди избранного кружка в отеле герцогини Прален, с её спокойной грацией, холод-

ным, но глубоким взглядом её голубых глаз, немножко насмешливой, но приятной, сияющей улыбкой, молчаливой, но с метким значением каждого слова; не та, которая среди блестящей, модной молодёжи великолепного двора Людовика XV сумела отличить молодого энергичного американца Ли, столь не похожего на эту молодёжь, угадав в нём человека; не та княжна, которая расспрашивала Франклина об его открытиях, интересуясь всем, что относилось к успехам разума; и не та Настасья Андреевна, само отрицание которой, готовность к самопожертвованию разливали столько энергии в отряде её мужа, давали столько отрады всему, что её окружало. Горе, тяжкие потери оставили на всём существе её печальный след. Глаза её смотрели глубоко, но тускло. Слезы иссушили их блеск. Нежный румянец молодости пропал. Она похудела и побледнела. Личико её как-то осунулось, и даже морщинки чуть заметными чёрточками обозначились на её лице. Но она всё ещё была хороша, чудно хороша, несмотря на свои уже за тридцать лет.

Особенно хорошо было выражение её пе-

чального глубокого взгляда и её доброй и светлой улыбки. Она смотрела так, как будто говорила: «Вы не смотрите, что я так печальна; всё же я люблю вас, всех люблю и себя не пожалею, чтобы все были счастливы!» К тому ж её стройность и величественность, её грация, благородство каждого её движения, сохраняющие своё обаяние до глубокой старости, не могли не останавливать на ней внимание, не могли не заставляя на неё засматриваться.

Она ехала и наблюдала. Настасья Андреевна заметила, что делаемые ею наблюдения её рассеивают, не дают углубляться самой в себя, не дают отдаваться грустным мыслям, отводят воображение от печальных картин прошлого.

«Стало быть, наблюдения помогают мне переносить с твёрдостью моё глубокое, безысходное горе, а я должна его переносить с твёрдостью, как женщина и как христианка», — говорила себе Настасья Андреевна и старалась больше видеть, больше наблюдать.

Дело в том, что ей хотелось занять себя, а для того, ясно, нужно было вдумываться в то,

что было перед ней. И вот она начинает вдумываться, доискиваться причин, почему это так, а не иначе. Она смотрела на свои наблюдения как на лекарство от грусти, которая по временам её одолевала, и, естественно, хотела, чтобы лекарство это действовало на неё глубже и сильнее.

Таким образом, она привыкла вникать, вдаваться в анализ всего, что только проходило мимо её глаз. А анализ, естественно, вызывал мысль, вызывал заключение и, наконец, приводил к вопросу, что будет делать она в России?

Отвечая себе на этот вопрос, она не могла не вдаваться в иллюзию, не могла не увлекаться иногда мечтой. Голова её незаметно принимала и усвоила себе разнообразные предположения социального устройства. В то время это был модный предмет беседы образованного общества, — предмет, составлявший существенную задачу литературного движения того времени, — движения, давшего толчок общественному мнению. С лёгкой руки Жан-Жака Руссо все хотели говорить и писать об общественном устройстве. Направ-

ление, выразившееся школой физиократов, каковы были Кенэ и Мирабо-отец, поднявшие в экономическом развитии знамя «дружбы к людям», привлекало и занимало собой всех, от глубокомысленной, седой головы министра до головки молодой девушки. Ясно, это направление не могло не коснуться и размышляющей головы Настасьи Андреевны.

Думая о России, она невольно идеализировала её устройство. В то время о России много говорили и много писали. Слава Семирамиды севера, покровительницы философов и энциклопедистов и победительницы всех своих противников, обращала на неё общее внимание. Екатерину прославляли Вольтер и д'Аламбер, Дидро и Кребийон, Неккер и мадам Жофрен. О ней говорили в салонах, в литературе, в политике. Говоря об Екатерине, нельзя было не говорить о России. Слава её оружия, успехи просвещения, начинающаяся литература — всё это издали блестело, сияло, прославлялось. Настасья Андреевна, в которой ни на минуту не погасала живая струйка истинно русской души, невольно сочувствовала этой славе, гордилась ею; гордилась тем

более, что она видела, что народ везде бедствует, везде подавлен.

«Не подавлен он, не бедствует только у нас, в России, в моём дорогом отечестве, — говорила себе Настасья Андреевна. — Грубые нравы там смягчаются милостивым царствованием разумной и справедливой государыни, а феодального гнёта там никогда не было, стало быть, неоткуда ему было и явиться».

Проезжая Южную Францию, потом Германию, она была поражена одним — всеобщим рабством. Рабство было принципом социального устройства Западной Европы. Оно царствовало повсеместно и распространялось на всех. В деревнях — крепостное право, в городах — цехи и корпорации, в столицах — бюрократия. Все одинаково смотрели на общество как на рабов, созданных для услаждения тех, от кого оно зависело.

«Какая разница от свободы воззрений Северной Америки, — думала Настасья Андреевна, — Америки, которая перед целым миром заявляет, что в ней нет рабов, все господа!»

И точно, там рабов не было, по крайней мере до тех пор, пока не присоединились к

республике рабовладельческие штаты.

А тут Настасья Андреевна видела везде крепостное право, и до какой степени? До права на жизнь и смерть, до подчинения сюзерену не только труда, но и совести, своего человеческого чувства и достоинства. Сюзерен имел право требовать десятину произведений земли, первенца всех стад, половину силы труда, первую ночь брака. Это было его легальное право, была привилегия феодального деспота.

«След исторической жизни, — думала Настасья Андреевна, — след победы и гнёта, наложенного победителем на расу побеждённых. В России, — рассуждала она, — не было ни победителей, ни побеждённых. Там братья, исполняющие волю только одного, избранного, по воле Божией, народом из того рода, который в смутные времена исторической жизни России сохранил всю чистоту своего имени. На этом основании, — думала Настасья Андреевна, — у нас, в России, не может быть тиранства, говорящего: «Веруй так, а не иначе; живи так, а не иначе; отдавай свой труд, своих первенцев и то, что тебе дорого, за

то, что я даю тебе право жить и дышать». У нас нет таких мертвящих и давящих постановлений. Потому-то, — думала она, — прилагать свою мысль и деятельность к почве, где разум не стеснён насилием, где человек признается человеком, — это благословение и милость Божия. А я могу прилагать не только мысль, но и средства, будто нарочно Богом мне к тому предоставленные. Не для того ли Богу угодно было посетить меня несчастьями после того чистого и светлого счастья любви, которое я испытала на чужой стороне, чтобы потом направить меня, умудрённую опытом, на благо родной страны?»

Мечты, мечты, где ваша сладость? Приехала в Россию и что же увидела Настасья Андреевна? То же крепостное право, то же рабство, тот же гнёт, усиленный только грубостью нравов и дикостью произвола.

Правда, в этом рабстве не было легальных прав на жизнь и смерть, не было права на первенцев, на первую ночь брака, на совесть верования. Но что значит отсутствие юридических прав там, где не охранена неприкосновенность личности? Кто же не откажется и от

совести, и от семейства, и от самой жизни в виду истязаний и пыток? Не откажется христианский мученик!

Да! Но разве возможно всем быть героями мученичества!

При этом, проезжая сперва Европу, а потом Россию, Настасья Андреевна заметила в практике жизни всеобщий, хотя и весьма странный закон общественности: всё, что давит и гнетёт, вырождается и беднеет, всё, что подавлено и угнетено, крепнет, богатеет и развивается. Этот закон, как кара Божия гнету, насилию и произволу, как высшая справедливость Промысла, проходит через историю всех стран и народов и выражается последовательно в социальном устройстве каждого. Его уже понимают и начинают усваивать не только идеологи, но и люди жизни. Вот германский император Иосиф II объявил себя врагом рабства. Русская императрица Екатерина выразила готовность издавать у себя энциклопедию.

Не суждено ли ей, русской женщине, не знающей России и испытавшей столько счастья и столько горя на чужой стороне, ука-

зять на этот общий исторический закон, чтобы путём убеждений и примера прийти к отрицанию насилия?

«О, это было бы действительно милость Божия, душевное вознаграждение за всё горе, которое я перенесла!» — сказала себе Настасья Андреевна и с молитвой обратилась к Тому, от кого зависит наше утешение в минуты горя и страдания.

Собираясь в Россию, Настасья Андреевна решила, что миссию своего добра и любви она начнёт с самого глухого угла своих имений, с того княжества, имя которого она носит, именно с дедова и прадедова села Зацепина. Она приехала туда в то самое время, когда, приняв уже в своё владение Парашино, князь Юрий Васильевич хлопотал о том же в Зацепине и когда члены земского суда вместе со стряпчим и священником, служившим благодарственный молебен за благополучное завершение дела, окончив формальности ввода во владение и разделив между собой, по чину и значению, полученные от князя Юрия Васильевича деньги, весёлые и довольные, садились за изобильную трапезу, предложен-

ную им, по обычаю, князем Юрием Васильевичем, тоже весёлым-развесёлым, несмотря на понесённые им расходы.

Но в эту самую минуту, как Юрий Васильевич, принимая суп и рассуждая, что вот хотя он деньги и растратил, зато получил право объегоривать двадцать две тысячи душ крестьян и превосходные имения, вдруг на красный двор княжьего зацепинского дома влетает великолепный английский дормез на восьми лошадях с двумя форейторами, а сзади него бричка с прислугой.

Вышколенная ещё покойным князем Андреем Васильевичем прислуга успела тотчас узнать имя приехавшей и передать камердинеру, который торжественно, отворяя обе половины дверей, доложил:

— Миссис Ли, урождённая княжна Настасья Андреевна Владимирская-Зацепина!

Все остолбенели от изумления.

— Как же, как же это? — первым опомнившись, заговорил Юрий Васильевич. — Ведь она всё назад отберёт, а деньги-то, мои деньги... Вы, господа, отдадите мне!

— Шутник вы, князь, — отвечал стряп-

чий. — Ведь мы своё сделали, о чём же тут говорить? Знаете поговорку: что взято, то свято!

Юрий Васильевич схватил себя за голову. Настасья Андреевна выходила в эту минуту из кареты.

* * *

Празднование Кучук-Кайнарджийского мира было не только празднование победы над турками, но полное торжество Екатерины над всеми её врагами, поэтому происходило в Москве с особым великолепием. Восторг народа, торжество церковного служения, парады войск, роскошь и изящный вкус даваемых по случаю торжества праздников, всё это совершенно соответствовало величию северной Семирамиды, поразившей, уничтожившей все козни своих противников, разбившей все их ухищрения.

Как было и не праздновать Екатерине? Турки, выставленные её врагами, как передовой отряд действия, были уничтожены вконец. Польская корона возложена на того, кого избрала она и на преданность которого имела

право рассчитывать. Конфедераты были разбиты и рассеяны. Ей передавались провинции, которыми она желала обладать, и этими провинциями много усиливалось её могущество. Прусский король заискивал её расположения; о том же хлопотал и молодой германский император, наследник австрийских земель Иосиф II. Французы и шведы вынужденно молчали, боясь стать изолированными её ловкой и твёрдой политикой и подпасть под гнёт коалиции, руководимой Екатериной. Англия явно была на её стороне. Преобразования, ею предпринятые, совершались быстро, принимались без ропота и без недовольства. Пугачёв сложил в Москве свою буйную голову, казнённый по её повелению публично, после того как, содержащийся в железной клетке, он показывался крещёному народу, как дикий зверь, для удостоверения всех и каждого, что он ничего более, как необразованный донской казак Емелька Пугачёв, судимый прежде за воровство и наказанный плетьюми, и уж никак не тот, за кого он выдавал себя. Наконец, и всклепавшая на себя имя была поймана и привезена.

Победа была полная, и Екатерина возвратилась в Петербург радостной и торжествующей.

Тем не менее она была очень озабочена. Она понимала, что ни Пугачёв, ни всклепавшая на себя имя не могли быть явлениями случайными, явлениями личного произвола; таким явлениям непременно должна была быть пружина, которая их вывела, направила, создала, существует интрига, внутренняя, подпольная, но тем более опасная. Эту интригу нужно уничтожить, а чтобы уничтожить, нужно узнать. Но как узнать? Нити этой интриги, будто нарочно, не давались в руки Екатерине, как ни старалась она, как ни билась. Пугачёв говорил, указывал, раскрывал, но не то, что составляло сущность, корень, начало; он указывал на обстоятельства побочные, второстепенные, которые ничего не объясняли, ни к чему не приводили. А всклепавшая на себя имя, та вовсе ничего не хочет говорить, та сочиняет сказки.

«Нужно заставить её говорить! — сказала себе твёрдо Екатерина. — Во что бы то ни стало нужно заставить, нужно раскрыть!»

И в её улыбке сверкнуло то жёсткое выражение упорства, которое всегда обозначало неизменность принятого ею решения и которое обыкновенно скрадывалось мягкостью её обращения и любезностью разговора.

Ей доложили о генерал-губернаторе Петербурга фельдмаршале князе Голицыне. Она приказала звать.

— Я рада вас видеть, князь, — сказала Екатерина, приветливо подавая ему руку, хотя Голицын мог заметить, что она не в духе. — Надеюсь, вы убедились, что и без вас мы вас не забываем!

Князь, по случаю Кайнарджийского мира, как начавший кампанию фельдмаршал и очистивший от турок Молдавию, получил осыпанные бриллиантами жезл и шпагу с надписью: «За очищение Молдавии».

— И зато мы надеемся, вы порадуете нас вашими гражданскими подвигами, — продолжала Екатерина, пока Голицын целовал протянутую ему руку, — чем дадите нам случай выразить вам особую нашу монаршую признательность! Нужно раскрыть во что бы то ни стало это несчастное дело всклепавшей на

себя имя!

— Государыня, милостям вашего императорского величества нет пределов. Я награждён далеко выше заслуг! — отвечал Голицын. — И верьте, государыня, совести, своей жизни бы не пожалел.

— Я уверена, уверена, дорогой князь! — отвечала Екатерина. — Но мне кажется, что мягкость вашего характера, ваша доброта, которую при других случаях я ценю высоко, мешают вам приступить к ней с надлежащей энергией и строгостью. Вы знаете, князь, и я ведь не совсем злая женщина, не правда ли? Но если это нужно для спокойствия государства, если её упрямство переходит все пределы терпения, то...

И брови Екатерины нахмурились; в глазах сверкнула и в улыбке означилась такая струйка жестокости, что можно было вздрогнуть от того, что могло последовать за этим «то»... Но всё это продолжалось одно мгновение. Через секунду Екатерина уже улыбалась приветливо и проговорила мягко и с такой свойственной только ей убедительностью, которой она умела обворовать всех:

— Что же делать? Вы, князь, принимали все меры кротости и убеждения; но если она не хочет понять, то...

— Государыня, — отвечал Голицын. — Я доносил вашему величеству, что мной были приняты не только меры кротости, но и крайней строгости. Усилить же эти последние меры я не решаюсь. По состоянию её здоровья, по её положению и совершенному её расстройству, я думаю, государыня, что это будет убийство.

— Э! От розог не умирают! — сказала вновь жёстко Екатерина, с тем бессердечным юмором, с которым она отвечала в «Собеседнике» на либеральные вопросы, указывая, что не всегда можно рассчитывать на её снисходительность. — Кто всклёпывает на себя имя, чтобы вызвать поклоны да приношения, должен уметь вытерпеть то, что потом, за такое присвоение на себя чужого имени, за этим последует. Знаешь, князь, пословицу: «Любишь кататься, люби и саночки возить!» — полушутливо прибавила она. — От розог не умирают, только кровь полирует. — И она как-то глухо засмеялась.

— Во всём воля Божия, — отвечал спокойно и твёрдо князь Голицын. — Может, и не умирают, но не здороваются же! А она больна, ваше величество, тяжко больна. Вследствие её болезни я вынужден был отменить и те меры строгости, которые были приняты. У нас же случилось несчастье, которое и так едва не стоило пленнице жизни. Об этом я и прибыл доложить вашему величеству.

— Что такое случилось?

— Каземат, в который её поместили, чуть не залило водой. Вода поднялась неожиданно; совсем было незаметно, что она идёт на прибыль. Когда заметили, к ней в каземат и пройти нельзя было. Коридор весь залило водой. Часового едва успели снять, несмотря на его крик. По счастью, вода скоро на убыль пошла и успели сбить с петель двери. Однако ж её подняли без чувств. Теперь она решительно между жизнью и смертью; убить её можно не только розгами, но и словом.

— Она так слаба?

— Очень слаба, ваше величество, хотя и пришла в себя.

Попросила бумаги и чернил. Я приказал

дать; думаю, авось нечаянно как выскажется, только едва ли. Мне кажется, ваше величество, что она сама более ничего не знает. Из её бумаг, показаний и обстоятельств дела видно, что пружиной всему были иезуиты, князь Радзивилл и польская конфедерация. Едва ли это и не было действительно так. Она была только подставное их орудие.

— Нет, это не то, — отвечала Екатерина, подумав. — Положим, что действительно иезуиты тут играли главную роль, были действительно пружинами её действий; но начало-то было, несомненно, своё, было русское. А мне это-то начало и нужно. Оно-то и составляет корень, из которого истекают все эти самозванства и волнения. К тому же теперь, по случаю присоединения к моей империи польских провинций, мне нужно поляков и иезуитов беречь и на многое из прошлого смотреть сквозь пальцы. Да, да! Я говорю верно: если иезуиты и поляки были двигателями её появления, то только внешними; а мне нужно знать внутренние двигатели, нужно знать пружину пружин.

— Не знаю, государыня, успею ли. Всё,

что было можно сделать, сделано. Но теперь, в её положении, при состоянии её здоровья, докладываю вам, не только жестокость, но даже простая суровость слов её убьёт. А тогда всё это дело будет напрасным и бесцельным пятном вашего славного царствования!

— Нельзя ли воспользоваться какой её слабостью и узнать с помощью нравственного давления? — спросила Екатерина, вдумываясь в слова Голицына и сознавая, что действительно, после случая, бывшего с Али-Эметэ в каземате, при состоянии её здоровья, в последний период беременности, употребление каких бы то ни было суровых мер невозможно.

— Если бы кто мог иметь на неё влияние, — проговорил Голицын.

— Кто же?.. Священник?..

— Весьма может быть, при её слабости и притом настроении, так как она полагает, что дни её сочтены.

— Прекрасно! Спросите у неё, какого священника она желает принять: православно-го, католика или протестанта?

— Слушаю, ваше величество.

— Потом приищите подходящего и представьте его мне. Я сама поговорю с ним и объясню. Нужно добиться, князь! От этого зависит моё спокойствие, спокойствие всего государства.

Голицын откланялся; на его место с докладом явился Панин.

«Добрый, хороший и умный, но решительно не государственный человек, — сказала себе Екатерина, провожая глазами Голицына. — Он слишком мягок и честен. Не хочет он понять, что для того, чтобы управлять людьми, нужен лисий хвост да волчий зуб...»

— Ну что, мой граф, что вы скажете мне нового из тёмных глав современных последователей Макиавелли? Что Франция, Швеция? Мирятся ли они с мыслью о новых присоединениях к моей империи? Что прусский король? Наконец, мои новые подданные; довольны ли они своим положением?

— Волей ли неволей, а нельзя не мириться с тем положением, которое существует, ваше величество, — отвечал Панин. — Франции не до присоединений; она едва ли в состоянии управиться со своими внутренними де-

лами. Швеция, вы изволите сами знать, в своём настоящем положении бессильна; а прусскому королю, кажется, хочется нового раздела. Что же касается до присоединённых подданных, то тоже, ваше величество, и им волей-неволей приходится быть довольными. Когда человек прикован к столбу, то он поневоле стоит у столба, хотя бы и не хотел мириться с своим положением. Впрочем, они должны быть счастливы, поступив под милостивое и справедливое управление вашего величества.

— Стараюсь быть и милостивой, и справедливой, мой граф, — отвечала Екатерина. — Вы можете быть тому живой свидетель, хотя нужно сказать правду, старание это иногда обходится мне недёшево. Вот и теперь, сию минуту, докладывал мне Голицын, что главной пружиной всклепавшей на себя имя были поляки с их Радзивиллом и иезуиты. Я не приказала давать ход этому объяснению. Я считаю необходимым, несмотря на всё зло, которое они мне сделали или хотели сделать, стремиться к сближению, к объединению. Поэтому, в видах умиротворения и примирения,

я решилась простить им всё прошлое, простить в сущности, в основании. Полякам, потому что тогда они не были ещё моими подданными; а иезуитам, потому что они в моих новых провинциях сила, которой разум не заставляет не пренебрегать, а привлекать, если возможно, на свою сторону.

— Кстати о Радзивилле, ваше величество, — сказал Панин. — Ведь не согласился!

— Как не согласился? Даже тогда, когда ему сказали, что сейчас же возвратят ему все его имения? — спросила Екатерина.

— Даже тогда, ваше величество! — отвечал Панин. — Князь Михаил Никитич Волконский доносит подробно. Он пишет, что, приняв его, после первых же обыкновенных приветствий, он поставил вопрос напрямик: хочет ли он приобрести милость вашего величества? Радзивилл отвечал, что это его первое и искреннейшее желание. Тогда Михаил Никитич ему сказал прямо: «Вы должны выдать все бумаги этой самозванки, всю переписку о ней с иезуитами и другими лицами, видными из дела, и объяснить всё, что вы знаете о её происхождении. Обещаю вам, что

на другой день по получении от вас этих бумаг вы получите разрешение на снятие секвестра со всех ваших имений! Как сказал я это, — пишет Волконский, — Радзивилл так и стал как вкопанный.

— Я даю вам слово от имени императрицы, которая в этом случае не оставит вас своей милостью! — объяснил Волконский.

— Князь, — отвечал Радзивилл. — Вы сами родовой князь, поэтому не можете не понять меня...

— У нас нет князей, — отвечал Волконский. — У нас князья только по истории, без княжеских прав. Мы все только слуги нашей государыни.

— Всё равно, — отвечал Радзивилл. — По преемственности родовых преданий, вы знаете общий девиз благородного происхождения: «Измена не найдёт угла в сердце моём!» А ведь это будет измена, подлая измена!

Разумеется, Волконский не стал входить в препирательства о геральдических девизах. Он просто прибавил, что имения его сиятельства князя Радзивилла стоят какой-нибудь жертвы.

На это Радзивилл отвечал просто:

— Не только стоят, но полжизни отдал бы, более, отдал бы всего себя. Влачить жизнь бедняком, лишённым крова, я не в состоянии. Всё равно, так или иначе, я порешу с собой. Я дошёл уже до того, что продал бриллианты моей матери, снял жемчуг с образа, которым благословлял меня отец. Тем не менее изменником Радзивилл не будет никогда! Я могу быть умён или глуп, разумен или беспутен, но изменником?.. Нет, нет! Что вверено моей чести, то и умрёт со мной! Прошу вас, князь, так и напишите императрице. Напишите, что для неё я готов на всё, кроме измены!»

— Что на это отвечал Волконский? — спросила Екатерина.

— Согласно вашему приказанию, он взял с него подписку, что ни делом, ни словом, ни даже мыслью не будет он помогать самозванке; что об истории с ней он не будет говорить и даже, если можно, о ней забудет, полагаясь во всём на милость вашего величества. Эту подписку, вместе с присяжным листом и другими бумагами, Волконский представляет на воззрение вашего величества и испрашивает

вашего повеления, что делать?

И Панин подал Екатерине доставленные Волконским бумаги.

— Что же вы думаете? — спросила государыня, бегло просматривая меморию Волконского.

— Ваше величество изволили выразить, что вы учитесь прощать. Я думаю, что тут... Во всяком случае, государыня, думаю, что от Радзивилла нельзя требовать того, что сделал Алексей Орлов.

— Он сделал это для моей службы! — хмуро ответила Екатерина.

— Да, ваше величество; но Радзивилл не состоит на службе! Притом род, в самом понятии своего исторического значения, имеет свои условия жизни, свои традиции существования. А Радзивилл, нельзя не согласиться, человек родовой, можно сказать, один из представителей рода.

Екатерина задумалась, Панин молчал.

— Вы правы, граф, — наконец сказала она. — Нужно уважать чужие мнения, хотя бы эти мнения были ошибочны, если только они искренни. Я уверена, что Радзивилл гово-

рил от души. Напишите Волконскому, что я его прощаю и возвращаю его имения, но с тем, чтобы он помнил, что я всё могу простить, кроме измены.

На этом доклад кончился, и Панин уехал. Екатерина осталась одна.

Она думала всё о той же всклепавшей на себя имя.

«Нужен человек, который мог бы иметь на неё влияние, — говорит Голицын. — Кого бы найти? Говорят, у неё было много любовников; даже в числе взятых с нею её придворных, говорят, есть двое, которые пользовались её женской благосклонностью. Но ясно, они не имеют на неё никакого влияния... Разве Орлов? Тот точно имел на неё влияние почти неограниченное. Да! Или он, или никто!»

IV ЛЮДСКИЕ СТРАСТИ

Страшно тяжкая минута наступила для Али-Эметэ, когда, по грудь в воде, стояла она на своей наре, в нижнем каземате Петропавловской крепости, отгоняла от себя старавшихся влезть на её платье плавающих крыс и наблюдала, как вода поднимается всё выше и выше.

«Боже мой, Господи мой! — думала она. — Вот смерть медленная, неизбежная, страшная смерть, назначенная мне Твоим правосудием за грехи мои!.. Грешна я перед Тобою, Господи, жила не по заповедям Твоим! Думала только о себе, себе только верила; верила только своему разуму, думала только о своём услаждении.

Не любила я людей, как заповедал Ты, милосердный; не думала о своей душе, не думала о жизни в Тебе, Бог мой! Любила только тело своё, любила только мир здешний, полный прелести и наслаждений.

И наказана за то я, страшно наказана! Когда наконец полюбила я человека, он оказался лютым зверем; хуже зверя — оказался тем, чего невозможно было и предположить в человеке.

Он предал меня, предал на истязание тело моё, предал на истязание плод свой!

Он стал небесной мезтью мне за вас: Ван Тоуэрс, Шенк, Рошфор, Лимбургский, за всех, кем я играла, кого погубила.

Прости мне, Господи, прости мне, Боже мой, хоть и не стою я Твоего милосердия!

Для себя, ради страстей моих, я готова была зажечь целый мир, и вот я гибну от воды, заливающей, может быть, искры пожара, который я задумала.

Ты справедлив, Господи! Ван Тоуэрс и Рошфор в тюрьме за меня. Я о них забыла, я о них не думала. Вот и я испытала тяжесть тюремного заключения. Все те, которые меня любили, из-за меня гибли, и я гибну за того, кого полюбила. Они разорились, и я лишена всего!.. Ты справедлив! Но Ты и милосерден, Господи, помоги мне, спаси!

Вода подходит... идёт всё выше, выше!..

Господи, страшно!.. Умирать приходится... Страшно, страшно!»

Она начала было кричать, но через минуту опять смолкла, стараясь отогнать крыс, которые со всех сторон лезли на неё.

— Звери, звери, какие это звери? — заговорила она опять, как бы успокаиваясь и получая способность думать. — Не олицетворение ли они страстей моих? Читала я, помню, ещё в коллегиуме, что к какому-то святому перед смертью все страсти его подступили в образе зверей. И теперь не страсти ли одолевают меня в последние минуты моей жизни?! О, как мне стало холодно, холодно! Я умираю!.. Господи мой, Боже мой, прости меня! Спаси, помоги! — И она опять начала кричать, стонать, рыдать. Потом вдруг опять остановилась. — А вода всё растёт, поднимается, — заговорила она тоном постороннего наблюдателя. — Вот она коснулась корсажа, скоро покроет грудь, горло, а там... там?.. Там агония, смерть! Ведь недолго! Да, недолго, но ужасно, ужасно!.. Спасите, помогите!

И она вытянулась, ломая судорожно руки над своей головой! А крысы, не отгоняемые

ею, начали прыгать ей на платье и подниматься к плечам.

— Прости мне, Господи! — продолжала Али-Эметэ с выражением искреннего чувства. — Ведь если делала я зло, то по увлечению, не думая о зле, не сознавая его силы. Я желала добра, желала хорошего, лучшего, себе и всем. Меня просили — я уступала, мне говорили — я делала; меня научали — я слушалась. Сказали мне: ты княжна — я поверила; сказали, тебе следует наследство — я поверила; сказали, ты дочь царицы — я не возражала... Я молода, Господи, я жить хотела! Прости мне моё увлечение, не причти к злобе моей! Прости и помилуй!..

Вода начала сбывать и сбывала быстро, но Али-Эметэ этого не замечала.

Колени её подломились от слабости, и она опустилась на них. Вода охватила ей шею. Крысы вскочили к ней на плечи, коснулись лица. Она закричала страшно, безумно, потом прошептала: «Господи, прости меня!» — и без чувств упала в воду.

В эту минуту дверь каземата слетела с петель и в него вбежали люди, посланные Голи-

цыным спасти несчастную.

Они подняли её, бесчувственную, из воды и вынесли на Божий свет, во второй этаж крепости. Там ждал её доктор и все медицинские пособия.

Распоряжаясь спасением Али-Эметэ, Голицын ещё прежде, чем виделся с Екатериной по её приезде из Москвы, думал о том, каким бы средством заставить Али-Эметэ высказаться искренне. Он понимал важность раскрытия внутренней интриги, поднимающей и открывающей пути самозванству; понимал, что, пока такая интрига существует, не может быть ни спокойного царствования, ни спокойствия государства. Екатерину он любил и ценил. Любил за то, что она избавила Россию от немецкого царства; ценил за то, что, будучи немкой, она сумела стать на русскую почву и высоко подняла знамя России. Будучи родовым русским князем и вельможей, он, естественно, стоял за родовые начала. Ему казалось, что Екатерина тоже желает поддерживать всеми силами своими права рода, хотя только в общем характере этих прав. Он не был глубоко умён, чтобы проникнуть в сущ-

ность её узаконений, а внешность — именно в общем характере, была ему по сердцу. Слова Екатерины: «дворянство судится только дворянством», «представители дворянства всегда имеют ко мне доступ», «дворянство — опора престола» и другие, в том же духе, вполне совпадали с его родовыми понятиями и льстили его самолюбию, особенно об освобождении дворянства от телесного наказания и о других правах и льготах, Екатериной дворянству предоставленных. О других выражениях Екатерины, как, например: «у меня истинно республиканская душа» или «люди перед Богом и законом должны быть равны!», Голицын не слышал. Правда, и в родовых положениях он желал бы поменьше общности, побольше исключительности; желал бы, например, родовых степеней, именно того, чем страдала Япония в своей замкнутости и отчего после погибла бурбонская Франция. Но он думал: «Это ещё не уйдёт, это ещё будет; благо начало сделано».

Таким образом, Голицын был предан Екатерине всей душой. Он любил Россию как империю; видел, что в правление Екатерины

Россия всюду торжествует. Как же было не желать содействовать её торжеству ему, русскому барину, русскому вельможе? И вот его содействие оказывалось нужным, чтобы раскрыть интригу, которая создаёт самозванцев, мутит народ, ослабляет внутренние силы его отечества. Всклепавшая на себя имя, ему сперва казалось, не хочет открыть эту интригу. Нужно что-нибудь сделать, придумать, чтобы, несмотря на её желание напустить туман на свои действия, заставило бы её высказаться, что дало бы возможность узнать истину.

«Если бы найти человека, который мог бы иметь на неё влияние!» — подумал Голицын и назначил опять передопросы взятому с нею штату: камергеру Чарномскому, шталмейстеру Доманскому и камер-юнгфере, на правах фрейлины, Мешед; так титуловали себя все эти лица, в отличие от камердинеров и прочей прислуги.

После первых же слов передопроса, на котором Доманский и Чарномский путались в показаниях, изъясняя своё следование за Али-Эметэ разными обстоятельствами, Доманский

вдруг упал перед Голицыным на колени и высказал, что его влекла к ней не надежда на её высокое положение, не корыстные цели, не честолюбивые замыслы, но любовь, искренняя, бесцельная, бескорыстная. Он объяснил, что любит её, безмерно, беспредельно любит, что всю жизнь свою готов положить за одно её милостивое слово, за минуту её ласки.

— Я надеялся, — говорил Доманский, — что среди суеты, стремлений к блеску и роскоши, приёма, выезда и толпы окружающих её поклонников найдётся минута, когда и на меня упадёт её ласковое слово, и мне достанется минута счастья.

— И вы хотели бы жениться на ней? — спросил князь.

Доманский разинул рот.

Мысль о том никогда не приходила ему в голову. С минуту он молчал, но потом вдруг отвечал с силой и увлечением, которых нельзя было даже ожидать в этом человеке.

— Разве это возможно, ваше сиятельство? Разве возможно такое счастье, перед которым меркнет мысль о будущей жизни? Быть её мужем, иметь право на неё всегда!..

Это счастье выше мечты!.. Да нет! Это невысказано! Это всё равно, что желать поймать и сохранить луч солнышка. Светит солнце и греет и отраду даёт; но ведь луч его неуловим. Как ни страшна, ни безотраднa жизнь заключённого в этой крепости, как ни тяжка потеря прав, отечества, свободы, — но я согласен лишиться света Божьего, чтобы только обладать ею, чтобы она была моя!

Заметив такую страстную восторженность Доманского, Голицын подумал: не в силах ли он иметь на неё влияние? Но этот вопрос тогда так и остался вопросом. Теперь же, когда она, слабая, больная, лежала, едва сознавая себя, он подумал:

«Нельзя ли воспользоваться такой восторженностью одного из её поклонников?»

Он пошёл к ней. Но при первых же словах он убедился, что нет, не Доманскому было влиять на эту, казалось, мягкую, нежную, но в то же время железную натуру. В ответ на фразу князя о Доманском она сказала:

— Я знаю, что он, и не один он, за меня голову положить готов, но... князь, неужели вы находите, что он мне соответствует, что он

мне пара?

Князь пожал плечами и вынужден был замолчать.

Началась опять речь о её происхождении.

— Уверяю вас, князь, что я сказала всё, что знала о себе. Твёрдое сознание своего положения я получила только в иезуитском коллегииуме. До того же мне много говорили о родителях, но я их не видала, если не считать свидания с той прекрасной дамой в Петербурге, которая называла меня своей дочерью, но о которой, кто она в действительности, я ничего не знала.

Голицын, отвергая это показание, называя его вымыслом, сказал, что если она укажет на действительность, то он выпросит у императрицы дозволение отправить её в Оберштейн.

При этих словах глазки Али-Эметэ оживились, но потом она вздохнула и проговорила грустно:

— Но чего же вы хотите, князь? Хотите ли вы, чтобы я что-нибудь выдумала?

— Вы напрасно скрываете своё происхождение, — возражал Голицын. — Я о нём знаю. Английский посланник писал мне, рас-

спросив подробно лорда Кейта. Вы дочь пражского трактирщика!

Али-Эметэ вспыхнула. Несмотря на свою крайнюю слабость, она приподнялась на постели. Яркие пятна болезненного румянца обозначились на её щеках.

— Князь, — сказала она после минутного молчания, — я слишком уважаю доброту вашу, несмотря на принятые вами против меня жестокие меры; я слишком благодарна вам за вашу теперешнюю обо мне заботливость, чтобы я могла позволить себе отвечать вам резко. Но мне кажется, что, несмотря на слабость мою, я готова была бы выцарапать глаза тому, кто вздумал бы меня уверять в моём низком происхождении. Нет, князь, я не знаю, кто были мои родители, жили ли они в России или Персии, но что они высокого происхождения, это несомненно. Из чего же был лорд Кейт хлопотал, помещая меня в коллегийум, заботился обо мне, устраивал, помогал? К тому же откуда бы явились мне средства, капиталы. Да я никогда и не бывала в Праге.

Князю опять пришлось замолчать.

Она стала говорить о своей болезни, об

ужасных минутах, проведённых ею в каземате во время наводнения.

Голицын воспользовался этим и спросил, не желает ли она в минуты тяжких припадков иметь утешение в религии?

— Ах, вы очень бы обязали меня, если бы дозволили! — отвечала Али-Эметэ. — Я бы, по крайней мере, была успокоена совместной молитвой со священником.

— Какого исповедания священника желаете вы иметь?

Али-Эметэ пожелала православного.

Отыскали православного священника, хорошо говорившего по-немецки.

Это был протоиерей Казанского собора, отец Пётр, по фамилии Андреев.

Воспитанник Московской духовной академии, ученик знаменитых Лихудов, но последователь и поклонник известного Мацеевича, пострадавшего за своё письмо к Екатерине, отстаивавшее неприкосновенность монастырских имений, отец Пётр был священник суровый, аскет по призванию и строгий ревнитель буквы.

Он попал в белое духовенство случайно.

Будучи бакалавром академии, он влюбился в дочь одного дьякона, женился на ней и сожалел о том целую жизнь, хотя жена досталась ему добрая и послушная.

Он был честолюбив, страшно честолюбив. Кафедра собора, тогда ещё нового, так как приходская церковь Рождества была только недавно преобразована в собор, далеко не удовлетворяла требований его деятельности. Ему хотелось власти, значения; хотелось громить противников, побеждать сопротивляющихся. И он с завистью смотрел на чёрное духовенство, которому предоставлялось всё, тогда как он, по его самомнению, не пользовался ничем. Не раз он убеждал свою жену поступить в монастырь, чтобы самому сделать то же, но та не соглашалась ни за что, ссылаясь на семейство и подводя к нему его маленькую дочь. Поневоле приходилось оставаться тем, кем он был.

По своей требовательности и буквальной точности, он мог быть причислен к разряду тех старообрядческих попов-фанатиков, которые доводили своё поклонение букве до того, что не только сами, но увлекали за собой ты-

сячи на самосожжение.

Вечно хмурый, молчаливый, он вдруг оживлялся и в слове своём метал грома, как только видел отступление от буквы. В преследовании такого отступления он был неумолим как сектант.

Не любил он никого: ни жены, ни детей, ни даже самого себя. Жена ему мешала выполнить своё призвание и занять соответствующее место во главе иерархии; дети напрасно связывали его с миром, а сам он — виновник пред собой в увлечении молодости.

Вот какой человек был выбран для увещевания Али-Эметэ.

Екатерина пожелала говорить с ним. Лично она его не знала. Она видела его только в обрядах служения, видела, можно сказать, только с его казовой стороны. Ей хотелось его узнать запросто, в житейском быту, в его слове собеседника. Она приказала позвать его к себе.

Отец Пётр сидел в это время у себя и сочинял речь для храмового праздника Божией Матери. Он выбрал темой текст: «Несть лести во языке моём» и хотел громить роскошь и

отступничество. Вдруг его требуют к государыне.

Отец Пётр, что называется, встрепенулся. Он понял, что тут *случай*, и решил схватить этот случай хотя бы зубами.

«Воспользуюсь, воспользуюсь, — думал он, собираясь и надевая новую рясу. — Другого случая не будет».

Екатерина, взглянув на сухощавое, суровое лицо представшего перед ней священника, на его сосредоточенный, глубокий взгляд, узкий лоб, обрамленный густыми, длинными волосами, в которых начинала уже показываться проседь, угадала отца Петра как человека с первого взгляда. Она угадала, что его преобладающая, главная страсть была честолюбие и что для удовлетворения этой страсти он не пожалеет ни себя и никого из близких. И она мгновенно решила именно на эту страсть и напереть.

Приняв его благословение, она предложила ему сесть.

Отец Пётр сел, думая: «Воспользуюсь, нужно воспользоваться!»

Екатерина всматривалась ещё в его лицо,

стараясь проверить себя и проникнуть в глубину его характера.

Но сколько ни смотрела, она видела в нём только одно честолюбие. В приветствии, которое высказал он, давая ей своё благословение, она нашла полное подтверждение своей мысли.

— Да повергнет Бог под нозы твои твоих врагов и супостатов! — сказал отец Пётр, благословляя государыню.

«Это ревнитель духовного преобладания! — подумала Екатерина. — Схоластик и, пожалуй, аскет. Он, вероятно, на основании своих схоластических знаний убеждён, что ему следует стоять чуть не во главе человечества».

Думая это, она вдруг обратилась к нему с вопросом:

— Батюшка, верите ли вы в святость миропомазания?

— С миропомазанием снисходит благодать Божия, поэтому нельзя не верить его святости! — отвечал отец Пётр докторально и с убеждением.

— Если вы верите, то должны верить, что

помазанники Божии, Его неисповедимым Промыслом, в мыслях своих направляются иногда к тому, что бывает недоступно для простых людей. В заботливости своей о судьбах мира, Господь ниспосылает тем, кто избран им для управления народами, такого рода указания, которые бывают непостижимы обыкновенной человеческой мудростью. Поэтому беспрекословное повиновение в исполнении их повелений есть прямой долг, есть исполнение воли Божией.

— Несть власти, иже не от Бога... — начал было говорить отец Пётр и хотел развивать эту тему, но Екатерина перебила его:

— Фельдмаршал Александр Михайлович передал вам мои желания, и я, во имя Божие, прошу вас обдумать и немедленно приступить к делу. Исполнением моего поручения вы заслужите мою особую монаршую признательность!

С этими словами она встала. Отцу Петру тоже пришлось встать.

— Идите же к фельдмаршалу. Он здесь во дворце. Вот он проводит вас, — сказала она, указывая на комнатного негра.

Делать было нечего, пришлось откланяться. Зато князь Голицын встретил его словами:

— Приветствую вас, будущий член святейшего синода; государыня поручила мне передать вам, что в случае успешного исполнения её поручения это будет наименьшей наградой, на которую вы можете рассчитывать! Но вы должны, по священству вашему, дать слово на Евангелии в сохранении тайны!

Отуманенный этими словами, отец Пётр согласился, и между ними начался разговор об Али-Эметэ.

* * *

— Глубоко сожалею, мой добрый кузен, что приездом своим я разрушила все ваши предположения, все надежды. Я понимаю, как это неприятно: рассчитывать на получение богатого наследства — и вдруг лишиться его от появления какой-то невиданной кузины. Но что же делать? Если я не умерла, то что тут хотите, не умерла, да и только! Готова просить в этом извинения. Разумеется, вам в

том мало утешения; но опять скажу, что же делать! — Это говорила Настасья Андреевна, миссис Ли, своему милейшему кузену князю Юрию Васильевичу Зацепину в великолепно убранной гостиной зацепинского дома, сохранившейся в том самом виде, в каком оставил её князь Андрей Васильевич, невольный житель Зацепина перед своей смертью. Дом был раскупорен, прибран и устроен после того, как члены земского суда с своим стряпчим признали за благо обратиться подобру-поздорову. Тот же Чернягин, который хлопотал по поручению Андрея Васильевича об утверждении завещания, теперь позаботился, чтобы для дочери его благодетеля, Андрея Дмитриевича, всё было приведено возможно скорее в надлежащий вид.

Юрий Васильевич сидел против кухни как ошпаренный, не зная, что сказать, что сделать. У него был тот самый вид, как когда под носом страшно голодного пронесут вкусное и сочное жаркое. Впрочем, голова его особенно была подавлена мыслию: «А расходы-то, как же расходы-то? Сколько времени я копил, сберегал, и вдруг этим кровопийцам...

И даром, совсем даром!..»

Вместе с тем как ни был он дик и самобытен, как ни был занят мыслью о понесённой потере, всё же сознавал, что нужно отвечать кузине что-нибудь, нужно хоть вид показать, что вовсе не желаешь ей провалиться в тартарары, хотя, разумеется, очень бы хорошо она сделала, если бы действительно провалилась в преисподнюю.

Настасья Андреевна, высказав своё полуумористическое замечание, смотрела, однако ж, с такою грустью на всё окружающее, что могло представиться, будто она сама не рада, что явилась живой и тем разрушила корыстолюбивые надежды своего кузена. И точно, она в это время думала: «Хорошо бы, если бы я могла разделить это богатство, эту роскошь, с моим другом Эдварсом, а то что мне?»

— Нет-с, сестрица, нет. Мы, право, очень-с рады! Не думайте-с, что вот-с мы жалеем... Оно, конечно, всякий сам себе желает, но когда вас Бог сохранил, так сохранил, и делать нечего-с! Одно, что если бы я знал, то и не разорялся бы напрасно; а не зная-с, понёс расходы, большие расходы. Разорился, можно

сказать, совсем разорился. Опять понимаю-с, что вы не виноваты; но всё же-с разор-то свой очень-с горек!

— Понимаю, милый кузен, чрезвычайно неприятно лишиться...

— Не то, сестрица-с, не то! Я не о вашем говорю. Ну не пришло, так не пришло. А своих-то жаль! Знал бы я, что вы, славу Богу, живы и здоровы, стал ли бы тратиться...

— Ах, кузен, если вы истратились, то я с удовольствием готова вознаградить. Я никак не могу допустить, чтобы вы, лишаясь моего, несли ещё потерю в вашем. Велики ли были ваши затраты? Я сейчас же вам прикажу вы-платить.

Юрий Васильевич даже подпрыгнул на своём стуле, услышав эти слова кузины.

— Вы-с очень добры, очень-с! Только ведь-с расходы большие были. По одному Зацепину эти кровопийцы пять тысяч взяли, да расходы на приём, угощение и разъезды особо. А по Парашину, по другим имениям, страшно-с сказать...

— Боже мой, кузен, что ж такое? Ну сведите счёт и скажите. Всё же я полагаю, что бу-

ду в силах удовлетворить вас... Независимо от действительно громадного состояния, которое мне достаётся по завещанию, я имею ещё кое-что... Сведите же счёт, сколько вы истратили...

— Счёт, сестрица-с, нечего сводить. Я и так могу сказать-с: всего истратил 18 643 рубля 72 копейки-с! Почти всё-с, что имел, теперь хоть под окнами-с милостыню просить!

Юрий Васильевич солгал. Он точно помнил цифру истраченных им денег. Эта цифра была 15 643 рубля 72 копейки. Но у него по меньшей мере оставалось ещё вдвое, да и с тремя тысячами душ, которые у него были, трудно было умирать с голоду. Он накинул к действительно истраченной сумме 3 тысячи рублей, рассуждая, что если она потребует точного счёта, то эти 3 тысячи легко разнести будет по разъездам, мелким расходам и необходимым угощениям.

Настасья Андреевна позвонила и приказала ту же минуту приехавшему с ней камердинеру уплатить сумму, названную Юрием Васильевичем.

Это привело Юрия Васильевича в восторг

неописуемый. Вместо потери он ещё нажил. Да это чудо, это прелесть! Надобно будет как-нибудь к сестрице присоседиться.

Как все меркантилисты, гоняющиеся за копейками для составления рубля, Юрий Васильевич был страшно жаден на эти копейки. Поэтому когда его расходы воротились ему с барышом, то он готов был даже позабыть об имениях, которые внезапно у него исчезли из рук. Он помнил только одно, что от такой щедрой, роскошной и богатой кухни не грех и воспользоваться её щедростью; поэтому, ввиду предстоящих надежд на получение от неё, в том или другом виде, за то или за другое, он разговорился и даже расхвастался.

Настасья Андреевна слушала его совершенно безучастно. Она думала о своём Эдварсе, о своих ангелах. «Как бы им полезен был воздух здешних сосновых лесов! — думала она. — Не судил Бог!»

— Ваша доброта, сестрица-с, меня ставит в такое-с положение, что я не умею-с выразить глубочайшую-с благодарность и почтение, — растобарывал князь Юрий Васильевич с своим вечным сюсюканьем и пришепётыва-

нием. — Только право-с, сестрица, вам будет трудно-с улаживаться с нашим народом. Ведь у нас плут-с народ. Только и норовят-с, как бы надуть да провести барина. То хотят утянуть денёк-другой, а пожалуй, и целую неделю из барщины, то оброка не заплатит, а то и выпросить что или на что обмануть. А ведь всё расчёт-с, большой расчёт-с! Плут-народ у нас, сестрица, такие мошенники, что с огнём поискать. И потому нашему брату, привычному мужчине, с ними справиться так в ту же пору-с, а то вам...

— Не разорят же меня, братец; я и сама сделаю для них облегчение.

— Что вы, что вы, сестрица-с! Какие им облегчения! Да тут с ними и совсем не сладить, всё облегчений просить будут. Говорю: плут-мужик! Я-с, могу сказать про себя, человек-с добрый, простой. Наказаниев эдаких, знаете, чтобы пороть мужика как Сидорову козу, не люблю-с. А и я только тем и держусь, что всякая вина-с виновата. Чуть что-с — и на конюшню! А как облегчить-с их да пораспустить хоть вот настолько-с, сейчас же всё в кабак снесут. Тут хоть святых вон неси, ладу

не добьёшься, никак не добьёшься! Умрут-с в кабаке! Да и бунтовать начнут-с, так бунтовать...

— Полноте, кузен, люди везде люди. Поверьте, что они понимают свою пользу и не захотят за добро платить злом!

— Это-с вы, сестрица, говорите потому, что их-с не знаете, потому что-с судите о них по чужому-с, по-иностранному-с. Наш народ-с именно добро-то-с и не любит. Вот-с хоть бы и со мной. Купил я вотчину. Вижу — многосемейные и без хлеба-с сидят. Вот-с я и решил для оборота...

И Юрий Васильевич начал рассказ о своём обороте сдачи в рекруты.

Настасья Андреевна с изумлением и ужасом смотрела на своего кузена.

— Ведь, кажется-с, чего бы-с им лучше? Ведь без хлеба сидят. Подати-с исправник выбивать-с приезжает. А тут-с лишние рты с хлеба долой, да и подати я уж на себя беру. Так нет-с, пальцы рубят, по лесам прячутся, только бы как от рекрутчины отвилиться. Он себе два-с пальца отрубит, ему ничего-с, также без хлеба сидит-с, а мне убыток-с, пря-

мой убыток! Квитанции были дороги-с, тысячи по две и по три-с брали. Представьте себе, из-за эдакого шельмеца да целые-с две или три тысячи убытку.

«И это князь Владимирский-Зацепин. Это Рюрикович, потомок Владимира равноапостольного? — думала про себя Настасья Андреевна, вглядываясь пристально в своего кузена и не находя в нём ни малейшего признака жестокости, зверства или чего-нибудь, что бы объяснило ей источник того милого оборотика, которым Юрий Васильевич хвастал, и представило его операцию с какой-нибудь другой стороны, кроме меркантильной жадности работорговца. — Боже мой! — думала она. — Да где же княжеская честь, доблесть, уважение к себе, уважение к человечеству? Это негропродавец юга; нет, хуже, тот продаёт хоть чужую расу, — это братопродавец, хуже, чем людоед. И людоеды едят только неприятелей».

— А какие примеры тут-с выходили. Такие-с, что и в голову не придут! Вот взяли раз молодца, прямо с поля, посадили в анбар, дуваем, завтра в присутствие свезём. Да моло-

дец такой, красивый-с, вершков двенадцать
ростом, кровь с молоком, а силища-то! Вот,
думаю, за такого рекрута мне спасибо скажут;
самой матушке царице, пожалуй, в гвардию.
Только что вот-с его взяли, докладывают мне,
что, мол, Поликарп пришёл, просит видеть. А
Поликарпа-то-с я уже знал, у прежних господ
был старостой, мужик строгий и эдак лет уж
за шестьдесят. Велел звать. Он входит, кланя-
ется как следует, кладёт сто рублей, да и гово-
рит: вот, дескать, батюшка барин, Сидорка
мой (молодец-то, что взяли, его сын) всего две
недели, как озаконился, так он и просит его
на годок от рекрутчины освободить и за то
кланяется тебе ста рублями. Парень, дескать,
он молодой, женился, потому что Акулька,
жена-то теперь его, очень уж ему полюби-
лась; так пусть, дескать, годик или полтора с
ней погуляет, может, сыночек, а может, и два
будут. Я их выкормлю, и тебе слуги будут! А
потом, дескать, вся твоя воля барская, можно
и в некрута сдать. В это время будто нарочно
у меня квитанций-то много лежало; не шли,
набора не было, а известно-с, и не думается,
пока нужда не пришла, такой уж народ у нас!

Вот-с соображая всё это, я и расчёл: думаю, не в год и не в два он из годов не выйдет, а может, и в самом деле мальчугана оставить, да как в отца будет, то не в убыток. Ну да и сто рублей на полу не подынешь. Вот, рассчитывая всё это, я согласился. И что ж вы думаете, сестрица? Ведь надул-с! Право слово, надул-с! Да как ещё надул-то? Год прошёл, сын у него родился. Я рассчитал: ну чего ещё ждать; квитанции же у меня подобрались; велел везти в присутствие. Так что же он? Шесть коренных зубов велел себе выдернуть, его и не приняли. И я, вместо того чтобы за квитанцию-то, может, тысячи три бы взял, должен был довольствоваться принесёнными мне прежде ста рублями. Вот-с какие мошенники!

Настасья Андреевна молчала. Она смотрела на своего кузена с полным презрением и ужасом.

«И это родовой князь, — думала она. — Где же доблесть рода? Впрочем, чем же он родовой? Правда, есть у него права, но права кастовые, а не родовые, родового в нём нет ровно ничего. Он называется князь, но только по преемственному преданию и более ничего.

Он просто кастовый представитель капитала, стремящийся к наживе, попросту кулак, в душе кулак, хотя и зовётся князем».

— Да-с, сестрица, вот ведь у нас какие мошенники, — продолжал князь Юрий Васильевич. — Оно бы всё ничего-с, другой бы раз не попался-с. Дельце-то всё было выгодное-с и поправило-таки некоторых дворян-с. Так чем бы поощрить, а они-с что же? Запретили-с, право слово, запретили-с! Да ведь они мои, говорю. Мои или не мои? Но что делать-то было? Осталось одно-с: девок на вывод продавать да мальчишек законтрактовывать. Вот в Зацепине у вас, да и в Парашине-с, много девок-с, и хороших, хорошие деньги давать станут. А коли это ещё отнимут, то просто хоть в гроб ложись, хоть от вотчин отказывайся!

— Как это на вывод? — спросила Настасья Андреевна, останавливаясь на новости слова.

— Так-с, на вывод. Девки подрастают, нужно их замуж выдавать, а парней женить. Если парню в своей вотчине невесты нет, покупают на стороне, это и называется на вывод. Я у себя, в Шугароновке, ввёл правилом-с,

чтобы всякий парень невесту добывал себе сам, как знает. Женись на вольной или выводные деньги плати, это его дело. Своих же девок всех до одной-с я продаю на вывод. Ну-с, случается иногда и хорошие-с деньги брать-с, особенно когда покупают-то не для замужества-с.

— Так для чего же? — спросила Настасья Андреевна. И её глазки засверкали от негодования.

— Я в это-с не вхожу. Мне какое дело? Моё дело взять деньги и дать выводное письмо, а там её хоть под стеклянный колпак поставь. Хоть, признаться, всегда под рукой стараешься узнать, кто и зачем торгует, и соответственно тому и цену просишь. Цена девке обыкновенная 40 рублей, ну много 50 рублей, а вон господа богатые узнают, что у девки голос, в певицы домашние приучить хотят или комедию ломать хотят заставить, не жалеют и сотен. А иногда и так, какому-нибудь богачу девка приглянется, он и покупает, чтобы себе постель оправлять заставить. Ну тогда и тысячи, пожалуй, не пожалеет. У меня вот, в Шугароновке, поп овдовел и торгует себе девку в

хозяйки, даёт 500 рублей, да шалит! Девка ему нравится, и я непременно с него семьсот сдеру. В Москву тоже этого товара много идёт для разных целей. И тут, разумеется, в цене не церемонишься, особенно когда видишь, что девка красивая и понравилась очень.

Долго сдерживала себя Настасья Андреевна, не желая, в полноте своего презрения, отвечать кузену. Но когда тот начал выкладку, что вот в тысяче ревизских душ есть, по меньшей мере, полтора ста молодых и красивых девок, то она не выдержала и резко сказала:

— Кузен, что вы говорите, что вы рассказываете? Разве возможно переводить на биржевой курс кровь человеческую, торговать человеческим мясом? Нет, кузен, вы не князь Зацепин, вы... вы... — Она хотела было сказать: бессовестный, бесчестный кулак, но привычная сдержанность её остановила, и она проговорила только: — Прошу вас никогда об этом со мной не говорить! — и вышла из комнаты.

«С такими людьми жить? — подумала Настасья Андреевна. — Это ужасно, ужасно! Вот что значит стремление к наживе во что бы то

ни стало, страсть к деньгам и больше ничего, ничего...»

А Юрий Васильевич никак не мог понять, на что это сестрица так рассердилась? Кажется-с, он не сказал и не сделал ничего обидного!

V

НРАВСТВЕННЫЕ ИСТЯЗАНИЯ

После переговоров с Голицыным, отец Пётр дал себе слово быть неумолимым к Али-Эметэ и добиться полного и искреннего признания во что бы то ни стало.

Получением этого признания достигалась вся мечта его жизни. Он будет член синода, единственный в то время член из белого духовенства, и будет, стало быть, в состоянии напирать на чёрное духовенство всей силой своей эрудиции и своего аскетизма.

«Я укажу им, — думал он, — что можно, не принимая на себя ни зарок, ни заклятий, идти по истинному тернистому пути и что нет нужды надевать клобук и рясу, чтобы

быть проповедником слова Божия; что можно поститься и молиться не как наёмник, а как истинный сын церкви, из любви к делу, а не ради мирских выгод.

Да, это верно! Только нужно получить признание, во что бы то ни стало нужно добиться. И я добьюсь! Непременно, во что бы то ни стало добьюсь!»

Под влиянием такой решимости отец Пётр отправился в каземат Али-Эметэ. Он явился перед ней как строгий судья её жизни, её поступков, даже помышлений.

Она лежала истомлённая, слабая, измученная, когда он вошёл. Робко подняла она глаза свои на сухощавое, но энергическое лицо неумолимого аскета и почти сразу поняла, что от этого человека она не может ожидать снисхождения и участия.

— Прочитайте символ нашей православной веры! — сказал отец Пётр сурово, подходя к её постели.

Али-Эметэ стала читать по-немецки и какие-то слова произнесла неверно против перевода, сделанного отцом Петром.

Отец Пётр отнёсся к этой неверности весь-

ма строго.

— Отец иерей... — начала было Али-Эметэ.

— Протоиерей, — перебил её отец Пётр.

— Отец протоиерей, — повторила Али-Эметэ, — я жила всё время в землях чужих, где и церкви православной не было. Иногда по несколько лет я не слыхала православного служения. Удивительно ли...

— Православная церковь требует от своих верных сообщения и, по крайней мере, хотя раз в год полного искреннего исповедания и приобщения.

Отец Пётр стал говорить на эту тему, доказывая текстами Священного писания, что не очищающийся благодатию и духом лишается милости Божией и может возвратиться в лоно святой церкви только при сердечном умилённом раскаянии.

После такого приступа он спросил, верит ли она всей душой, всем сердцем тому, что она прочитала?

Когда Али-Эметэ отвечала утвердительно, то он спросил в заключительной форме:

— Стало быть, веришь в будущую жизнь

и наказание, ожидающее за гробом нераскаявшихся грешников?

На новый утвердительный ответ Али-Эметэ отец Пётр стал говорить о раскаянии. Он говорил учено, схоластически, подкрепляя каждое слово текстами святых отцов; говорил хорошо, академически; но едва ли говорил сердцу. Он убеждал, не тая ничего в своей совести, припасть к Отцу небесному с полным и совершенным раскаянием.

Затем сам собою следовал существенный вопрос: кто научил, кто указал, кто доставил бумаги, кто распустил слух?

— Отец Пётр! — отвечала Али-Эметэ, закрывая глаза свои, как бы под бременем тяжести её длинных ресниц. — С полным и сердечным раскаянием во всех проступках жизни моей прибегаю я к утешению религии; но всё, что знала о себе, я уже сказала. Никто ничему меня не учил, никто не указывал. Никогда я не распространяла слухов, что я дочь российской императрицы. Я знала с детства, что я высокого происхождения. Но кто действительно были мои родители, мне неизвестно. И я неоднократно, смеясь, говорила,

что для меня всё равно, хотя бы мой отец был турецкий султан. Если слух о моём происхождении от русской императрицы распространился, то людьми, меня окружающими. Граф Огинский привёз мне бумаги, доказывающие, что я происхожу от князей Владимирских, я поверила, что эти бумаги действительно мои. В этом вся вина моя, всё моё преступление, за которое я наказана так жестоко.

Но от отца Петра нельзя было отделаться так легко.

Он начал говорить о том, как тяжка смерть нераскаявшегося грешника; приводил слова пророков и апостолов, приводил примеры и сказания. Он говорил о Страшном суде, о загробной жизни; указывал, что если Бог спас её от наводнения, то любя её и желая дать ей время для предсмертного раскаяния.

Отец Пётр, как мы сказали, говорил академически хорошо, но говорил слишком учено, слишком схоластически, и слова его падали на бесплодную почву. Не формалистикой аскетизма, не схоластическими убеждениями можно было тронуть эту страстную и вместе как бы закалённую в самой себе натуру. Он

сейчас же представился ей новым следователем, новым экземпляром тех допросчиков, которые столько раз пробовали над ней своё красноречие, желая добраться до её тайн, и она сейчас же замкнулась сама в себя.

А отец Пётр горячился. Ему так хотелось, с одной стороны, внедрить в неё свои убеждения, а с другой — заслужить милость царицы. Он знал, что, кроме назначения, казавшегося ему чуть не равным царствию небесному, милости эти к нему должны быть великие и богатые. Екатерина любила и умела награждать... Но всё напрасно. Чем он больше горячился, тем Али-Эметэ становилась холоднее, безучастнее. Дни проходили за днями, а отец Пётр не мог добиться ничего.

Голицын следил изо дня в день за этой борьбой, в которой тонкостям схоластической диалектики хотелось коснуться тайников души Али-Эметэ. Естественно, что эти тонкости скользили только по её поверхности. Все усилия отца Петра были безуспешны. Тогда отец Пётр, рассерженный и обиженный неудачей, начал грозить ей Божией карой, рисуя перед её больным воображением мрач-

ные картины загробной жизни. Но и это не привело ни к чему.

О безуспешности отца Петра Голицын докладывал Екатерине. Государыня сердилась, находила, что поп недостаточно умен, недостаточно энергичен.

И она решилась на меру более действительную, более сильную, которая, она полагала, должна была вызвать откровенность всклепавшей на себя имя. Пристрастное отношение к делу заставило Екатерину забыть, что нравственное истязание есть тоже пытка, против которой она сама так восставала пером, словом и делом.

Впрочем, в это время Екатерина начала уже спускаться с той нравственной высоты убеждения, которая сияла в ней так ярко, когда она была великой княгиней. «Разум законов» Монтескье начинал в ней испаряться в суровой практике действительности, как испарялись, следовательно, и собственные слова её «Наказа». Влияние абсолютного самовластия отразилось даже на столь твёрдом характере, каков был характер Екатерины. Она ещё слушала возражения, но далеко не с та-

ким спокойствием, с каким слушала их, вступая на престол. Иногда тот, который ей возражал, встречал такой взгляд, перед которым поневоле немели все доводы.

Нравственная пытка, приготовленная Екатериной для Али-Эметэ, заключалась в том, чтобы заставить её видеться с графом Алексеем Григорьевичем Орловым и через него выведать то, что она хотела скрыть.

По её вызову Орлов прибыл в Петербург.

— Граф, у меня до вас просьба. Я нуждаюсь в вас. Откажетесь ли вы мне служить? — спросила Екатерина, приняв Орлова весьма приветливо и с той особой, ей только свойственной любезностью.

Она протянула ему руку; лицо её приняло выражение удовольствия и той мягкости, которая всех обвораживала; глаза сверкнули, но так, как сверкают глаза детей, когда они увидят что-нибудь приятное.

Всё это было на руку Орлову, который в эту минуту, видимо, был приятным и жданным посетителем. Даже собачка Екатерины, Том, залаяв было на Орлова, по слову Екатерины; «Это свой, это наш!» замолчала, улеглась у её

ног и весело завилыла хвостом.

— Так откажетесь ли вы мне служить, граф? — переспросила Екатерина.

— Как же не служить, матушка государыня, царица наша радостная, — отвечал Орлов, стараясь говорить с той же искусственной простотой, с какой он говорил тогда, когда брат его был ещё в случае и мог признаваться человеком всесильным. Он хотел держать себя так, как будто ничего не изменилось и всё существовало в том самом виде, как было, или, по крайней мере, так, будто ни о какой перемене он не знал. — Мы все твои рабы-слуги, и нам отказываться от службы не приходится, хотя бы и вспомнилась иногда песенка, говорят, пропетая твоему величеству покойным Александром Ильичом Бибиковым:

*Сарафанчик мой, сарафанчик,
Всюду ты, сарафанчик, мне приго-
жаешься,
А не нужен, так и под лавкой по-
лежишь! —*

а всё для нас служить тебе счастье. Приказывай, матушка государыня, приказывай! Послужим не хуже Бибикова и своей шкуры не пожалеем!

— Всклепавшая на себя имя не хочет сознаваться. Заставь её, Алексей; поговори с ней, убеди!

— Ну, матушка государыня, мне это труднее, чем что-нибудь. На крепость, кажись, лучше полез бы, на медведя с голыми бы руками пошёл. После обмана, о котором теперь не знать она не может, признаюсь, в лицо стыдно взглянуть. Но, как говорится, для милого дружка и серёжка из ушка, а для обожаемой царицы и совесть под каблук! Попробую, матушка, попробую; куда кривая не вывезет!

Государыня засмеялась и Вновь подала ему руку, которую Орлов поцеловал.

— Государыня, — сказал он, — простите за вопрос: это правда, что она беременна?

— Да, и ты скоро будешь отцом!

— Что будет с бедным ребёнком?

— Будь покоен, я позабочусь о нём.

— А ведь нам, господа, нонче сенокосный год пришёл! — говорил стряпчий богоспасае-

мого города Зацепинска своим гостям, состоявшим из членов и секретарей обоих судов.

— Как это сенокосный год? — спросил исправник.

— Да так! Пяток по зацепинскому имению разделили?

— Ну разделили, так что ж?

— Ну ещё десяток разделим!

— Это каким образом?

— Таким: мы без того наследницы во владение не введём.

— Как не введём?

— Да так! Условий завещания не выполнила. Сказано было, идти замуж за князя дома Рюрика, а она вышла за какого-то Ли.

— Да муж умер, детей у неё нет, стало быть, наследство не разбивается. Она каждый день за Рюриковича или там за какого князя идти может!

— Нам до этого дела нет, сказано: имение предоставляется княжне Настасье Андреевне Зацепиной, с тем чтобы шла замуж так-то и так. Поэтому мы и можем вводить во владение или княжну Зацепину, или княгиню там какую-нибудь дома Рюрика; а каким же обра-

зом мы будем вводить какую-то госпожу Ли? Невозможно, совсем невозможно!

— А ведь и точно! — начал резонировать уездный судья. — Если бы она теперь и вышла замуж, положим, за князя Ростовского или Долгорукова, несомненно Рюриковичей, всё же ей имение не следует; условие всё не выполнено. Потому что в завещании не сказано ничего о возможности выйти сначала за другого, а потом за князя, а сказано именно: княжна выйдет замуж за князя дома Рюрика. Теперь она хотя бы и шла, согласно условию завещания, за кого бы там ни было, но будет выходить не княжна Зацепина, а вдова Ли.

На основании таких рассуждений и соображений начались нескончаемые придирки к Настасье Андреевне в рассуждении передачи ей имения. Этими придирками они до того её измучили, что она готова была сама от всего отказаться. Только желание не передавать родовые вотчины в другие руки заставило Настасью Андреевну продолжать хлопоты.

Надоело, однако ж, Настасье Андреевне возиться и толковать с зацепинскими юристами, и она решила ехать в Москву и кончить

там относительно Парашина, не зная того, что зацепинские крючки с московскими давно уже переписались.

Кроме необходимости хлопотать, ей любопытно было взглянуть на Москву, которой она ещё не видала.

«Там, — думала она, — я скорее могу найти знакомых моего отца, которые захотят помочь его дочери. Там, по крайней мере, я узнаю, что нужно сделать». И она поехала.

В Москве, обозревая достопримечательности, она натолкнулась однажды на громадный съезд перед церковью, — съезд в таком размере, в каком она в Москве до тех пор не видала. Проехать через этот съезд не было возможности.

— Что это значит? Какая это церковь? — спросила Настасья Андреевна.

— Ивановский монастырь, — отвечали ей.

— Отчего же такой съезд?

— Принимает пострижение новая монахиня, — отвечали ей, — из очень знатных.

«Я никогда не видала пострижения, — сказала себе Настасья Андреевна, — зайти разве

посмотреть... Только если можно найти место?»

О своём желании Настасья Андреевна сказала сопровождавшему её ездовому. Ездовой похлопотал, отыскал казначея монастыря, мать Таифью, подарил ей, по приказанию Настасьи Андреевны, несколько золотых, и та проводила её на хоры и поставила её так, что она могла вполне видеть всю церемонию и слышать каждое слово.

Видит она стройную, благочинную службу. Церковь полна народа и большей частью высшими классами общества. Превосходное, торжественное пение, благочиние, самозабвение в молитве глубоко запади в сердце Настасьи Андреевны. Благоговение невольно охватило собой всю её душу. Оно наполнило её чувством невыразимого восторга. Она невольно подумала: «Вот убежище, дающее отраду несчастным» — и начала молиться, молиться искренне, от души. Она давно не помнила, чтобы так молилась: ей же почти не удавалось быть в православной церкви.

Но вот приводят постригаемую. Она в чёрном платье, лицо её покрыто флёром. Она

снимает покрывало... и что же видит Настасья Андреевна? Молодую девушку лет 22-х или 23-х, красоты чрезвычайной и, видимо, вне себя среди торжественности обряда. Она не видит и не слышит ничего, она вся молитва. Волосы её рассыпаются по плечам. Глаза полны того неземного выражения, которое может исходить только из чистого возношения сердца к небу... Её постригают. Потом после принесения ею клятв отказаться от всех почестей мира, от всего родного, от всего любимого её одевают в монашеское платье, с пением торжественных стихир и молитв. Для Настасьи Андреевны это было нечто совершенно новое; оно поразило её глубоко.

— Как фамилия вновь постриженной? — спросила Настасья Андреевна.

— Княжна Трубецкая, младшая дочь покойного генерал-фельдмаршала, бывшего некогда генерал-прокурором, князя Никиты Юрьевича.

И точно, это была известная нам Китти, Катерина Никитична Трубецкая.

После смерти отца она очень убивалась. Ей всё казалось, что она была существенной

причиной его смерти, отказавшись идти замуж за князя Юрия Васильевича, которого она не признала человеком. Не знала она того, что и сам отец её, увидав Юрия Васильевича первый раз, предложил себе тот же вопрос: «Человек ли он?»

Постоянные слёзы, уговоры, убеждения, в течение не одного года, заставили наконец согласиться княгиню Анну Даниловну на неотступные мольбы её дочери о поступлении в монастырь. И она постриглась. Случай привёл Настасью Андреевну быть свидетельницей её пострижения, которое произвело на неё столь глубокое впечатление, что она долго и долго думала: «Вот где приют спокойствия от всех треволнений жизни, вот где облегчение страданий в несчастий».

* * *

Али-Эметэ до того была утомлена долгими и настоятельными увещаниями отца Петра, что лежала почти без движения. Она была подавлена в собственной мысли своей, унижена в собственном своём сознании. Безнадёж-

ность, полная безнадежность, доходящая до отчаяния, душила её. Что ей предстоит? Тюрьма, вечная тюрьма!.. Боже, лучше смерть! А там вот этот безжалостный человек сулит вечные муки, муки страшные... «Вот моё будущее, — думала Али-Эметэ, — мучиться на этом свете и страдать на том. И на такое будущее я променяла своё положение в графстве Оберштейн, в замке Нейсен; променяла грот любви с моим Телемаком и княжескую корону владетельной принцессы гольштейн-лимбургской. Что я сделала, и для чего, и для кого? Для ласки этого человека, который, лаская, продавал меня, продавал зародыш своего собственного ребёнка.

«Да, он низкий, негодный человек, а всё же... Себе я могу в этом признаться, я его любила так, как не любила никого никогда! Даже теперь, как вспомню, кажется, и теперь люблю его, и только его... Боже мой, что за сила у этого человека? Какая страсть! Замирает сердце при одном воспоминании этой огненной, страстной ласки, в которой сливаются, кажется, и небо, и ад; в которой заключается всё: настоящее, прошедшее и будущее... Будто

огнём охватила она меня тогда, разразилась хаосом бури и заключилась негой страсти, томлением слабости. И так хотела я целовать его, — целовать, отдаваться и опять целовать... И вот... Как мне хотелось иметь ребёнка от Лимбургского... Нет, нет и нет! А тут прямо и след любви, грустный, печальный, но след... Как бы мне хотелось подать этого ребёнка отцу и сказать: «Вот мой мститель, возьми его, люби его, если ты можешь кого-нибудь любить... Проклятие! Такого человека я могла любить, могла им упиваться...»

— Боже мой, что это?.. что это? Я с ума схожу!..

К ней из другой комнаты тихо выходил, как бы плыл Алексей Орлов.

Он был одет в тот же мундир генерал-адъютанта, в той же голубой ленте, с теми же бриллиантами и украшениями, как и в Пизе, когда он явился перед ней первый раз, вызванный будто волшебной силой её слова. Он также будто нёсся по воздуху, так неслышно, незаметно, беззвучно подошёл он и наклонился над её постелью, так же как тогда над её креслами. Как тогда, так и теперь Али-

Эметэ замерла, будто очарованная.

— Лиза, ты проклинаешь меня? — спросил Орлов, останавливая на ней взгляд, полный того обаяния, от которого когда-то кипела у ней кровь, мутился взгляд и она, именно в томлении неги, прижималась к его груди.

Но тут его голос произвёл прямо противоположное действие. Она приподнялась на своей постели, как ужаленная.

— Да, проклинаю! Проклятый, подлый человек! Чего ты хотел от меня? Не готова ли была я отдать тебе всю душу мою? Ты мог уговорить меня умереть, я бы послушалась тебя, радостно умерла бы, с словами любви и счастья... Но тебе мало было моей смерти; тебе хотелось моего позора, моих мучений. Смотри! Любуйся! Вот как я истерзана, как измучена. Наслаждайся, вспоминая, какая я была и какая я теперь! Хвастайся, что это ты сделал, что это ты убил!

Она зарыдала, нервно, истерически зарыдала и опустилась вновь на свою постель.

— Я пришёл спасти тебя, Лиза; ведь ты ещё любишь меня?

— Люблю ли? — спросила она, приподни-

маясь вновь. — Разве можно любить проклятие, болезнь, плен, несчастье, истязания? Скажи ты, фальшивый человек, разве можно любить тюрьму? Я проклинаю тебя, проклинаю минуту, когда услышала о тебе, когда узнала твоё имя, когда услышала первое слово!.. Проклинаю, Боже мой! А чувствую, что ношу под сердцем плод любви его... Боже, помилуй меня! Даже и в ненависти своей я не могу не любить его — отца моего первого и единственного будущего ребёнка!

— Слушай, дорогая моя, не сердись! Помнишь, я писал к тебе, что на конце света я найду тебя и приду. Вот видишь, я сдержал слово своё, пришёл; выслушай же меня!

По этому слову Орлова Али-Эметэ подняла на него пристальный взгляд. Слезы её мгновенно высохли, она оперлась на подушку и, бледная, с пятнистым румянцем на щеках, смотрела на него пристально, глубоко, будто взглядом своим желала проникнуть сокровенный смысл каждого его слова. Губы её нервно дрожали.

— Вот видишь, душа моя! Екатерина царица милостивая, а главное — умная! Для неё

нет никакой пользы ни в твоей смерти, ни в твоих мучениях, поэтому держать тебя в заключении она не станет. Ей нужно знать, кто из русских выдумал и научил тебя, кто доставил тебе бумаги, которые вообще достать было трудно... Кто, одним словом, пружина всему, что идёт против неё. Скажи ей — и мы будем счастливы. Она сохранит за тобой титул княжны Владимирской, отдаст, пожалуй, в удел самый Владимир, утвердит в зацепинском наследстве, и мы будем счастливы, дорогая моя, моя милая!

Орлов замолчал, садясь к её кровати, а Али-Эметэ всё ещё как бы слушала его. Потом вдруг вскрикнула:

— Слова дьявола, слова дьявола! Вот они, эти слова, исходящие из самого ада лжи и обмана! Отец Пётр прав, когда говорил, что вживе услышу я эти адские слова злого духа, разливающего соблазн, сеющего зло. Прочь, проклятый! Сгинь! Исчезни! Ты посланец Екатерины и более ничего! Ты следовательно, продолжение Ушакова, Шешковского, и ещё того попа Петра, и всех их, которые меня допрашивают, мучат! Молчи, молчи! — закри-

чала она, заметив, что Орлов хочет говорить. — Или скажи: ну, ты обманул бедную женщину, посмеялся, обманул меня; но за что же ребёнка, твоего ребёнка, за что ему приготовил ты несчастную участь страшного сиротства и страдания?

Орлов, желая успокоить её, хотел взять её руку.

Но она, несмотря на свою слабость, несмотря на то что была в одной рубашке и кофте, вскочила с постели.

— Прочь, негодный! Не оскверняй меня своим прикосновением! Прочь, посланец-соблазнитель, приносящий тюрьму, язвы и смерть, приносящий проклятие! Да обрушится это проклятие над твоей головой! — И она вытянулась, топнув по ковру своей маленькой, босой ножкой, и протянула свою исхудалую голую ручку, как бы желая отстранить видение. — Сгинь! Исчезни! Пропади! Да будет ад твоим отечеством! Уходи же! Уходи, следовательно, преемник попа Петра и Шешковского!..

Орлов понял, что он дал маху; что добиться от неё чего-нибудь убеждением разума бы-

ло немыслимо. Нервы её были слишком раздерганы, чтобы она могла слушать, могла думать о том, что слышит.

«Если она и знает что-нибудь, — подумал Орлов, — то выпытать у неё это можно было только обманом, только возбуждением страсти. Эх, не так я за дело взялся!» — сказал себе Орлов и думал поправиться, сказав с напускным выражением страсти:

— Ну так бежим вместе!..

Он хотел ещё что-то сказать, но она перебила его:

— Новый обман, новая ложь! Бежать, зачем? Чтобы ты выдал меня каким-нибудь агентам, которые убьют меня за углом! Нет, никуда я не пойду, ничего не скажу! Я умру здесь, и моё имя, моя смерть будут твоим позором, позором твоего имени! Лучше задуши меня скорее, чтобы я меньше проклинала тебя. Убей меня! Твои руки, обагрённые уже кровию, не дрогнут убить больную женщину. Убийца, убей же меня! — И она закашлялась тем глухим, тяжёлым кашлем, который можно было назвать роковым. Во время кашля её начала бить лихорадка, из горла показалась

кровь. Кашляя, она нервно опустилась на ковёр и разрыдалась страшно, не говоря ни слова и как бы забыв об Орлове.

Орлов испугался и вышел.

Он поехал доложить Екатерине о неуспехе своего посольства, и у него ещё достало духу шутить, называя её сумасшедшей, думавшей, что перед нею явился не то домовый Петропавловской крепости, не то Самиэль немецких сказок, и она начала его заклинать.

— Крюку дал, матушка, ваше величество, как быть, дал крюку! Мне бы с того начать: «Бежим, дескать! Я и через стену крепости проведу...» Как быть! Конь и о четырёх ногах да спотыкается!

Екатерина смеялась, но очень сдержанно. Она любила искренне смеяться только тогда, когда приказания её были исполнены «с полным успехом» и «к всенепременному нашему удовольствию». А промах, так промах, кто же виноват?

Вместо Орлова подле Али-Эметэ очутился доктор. Он дал ей успокоительное, уложил в постель, прислал к ней Мешедэ и обещал выпросить какие-то облегчения. Али-Эметэ оч-

нулась и попросила к себе князя Голицына.

— Ради всего святого, умоляю вас, князь, прикажите не пускать ко мне того проклятого человека, который перед этим был у меня и который причина всех моих несчастий.

VI МСТИТЕЛЬ

В Москве жизнь для Настасьи Андреевны показалась несравненно тяжелее, чем в Зацепине.

Там она подверглась только назойливости одного своего кузена и притязаниям чиновников. Но, отметив однажды своего кузена наименованием «кулака», она более о нём уже не думала. Он скоро и уехал, видя, что от сестрицы более ничего не дождётся, и боясь упустить выгодную продажу своей крепостной девки овдовевшему попу. А с чиновниками она, по совету и при помощи Анисима Антоновича Черныгина, скоро сошлась, уплатив им что-то около семи тысяч. Взяв эти деньги, чиновники сумели согласить свои действия

с своими мнениями, и это для них было тем приятнее, что в этом соглашении осталась им надежда и ещё получить малую толику. Они сделали для Настасьи Андреевны то же, что полагали сделать для Юрия Васильевича, ввели её во временное владение, войдя куда следует с представлением об окончательном разрешении вопроса, следует ли признавать выход замуж княжны Настасьи Андреевны за мистера Ли нарушением условий завещания, когда она уже бездетная вдова и может выйти замуж за кого угодно? Само собою разумеется, что такое действие русских чиновников не могло вызвать со стороны Настасьи Андреевны особого к ним сочувствия и уважения. Но Настасья Андреевна на всё умела смотреть снисходительно. Она отнесла этот вопрос к разряду тех, которые были уже разрешены её мировоззрением. «Страсть к наживе, отсутствие традиций доблести, исходящие непосредственно из преобладания капитала. Чего ждать от тех, которые не ценят ничего, кроме денег?» — заключила она и более о том не думала и не говорила.

В Зацепине её жизнь была спокойствие

полное, безмятежное. Там она могла всецело отдаваться воспоминанию о своём Эдварсе, о своих ангелах-детях; вместе с тем могла анализировать свои чувства, мысли и ощущения, могла читать, и много читать. Анализ своих мыслей указал ей на опасность такого полного одиночества. Она заметила, что углубления в самую себя и в воспоминания только усиливают, только питают её горе. Впечатление, произведённое на неё посвящением молоденькой княжны Трубецкой, вызвало в ней много размышлений.

«Как хорошо, — думала она, — что в России есть приюты отрады, успокоения и молитвы для тех, кому молитва остаётся единственным утешением. Это не отшельничество, не уединение, только питающее грусть и горе; это труд, совокупность усилий отделиться от земли, отбросить и горе, и радости земные для созерцания и молитвы в небе».

В Москве пришлось ей вести жизнь другого рода. Там некогда было ей ни много думать, ни много читать. Её охватила общественность, но охватила положительно с её тёмной, неприглядной стороны.

Никого из друзей своего покойного отца она уже не нашла. Сохранилось воспоминание о великолепном князе Андрее Дмитриевиче Зацепине, роскошном поклоннике эпикуреизма, почитателе красоты и грации и изящном представителе западного пантеизма и философских воззрений тогдашнего мирозерцания, выразившегося в янсенизме. Сохранился на Никитской его старинный княжеский дом, почти в том виде, в каком он был в день избрания императрицей Анны Иоанновны, потому что ни сам князь Андрей Дмитриевич, ни его племянник и наследник князь Андрей Васильевич в нём почти не жили — но и только! О дочери его никто и не слышал.

Понятно — Москва жила уже третьим поколением после тех вельмож, которых когда-то считала своими лучшими людьми и которые сохраняли ещё традиции родовых преданий и признавались народом за свою опору и вождей как люди, близкие царю и могущие высказывать ему свои личные воззрения. Народ знать не хотел, что боярской думы давно нет, что право говорить с царём зависе-

ло непосредственно от царя и что затем уже все сливались в один уровень неподатных условий, без всякого преимущества одного перед другим. Народ всё смотрел по-прежнему; всё хотел видеть в Долгоруких, Голицыных, Милославских, Трубецких, Зацепиных, Морозовых, Нарышкиных, Ромодановских, Стрешневых и других своих естественных покровителей и ходатаев перед престолом если не по праву рода, то по существу и действительной близости их к великому государю, окружённому в своём верховном совете, за немногими исключениями, этими родовыми именами русских бояр. Но всё это прошло и былём поросло; всё это давно забылось. Новые люди жили по-новому и знать не хотели никакого старья. Все знали, что был в ходу не род, а случай, фавор; все и искали случая, хотели фавора.

Но отрицание преданий вовсе не уничтожило барства: напротив, оно его усилило. Барство сохранилось, только именно в его изнанке, в его тёмных интригах. Оно выразилось не вниманием к народным нуждам, не покровительством угнетаемым, а произволом

богатого и сильного, разгулом, всякого рода насилием и безобразным, диким своеволием и мотовством. Явились баре Бог весть откуда, — баре, не знавшие, как звали их дедушку. Их создал новый порядок, новое устройство общества, ставящее во главу случай и поклонение золотому тельцу. Составивши разными путями корысти громадные состояния и заручившись приятнью с людьми сильными и случайными в Петербурге, эти новые господа, с рыльцем в пушку, безобразничали себе во всю московскую мочь, передразнивая потухающее вельможество прошлых выскочек, кто во что горазд, до последних пределов дикости; до выхода, например, на свой парадный, даваемый на всю Москву, бал в халате и туфлях, не надев даже из приличия штанов, до пляски в цыганском таборе или до назначения великолепных праздников с приглашением всех знакомых и незнакомых, но на таком условии, что когда хозяину вздумается вскочить на стул и закричать по-немецки «heraus» или по-русски «вон», то все бы убиралось подобру-поздорову немедленно, хотя бы то было среди танца или игры, в против-

ном случае лакеи погонят их мётлами.

Можно себе представить, какое впечатление могло произвести такое общество на Настасью Андреевну, привыкшую с детства к мыслящей жизни, к разумности действий, к сознательному отношению себя к всему окружающему. Она была просто поражена, отуманена; она не знала, что и думать, что и говорить. С другой стороны, можно себе представить, какое впечатление произвело в этом промотавшемся до беснования обществе появление ещё молодой вдовы, сохранившей в себе всю грацию и всю прелесть своей молодости, всё очарование светского образования, после того, как узнали, что ей переходит тридцатимиллионное состояние. Её буквально осадили. Она вдруг увидела себя окружённой толпой. Нескончаемое количество искателей богатых невест, как для себя, так и для других, матушки, бабушки, тётушки разорившихся князьков, прожектёры всевозможных видов, искатели лёгкой наживы, можно сказать, положительно начали не давать ей прохода. К ним присоединились все искавшие, как бы перехватить деньги, у кого бы приза-

нять без отдачи; все думавшие: нельзя ли этой богачихе что-нибудь продать, что-нибудь у неё купить, разумеется, продать подороже, купить за бесценок; к ним присоединились и все надеявшиеся, что она будет жить открыто, давать праздники, обеды, и потому желавшие полакомиться и повеселиться на чужой счёт. Если к этому прибавить ещё назойливые требования чиновников, желавших сорвать с неё побольше, чем могли даже думать чиновники богоспасаемого града Зацепинска, то станет понятным, что углублённая в саму себя Настасья Андреевна, с своим неулёгшимся ещё горем и воспоминаниями своих потерь, бросила всё и скрылась от глаз всех в своё Зацепино, где, по крайней мере, никто не мешал ей ни думать, ни вспоминать. Она решила заплатить там, чего бы ни стоило, Агапитову, Безносикову или кому бы то ни было, — Анисим Антонович съест, пусть хлопочут! — но зато обрести спокойствие и тишину.

В Зацепине её любимым собеседником был живший уже на покое семидесятипятилетний старец, архимандрит, отец Ферапонт.

Беседа его для Настасьи Андреевны не могла не быть успокоительна. Замечательного ума и начитанности, с тем вместе скромный и снисходительный, отец Ферапонт более пятнадцати лет управлял монастырём в качестве настоятеля. Но его постигла тяжкая болезнь, и он должен был отказаться от своей должности. Когда он выздоровел, то остался на покое и посвятил труды свои филологической разработке вопросов русской церковной истории. Его занятия, естественно, наталкивали его на различные документы, касавшиеся различных местностей и преданий о былой жизни нашего отечества. Естественно затем, что ему хорошо была знакома жизнь и деятельность целых поколений предков Настасьи Андреевны, стоявших в челе родной земли и не жалевших себя для её благоденствия. Настасья Андреевна, изучавшая русскую историю весьма поверхностно, но признававшая, что она, как кровная русская, должна знать всё, что касается русской народной жизни, чрезвычайно интересовалась занятиями скромного монаха. В каждом слове его она открывала источник той самобытно-

сти, того своеобразного строения, которым Россия отличалась от Европы и которые, от самого начала русского государства, вели её к возвышению и нравственному устройству. С ужасом замечала она, как эта самобытность умышленно стирается; как характерные отличия народа умышленно подводятся под подражательную рамку чужих обычаев и несоответственных народному характеру учреждений. Отец архимандрит, сочувствуя ей, иногда указывал, как всё несоответственное, всё прививное падает, рассеивается само собой, а поднимается будто из пепла, несмотря на все противодействия, своё, родное, исходящее из коренных начал русской жизни и соответствующее её правильному развитию. Поэтому беседы с отцом Ферапонтом были для неё крайне приятны. Среди разговоров с ним, занятий, иногда чтения она забывала свои несчастья и успокаивалась в своём, прикрытом флёром, тем не менее отзывающемся жгучей болью, безысходном горе.

Разумеется, всего интереснее было для неё разбирать предания о своём великом роде, о своих предках, особенно ближайших. Отец

Ферапонт знал хорошо их историю. Он передавал ей зацепинские предания; говорил о борьбе с монгольскими народами югорской расы, об образовании Зацепинска, о князе Данииле, сдавшем Зацепинск Москве, о суровой жизни последовавших затем зацепинских князей. Наконец, говорил о её деде, нетчике при Петре Великом, потом описывал её дядю, Василья Дмитриевича, описывал его всенародную исповедь; передавал всё, что слышал о жизни её отца, увлékшегося блеском чужой образованности; наконец, говорил о её кузене Андрее Васильевиче, принявшем перед смертью схиму. Он учил её разбирать древние рукописи и объяснял, каким образом изменялся строй письменного языка и по каким приметам самые рукописи можно отнести к тому или другому веку.

Естественно, что она интересовалась всего более ближайшими членами своей фамилии.

Со слезами на глазах она выслушала грустную историю своей кузины Аграфены Васильевны, поступившей в монастырь, чтобы уклониться от предлагаемого ей отцом жениха, и потом вышедшей замуж за Марьина, хо-

тя и с благословения родителя, простившего её перед смертью, но, должно быть, не с благословения Божьего, ибо брак их был несчастлив. Марьяна, на другой год после свадьбы, разбил паралич, и бедная Аграфена Васильевна на десятый год ходит за больным мужем, не имея ни покоя, ни отдыха. Говорил отец Ферапонт также и о другой её кузине, Елизавете, гостившей после смерти матери у Разумовской, урождённой Нарышкиной, и там вышедшей замуж за какого-то иностранного графа, который и увёз её с собой за тридевять земель в своё чужестранное государство; как говорят, там она стосковалась по стране родной, по рекам её многоводным, по лесам сосновым да по зиме холодной, суровой, но родной, — стосковалась и умерла в родах.

Иногда в беседах Настасьи Андреевны с старцем архимандритом принимал участие и старик Анисим Антонович Чернягин, её главноуправляющий и душеприказчик, доверенный отца и кузена, видимо оправдавший их общую доверенность и тоже любивший беседы отца Ферапонта и сочувствовавший его занятиям.

В одну из таких бесед, по какому-то поводу, говоря, кажется, о разгроме, произведённом Пугачёвым в низовьях Волги, Чернягин упомянул имя княжны Владимирской, самозванки, объясняя, что, по справедливости, этим именем могла пользоваться только она, княжна Настасья Андреевна и что явление самозванки с фамилией Владимирской ложится клеймом на род князей Зацепиных.

— Ах, Боже мой! С этими хлопотами, которые меня окружили здесь при моей невольной грусти, я совершенно упустила её из виду, тем более что я ничего о ней не слышу, — сказала Настасья Андреевна. — Где эта самозванка, что с ней? Если она ещё существует, я должна её изобличить... Это я признаю своею обязанностью и ещё в Америке дала слово.

— Святое твоё слово, матушка княжна. — Зацепинские обитатели никак не хотели называть её иначе, как её девичьим именем. — Нельзя допускать своё имя выставить на позор, для прикрытия каких-то тёмных замыслов, — сказал отец Ферапонт. — Изобличить самозванку долг твоей чести. Ты обязана сделать это ради славы твоего рода, ради своего

имени! Наконец, подумай об ужасах, о страшном опустошении, которое произвёл Пугачёв. Предотвратить новое подобное опустошение, и ещё под твоим именем, — это святой долг не только русской, но всякой христианки!

— Я говорю вам, святой отец, что я дала себе о том слово ещё в Америке и говорила об этом ещё моему покойному другу, который также находил, что это мой долг. Но только где же она, и какой путь следует избрать к её изобличению?

— Да теперь что-то о ней всё смолкло, — сказал Чернягин, — а вот года три назад, как я был в Москве, так говорили, что в Петербург привезли какую-то самозванку, называвшую себя будто бы дочерью императрицы Елизаветы, какую-то, говорили, Тараканову. Но кто была эта Тараканова, и та ли, которая называлась княжной Владимирской, и куда она потом скрылась, никто ничего не знал.

— Да самый лучший путь написать, а ещё лучше самой съездить и сказать прямо государыне. Она же у нас, матушка, доступная, всякую просьбу выслушивает, во всякое дело сама вникает.

— Как, мне ехать в Петербург, к государыне?

— Что же такого? Кто лучше может знать, что тут нужно для изобличения и прекращения всякого самозванства и его ядовитых последствий? Она сейчас же укажет, что нужно; а вас, княжна, только благодарить будет, что вы поможете ей эту интригу прекратить, этот замысел потушить.

Чернягин, как ни опытен он был в практической жизни, тоже советовал ехать. Ему и в голову не приходила разница между практикой общественности и практикой политики, до такой даже степени, что едва ли бы он понял, если бы кто ему сказал, что тут вопрос не просто жизни, а вопрос политической интриги.

Под влиянием сознания своей родовой обязанности и согласно совету своих искренних друзей, Настасья Андреевна собралась ехать в Петербург.

* * *

После того как Орлов оставил крепость и

доктору удалось привести Али-Эметэ в себя, начались потуги родов.

Голицын прислал к ней акушерку и бабуку. Роды были трудные, однако ж она их перенесла. Родился сын, названный Александром. По желанию государыни, генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский, женатый уже на Елене Никитичне Трубецкой, был его крёстным отцом, а жена коменданта Петербургской крепости Татьяна Семёновна Чернышёва — его крёстной матерью. Ей было поручено наблюдение за ребёнком в течение первого года его жизни. К малютке была представлена кормилица из приисканных предварительно молодых и здоровых крестьянок Охтенской слободы и назначен полный штат ухаживальщиц, по тогдашнему обычаю. Екатерина говорила:

— Я не хочу, чтобы ребёнок в чём-нибудь нуждался, я не мщу ребёнку за мать.

— Но как назвать его? — спросил у неё Вяземский.

— Александр Алексеевич Чесменский, дворянин неизвестного происхождения! — отвечала государыня.

Разумеется, так его и записали. Причём Вяземский подумал: «Вот государыня всё ищет пружину пружин. Кто, дескать, выдумал, кто самых иезуитов направил? Сказал бы я ей: «Будь покойна, государыня, царствуй на славу нам! Этой пружины пружин нет на свете. Она умерла, как и все мы когда-нибудь умрём». А если бы порыться в отношении моего достопочтенного тестюшки князя Никиты Юрьевича, то, как ни был он осторожен, всё бы, думаю... Но, разумеется, не я наведу её на эту мысль; напротив, в чём можно, прикрою, схороню, ради моей Леночки!.. Впрочем, государыня так умна, что и сама соображает, хоть и молчит, что с той самой поры, как мой тестюшка умер, и *самозванцев не стало*».

Перенеся трудные роды, Али-Эметэ была ещё в силах говорить и рассуждать, хотя было видно, что это были последние проблески её жизни.

При ней находилась Мешедэ почти безотлучно. Эта бедная и недалёкого ума шляхтенка, обманутая величием и блеском Али-Эметэ в Лимбурге, Оберштейне и потом Венеции, рассчитывавшая возвысить себя службой при

русской великой княжне и вместо того попавшая под гнёт политической интриги, в которой она могла быть раздавлена, смята, смолота, как попавшее в мельничный жёрнов зерно, — вместе с тем успела к ней привязаться сердечно. Разумеется, все мечты её теперь испарились как дым. Ни о каких фрейлинах и статс-дамах не могло быть и мысли. Бог дал бы только выбраться из этой крепости, а там... «О всех этих княжнах да принцессах и думать забуду», — говорила себе Мешедэ. С ней же передопрашивавший её Шешковский не поцеремонился, как князь Голицын с Али-Эметэ, и, говорят, два раза посёк её таки порядочно. Но, несмотря на все эти перенесённые ею несчастья, на всю тяжесть выносимого ею гнёта, несмотря на весь страх перед розгами, которые для неё казались страшнее смертной казни, она ни в чём не оговорила Али-Эметэ, ничего не выдала из её тайн. Находясь при ней именно безотлучно, сперва на корабле «Три Иерарха», потом в крепости, кроме тех немногих дней, когда Голицын хотел добиться от Али-Эметэ признания строгими мерами, — она служила ей со всей силой своей

сердечной привязанности. Разумеется, в этой службе не было уже надежд на повышения, награды, устройство своей участи; но была любовь, привязанность, искренняя, душевная, которую нельзя купить никакими благами мира. Али-Эметэ не могла этого не видеть и понять... Говорят, сердце сердцу весть подаёт. Поэтому, в минуту страдания и бессонницы, когда Мешедэ подавала ей лекарство, а вся крепость, кроме часовых, разумеется, спала мёртвым сном, она обратилась к ней с вопросом:

— Что сделали с ним?

Мешедэ угадала, что вопрос идёт о ребёнке.

Она рассказала, что слышала и из чего в крепости не делали особой тайны, что для ребёнка взяли кормилицу и отдали на попечение комендантши и что, говорят, сама государыня обещала о нём позаботиться.

Этим ответом Али-Эметэ, разумеется, была успокоена и прибавила, взглядывая с сожалением на свою наперсницу:

— Бедная Мешедэ, благодаря мне разбилась вся жизнь твоя! Но ты знаешь, могла ли

я ожидать, чтобы человек, которого я так беззаветно полюбила... Ты всё знаешь, мне, стало быть, нечего об этом говорить. Поклянись мне, что ты всё сделаешь, что я попрошу, и я в стенах крепости, умирающая и несчастная, может быть, найду средство вознаградить тебя за все перенесённые тобой несчастья и устроить твою судьбу.

— Государыня, княжна милостивая, — отвчала Мешедде. — Без всякой награды вашей, я душу готова положить за вас! Я вижу, что не вы виноваты, а виновата во всём горькая судьба моя. Приказывайте, княжна, ваша Мешедде исполнит всё, что только будет в силах исполнить, так же, как если бы получила это приказание от вас в великолепных залах Зимнего дворца.

— Нет, поклянись на образе, который ты носишь на груди своей, что ты исполнишь и не скажешь никому!

Суеверная католичка Мешедде поклялась перед образом.

— Вот в чём дело, — сказала Али-Эметэ. — Смотри за ним, следи за ним, что он будет и где, — разумеется, Али-Эметэ говорила о сво-

ём сыне, — и когда он вырастет, а ты будешь жива, то отдай сама или перед своей смертью передай верному человеку, чтобы отдали ему вот это письмо, которое, лёжа на смертном одре, в каземате крепости, на краденой, можно сказать, бумаге, я ему приготовила. Если будешь отдавать сама, то расскажи всё, что с нами случилось, и скажи ему, что последнее слово матери к нему было, чтобы он был мстителем за свою мать перед своим отцом.

Мешедэ взяла письмо и поклялась вновь, что она исполнит в точности завещание своей обожаемой княжны.

— А вот чтобы тебе помочь, если тебе удастся отсюда вырваться... вот записка на заложенные мною, а частью и просто отданные на сохранение в Париже и Франкфурте бриллианты. От продажи этих бриллиантов должно очиститься более 50 000 франков, с которыми ты можешь вести безбедную жизнь.

— О, княжна, княжна! — вскрикнула Мешедэ, в порыве благодарности целуя руку Али-Эметэ. — Как не любить вас?

— Кроме того, я буду просить Голицына, и надеюсь, он это сделает, чтобы все мои ве-

щи, которые были со мной на корабле и захвачены в Пизе, отдали тебе за твою службу мне и перенесённые вместе со мной несчастья.

Мешедэ плакала, стоя на коленях перед её кроватью.

На другой день началась с Али-Эметэ предсмертная агония. Приехал Голицын, и Али-Эметэ высказала своё желание, чтобы всё, что после неё остаётся, было отдано Ме шедэ. Голицын обещал, если это дозволит государыня, но просил хотя теперь открыть истину. Али-Эметэ отвечала опять, что ею всё уже сказано, что только она знала. Голицын уехал, а перед ней предстал отец Пётр, хмурый и недовольный неуспехом своей миссии. Он стоял перед ней с крестом, но нашёптывал ей не христианские слова утешения, а картину страшной будущности в загробной жизни для нераскаившихся грешников.

— Покайся, дочь моя, развяжи душу свою! — говорил отец Пётр. — Расскажи о своих замыслах, назови своих соучастников и подстрекателей, иначе геенна огненная будет уделом тебе и скрежет зубовный твоей уча-

СТЬЮ.

— Отец Пётр, — сказала Али-Эметэ, выбрав между страданиями минуту перерыва. — Если я грешна в чём, то только в том, что хотела жить. Молода была, хотелось наслаждаться, вот я и искала жизни и средств для наслаждения! Я не думала о том, что, соглашаясь или умалчивая о неверности даваемых объяснений, я участвую в обмане. И я молчала, когда такое молчание давало мне хорошие средства к жизни. Грешна я в этом, грешна! Да простит меня Господь милосердный! Я забывала, что чужие деньги — это чужой труд. Выманивая и проживая чужие деньги, я съедала чужой труд. Да простит меня Творец небесный!

И она задыхалась от смертного колокольца.

А отец Пётр всё ещё спрашивал: какие замыслы, кто соучастники?

Наконец, она стала говорить уже столь невнятно, что ничего нельзя было понять.

Кровь остановилась в горле и душила её.

Тогда рассерженный, огорчённый отец Пётр, видя неудачу свою, бросил её, не удосто-

ив святого причащения. Он знал, что Екатерина неудачи не простит и что честолюбивые замыслы его разлетелись в прах. Но, вернувшись домой, он вдруг невольно почувствовал в себе вопрос: христианин ли ты, оставив без напутствия умирающую?

От этого вопроса у него защемило сердце. Он бросился назад в крепость. Но было уже поздно: Али-Эметэ умерла.

Ночью близ Алексеевского равелина, внутри крепости, четыре инвалида вырыли глубокую яму и в эту яму опустили труп всклепавшей на себя имя, всклепавшей потому и только потому, что ей хотелось жить.

Над засыпанной могилой чья-то добрая рука посадила цветочные кусты. Эти кусты разрослись и образовали крепостной сквер. Проходя этот сквер, невольно вспоминается имя Али-Эметэ.

VII ЕКАТЕРИНА II

Александр Алексеевич Вяземский был прав, говоря, что по смерти его тестя Никиты Юрьевича Трубецкого не стало являться новых самозванцев и никаких внутренних противодействий царствованию Екатерины не было. Она могла смело проводить свои преобразования, вводить новый порядок и устраивать своё государство, не встречая не только противодействия, но и противоречия. И та знаменитая ночь на 29 июня 1762 года, о которой, получив извещение от своего посланника, Людовик XV выразился, что ему кажется, будто перед ним читают отрывок из тысячи одной ночи, благодаря уму и твёрдости Екатерины обратилась в славу её имени и в общее перед нею поклонение. «Матушка царица» стало в России её народным именем и, при внешней славе её оружия, стало гордостью России.

Тем не менее Екатерина очень думала о са-

мозванстве. Пугачёва она вспомнила много лет спустя после его казни; не менее раздумывала она и о княжне Владимирской. Она добралась, что с нею виделся в Спа Иван Иванович Шувалов, и велела своему посланнику в Париже допросить, узнать. Иван Иванович, узнав об этом, сейчас же явился в Россию сам и объяснил, что действительно, слышав, что в Спа приехала княжна Владимирская-Зацепина, и полагая, что она или дочь известного в своё время князя Андрея Дмитриевича Зацепина, или сестра его приятеля Андрея Васильевича, поставил себе за долг к ней поехать. Но, увидев, что это просто проходимка, принявшая из каких-то видов русское имя и желавшая от него узнать даже имена тех, от кого она уверяла будто происходит, он оставил её без внимания и более о ней ничего не слышал до тех пор, пока не сделал ему формальный запрос управляющий иностранными делами Франции герцог д'Егриньон, называя её какой-то Таракановой. На этот запрос он отвечал, что ни о какой Таракановой он не слышал и не знает; та же, которая называет себя княжной Владимирской, видимо, проходим-

ка, назвавшаяся русским именем для обмана. К этому Иван Иванович прибавил, что ни до того, ни после он никакого отношения к ней не имел и больше никогда её не видал. Этим объяснением, а главное своим приездом, Иван Иванович рассеял подозрения относительно себя, но не рассеял сомнений Екатерины, которая непременно хотела добиться, непременно хотела узнать истину.

Одним утром, когда она почему-то особенно об этом думала и начала перечитывать, по крайней мере, в сотый раз все объяснения и ответы Али-Эметэ, вдруг дежурный генерал-адъютант доложил ей:

— Ваше императорское величество, приехала во дворец княжна Владимирская и просит особо доложить о её ходатайстве представиться вашему величеству.

— Что? — изумлённо спросила Екатерина, вскинув на молодого Строгонова глаза. — Как вы сказали?

Екатерина только что прочитала от слова до слова протокол о смерти всклепавшей на себя имя.

Строгонов повторил свой доклад.

— Проводи её в китайскую гостиную, Строгонов! Что это, мёртвые встают из гробов?

И она нервно и суетливо, что вовсе не было в её характере, написала записку к Елагину и потребовала к себе Шешковского и Перекусихину.

— Мавра Саввична, ты постой за дверьми, пока я буду говорить с одной барыней, — сказала она вошедшей Перекусихиной, — и жди моего знака. Если будет нужно, сейчас же позови караульного офицера; а придёт Шешковский, пусть ждёт меня в моём кабинете. Елагин же пусть войдёт в гостиную.

Распорядившись таким образом, государыня пошла к ожидавшей её Настасье Андреевне.

Выйдя в китайскую гостиную, Екатерина увидела перед собою стройную, высокого роста, замечательно красивую, но с глубоко грустным выражением лица, даму. Она была одета вся в чёрном. Немое, но глубокое горе будто светилось в её небольших, но симпатичных голубых глазах.

Екатерина остановила на ней свой строгий

и холодный взгляд.

— Простите меня, ваше величество, — начала говорить Настасья Андреевна своим задушевым голосом, — что я позволила доложить о себе моим девическим именем. Это потому, что я имела несчастье удостоверитьсь, что моё девическое имя известно вашему величеству, тогда как моё имя по замужеству вам известным быть не может.

— Ваше имя княжна Владимирская? — спросила Екатерина.

— Точно так, ваше величество. Я урождённая Владимирская-Зацепина, по замужеству Ли. Я единственная княжна Владимирская, какая только могла быть в целом мире, потому что две дочери моего дяди, одна Аграфена, другая Елизавета, вышли замуж, одна за неизвестного Марьина, другая за графа Питтолети, и они не носили имени Владимирских, называясь просто Зацепиными, так же как и мой кузен, князь Юрий Васильевич. Мне придали титул Владимирской в коллегии, где я воспитывалась, по французскому обычаю передавать старшему представителю или представительнице рода их общую родо-

вую фамилию.

— Кто же были ваши родители?

— Мой отец был вице-адмирал русского флота, не знаю, ещё какие он занимал должности, князь Андрей Дмитриевич Зацепин, а мать — царевна Парасковья Ивановна, родная сестра царствовавшей государыни императрицы Анны Иоанновны. Вот бумаги, ваше императорское величество, которые могут вполне удостоверить каждого в моей личности.

— А! — сказала Екатерина, и глаза её сверкнули как-то особенно. Она сделала незаметный знак к дверям, отмахиваясь рукой и принимая подаваемые ей бумаги. — Что же вам угодно? — спросила Екатерина уже с такой суровостью, с какой Настасья Андреевна никогда и не воображала, что к ней могут обратиться.

— Я, по воле бывшей императрицы, воспитывалась в коллегииуме Пресвятой Девы Марии. По окончании воспитания я вышла замуж за американского гражданина Ли, который пал в последней битве, сражаясь за независимость Америки. Перед тем я потеря-

ла обоих детей. Бог взял их. Вдруг мне говорят, что в России явилась какая-то неизвестная личность, которая приняла принадлежащее мне имя и, распространяя разные несообразные слухи, желает воспользоваться принадлежащим мне наследством. Услышав это, я сочла себя обязанной явиться к вашему величеству, чтобы изобличить самозванку, так как, позволяю себе повторить, другой, кроме меня, княжны Владимирской нет и быть не могло. Я, и только одна я, при своём помещении в коллегиум, была наименована Зацепиной-Владимирской, ради обозначения моего происхождения от князей московского дома, русских великих князей.

Пока Настасья Андреевна говорила это, смотря на императрицу своими ясными, спокойными, но и полными грусти глазами, в дверях, противоположных тем, из которых вошла государыня и за которыми стояла Перекусихина, стало быть, к которым Настасья Андреевна стояла спиной, показался караульный офицер; но Екатерина знаком показала ему, чтобы он затворил двери.

— И вы хотели только изобличить само-

званку? — спросила Екатерина гораздо мягче, но всё ещё подозрительно. — И затем, собственно, приехали в Россию?

— Да, государыня! Я хотела взглянуть на свою родину, которую не видала, так как увезена была грудным ребёнком, привести в порядок свои наследственные дела и обличить самозванку, если она существует. К сожалению, о последней я не могла собрать никаких сведений. Поэтому я позволила себе явиться к вашему величеству, в тех видах, чтобы вы изволили быть известны, что обличение самозванки в моём имени всегда в руках вашего величества!

— Нет, теперь этого не нужно, — сказала Екатерина совсем уже мягко. — Во всяком случае, благодарю вас за ваше желание. Всклепавшая на себя имя уже избличена.. Однако, что же мы стоим. Я очень рада познакомиться с вами, княжна, — я называю вас вашим родовым именем, — рада поговорить об Америке и о вас самих. Садитесь! Вы ещё так молоды и так много перенесли горя!

Екатерина опустилась в кресло, указав Настасье Андреевне другое, и позвонила: в две-

рях показалась Перекусихина.

— Распорядитесь, Мавра Саввична, когда придёт Елагин, провести его тоже в кабинет. Скажите, что я занята, пусть меня подождут!

Выслушав приказание, Перекусихина исчезла.

— Потерять почти одновременно и мужа, и детей — это такое несчастье... Удивляюсь, как ещё Бог сохранил вас. От такого горя можно с ума сойти! — говорила Екатерина ласково.

— Я почти и сошла с ума, ваше величество, впала в какое-то бесчувствие, а потом в продолжительную болезнь. После я должна была ходить за умирающей тёщей. Это обстоятельство и задержало мой приезд в Россию для избличения самозванки при первых слухах о ней.

— Что ж вы думаете делать в России? Правда, ваши годы ещё таковы, что вы можете вновь выйти замуж, иметь семейство.

— О нет, государыня! Моя жизнь слишком разбита, чтобы думать о замужестве. Я была так счастлива с моим Эдварсом, так любила детей своих, что одна мысль изменить

их памяти наводит на меня ужас. Нет, ваше величество, всемилостивейшая государыня, я уж не для семейной жизни. Я хотела, приехав в Россию, устроить свои наследственные дела. Я думала, что буду окружена родными, думала, что у меня два кузена, две кузины, и у них могли быть семейства. Состояние, частью принадлежавшее моему отцу, мне было завещано их родным братом, поэтому я считала, что они имеют на него отчасти право, и, согласно завещанию, думала передать его тому, кто будет больше достоин. К сожалению, я нашла, что один кузен мой уже умер; одна из кузин оставила навсегда Россию и тоже умерла; другая, бессемейная, возится с мужем, разбитым параличом, и почти отупела. Остался ещё кузен, но он тоже несемейный и такой человек, что я от него пришла в ужас. Таким образом, я осталась одна, совершенно одна.

— А вы надеялись быть не одни, быть окружённой родными, может быть, иметь власть, значение?

И глаза Екатерины вновь подозрительно смотрели на Настасью Андреевну; губы её вновь сжались в какую-то жёсткую улыбку.

Она готова была опять протянуть руку к сонетке.

— Власть, значение... — повторила слова государыни Настасья Андреевна с грустным юмором. — Для чего мне их, государыня, и для кого? И управилась ли бы я ещё с этою властью на добро, на благо людям, России? Я, которая не имею понятия об управлении, о политике? Нет, государыня, я не была честолюбива и смолоду! Я не бросилась ни на предоставляемое мне наследство, ни на приманку честолюбия в выходе замуж за представителя фамилии де Прален. А теперь, с разбитым сердцем, истерзанной душой... Нет, нет, ваше величество! Я желаю всему добра, а тут было бы, скорее, зло.

Улыбка Екатерины опять распустилась, черты лица опять разгладились.

— Какое это наследство? — спросила Екатерина. — Не то ли, о котором мне много говорили, обозначая его словом: зацепинские капиталы.

— Да! Я думаю, ваше величество, что вам говорили именно о моём наследстве, так как оно довольно значительное.

— Вы очень скромны, говоря, что оно значительно, — ответила Екатерина. — Это царское богатство. С таким богатством в челе нашей аристократии вы будете окружены искаателями. Я утвердила вас в наследстве по имению вашего батюшки; что же касается того, которое передавал вам кузен по условию, то оно, естественно, должно идти в род, к его братьям, князьям Зацепиным, так как выходом замуж за Ли вы нарушили условие завещания. Но всё равно, и то, которое вам досталось, 15 000 душ, дома и капиталы, — именно царское богатство. Оно само по себе есть уже значение, и могучее значение.

— Позволяю себе вновь доложить вашему величеству, что никакого значения я не добиваюсь и не желаю. Я сама по себе не бедна и без наследства. Я желаю, ваше величество, одно: скромный уголок, спокойную жизнь, научные развлечения и, возможно, более добра людям и пользы моему отечеству.

— Что же?.. Монастырь?.. Днём — уединение, чтение, молитва; вечером — обмен мыслей с избранными друзьями, потом благотворительность.

— Я не думала о монастыре, ваше величество, хотя, признаюсь, была глубоко потрясена, когда смотрела в Москве пострижение княжны Трубецкой. Общность молитвы, единоедушное стремление выразить невыразимое, общее благоговение охватили меня чувством восторга.

— В каком это монастыре было? — спросила Екатерина, что-то раздумывая.

— В Ивановском девичьем монастыре, ваше величество!

— Что ж, хотите я прикажу вам устроить там помещение и, предоставляя вам полную свободу, прикажу, чтобы всё соответствовало вашим желаниям? Вас окружают и молитва, и спокойствие, и избранные ваши друзья. Для вас будут открыты все библиотеки, все музеи, все архивы нашей древней столицы. Граф Салтыков, начальник Москвы, будет стараться вам во всём угодить. Это монастырь, который по повелению императрицы Елизаветы был назначен для тихого пристанища вдов и сирот знатного происхождения. Когда я буду в Москве, то надеюсь, вы не откажетесь доставить мне удовольствие и допустите меня в

свой учёный кружок. А благотворительность, самая полная, самая широкая, даст вашей склонности к добру обширное поле деятельности.

— Я была бы счастлива такого рода жизнью, всемилостивейшая государыня. Она дала бы мне всё, чего я, за потерей моего Эдварса, могу только желать.

Государыня обняла Настасью Андреевну и оставила у себя на весь день. Тут Настасья Андреевна, случайно бросив взгляд на столик, который стоял отдельно в одной из комнат, через которые они с государыней проходили, увидела на столе письма и бумаги, писанные знакомой Настасье Андреевне рукой.

— Что это? Простите, ваше величество, нескромный вопрос. Знакомая рука.

— Это письма той, называвшейся вашим именем фальшивой княжны Владимирской!

— Боже мой! Рука знакомая. Это рука Али-Эметэ!

— Кто такая Али-Эметэ?

— Она воспитывалась со мною в коллегии. Персианка по происхождению! Была замечательно хороша собой!

— Гм! Вот она-то и назвалась вашим именем. Но, слава Богу, всё кончилось хорошо!

Екатерина в этот день успела совершенно обворожить Настасью Андреевну. Она умела обворожать. На другой день она отправила её в Москву, поручив проводить её Джуричу, бывшему адъютанту Потёмкина, ставшему теперь вдруг её генерал-адъютантом.

Потёмкин уже исправлял при Екатерине должность маркизы Помпадур, и Джурич был одной из представленных ей его креатур.

А Елагин и Шешковский до позднего вечера сидели в кабинете Екатерины. Она о них забыла. Поздно вечером, войдя в кабинет, она увидела их и призналась в своей забывчивости.

— Слава Богу, что вы мне не понадобились, — сказала она. — Всё, что мне было нужно, я сделала сама.

Зато на другой день они оба, за долгое ожидание, получили по бриллиантовой табакерке.

Игуменье Ивановского монастыря было написано, чтобы она убеждала всеми мерами посылаемую да я помещения при монастыре

даму принять монашество.

Первые дни, проведённые Настасьей Андреевной в монастыре, ей очень понравились. Полное спокойствие, общее к ней внимание и желание угодить не могли не произвести на неё самого благоприятного впечатления. Притом действительно, мирные занятия, умный разговор избранных посетителей, благоговейная молитва не могли не отражаться благотворно на её душе. Она находила, что в её положении единственное утешение может быть только в молитве, а тут служба столь благолепная, пение стройное, порядок, скромность, чистота помыслов, чистота жизни. «Да это рай, если не чувства, то спокойствия!» — говорила себе Настасья Андреевна.

Помещение у неё было превосходное. Ей было предоставлено убрать его всем, чем она пожелает; а убирать ей было легко, приказывая принести то или другое из своего великолепно отделанного московского дома или, наконец, привезти, что нужно, из Парашина. Перед самыми окнами её помещения раскинулся густой темнолиственный сад со множе-

ством цветных клумб. Все её желания в рассуждении занятий, стола, фруктов выполнялись безусловно и будто по мановению её руки.

В один из дней, тёплых и ясных, ей вздумалось прокатиться по городу и она приказала себе подать коляску. Весь монастырь забегал, засуетился. Наконец, после многих сомнений и отнекиваний, ей объявили, что нужно доложить генерал-губернатору.

— Что это значит? — спросила Настасья Андреевна. — Разве я арестована здесь?

— Помилуйте, но... но... приказано о вашем выезде докладывать.

— Ну так докладывайте же, только скорее!

Через четверть часа генерал-губернатор, граф Пётр Семёнович Салтыков, явился к ней сам.

— Ваше сиятельство... — начал было Салтыков, но Настасья Андреевна перебила его:

— Я не сиятельство, а просто миссис Ли!

— Мне приказано титуловать вас по вашему русскому происхождению, вашим русским именем. Вы изволите желать ехать?

— Да, я хотела прокатиться; но что это значит, что об этом должно вам докладывать?

— Я бы просил ваше сиятельство не ездить без предуведомления меня. Что же касается вашего вопроса, то... Я уверен, вы изволите быть столь рассудительны, что, поняв своё положение, сами изволите прийти к заключению, что иначе всемилостивейшая наша государыня и не могла распорядиться.

— В чём дело? Какое моё положение?

— Вы, ваше сиятельство, изволите вникнуть, что происхождение ваше от царевны Парасковьи Ивановны, родной сестры императрицы Анны, создаёт вам преемственное право на русский престол. Императрица Екатерина царствует по преемственности прав другой линии царствующего дома, линии императорской, по происхождению от Петра Великого, но линии младшей. Теперь рассудите, не ясно ли, что для спокойствия государства она должна устранить всякую возможность соперничества, могущую вести к междоусобной войне: или она, или вы? Середины тут не может быть, тем более что громадные капита-

лы, которыми вы можете располагать и употребление которых она не может ограничить, так как они почти полностью находятся в иностранных банках, дают вам силу, которая может создать неисчислимы затруднения. Государыня говорит: «Если бы я была уверена, что княжна будет государыней лучше меня, будет более меня заботиться о народном благосостоянии, успешнее отстранять народные нужды, более возвысит и укрепит Россию, то я сейчас же бы, для блага государства, уступила ей своё место, а сама пошла бы в монастырь, занималась бы науками, литературой. Русские князья, как по истории известно, нередко меняли свою порфиру на схиму и княжескую корону на монашеский клобук. Но как она сама сказала мне, что не чувствует себя способной к управлению и не томится честолюбием, то пусть она поступится в незначительном ограничении её свободы, — ограничении, необходимом не столько для моего спокойствия, сколько для спокойствия государства». Вы будете иметь всё, что только пожелаете, — предложил Салтыков, — но только прошу выезжать не иначе как с моего

ведома и с моим офицером.

Настасья Андреевна слушала, бледнея более и более с каждым словом Салтыкова.

— Так я арестована? — сказала она наконец, вне себя от волнения. — Вот как! Не это ли выражение благодарности за мою готовность. Но позвольте, граф, вы мне говорите ваши соображения, но ничем не доказываете, что такова именно воля императрицы. Она мне говорила совершенно противное. Она видела, что у меня и в мысли не было быть чьею бы то ни было соперницей и на что бы то ни было претенденткой.

— Поверьте, ваше сиятельство, что я не смел бы представить вам моих соображений без особого на то высочайшего соизволения. Впрочем, для вашего убеждения, мною испрошена особая, собственноручная её величества записка, которая утверждена, на случай, если вы не знаете собственноручной подписи государыни, государственною печатью.

И с этими словами он подал ей написанную в виде мемории следующую записку, к которой действительно была приложена государственная печать.

«Я убеждена, что благородные чувства княжны Владимирской-Зацепиной заставят её принять те немногие ограничения её воли, которые ей предложит от моего имени граф Салтыков и которые необходимы по государственным соображениям. Она этим докажет мне, что действительно желает добра и блага своему отечеству, как она мне говорила».

На записке было написано: «Божиею милостию, императрица всероссийская. *Екатерина*».

Настасья Андреевна прочитала, задумалась, потом проговорила:

— Донесите государыне, что то, от чего зависит её спокойствие и благо государства, не может встретить с моей стороны возражения.

После того она никогда более уже не желала прогулки вне стен монастыря и предоставленного ей сада.

По прошествии нескольких месяцев Настасья Андреевна получила от государыни собственноручное письмо, в котором она писала, что, основываясь на её словах, что главнейшее её желание заключается в доставлении

добра и блага своему отечеству, она просит её обратить внимание на письмо к ней, написанное по её повелению вице-канцлером графом Остерманом, и выполнить в чём можно его просьбу. А граф Остерман писал, что, зная истинный патриотизм княжны Владимирской-Зацепиной и её готовность к самопожертвованию, он, с высочайшего соизволения, считает нужным ей сообщить, что в настоящее время на отечество наше наступили страшные невзгоды. Неприятели с двух сторон теснят его. Готовятся две войны — с Турцией и Швецией; обеим помогают французы, а средств для защиты нет. Поэтому он обращается к ней, не пожертвует ли она своими капиталами, чтобы помочь России отстоять свою целостность и самостоятельность, высшее благо в государственном отношении, стало быть, соответствующее вполне её идее принесения пользы всем. Если она согласна, то пусть подпишет декларации, необходимые для истребования капиталов из иностранных банков.

«Имения ваши, состоящие из 15 000 душ крестьян, с землями и угодьями, дома в

Москве и Петербурге с множеством драгоценной движимости, без всякого сомнения, удовлетворят ваши стремления к самой широкой благотворительности; но если бы доход с этих имений не удовлетворял всех ваших желаний, — писал Остерман, — то государыня, благодарная вам за пожертвование, с удовольствием возьмёт на себя обязанность пополнить то, чего вам будет не доставать».

Кроме всего этого, письмо заключало ещё в себе тонкий намёк на то, что если княжна в молодости, полная самоотвержения, решилась кредитовать чуждую страну своими капиталами, то откажется ли она сделать теперь то же самое для страны родной, тем более что не имеет в виду прямых себе наследников.

Прочитав это письмо, Настасья Андреевна горько улыбнулась.

«Она права, со своей точки зрения, — подумала она. — Она мне не верит и, зная, что капитал — сила, хочет лишить меня этой силы... А имения? Но имения, если она заметит с моей стороны какие замыслы, она всегда может конфисковать, она и оставляет их».

Сказав это самой себе, Настасья Андреевна ту же секунду подписала доставленные декларации и отослала их. Затем она послала нарочного за Чернягиным. Но старика Чернягина уже не было на свете.

Его очень огорчило известие, что ему не удалось отстоять Зацепино для своей обожаемой княжны; оно должно было перейти к князю Юрию Васильевичу, а сам он должен был бросить устроенное им для себя гнёздышко и ехать на новое место жить с новыми людьми. В то же время скончался и отец Ферапонт. Всё это так потрясло старика, что он, прохворав недолго, скончался по-христиански, заранее приготовив себе место в Зацепинской пустыни, в ногах у своего благодетеля князя Андрея Дмитриевича, и завещав похоронить себя там.

С этими грустными известиями приехал к Настасье Андреевне старший сын Анисима Антоновича Степан Анисимович, человек лет сорока и уже семейный.

Настасья Андреевна поручила ему по всем своим имениям наделить крестьян землёю и дать им вольные.

— Я не хочу, — говорила она, — чтобы в случае моей смерти милейший кузен занялся продажей из моих имений девок на вывод.

Свой петербургский дом, со всем, что в нём есть, она приказала передать своей кухне Марьиной, которая перед тем лишилась своего больного мужа; московский же дом, завод, обширные земли и леса и чудно устроенное Парашино она решила предоставить монастырю как вклад, с тем чтобы монастырь обеспечил её содержание; свой же личный, привезённый из Америки и частью доставленный Чернягиным из экономических сумм капитал она решилась оставить у себя для дел благотворения. Разумеется, при этом распределении не было забыто и семейство Чернягина.

Когда она получила известие, что все эти распоряжения её осуществлены, она заявила матери игуменьи монастыря, что готова принять пострижение.

«Я надеюсь, что теперь Екатерина мне поверит», — думала Настасья Андреевна.

И точно, она поверила.

Князь Юрий Васильевич между тем торжествующий и радостный принимал своё Зацепино.

Но не на пользу было ему полученное наследство. Он стал вводить там свою систему сдачи в рекруты, отправку мальчиков в Петербург по контрактам; продажу девок на вывод и другого рода опыты управления имением лиц, забывших родовые доблести в потере родового значения, и в конце концов был найден зарезанным в своём саду. Он был убит своими крестьянами, не выдержавшими тяжкого гнёта князя-кулака. Имение это впоследствии, по смерти Марьиной, как выморочное, поступило в казну.

Между тем состоялось и пострижение княжны Владимирской-Зацепиной, по замужеству миссис Ли. Пострижение происходило торжественно; на нём присутствовала чуть ли не вся Москва. Не было только на пострижении графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, который нарочно на этот день уехал из Москвы и потом всегда объез-

жал Ивановский монастырь, как бы боясь даже его стен. Он думал, что в этих стенах постриглась и живёт, кляня его имя, несчастная Али-Эметэ; а он боялся даже вспомнить это имя, которого, впрочем, он не знал, сохраняя воспоминание о ней под именем княжны Владимирской.

Постригаясь в монашество, Настасья Андреевна приняла имя монахини *Досифеи*.

ЭПИЛОГ

Прошло много лет. В России царствовал государь Александр Павлович.

Ему предстояло испытание; он готовился встретить и отразить грозную тучу, которая собиралась против него на Западе.

Желалось государю отклонить эту тучу от своего отечества; знал он, что эта гроза множество жизней погубит, много воды унесёт. И вот с достоинством, твёрдо, но уступая, в чём можно, делал он всё, чтобы не возбудить ссоры, чтобы утолить всякую злобу и гордость.

Но скромность и сдержанность русского государя только раздражали баловня счастья и гения войны. Дошло до того уже, что не только вопросы государственные, но дела простого этикета пошли вразрез принятой вежливости, пошли в укол самолюбию русского царя.

То перед ним посланец европейского диктатора садится за обед в шапке, под предлогом, что по уставу французской армии при

полной форме шапка не снимается никогда; то назначаются посланниками такие лица, которые, знал целый мир, не только русскому государю, но и никакому двору приятными быть не могут, каковы Коленкур и Савари, руководившие похищением герцога Энгиенского из маленького пограничного баденского городка Эттенгейма и привозом его во Францию на убийство; то посланному государем лицу задают вопрос, какая дорога ближе ведёт к Москве?

— Кто какую изберёт, ваше величество, — отвечал посланный к Наполеону императором Александром его генерал-адъютант Балашов. — Вот Карл XII выбрал дорогу на Полтаву.

Но острый ответ не отстранял сущности вопроса. Государь понимал, что этой дороги ищут, что о ней думают. Он вежливо и с почётом принял послов; хотя государыня вдовствующая императрица, его августейшая родительница Мария Фёдоровна, говорят, их видеть не могла и нарочно на день парадной аудиенции уехала в Павловск, несмотря на зиму. Он промолчал и о шапке, не сказав, что,

дескать, в чужой монастырь с своими уставами не ходят; не отвечал и на все выходки, которыми зазнавшаяся наглость, видимо, умышленно хотела его поразить; но он видел, что грозы не избежишь, поэтому готовился, ближе и ближе сходилась с народом, больше и больше входил в его нужды, чаще и чаще бывал в матушке-Москве.

А давно ли, кажется, возвратился он из Эрфурта, убаюкиваемый миражем дружбы и обещаниями, которым, казалось, и конца не было и которые, казалось, направлены были к тому, чтобы разделить по дружбе целый мир. Давно ли русского государя осыпали самыми душевными вежливостями, окружали самым искренним вниманием. Да, то было время, тогда нужно было, чтобы государь не помог австрийцам. А теперь — другое; Австрия была уже смята, была унижена, теперь можно было и сбросить маску. На то политика!

Положение дел день ото дня становилось натянутее; гроза с каждым днём надвигалась ближе и ближе. Государь приехал в Москву и заехал навестить московского преосвященно-

го, престарелого митрополита Платона. Нашёл он его разряженного в парадную рясу и в орденах, совсем готового к выезду.

— Куда это, святой отец, изволили обратиться ранней порой? — спросил государь.

— В Ивановский монастырь, государь, мать Досифею поздравить и благословить и самому от неё благословение получить, — отвечал престарелый митрополит. — Каждый год езжу. Сегодня день её рождения.

— Кто такая мать Досифея?

— Святая женщина, государь! Была она, по повелению всепресветлейшей царицы-государыни, твоей, государь, преславной бабки, задержана в монастыре под каким-то чужезванным именем по политическим видам, да там и осталась; приняла святое пострижение и теперь живёт истинной схимницей и молитвенницей для благотворения. Вся Москва её очень уважает, и, говорят, она обладает даром предвидения и пророчества.

Государь простился с митрополитом и поехал к генерал-губернатору графу Ивану Васильевичу Гудовичу, но и того нашёл готовым ехать.

— Ты куда? — спросил государь.

— В Ивановский монастырь, государь, монахиню Досифею поздравить. Сегодня день её рождения, и сегодня вся Москва перебивает у неё.

— Кто это Досифея?

— Разно говорят, государь. В своём архиве я не нашёл о ней сведений, которые могли бы сколько-нибудь разъяснить её прошедшее. Лет двадцать пять, если не больше, в бытность генерал-губернатором ещё фельд-маршала графа Салтыкова, под именем миссис Ли прислана была сюда особа и задержана в монастыре по особому высочайшему повелению. Там она приняла пострижение и живёт, однако ж, на совершенно особом положении. Кто говорит, будто она дочь императрицы Елизаветы и дяди моей жены, графа Алексея Григорьевича Разумовского, от тайного их брака; а кто уверяет, что она княжна Зацепина, стало быть, родная племянница императрицы Анны Иоанновны. Но так или иначе, могу только сказать, что она, по своей благотворительности, доброте и святости своей монастырской жизни, заслуживает всеоб-

щую любовь и почитание.

И генерал-губернатор вышел с государем вместе и, проводив его, поехал в Ивановский монастырь.

От генерал-губернатора государь заехал к светлейшей княгине Лопухиной, но и там его встретили речи о святой жизни монахини Досифеи.

У молодой ещё и красивой светлейшей княгини Екатерины Николаевны сидела всем известная почтенная старушка, царевна карталинская. Они рассуждали о том, что хоть сегодня они матери Досифеи и не увидят, но не ехать нельзя.

— Никак нельзя, — говорила царевна карталинская. — Весь год благословения Божия ни на чём не будет! Никакой удачи не жди! Вот три года назад я как-то пропустила, и весь год билась: что ни вздумаю, всё поперёк. Оно и точно, как в такой день праведницы не почтить.

— Старица Мария сегодня приходила ко мне из монастыря, — сказала светлейшая княгиня Екатерина Николаевна, — так говорила, что, несмотря на всю свою хворость и

слабость, мать Досифея всю ночь напролёт промолилась сегодня, готовясь к причащению. Ведь она всякий год в этот день приобретается.

— А постится-то как она, Господи, особенно по постам. Чем ещё живёт? Говорят, представьте, всю страстную неделю, кроме воды, ничего в рот не берёт! — прибавила она.

— Да! А когда ей скажут, зачем она так истощает себя, она отвечает: пост мне даёт силу, а не истощение. Если бы, говорит, я чувствовала, что истощаюсь, я не стала бы поститься.

— Святая женщина!

— А какие благотворения она делает.

Государь вошёл при последних словах. Он и не спросил, о ком идёт речь. Он знал уже, что говорят непременно о матушке Досифее.

— Вот, ваше величество, и вам бы к ней съездить. Господь Бог по святой жизни её осенил её даром пророчества. Она бы сказала: смирится ли враг имени Христова — турок, или придётся вам вновь усмирять его христоролюбивым воинством! — проговорила царица карталинская.

Государь думал в это время вовсе не о турках. Он думал о том, что по крайней нужде в некоторых предметах он разрешил привоз их и тем нарушил договор о принятии им континентальной системы, а это должно вести к весьма щекотливой переписке.

— Что касается её дара пророчества, я более чем кто-нибудь могу его засвидетельствовать. Я испытала его на себе! — сказала княгиня Лопухина. — Приехала я с матушкой из деревни в Москву лет пятнадцати. Поехали в соборы святым мощам поклониться. И что ж? В Благовещенском соборе свадьба. Женился мой Пётр Васильевич на Левшиной. И так это он мне понравился. «Вот, думаю, счастливица. За такого жениха, думаю, как замуж не идти?» Они уехали, а я всё думала: «Пошлёт ли мне Бог такого». Казалось, лучшего и в мире нет. В Москве, матушка, как женщина небогатая, жила скромно. Мы почти никуда не выезжали. Я уже думала, что в девках останусь. Признаюсь, скучала немножко. Только раз матушка повезла меня в Ивановский монастырь. Мы вошли в церковь, а там монахиня с таким спокойным, хоть и строгим взглядом.

«Не скучай, говорит, выйдешь за того, о ком думаешь!» А я не думала ни о ком, кроме Петра Васильевича, да в том не то матушке, себе признаться боялась. Я знала, что он женат... Что же, не прошло после того года, он овдовел и стал меня сватать. А видел-то меня всего один раз у Хитровых! И могла ли я думать? Лопухин — светлейший князь, а я была бедная рязанская дворянка.

— А благодетельница-то она какая, — подхватила царица карталинская. — Никого не знает, никого не видит, ни о ком не слышит, а если где человек в нужде, в крайности, не знает, что делать, тут вдруг является к нему или купец Шепелев, или старообрядческий поп Вавило и с ним полная помощь; а всё от неё, хоть они и не говорят, все на великомученицу Параскеву да на апостола Андрея Первозванного ссылаются. Родителей-то её, видите, звали Андрей да Парасковия. У меня в доме жил чиновник, в городской ратуше, кажется, служил, жалованья получал не то 10 рублей, не то 15 в год; ну а семья. Вот и пришлось ему отправлять куда-то городские деньги, что-то не то 200, не то 300 рублей. Он запеча-

тал, да заговорился, а у него пакет-от и стянули. Малый в отчаяние пришёл, но даже жене не сказал. Думает, недели две не хватятся, авось оборочусь. Между тем ночей не спал, всё думал и молился. Вдруг поп Вавило: «Великомученица, дескать, Параскева услышала молитвы твои и посылает помощь!» Сказал — и подал пакет. И что же: в пакете лежит полная сумма, которую у него украли, и точно такими же бумажками, какие были. Ну подумайте, откуда Вавило мог узнать? Чиновника-то это совсем отуманило. Вот как Вавило-то простился, благословил его и вышел, он незаметно за ним. И пришёл прямо в Ивановский монастырь, к кельям монахини Досифеи. Тут и узнали, откуда все посылки приходят.

Рассказы эти возбудили любопытство государя. Он решился навестить инкогнито знаменитую монахиню. Он приказал Новосильцеву надеть на себя все знаки отличия, звёзды, ленту, портрет покойного государя, а сам, сняв эполеты и знаки отличия, с одним аксельбантом через плечо, как бы в качестве адъютанта Новосильцева, отправился с ним в

Ивановский монастырь.

Игуменья монастыря, из рода бояр Морозовых, не обратила ни малейшего внимания на государя. Приняв высочайшее повеление об устройстве неперемennого свидания генерал-адъютанту Новосильцеву с монахиней Досифеей, она отдала в этом смысле приказание, не замечая скромного офицера, который следовал за Новосильцевым. Они вошли за провожавшей их монахиней в обширную и высокую келью со сводами, обставленную весьма изящно, но в глубоко религиозном вкусе; там увидели они стоящую за аналоем, к ним спиной, высокого роста стройную старицу, которая, не обращаясь к ним, проговорила:

— Благословен грядый во имя Господне! — Затем она оборотилась и сказала: — Приветствую тебя, царь милости и радости, приветствую, спаситель отечества!

Она оборотилась и, обходя сияющего бриллиантами Новосильцева, подошла прямо к государю.

— Да будет день сей, — сказала она, — днём веселия и радости. Я, как Симеон, вижу

спасения моего отечества.

Перед государем стояла стройная, высокая, с благородным и величественным выражением лица, но почти слепая старуха монахиня лет под семьдесят.

Государь изумился. Но он изумился ещё более, когда услышал:

— Государь, благо твоих подданных есть мерило твоей власти. Что тут уговоры и обязательства, когда ты можешь спасти единого от малых сих!

И она увела его от Новосильцева в свою молельню.

Оттуда государь вышел умилённым и расстроганным. Он пробыл с ней более получаса.

— Скажи, святая мать, ты не проклинаешь мою бабушку? — спросил он.

— Я молюсь за неё и благодарю её! — отвечала Досифея. — Она дала мир душе моей! Она была права, заключая меня насильственно, ибо лучше было пожертвовать мной, чем спокойствием государства. Она спасла меня от всего, что могло последовать, если бы я поддавалась влияниям чуждым...

И затем она стала говорить о величии цар-

ской власти и обязанностях, налагаемых самим Богом на своих помазанников.

Государь уехал от неё с надеждой на Бога, на своё будущее, на будущее России.

Не прошло после того месяца, как колокол Ивановского монастыря оповестил кончину схимницы Досифеи, хотя она была совершенно здорова. Несмотря на то что она только за месяц перед тем приобщилась Святых Таин, она захотела приобщиться вновь в наступившую первую неделю поста.

Слушая после причастные молитвы на коленях, она ослабела до такой степени, что её должны были поднять и снести в постель. Она жила после того только два часа, успев проститься и благословить всех.

Её кончина вызвала общий стон у десяти-тысячной толпы, стоявшей перед монастырём и собравшейся при первых слухах о болезни обожаемой ими монахини Досифеи.

Через три дня к похоронам скромной монахини собралась вся Москва.

Преосвященный Платон лежал сам на смертном одре, но вместо себя прислал к отпеванию своего викарного, дмитровского ар-

хиепископа Августина, который, от имени митрополита, должен был благословить тело усопшей присланным им образом святой великомученицы Анастасии. Он должен был и отпеть её, в сослужении с четырьмя архимандритами и шестью протоиереями. Из всех монастырей были присланы иноки и инокини отдать последний долг умершей. На погребение явился генерал-губернатор Москвы, победитель при Арпачае, фельдмаршал граф Иван Васильевич Гудович, в полной форме, в андреевской ленте, с двумя звёздами на груди, за ним явились все сенаторы московских департаментов сената, с своим первоприсутствующим, князем Петром Никитичем Трубецким; все почётные опекуны московского опекунского совета, с своим председательствующим, Дмитрием Владимировичем Голицыным, бывшим потом генерал-губернатором Москвы. Гражданский губернатор, комендант и все высшие чиновники, вместе с выборными от сословий и различных учреждений, бывших многократно предметом заботливости усопшей, были налицо. Все были в полной форме, со всеми знаками отличия, и в

глубоком трауре. Они хотели выразить своё почтение имени, сиявшему добродетелью.

К этим почётным представителям московского населения, разместившимся около гроба и в церкви Ивановского монастыря, где проходило отпевание, присоединилась вся Москва, запрудившая улицы и площади, прилегающие к Ивановскому монастырю. На лицах многих были слёзы. Они потеряли в ней свою постоянную и неизменную благодетельницу. Печальны были все, потому что она была для них утешение, опора и помощь в минуты тяжкой нужды, горя и несчастья. Её жизнь в монастыре, особенно последние годы, была именно всеобщая любовь. Не было почти в Москве бедной семьи, которой бы она чем-нибудь не помогла, чем-нибудь не благодетельствовала, и не было семьи, которая бы не вспоминала с благоговением имени монахини Досифеи.

После отпевания, когда государственные сановники вынесли из церкви гроб, в толпе раздался вопль; это был вопль бедных. Он заключился глухими рыданиями. Гроб не дали поставить на дроги; его от сановников при-

нял народ, *московский* народ. Он понёс на себе прах последней княжны Зацепиной, проливая слёзы и поминая с молитвой имя, некогда славное имя в его истории.

Похоронили Настасью Андреевну в Новоспасском монастыре, в усыпальнице бояр Романовых, как последнюю, оставшуюся ещё в боярах, представительницу знаменитого боярского рода, ставшего надеждой будущего России в лице её будущих императоров!

Серая плита закрыла могилу княжны Настасьи Андреевны, и на этой плите и поныне можно прочесть только её монашеское имя, день её кончины — 4 февраля 1810 года — и слова:

«Боже, всели её в вечных твоих обителях!»

Примечания

1

Елизавета жила еще в старом дворце, у Полицейского моста.

[^^^]

2

По некоторым преданиям, Петр был привезен в правый павильон Большого дворца.

[^^^]

3

Ганшпуг — железная, заостренная с одного конца, а с другого срезанная и раздвоенная палка, около $1\frac{3}{4}$ аршина длиной и $\frac{1}{2}$ дюйма в диаметре. Она служила для поворота пушек при прицеливании.

[^^^]